

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

2

---

1992

2

НОВЫЙ  
МИР

1992

# НОВЫЙ МИР

## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2 (802)

Февраль, 1992 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

### СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АРМАНДО ВАЛЬЯДАРЕС — С надеждой в сердце... Главы из книги. Перевела с испанского Е. Богущ. Предисловие Василия Селю- нина	3
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН — Это мы накануне восстанья, стихи	42
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — Забубенная головушка. Из книги «Послед- ний поклон»	44
БАХЫТ КЕНЖЕЕВ — Из новых стихов	63
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ — Время ночь	65
АНДРЕЙ ВОЛОС — Кудыч, повесть	111
ГЕНРИХ САПГИР — Развитие метода, стихи	149
АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ — Обманки	153
ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ — Фили, платформа справа. Рассказ ниги- листа	163
<b>НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ</b>	
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ — Как занавес пусть распахнется мест- ность, стихи. Перевели с немецкого Евг. Храмов, Д. Щедровиц- кий, Б. Скуратов	174
<b>РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР</b>	
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Темплтоновская лекция	179
АНТОНИЙ, митрополит Суражский — О встрече. Публикация и подготовка текста Е. Майданович	184
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
ДАНИИЛ ХАРМС — «Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние». Записные книжки. Письма. Дневники. Публи- кация, вступительное слово и послесловие Владимира Глоцера	192
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ВЯЧЕСЛАВ КУРИЦЫН — Постмодернизм: новая первобытная куль- тура	225
СЕРГЕЙ НОСОВ — Литература и игра	232
РЕДАКЦИОННОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ: ИГРАЕМ В МЭЙЛ-АРТ	237

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

*Литература и искусство*

240

Майя Кучерская. Двоящийся пейзаж.

В. Камянов. Свободен от постоя.

Яков Кротов. Джентльмен в царстве Божьем.

*Политика и наука*

247

Юрий Борисов. Кардинал Ришелье: гений или злодей?

#### КОРОТКО О КНИГАХ:

Леонид Клейн. — I. Борис Вахтин. Так сложилась жизнь моя.. Повести и рассказы. II. Закир Дакенов. Полетим, кукушечка, в дальние края. Закир Дакенов. Вышка. ♦

Вячеслав Маркин. — П. А. Кропоткин. Этика. Избранные труды

251

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

255

#### В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. **Вечерние раздумья.** Заключительная глава из книги «Последний поклон».

АРМАНДО ВАЛЬЯДАРЕС. **С надеждой в сердце...** Главы из книги. Перевела с испанского Е. Богуш.

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО. **Левой! Левой! Левой!..** Метаморфозы революционной культуры.

В. ДОМОГАЦКИЙ. **Кладовка.** Попытка консервации.

НИКОЛАЙ КОНОНОВ. **В трезвом уме.** Короткий роман.

ЮРИЙ КРАСАВИН. **Валенки.** Послевоенная повесть.

ВИЙВИ ЛУЙК. **Красота истории.** Роман. Перевела с эстонского Е. Каллонен.

В. ПЕРЦОВСКИЙ. **Сквозь революцию как состояние души.** Заметки о советской литературной истории.

ПРИСТАНИЩЕ ВЕТХОЙ СВОБОДЫ. **Из наследия Александра Сопровского.** Вступительное слово Б. Кенжеева. Послесловие Я. Кротова.

НАТАЛИ САРРОТ. **Дар речи.** Перевела с французского И. Кузнецова.

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО КРУЖКА «ВОСКРЕСЕНИЕ» (20-е годы: М. Бахтин, Л. Пумпянский, А. Меер).

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН **Пещера.** Роман. Перевела с английского И. Сумарокова.

АФАНАСИЙ ФЕТ. **Из деревни.** Очерки.

Д.Д. ШОСТАКОВИЧ О РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНЕ И ХОРЕ ИМЕНИ ПЯТНИЦКОГО. Публикация Л. Либединского.

ДОРА ШТУРМАН. **Они — ведали.**

#### К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ «НОВОГО МИРА» ЗА РУБЕЖОМ

Все права на проведение подписки на журнал во всех странах (кроме СССР) принадлежат германской фирме «A. NEIMANIS». По всем вопросам, связанным с подпиской и распространением журнала за рубежом, следует обращаться по адресу:

A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5, Germany. Tel. 089/26 30 76, fax 26 30 77.

© Журнал «Новый мир», 1992.

© A. Neimanis • München, 1992.

---

---

## АРМАНДО ВАЛЬЯДАРЕС

✱

# С НАДЕЖДОЙ В СЕРДЦЕ...

Главы из книги

Памяти моих товарищей, замученных и убитых в тюрьмах Фиделя Кастро, и тысячам узников, томящихся в них сегодня.

Автор.

С надеждой в сердце своем Авраам веровал против всех человеческих ожиданий... И не ослабевал в вере своей.

Апостол Павел. Послание к римлянам 4, 18, 19.

В июле 1989 года в Праге прошла весьма необычная конференция политиков-неформалов. Съехались диссиденты, выгнанные, или, как торжественно оповещают органы, выдворенные из пределов СССР в разные годы. Назову лишь несколько имен: Паруйр Айрикян, Хейки Ахонен, Владимир Буковский, Эдуард и Тенгиз Гудава, Анатолий Корягин, Николай Лунан, Ирина Ратушинская, Петро Рубан, Айше Сеитмуратова. С нашей стороны приехали народные депутаты, писатели, деятели культуры почти из всех союзных республик. Те и другие в большинстве своем прошли через тюрьмы, лагеря, ссылки за правозащитную деятельность. Это обстоятельство особо подчеркнул, открывая конференцию, президент Чехо-Словакии Вацлав Гавел, сам в прошлом диссидент: мол, он, Гавел, сидел недолго и не равняет себя в этом смысле с друзьями, почтившими своим присутствием высокое собрание.

Люди собрались разные (яркие личности похожими не бывают), а цель одна: обдумать, как в условиях распада советской империи мирным путем создать демократические государства на территориях союзных республик, как упредить межнациональные конфликты. Несомненно, здесь присутствовали будущие министры, руководители средств массовой информации, а может, и президенты, кто знает. И мне, россиянину, надо было приглядеться, с кем нам вскорости предстоит сотрудничать. Ведь одно дело налаживать контакты, пока, по начальническим меркам, эти люди — никто, и совсем другое, когда они станут важными персонами. В главном мы поладили, а с некоторыми политиками у меня сложились добрые, смею думать, дружеские отношения, что в свой час может стать небесполезным для России.

Были там и делегаты из других стран. Я попросил Володю Буковского (с ним мы как-то сразу сошлись) познакомить меня с его другом поэтом Армандо Вальядаресом. Хорошего роста, смуглый, с добрыми глазами много страдавшего человека (двадцать два года в кубинских застенках!), но-байроновски прихрамывающий — таким я вообще представляю себе Поэта. Впрочем, у меня к Вальядаресу было дело прозаического свойства. Кажется, я первым написал в открытой прессе про нелепые экономические связи с Кубой: за сахар платим вчетверо (в иной год и вшестеро и вдесятеро) выше мировых цен, свой товар спускаем туда по дешевке, словно краденое, а между тем благоденствия наши никого на острове не осчастливили. Написать-то все это я написал, но сомнения оставались — вроде бы друзей отшпиговываем. Как умел объяснил собеседнику, что содержат мы больше никого не в состоянии, но если к власти на Кубе придете вы, демократы, сложится впечатление, будто, пока правил Кастро, мы крепко помогали стране, а вам отказываем. Мне казалось, что правильнее сказать об этом загодя. Армандо понял меня с полуслова: «Советская помощь только продляет агонию режима. Пусть Кастро уходит добром, и мы ручаемся, что ни капли крови пролито не будет».

*Позже он прислал мне свою книгу «С надеждой в сердце...» с правом публикации ее на русском. Журнальный вариант ее мы предлагаем ныне читателям «Нового мира».*

*Хронику А. Вальядареса часто называют кубинским «Архипелагом ГУЛАГ». Сходство тоталитарных коммунистических режимов поистине поразительно, и, как выясняется, малосущественны личные качества правителей. Многие помнят, с какой трепетной любовью относились у нас к могучему бородачу Фиделю, когда он и его парни в защитных куртках добыли победу и, как думалось, свободу Кубе. Где теперь те парни? Или вот вспоминаю надежды моих друзей из ГДР, когда всеми презираемого Ульбрихта сменил Эрих Хонеккер. Пробовал объяснить им: все они хорошие, пока спят. Да куда там, чуть не поколотили. Чем опасно такое прекраснодушие, уместно напомнить сегодня, когда деятели новой волны опять клянутся (возможно, искренне) в верности демократии, сосредоточивая тем часом в своих руках необъятную власть — безразлично, в масштабах ли Союза или республик. В этом смысле книга Армандо Вальядареса — грозное предостережение.*

Василий СЕЛЮНИН.

## АРЕСТ

**М**еня разбудило прикосновение холодного ствола автомата ко лбу. Испуганный, я открыл глаза. Мою кровать окружали трое вооруженных людей... Человек с автоматом прижимал мою голову к подушке.

— Где пистолет? — спросил самый старший, худой, с седыми волосами. Позже я узнал, что этот агент политической полиции Кастро был полицейским и во время диктатуры Батисты.

Когда в дверь постучали, мама вышла и открыла им. Моя комната была последней, я спал тяжело, было холодно, и не услышал, как они вошли.

Человек с автоматом продолжал с силой упирать ствол оружия в мой лоб. Один из них засунул руку под подушку в поисках воображаемого пистолета. Затем седой сказал мне, чтобы я оделся и прошел с ними. В гостиной четвертый полицейский наблюдал за моей матерью и сестрой.

Мне пришлось одеться в их присутствии. Я сделал движение, чтобы открыть стенной шкаф, но один агент пресек мою попытку. Он сам открыл дверь и выдвинул ящики стола один за другим, затем бросил быстрый взгляд на все остальное. В их окружении и под их наблюдением я стал одеваться. Мне показалось, что они стали более спокойными и доверчивыми. Эти оперативные сотрудники получают приказ задержать человека, не зная, кто он и за что его арестовывают. Как правило, им говорят, что он вооружен и очень опасен. Теперь они знали, что я таковым не являюсь. Я успокоил свою мать и сестру, сказав им, что уверен: это ошибка, ибо никакого преступления я не совершил.

В то время я был служащим революционного правительства в почтовой сберегательной кассе, прикрепленной к Министерству связи. Я быстро продвигался по службе в этом официальном учреждении, в основном потому, что был студентом университета.

Обыск был долгим и тщательным: они потратили почти четыре часа на то, чтобы все осмотреть. В доме не осталось не тронутым ни дюйма. Они открыли бутылки, просмотрели книги страницу за страницей, выдавили зубную пасту из тюбиков, заглянули в мотор холодильника, в матрасы...

Я разговаривал со своей матерью, которая нервничала больше всех, и в то же время думал о том, кто бы мог донести, что я имел оружие. Для меня было очевидно, что этот кто-то хотел заставить меня пережить неприятные моменты при задержании, хотя позже все бы выяснилось. Я подумал, что донос исходил с моей работы. Я знал, что некоторые сослуживцы питали ко мне неприязнь. Несколько недель назад один из начальников, с которым меня связывала добрая дружба, вызвал меня, чтобы предупредить, что политическая полиция запросила информацию обо мне. У меня были некоторые трения из-за моих религиозных идей и идеалистического мировоззрения, часто используемых мною как аргументы в спорах, где я выражал разногласия с коммунизмом как системой.

В те дни произошли некоторые события, начавшие обострять обстановку внутри Министерства связи. Инженера Энрике Олтуски отстранили от должности министра, а на его место назначили Рауля Курбело, коммуниста, сражавшегося вместе с Кастро в партизанской войне и знавшего толк только в коровах. Он так и сказал мне несколько дней спустя после своего назначения, представляясь в моем отделе:

— Послушай, Вальядарес, я в этом ничего не смыслю. Я работал в Институте аграрной реформы, но Фидель сказал, что я должен возглавить это министерство, а единственное, в чем я разбираюсь, это коровы. Поэтому мне нужна помощь, чтобы дело пошло.

Он разбирался только в коровах, это верно, но был доверенным лицом Кастро.

Замдиректора сберегательной кассы заменили другим коммунистом, тоже старым членом партии, из провинции Камагуэй. Именно тогда за выражение антимарксистских взглядов был уволен Израэль Абреу, один из моих лучших друзей и товарищей по работе. Израэль входил в подпольную группу, борющуюся против диктатуры Батисты, и это решение нового министра вызвало всеобщее недовожество. Я подверг критике эту меру как злоупотребление властью и нарушение свободы слова, которая являлась одним из постулатов революции Кастро. Неудивительно, что я был назван антикоммунистом.

С каждым днем я все больше и больше выделялся. По правде сказать, я был очень наивным. Я думал, что в крайнем случае меня, как Израэля, уволят с работы. Я не предполагал, что за открытое выражение противоположных марксизму мнений меня могут отправить в тюрьму. Тем более что правительство еще не провозгласило себя марксистским, Фидель сделает это через несколько месяцев. В рядах революционеров состояли тысячи людей, убежденных, что Кастро не коммунист. Они признавали, что коммунисты постепенно захватывали некоторые сферы власти, что происходили некоторые весьма неприятные вещи: но за спиной Фиделя. Если бы он знал об этом, то положил бы им конец. Не все способны были посмотреть правде в глаза: что Фидель их обманул, использовал, отправив воевать за свои идеи. Как аргумент эти люди приводили первые декларации Кастро в начале революции, сделанные на Кубе, в странах Латинской Америки, перед руководителями комиссии по иностранным делам сената Соединенных Штатов и на многочисленных пресс-конференциях. Одна из них была провозглашена Фиделем перед членами общества газетных издателей в Вашингтоне 17 апреля 1959 года. Он заявил тогда:

Я ясно сказал, что мы не коммунисты.

К этим декларациям апеллировали те, кто не осмеливался или не хотел признать реальность обмана, и они действовали таким образом, потому что судили Кастро в соответствии со своей шкалой ценностей, своими этическими принципами. Они забывали или не знали, что Ленин четко определил поведение революционера, когда заявил, что коммунистическая мораль подчинена интересам классовой борьбы.

...Полицейские продолжали обыск. Закончили в спальнях, ванной, кухне, прошли в гостиную. Осмотрели картины и фарфоровые фигурки; одна из них привлекла их внимание: они обнаружили, что внутри что-то есть. Одному из них удалось шариковой ручкой выковырять бумажку; это был кусок обертки, в которую заворачивают стекло. Он развернул ее, но заметив, что я смотрю на него с некоторой издевкой, смял бумажку и выбросил в окно. Нас заставили поднять диван, его перевернули и тщательно осмотрели. Обыск закончился, но не нашли ни оружия, ни взрывчатки, ни пропагандистской литературы ни списков. Пришлось уйти с пустыми руками. То есть со мной, ибо мне сказали, что я должен отправиться с ними. Хотя они ничего не нашли, я должен был ответить на несколько формальных вопросов. Моя мать сказала, что я ничего не совершил и нет причины забирать меня. Ей ответили, чтобы она не беспокоилась, что я тут же вернусь они сами проведут меня обратно. Возвращение затянулось больше чем на двадцать лет..

На углу к нам присоединилась еще одна машина. Не было произнесено ни слова. Временами по радио передавали какие-то непонятные мне указания. Одно из них было для нашей машины. Шофер взял микрофон и ответил короткой фразой: это был пароль.

Мы подъехали к перекрестку 5-го проспекта и 14-й улицы в районе Мирамар. В то время там располагалось Центральное управление политической полиции — кубинская Лубянка. Несколько экспроприированных зданий образовывали комплекс Г-2, как называлась вначале служба государственной безопасности. Солдат в белой каске, с винтовкой открыл нам решетку. У входа в учреждение была скамейка, и мне указали, чтобы я сел на нее. Через полчаса меня отвели в глубь здания, где был построен ряд камер. С меня сняли наручники и ввели в первую из них. В этом небольшом застенке находились другие заключенные.

В тот же вечер меня подвергли первому допросу. Небольшой кабинет с глазком из темно-зеленого стекла, позволяющим следить за тем, кто находится с другой стороны. Меня ожидали несколько офицеров.

Ко мне обратился сидевший. Он сказал, что им все известно: я контрреволюционер, враг революции, и за это меня осудят. Я ответил, что не совершил никакого преступления, что обыск, произведенный в моем доме, мог подтвердить, что нет ничего, что можно было бы использовать в качестве моего обвинения.

— Но нам известны твои заявления на работе, твои нападки на революцию.

Я защищался, говоря им, что не нападал на революцию как таковую.

— Но ты критиковал коммунизм.

Этого я не отрицал.

Таким был первый допрос. Он едва продлился десять минут.

В тот же вечер меня вместе с другими заключенными привели в небольшой зал. Среди них была одна женщина. Нам приказали сесть на деревянную скамейку. Зажглись прожекторы, фотографы и операторы начали снимать. На следующий день мы появились в газетах как банда террористов, агентов ЦРУ, задержанных службой государственной безопасности.

Я не знал никого из этих людей. Никогда их не видел. Там я познакомился с тремя студентами университета: Нестором Пиньянго, Альфредо Каррионем и Карлосом Альберто Монтанером. Я встретил также Ричарда Эредиа, одного из руководителей Движения 26 Июля в провинции Орьенте. Он сражался в Сьерра-Маэстре и в подполье, после победы революции стал первым губернатором Сантьяго-де-Куба. Когда его арестовали, то заставили надеть форму старой армии, сфотографировали и поместили в газетах как заговорщика диктатурой.

На следующий день был произведен второй допрос. Каждый день нам давали официальную прессу, газету «Революсьон», в которой нас называли террористами. Я выразил по этому поводу протест. Офицер ответил мне: они уверены, что я враг народа.

— Вы учились в католическом колледже?

— Да, в Эсколапиос, но какое это имеет значение?

— Имеет, священники — контрреволюционеры, и тот факт, что вы учились в религиозной школе, свидетельствует против вас.

— Но против меня нет ни одного доказательства, у меня ничего не нашли.

— Верно, у нас нет никакого конкретного доказательства против вас, но мы убеждены: вы потенциальный враг революции. Для нас этого достаточно.

Вечером из камеры вывели Ричарда Эредиа и меня. Нас доставили в зал и сняли на пленку для киножурнала. Одна из журналисток, намекая на меня, сказала вполголоса, что ей жаль, что я буду расстрелян таким молодым. Кампания, организованная коммунистами, приняла такой широкий размах, что я стал весьма серьезно опасаться за свою жизнь.

На рассвете меня отвели на последний допрос. Это походило на прощание.

— Нам известно, что ты знаком с заговорщическими элементами, у тебя должны быть контакты с некоторыми из них. Если ты будешь сотрудничать с нами, мы сможем выпустить тебя на свободу и восстановить на работе.

— Я не знаком ни с кем из этих лиц, у меня нет контактов с заговорщиками.

— Это твоя последняя возможность выйти из положения.

— Я ничего не знаю. Вы не можете осудить меня, потому что я ничего не совершил. Против меня нет доказательства.

— Нам достаточно нашего убеждения. Мы знаем, что ты потенциальный враг революции...

Той же ночью Карлос Альберто, Ричард и я с помощью консервного ножа начали сверлить отверстие в стене за туалетом. Мы решили бежать. Это была нелегкая задача. Надо было попытаться снять слой покрытия стены, чтобы затем вынуть первый камень.

На следующий день после моего ареста сестра отправилась в ближайший полицейский пункт в поисках информации. Ей сказали, что ничего не знают обо мне.

Когда в газетах появились сообщения, ближайшие к моему дому комитеты бдительности во главе с несколькими агентами политической полиции в штатском организовали уличную манифестацию. Они бросали камни в окна и двери моего дома. Возбужденная толпа кричала:

— К стенке! Расстрелять его!

У моей матери случился нервный приступ, она упала на пол без сознания. Сестра с криком помчалась на поиски врача. Позже она снова стала выяснять мое местонахождение, и на этот раз уже не отрицали, что я находился в Центральном управлении политической полиции. Ей приказали сесть. Через некоторое время ее провели в кабинет и начали допрашивать, обвиняя в том, что она тоже контрреволюционерка. Их ненависть распространялась на всю семью до такой степени, что мою сестру не только подвергли допросу, но и сфотографировали с табличкой «контрреволюционерка», как и меня. Увидеться со мной ей не позволили.

Карлос Альберто, Ричард и я по очереди сверлили стену. Мы знали, что рискуем, но отдавались работе с усердием. Однако нам не удалось ее завершить, ибо нас перевели. Мы никогда не узнали, было ли это случайностью либо в камере находился предатель или агент политической полиции.

Во внутреннем дворике нас ждала машина. В ней уже находилась другая арестованная: Соила, та самая женщина, которую я видел, когда нас фотографировали. Нас предупредили, что разговаривать запрещается.

Это были первые дни 1961 года. Весь берег моря в Гаване был уставлен пушками, нацеленными на север. Соединенные Штаты разорвали отношения с Кубой, и

правительстве сеяло тревогу, говоря об угрозе вторжения. Ветер поднимал большие волны, которые перехлестывали через край набережной, окаймляющей гаванский берег. Машина мчалась на большой скорости. Миновав туннель под бухтой, она въехала в крепость Ла-Кабанья.

### ЛА-КАБАНЬЯ

Крепость Ла-Кабанья была построена испанцами два века назад для защиты входа в порт. Когда в 1762 году англичане захватили Гавану, первым делом они овладели этой крепостью. Из-за ее расположения говорилось, что тот, кто владеет Ла-Кабаньей, является хозяином города. После победы революции крепость была превращена в политическую тюрьму, в ее рвах происходили казни. Возведенная на холме по ту сторону бухты, она была уединенной. Ее окружали пустыри и полигоны. Там находилась артиллерийская школа.

Открыли маленькую металлическую дверь и приказали мне войти. Уже у подъемной решетки я смог увидеть внутренний двор перед галереями и сотни заключенных, с любопытством смотревших на вновь прибывших. Я прошел в отдел, где меня занесли в картотеку. Затем на склад. Там у меня отняли одежду — новый костюм — и выдали форму заключенного с буквой «П»<sup>1</sup> на спине. Костюм обещали вернуть моей семье во время первого посещения, но это так и не было сделано.

Вскоре я оказался во дворе среди толпы заключенных. Я никого не знал. Меня определили на 12-ю галерею, куда я и направился. В дверях молодой заключенный в очках, за которыми нетерпеливо поблескивали светлые глаза, посмотрел на меня, приветливо улыбнулся и протянул мне руку. Это был Педро Луис Бойтель, университетский студенческий руководитель. Он сражался с Батистой в подполье, затем ему удалось бежать в Венесуэлу, откуда он вернулся после падения диктатора. Он узнал меня по фотографиям, появившимся в газетах. Это был первый человек, с кем я там познакомился, а затем мы стали большими друзьями, почти братьями.

Педро Луис жил в центре галереи, на верхней койке. Все кровати были заняты. Тюрьма была переполнена узниками. Галереи представляли собой овальные туннели с открытыми концами, выходящими в ров, который окружал крепость. Они были закрыты двумя решетками из толстых железных прутьев, на метр отстоящими друг от друга. На крыше в двух сторожевых будках часовые с пулеметами, всегда нацеленными во двор, на заключенных, на решетки галерей.

Этим же вечером прибыли некоторые заключенные из тех, кто находился со мной в Управлении политической полиции: Карлос Альберто Монтанер, Альфредо Каррион, Нестор Пиньяно и другие. Они были знакомы с Педро Луисом по университету, и их тоже определили на нашу галерею. В первую же ночь нам пришлось спать на полу между кроватями и в коридорах. Все галереи выходили на север, в зарешеченные окна проникал холодный ветер. Одежд не хватало, и мы заоченели.

На следующий день нам удалось предупредить наши семьи о том, что разрешат свидания.

Улиссес и Хулио Антонио Йебра были арестованы той же ночью, что и я. Их фотографии тоже появились в печати. Хулио Антонио был врачом и отчаянно смелым человеком. Во время обыска, произведенного в его доме, обнаружили старую винтовку 22-го калибра. И только. Политическая полиция сделала вывод, что раз он имел винтовку, значит, собирался на кого-нибудь напасть. Исходя из связей, имевшихся у Хулио Антонио в правительстве, и его профессионального уровня, речь не могла идти о покушении на рядового солдата или простого, никому не известного милисиано. Это должно было быть важное лицо, руководитель революции. А кто из руководителей важнее Фиделя Кастро? На основании этих соображений Хулио был обвинен в хранении оружия с целью покушения на Фиделя Кастро и приговорен к смерти.

Хулио Антонио был осужден на основании закона № 5 1961 года, вошедшего в силу пять дней спустя после его ареста. Закону было придано обратное действие. Суд начался на рассвете. На следующий день в полдень он был прерван и возобновился спустя два часа. Хулио вернулся на галерею и сказал, обращаясь к одному из нас:

— Я хочу, чтобы ты открыл банку консервированных груш, которую хранишь, и стакан молока. Это все, что я съем на этой земле, ибо этой ночью я буду далеко отсюда, рядом с Богом.

Многие хотели поддержать его словами утешения, а он с ласковой простотой и спокойствием повторил им:

— Да, этой ночью я буду рядом с Богом.

<sup>1</sup> Политический.



Он написал несколько писем. В 2 часа дня его снова отвели в суд. На галерею он не вернулся. Его оставили в камере смертников. Рассказывают, что на суде он держался так же смело, как всегда. В 9 часов на всех галереях обычно молились группы узников: вера поддерживает в трудные минуты. Послышался шум мотора. Воцарилось полное молчание. Это был грузовик, везший гроб. Затем мы услышали, как подъехал джип, который доставил заключенного, и голоса. Они спускались в ров по длинной каменной лестнице. В нескольких метрах от стены стоял столб, к которому привязывали осужденного. Прежде чем его привязали, Хулио подал руку каждому конвойному из взвода и сказал, что прощает их.

— Взвод, внимание!..

— Целься... Огонь!

— Долой комму...! — Крик Хулио оборвался.

Это не был прицельный залп, стреляли беспорядочно, по одному. Затем сухой удар добивающего выстрела за ухо. Я никогда не забуду этот единственный смертный звук.

Молчание в тюрьме было плотным, напряженным. Послышался звук молотков, заколачивавших гвозди в неотесанный сосновый гроб.

С нашей галереи ничего не видно, но все слышно. Я представил себе сцену: связанный узник перед солдатами с винтовками, затем падение агонизирующего тела с прошитой пулями грудью..

— Да примет его к себе Бог! — воскликнул кто-то, и Улисс не в силах больше сдерживаться зарыдал.. Они были двоюродными братьями.

## СВИДАНИЕ

Первое свидание было утром. Мужчинам запрещалось посещать заключенных. Вход разрешался только женщинам. Осмотр через который они проходили, был унижительным. Всех раздевали догола, без уважения хотя бы к лицам преклонного возраста. Среди женщин, производивших осмотр, были две, с которыми случилось несколько скандалов: Чина и Мирта, лесбиянки, пользовавшиеся ситуацией. Как ни пытались моя мать и сестра скрыть стыд и возмущение из-за пройденного осмотра им это не удалось. Я запретил им приходить.

Расстрелы происходили каждую ночь. Вековые рвы крепости содрогались от криков патриотов: «Слава Иисусу Христу!», «Долой коммунизм!» Когда слышались оружейные залпы, ужас овладевал мной, и я в отчаянии обращался к Христу. Я попал в тюрьму имея религиозное воспитание. В ту пору мои верования были истинными но возможно, неглубокими ибо не подверглись жестокому испытанию.

Очень скоро я почувствовал существенное изменение природы моих верований. Возможно, я потянулся к Христу из страха потерять жизнь, ибо опасность расстрела была реальной. Но такое приближение к Нему, по-человечески понятное, казалось мне недостаточным, утилитарным. Однако когда, содрогаясь от боли, я видел этих отважных юношей уходящих на смерть с возгласом «Слава Иисусу Христу!» то вдруг словно внезапное откровение озарило меня: Христос существовал не только для того чтобы я просил его спасти меня от смерти, но и чтобы придать моей жизни и смерти если она случится духовный смысл и достоинство. Думаю, что с этого момента, не раньше, христианство помимо религиозной веры стало для меня образом жизни, который в моем положении мог воплотиться лишь в сопротивлении, но с душой полной любви и надежды.

Эти возгласы стали символом. И уже в 1963 году осужденных на смерть ставили к стенке с кляпом во рту. Тюремщики боялись этих криков. Они не желали допустить последнего мужественного восклицания идущих на смерть. Этот мятежный жест, этот вызов в высшие мгновения, эта демонстрация мужества и силы умирающих, которые провозглашали свои идеалы, могли стать дурным примером для солдат: это могло заставить их задуматься.

Хесус Каррерас был одним из руководителей партизанской войны против диктатуры Батисты. Он действовал в Эскамбрае, горной цепи в центральной части острова. Личное мужество, проявленное в боях, превратило его в легендарного героя тех краев. Но команданте Каррерас сражался не для того, чтобы установилась новая диктатура, в тысячу раз более свирепая, чем та, которую он помог сокрушить. И Кастро отправил его в тюрьму, так же как и многих других офицеров; но к высшим военным чинам у него была особая ненависть и ожесточение. У Каррераса в разгар войны возникли трения с Че Геварой, он не был согласен с решением Кастро, навязавшим коммуниста в качестве командующего партизанским фронтом в Эскамбрае. Когда Че Гевара вступил в повстанческую зону, контролируемую Каррерасом, тот едва не убил его. Че и Кастро этого никогда не забывали. Мы часто разговаривали с ним (наши койки находились недалеко друг от друга), и он признался, что уверен: ему будет вынесен смертный приговор.

Хесус Каррерас был расстрелян вслед за команданте Клодомиро Мирандой. Затем расстреляли Вильяма Моргана. его страданиями наслаждался командир взвода добивший его несколькими выстрелами.

Из-за не прекращавшихся расстрелов Ла-Кабанья превратилась в самую страшную из всех тюрем. Чтобы держать нас в страхе, на рассвете стали устраивать обыски. Взводы солдат, вооруженных деревянными брусками, цепями, штыками и всем, чем можно ударить, с криками врвались на галереи, безжалостно избивая всех подряд.

Заключенным приказывали выходить в чем они были. Открывались решетки, и разъяренная толпа солдат врвалась словно смерч, вслепую раздавая удары. Узники столь же стремительно пытались выбраться во внутренний двор.

Многие высакивали полуодетыми, раздетыми, босиком. Когда все мы оказывались снаружи, они набрасывались на нас и избивали с еще большим ожесточением. По мере того как солдаты продолжали с криками колотить нас, они все больше разъярялись, их лица искажались. Наверху, на плоской крыше, строй военных (в том числе женщины) с винтовками в руках наблюдал спектакль. Среди них всегда присутствовала группа офицеров и штатских из политической полиции. Капитан Эрнан Ф Маркс, американец, назначен был Фиделем Кастро начальником гарнизона Ла-Кабаньи и официальным палачом. Именно он добивал приговоренных и руководил обысками. Когда Эрнан напивался, что случалось очень часто, то приказывал построить гарнизон по боевой тревоге и бросал его против заключенных. Сам он называл тюрьму своим «охотничьим заповедником»

Не прошло и двух недель со дня моего ареста, как меня вызвали в суд. Утро было холодным, и Манолито Вильянуэва одолжил мне свитер. На выходе из подъемных ворот мне надели наручники, по бокам встали двое военных с чешскими автоматами. Дул северный ветер, какие-то бумажки кружились у меня под ногами.

— Пошли..

И мы пошли. Улица начинающаяся у выхода из подъемных ворот, вымощена булыжниками привезенными из Испании и уложенными неграми-рабами. Сапоги военных стучали по камням, истершимся за два века несправедливости и беззакония.

Понемногу начинался дождь. Мы перешли через рвы, и тюрьма осталась позади. Я повернул голову: старая, замшелая стена и решетки галерей, слева от меня столб для расстрелов из старого неотесанного дерева. Зади него нагромождены мешки с песком, некоторые из них продырявлены пулями прошившими тела насквозь. У основания столба пятна крови и куры клюющие быть может остатки мозга расстрелянного накануне ночью. Американец, начальник гарнизона приводил нас расстрелять собаку, которая слизывала кровь с трупов.

Мы подошли к последнему посту. перейдя через ров, в котором росли лавры аллея ветвистых деревьев; дальше был обширный полигон, где маршировали взводы охранников. Здесь в одном из старых офицерских домиков расположился революционный трибунал. Мы вошли, и мне указали на маленькую комнатку справа. Два зеленых дивана и автомат с кока-колой — вот все, что в ней было. Позже привели двух женщин одетых в форму заключенных. Одна из них была Соила другая (ее я видел впервые) Инес Мария медсестра которую задержали когда она помогала Ольверу Обрегону подняться в горы Эскамбрая чтобы присоединиться к повстанцам. Я был включен в эту группу.

## СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬЮ

...Когда начался судебный процесс председатель трибунала Марио Тагле положил ноги в сапогах на стол, скрестил их, спустил откидную спинку кресла и открыл журнал комиксов. Временами он поворачивался к сидящим рядом с ним и показывал им эпизод какой-нибудь истории, развеселивший его, и тогда они смеялись вместе. В самом деле проявлять интерес, хотя бы из вежливости, не требовалось, и они это знали. Приговоры были предрешены и отредактированы в Управлении политической полиции.

Судья начал допрос с Обрегона обвиняя его в том что он враг народа. Затем судья спросил его, познакомился ли он со мной еще на свободе. Ответ Обрегона был отрицательным.

Сойле он задал тот же вопрос, получив тот же ответ.

Никто не был со мной знаком. Никто не обвинял меня абсолютно ни в чем. Судья вызвал старшего группы, арестовавшей меня в моем доме.

— Вы задержали обвиняемого?

— Да, сеньор, и произвели обыск в его доме, но ничего не изъяли...

— Замолчите и не отвечайте, пока вас не спросят! — закричал ему судья, заметно разозлившись из-за этого заявления, столь выгодного для меня в глазах немногих присутствующих зрителей-военных. Родственникам было запрещено присутствовать на суде, они даже не знали, когда он состоится. Адвокат Обрегона доктор Арамис Табоада был товарищем Кастро по университету а после его окончания они работали

в одном бюро адвокатов. Однажды Кастро попросил Табаоду написать книгу об этих годах. Это должна была быть апология диктатора, труд, который увеличил бы обширную продукцию, посвященную культу личности Кастро. Табаода оттягивал выполнение просьбы и кончил в политических тюрьмах. Несколько лет спустя он был помилован, но лишь на время. В 1983 году его снова заключили в тюрьму.

В начале 60-х годов Табаода обычно защищал политических заключенных и благодаря своим связям заранее получал информацию о приговорах. От него стало известно, что на нашем суде смертных приговоров не будет. Уже одно это известие было воспринято с большим облегчением.

У судьи не нашлось ни одного доказательства против меня. Он начал монотонную речь о Кубе до Кастро, набросился на эксплуатацию янки, говорил о проституции и закончил словами о том, что все обвиняемые в этом зале хотят возврата к позорному эксплуататорскому, капиталистическому прошлому.

Он задал мне два или три вопроса, в особенности в связи с моими религиозными верованиями.

— Значит, вы согласны с теми священниками, которые пишут контрреволюционные пастырские послания.

— Я не имею к этому никакого отношения.

— Но следствие говорит, что у вас много связей со священниками, и вы учились в католическом колледже.

Он повернулся к председателю трибунала и сказал ему, что я враг революции и совершил преступления, причинившие ущерб, перечислив несколько статей, где якобы оговаривались наказания, которые я заслужил.

Ни тогда, ни позже (а я в течение двадцати лет продолжал спрашивать об этом) никто из властей не мог сказать мне, где я совершил преступления, нанесшие ущерб. Так именуются разрушения, причиненные бомбой, пожаром, любым актом саботажа. Это нечто конкретное, видимое, осязаемое. Я спросил судью, где, на какой фабрике, в каком учреждении, какого числа. Он не смог ответить, ибо ничего подобного я никогда не совершал.

Ни один суд в правовом государстве не смог бы меня осудить. Не было ни свидетелей, обвинявших меня, ни опознавших меня лиц. Без единого доказательства я был осужден по ложному обвинению политической полиции.

## ОСТРОВ ПИНОС

Во внутреннем дворе тюрьмы было два громкоговорителя. Через них военные обращались к заключенным. Однажды вечером после окончания переклички начали читать список узников, которые должны были немедленно собрать свои вещи. Их собирались перевести. Когда называли имена, во всей тюрьме царил полное молчание. Каждый напрягал слух, чтобы различить свое имя. Никогда не говорилось, куда переводят, но такой большой этап из Ла-Кабаньи для заключенных мог иметь только одно место назначения: остров Пинос.

Вызванные с моей галереи уже начали складывать вещи в парусиновые мешки. Атмосфера была тревожной. Перевод в эту тюрьму, расположенную на острове на юге Кубы, наполнял души страхом. Рассказывали много ужасов о том, что там происходило. Кроме того, это означало отдаление от родных, большую изоляцию. По крайней мере в Ла-Кабанье мы имели известия от семьи часто, пару раз в неделю. После моего запрета посещать меня, чтобы избавить родных от издевательств осмотров, когда раздевали догола даже старушек, моя мать приходила лишь один раз. Моя сестра не вошла, ожидая ее снаружи. Тогда я узнал от своей матери, что министр связи прислал ей письмо, где сообщал, что я изгнан с работы как предатель революции. Министр произнес несколько слов против меня на собрании, организованном коммунистами его ведомства. Большие плакаты, сделанные некоторыми из моих бывших товарищей, требовали: к стенке! пусть его расстреляют!

Из рупора продолжалось монотонное перечисление имен: они повторялись два раза. Я услышал свое и отошел от двери, чтобы собрать вещи. Педро Луис Бойтель напротив меня и Альфредо Каррион рядом тоже готовили свою поклажу. Это было одно из самых крупных перемещений: больше 300 человек за один раз. Мы все знали, что свидания там были запрещены, царил террор, а всего несколько дней назад во время обыска был убит ударами прикладов Монтейрас.

Перемещение заключенных всегда происходит в спешке. Когда закончили читать список, взводы военных уже были выстроены перед воротами и названным приказали выходить. С большим волнением мы засовывали как попало свои вещи в принесенные родными парусиновые мешки, которыми запаслись все заключенные.

Прощание с оставшимися было драматическим. Пожатия рук, пожелания удачи на суде. Обнимать того, у кого очень мало шансов спастись, это словно объятия мертвого. И мы были почти уверены, что никогда не увидим их снова живыми, и в

эти моменты не знали, что сказать, не хватало нужных слов, и мы просто смотрели им в глаза. В сердце молча рождалась молитва за этих людей.

Во внутреннем дворе было около 200 заключенных со своими мешками. Группа лейтенантов со списками в руках начала вызывать заключенных, стоявшие ближе к военным поворачивались и повторяли свое имя. Так мы выходили и выстраивались в колонну по двое у подъемных ворот. Когда набралась группа около 50 человек, ее вывели, затем другую и еще одну; так прошло много часов. Наша была одной из последних.

Мы вышли на улицу, ту самую, которую я видел, когда меня вели в суд; но сейчас она была заполнена охранниками в касках, с винтовками со штыками, сновавшими туда-сюда.

— Поднимайся... Стройся в колонну по двое!

Это был толстый сержант-негр, которого я раньше не видел. Заключенные начали стройться. Сержант прошел, считая и сверяя со списками, которые держал в руках, и дал приказ начать движение. У выезда из первого туннеля, за входом в тюрьму ожидали автобусы. Заднее сиденье занимали шестеро конвоиров с пулеметами. Когда заполнили все места, другие конвоиры заняли посты в дверях и сзади шофера. Лейтенант пригрозил тем, кто попытался встать, и вереница автобусов отправилась в путь, сопровождаемая патрульными машинами национальной полиции и автомобилями политической полиции.

Мои часы были спрятаны со дня обыска. Наверняка по прибытии на остров Пинос их бы обнаружили, и я подумал, что лучше надеть их на запястье. Но не сейчас, а когда мы будем приближаться к другой тюрьме; возможно, там мне удалось бы пронести их без особых последствий.

Караван автобусов, оставив позади крепость, выбрался на шоссе Монументаль, повернул направо и въехал в туннель, направившись к военному лагерю Колумбия, откуда самолеты с узниками вылетят на остров Пинос.

Рядом со мной сидел Каррион. Бойтель устроился на первом сиденье. Перемещение всегда порождает проблемы для заключенного, возникают тысячи вопросов, остающихся без ответа. Наверное, многие проехали мимо своих домов, потому что пришлось пересекать город, и на них нахлынули воспоминания. Сколько раз я сам проходил по этим проспектам свободный и отдаленно не подозревая, что когда-нибудь проеду по ним в качестве заключенного!

Полет мы провели в молчании, с опущенными головами. Самолет сел на землю в маленьком аэропорту Нуэва-Хероны, столицы острова Пинос.

Мы много слышали об ужасах тюрьмы, куда нас везли, о принудительных работах в каменоломнях, о бросающих в дрожь обысках, при которых всегда несколько заключенных оказывались убитыми и сотни раненными штыками. Мы много слышали о мрачных карцерных блоках, в камеры которых заточали узников, протестовавших против злоупотреблений и несправедливостей, ежедневно совершавшихся против них, или просто потому, что тюремщикам доставляло удовольствие видеть там заключенных, раздетых догола, спящих на твердом и холодном полу вместо кровати, с запаянной дверью камеры. Те, кому удавалось не потерять рассудок и выйти с не поврежденной психикой, почти всегда возвращались с уничтоженными туберкулезом легкими...

И в это место мы направлялись. В молчании, глубоко дыша, наполняя легкие свободным воздухом, которым мы долго не сможем дышать снова, и с постоянной тревогой о том, что резкого торможения грузовика, выбоины на шоссе достаточно, чтобы штыки пронзили наши горла.

В этот момент мне на ум приходили воспоминания о моих павших товарищах, расстрелянных в Ла-Кабанье. Я подумал о Хулио и его презрении к жизни при защите идеалов свободы и родины, обо всех тех, кто с улыбкой на устах шел к стенке, подумал о цельности мучеников, умиравших с восклицаниями: «Да здравствует свободная Куба!», «Слава Иисусу Христу!», «Долой коммунизм!» — и мне стало стыдно за свой страх, я подумал, что единственный способ воздать памяти этих героев — вести себя с той же твердостью, что и они, и тогда я понял, что жизнь ничего не должна значить перед опасностями, которые влечет за собой защита идеалов свободы, и я почувствовал гордость, что был одним из этих людей, и осознал, что мое место здесь. Мое сердце вознеслось к Богу, и я с небывалым пылом просил его помочь мне выстоять, и я почувствовал, что Бог услышал меня.

### ОБРАЗЦОВАЯ ТЮРЬМА

Тюрьма острова Пинос была в то время самой большой на Кубе. Это была так называемая образцовая тюрьма. Ее построил кубинский диктатор Херардо Мачадо. Шесть огромных круглых зданий гораздо большей вместительности, чем было необходимо в 30-е годы, когда они были сооружены. Кто-то указал диктатору на то, что тюрьма слишком велика и никогда не заполнится, а Мачадо ответил: «Не

беспокойся, еще придет кто-нибудь, кто ее заполнит». Этим «кто-нибудь» стал Фидель Кастро.

Раздвижные двери первого кордона безопасности открылись, чтобы пропустить конвой. Первое, что видел вновь прибывший, были прекрасные и хорошо ухоженные сады. Заключение-уголовники поливали розовые кусты и цветы, очищали клумбы от сорняков. В центре здание дирекции, с каждой стороны — группа домов для офицеров. В глубине виднелись громады круглых зданий, где находились заключенные.

— Спускайтесь, сукины сыны! Сейчас вы на самом деле арестанты, вы прибыли на остров!

Мы стали выпрыгивать из грузовиков. Двое товарищей передо мной были скованы одними наручниками, первый из них, пытаясь приноровиться, искал опору, чтобы спуститься; охранник в грузовике приблизился к нему сзади и ударом ноги сбросил узника на землю, падая, тот потянул за собой товарища, разорвав запястье металлическим браслетом. Охранник на грузовике разразился издевательским хохотом, подхваченным остальными военными. Кто-то из конвоиров подошел к двум узникам, пытающимся подняться после падения, и сказал:

— Видите, какие мы добрые? Даже помогаем вам спуститься...

И снова издевательские взрывы хохота. И мы, бессильные, не осмеливающиеся даже протестовать, думая о том, что если таково начало, то что же будет дальше? Тут же прибыл джип за одним из нас, который был замешан в смерти милисиано, погибшего в перестрелке. Двоих его товарищей расстреляли, а его приговорили к тридцати голам.

— Где этот сукин сын? — закричал разъяренный сержант, выходя из джипа.

— Вот он, — ответил один из сопровождавших нас от Гаваны охранников.

— Пойдем, да пошевеливайся, сейчас узнаешь, кто мы такие.

— Отведите его в блок, — распорядился высокий и толстый сержант, похоже, командовавший этой группой. — А вы, — продолжал он, обращаясь к нам, — стройтесь, да побыстрее!

Мы построились друг за другом, и они начали сличать наши имена со списком, поступившим из Гаваны.

— Ладно, а где эти, с забастовочки? — спросил сержант.

Речь шла о забастовке, устроенной некоторыми заключенными в Ла-Кабанье в знак протеста против расстрелов в ужасном январе 1961 года, когда коммунисты, жаждавшие крови, издали особый закон, с помощью которого пытались оправдать эти убийства и запугать тех, кто понял обман и поднялся на борьбу за завоевание желанной свободы.

Вызвали Чео Герру, Гильермо и других. Несколько милисиано отделились от группы, держа наготове винтовки с примкнутыми штыками и указывая им дорогу шоссэ, терявшееся среди тюремных сооружений.

— Давай бегом! — кричали в спину узникам и кололи их штыками.

Мы видели, как они удалялись, а также видели, как их брюки на ляжках окрашивались кровью. Один из них споткнулся и упал, на него обрушились сапоги охранников, его избивали ногами, пока он не потерял сознание, оставшись лежать в луже крови. Потом его взяли за руки и поволокли. Это (как мы узнали позже) являлось одним из любимых развлечений охранников. Но в тот момент для нас зрелище было из Дантова ада.

— Ладно, хватит пускай поднимаются, — сказал начальник конвоя.

И мы начали подниматься по большим лестницам, ведущим в канцелярию и управление тюрьмы. Там нас повели по коридору. Оскорбления и издевательства ни на минуту не прекращались. Нас было 312 человек, мы оказались последней и самой большой из перевезенных на остров Пинос партией узников.

Мы дошли до конца коридора, спустились по лестнице во внутреннюю часть центрального здания тюрьмы, что-то вроде подвала, где нас уже ожидали милисиано перед кучами тюремной одежды. Это была форма старой армии с черной буквой «П» на спине и штанинах.

— Давайте побыстрее! Всем снять одежду. Раздевайтесь!

Тюремщики были возбуждены, и нам приходилось спешить под постоянной угрозой быть избитыми или исколотыми штыком. Мы начали раздеваться. Рубашка, брюки, майка, трусы, все осталось у наших ног.

— Ботинки тоже, чтоб вас!.. — крикнул другой.

Мы сняли ботинки и носки.

Не могу описать, что я чувствовал в тот момент. Я предполагал, что то же самое думали и чувствовали остальные, оказавшись в таком виде лицом к стене, с милисиано и охранниками, смеявшимися над своими шутками и комментариями по поводу нашей наготы. Нет ничего более унижительного, чем оказаться в подобном положении.

Потом стали по одному вызывать к отделявшей нас от охранников скамейке, где происходил осмотр наших личных вещей, того немногого, что мы привезли: несколько консервных банок, лекарства, зубная паста, мыло, нижнее белье. И начался грабеж. У нас забрали все, что представляло ценность или приглянулось им. Мои часы привлекли внимание лейтенанта Панеке, и он, срывая их, едва не разордал мне запястье.

У меня было распятие, подарок одного юного друга, Нено Медины. Рука лейтенанта Панеке потянулась к моей шее и с яростью сорвала распятие, потом на него наступили, с ненавистью растоптали, на земле остался разбитый на куски крест.

Вдруг в противоположном от меня конце послышались взрыв хохота, негодующие восклицания, и почти сразу же протестовавший заключенный набросился с кулаками на одного из обыскивавших его охранников. К нему кинулись несколько военных. Узник боролся, кусался, царапался, пока не рухнул на пол от ударов, с разбитой головой и лицом, залитым кровью, бившей из носа. Он попытался встать, но ударом приклада в спину его снова свалили. Остальные окружавшие нас охранники, когда началась драка, тут же отступили, нервно угрожая нам винтовками и пулеметами.

Им было страшно, они нервничали, опасаясь раздетых безоружных людей, и я ощутил наше превосходство пред этой толпой, из-за дрожи в руках едва удерживающей оружие. Мы не знали причины инцидента, только видели узника с несколькими ранами и следами ударов прикладами, когда его волокли двое охранников, оставляя пятна крови на полу. Многие думали, что он умрет вследствие ран и ударов. Потом мы узнали, что тюремщик, производивший осмотр, роясь в вещах, вытащил фотографию матери нашего товарища, такой же матери, как и моя, как матери всех остальных, страдавших от страшного горя разлуки со своими сыновьями, от сознания того, что те пребывают в тюрьме, где насилие, физические и моральные издевательства в порядке вещей. Поэтому когда охранник, держа фотографию в руке, нагло спросил заключенного, в каком публичном доме работает эта женщина, тот не смог сдержаться. В слепом гнев, со слезами ярости на глазах он бросился на своего обидчика. Я испытал глубокое восхищение этим человеком и подумал о матерях, которые уже никогда не увидят своих сыновей, не смогут снова обнять их, подумал о матерях расстрелянных и понял, что до тех пор, пока меня согревает дыхание жизни, я постараюсь быть достойным своих близких. Я осознал, что нет ночи, которая длилась бы вечно, и в этот момент почувствовал себя спокойным и счастливым, что принял такое внутреннее решение.

После завершения осмотра каждому арестанту выдали смену белья. Любям низкого или среднего роста выдавали большую одежду, а высоким и толстым — меньших размеров, и приходилось облачаться в нее.

Мы построились по двое и пошли. По обеим сторонам колонны туда-сюда прохаживались охранники. Открылась входная дверь у второго проволочного заграждения: там возвышалась бетонная будка с прожекторами и пулемет, нацеленный на здания. Мы находились уже внутри тюрьмы. Оттуда не видно садов. Это была дверь в мир отчуждения, из которого многие из входящих сюда сейчас уже не выйдут. Мы прошли между двумя огромными прямоугольными пятиэтажными корпусами, и перед нами предстали внушительные сооружения из металла и бетона — круглые башни высотой в семь этажей, построенные для размещения в каждой из них 930 арестованных. На самом же деле там размещат 1300 узников. Таких зданий было четыре, в центре же находилась тоже круглая, но всего лишь двухэтажная столовая, способная вместить 5 тысяч человек; здесь же размещались кухня и склады. Четыре круглые башни и столовая распределялись как число пять на кубике игральных костей: центральной точкой служила столовая. Мы прошли между круглыми башнями номер один и номер два. Из многих окон нас приветствовали заключенные. Но охранники орали, что нельзя поднимать руки для ответного приветствия, это запрещено. Пытавшиеся это сделать были избиты. Мы обогнули столовую по асфальтированной дороге и остановились перед подъемными воротами круглой башни номер четыре. Над дверью иронический плакат: «Добро пожаловать в круглую башню».

Подъемная площадка была широкой кабиной из некрашенных цементных блоков и крышей из шифера. Через окна кричали заключенные, прибывшие за день до нас, зовя по имени тех, с кем они познакомились в Ла-Кабанье. Охранники уже помалкивали, словно до прихода сюда никаких отношений с нами у них не существовало. Мы были для них абсолютно чужими. Это меня ободрило, и я осмелился поднять голову и посмотреть вверх, на последние зарешеченные окошки пятого и шестого этажей, откуда размахивали руками, приветствуя нас. Затем я опустил глаза до окон первого этажа, что находились совсем близко. За этими железными прутьями люди выглядели как трупы, лица были совсем белыми из-за отсутствия солнца. Один был настолько худым, что казался призраком. Он не говорил, не жестикулировал, а

просто стоял и смотрел; словно это экспонат из музея восковых фигур. Однако никто из этих людей не мог находиться в тюрьме больше двух с небольшим лет. От одной мысли об этом по спине у меня прошел озноб. Два года!.. Я не смог бы этого вынести. Я думал... Как они до сих пор живы, почему не умерли? Если б тогда кто-нибудь сказал мне, что я проведу в тюрьме двадцать два года, наверное, я рассмеялся бы и счел его самым большим лжецом в мире.

Наконец открыли входную решетку, предварительно перед этим несколько раз пересчитав нас. Толпа заключенных ожидала на нижнем этаже, в круглом внутреннем дворе около семидесяти метров в окружности. В центре возвышалась четырехэтажная бетонная башня. В верхней части ее — балкончик с перилами для ночных обходов часовых. Металлическая дверца и глазки. В эту башню можно было пройти через туннель снаружи, что позволяло военным попадать в нее, не заходя в здание.

Прилепленные к стене круглой башни, словно огромные пчелиные соты, одна за другой ровными рядами тянулись камеры. Их было 93 на каждом этаже. Перед ними — балкон с железными перилами, превращавшими его в коридорчики, по которым можно было прогуливаться в безопасности. Этажи соединялись между собой мраморными лестницами. Четыре других лестницы поменьше открывали проход снизу на первый этаж, где располагались камеры. Во внутреннем дворе на нижнем этаже имелись только умывальники и души. Камеры были маленькими, с большим окном и решеткой из квадратных брусьев. Шестой этаж не был перегорожен стенами. Раньше он использовался как застенок для наказания заключенных-уголовников. Там находилось несколько разрушенных камер. Сейчас из-за перегрузки тюрьмы эти помещения тоже эксплуатировались. В четвертой круглой башне в виде исключения имелись решетки в камерах первого этажа, которые в тот период, когда здесь содержались уголовники, также применялись для наказания. Остальные камеры решеток не имели, можно было бродить по коридору, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж.

Это напоминало римский цирк. Все говорят и кричат одновременно. Некоторые из нас приблизились к основанию башни и бросили свои узлы, чтобы отдышаться... С разных этажей на нас с любопытством взирали множество заключенных, облокотясь на перила. Тем, у кого здесь были знакомые, они помогали поднять вещи и подыскать место в камерах, где посвободнее. Каррион и я созерцали словно одуревшие этот абсурдный мир, где все имело как бы иное измерение.

«Сколь орут эти проклятые!» — то была излюбленная фраза Карриона из «Дона Хуана Тенорио» Соррильи, которую Альфредо повторял в наиболее подходящие моменты, когда вопли грозили всех нас свести с ума.

— Сеньоры... сеньоры... помолчите, пожалуйста.

Это был голос старшего круглой башни, Лоренсо, мулата ростом 1 метр 83 сантиметра и весом сто кило, который был мотоциклистом в прежней полиции. Заключенные посредством тайного голосования избирали своего рода внутреннее правительство, оно называлось командирство. На избранного в свою очередь возлагался выбор тех, кто займется поддержанием порядка в здании: чистота, распределение пайков и т. д. Старший вел переговоры с военными и передавал то, что они хотели сообщить. В начале 1959 года бывшие военные Батисты, прибывшие в эту тюрьму, вынуждены были терпеть командирство уголовников, навязанных гарнизоном и сотрудничавших с ним. Достаточно сказать, что в камерах уголовников висели портреты Фиделя Кастро и те пользовались покровительством тюремного начальства. Через несколько месяцев благодаря участию находившегося там в заключении пилота военно-воздушных сил по имени Берувидес уголовников от руководства удалось отстранить. Первые группы политических заключенных тогда еще не прибыли, и там находились лишь бывшие офицеры и солдаты армии Батисты.

— Ладно, поднимемся, — сказал кто-то из группы, и, взяв узлы, мы направились к лестницам.

Предстояло пройти между длинными рядами ведер, ибо имевшаяся посуда выстраивалась по всему двору, образуя изогнутые линии, словно излуцины странной реки. Вскоре мы узнали причину этого: потребление воды в тюрьме было нормированным. Заключенный получал пять литров в неделю, эта вода предназначалась для питья, умывания, купания, стирки одежды. Разумеется, на все не хватало. Нормирование было введено из-за ремонта сооружений, снабжавших тюрьму водой. Грузовики принадлежали другой организации и не всегда могли приехать в тюрьму; на этот раз их не было девять дней. Когда мы спросили одного из «стариков»-заключенных, где можно напиться, он рассказал обо всем этом. Воду берегли как настоящее сокровище. Один из этих людей, бывший санитар Национальной психиатрической больницы, был знаком с Бойтелем и пригласил нас в свою камеру отдохнуть несколько минут. Он жил на первом этаже. Он сказал, что постарается раздобыть нам немного воды. В тот же вечер военные объявили, что прибудет грузовик-цистерна, но не все этому поверили.

Затем мы поднялись на шестой этаж. Тем, кто прибыл на день раньше, еще достались пустые камеры, куда отвели многих из нас. На лестницах шло постоянное движение, переносили кровати с этажа на этаж, из одной камеры в другую. В камерах было по две из тех кроватей, которые на тюремном жаргоне называют самолетами. Я так никогда и не узнал почему хотя, возможно, их называли так потому, что они складывались, как крылья. Рамой служила труба, к которой пришивалась парусина или джутовый мешок; кровать прикреплялась к стене двумя железными торчачими из бетона крючками, имелись две натянутые цепи, также вмурованные в стену; на день койки можно было убирать и открывать, только когда ими пользовались. Иметь такой парусиновый самолет в хорошем состоянии — это предел стремлений заключенного.

Мы совершенно обессилели, добравшись наконец до шестого этажа, — Каррион, Пиньяно, Бойтель, Хорхе Виктор и еще несколько человек из нашей маленькой группы. В тюрьме десятки, сотни друзей, но всегда есть небольшая группа, с которой проходит большая часть времени, коротаются долгие часы, и такая необходимость общения для многих важнее всего остального. Хорхе Виктор был молчалив и производил впечатление невозмутимого. Таким он и был в действительности. Он учился на священника, и казалось, будто Хорхе ходил в рясе. Он был замечательным товарищем, над которым Каррион все время подшучивал. Его задержали в то же утро, что и нас. Хорхе Виктор невозмутимо уселся на пол, то же сделали остальные. Мы разместились на этом квадрате, вынули одеяла и собрались поспать получше насколько возможно. На следующий день мы бы постарались раздобыть самолеты, матрасы и камеры. Наше пристанище с земляным полом со множеством углублений оказалось весьма неудобным. Но из-за усталости последних дней мы почти сразу погрузились в глубокий сон.

Каррион разбудил нас через несколько минут после того, как мы заснули, ибо по нам разгуливала крыса. Крысы впредь всегда будут сопровождать нас. Нет тюрем без крыс, а эта была совсем маленькой по сравнению с теми которые нам еще предстояло увидеть.

В эту ночь события решительно не давали нам спать. Уже на рассвете мы проснулись в испуге от крика и адского шума. Мы поднялись и высунулись с перил балкона. С нашего места была видна решетка у входа: спектакль казался галлюцинацией. Пригнали цистерну с водой, просунили два шланга шириной в четыре дюйма через решетку и открыли вентиль. Драгоценная жидкость лилась на землю до тех пор, пока первые полусонные узники не бросили клич:

— Вода!

Заключенные как безумные спешили на нижний этаж с ведрами, консервными банками, кувшинами и всем, что позволяло хранить воду. Сотни людей наполняли свои посуды, по мере того как подходил их черед в нескончаемых хвостах. Они с криками неслись по лестницам как дьяволы. Среди этой неразберихи откуда-то сверху слышался могучий голос старшего — Лоренсо:

— Благоразумие, сеньоры!.. Будьте благоразумны!

Но эти люди уже не были цивилизованными существами, они вели себя, как жаждающее стадо вдруг почувшавшее близкую воду и устремившееся к ней сметая все на своем пути.

— Пожалуйста, сеньоры, не теряйте человеческий облик! — продолжал взывать Лоренсо, без рубашки, в темных очках, которые он никогда не снимал. Он стоял у решетки, вплотную к шлангам. Струя воды, бившая из них, мгновенно наполняла посуду, расплескивалась, когда подставляли новое ведро, и на нижнем этаже уже образовалась лужа. Кто-то на бегу поскользнулся... Но все продолжали бежать по коридорам и лестницам.

Я смотрел на все это словно загнипнотизированный, пока мимо нас не прошел заключенный с пластиковым ведром в руке.

— Эй вы, поспешите, иначе останетесь без воды!

Его слова заставили нас очнуться; это было верно, и нас мучила жажда. Мы схватили свои ведра и ринулись вниз по лестнице. Я чувствовал что сделался уже одним из этих людей.

## ЖИВОТНЫЙ БЕЛОК

В 5 часов утра сигнал рожка звал на переключку, проводившуюся в 6 часов. Горнистом был уголовник, он становился в столовой напротив круглых башен номер три и номер четыре. Играл он хорошо. Позже я не раз наблюдал его по вечерам. Часто он напивался спирта, смешанного с сахаром, и тогда ему приходилось прислоняться к одной из колонн, чтобы не упасть. Забавно, что пьяный он играл лучше. Этот трубач играл сигнал «молчание», когда выносили трупы умерших. Старший отдавал приказ «внимание», и заключенные выстраивались по стойке



«смирно». На короткое время все замирало. Слышались лишь драматические звуки «молчания».

Нам с Каррионом удалось найти камеру на втором этаже под номером 68. Бойтель не захотел перебраться с нами, он любил поспать по утрам и раздобыл раскладушку, а шестой этаж был для этого идеальным местом. Хорхе Виктор, Пиньянго и остальные устроились уже с другими товарищами. Но мы собирались во время еды, и к нашей группе присоединились Манолито и Владимир Рамирес. Последний был психологом, он организовал боевую группу, которая готовила план покушения на Кастро из квартиры Владимира, расположенной напротив ресторана «Эль Кармело», часто посещаемого тираном. Заговор был раскрыт, перед арестом произошла перестрелка. Владимир и Фернандо Лопес дель Торо забаррикадировались за стенами большого колониального дома в районе Ведадо, и чтобы заставить их сдаться, пришлось развернуть крупные полицейские силы.

Обеденный час превращался в интересное собрание с различными диспутами, особенно о политических событиях. Тема всегда заострялась на падении режима, ибо ежедневно распространялись слухи о росте внутреннего сопротивления, саботаже, об увеличении числа повстанцев в сельской местности и о гигантских военных операциях, которые вынужден был проводить режим, чтобы покончить с партизанской войной.

Еду готовили уголовники. Она была настолько безвкусной, пресной, никакой, что ее окрестили словом «дура». Когда заключенные подвозили баки с едой к двери на ручной тележке, старший или решеточник — другой заключенный, который всегда сидел у решетки на случай подобного рода нужд, — кричал: «Дура прибыла... приготовьтесь!..» Это означало, что все заключенные должны построиться на своих этажах с тарелками и кувшинами. Мы сами ввозили баки и раздавали еду, для выполнения этой работы старший назначал разных узников. Спускались, чередуясь по порядку: сегодня начинали с первого этажа, завтра со второго, послезавтра с третьего и так далее вплоть до шестого, затем все вновь повторялось.

Меню было не слишком разнообразным: на обед рис с горохом, вечером кукурузная мука и жирный бульон. Обычно горох и крупы попадали в тюрьму, когда были уже подпорчены, полны червей. В таких случаях на поверхности бака плавал слой маленьких насекомых. Но даже в самых неприятных ситуациях кубинцы в силу своего характера воспринимают все с юмором, это словно выпускной клапан, снимающий драматизм с тяжелых событий. И так, когда в зернах было полно червей, решеточник оповещал:

— Горох с белком!

Много дней я жил почти на одном хлебе. В отношении еды я был несколько брезглив. Но тюрьма и голод избавили меня от этого. Несколько недель спустя я пожирал этот горох быстрее всех. Когда кто-то говорил, что еда несъедобна или плохого качества, Каррион всегда отвечал:

— Где это видано, чтобы заключенный ел для собственного удовольствия. Он ест, чтобы выжить.

Так оно и было. Приходилось есть что попало ради того, чтобы выжить, и я поставил перед собой твердую цель отбросить в сторону свое отвращение и проглатывать все, что приносили.

Еду готовили под наблюдением военных, а их революционность измерялась помимо всего враждебностью и агрессивностью по отношению к нам, поэтому с пищей случалось много происшествий.

Однажды утром сладкая вода, которую привозили на завтрак в баке емкостью 55 галлонов, из тех, что используют для горючего, оказалась странного вкуса. Когда слой воды на дне был в две-три ладони, она стала пениться. Перестали разливать и провели по дну деревянной лопаткой, которая уперлась во что-то твердое. Решили вылить весь остаток сладкой воды: на дне бака оказалось два куска стирального мыла...

Почта работала очень плохо. По прибытии нам разрешили отправить краткую телеграмму, чтобы сообщить родственникам о том, где мы находились. Тюремный распорядок разрешал также получать раз в месяц телеграмму от семьи и письмо, написанное только с одной стороны листа. Те, кто имел везение и получал письма, что удавалось далеко не всем, иногда почти не могли прочесть их, так как на них было полно штемпелей с революционными лозунгами, которые ставили при просмотре: «Родина или смерть!», «Мы победим!» и т. д., штампы ставили несколько раз одни на другие, и темные чернила штемпеля покрывали текст писем.

Вымыться в первые дни было невозможно. Воду продолжали привозить в автоцистерне, и нормы едва хватало для питья.

На рассвете и на закате переключка. Мы должны были стоять в дверях камер, по двое у каждой; остальные выстраивались на нижнем этаже. Офицеры были очень быстрыми в счете. Особенно выделялся один сержант, служивший в войсках Батисты;

он имел отличную военную выправку: шелкал каблуками и все прочее. Этому сержанту заключенные дали кличку Пингиля. Беглым взглядом он очень быстро просматривал шесть этажей, и если по форме построения во время переключки личный состав не соответствовал имевшемуся у него списку, он тотчас это замечал.

Достаточно было во время пересчета прислониться к двери камеры, чтобы заключенный был отправлен в камеры одиночного содержания, получив перед тем несколько ударов плетью от сержанта Наранхито, никогда не расстававшегося с кавалерийской саблей, унаследованной от сельской гвардии Батисты. Наранхито был настоящим садистом, он развлекался и наслаждался тем, что заставлял заключенных бежать к карцерному блоку, нанося им удары этой саблей.

За круглыми башнями в двух прямоугольных одноэтажных корпусах находились часовня и камеры, в некоторых из них обитали уголовники. В здании напротив был госпиталь. Батиста оставил его очень хорошо оборудованным: современный кабинет с рентгеновскими аппаратами, лаборатория, операционная, аптека, стоматологический кабинет и т. д., — но он крайне редко служил для оказания узникам медицинской помощи. Во всех палатах имелся внутренний дворик на открытом воздухе. Сейчас там держали Убера Матоса, который вместе с Кастро сражался в горах в звании команданте, завоеванном в бою, спустился с ним со Сьерра-Маэстры, но не согласился с марксистской ориентацией революции и написал письмо Фиделю, отказываясь от своего звания и поста командующего Повстанческой армией провинции Камагуэй. Кастро обвинил команданте в неблагодарности и предательстве и отправил в тюрьму, приговорив к двадцати годам вместе с несколькими его офицерами. Убер Матос находился под особым наблюдением. Его охранял не тюремный гарнизон, а отборная группа из политической полиции. Кастро боялся симпатии, которую питали к экс-команданте в рядах Повстанческой армии, поэтому его тюремщики были соответственно подобраны. Матоса тщательно изолировали от остальных заключенных; даже продукты во избежание любого контакта выдавали ему сырыми. Лишь в 1966 году Матос впервые выйдет из своей изоляции и вступит в контакт с другими политзаключенными.

К тому времени я получил письмо от своей матери, где она сообщала, что они с отцом посетили тюремное начальство, добиваясь разрешения увидеть меня. Естественно, без каких-либо результатов.

Получать газет было запрещено, и если конвойный обнаруживал их у заключенного, тот под градом ударов отправлялся в карцер.

Известие, слух или утка для множества узников были как наркотик. Я читал об этом явлении в книгах, рассказывающих о концентрационных лагерях, но никогда не думал, что столько людей в неволе могут жить, во многом поддерживаемые информацией. Коммунистам очень хорошо известна эта потребность и то, что она составляет опору для заключенного, так как сохраняет его связь с внешним миром. И все, что делалось, направлено было именно на то, чтобы разорвать эту связь, еще больше изолировать заточенного в тюрьму человека. В то время они были еще недостаточно опытные в этом деле. Но постепенно, по мере того как тюремный персонал и кадры политической полиции проходили подготовку в Восточной Германии и Чехословакии, их техника становилась все более изощренной.

В третьей круглой башне Макура, бывший военный, сумел смонтировать простейшее радио, сводившее с ума солдат гарнизона. Напрасно они проводили обыски один за другим, пытаясь его обнаружить. Заключенным удалось придумать язык жестов, похожий на тот, что используют глухонемые, но гораздо проще, позволяющий разговаривать с удивительной быстротой. Постороннему наблюдателю могли бы показаться сумасшедшими эти люди за решеткой, как одержимые двигающие руками, то сжимая, то разжимая кулаки или касаясь ими по несколько раз железных прутьев. Так передавались сообщения из третьей круглой башни нам, в четвертую. Их разделяла лишь узкая асфальтовая дорога. Для первой и второй круглых башен язык рук уже не годился. и общение устанавливалось с помощью азбуки Морзе. В качестве передающего устройства использовалась картонная линейка или окрашенная в белый цвет табличка. Удар боковой стороной таблички означал точку, лицевой — тире.

Когда по радио Макура слушали новости, сразу же делалось шесть копий, по одной для каждого этажа, их читали в маленьких кружках. Надо было следить за караульными на башне, но в то время охранники редко взбирались на центральную дозорную вышку. Хорошие новости до небес поднимали наше настроение...

Налаживание связи для заключенных было первоочередным делом, и нам удалось протянуть линию такой связи между двумя круглыми башнями для передачи писем. Их плотно складывали в несколько раз и запускали с помощью рогатки, сделанной из кусков резины, добытой из капельниц или от тех резиновых трубок, которыми перетягивают руку для укола в вену. Снарядом служил кусок свинца, к которому

привязывалась тонкая нить. Эта нить получалась после терпеливого распускания носка, работа как на прядильной фабрике, только наоборот.

Наша система совершенствовалась, и последним достижением явилось то, что раздобыли леску (она обладала тем преимуществом, что была бесцветной), и это позволило укрепить ее на определенном месте. Это было на пятом этаже, и ее не могли заметить охранники снизу. Все это продолжалось до тех пор, пока однажды вечером лейтенант Панек, проходя между двумя башнями, рассеянно не взглянул вверх; он восторженно и устался в высоту словно окаменев. Там перед его глазами без движения в воздухе сидела птичка... Так нас раскрыли: мы потеряли линию из-за красивой и свободной птички, усевшейся на нее.

— Обыск!

Это был клич тревоги. Казарма гарнизона находилась в глубине тюрьмы и хорошо просматривалась с четвертой круглой башни. Оттуда военные выходили на обыск. Им никогда не удавалось застать нас врасплох, ибо мы организовали круглосуточное наблюдение по одному человеку с каждого этажа; каждые два часа они сменялись, так непрерывно велось внимательное наблюдение за всем снаружи. Когда отделения охранников строились перед казармой, заключенные были уже наготове, пристально следя за каждым их движением. Если они садились в грузовики или направлялись к зданиям, бросали клич: «Обыск!» Невозможно было узнать, к какой круглой башне они направились, и тревогу поднимали во всех четырех. Тюремщиков раздражало, что им никогда не удавалось застать нас спящими, хотя наше предупреждение лишь на две минуты опережало их прибытие, этого было достаточно, чтобы уничтожить компрометирующие бумаги, спрятать радио или другую вещь.

Охранники, вооруженные мачете, палками, цепями, засунутыми в резиновые шланги, и штыками, мгновенно заполняли двор. Некоторые из них с винтовками в руках появлялись на центральной башне, чтобы наблюдать за верхними этажами и передвижением заключенных. Если они замечали что-то подозрительное, то делали предупредительный выстрел и целились в камеру, приказывая узнику поднять руки и не двигаться, пока на место происшествия снизу не подоспеет дополнительная охрана.

Внутри тюрьмы было два загона по восемьдесят метров в длину и ширину, отгороженных стальной сеткой высотой в три метра, увенчанных проволочными ограждениями в форме «V». От входа в круглые башни до этих загонов в два ряда выстраивались охранники с винтовками, оснащенными штыками, и между этими двумя рядами следовало проскочить голым с предельной скоростью. У подъемных ворот толпились военные, избивавшие выходящих из обоих рядов, они кололи нас сзади штыками в ягодицы и ляжки. После каждого обыска оставалось больше ста человек с резаными ранами плюс избитые. По возвращении повторялось то же самое.

Первой задачей после обыска было оказание помощи раненым. Если какой-либо случай представлялся тяжелым из-за того, что лезвие штыка проникло глубоко в тело, об этом сообщали дежурным охранникам, чтобы те в свою очередь проинформировали вышестоящего офицера для доставки раненого в больничку, где были сосредоточены заключенные-медики. В последующие недели у нас появились еще врачи со вновь прибывшими группами.

Среди массы уголовников, находившихся в этот момент на острове Пинос, многие симпатизировали политическим заключенным, ибо ненавидели систему. Эти люди оказали нам ценную помощь, хотя подвергали себя при этом немалому риску. Общаться с ними было нелегко, ибо им категорически запрещалось разговаривать с нами.

Через окно камеры первого этажа, выходящее на маленькую улицу, нам с Бойтелем удалось установить контакт с одним из уголовников, который сочувствовал нам. Заключенный работал в пекарне и вечером, возвращаясь в пятое здание, где жили тогда уголовники, он проходил в трех-четыре метрах от камеры; но останавливаться не мог. Каждый день мы говорили ему одну-две фразы. Они были у нас записаны, и мы повторяли их день за днем. Просили его раздобыть нам газету, а в дальнейшем забирать у нас и передавать нам корреспонденцию что для арестантов-уголовников было тогда пустячным делом.

Нам удалось убедить его. Этот человек согласился с нами сотрудничать, несмотря на то, что знал об опасности, которой подвергался. Он сделал это не ради денег. Для него это был способ противостоять режиму. Мы придумали, каким образом пронести газету. Передача должна была произойти не перед камерой, а за несколько метров до круглой башни, чтобы, если кто-то увидит это издали, не смог ничего заподозрить. Следовало опасаться не только военных, но и других уголовников, предателей и сотрудничавших с гарнизоном, которые могли донести.

В тот вечер мы с Бойтелем стояли на посту у окна, а Каррион наблюдал у двери. Когда наш человек показался в конце дороги, идя по направлению к нам, мы приготовили «снаряжение»

Подобрать газету мы собирались с помощью окрашенной в зеленый цвет нитки с куском свинца, привязанным на конце. Выстрелом из рогатки мы забросили ее через прутья оконной решетки. Я произвел бросок, и нить упала на край дорожки. Затем мы отмотали нить так, чтобы она свободно опускалась по зеленой же стене, что делало ее неразличимой.

Наш друг приближался, поглядывая украдкой на край дорожки. Бойтель слегка дернул нить, и трава пошевелилась; этого было достаточно, чтобы человек заметил нить. Он нагнулся, словно завязывая шнурок ботинка, вынул из носка сплюснутый пакетик, проделал быструю манипуляцию и продолжил путь. Всего несколько секунд. Мы подождали пять долгих, затянувшихся минут, чтобы дать нашему другу время добраться до своего здания. Затем Бойтель медленно, очень медленно потянул шнур... Вдруг появился дозорный джип, огибая здания. Мы сразу чуть выпустили нить наружу, чтобы ее не заметили, и отпрянули от окна. Уже темнело, сумерки помогли нам. Джип проехал, и, облегченно вздохнув, мы подняли пакетик. В наших руках была газета «Револусьон», официальный орган правительства, обвязанная бечевкой. С этого дня мы получали газеты довольно регулярно. Но мы не могли рассказать об этом; известно было, что среди этих тысячи с лишним человек имелись предатели. И мы с Улиесом решили издавать бюллетень с новостями, получаемыми от Макурана. Новую газету мы окрестили «Пренса либре» («Свободная пресса»).

Книги были запрещены. Имелись только две, неизвестно как уцелевшие, ибо за несколько месяцев до нашего прибытия, в конце 1960 года, тюремщики все уничтожили. Этими книгами были биография Марии Антуанетты Стефана Цвейга и «Недалекий человек» Хосе Инхеньероса. В очереди за ними стояли сотни узников.

### САМОУБИЙСТВА И ЭКСКРЕМЕНТЫ

Кахигас был крестьянином из горного района Эскамбрая, ставшего местом восстаний против Кастро с 1960 года. Несколько сыновей этого старика присоединились к группам патриотов, борющихся с коммунизмом. Старого Кахигаса арестовали только потому, что его дети находились там, в горах, и схватить их не удалось. Кахигаса отправили в тюрьму на остров Пинос. Но пытки, которым подвергли старика на допросах, довели его до умственного расстройства. Кахигаса привезли в Кампану, местечко в отрогах Эскамбрая, много лет служившее для расстрела прогвиников Кастро. Там над Кахигасом инсценировали расстрел холостыми патронами. Это сломило его окончательно. В помешательстве Кахигаса доминировала одна завязчивая идея: увидеть своих детей. Он постоянно приближался к входной решетке и звал их. Тогда караульные предупреждали старшего, и тот спускался вместе с другими заключенными, которые ласково брали старика под руки, разговаривая с ним, как с ребенком, чтобы отвести его в камеру.

Кахигас спускался не только днем, но и в предрассветные часы, когда действовал приказ стрелять в любого, осмелившегося выйти во двор. Постовых, стоявших у подъемной решетки, предупреждали о сумасшедшем старике, который являлся туда с опустошенным взглядом, всегда повторяя одно и то же:

— Я хочу видеть своих сыночков... Хочу увидеть моих деток!

Как-то одному из охранников пришла в голову мысль сказать ему, что его сыновей расстреляли.

— Слышал, старик? Твоих сыновей мы расстреляли они расстреляны... давно мертвы.

Кахигас судорожно вцепился в железные прутья решетки и зарыдал. Позвали узников, чтобы увести его. Руки старика крепко сжимали решетку, пришлось оторвать его силой. Охранник сообщил офицеру что Кахигас нарушил тишину и порядок, объяснения ни к чему не привели. Его отправили в карцер. На следующее утро, когда военный пришел проводить проверку он увидел печально расквашивающийся труп Кахигаса. Старик повесился при помощи своих брюк.

Заключенные, находившиеся в тюрьме с 1 января 1959 года, рассказывали нам, как их выводили на принудительные работы. Но с конца 1960 года эту практику прекратили. Все тюремные работы возложили на заключенных-уголовников: пекарня, кухня, кирпичный завод, каменоломни и т. д.

Нехватка воды продолжалась. Старшие круглых башен предприняли различные шаги, но все было бесполезно. При норме воды ведро на неделю мы до сих пор не могли вымыться.

Когда послышался крик «обыск!», было 8 часов утра, в такое время обходы никогда не проводились. Отделение примерно из 80 человек, в большинстве своем милисиано, вооруженное винтовками Р-2 и автоматами, осталось стоять напротив решетки. Это выглядело непривычно, они подталкивали друг друга в нетерпении, чтобы наброситься на нас. Офицеры вручили старшему список, приказав перечис-

ленным в нем лицам явиться немедленно. Список включал некоторых узников, прибывших из Ла-Кабаньи, осужденных на двадцать и тридцать лет. Каррион, Бойтель и я оказались одними из первых. Когда кончили вызывать, входную решетку подняли и приказали нам выйти. Нас построили по двое. Мы были окружены толпой военных с примкнутыми штыками: одни смотрели на нас с любопытством, другие с плохо сдерживаемой ненавистью.

— Этот контингент,— сказал один сержант,— ежедневно будет выходить на работу по приказу высшего командования. Так что теперь знайте: когда завтра вам скажут спускаться, не ждите ни минуты, иначе быстро отправитесь по камерам... Можете идти.

Такая мера всех нас сбила с толку. Однако это было динамическое изменение в тюремной рутине. Я воображал, что мы будем работать за пределами тюрьмы, когда наша колонна, прикрытая с флангов охранниками, направилась мимо госпиталя и карцерного блока в глубь территории. Подумалось, что нас выведут из задних ворот. Но произошло по-другому. Мы повернули направо, пересекли дорогу перед электростанцией и пекарней, здесь нам приказали остановиться. Работа состояла в очистке от сорняков и камней всей территории, предстояло также кирками и лопатами выкопать траншею для прокладки сточных труб. К каждому заключенному был приставлен военный. Этому охраннику полагалось наблюдать только за своим узником, причинять ему страдания и делать его жизнь невыносимой.

Бойтель, Рино Пуиг и я попали в группу, копавшую траншеи. Трое приставленных к нам военных поглядывали на нас агрессивно. Двое были молодыми, не старше двадцати пяти лет, третьему, толстому мулату, было около шестидесяти. С ними, перед тем как поехать за нами, провели беседу, говоря, что мы бездушные преступники, наркоманы, сутенеры и прочая мерзость, что мы виноваты во всем саботаже и во всех взрывах бомб на Кубе, что мы агенты ЦРУ и жаждем отдать страну для эксплуатации империализму и т. д. Двадцать лет спустя то же самое повторяли каждому новому гарнизону. Один из этих милисиано оказался племянником узника из нашей группы, и ему удалось несколько минут поговорить со своим дядей.

Солнце палило всюду, и мы попросили воды, пот лил с нас ручьями. Нас пытались заставить продолжать работу, не давая воды, но мы твердо стояли на своем, и тогда принесли несколько ведер. Мы работали внутри проволочных заграждений, поэтому во время обеда вернулись в круглую башню. Через два часа за нами снова пришли.

Бойтель, несмотря на свою худобу и слабое телосложение, довольно хорошо выносил работу. Мы с Рино старались не отставать. Я предусмотрительно захватил с собой немного соли, так как утром очень сильно потел, я знал, что в таких случаях теряется много соли, поэтому я сделал это очень кстати.

Когда солнце скрылось за горами, мы вернулись. Измученные, по уши в земле и грязи, лишенные воды, чтобы иметь возможность вымыться. Мы предпочли лечь спать на полу, чтобы не пачкать постель. Как я мечтал о ванной! Я думал при этом: такая простая вещь, доступная любому человеку, сколь бы бедным и скромным он ни был, но абсолютно неосуществимая для нас. Худшей стороной этих работ стало то, что по возвращении нельзя было смыть зловония с потного и соляного тела.

Обычно мы собирались в обеденные часы; думаю, что это нам очень помогало проглатывать наш паек. Мы обсуждали тогда последнюю новость или утку, полученные из другой круглой башни либо с новой партией заключенных. Продолжались покушения на Кастро. Возле аэропорта Варадеро группа милисиано обстреляла из зенитной батареи самолет, в котором должен был лететь Кастро. Погибли три члена экипажа: пилот-чех Мартин Клейн, второй летчик и капитан политической полиции. Кастро в последний момент отменил свой полет, что вновь спасло его. Всех военных, входивших в состав зенитной батареи, расстреляли прямо в городке. Такая практика осуществлялась по всей Кубе. Если приговоренных к смерти расстреливали в крепостях, казармах и предназначенных для казней местах, об этом знали весьма ограниченное число людей: даже запуганные родственники старались скрыть, что кто-то из их близких казнен, ибо это влекло за собой преследования, репрессии. Но политическая полиция стремилась преподать горький урок — пусть все видят и знают, что за сопротивление революции расстреливают. Эти публичные казни призваны были посеять страх среди населения.

Когда на острове Пинос построили тюремный комплекс, во всех камерах имелись унитазы, умывальники и электрические лампочки. Все это было уничтожено революцией, и только две камеры на этаже превратили в туалетные комнаты. Но почти на всех этажах унитазы и умывальники демонтировались, по мере того как в них нуждался гарнизон. Исчезли даже патроны для лампочек и выключатели. В башне осталась лишь одна лампочка в 500 или 1000 свечей, рассеивавшая ночью слабый свет по всему зданию. Круглая башня в полумраке казалась аренной для боя быков.

Уже не было ни проточной воды, ни санитарного оборудования в камерах, так что приходилось отправляться в туалеты на этажах. Там еще оставались унитазы, но пользоваться ими было неопишимо противно. Экскременты вываливались через край. В туалетах не было ни дверей, ни занавесок, ничего, хотя бы частично загораживающего или закрывающего того, кто ими пользовался. Перед туалетом стояла очередь. Ставить ноги на край унитаза было опасным делом: узники тысячи раз поскальзывались и по колено погружались в эту чашу дерьма...

### ОБЫСКИ, ИЗБИЕНИЯ, ГРАБЕЖИ

В третьей круглой башне часто проводились обыски в постоянных, но тщетных попытках найти радио, которое мы прятали. Охранники толпились у входа, безнаказанно раздавая удары штыками и цепями; жертвы выходили под градом ударов, прикрывая голову руками. Однажды узник упал на землю от палочного удара и остался лежать; остальные обходили его сбоку или перепрыгивали через неподвижное тело. Каждый был охвачен страхом. Остановиться и помочь упавшему товарищу означало получить лишнюю порцию ударов. В этих обстоятельствах брал верх инстинкт самосохранения, и все продолжали бежать... бежать.

Охранники всегда кричали. Возможно, ударить другого человека без какой-либо причины, без повода не просто даже для самых бездушных. У этих охранников были жены, дети. Некоторые жили в домиках возле выхода из тюрьмы. Они только что явились, еще неся тепло своего очага, не встряхнувшись полностью ото сна, а им уже вручали штык, цепь или палку, чтобы наброситься на людей, которые на них даже не крикнули, ни словом не обидели. Что могли чувствовать эти охранники, когда первые заключенные испуганно высовывались из-за решетки, а они должны были поднимать штыки и избивать их? Я думаю, что для совершения подобных действий человек должен оправдать их, найти внутреннюю мотивацию, а так как ее не было, приходилось ее искать в криках и оскорблениях. Конечно, существовали и прирожденные преступники, которым доставляло садистское удовольствие избивать.

Пройдя через подъемные ворота, заключенные бежали дальше к загону, уклоняясь от ударов охранников. Вдруг появился высокий заключенный-негр, полностью одетый в форму. Он был в маленьких круглых очках с прозрачными стеклами, в левой руке нес деревянную скамеечку, а в правой — веер, которым спокойно обмахивался. Это был доктор Веласко, один из наших лучших врачей. Его ни разу не удалось заставить бежать. Охранники стояли в изумлении перед этим человеком, продолжавшим медленно идти. Этот человек, о котором все говорили с глубоким уважением и любовью, вызывал у меня истинное восхищение. Мы познакомились ближе через несколько лет во время одного из внутритюремных перемещений, а затем стали большими друзьями.

Помню еще один обыск некоторое время спустя во второй круглой башне. На лестницах стояли охранники и зверски избивали спускавшихся вниз. Уже почти все мы были на нижнем этаже, кроме нескольких оставшихся. Среди них был доктор Веласко. Он шел, как всегда, медленно. Снизу друзья просили его поторопиться, чтобы избежать ударов. Когда он подошел к последнему лестничному пролету со своим неизменным картонным веером, охранники с яростью обрушили на его спину град ударов плашмя. У доктора Веласко не дрогнул ни один мускул, как будто не его спина приняла на себя наказание. Поднялся рев негодования.

— Это врач! Не троньте его! — кричали мы.

Доктор Веласко миновал последние ступеньки и, хотя удары не прекращались ничуть не ускорил свой шаг. Один из охранников, поднявшийся уже на второй этаж, вернулся, свесился с лестницы, размахивая мачете, нанес ему последний удар плашмя. Мы ожидали доктора Веласко на нижнем этаже и с тревогой подошли к нему. В своей спокойной и размеренной манере он сказал нам, что все это не важно.. и, найдя место возле башни, поставил там свою скамеечку и уселся, обмахиваясь веером. Я был уверен, что спина у него горела.

Часто прибывали заключенные из различных кубинских тюрем. В то время началась политика отдаления узника от его родных. Министерство внутренних дел отправляло заключенных как можно дальше от дома, чтобы ворота тюрем не были заполнены матерями и женами. Так, заключенных, живших в западной части острова, отправляли в тюрьмы провинции Орьенте, на расстояние восемьсот — девятьсот километров. Практически это лишало родственников возможности часто приезжать туда.

В начале 1961 года в тюрьму начался приток заключенных из числа повстанцев, действовавших в Эскамбрае в многочисленных очагах партизанской войны. От них мы узнали детали гигантской операции, развернутой правительством: более 60 тысяч

боевого состава, в большинстве своем милисиано, участвовали в так называемом «очищении Эскамбрая».

Репрессии против партизан дорого обошлись Кастро. В газете «Гранма», официальном органе партии, в мае 1970 года Рауль Кастро, подводя итоги борьбы против восставших крестьян, признал, что армия потеряла более 500 человек убитыми, а общие затраты составили свыше 800 миллионов песо. Существовало 179 партизанских отрядов, в которых участвовал 3591 человек, признал брат Фиделя.

Чтобы скрыть факт мощного сопротивления крестьян коммунистическому правительству, их называли бандитами и создали специальные антиповстанческие силы. Стремясь уничтожить партизан, расстреливали не только их, но и крестьян, служивших проводниками и связными. Большинство крестьян этой зоны не поддерживали режим Кастро, и те, кто не участвовал в партизанских отрядах, сотрудничали с ними в самых разных формах. Эти земли очень плодородны, и крестьяне выращивали бананы, всевозможные клубни и фрукты, разводили свиней и птицу на своих маленьких участках, и правительство считало их источником снабжения повстанцев. Для того чтобы лишить последних этой поддержки, правительство разработало «план сосредоточения». Все проживавшие в Эскамбрае и его отрогах семьи были выселены.

В день, когда началось выселение, грузовики Института аграрной реформы и советские военные «ЗИЛы», полные солдат, остановились перед бедными лагунгами. Крестьянам разрешили взять с собой лишь кое-какую одежду и личные вещи. Фрукты, птица, свиньи и другой скот были конфискованы ИНРА — Национальным институтом аграрной реформы. Уничтожили посадки, подожгли дома и отравили воду в колодцах. Политика выжженной земли с целью уничтожения источников снабжения партизан осуществлялась методично. Женщины и дети были разлучены с мужчинами и отправлены в Гавану. Их поселили в домах роскошного района Мирамар, но заперли там как в тюрьме. Не довольствуясь этим, объявили женщинам, что они должны отправиться в поле на сельскохозяйственные работы. Старухи оставались заботиться о детях.

Мужчин вывезли на полуостров Гуанакабипе в самой западной и самой необжитой части Кубы, за сотни километров от театра военных действий и своих родных. Эти крестьяне никогда не представляли перед трибуналами, не были на судебном процессе, но они являлись заключенными. За попытку к бегству им пригрозили расстрелом, а также репрессиями против родственников, о судьбе которых эти несчастные ничего не знали. Их заставили работать в сельском хозяйстве и строить концентрационные лагеря Сандино-1, 2 и 3, существующие до сих пор.

Когда сооружение этих трех лагерей закончили, крестьянам сказали, что они должны построить городок, и когда закончат его, то будут жить там со своими семьями.

Воодушевленные этой надеждой, люди трудились день и ночь, возводя блоки зданий. Когда они закончили работу, туда привезли женщин и детей. Таким образом, задолго до появления стратегических деревень во Вьетнаме Кастро практически реализовал это на Кубе. Первое такое поселение назвали Сандино. Жители его не могли выезжать за пределы данной провинции. Тем самым хотели воспрепятствовать попытке их возвращения в горный район. Эта стратегическая деревня существует до сих пор.

## НА ПОРОХОВОМ ПОГРЕБЕ

...Каррион спал на верхней кровати, ему снились дурные сны, и его надо было встряхивать, чтобы разбудить. Когда я услышал треск пулеметов и орудийные раскаты, то одним прыжком оказался у окна. На вершинах холмов я увидел красные и оранжевые вспышки выстрелов от установленных там батарей. Синеватое небо бороздили тассирующие пули, направленные против невидимой мне цели.

Я тряхнул Карриона и поспешил наверх, чтобы лучше рассмотреть, в чем дело.

В круглой башне поднялась всеобщая тревога и огромное смятение.

— Нас атакуют! — кричали одни.

— Нас обстреливают! — говорили другие.

Но было очевидно, что цель обстрела не круглая башня.

Я поднялся на шестой этаж. Многие смотрели в окна, встав на консервные банки, на кровати или приподнявшись на цыпочки и взявшись руками за прутья решетки.

Почти над нами грибами черного дыма взрывались зенитные снаряды, а между ними медленно летел самолет-бомбардировщик «Б-26». Его серебристый фюзеляж блестел под утренним солнцем, и взрывы сопровождали его полет.

Я увидел, что самолет стал удаляться по направлению к устью реки Лас-Касас. По нему открыли стрельбу с одного из кораблей морского флота. Это был фрегат «Байре». Пилот заметил его и вошел над кораблем в пики, стреляя из пулеметов. Я смотрел на все это как в кино. Фрегат начал двигаться, чтобы не быть мишенью для

самолета, тот выпустил первую ракету, и высокий фонтан воды поднялся перед носом корабля, который стал удаляться на полной скорости.

Начиналось вторжение на Кубу в Баиа-де-Кочинос (заливе Свиней).

Это событие вызвало чрезвычайное возбуждение среди заключенных. Мы сразу же извлекли из тайника радио и включили его.

Внезапно вокруг круглых башен развернулись военные грузовики, из них выскочили солдаты, в основном милисиано, и стали стрелять в окна. Группа солдат подбежала к подъемным воротам. На нижнем этаже никого не было. Они просунули дула автоматов между решетками и выпустили несколько очередей, пули заскрежетали, ударяясь о стены и отскакивая рикошетом от железных прутьев. Я пригнул голову и рухнул на пол, и хотя не успел посмотреть по сторонам, был уверен, что другие сделали то же самое.

Круглая башня была полностью оцеплена. Затем старшего — Лоренсо — вызвали к подъемным воротам.

До шестого этажа долетали громкие крики офицеров и приказы, которые Лоренсо должен был нам передать.

— Сеньоры... по распоряжению свыше у них инструкция стрелять в тех, кто будет высываться в окна! Если у кого-то снаружи сушится одежда, немедленно убрать ее. На это дают три минуты. После чего будут стрелять...

В это время обычно привозили сигареты, консервные банки с молоком, сахар и галеты, купленные родными заключенных на маленьком тюремном базарчике. Родственник по непомерно высокой цене делал покупку, до которой не мог даже дотронуться, затем ее передавали узнику. Для этого использовался грузовик гарнизона. Один наш товарищ, Санчес, отвечал за доставку пакетов, он раскладывал их на нижнем этаже, называя затем получателей для вручения.

В этот день после обеда покрытый брезентом грузовик с вооруженными солдатами, сопровождаемый двумя автоматчиками, затормозил у подъемных ворот. Кто-то в шутку крикнул:

— Санчес, пакеты!

Но это были не пакеты, по крайней мере не для нашего потребления, хотя и предназначенные для нас. То были ящики с шашками динамита канадского производства.

Военные под руководством майора Уильяма Гальвеса начали разгружать грозный товар. Один из офицеров подозвал Лоренсо и сказал ему, что всю переднюю часть круглой башни надо освободить, а заключенных, пока не закончится операция, отвести дальше вглубь. Динамит был сложен в подвал.

На следующее утро военные с пневматическими молотками начали работать внутри туннеля. Они просверливали фундамент гигантского сооружения для закладки динамита, который теперь приобрел для нас зловеющий смысл: заставить нас взлететь на воздух.

С бурившими отверстия военными прибыли техники-подрывники, мы увидели разгрузку ящиков с детонаторами, мотками запальных шнуров и всем комплектом материалов для проведения взрывов.

Мы продолжали получать сообщения международной прессы. Товарищи, занимавшиеся радио, работали без отдыха, два дня почти не спали. На рассвете радиостанция «Сван», вещавшая на Кубу, передала призыв к силам внутреннего сопротивления с просьбой о помощи вторжению.

В других сообщениях говорилось, что силы вторжения, сметая все на своем пути, победно приближаются к Гаване. Это была ложь, вторжение было разгромлено. Кастро, тот самый, который тысячу раз заявлял, что он не коммунист и что революция зеленее пальм, сбрасывал обманувшую многих маску, провозглашая истинную природу революции, какой она была всегда: тоталитаризм. «Это социалистическая революция, — заявил он, — и мы защитим ее этими винтовками. — И закончил в откровенно коммунистической манере: — Да здравствует рабочий класс! Да здравствуют крестьяне! Да здравствуют бедняки! Да здравствует социалистическая революция! Родина или смерть! Мы победим!»

Его речь прерывала клака, выкрикивая партийные лозунги: «Фидель, Хрущев, мы с вами!»

С момента первой атаки 15 апреля, когда «Б-26» бомбили аэропорты в различных частях острова, правительство развязало жестокие репрессии против всех, кто считался не сочувствующим режиму. По всей стране арестовали 500 тысяч человек.

Преследования и репрессии проявились в самой разрушительной форме. Каждый гражданин считался потенциальным врагом. Если он не служил в вооруженных силах или в милиции и не мог подтвердить свою революционную активность, его арестовывали.

Данные о числе расстрелянных в те дни по всей Кубе отсутствуют; известно, что карательные отряды действовали в Пинар-дель-Рио, на базе в Сан-Антонио-де-лос-



Баньос, в крепости Морро, в Ла-Кабанье, в крепости Сан-Северино в Матансасе, в Ла-Кампанье, в Камагуэе и в Орьенте. На этот раз обошлись даже без гробов, с трупов снимали одежду и хоронили в полиэтиленовых мешках.

Ободренные победой, тюремные власти обрушили на нас еще более жестокие репрессии, нам официально сообщили, что динамит останется под фундаментом, чтобы взорвать нас при новой попытке вторжения.

Многие из нас отказывались признать наличие динамита, нашлись и такие, кто утверждал, что в этих ящиках нет взрывчатки, что все это большой фарс, цель которого запугать нас. Другие признавали сам факт, но ставили под сомнение намерение использовать динамит для взрыва, рассматривая его как инструмент политического шантажа. Здесь срабатывали сложные механизмы самозащиты. Согласиться с тем, что мы живем на пороховом погребе, было тяжело.

Мы обратились к содержащимся в тюрьме трем офицерам Центрального разведывательного управления с целью узнать их мнение. Это были специалисты по взрывам и разрушениям, в особенности Касуэлл; им предоставили всю необходимую информацию даже образцы взрывчатки, детонаторов и т. д., раздобытые Луисом Лемусом, американчиком, которому удалось пробраться в подвал по одному из маленьких вертикальных туннелей, где были проложены трубы.

Американские специалисты пришли к выводу, что все было готово к тому, чтобы мы взлетели на воздух, установлена двойная система взрывателей, электрическая и механическая, на случай осечки. Взрывчатки было достаточно, дабы превратить здание в развалины; то же должно было произойти с другими круглыми башнями, куда в тот же день заложили динамит.

Операцией руководили команданте Гарсия Оливера, начальник инженерного корпуса армии, и капитан политической полиции Марио. Группе техников, возглавляемой худым и грубым военным по прозвищу Чанито, вменялось в обязанность ежедневно проверять установленное ими смертоносное устройство.

В глубине карцерного блока, примерно в двухстах пятидесяти метрах от круглых башен, за маленьким холмиком находилась кабина, откуда предстояло взорвать снаряды. Взрыв оказался бы таким мощным, что виновники его тоже погибли бы превратив всю тюрьму в выжженный кратер.

Однажды утром солдаты и техники начали сгружать с нескольких грузовиков ящики и выносить из подвала другие. Они заменили динамит более надежной и мощной взрывчаткой, которая взрывается лишь с подрывным патроном из другого взрывчатого вещества. Башню во дворе заполнили тонной тринитротолуола, превратив ее в гигантскую подрывную шашку из толстого бетона, взрыв которой повысил бы температуру, рассеял осколки и дал взрывную волну, достаточную для уничтожения всех нас.

Группа наших специалистов-подрывников посвятила себя задаче организации команд, способных расстроить планы властей ликвидировать нас. Об этих командах знали немногие; они работали тайно, всю их деятельность удалось держать в полном секрете. Вся наша энергия сосредоточилась на обезвреживании взрывчатки. С нами сотрудничали даже предатели, уверенные, что они взлетят как и все остальные, ибо когда коммунисты решат нас убить, они не пощадят и их.

Американчик продолжал обследовать подвал. Он поднял образцы брошенных там запальных шнуров и нарисовал план расположения зарядов.

Вначале была обезврежена механическая система с запальным шнуром под названием примакорд. Ответственные за работу выполнили ее безукоризненно.

Электрическая система оказалась гораздо сложнее. Ее обезвредили с помощью электрического мостика, изменявшего направление движения тока.

Однако все эти меры предоставили бы в наше распоряжение всего несколько минут. Ибо убийцы, увидев, что тринитротолуол не взорвался и мы не погибли, прибегли бы к другим методам, чтобы нас уничтожить. Хватило бы нескольких пушечных выстрелов по любой из круглых башен, ибо каждая из них оставалась пороховым погребом.

Для этих нескольких минут наши боевые группы выработали план атаки. Частично перепилили решетки некоторых окон, а другие оставили подготовленными, чтобы их можно было сбросить вниз после нескольких быстрых ударов. Сняв крышку с одного из канализационных люков размером почти в один квадратный метр, мы выкопали под фундаментом туннель, выходящий на поверхность в нескольких метрах от башни, который мы совсем немного не довели до поверхности земли.

Никто не мог гарантировать, что проделанная работа даст ожидаемый результат: в чем не было сомнений, так это в преступном намерении взорвать тысячи политических заключенных. После проделанной работы нам удалось передать разоблачение этого замысла за границу. В Майами были опубликованы статьи о чудовищных планах правительств. Но все обращения наши и наших родственников в международные организации, особенно в комиссию ООН по правам человека, оказались тщетными. Никто не уделил внимания варварскому акту, планировавшемуся кубин-

ским правительством. Не раздался ни один голос протеста. Премьер-министры цивилизованной Европы обнимались с Кастро и посылали ему миллионы долларов.

### КАРАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

После провала вторжения в Баиа-де-Кочинос условия содержания стали более суровыми. Ощущалась нехватка продуктов питания. Привозили баки с жирной водой, в которой плавало немного клубней картофеля, тыква или батат, часто грязные и гнилые. От узников из четвертой круглой башни, работавших на кухне, мы знали, что на 6 тысяч заключенных полагалось 50 килограммов фруктов, то есть меньше полкило на 50 человек. Это и составляло нашу еду. В хлебе не было ни капли жира, только соль, да и то не всегда. Он казался резиновым, его можно было растянуть в длину больше чем на треть, так и не разломив.

В те месяцы на острове Пинос появилась гуанина, маленький стручковый плод вроде чечевицы, похожий на нее по цвету, но отвратительный на вкус. Думаю, что его используют для корма скоту, смешивая с другими компонентами, ибо сам по себе он почти не имеет питательного значения. Люди в пищу его не употребляют. Но тюремные власти это мало волновало.

Одним из комбинированных блюд, которые нам давали, была гуанина с кукурузной мукой, очень горькой и полной червей. Испорченные по разным причинам продукты направлялись в тюрьму. Рис тоже был неприятен на вкус и с червями. Перед варкой его не промывали. В это время появились спагетти, ставшие в последующие двадцать лет одним из основных продуктов питания кубинского народа. и заключенных, само собой. Но не воображайте себе вкусное блюдо из итальянских макарон. Те, которыми кормили в тюрьме, варили с минимальным количеством соли, ничего не добавляя, и они слипались в лепешку. Приходилось разрезать эту лепешку на куски и, чтобы проглотить ее, добавлять немного сахара. Существовавшую прежде продажу нам растительного масла, соли и специй отменили. В еде полностью отсутствовали белки. Однообразие этой диеты, лишенной витаминов и других необходимых для организма компонентов, проявится позже, когда скажется действие авитаминоза и недостатка белков.

...Сознание того, что мы живем на матрасе со взрывчаткой, расшатало нервы одним заключенным и стало катализирующим фактором полного сумасшествия других, охваченных животной паникой.

Две ночи подряд нас будили душераздирающие вопли заключенных, бросившихся во двор с верхнего этажа. Один из них находился в этой тюрьме уже два года, другой прибыл с последним этапом из провинции Орьенте. Помню, что его звали Артуро — так как я неоднократно разговаривал с ним.

Каждый раз, когда группа техников под командованием Чанито входила в подвал у многих заключенных начинался нервный припадок.

— Они там, внизу.. Наверняка подводят соединительные шнуры к взрывчатке чтобы взорвать нас!

Был июнь. Однажды ночью под проливным дождем Чео Герра, Педро Пабло Осорио по прозвищу Мексиканец, Эдмундо Амадо и еще двое решили бежать. Они перепилили решетки на окне, выходящем к больнице. Дождь лил как из ведра, его шум оглушал. В таких условиях прожекторы были бесполезны, так как водяной занавес не давал их лучам пробиться. Беглецам удалось спуститься без помех, но они смогли отдалиться от тюрьмы лишь на несколько метров. Вспыхнула перестрелка, немного приглушенная шумом дождя, была поднята тревога, и их схватили. Промокших до нитки, их тут же зверски избili. Охваченные слепым гневом военные не могли даже дожидаться, пока тех отведут в карцер, где они пробудут долгие месяцы. Чео Герра попал в эти мрачные камеры второй раз, но не последний.

На следующее утро начальник тюрьмы лейтенант Хулио Таррау предстал перед гарнизоном. В поднятой руке он сжимал русский пистолет Макарова, и хотя никто и никогда не видел лейтенанта Таррау в качестве стрелка, ему казалось, что оружие придает ему больше смелости и авторитета.

— Кто пошевелится, убью сукина сына! По стойке «смирно» всем встать около своих камер!

Гарнизон из 200 человек приготовился к обыску, заполнив нижний этаж. Первый ряд охранников лишь со штыками и палками в руках, солдаты, вооруженные винтовками с прижатыми штыками.

— А ну-ка! — продолжал Таррау. — Всем раздеться перед своими камерами!

Мы с Каррионом разделись. Рядом с нами, у соседней камеры, экс-капитан Тапанес из города Карденаса и его товарищ Чавес тоже разделись.

На четвертом этаже кто-то не снял трусы. Лейтенант Таррау приказал ему спуститься. Когда тот спустился, Таррау сам толкнул его, и на узника набросилась

группа охранников; сраженный градом ударов, тот сопротивлялся лишь несколько секунд. Шатающегося, еле державшегося на ногах, его потащили к карцеру, на ходу раздирая ему трусы в клочья.

Во всей круглой башне поднялся ропот протеста и возмущения. Таррау взвел курок пистолета, охранники подняли винтовки. На башне привели в движение пулеметы, направив их на стоящих перед камерами заключенных. Красноречивость винтовок восстановила тишину.

Позже я узнал, что этот человек не снял трусы потому, что, когда сражался в горах вместе с Фиделем Кастро, вражеской миной ему оторвало член и один семенник.

Зрелище было впечатляющим. Единственное, что можно было делать в такой момент, это смотреть. Сотни голых мужчин образовали сюрреалистический легион, стоя навывтяжку в ровном строю. Никогда не забуду эту сцену из-за ее абсурдности, нереальности.

— Первый этаж, спуститься!

Приказания отдавал только Таррау. Он был в гневе. Он был начальником, а у него пытались сбежать.

Заключенные начали спускаться, и им приказали стать лицом к стене рядом с умывальниками. Толкали и били всех подряд. Когда мы находились внизу, гарнизон поднялся в камеры. Прошло пять или шесть часов, а мы все еще продолжали стоять. Ноги у многих стариков распухли. Нельзя было поднимать голову из опасения быть избитым и отправленным в карцер.

Когда решетка подъемных ворот опустилась за последним охранником, мы смогли вернуться в наши камеры. Больше тысячи голых заключенных заполнили лестницы, все жаждали пройти первыми не столько для того, чтобы увидеть, что там натворили, сколько чтобы прикрыться. Нет ничего более унижительного, заставляющего человека чувствовать себя в самом неприятном положении, чем нагота, в особенности вынужденная, перед лицом врага.

Мы вошли в свои камеры. По полу разбросаны немногие наши вещи: нижняя одежда, носки, форма и подушки. Сверху на них высыпана поджаренная пшеничная мука и сахар, которые у нас на исходе, и это наши единственные съестные припасы, заботливо сберегаемые, чтобы немного утолить голод. Вдобавок на все вылили воду из ведра.

После побега Чео и Мексиканца часовые с собаками стали совершать ночной обход вокруг башен. Охранник приходил в 6 вечера с винтовкой на плече и прогуливался, глядя на окна. Обходя башни вокруг, он встречался с другим часовым, который таким же образом наблюдал за третьей круглой башней. Они останавливались, беседовали несколько минут и вновь начинали столь монотонный и скучный для них обход. Эта привычка охранников поболтать друг с другом очень нам в будущем пригодилась.

Наша камера на втором этаже стала местом собраний группы друзей, почти все были студентами. Обычно мы читали вслух стихи, Вильянуэва исполнял свои последние песни, или же мы смеялись над карикатурами Диаса Ланса.

Часто прибывали этапы из различных тюрем Кубы. С одним из них, следовавшим из Ла-Кабаньи, появился Бенито Лопес, торговец, арестованный только за то, что открыто заявил о своем неприятии коммунизма. Его отказ поддержать действия толпы и выражение им своего недовольства по поводу революционного курса страны послужили достаточным основанием для председателя комитета защиты революции, который донес до него в политическую полицию. Поэтому Бенито пребывал здесь в смятении и глубокой печали. Одним из предъявленных ему ужасных обвинений было то, что он отправил своего сына Рубена в Соединенные Штаты.

Бенито оказался на нашем этаже. Меня тронула его печаль, и я попытался ободрить его. Из-за избытка заключенных в камере содержалось до четырех человек. Бенито попал в камеру Селестино Мендеса, рядом с моей, но спать ему приходилось на полу, что заставляло его подниматься очень рано. Я предложил ему приходить в мою камеру днем отдохнуть на моей убогой кровати. Так началась наша дружба, и мы оба были далеки от мысли, что однажды станем одной семьей. Не знаю, как ему удалось сохранить крошечные фотографии своих детей. Самая младшая, Марта, была девочкой в круглых очках. Когда я увидел это фото, то не нашел в ней ничего особенного.

## ПОДГОТОВКА К ПОБЕГУ

После провала в Баиа-де-Кочинос Бойтель, Улиссес и я, проанализировав политическую ситуацию, пришли к выводу, что революция останется у власти на долгие годы. Перед подобной перспективой был только один выход: пытаться бежать. Эта мысль, эта иллюзия живет в глубине души каждого узника, но не все приступают к реализации своего стремления, и не только из-за недостатка решимости и смелости,

их сдерживают определенные факторы: семья, мало шансов на успех и много на гибель. Другие просто плывут по течению, полагаясь на ход событий. Таких во всех тюрьмах мира большинство.

С момента, как мы замыслили бежать, наш ум непрерывно был занят этой темой. Каждый думал, анализировал и представлял себе, как это сделать. Это были дни напряженных совещаний: один предлагал план, другие его обсуждали. Мы отвергли классический метод разрыва проволочных заграждений, когда стальная сетка перекусывается мощными плоскогубцами и образуется проход. Побег с применением насилия также был невозможен, в этом случае вероятность успеха была незначительной. Все должно было быть предельно просто, чтобы не вызвать подозрений.

На стадии изучения на меня возложили задачу составить карту окрестностей. На нее требовалось с максимальной возможной точностью нанести дороги, подъемы, посты, все, что могло представить интерес в момент побега. Несмотря на то, что с пятого этажа открывался вид на много километров вокруг, нам удалось достать с помощью Таси, узника, сопровождавшего детей Батисты во время их поездок за границу, маленькую подзорную трубу, сделанную здесь же из тайно переданных стекол. С ее помощью можно было разглядеть объекты, расположенные несколько ближе, и я днем и ночью проводил многие часы, внимательно изучая окрестности. Постепенно на карте появлялись новые детали: маленькие лагеря милисиано на северо-западе, конная застава с другой стороны кордона, среди сосен: мы обнаружили ее по сигаретам, которые там курили по ночам.

Кроме того, я изучал все передвижения гарнизона. Нам удалось уговорить решеточника, которому разрешалось иметь часы, одолжить их нам. Это явилось большим подспорьем. Теперь я смог засечь, сколько времени требовалось военному, чтобы дойти от казармы до последнего видимого поста или до дома на востоке, за сосновым лесочком, где была скрыта еще одна палатка охранников. Этот дом играл важную роль: благодаря ему нам удалось бежать из тюрьмы. В доме охранники стирали и гладили форму. Можно было увидеть раскачиваемые ветром длинные веревки с сохнувшей оливково-зеленой одеждой. Подготовка к побегу требует крайне активной деятельности, учета тысячи деталей, каждая из которых важна сама по себе. Еще один из сотрудничавших с нами уголовников оказал огромную помощь. Мы общались с ним из-за необходимости поддерживать связь с внешним миром. У Бойтеля и Улисеа были люди, которые могли решить все возникающие у нас проблемы. Кроме того, Генеральное управление тюрем и исправительных заведений в качестве акта великодушия предоставило нам возможность двух свиданий в год, в июне и сентябре. Это было настоящим событием для тюрьмы. А для нас и для наших планов бегства — просто благословением.

Решено было бежать переодетыми в форму милисиано: оливково-зеленые брюки, синяя рубашка, черный берет, оливково-зеленый ремень и черные сапоги. Почему милисиано? Потому что они постоянно входили и выходили, вокруг было много лагерей милиции, и легче было смешаться с ними, чем с солдатами постоянного гарнизона.

Необходимая нам информация поступала через уголовников. Этими контактами занимался Бойтель. Улисеа был ответственным за форму. Я — за наблюдение и другие детали. С нами собирался бежать четвертый человек, Бенхамин Брито, на него возлагалась роль проводника и лодмана. Брито был моряком, специалистом по всем морским вопросам. Он знал все болота острова, так как занимался охотой на кайманов в этих местах.

Подсчитывая шаги охранников с часами в руке, я сделал модель для расчета времени и расстояния между различными пунктами — от будки до казармы, от казармы до нашей круглой башни... Время смены караула также было важно, ибо, если побег произойдет вскоре после того, как часовой займет пост, мы рискуем потерпеть неудачу, так как сменный караульный еще бодр. Совсем другое дело последние часы смены, когда часовой уже устал и мечтает уйти. В это время он уже не так бдителен и внимателен.

Я знал, что расстояние между будками было пятьдесят метров, и исходя из этого наблюдал за группой военных, чтобы определить среднее время, затрачиваемое ими на этот путь. Получив эти данные, я должен был заключить, сколько времени необходимо затратить военному на проход от казармы до домика, где стирали белье. Этот расчет я делал исходя из первого затраченного времени, а также зная, что расстояние между этими пунктами было около четырехсот метров.

Мы раздобыли на время два стекла для более мощной подзорной трубы. Трубки мы сделали из картона, склеив их пастой из макарон. Внутри их окрасили в черный цвет с помощью дыма и копоти от бензина, который иногда раздобывали у охранников решеточники для борьбы с клопами.

Подзорная труба разбиралась, и я всегда из осторожности держал ее разобранной, когда ею не пользовался. Ее стекла были более сильными и позволяли видеть на

гораздо большее расстояние. Спрятать стекла было очень просто: каждый раз после пользования я погружал их в ведро с водой, и даже если проходил обыск, охранники, как ни смотрели, не могли их заметить.

Нам нужны были рубашки и береты милисиано. Брюки старой армии цвета хаки, бывшие частью нашей формы, мы могли покрасить в оливково-зеленый цвет. На многих брюках от носки и частой стирки стерлась буква «П». Военные ремни нам выдавали как часть формы заключенных. Сапоги уже имелись. Нам требовались маленькие пилочки, чтобы перепилить прутья, кубинские и американские деньги, аптечка для оказания первой помощи, большие ножи, таблетки для очищения воды и еще уйма вещей.

Наконец настал день свидания. 1200 заключенных должны были встретиться со своими родными в одно и то же время и в одном и том же месте: в загоне площадью восемьдесят квадратных метров, окруженном высокой проволочной сеткой. В 1960 году там разрешили одно посещение, это же по количеству встречавшихся родственников и заключенных было беспрецедентным.

Столица острова Пинос Нуэва-Херона расположена в нескольких километрах от тюрьмы, с которой ее соединяет шоссе, пересекающее реку Лас-Касас и приводящее прямо к тюремным воротам. Вместительность гостиниц Нуэва-Хероны и ее окрестностей очень ограничена: всего два отельчика и несколько маленьких гостевых домов. А во время свиданий в июне прибыло около 4 тысяч человек. Они спали в парках, под дверьми, прямо на улицах. С вечера они направлялись к воротам тюрьмы и выстраивались там в длинные очереди, нагруженные пакетами с продуктами, которые им разрешили принести.

Бойтель, Улиссес и я приготовили три крошечных записки одного содержания в надежде, что хотя бы одна пройдет через обыск незамеченной. В записке Бойтель просил у своих союзников снаружи все необходимое для побега, объясняя, как это передать, кроме того просил обеспечить, чтобы в определенной точке побережья в указанный день и час (которые мы уточним при следующем свидании) нас подобрало судно. И просил дать ответ. Записки были зашифрованы, а ключ к шифру следовало передать устно во время посещения человеку, ответственному за связь. Это было слово из пяти букв, не забытое мною, ибо являлось фамилией Учителя, Апостола кубинской независимости: Марти.

На рассвете мы были уже на ногах, стояли в очереди в туалет, брились, готовились вовсю. Тщательно осматривали одежду, чтобы не вынести в ней клопов. Эти отвратительные насекомые являлись неистребимой язвой. Шесть этажей нашего гигантского здания были полны клопов. Борьба с ними велась постоянно. Но они укрывались в самых невообразимых местах: в подметках ботинок, пряжках ремней, швах одежды... Десятилетние просьбы к дирекции тюрьмы обработать камеры, потравив клопов, оставались безрезультатными. Таким образом, ко всем нашим страданиям добавлялось еще и это бедствие. У меня склонность к аллергии, и укусы клопов, превращаясь в большие волдыри, досаждали мне по несколько дней.

\* \* \*

В 7 часов утра отделение охранников, которым предстояло обыскать нас перед посещением родственников, прибыло к подъемным воротам. Решеточник велел заключенным приготовиться, так как через несколько минут всех будут вызывать по списку.

Первые уже выходили. Следовало раздеться донага. После этого охранник осматривал одежду шов за швом, штанину внизу, двойную подкладку ширинок... Засовывали руку в ботинок, ища записку, любую бумажку. Так же проверяли носки. Приказывали поднять руки, чтобы осмотреть подмышки. Мы толпились на выходе у решетки, следя, как обыскивают остальных. Если меня будут обыскивать так же, как тех, за кем я наблюдал, все будет в порядке. Когда подошла моя очередь, я занервничал, но спрятанную записку обнаружить было крайне сложно: плоское сложенная, она почти не выпирала, кроме того была завернута в защитный полиэтилен и запечатана варом. Рядом со мной обыскивали Улиссеса. Вызывали в алфавитном порядке помимо номера заключенного, поэтому Бойтель оказался одним из первых, и все обошлось без проблем. Когда охранник вернул одежду мне, я почувствовал большее облегчение. Обыск был тщательным, но недостаточным: записки удалось пронести, приклеив их липким пластырем за мошонкой.

Когда все заключенные находились в загоне, снаружи на каждом углу поставили охранника, вооруженного винтовкой. Мы все смотрели на дорогу, откуда должны были появиться наши родственники, ожидавшие со вчерашнего вечера перед тюрьмой под открытым небом, улгившись на обочине шоссе под деревьями, справляя нужду среди росших по краям кустов. Наконец появилась эта толпа наших близких!

Процессию открывал военный, шедший на несколько метров впереди, которого никто не мог ни обогнать, ни приблизиться к нему.

Открыли дверь, и мы столпились в ожидании. Те, кто уже различал кого-то из своих, кричали и махали руками. Когда они вошли, можно было видеть горестные, драматические сцены: женщины, за ними дети с плачем обнимали узников. Моя мать и сестра прибыли с одной из первых групп. Мужчинам было запрещено входить в загон; они оставались снаружи, по ту сторону ограды. Там стоял и отец. После моего ареста и последующих сообщений в газетах он подвергся гонениям. Во время свидания все стояли на ногах или сидели на земле под беспощадным солнцем, которое в июне в тропиках изматывает до изнеможения.

Не было воды, а дети хотели пить. Взрослые стойчески переносили это долгое пребывание под палящим солнцем. Некоторые родственники падали в обморок. Свидание закончилось в 3 часа дня. Старушки едва не валились с ног после стольких часов под солнцем.

Семьи не могли сразу же уйти, их задержали в тюрьме, пока не пересчитали нас и не убедились, что никто не сбежал. Дети кричали отцам:

— Прощай, папочка! До свидания, папа!

Один из них, обнимая своего отца за шею, просил его, чтобы тот не оставался здесь, а вернулся с ним домой. Он безутешно рыдал, и эту душераздирающую сцену прервал военный, ворвавшийся в загон и подгонявший задержавшихся родственников криками:

— На выход!.. Свидание закончено!.. На выход!

Когда все ушли, нас пересчитали, а по возвращении в круглую башню снова заставили раздеться. Вначале большинство испытывало тоску, мы шли с опущенными головами. Но уже внутри мы собрались с друзьями поговорить о посещении, семейных новостях, политических событиях, слухах.

### МАРТА ПОД ДОЖДЕМ

Мы были полны нетерпения в ожидании дня побега. Когда эта мысль проникает в мозг узника, она превращается в неодолимое желание. Я не мог дожидаться часа, когда мы попытаемся развеять миф, порожденный охраной этой тюрьмы: что оттуда невозможно бежать. Кроме того у нас имелись еще и политические причины для побега. В октябре намечалось важное совещание в Пунта-дель-Эсте в Уругвае, созданное ОАГ (Организацией американских государств), и мы мечтали появиться там, чтобы сообщить о положении на Кубе, разоблачив нарушения прав человека в тюрьмах.

Я составил план всех окрестностей тюрьмы, самый подробный — юго-восточной зоны, это направление мы избрали для побега, чтобы избежать поселков и дорог. Мы ждали только ближайшего свидания, чтобы подтвердить ответ на наше послание связным за границей: они должны были прислать судно, которое подобрало бы нас в одном пункте на побережье. Дату нам предстояло определить во время сентябрьского свидания.

Однажды Улисс предложил бежать исходя из того, что у нас уже имелось, попытавшись на месте найти способ выбраться с острова Пинос. Бойтель категорически отказался. Мне тоже это показалось опрометчивым. Я считал, что предпочтительнее принять все меры предосторожности, ибо именно от этого, от кажущихся незначительными деталей, зависит успех всей операции.

Бойтель спал почти до полудня, а леглся очень поздно. Мы разговаривали до тех пор, пока не давали сигнал отбоя. В любом случае мы продолжали говорить всего несколько минут, потому что шепот мешал узникам из соседних камер.

Каждую ночь в эти минуты перед сном я думал о своей семье, вверяя себя Богу, прося его укрепить мою веру и не позволить тюремщикам подавить меня духовно, унижить мою душу, сея в ней злобу и ненависть. Я постоянно был озабочен тем, чтобы не погрузиться в уныние и отчаяние, причинявшие столько боли многим из находившихся здесь. В моих беседах с Богом, в одиночестве этих минут я продолжал постигать сущность веры, которая в течение долгих лет будет подвергнута титаническим испытаниям на стойкость, но выйдет из них победительницей. Более двадцати лет спустя в политической полиции со злобной завистью вынуждены были признать, что я всегда смеялся. У меня отняли небо, свет, воздух, но не смогли отнять мою улыбку. И я считал это победой любви над ненавистью.

В моем мучительно тревожном состоянии дни тянулись слишком медленно. Обыски участились, репрессивные меры усилились. Достаточно было заключенному во время переключки опереться плечом о стену камеры, положить руки на пояс, скрестить или поднять их, как ему приказывали спуститься и под градом ударов отправляли на несколько месяцев в узкие камеры карцера. Лейтенант Хулио Таррау,

начальник тюрьмы, установил режим террора. Этот человек, метис, член коммунистической партии с 40-х годов, не упускал случая излить свою ненависть на политических заключенных. Именно Таррау назначил начальником внутреннего распорядка лейтенанта Бернардо Диаса, своего старого товарища по партии.

Рассвет 5 сентября был серым и дождливым. К Кубе приближался один из типичных карибских циклонов, и перед его началом часто шли проливные дожди с ветром. Свидание в этот день представляло для нас огромную важность, а для меня несравненно большую, ибо, хотя я об этом даже не подозревал, во время него я познакомился со своей будущей женой. И именно этот контакт, а не тот, которого мы ожидали, вызовет меня из тюрьмы двадцать два года спустя...

Лил дождь с порывами ветра, затем ливень прекращался и восточный ветер гнал низкие тучи. Все мы молились, чтобы погода немного улучшилась, с печалью и беспокойством думая о наших родных и зная, что со вчерашнего вечера они пребывают здесь снаружи, не имея укрытия. Небо на горизонте немного прояснилось, и показалось бледное солнце. Это обещание погожего дня наполнило нас радостью.

Выход производился так же, как и во время предыдущего визита. Нас вызывали по номерам, раздевали, обыскивали всю одежду и собирали в загоне. Земля превратилась в непролазное месиво. К ботинкам при ходьбе прилипали куски грязи. В центре застоялась вода, образовав лужу четырех-пяти метров в диаметре.

Примерно в 9 часов издали показались первые группы посетителей. Порою я смотрел на небо: по нему быстро бежали тучи и казалось, что утром дождя не будет. Два часа спустя большинство родственников оказались внутри загона, но мои родные, как и некоторых других узников, не появлялись. Позже мы узнали, что за два дня до этого в порту Батабано (на южном берегу Кубы) их заставили сойти с парома, который должен был доставить пассажиров на Пинос, чтобы перевезти контингент милисиано и вооружение.

Меня обуревало предчувствие, что ко мне не придут. Обеспокоенный этим, я бродил по загону, когда меня позвал Бенито, чтобы представить своей семье:

— Смотрите, это Армандо, он вел себя со мной как настоящий сын.

Меня растроганно поблагодарили. К нему приехала жена и младшая дочь Марта, та самая девушка, которую я видел на фотографии (несколько недель назад мне ее показывал Бенито), но несомненно фотография была очень давней, ибо сейчас перед моими изумленными глазами предстала не невзрачная девочка в очках, а красивая пятнадцатилетняя девушка, высокая, элегантная, с изящными манерами и нежным детским лицом. В ее глазах отражалась твердая воля, сочетание нежности и смелости. Думаю, что это произвело на меня наибольшее впечатление.

Я поинтересовался, не знают ли они что-нибудь о родственниках, которых высадили с судна два дня назад. Мне ответили: им было обещано, что их в любом случае привезут, — и пригласили меня остаться с ними до приезда моих родителей с сестрой.

Марта и ее мать прибыли на первом маленьком корабле и со вчерашнего дня стояли в очереди перед тюрьмой. Нам рассказали, что тысячи людей — старух, детей, беременных женщин — заполнили шоссе. Все это происходило под ливнем, к которому затем добавились полчища невыносимых москитов. Так они провели ночь.

В 6 утра всем велели пройти в место заключения и снова — очереди, уже на тюремной территории. Один ряд — для осмотра маленького пакета с продуктами, которые везли узнику. Затем другой для обыска самих посетителей: мужчин с одной стороны, женщин с другой, где их полностью раздевали. Не щадили даже старух. Мать Иглесиаса де ла Торре, одного из заключенных-пилотов, заставили раздеться, несмотря на то, что ей было за семьдесят.

Знать, что наши матери, дочери и жены, невесты и сестры вынуждены терпеть всякого рода издевательства, было мучительно. Тем более что обыскивать их не требовалось: нас самих перед выходом и после возвращения со свидания раздевали и устраивали тщательную ревизию. Все делалось не из соображений безопасности, а лишь для того, чтобы унижить наших родных, от злости и ненависти. Женщин, у которых были месячные, заставляли вынуть гигиенические прокладки, ссылаясь на то, что и внутри их могут быть спрятаны записка или бумажные деньги.

Марта заметно краснела, когда я осаждал ее своими вопросами. Родные избегали рассказывать об этих притеснениях узникам, чтобы уберечь последних от огорчений и чтобы те не запретили посещать их.

В этом огромном загоне, превратившемся теперь в море грязи, не было ни скамейки, ни какого-либо санитарного сооружения. Также не было где выпить воды.

На востоке небо потемнело, появились черные тучи. Хлынул страшный ливень. Около 6 тысяч человек оказались под дождем. Я стоял напротив Марты спиной к ветру, чтобы струи воды не падали прямо на нее, — это все, что я мог сделать. Через несколько минут все промокло до нитки. Я расстегнул рубашку и прикрыл Марту, чтобы хоть немного защитить ее. Никогда не забуду эту гнетущую сцену — трясущи-

еся от холода женщины и дети, тщетные попытки заключенных как-то спасти их от дождя. После тысячи просьб и хлопот мы добились, чтобы начальство разрешило женщинам перейти улицу и войти в столовую, вмещавшую нас всех, так как она была рассчитана на 5 тысяч мест. Открыли загон, и посетители начали выходить. Дождь не прекращался. Цепь родственников, пытавшихся защитить пакетики, где у них были бутерброды на обед, входила в столовую. Зрелище вызывало жалость и бешенство — старушки в мокрых платьях, с почтенных седин струилась вода, и охранники, отдающие нелепые приказания.

Мужчинам войти в столовую не разрешили, им пришлось остаться по ту сторону ограды, а когда вошли мы, их выгнали под проливной дождь. Покинуть тюрьму они не могли до тех пор, пока по окончании визита заключенных не пересчитали, убедившись, что никто не сбежал.

Нас выстроили под дождем, только после этого мы смогли пройти в столовую. Когда мы вошли, родственники бурно зааплодировали. Это был волнующий момент; с нашей промокшей одежды ручьем текла вода; охранники, вскочив на столы, стучали по ним прикладами винтовок, приказывая прекратить аплодисменты. Они перепрыгивали со стола на стол, пугая женщин и детей ударами и криками.

Я оставался с Бенито и его семьей. Мы с Мартой сели за узкий стол друг против друга. Я снял сапоги и перевернул их, из них хлынула вода. С волос Марты струилась вода, она была в простом светлом костюме, который, промокнув, облегал ее тело. Я видел, что она лучится красотой, она еще не пользовалась косметикой, и лишь впервые ей разрешили придать форму бровям. Меня пригласили поесть бутербродов, из которых, когда откусывали кусок, текла вода.

Наш разговор с Мартой в день нашей первой встречи был банальным, но незабываемым для нас обоих. Ей было четырнадцать лет, а мне двадцать четыре, и меня влекла ее юность, почти детство. Мы начали беседу на общие темы, я пытался узнать о ее склонностях, занятиях. Помню, что она скрестила руки на столе и оперлась на них головой. Так ей было удобнее, а усталость после поездки и сорока восьми часов без сна довершили дело; она уснула, в то время как ее обожатель и будущий супруг говорил ей... Я осторожно встал и подошел к одному из решетчатых окон, из которого дул ветер, пытаясь немного просушить одежду. Но скоро я задрожал от холода. Я вернулся к столу. Моя прекрасная подруга еще спала, и я стал любоваться ею. И тогда я почувствовал огромную нежность, нежность, которой не испытывал никогда. Бог мудр в своих намерениях и иногда использует самые неожиданные средства, чтобы два существа встретились и соединили свои души. Если бы мою семью не заставили спуститься с судна и они бы прибыли в числе первых посетителей, мы с Мартой могли никогда не познакомиться. Если б кто-то сказал тогда Марте, моей семье и мне, что годы спустя мы будем рады случившемуся, мы этого просто не поняли бы.

Когда Марта проснулась, она смутилась и попросила у меня прощения. Мы рассмеялись.

За полчаса до завершения свидания в столовую вошли моя мать и сестра, а также родственники других узников. Им не разрешили передать привезенный для меня пакет. Их сняли с парома, помешали прибыть вовремя, а теперь доказывали родственникам, что они опоздали на посещение. Мы едва успели поговорить несколько минут. Они тоже проделали ужасное путешествие, все время на палубе под непрерывным дождем.

Когда один из военных взобрался на стол и закричал, требуя тишины, я знал, что это означало: посещение окончено! на выход!

## ПОБЕГ

По возвращении Улисс, Бойтель, Брито и я собрались в моей камере. На свидание пришел человек от тех, кто должен был обеспечить нам судно. Бойтель говорил с ним несколько минут через ограду. Он хотел знать, как мы собирались оттуда выбраться, так как они считали это невозможным. Бойтель сказал ему, что у нас есть план, который мы попытаемся осуществить, но он не может сообщить ему детали.

Договорились, что судно подберет нас в устье реки Хукаро, много дальше к юго-востоку от тюрьмы в час ночи 21 октября. Мы должны были ждать его два дня подряд. Договорились об условных знаках для опознания судна.

Пузырек с бензином и молотый перец, для того чтобы сбить со следа собак, которых пустят за нами, таблетки для окраски брюк в оливково-зеленый цвет завершили список необходимых нам вещей. Все остальное было должным образом укрыто. Наши семьи об этих планах ничего не знали, мы не сообщали им об этом из-за серьезности дела, чтобы уберечь их от тревог. Лишь Кармен, невеста Бойтеля,



была в курсе всего, будучи нашим связным, координируя все действия за границей. Ее участие было решающим, без нее мы и думать не могли о том, чтобы бросить вызов и сокрушить миф о невозможности бежать из тюрьмы острова Пинос.

Мы никогда не прекращали наблюдений. Теперь требовалось вести их вчетвером, чтобы освоиться в окрестностях, которые предстояло пересечь. Нам нужно было знать передвижения в казарме и на постах, маршруты часовых... Это было скучное занятие, но благодаря постоянной слежке недели спустя мы могли проделать путь с закрытыми глазами.

Дорога, окаймленная кустарником и ведущая к лачуге, где солдаты стирали и гладили свою форму, должна была стать нашей первой тропой. Для тех, кто нас увидит, целью нашего пути будет являться домик; мы не вызовем подозрений, так как туда ходят все. Сбоку казармы были маленькие ворота, откуда начиналась дорога; часовой на посту у входа в казарму, перед самой улицей, всегда держался метрах в десяти от них. Через эти ворота никогда не проезжали машины; они служили лишь для входа военных и милисиано, которым в противном случае пришлось бы делать круг почти в два километра, чтобы добраться до домика. Этот выход на самом деле был очень полезным.

Как-то Улиесес обратил внимание на полное отсутствие милисиано внутри тюрьмы. И действительно, не было видно ни одного ни в этот, ни на следующий день. Мы подумали, что они заперты в казармах; однако движение войск мы заметили бы сразу. Видимо, не это явилось причиной; жизнь в маленькой казарме протекала нормально. Довольно скоро мы узнали истинную причину: им запретили вход в тюрьму.

Эта новость ошеломила нас. Для нас было невероятно трудной задачей получить четыре рубашки и берета, чтобы переодеться в милисиано. Что делать теперь? Оставалось лишь одно: покрасить и рубашки в оливково-зеленый цвет и выдать себя за солдат. Для этого срочно потребовалось изготовить четыре фуражки, что не было сложным делом, так как в армии носили походные фуражки. Необходимые нам фуражки не проблема. Приказ запретить вход милиции был вызван соображениями безопасности.

Наши бодрость и боевой дух не упали из-за этого. Отбросив план выдать себя за милисиано, мы сконцентрировали все наши усилия на том, чтобы бежать, переодевшись в охранников. К счастью, красящих таблеток было достаточно. Снаружи круглой башни помимо неподвижных прожекторов, а также установленных на будке, которые шарили по всей тюрьме лучами беловатого света, были протянуты электрические провода с лампами в 500 свечей. Эти лампы никогда не гасли, горели днем и ночью. Не важно, что небо было голубым и все освещалось ясным солнцем: лампы продолжали гореть. В сумерках включались прожекторы и начинали прочесывать тюрьму: здания, окна, зеленые насаждения. Чтобы уменьшить опасность, мы решили бежать за несколько минут до наступления темноты, пока еще не включили прожекторы. Однако перед нашей камерой находилась одна из этих ламп; поэтому мы решили привести ее в негодность в момент выхода. Для этого мы выстрелим из рогатки со второго этажа, так как оттуда легче попасть в цель.

Я находился на посту наблюдения, когда начались работы, и от того, что я увидел, у меня душа ушла в пятки: маленькие ворота, через которые мы намеревались бежать, были закрыты. Вырыли отверстие, вставили в них металлические столбы, а к ним прикрепили кусок стальной сетки, такой же, как и на всей ограде. Таким образом, исчезли ворота, а с ними возможность бежать.

Я позвал остальных, чтобы сообщить им ужасную новость. Думаю, что это была худшая весть за все последнее время. Теперь бросить вызов становилось более чем трудно. Однако мы решили продолжать наблюдение в поисках какого-либо решения.

Небольшая казарма была окружена оградой из столбов высотой полтора метра с натянутыми между ними несколькими рядами проволоки. На этой проволоке солдаты развешивали сушить носки и нижнее белье. Форму продолжали носить в домик. Их не волновало, что ворота закрыли. Просто проложили новую тропинку: приподнимали проволоку ограды и перелезали на другую сторону. Так ими был установлен новый маршрут.

Если мы хотели бежать, то должны были сделать то же, что и они. Но теперь предприятие становилось более рискованным: следовало войти в казарму, что намного увеличивало шансы не в нашу пользу.

После месяцев подготовки к такого рода действиям невозможно отказаться от своих намерений; по мере возникновения препятствий их обходят, изобретая новые варианты. Мы решили бежать этим единственно существовавшим путем, хоть нам и придется пройти через казарму. Мы сосредоточили внимание на движении внутри самой казармы, наблюдая, как входили и выходили военные. Закрытие ворот позволило часовому на посту перед садиком иметь большую свободу движений, так как теперь он не был привязан к воротам. Это помогло осуществлению наших планов,

ибо из двух входов в казарму мы могли использовать тот, от которого в момент нашего появления будет дальше находиться часовая.

Думаю, что ни один план бегства не имел столько помех, не был прерван столько раз, как наш. Военные продолжали укреплять свои оборонительные системы. Расчистили местность за казармой, бульдозерами вырвали с корнем кусты и деревья, оставив более ста метров ровными, как взлетно-посадочная полоса. Одновременно возвели проволочные заграждения высотой более трех метров, заменив прежнюю живую ограду. Поверх решетки провели линию колючей проволоки, колючки шли через каждые десять сантиметров. Если бы казарму атаковали снаружи, это затруднило бы ее штурм. Проволочная ограда, казалось, окончательно лишила нас надежды на побег.

Теперь мы действительно впали в отчаяние. Мы с мучительным беспокойством исследовали все, что было в пределах нашего зрения, в поисках места, уголка, возможности бегства. И оно не должно было произойти позднее установленной даты, чтобы нас подобрала на побережье.

Тем утром, когда несколько охранников, вооруженных кирками и лопатами, начали копать у основания ограды, я находился на наблюдательном посту. Что бы это могло быть? Я ни на секунду не терял их из виду, глядя в подзорную трубу. Они уже вырыли траншею глубиной до колен, но продолжали копать, рядом медленно рос холмик земли. Эта траншея проходила под проволочной оградой. Когда работа была завершена, принесли пулемет и установили его в траншее, в то время как на крыше казармы поставили прожектор, который включался вниз и освещал расчищенную в глубине местность.

Пулеметчик находился примерно в пяти метрах от траншеи, он сидел на табурете, опираясь спиной о заднюю стену казармы. Но нас снова выручил крестьянский дом, где стирали форму охранники. Они стали использовать траншею как входную дверь. Мы испытали огромную радость, увидев как через нее стали входить и выходить охранники, унося или принося свое обмундирование.

Так как Каррион не собирался бежать с нами, то поменялся местами с Брито, ибо, останься он в камере, откуда произошел побег, на него обрушились бы страшные репрессии.

Чтобы перепилить оконные прутья, мы с Бойтелем приняли меры предосторожности. В то время разрешали вывешивать сушиться одежду снаружи решеток до 5 часов вечера. Так что, повесив сушиться полотенце, мы уже были защищены от взглядов снаружи. В любом случае, пока один пилил, другой должен был стоять на страже, потому что даже с вывешенным полотенцем наши движения могли привлечь внимание военных. Когда кто-нибудь приближался, мы прекращали пилить. Чтобы быть начеку, если охранник внезапно поднимется на вышку, мы опустили кровати и повесили на них полотенца, в то время как Каррион находился в узком коридоре, заслоня нас не только от охранников, но и от любопытных внутри самой круглой башни, где, как нам было известно имелись предатели, которые, увидев что-нибудь, доносили об этом гарнизону.

Надо было перепилить три бруса решетки, хотя Брито, Бойтель и я могли бы пройти в отверстие между двумя перепиленными брусками толстак Улиссес не протиснулся бы в него. Мы не допилили прутья до конца оставив небольшое соединение с двух краев, чтобы потом можно было за несколько минут окончательно разъединить их. Это делалось для безопасности. Мы также заполнили оставленные пилкой выемки лезвиями бритвы, засунув их туда под давлением. Во время обысков охранники проводили по прутьям железкой, издававшей одинаковый звук на окне, этой своего рода застывшей арфе. Если один из прутьев был перепилен, звук прерывался и все обнаруживалось. Заполнив выемки лезвиями, мы замазали их очень густой смесью, приготовленной из зубной пасты и сухого молока, после чего по этому месту проводили подошвой ботинка, чтобы «состарить» и немного загрязнить брусья. Так перепиленные места были отлично замаскированы.

Заключенный, живший под нами в 64-й камере первого этажа, был участником вооруженной борьбы против Батисты. Мы с Бойтелем отправились поговорить с ним и прямо сказали, что нуждаемся в его помощи для побега. Единственное, что он должен был сделать, — поменяться с нами камерой. Это не представляло для него никакого риска. Мы объяснили ему, что если нам придется прыгать со второго этажа, который на самом деле являлся третьим, ибо на нижнем этаже камер не было, то это грозит падением. Камера же первого этажа была для нас идеальной. Однако уговорить его не удалось. Он отказался под неясными предлогами. Тогда мы поговорили с Гомилой, его хорошим другом, чтобы тот попробовал убедить его. Но все безрезультатно; ему было страшно, он опасался репрессий. Никакая другая камера нас не устраивала, только 64-я. Мы решили прыгать со второго этажа. Вновь возрастала опасность, но приходилось действовать, не теряя времени, чтобы не опоздать на судно, которое подберет нас на берегу. И мы начали действовать.

Мы включили в наше снаряжение сетки от комаров оливково-зеленого цвета, чтобы закрыть голову, ибо москиты в болотных зонах способны любого свести с ума; кроме того черные перчатки, а под рубашками жилеты с несколькими рядами карманов, где у нас будут таблетки для очищения воды, плитки шоколада, самые необходимые лекарства, лезвия бритв, спички в водозащитной упаковке, зеркальце для подачи сигналов и т. д. Трудностей с ориентировкой у нас не будет, так как мы изучили карты и надеялись, что не заблудимся даже ночью, хотя для определения пути у нас имелся только маленький компас, похожий на игрушечный, с брелока для ключей. Но я знал основные созвездия, Брито тоже, он ориентировался лучше всех нас, ибо провёл жизнь в плаваниях.

Бойтель оставался одержимым идеей прибыть на совещание в Пунта-дель-Эсте.

### КРУШЕНИЕ МИФА

У нас была неоценимая группа друзей, без них мы не смогли бы бежать. Мы поговорили с каждым из них, чтобы окончательно уточнить некоторые детали. Нужно было выставить наблюдателей в момент побега, чтобы удостовериться, что к круглой башне не приближается никакая машина. Таким образом, на разных этажах на страже будут трое наших товарищей, которые дадут сигнал свободного пути Чагито, стоящему у входа в камеру.

Улисс поручил изготовить веревку, по которой мы спустимся на землю из высокого окна. Вережки делали, распуская джутовые мешки. 10—12 полученных нитей соединялись в одну более толстую. Затем 4—5 этих нитей свивались в веревку. Если веревки были хорошо сплетены, они оказывались достаточно прочными, чтобы выдерживать вес человека.

Форма была уже выкрашена и выглажена, фуражки выглядели безупречно. Наступил рассвет нашего дня, 21 октября 1961 года. В третьей круглой башне было свидание.

Я попрощался с моим добрым другом и одаренным учеником в резьбе по дереву Видалем Моралесом. Приготовления начались после завершения вечерней переключки. Если все выйдет хорошо, то у нас будет время до переключки на рассвете следующего дня, когда обнаружат наш побег. Мы разбили из рогатки лампочку напротив камеры.

Начиная с того момента как мы вчетвером вошли в камеру, все было сделано с хронометрической точностью. Мы вдруг заметили отсутствие веревки. Каррион побежал искать ее, а затем мы оделись: жилеты, резиновые перевязки с ножами, сигареты, спички в карманах, кубинские деньги и доллары, которые были у меня в старом бумажнике, удостоверения личности...

Куском ткани, смоченной в бензине, мы протерли под мышками и половые органы, чтобы сбить с толку собак. Первыми должны были прыгнуть Брито и Улисс. Чагито на входе даст нам предупреждающий сигнал, следуя знакам, полученным от стоящих на страже. Обregon прикрывал лестницу.

Охранник разговаривал со своим товарищем, делавшим такой же обход вокруг третьей круглой башни, и они оба удалялись.

Мы вынули прутья, веревка была уже привязана, Чагито дал о'кей, Брито вылез и быстро соскользнул, за ним Улисс и Бойтель. Но в этот момент погасли все огни, внезапно отключился свет. Я не знал, что у Бойтеля расплелась веревка, в результате чего он упал и сильно ударился, сломав в двух местах пяточные кости. Когда я выпрыгнул, расплетающаяся веревка была недостаточно толстой; я быстро схватился за нее рукой, но в кулаке остались лишь обрывки ниток. Я полетел в пустоту и упал на кучу строительного мусора. Я почувствовал страшную боль в правой ноге, но мгновенно встал. В момент опасности человек способен совершать невероятные поступки, преодолевая боль и физическую слабость. Слово ум, сосредоточенный на одной лишь цели, блокирует все остальные ощущения.

Позже я узнаю, что при падении сломал пяточную и две соединяющиеся с ней кости ноги, а таранная кость под их давлением сместилась. Однако я пошел нормально, не хромя, и присоединился к Бойтелю, который, закулив сигарету, ожидал меня на краю шоссе. Мы тронулись в путь.

Но не успели мы перекинуться и парой слов, как из госпиталя вышел сержант Пингилья, проводивший переключки; на плече у него был чешский автомат. Брито и Улисс, шедшие примерно в сорока метрах впереди нас, должны были столкнуться с ним. Круглое лицо Улисса бросалось в глаза; и в самом деле, когда они прошли, сержант остановился и повернул голову, удивленный лицом, которого он не помнил. Это был момент неопишемого напряжения. Улисс показался ему подозрительным. Приближаясь к сержанту, мы с Бойтелем повысили голос, разговаривая

— Смотри, как спешит толстяк, даже не подождет нас. Он уже отчаялся, ожидая возвращения в Гавану. Если бы сейчас здесь был капитан Кинделан, мы бы выехали завтра рано утром.

Сержант мог прекрасно слышать мои слова, которые ответили на его сомнения и вопросы. Он не знал их, потому что они были из Гаваны и находились здесь, чтобы увидеть капитана Кинделана, начальника гарнизона. Несомненно, его примитивный ум был удовлетворен моими оправданиями. Проходя мимо него, мы с Бойтелем естественно беседовали. Когда мы поравнялись, я поприветствовал его:

— Как дела, сержант?

— Очень хорошо, сын мой...

В первый раз за последние две минуты мы смогли вздохнуть...

Если бы сержант вышел из госпитали на тридцать секунд раньше, он бы застиг нас спускающимися по веревке. От нескольких секунд зависели наша жизнь или смерть. Но, слава Богу, ничего не случилось.

Ночь опустилась внезапно, сумерки уступили место полной темноте. Когда мы шли к казарме, зажглись прожекторы, прочесывающие местность. Мы собирались обогнуть военное здание, идя через боковые дворики, так же, как это делали охранники, ходившие к ограде, чтобы забрать сушившиеся на ней носки и другую одежду, или к дому, который служил им прачечной. Нам нужно было пройти через траншею, где стоял пулемет, и двигаться направо по направлению к кустам, росшим по краю расчищенной земли. Эти минуты были решающими, так как стоило охраннику, приставленному к пулемету, зачехь установленный на крыше прожектор, чтобы наше бегство обнаружилось, однако во время наших наблюдений мы убедились, что это обычно делали уже глубокой ночью.

Мы увидели, как Улисс и Брито входили в садик казармы словно в собственный дом. Часовой находился слева. Они повернули направо, и мы потеряли их из виду, так как уже было довольно темно. У меня ужасно болела нога, но я знал, что не могу позволить себе прихрамывать, это может оказаться роковым. Я вспомнил эпизод из революционной борьбы с Батистой: один студент вошел в больницу неотложной помощи с пулей в ноге, не хромя и не шатаясь, чтобы часовые на посту не обратили на него внимания. Я подумал, что если этот студент мог идти с пулей в ноге, то я тоже могу это сделать, ибо не стоить сильно пострадать. Выпрямившись, словно болевшая нога была не моя, а чужая, я вверил себя Богу, и он помогал мне на всем пути.

Мы дошли до дворика в глубине. Высокий часовой-блондин, сидя на табурете и опираясь на стену, пел десятистишия, типичную кубинскую сельскую мелодию. Там росла трава почти по колено. Мы не увидели следов уже прошедших Брито и Улисса. Мы с Бойтелем искали траншею, но не разглядели ее в темноте из-за травы. Это были моменты мучительного беспокойства. Я громко сказал Бойтелю, чтобы он подождал секунду, пока я пойду помочиться у края ограды. Я повернулся спиной к часовому, полностью погруженному в свои песни, и сделал вид, что мочусь. Это позволило Бойтелю, пробираясь вдоль ограды, дойти до траншеи. Когда я увидел его, пригнувшегося в темноте, то пошел за ним. Я споткнулся обо что-то твердое и различил в траве несколько железных зубчатых колес: они были навалены друг на друга, и я чуть не споткнулся о них снова. Во время прохода через траншею моя нога разболелась так, что я еле удерживался, чтобы не закричать, с меня лил холодный пот. Бойтель ждал меня снаружи. Мы повернули направо, проходя мимо дома лейтенанта Антонио — Тень, как называли его, намекая этим прозвищем на его зловещую, подавляющую натуру. Там нас ожидали Улисс и Брито. Залаяли собаки лейтенанта Антонио, но нас волновали не они, а ищейки Министерства внутренних дел.

Мы углубились в лес. Сделали небольшой привал, чтобы оставить следы для собак: три кусочка ткани, тщательно посыпанной молотым перцем. Когда собаки приблизятся, чтобы обнюхать их, вдыхая с силой, то носы у них забьются перцем, они начнут чихать и потеряют нюх. Эти кусочки мы бросили в разных местах.

Когда мы выпрыгнули в окно, наш тыл в круглой башне немедленно начал работу. Прутья были соответствующим образом поставлены на место, оставшиеся материалы — пилочки, таблетки краски и т. д. — передали друзьям для последующих попыток к бегству. Самое важное было принять меры предосторожности во избежание того, чтобы кто-то из внутренних осведомителей не предупредил гарнизон.

Перед одной из камер первого этажа, где жил заключенный, которого сильно подозревали в предательстве, встал Владимир Рамирес с другим узником. И в самом деле, этот человек увидел, как мы спускаемся, и попытался быстро выйти из камеры, но Владимир преградил ему путь, приставив к горлу колющее оружие и заставив его вернуться обратно.

Когда произошел побег, гарнизон подвергал репрессиям старшего круглой башни, считая его сообщником. Тюремное начальство стремилось таким образом

превратить одних узников в предателей своих товарищей. Начальник лейтенант Таррау угрожал старшим башни и этажей, говоря им, что, если побег произойдет и они тотчас не сообщат об этом, их будут считать пособниками бежавших. Это был фашистский прием: мстить невинным, чтобы с помощью террора заставить их сотрудничать с властями.

Заключенный, отвечающий за второй этаж, узнав о нашем бегстве, дрожал от ужаса, думая о репрессиях, которые на него обрушатся, в нем происходила огромная борьба инстинкта самосохранения с долгом солидарности с нами. Тогда один из наших товарищей сказал ему, что примет на себя ответственность за его пост и, когда явятся солдаты гарнизона, предстанет перед ними как старший по этажу.

Мы услышали очень далекий лай собак и подумали, что, наверное, уже началось преследование. Мы никак не предполагали, что наше бегство будет оставаться в тайне до следующего утра. Мы думали об этом, но как о чем-то весьма маловероятном, так как знали о существовании осведомителей.

Мы дошли до очень неровной местности. У меня ужасно болела щиколотка, она воспалилась, и ступать на ногу при ходьбе стало еще больнее. Мы остановились на минуту, чтобы вынуть нож и разрезать почти до носка сапог, сдавивший мне ногу. Это немного облегчило боль, и мы продолжали путь, дойдя до ровной местности; луна своим бледным светом заливала желтоватую землю. Мы находились в чистом поле и, хотя поблизости не было домов, без защиты кустов чувствовали себя в большей опасности, ибо любой крестьянин или милисиано мог пройти по этим местам и заметить нас.

Мы легли на землю, обозревая окрестность. Брито сказал, что этот участок мы должны пересечь бегом. Я не мог бежать, поэтому Брито взвалил меня на спину и с невероятной быстротой и неведь откуда взявшейся силой пробежал со мной почти двести метров. Когда мы снова добрались до лесистой местности, Брито был свежим, словно и не тащил на спине такую ношу. Человек, получивший морскую закалку, он был необычайно вынослив.

Перед нами пролегало первое шоссе. Широкое, с обеих сторон пустые кюветы и проволочная ограда, чтобы не убежали быки. Переход предстояло совершить со всеми предосторожностями, чтобы не столкнуться с машиной. Издалека слышался шум мотора, и мы вжались в землю, прячась в траве. Звук приближался. Советский грузовик «ЗИЛ» пронесся стрелой, подняв огромное облако желтой пыли.

— Давай сейчас...

Говоря это, Бойтель уже пролезал лицом вверх под нижней проволокой ограды. Затем я, Улисс и прикрывающий нас Брито. Мы пересекли шоссе ползком, переворачиваясь с боку на бок, так как в противном случае нас могли заметить издалека. Перед тем как войти в сосновый лесок, мы снова оставили кусочки ткани с перцем для ищеек. Лая уже не было слышно. Нас окутывала спокойная ночная тишина.

Я продолжал опираться на прямую палку вроде трости. Еще два раза, когда надо было пересекать открытую местность, Брито нес меня на спине, несмотря на мои протесты и смущение. Брито обладал восхищавшим нас духом товарищества и оптимизма, придававшим группе новую решимость.

Помню, что Улисс, дабы воодушевить меня, говорил, что я просто вывихнул ногу, что он в гораздо худшей ситуации однажды завершил футбольный матч. Несмотря на сложность предпринятого нами дела, наши бодрость и моральный дух оставались на высоте, и мы были удовлетворены сделанным. Естественно, хуже всех физически чувствовал себя я. У Бойтеля болели пяточные кости, но он шел без поддержки и только оступался в ямах или при внезапном понижении местности.

Показалась вторая дорога. Мы шли по маршруту, на нашей карте были точно указаны все необходимые нам для ориентации детали. Справа мы оставили сельскую лачугу с крышей из пальмовых листьев. Собаки в доме почуяли нас и залаяли.

Появились облака москитов, очень агрессивных. Мы приближались к болотам Хукаро в устье одноименной реки. Это место являлось нашей целью, сюда в час ночи должно было прибыть судно.

Брито шел в авангарде в качестве разведчика. Впереди нас всего в нескольких метрах была река. Справа — грунтовая дорога, ведущая к деревянному мостику, указанному на нашей карте. Теперь нам предстояло свернуть налево, на восток. Пейзаж понемногу изменился, растительность состояла из высоких трав и маленьких пальм, листья которых походили на колючки ежей. Мы продвигались параллельно реке. Слева показался крестьянский хутор, и, чтобы удалиться от него, мы еще больше приблизились к реке. Мы пересекли еще одну грунтовую дорогу, и Брито ушел вперед. Все казалось спокойным. Обычные ночные звуки, жужжание насекомых, кваканье лягушек... Вода в этом болоте доходила нам до щиколоток. Было холодно, начал усиливаться северо-восточный ветерок. Для нас это было просто благословением, так как он рассеивал облака москитов. Я потерял перчатку с левой руки, не заметив где. Я обнаружил это, когда мы оставляли вторую

ловушку для собак. Я не мог вынуть руку из кармана: вся она уже была искусана москитами.

Прошло десять минут, а Брито не возвращался. Мы начали волноваться. Улиес предложил отправиться на поиски, но Бойтель высказался за то, чтобы подождать еще пять минут. Наконец появился Брито и сообщил нам о своих наблюдениях. Он следил за каким-то судном, но оно вошло в реку. Мы находились точно напротив условленного места. Бойтель посмотрел на часы, которые оставил нам решеточник. Мы прибыли на тридцать минут раньше. Через полчаса, думали мы, появится наш корабль, и на рассвете мы будем находиться за много миль отсюда, в открытом море, держа курс на Гран-Кайман, ибо такое направление наши враги меньше всего будут принимать в расчет, полагая, что мы двинемся на север, к Кубе, или на запад, к Мексике.

Мы подошли как можно ближе к берегу моря. Местами из-за густой растительности болото было непроходимым. Наконец мы пришли. Бойтель поручил Брито отправиться вперед, чтобы, глядя на море, точно определить место и немедленно вернуться, если появится наше судно. Мы прекрасно видели море. Было 12.50 ночи. Продолжал дуть легкий бриз. Но в пределах нашего обзора не видно было ни одного корабля.

Вернулся Брито с результатами своих наблюдений: с другой стороны устья реки находился лагерь милиции, который был нанесен на нашу карту, а слева от нас повсюду, куда он дошел, тянулись лишь болота и мангровые заросли. Но мы знали, что немного дальше разбиты другие небольшие лагеря милисиано. Мы находились точно в условленном месте.

Бойтель с нетерпением поглядывал на часы. И когда мы делали ему знаки, чтобы узнать, который час, он снимал перчатку и открывал запястье. Мы не разговаривали, ибо в ночной тишине наши голоса могли быть услышаны и выдали бы нас.

Из устья реки вышло несколько рыбацких судов. Они проплыли мимо нас, качая огнями. Но наш корабль не появлялся. Час... половина второго... два... В 3 часа ночи нами начало овладевать уныние. Что могло случиться? Мы находились точно в условленном месте, в условленный день и час. Мы ничего не понимали. Те, кто должен был забрать нас, знали, что мы рискуем жизнью, если нас схватят. Почти наверняка это означало смерть.

В 6 часов утра, когда показались первые рассветные лучи и из лагеря милисиано на другом берегу реки до нас стали доноситься отголоски команд, мы покинули побережье. Наш корабль должен был приходиться на условленное место два дня подряд. Этой ночью они несомненно там будут. По крайней мере, нам хотелось в это верить. Через восемнадцать часов мы должны вернуться на это место. Бог поможет нам, и я снова вверил себя Ему, в то время как высоко под солнцем рождались маленькие облачка и в небе парили чайки.

## ОХОТА

Тот самый сержант Пингилья, с которым мы столкнулись накануне вечером, поднял тревогу после окончания переключки в тюрьме.

Каррион и другие сняли алюминиевые зажимы, поддерживающие перепиленные прутья решетки, и бросили их на пол камеры. Когда Пингилья поднял голову и увидел пустоту в окне, он внезапно остановился. На него смотрело больше тысячи пар глаз. Он выбежал с криком:

— Побег!.. Побег!..

Через десять минут лейтенант Помпонио, обновляя свою первую оливково-зеленую форму, вошел в круглую башню. Он позвал Лоренсо к решетке и приказал выстроить всех заключенных для проверки по внешнему виду, то есть для переключки, которая проходила не по номерам, а по именам и удостоверениям с фотографией. Тогда и выяснилось, что лишние удостоверения принадлежали нам.

Эксперты политической полиции с собаками начали изучать проволочные ограждения в поисках места нашего выхода. Но все было безрезультатно. Они остались неповрежденными. Не был нарушен кордон безопасности. Постовые в будках не заметили ничего необычного. Часовые, делавшие ночной обход вокруг башни, тоже ничего не видели.

— Как они выбрались? — спросил лейтенант Таррау Лоренсо, старшего круглой башни.

Лоренсо ответил, что не знает. Тогда Таррау позвал заключенного, бывшего старшим по этажу, вернее, принявшего на себя эту обязанность накануне ночью. Тот, изобразив на лице испуг и думая, что мы уже за границей, сказал Таррау, что он видел, как мы спустились из окна, персеодетые в военную форму, а лейтенант Панеке с другим офицером поджидали нас на улочке в джипе. Мы якобы сели в джип и поехали по направлению к дирекции тюрьмы.

— Я ничего не сказал, потому что это проблема самих военных,— заявил в конце Роландо.

Это «заявление» было уткой. Начальник тут же побежал проинформировать об услышанном.

Властям оставалось одно — поверить в это. Раз кордон безопасности не был нарушен, побег мог осуществиться только с помощью военных внутри тюрьмы. Это простая логика и подозрительность ко всем, характерные для коммунистической системы, увеличивали недоверие и склоняли к тому, чтобы во всех, даже в самых близких друзьях, видеть потенциальных врагов, продавшихся капитализму. По этой причине политическая полиция приказала всем офицерам и солдатам, бывшим на дежурстве прошлой ночью, оставаться в казармах, не входя на территорию тюрьмы.

Старшего — Лоренсо,— нескольких решеточников и Роландо, сказавшего, что видел, как мы сели в джип, отправили в карцер. Там их ожидал комитет по приему. Им приказали снять одежду и остаться абсолютно голыми. Лейтенант Помпонио, возглавлявший взвод, держал в руке скрученный электрический провод. Его сопровождал сын, мальчик восьми лет, которого Помпонио брал с собой, чтобы показать ему, как обращаться с врагами революции. Этот мальчик был воспитан в атмосфере варварства и жестокости. Когда ему было двенадцать лет, он уже ходил с саблей и тоже избивал заключенных.

Узники отказались раздеться. Сержант Помпонио поднял саблю, которая всегда висела у него на поясе, и первый ударил плащмя. Под ударами их заставили сбросить одежду. Затем их, одуревших от боли, швырнули в камеры...

Мы расположились лагерем у начала самой непроходимой части болота. Перед нами на сотни метров расстилалась равнинная зона, поросшая травой, называемой кагуасо, с полыми трубчатыми листьями толщиной в сигарету, доходившей до пояса. Все это была низменная болотистая местность. Там, где мы находились, росли деревья и пальмы с очень толстыми стволами, но всего трех метров в высоту, с огромными колючками на листьях. Эти колючки были крайне опасны, ибо при малейшей неосторожности могли вонзиться в лицо и глаза.

Виднелись разбросанные тут и там маленькие холмики влажной темной девственной земли. В этих местах было много птиц и москитов. Росло множество деревьев с рахитичными стволами, но высоких и с пожелтевшими, почти коричневыми листьями. Опасная трясина, способная поглотить и быка, начиналась немного дальше, к югу. В этих зыбучих песках бесследно погибли многие беглецы. Брито был единственным из нашей группы, имевшим опыт передвижения по такой местности, который он приобрел в годы, когда охотился на кайманов.

После обеда легко узнаваемый звук вертолета заставил нас спрятаться получше. Он пролетел прямо над нашими головами, почти задевая верхушки деревьев. Но нас было невозможно обнаружить, в оливково-зеленой форме мы сливались с кустами. Несколько раз были слышны пулеметные очереди, приглушенные расстоянием. Мы не связывали их с нашим поиском, думая, что скорее это часто происходившие упражнения в стрельбе. Но это было не так. Поиск беспрецедентных масштабов начался тем же утром. Подробности мы узнали позже.

В день нашего побега в третьей круглой башне шло свидание, и на острове находились тысячи родственников. Первое, что сделала власть,— запретили им возвращаться на Кубу. Были окружены городки Нуэва-Херона, Санта-Фе и Санта-Барбара, в которых обыскивали дом за домом. Ведущие на юг шоссе были перекрыты, по ним разрешалось только передвижение военного транспорта под контролем.

Поиск на земле состоял в прочесывании всей территории острова к югу. Позднее из уст самого команданте Уильяма Гальвеса мы узнали, что, когда Фиделю сообщили о бегстве Бойтеля, он вызвал лейтенанта Таррау и заявил ему, что, если Бойтель сбежит с острова Пинос, Таррау придется отбывать тридцать пять лет его приговора.

Весь остров объявили на осадном положении. Тысячи милисиано и солдат регулярных войск участвовали в нашем преследовании. Они считали, что мы вооружены, и поэтому, дойдя до любого лесочка (где, как им казалось, мы могли скрываться), солдаты бросались на землю, устанавливали чешские пулеметы Б-3 и открывали огонь. Затем приближались, чтобы осмотреть место. Именно эти очереди мы и слышали.

Ближайшие гостиницы и мотели были взяты штурмом политической полицией. В одном из них арестовали Кармен, невесту Бойтеля. Команданте Уильям Гальвес лично допросил ее, угрожая отправить в тюрьму, если ее жених выберется за границу.

Был уже почти вечер, когда Брито заметил военных, приближавшихся к месту нашего укрытия. Перед нами было обширное пространство, поросшее травой кагуасо, а за ним лесок, где мы прятались. Когда охранники открыли стрельбу по нему, на нас обрушился дождь листьев и веточек, искрошенных пулями. Очереди шли высоко, но мы пригибались в поисках защиты.

Когда показались первые охранники, мы уже продвигались вперед по краю растительности. Они шли веером. Солдаты знали, что на другом конце этой болотистой полоски находился лагерь Хукаро, и поэтому не стреляли. Возможно, близость анклава военных заставила их подумать о маловероятности того, что мы скрывались именно там. Поэтому они не очень тщательно прочесывали местность. Между последним военным и краем растительности справа от нас осталось около тридцати метров до охранников, замыкающих кольцо прочесывания. По этой полоске мы и продвигались, прикрываемые листвой, иногда ползком. У нас было преимущество видеть, не будучи видимыми. Было бы действительно опасно, если бы солдаты решились прочесать, как полагалось, все болота изнутри. Но они этого не сделали.

Но один охранник немного уклонился в нашу сторону, мы слышали его шаги. В нескольких метрах от нас он изменил направление и снова пошел вперед. Мы были спасены. Во всяком случае, на этот раз мы ускользнули от прочесывания. Охранники даже не прошли по покинутому нами месту. Они двинулись на юг в поисках грунтовой дороги и мостика через реку, а мы оставались на той же позиции около тридцати минут. Затем мы возвратились в свой первоначальный лагерь. Больше они не будут здесь искать, ибо только что сделали это, плохо, но сделали, а скажут, что хорошо, и высшие чины сочтут эту зону прочесанной.

Мы не знали, что в порту Нуэва-Хероны канадское судно грузило на борт грейпфруты. Кубинские власти предположили, что мы могли подняться на этот грузовой корабль, и попытались произвести на нем обыск. Капитан корабля ответил категорическим отказом. В то время Канада поддерживала прекрасные торговые связи с Кубой, и кубинское правительство было заинтересовано сохранить эти отношения. Отказ канадского капитана на проведение обыска политическая полиция восприняла как доказательство того, что мы находились на борту.

С половины двенадцатого ночи мы снова были в условленном месте, ожидая, что нас заберут. Безоблачное небо блестело и светилось звездами. Так же, как и прошлой ночью, к востоку стояли на якоре рыбацкие суденышки. У меня страшно болела нога, воспаление усилилось, к тому же дополнительная нагрузка при ходьбе усугубила болезненное состояние. Кожа в области щиколотки была почти фиолетовой, туда пришелся основной удар при падении. Целый день я принимал аспирин, но это не уменьшало боль. Бойтеля тоже немного беспокоили два перелома пяточной кости.

Наступил час ночи, половина второго, два, три часа, а корабль не появлялся. Напрягая зрение, мы сверлили глазами горизонт, но напрасно.

Мы оставались там, пока небо не начало светлеть. Спали урывками, изнемогали от усталости, а напряжение теперь возросло. То, что корабль не пришел и на вторую ночь, нас обескуражило, и Бойтель предложил похитить какое-нибудь судно. Брито был специалистом по этой части: он похитил несколько кораблей государственных рыбацких кооперативов для перевозки бежавших за границу. Место нашего лагеря после операции прочесывания стало надежным. Хотя наши продовольственные запасы — плитки шоколада и сахар — были единственной пищей, этого пока было достаточно.

В 13 часов дня канадское грузовое судно, полное грейпфрутов, снялось с якоря и направилось в канал курсом в открытое море. Политическая полиция считала, что мы плыли на нем, спрятавшись в трюмах. Через час приказано было закончить операцию поиска на острове, решение довели до командного состава с целью вернуть солдат в казармы и лагерь.

Солнце уже начало клониться к закату, когда Брито предупредил: прямо на нас движется множество солдат. И в самом деле, они выходили из лесочка, так же как и в прошлый раз, и шли вперед. Их было несколько дюжин, а возглавлял марш шедший на расстоянии десяти — двенадцати метров от них человек с седыми волосами и винтовкой Р-2. Цепь прочесывания доходила до самого края болота. Мы отступили так быстро, как только могли. Они были уже почти рядом с нами.

Мы спрятались за толстыми стволами колючих пальм. Ближе всех к солдатам был Улиссес, справа от меня находился Брито, а немного позади Бойтель.

— Свернем направо и поищем мостик! — закричал один из охранников.

И я молился, чтобы они сделали это, ибо, продвигаясь вперед, солдаты неминуемо наткнутся на нас. Я неистово рыл болотистую землю, чтобы закопать свое удостоверение личности и карты. Остальным следовало поступить так же, как и было обговорено на случай возникновения подобной ситуации.

— Нет, через мост мы отклонимся в сторону, надо продолжать идти вперед.

И они углубились в заросли кустарника, приближаясь к нам. Еще несколько метров — и мы окажемся лицом к лицу. Я вверил себя Богу и подумал о своей семье, меня захлестнул поток воспоминаний. Я подумал, что умру здесь, в этом грязном и зловонном болоте, и мною овладел чудовищный страх, словно невидимая рука сдавила мой желудок до боли и спазмов.



— Не стреляйте, мы безоружны!

Своим предупредительным криком Улисс развязал события. Послышалось металлическое шелканье винтовочных затворов и крики охранников, требующих от возглавляющего марш отойти, чтобы дать им возможность стрелять.

— Не стреляйте, мы не вооружены! — снова закричал Улисс.

Седой охранник, шедший во главе, повернулся к подчиненным и закричал, чтобы они не открывали огонь.

— Никому не стрелять!.. Это мой приказ, здесь командую я! — властно произнес он.

Это были секунды неопишемого напряжения. Я думал, что нас сейчас изрешетят очередями.

Седой солдат продолжал приказывать остальным не открывать огня. И, повернувшись вперед, крикнул нам, чтобы мы не выходили из-за стволов, за которыми прятались, и не шевелились, пока он не скамандует.

Прошло несколько секунд, полных мучительного беспокойства.

— Теперь выходите по одному и с руками на затылке!

Улисс вышел первым.

— Следующий!

За ним последовал Бойтель. А затем Брито.

— Один из нас ранен в ногу, — сказал им Бойтель.

Я вышел, хромая. Мы стояли вчетвером руки за голову. С печатью усталости и уныния на лицах. Нас окружало около сотни солдат. Они взирали на нас с лютой ненавистью.

— Нам следовало пристрелить их здесь же, — произнес один из них, пригрозив нам винтовкой.

Все изменилось за какие-то несколько минут. Я никогда не думал, что нас схватят живыми. Ни у кого из нас, наверно, даже в самых потаенных уголках души не оставалось иллюзий на этот счет. Мы прекрасно знали врага.

Только вмешательство этого седого человека, явно испанского происхождения, командовавшего отрядом, спасло нас от смерти. В момент, когда только мы могли его слышать, он прошептал, что нам повезло натолкнуться на него, ибо в противном случае... он не закончил фразу, но мы поняли, что имелось в виду.

Командиры и некоторые другие военные что-то приказывали и перешептывались. Двое пошли предупредить в ближайший лагерь.

Дул сильный ветер, а мы в окружении командира и небольшой группы двинулись по направлению к грунтовой дороге на запад от нашего местонахождения.

Я волочил ногу, которая еще больше воспалилась и почернела вокруг щиколотки. Ходьба по этой болотистой местности причиняла мне очень сильную боль, так как мои ноги увязали в грязи. Я снова стал опираться на плечо Брито, затем мы выбрались на более твердую почву желтоватого цвета. Дойдя до первой ограды, я решил перебраться через нее, опустившись на спину и проползши под последней линией проволоки. И тогда я заметил у себя в кармане старый бумажник с целой пачкой долларов. Нас не обыскали, и даже ножи оставались на резиновых подвязках вокруг ноги. Как избавиться от этих денег? Когда мы приблизились к следующей ограде, где росла густая трава, мне пришлось в голову вытащить бумажник, пока я проползал под ней, и бросить его там. Я так и сделал. За нами шли солдаты. Один из них заметил бумажник. Сильный ветер поднял зеленые бумажки в воздух.

— Доллары!.. Доллары! — закричали солдаты и бросились за уносимыми ветром деньгами. Никто не слышал приказа командира. В дальнейшем об этих деньгах никогда не упоминали.

На грунтовой дороге нас ждали другие военные. Они несколько раз выстрелили в воздух. Возможно, это был условный сигнал. Мы сидели на сваленных бревнах, использовавшихся как столбы для ограды. Послышался шум мотора вертолета, похожий на стук молотка. Вертолет приземлился с другой стороны ограды. Из него вышли несколько офицеров. Они даже не отдали приветствия. Мрачные и высокомерные, они подошли к Улиссесу, который был ближе всех к ним, и потянули сзади за воротник рубашки, вывернув его. Там они увидели этикетку с маркой фабрики, которую мы забыли отпороть.

— Смотри, это дело рук предателей, которые находятся среди нас, — сказал один из них сопровождающему его офицеру. — Они дали им эту форму.

Затем он направился к Бойтелю, которого безусловно знал:

— Кто переправил вам эту одежду?

Бойтель посмотрел на него и ничего не ответил. Лейтенант повторил вопрос.

— Один толстенный уголовник, которого называют Чито, — ответил Бойтель.

И с этого момента несуществующий уголовник — очень толстый, чтобы не перепутать, — будет постоянно упоминаться нами в качестве лица, ответственного за

передачу нам формы и снаряжения, чтобы они не заподозрили, что все это передали нам внутри матраса.

Военные из вертолета ушли, и почти сразу же за нами приехал советский военный джип. Нас посадили сзади. За рулем был капитан. Рядом с ним сидел другой, который, повернувшись к нам, держал автомат наготове. На крылья машины уселись другие офицеры. Один из них вынул пистолет, взвел курок и приставил его ко лбу Бойтеля. Это был бандитский элемент, из тех, кого коммунистическая партия годами держала в качестве студентов университета, но они никак не могли перейти с курса на курс, ибо их задачей была не учеба, а агитация. Несколько лет назад Бойтель разоблачил этого агитатора, который благодаря революции стал теперь блестящим офицером политической полиции. Видя Бойтеля схваченным и безоружным, этот тип наслаждался, издеваясь над ним.

Я обратился к офицеру, зная, что Бойтель не скажет ни слова. Попросил его отвести пистолет от головы моего друга, так как он был заряжен, а офицер держал палец на спуске, и достаточно было толчка, чтобы оружие сработало.

— Пусть он сам мне это скажет, пусть попросит у меня убрать пистолет, если струсил.

Бойтель ответил ему возмущенно, почти с бешенством:

— В любой ситуации я тысячу раз больше мужчина, чем ты с пистолетом и в военной форме! Ты жалкий трус и подлец!

Офицер из политической полиции ткнул пистолетом в голову Бойтеля. Улисс, Брито и я стали протестовать, и капитан приказал лейтенанту убрать оружие.

Вскоре с этих пыльных дорог мы въехали на первое шоссе. Всюду виднелись военные, которые сходились с разных сторон. Над нашим джипом летел вертолет.

В тюрьму мы вошли через главный пропускной пункт. Мы были готовы к мести, которая обрушится на нас. Когда, опираясь на Улисса и Брито, я стал подниматься по лестнице, ведущей к кабинету дирекции, наверху нас ожидал особый прием со стороны военных.

*Перевела с испанского Е. БОГУШ.*

*(Окончание следует)*



---

---

ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН

\*

## ЭТО МЫ НАКАНУНЕ ВОССТАНЬЯ

\* \*  
\*

Слышишь, тебя зовут? — Значит, пришла пора.  
Кто-то тебя извлек, будто реликт спецхрана.  
А на помосте все те же тычутся тенора,  
Тучные баритоны, крашенные сопрано.  
В этой блудливой толпе нет ничего твоего.  
В этом тексте ты вроде ляпсуса-опечатки.  
Но почему-то затянут в шумное торжество  
Нерасчлененной массы пустопорожней клетчатки.  
Сделаешь робкий шаг лестницей без перил  
И, отстранив попутно конферансье-шалопаю,  
«Ну и так далее», — скажешь, как Хлебников говорил,  
Речь свою обрывая и в темноту отступая.

### Столпник

Ты наблюдал и познавал людей  
В гремучей толчее очередей,  
Где так видны повадки и замашки.  
Желая вознести — не уличить,—  
Глядел, но был не в силах отличить  
От Сашки Мишки, от Наташки Машки.

Да будь ты хоть семи вершков во лбу,  
Но, затесавшись в битву за крупу,  
В сраженье за бутылку с алкоголем,  
Ты поневоле прыгнул со столпа  
И стал плотва, молекула, толпа —  
О чем тогда витийствуем-глаголем?

Ты с толку сбит, затоптан, удручен,  
Но смутно понимаешь что почем,  
Вокруг тебя уже не стадо — стая,  
Тебя опять оттерли от дверей,  
«Армян! Еврей!» — хрипит мужик Марей,  
И злобно матерится Каратаев...

О чем ты размышляешь, доброхот,  
Штурмуя неприступный переход,  
Когда тебя по сторонам бросает,  
Когда, ощерясь, как дворовый кот,  
Калиныч применяет апперкот  
И сцена на мгновение исчезает?

А ты лепечешь, устремляясь в брешь:  
Я с вами, ваш, хоть режь меня, хоть ешь,  
Другой снаружи, но на том же тесте,  
Когда покинем сей земной содом,  
То вместе мы предстанем пред Судом,  
И нас простят или осудят вместе.

#### Из глубины

Недотепа, затурканный шкет,  
От рожденья виновный и грешный,  
Персонаж картотек и анкет,  
Производное тли кагэбэшной,  
Обреченный метаться впотьмах,  
Обходиться изглоданной коркой,  
Уловлять шелестенье бумаг,  
Быть поскребышем, карлой, шестеркой,  
Безответным объектом ворья,  
Сиротой посреди мирозданья.  
Это ты, это он, это я,  
Это мы накануне восстанья.

---

---

---

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

\*

## ЗАБУБЕННАЯ ГОЛОВУШКА

*Из книги «Последний поклон»*

**М**ой отец, снова исчезнувший с моего горизонта, объявился в краях совсем неожиданных, в Астрахани, на Каспийском море. Большой это загадкой было для меня: как сумел переместиться родитель с холодных заполярных земель, с тихих вод Енисея в бурные волжские стихии, аж из конца в конец страны!

Все оказалось просто, как просто и непостижимо доступно бывает лишь в судьбе человека, живущего в Стране Советов, полной сказочных чудес и превращений.

Папу переместили из дали в даль за казенный счет.

Когда было остановлено строительство мертвой дороги, часть трудового подконвойного контингента отсюда была перегнана на возведение волжского гиганта — Куйбышевской ГЭС. Народу там, по слухам, собралось аж полтора миллиона, но дело шло ни шатко ни валко. Когда лопнуло терпение у мудрой партии и не менее мудрого правительства, откомандировало оно туда правительственную комиссию дознаться, отчего это не только досрочно не заканчивается строительство гиганта, но и в сроки не укладывается, хотя посылаются туда самое идейное, самое целеустремленное руководство и рабочих не велено жалеть.

Папа мой редко вслух вспоминал про тюрьмы и лагеря, больше он про них пел и плакал. Но в какой-то исповедальный час он все же рассказал о том, как очутился на Каспии и какое там с ним приключение вышло:

— Комиссия меня вызывает. Захожу, руки по швам, честь по чести, имя, отчество, фамилия, докладываю, что тяну срок по указу Сталина от одна тысяча девятьсот сорок восьмого года, статья такая-то, пунхт такой-то, подпунхт десятый. За столом комиссия сидит, самоглавный комиссар в кожане, точь-в-точь как на портрете Шшэтинкина, героя сибирской войны. Прицелился он на меня, остро так поглядел и говорит: «Петр Павлович, сколько лет вы находитесь в заключении?» «Шесть лет, семь месяцев и четыре дни. Часов не подсчитал, часов у меня нету». «Та-ак,— произнес комиссар.— А сколько ж вы пролежали в больнице?» «Ровно четыре с половиной года»,— снова отчеканил я. «Во-он! — заорал комиссар и стукнул кулаком по столу.— Во-он со стройки! Чтоб духу не было!..» И миня как миленького помели со стройки — иди куда хошь со справкой о досрочном освобождении. Ну, таких, как я, много помели. Братва загуляла, и я с ей загулял, да куйбышевской милиции велено было вылавливать нас и в Гурьев направлять — там наборный пункт Кас-рыб-килька-холод-флота. Миня, как рыбного спеца, сразу на судно назначили. Капитаном. Я двоих наших, куйбышевских, матросами прихватил и поплыл по морю. Миня весь Каспий знал, сам начальник пароходства Назаров...

— Но, папа, Назаров — это на Енисее...

— Все правильно, Назаров Иван. Утопил половину флота в Енисее, статья семисят пята, пунхт «д», подпунхт «в» — десять лет с лишением права голоса.

— Но, папа, Назаров здравствует в Красноярске и еще книжки пишет.

— Книжки? Пишет? В натуре? Я бы ему, курве, написал!..— И папа, скрипнув зубами, сжал кулачишко, на картошину похожий, ткнул им в окно, грозя аж за Уральские горы.— Я ишшо и глаз ему выбью!

За что про что он выбьет глаз человеку, который его со своего высокого руководящего мостика и не видел никогда, папа и себе не мог бы объяснить.

Отдышавшись от войны на Урале, обретя какое-никакое жильё и двух ребятишек, с трудом и приключениями отыскал я моего единственного родителя и призвал к себе в гости.

Папа откликнулся жизнерадостной телеграммой и посулился скоро быть. Пришла еще телеграмма, длинная, непонятная, с номером поезда, какой через станцию Чусовскую и не ходил.

Пассажирских поездов здесь следовало тогда не так много, мы давай к каждому ходить всем семейством. Расставляю я детей и жену у одних ворот, сам встану у других, стою, жадно всматриваюсь в шестые пассажиров. Нет папы! И день нету, и другой нету. На третий день я к поезду не пошел — работы много было. Утерялся родитель. Снова утерялся! Непокойно на душе, сплю и прислушиваюсь — папа ж человек пылкий, увлекающийся, мог нашу станцию и проехать, что как прибудет в неназванный час?

Так оно и получилось. В три часа ночи слышим стук-бряк в дверь сеней, говор, голос с хрипотцой, но до звонкости промытый. Я к дверям, жена меня за рубашу — на окраине на темной живем, почти в овраге, мало ли что.

— Да папа это, папа! — вырываюсь. Открываю дверь в сенки, спрашиваю, как обычно, кто там, а сердце колотится, бьется на последнем радостном взлете.

— А здесь ли проживает мой любимый сын Виктор Петрович Астафьев?

— Господи! Сколько лет, сколько зим!

Срывая кожу на пальцах, открываю крючок, а он никак не открывается, нащариваю какой-то предмет на полу, выбиваю крючок из скобки, дверь распахивается — на крыльце, освещенном тусклой лампочкой, стоит молодой мужичок с усиками бабочкой, во всем морячком, одеколоном пахнущий, фуражка с кокардой набекрень, белый шарфик вдоль бортов шинели.

— Папа!

Обнялись. Плачем. Сзади семейство толпится, череду ждет, жажда облобызать единственного оставшегося в живых из всей родни старика. А он и на старика-то не похож. Этаким добрый молодец, представившийся капитан-директором, хотя был всего лишь шкипером на барже, развозившей пресную воду по Каспийскому морю для рыбаков, затем морским дебаркадером ведал, но упорно и всегда на звании том высоком настаивал.

Отчего же не встретили родителя-то? Он, как всегда, самонадеянно полагал, что яйца курицу не учат, что грамотней его быть невозможно, что «масла» в его голове вполне достанет любой документ обмозговать и составить, даже в пределах всего Каскилькохолодрыбфлота не подкупаешься, а какую-то там плеваю дорожную телеграмму написать — вовсе разговору нету. Прежде чем ее, ту телеграмму, отбить, папа поддал для вдохновения, вот и перепутал все, что только можно перепутать. Число, номер поезда и вагон. Искал нас по городу с самого вечера, на окраину угодил, увидел дом, где окна светятся, гармошка звучит — крестины там шли, — вошел, разговорился, засиделся, забыв, зачем и для чего он в этот город прибыл. Соседи же, сказав: «О вас ведь беспокоятся», с почтением, под ручки препроводили капитана-директора через ручеек, текущий по оврагу.

Не признавая своего дорожного поражения, папа убеждал нас:

— Железная дорога! Она, она, курва, напутала. Я чесь чесью телеграмму составил, хоть министру ее отбивай. Я ишшо ворочусь в Астрахань и глаз начальнику станции выбью...

Дивилось мое тихое семейство на новоявленное чудо. У няньки нашей, деревенской девки, рот как отворился, да так и не закрывался во все время пребывания моего родителя в нашем доме.

Стол был накрыт уж два дня, и, хотя шел четвертый час утра, мы сели, по стопарику подняли. Папа начал речь, но, дрогнув голосом, махнул рукой, пустил слезу и выпил за всех родных людей сразу, которых видел впервые и которых едва помнил по прошлой жизни. Сынок мой клевал носом, его скоро отравили спать. Дочка, бойкая в ту пору девочка, ластилась к гостю, к боку его прижималась, трогала светящиеся пуговицы на мундире и нарядные нашивки на рукаве, явно восхищаясь таким редкостным дедом. Почувствовав родственную душу, папа звенел: «Ерина! Ерина!...»

Утром мне надо было передавать материалы на областное радио, где тогда я трудился, бумаги ждали на столе, голова трещала. Я отправился на покой. Скоро и жена пришла, легла рядом, вздохнула украдкой в темноте встревоженно и печально: «О, Господи!...»

...Подскочили мы разом от бурных звуков музыки, топота, выкриков: в горнице дочка моя, учившаяся в музыкальной школе, грохала на пианино, папа босиком отплясывал и кричал моей ошарашенной жене, поверженной в изумление няньке, испуганному сынишке: «Маня! Мила Маня! Секлета! Андриуша! Учитесь, пока я живой! Ах! Ах! Ах! Жарь, матр-росы! Пр-равь, мор-ряки! Нам никака волна не страшна! Ах, милка моя, шевелилка моя! Я к тебе при-ышол, тибя дома не наше-ол! Ах! Ах! Ах-ха-ха...»

Любил ли я этого человека? Наверно, любил. Больше-то ведь некого было любить. Может, это и не любовь, а тот зов крови, о котором мы говорим мимоходом как о чем-то малозначащем, пустяковом. Нет, это не пустяк. Это болезненная привязанность, счастливую горечь которой ныне дано испытать уже далеко не всем. Когда я вижу, как девчушка или парнишка толкуются возле грязной пивнушки, плача, вытягивают из канавы упившегося до бесчувствия отца, а он еще и куражится, ругает, толкает ребенка, это ж ведь то же самое, пусть и по другому поводу сказанное: мне б надо вас возненавидеть, а я, безумец, вас люблю...

Ну ладно бы я, хоть и отщепенец, но все же живал с отцом, маленьким ласку от него отцовскую знал, пусть натерпелся и настрадался от него и вместе с ним, но братья мои, сестры, от мачехи рожденные, они-то, почти отца не видевшие, с ломаными-переломаными судьбами, они-то что ж по нему тосковали? И зывали ко мне, старшему брату: «Да привези ты его, привези! Охота папку увидеть...»

И я решился.

Должен заметить, слово «решился» вставил я в строку не случайно. Как и в прежние годы, папе было трудно управляться с собой, а мне и всем его знающим с ним. В Астрахани папа познакомился с Варварой Ивановной, она работала на дебаркадере матросом, папа ею командовал, руководил и доруководился. Снова папе в жены угодила женщина крупная, добрая, многотерпеливая. И что они, русские бабы, в маленьком, ветреном, больном мужичонке находили — загадка природы.

После первого посещения нашего дома папа бывал у нас, но не часто. С обретением же пенсии и полной свободы от трудов он приезжал из Астрахани на все лето в деревушку Быковку, где я приобрел дом. Забравшись в деревушку, властями и Богом забытую, часто оставаясь в совсем его не угнетающем одиночестве, папа куролесил там так, что вся эта тихая деревушка, воспрянув ото сна и угасания, начинала жить шумной и даже раздольной жизнью. Здесь, в углу лесном, безмагазинном, почти безмужичном, находил он способы добытия выпивки, собутыльников сыскивал, даже и ухажерок. Особое, можно сказать душевное отношение к нему испытывала Паруня, здешняя одинокая баба с одним зрячим глазом, человек не просто добрый, но какой-то, я бы сказал, космической терпеливости и безбрежного добродушия. Она опекала папу, таскала ему дрова, воду, ломила тяжелую работу, выпивала вместе с ним, когда папа не мог найти собеседника помоложе и поболтливей. Обитатели Быковки, да и мы всей семьей подсмеивались насчет этой дружбы, намеки прозрачные давали. Папа, жестикулируя перстами и двигая головой своей, аккуратно причесанной, возмущенно отбивался: «Да мне иё судом присуди — на дух не надо!..» Лукавил папа. Нужна была ему Паруня и как добровольный батрак, как выручка в бедах и сиделка во время его хворей. Союз этот был не обоюдолобовный, но крепкий.

Как-то приехал я в Быковку внезапно: двери в избе и окна настежь, занавески на ветру полощутся, ветер по чисто убранному помещению гуляет. Папа до самой смерти был во всем опрятен и чрезвычайно этим гордился. На столе сковородка с картошкой, хлеб, огурцы и недопитая поллитровка. Хозяина нету. Понял я, что папа, будучи под градусами, возжаждал общения и подался за речку Быковку к бабе Даше — «на беседу». К бабе Даше приехал младший сын, тоже большой выпивоха и страшный охотник, да и Паруня тут случилась. Охотники до того добеседовались, что папа не мог уже самостоятельно перейти речку по трем жердям, положенным вместо мостика. Паруня взвалила папу на загривок и понесла. И вот вижу я картину: схватившись за шею женщины, папа едет на ней верхом и кроет ее при этом из души-то в душу. Паруня, не реагируя, перенесла папу через речку и швырнула на траву к моим ногам: «Возьми своего тятю! Надоел он мне!..» И погреблась через бурьян по бывшим быковским полям и усадьбам ко своей избушке

Пагуба эта, пьянство, много бед и несчастий семье нашей принесшая, как-то легко, слово с гуся вода, сходила папе. Пьяненького, болтливого, порой и срамного на слово, его никто не бил, не гнал. Не раз мне подавали его на руки из вагона какие-то случайные спутники, сдружившиеся с ним за дорогу, даже и в родственные чувства впавшие, крутя головой, говорили давно мне знакомое: «Ну и забавный у вас папа!» — и я сердился, говорил про себя, но когда и вслух: «Вам бы такого забавного», чаще же просто махал рукою, не желая людям того зла, которое причинил женам, мне и всем детям своим мой забавный папа.

В Быковке папу баловали. Дети мои подросли, играть с дедом взялись: то кепку на брус полатей повесят, и папа, смешно подпрыгивая, достает ее и достать не может, то предмет ему под задницу подсунут, когда он садится. Так ведь и он теми же шутками отвечает. Была у папы любимая певица Великанова. Пилят дрова дед с внуком, в избе радио гремит. Внук настораживает ухо и говорит: «Дед, Великанова поет». Папа снимает рукавицы, отряхивает опилки со штанов, заходит в избу, а по радио Штоколов орет на всю ивановскую про куму и про судака. Дед внуку пальчиком грозит: «Ну погоди, погоди, варначина! Я тя тоже на чем-нибудь прикуплю!»

Так вот и жили да были. Дед старился, здоровьем все больше слабел, заедая вино и похмелые лекарствами, любимыми, какие есть в аптеке. Один раз даже обнаружили у него таблетки для укрепления коры головного мозга, и я вздохнул: чего и укреплять-то? Я был не прав. Папа был умен, но умен «для себя», однопартийно как-то — вся жизнь его и потехи все служили ему только в улаживание, для удовлетворения прихотей и страстей его.

Мы всей семьей переехали с Урала в Вологду. Я купил избу в такой же, как и Быковка, убогой и угасающей деревеньке Сибле, потому что природа здесь, как и вокруг уральской деревушки, была замечательная. Папа мой начал удивлять и пробуждать полусонную Вологодчину. Снова давно, в прах, казалось бы, изношенные шутки и прибаутки: «Всем господам по сапогам, нам по валенкам!» — открывали ему дверь во все избы, и снова стих: «Гимназисток нам не надо, нужны дамы в вуали, па-а-ц-илуй прекрасной дамы, абьиснения в любви!» — ввергал женщин в трепет.

Здесь, в доброй, травой заросшей либо снегом заваленной деревушке Сибле, я много работал, часто и подолгу оставаясь вдвоем с папой. И наконец понял, почему некоторым бывшим ээкам удалось выжить в наших губительных лагерях и не к ним приспособиться, а приспособить их себе, обмануть самую надувательскую систему, даже самого Сталина надуть, построив Беломорканал досрочно, за два с половиной года вместо пяти, но и на два почти метра мельче против проектной мощности, что обнаружилось только в войну во время проводки черноморских подводных лодок в Балтийское море.

В Сибле на просторном моем участке я к старым тополям и березам посадил много всякого леса, в том числе и сибирские кедры. Тополя здесь росли серые, мужишки грубые, с корявыми ветвями, но по-мужишки же плодовые и приветливые. Птиц всегда на тополях бывало и пело много. К стволу одного тополя я попросил ребят прибить скворечник. И его прибили самокованным крупным гвоздем с фигурной шляпкой. И в этот именно гвоздь, в эту шляпку угодила молния. Я, как это не единожды со мною бывало, некстати заработался, за окном громыхает так, что изба качается, из трубы русской печи на шесток глина с сажей валится.

— Ты че сидишь? Ты че там пишешь? Ты погляди, че деется! Погляди! — вбежав в избу, всполошенно закричал папа.

Я спустился в сенки, открыл дверь — весь огород был в белой щепе, и расщепленный повдоль тополь, обронив ветви, словно в изорванной после драки рубахе, поверженно болтал на ветру мокрыми лоскутьями.

Папа почти все лето собирал по огороду щепу, складывал возле стены избы поленницу, иногда чего-то перерубая или ножовкой ширкая. При этом папа наряжался в мою старую охотничью телогрейку, изодранную до того, что она уж и в починку не годилась. Из-под телогрейки до колен свисала тоже моя изношенная, но когда-то фасонистая клетчатая рубаха. На голове старая кепчонка, на ногах истрескавшиеся калошишки — это чтобы всем было видно, как бедному-пребедному старику живется, да вот еще работой неволят, кусок хлеба добывать велят, выпить коснись, не спросишься. Чем жить? Зачем жить?

Отложив ручку, я наблюдал за работой папы в окно. Он все волочил и волочил одну долгую щепку, вертел ее так и сяк — она не ложилась в поленницу.



Садился, курил, соображал, как ему управиться с этой клятой щепкой. К обеду управился-таки, распилил ее ножовкой. Шаркая калошами, поднялся папа в избу, хлопнул рукавицы на шесток:

— Н-ну, туды твою мать! Во дал! Во устряпался! Ране, бывало...

Вот такой мне наглядный пример был, как научились работать подневольные люди.

Меня еще после первого приезда папы из заключения с великой стройки Беломорканала имени товарища Сталина среди многих потрясло одно его сообщение. Схватившись за голову, он отчаянно кричал: «А-ааа-аб-ни-сен стеной висо-окай Александровский цынтрал». Ну, что такое «цынтрал», я уже знал к той поре — это ружье центрального боя. Но непонятно было — «нигде соринки не найдешь». Зачем соринки да еще в ружье? Но мне пояснили: двор это, двор, и... «подметалов штук по двадцать в каждой камаре найдешь». Двадцать подметал на один двор! Конечно, чисто будет.

Но вот на сегодняшний день и двадцати подметал мало, всюду по Руси грязь, сор. И в головах мусор. И все метут, но чаще призывают мести, а дело же ни с места. Хитрую, поучительную ленинско-сталинскую науку мы прошли — шаг вперед, два шага назад, шаг влево, шаг вправо и... ни с места!

Самопожиранием это называется.

Папа от рождения был артистом и, пройдя такой массовый тюремный театр, вовсе перестал ощущать жизнь «в натуре», заигрывался порой до умопомрачения, и все ведь со смыслом, все, как ему казалось, кому-то потрафляя.

Собираюсь я в Сибирь на пятидесятилетие Игарки и говорю:

— Ну что, папа, передавать от тебя приветы Гале и Вовке?

— Какой Гале? Какому Вовке?

— Да твоим детям, дочери и сыну.

— Какие дети? Какая дочь? Какой сын? Ты насочиняшь!

Гадкая черта, приобретенная в заключении: жить сей минутой предавая всех и все. Папа забыл, но скорее делал вид, что забыл деревенские законы среди которых главный — почтение к родным людям. Он почему-то решил, что, предавая забвению детей, рожденных мачехой, угождает тем самым мне. Для него главное было в пьяном азарте сделать детей, а они уж пусть, как трава под забором, сами растут и сами опохмеляться соображают.

Вот оттого я не сразу решился откликнуться на призыв братьев привезти к ним дорогого папу.

Из Красноярска я должен был по командировке журнала ехать на юг края, папе ж надо было двигаться в северную сторону. Собрал я его в дорогу, купил родичам подарки, дал денег на жительство и на обратную дорогу просил, молил не пить в пути, вести себя пристойно в Ярцеве — брат мой его сын Коля болен живет скудно

— Пожалуйста, папа, не осложняй и без того нелегкую жизнь человека!

— Да че я, маленький че ли? Че я, не понимаю?

Все понимал папа. Все, что ему надо, прекрасно помнил и знал. Угораздило меня погрузить папу на теплоход «Композитор Калинин» На «Калинникове» том главным механиком работал еще один наш Колька покойного дяди Васи сын — «в натуре» по папиной родове уродился гуляка, форсун удалой. Только отвалил теплоход от пристани, от причала, только отзвучал прощальный марш. как из судовой радиорубки раздался призыв:

— Главный механик Астафьев Николай Васильевич, вас просит зайти в каюту номер такую-то ваш близкий родственник!

Механик, как я уже заметил, нашенской породы, на подъем и на ногу скорый, стриганул на зов, отворил каюту и. заранее дрожа голосом от закипающих слез, возгласил:

— Да уж не дядя ли Петя?!

Схватились дядя с племянником, обнялись крепко-накрепко, грудь друг другу слезами омочили, тут же сдали билет — еще не хватало такому большому начальнику таких дорогих родственников за деньги возить! Это пусть писатель наш по билету ездит, коль у него денег много. Племянник пересадил дядю в свою каюту, и загуляли ж они, запели, заплясали! В Ярцеве чуть тепленького передали сыновьям, невестке и внукам дорогого гостя. Колька-механик еще и в рупор с капитанского мостика кричал: «Дядю не обижать, хорошо его питать, опохмелять! И вопше!..»

Удивил папа и Ярцево, большое село, — покуролесил вдосталь, денежки все прокутил, подарки отчего-то не вручил, потерял или пропил — кто знает, обманул сына, сказав, что на обратную дорогу «тот деляга» — это, значит, я — денег не дал. «Откуль ему набраться на всех на нас денег-то, ты уж давай подзайми или как». Тогда же, вдруг вспомнив про дочь Галю, собрался было двинуть в любимое Заполярье, в Игарку, но уже от долгого оглушительного пьянства заалел папа, обострился его вечный спутник — псориаз.

Кое-как, с трудом, с канителью отправили его из Ярцева домой. Долго потом мой брат крутил головой: «Забавный у нас папа!»

Прибыв домой, отец надолго завалился в привычную больницу. Я подумал: раз папа проявил такую решительность и пожелал увидеть родную дочь свою, попрошу-ка я Галю заехать в Вологду. Свезил ее в Сиблу, где папа жалостно произнес:

— На баушку на мою, на твою прабаушку Анну походит Галька-то. Помету-то нашего. Белинькая!

Папа часто нам писал из Астрахани старательные письма, подробно повествуя, как и чем он болен, сколько месяцев пробыл в больнице, как плохо стало с рыбой на Каспии, начальство совсем заворовалось, утопило три судна, одно прямо у причала, на Балде — так зовется протока, — и ничего ему, начальству-то, не привлекают ни по какой статье, а его вот ни за что ни про что упрятали «за сурову железну решетку».

Всем дружным семейством поплыли мы от Перми до Астрахани на теплоходе.

Жил папа с Варварой Ивановной в одноглазой глиняной пристройке, прилепленной ко множеству каких-то пристроек и строений во дворе. Каютой звал свое обиталище папа, в нее входили кровать, стол да плита об одну дырку. Эта квартира с окошком во двор, видом, но не просторами напоминающая сибирскую стайку для скота, принадлежала хозяйке, папа здесь был примак, но чувствовал себя царем.

Ночевали мы в квартире богатеньких евреев, живших здесь же, но не во дворе, а выше, над двором, в доме с террасой. Хозяин квартиры, Яша, работал зуботехником, Роза, хозяйка, вела дом, дочь училась в музыкальной школе, собиралась в консерваторию и хорошо играла на рояле. Папа водил с этим тихим семейством дружбу.

С рыбой уже в ту пору было в Астрахани плохо. Варвара Ивановна, коренная астраханка и морячка, где-то все же покупала рыбку, говорила, на причалах, и потчевала нас. Скучное и тесное жилье, папа, загулявший в честь нашего приезда и начавший, как всегда, куролесить, сократили наше времяпрепровождение в Астрахани. Через несколько дней мы отбыли обратно и в каждом ответном письме просили папу не хлопотать, не беспокоиться насчет рыбы, ее в ту пору в Вологде было больше чем в Астрахани, да и сам я добычливо рыбачил. И хотя каждое письмо папы заканчивалось, как доклад Иванушки из «Конька-Горбунка» «В общем все благополучно», мы не очень этому верили, просили папу не пить, пожалеть свое здоровье и Варвару Ивановну, однако нет-нет и получали вопль из Астрахани: «Заберите, ради Бога, своего отца. Больше не могу!..»

Однажды Варвара Ивановна в глиняной каморке своей гладила белье, упала, уронив утюг на живот, и умерла. Сломалась еще одна русская многострадальная женщина. Надо было забирать папу к себе. Он после длительных и обильных поминок залег в кожный диспансер. Я подал ему телеграмму, чтобы он выписывался из больницы и собирался в дорогу. Папа сей же момент с телеграммой ко главврачу, хорошо его знавшему, тот отпустил его с Богом, и папа, вернувшись в свою «каюту», тут же и загулял.

Явился я в узкий, без единого куста, без единой травинки двор, среди которого плескалась грязная лужа и за нею мерцала одним глазом папина «фатера», на которую имела виды и наконец дождалась своего угла племянница Варвары Ивановны. В благодарность она, видать, поставила папе выпивку иль деньжонок дала. Вылетел папа мне навстречу в одной майке, по телу его незалечимые, на пятна от банок похожие алые кругляши. Папа с объятиями, со слезами, с расспросами о здоровье внучат, жены, друзей, а сверху доносится:

— Возьмите-таки этого старого хулигана! Увезите подальше от нас!

Папа кулачишком грозит, кроет вверху живущих, был, говорит, там один честный человек, Яша, да еще Роза с дочерью, но и те за море уплыли, поскольку дочь кончила бесплатную консерваторию и теперь могла выгодно реализовать

свои таланты. Сердился папа на астраханских евреев давно и непрощающе, хотя раньше водился с ними, лечился у них, сиживал в одной камере и рассказывал из тюремной совместной жизни много развеселых историй.

И рассердился-то из-за сущего пустяка.

Мне очень сложно с моим почерком и быстрописью подобрать перо для работы. И вот кто-то на день рожденья подарил мне дорогую по тем временам китайскую ручку с золотым перышком. В руку пала ручка, сама писала, но от многоупотребления сносился наборный механизм, серенький корпус потрескался, лишь перо работало все так же мягко, неизносимо, и, перемотав ручку изоляционной лентой, я макал ее в пузырек, измазывался чернилами, как школьник. «Давай ручку-то в Астрахань увезу,— сказал папа, собираясь из Быковки на Каспий,— у меня полно знакомых мастеров-евреев, сделают все честь честью». В середине зимы из Астрахани вернулась ко мне ручка совершенно растерзанная, и вместо золотого перышка торчало в ней старое ученическое перо с обломанной шишечкой. Должно быть, папа привычно хвастался, что сын у него писатель, что ручку надо сделать первым сортом, что за ценой он не постоит, и даже не открыл коробочку после ремонта. Какая поганая, какая мелкая насмешка над непутевым стариком!

Едва утащил я со двора разгневанного родителя, прося извинения за его «нескромное поведение»,— наша это домашняя поговорка такая, доставшаяся от папы и до сих пор бытующая в семье. Куролесит, куролесит папа, приходит пора ему уезжать, расцелуется со всеми, постоит, помнется у порога и молвит, пуская слезу: «Маня, Витя, Ерина, Андрюша, Толя, Секлета! Простите миня за мое нескромное поведение...» И нас в слезу вобьет: «Да чего уж там, поезжай с Богом, ждем будущим летом».

В Астрахани, где зима короткая, в теплом климате, в солнечной стороне, у папы было лучше со здоровьем. Но года и вино брали свое, псориаз все чаще и чаще валил его на больничную койку.

Утащил я, значит, папу со двора в глиняную клетушку, там у него гость, квадратный мужик с квадратным лицом, с руками квадратными, с носом квадратным, со лбом квадратным, под названием Евлания, Евлампий, значит. Сидит Евлания, заняв пол-фатеры, перед ним на столе несколько бутылок, и все недопитые. Кусок раскрошенного хлеба, сморщенный помидор, селедка, от которой осталась одна голова да молоки, по клеенке размазанные. В клетушке духотища, мухи, постель смята, пол грязный. На оконце, вмазанном в глину, свяла, осыпала листья герань, и похожие на окурки стерженьки ее высохли. Придя из больницы, папа не прибрался, некогда было. «Чего это ты совсем распустился?» — хотел я прикрикнуть на родителя, но всякие слова были тут бесполезны. Папа налил мне, себе и Евлане в стаканы, провозгласил тост в честь прибытия дорогого сына и вдруг взъялся ни с того ни с сего на своего «лучшего друга», как он представил Евланию мне. Сжав бойцовские губы и кулачишко, папа замахивался, целя Евлане в глаз, и сквозь стиснутый рот грозился:

— Я те счас как забубеню, так ты и якорь бросишь!..

Евлания, жизнь свою промантуливший грузчиком в астраханском порту, испуганно загоразивался ручищами и с почти натуральной жалостью умолял:

— Ой, Петька, не надо! Не надо, дорогой! Зашибешь, тебе-то че, а у меня дети, внучата, жана...

Евлаша вышел на пенсию, гулял, развлекался, озоровал себе в удовольствие. Все это папа называл точно и емко — «тиятр», хотя никогда он в театре не бывал, но по любому поводу: о соре семейной, о потасовке на барже или на пристани, даже о том, как учаливается судно под названием «Урал» к сибленским берегам,— качал головой, уютно посмеиваясь, говорил: «Ну тиятр!» В Быковке, счастливо избежав укусов растревоженных соседских пчел на пути к колодцу, папа кричал мне, глядя на народ, в панике мечущийся по улице: «Ты погляди, погляди, какой там тиятр!» — и тут же, замахав руками над головой, бросался в избу, думая, что его преследует пчела. Комары папу не ели — из-за мазей на теле, а он уверял: из-за проспиртованности организма: пчелы же, наоборот, люто его преследовали.

В Вологде мы раза два или три брали папу в театр, в том числе и на премьеру спектакля по моей пьесе. Папа к любому выходу на люди готовился тщательно: надевал выходной костюм и новую рубаху. Выбор рубах у него был такой, какого он прежде не знал: отходила мода на нейлон, и все мои дети и друзья дарили папе новые блестящие рубахи на день рожденья. «Ну как?» — спрашивали мы

папу после спектакля. «Ничего, — помедлив, отвечал папа, — помешание хорошо, артисты молоды, артиски красивы...» В подтексте, в скепсисе, глубоко упрянтном, папа давал понять: он и учалить теплоход, и пилу развести, и сыграть в театре, и сочинить мог бы получше, да зачем же у людей кусок хлеба отбирать... Папа до самой смерти был в совершенной уверенности, что по охоте, по обработке рыбы, также и по грамоте мало ему равных людей на свете, потому как ходил он когда-то в первых грамотеях села Овсянки и уверенность эту, а также удовольствие от своего превосходства над остальным людом не хотел утрачивать.

Псориаз — кожный лишай — съедал папу заживо. Ему нельзя было жить в Заполярье, есть что попало и когда попало, нервничать и пить водку, тем более какое-либо подкрашенное зелье. Но он втянулся в свою жизнь, ненавидя ее, проклиная, голосом раненого кричал по утрам, не в силах разогнуть суставы — кожа трескалась в локтях, под коленями, под лопатками и в паху, белье присыхало к сплошь пораженному телу, из-под серых пластунин выдавливалась темная нездоровая кровь: «За-астрелю-усь, к е...й матери!»

Но был он непобедимый жизнелюб; измазав пяток баночек вазелина на кожу, отмякал, отходил, не пил какое-то время — болезнь, струпьями сходя с кожи, отступала, и он забывал о недавно перенесенных страданиях. Папа снова начинал глядеть вдаль, за реку, и придумывать, как ему смыться из дому, чего еще продать, променять на выпивку. Желания и страсти всегда были выше его воли, беспокойность, егозливість характера губили его жизнь. И кабы только его!

К слову сказать, папа был уверен, что болезнь он добыл в юности, когда помогал деду Якову на мельнице, постигая хитрое и сложное дело мельника. Еще в молодости, размачивая новопомольную муку, начал он попивать с помольщиками, как это делалось на всех российских мельницах, прогоняя колесо. В рот не берущий зелья дед Яков лупил внука нещадно за губительную привычку, загоняя его в холодную воду — «ковать колесо». «Там, там, на родной меленке, набродил я эту кожу», — заверял папа. Но я встречал людей, страдающих этой неотвязной болезнью, точнее ее назвать наказанием господним, которые мельницу и в глаза не видели и в холодной воде не бродили. За излечение жуткой болезни под названием нездешним, чужим в каком-то заморском городе, вроде бы Стокгольме, сообщил папа, лежит миллион награды, один американский богатей всю жизнь маялся кожей и перед смертью сказал: «Кто эту болезнь излечит — тому и отдадите миллион». До сего дни, заверял папа, премия не востребована.

И вот забыто губительное Заполярье, разбросаны дети по свету, не отлетела еще душа, не выветрился еще дух хозяйки из жалкого человеческого прибежища, по габаритам точно именуемого каютой, а папа уже представляет с забулдыгой дружок «тиятр». Уяснив, что игра эта, незатейливый пьяньский кураж закончатся не скоро, я сказал отцу, чтоб кончал пить, собирался бы в дорогу, и подался устраиваться в гостиницу. «А че те здесь-то не живется? Фатера в полном нашем распоряжении...»

С уличного автомата позвонил давнему моему знакомому, ныне уже покойному писателю Юрию Селенскому, тот связался с местным Союзом писателей, и меня пообещали устроить, если я выступлю в каком-то техникуме вместе с хорошим поэтом и славным мужиком Михаилом Лукониным, прибывшим на открытые памятника своему отцу, борвшемуся в Нижнем Поволжье за советскую власть и еще за что-тс.

Юра предложил нам сходить в ресторан «Поплавок» и отведать настоящей ухи из осетровой головы. Попали мы в довольно замызганную, к бетонному берегу прислоненную, в натуральном говне плавающую забегаловку, громко, как и все наши кормильно-поильные дыры, именуемую рестораном, и с удивлением узнали, что уха из осетрины здесь в самом деле производится. Сидим, ждем, напряженные, не до конца верящие, что в наши дни среди такой вот воды еще можно поймать осетра и предложить из него уху своим соотечественникам. Луконин по случаю торжеств в буржуйский костюм кремового цвета нарядился. Юра при галстуге, я разодет в только что приобретенный женою не где-нибудь, а в самой Вологде французский костюм цвета привядшего сена, в белую рубаху, в новые носки, туфли. Был я тогда еще при фигуре, в годах не старых, сiju, сам собою и астраханскими женщинами люблюсь, ногой, обтянутой узкой туфлей, подрагиваю, новости столичные слушаю; поскольку Луконин был писательским

начальником, то новостей знал много, и были они одна другой занимательней, не то что ныне — быть, не быть Союзу писателей? жить, не жить на свете русским писателям? уезжать, не уезжать всем за границу на прокорм? Да ведь не возьмут всех-то, стары больно, и писать умем только по соцреализму, будто по портняжному лекалу выкройки дела. Но зачем, скажите на милость, соцреализм и соцреалисты нужны буржуйам? У них своих дармоедов девасть некуда и всяких реализмов допмна, реалисты там попронирыливей наших, и литфонда, который можно всю жизнь доить, как казенную корову, тоже нету.

Неуклюже ступающая, изрядно подтаятая баба в ржаво-оплесканной куртке, которая еще в первой пятилетке была белой, разносила уху в щедро наполненных тарелках, из которых торчали аппетитные осетровые хрящи. Принесла Луконину — ничего. Юре принесла — тоже ничего. Но как пошла ко мне, тревожно мне сделалось: совсем развезло бабу, едва ковыляет, вцепившись в тарелку, погрузив оба больших пальца в горячее варево. Нарывают, видно, пальцы-то, врачи велели их в теплом держать. «Ой, кабы не облила она меня!» — подумал я, и только так подумал, баба хлесь мне уху на брюки, на французские-то. Угодила точь-в-точь ниже живота. Я петухом вскочил, закукарекал, брюки горячие оттягиваю, чтобы спасти что еще от войны осталось, а баба мне: «Расселся тута, как хер на именинах!..»

Идем в гостиницу, ухи не похлебавши. Молчим, потрясенные достижениями советского сервиса, я газетой «Правдой» ошпаренный перед прикрыл, ребята даже и не острят. Перед-то ладно, может, еще и захивет до свадьбы до серебряной, но вот как без штанов жить и папу домой везти?

По большому благу, активно и широко развитому в городе Астрахани, велеречивый Юра Селенский и неотразимо обаятельный поэт Луконин устроили мои штаны в сверхсрочную чистку за сверхвознаграждение. Луконин жил в люксе, там у него затеивался прием в честь героического отца. Весь вечер вместе с многочисленными гостями просидел я при галстукке, во французском пиджаке, прикрывшись бархатной скатертью с кистями. Меня норовили выгащить на танцы, я говорил, что танцевать не умею, что было сущей правдой, и вообще как мог отбивался от дружных гулеванов. С горя и досады хорошо наклюкавшись, печалился я о прошлом, о героической жизни нашего семейства, зимогорившего, где и медведи бурые уже не живут. потому как не всякий даже самый лохматый зверь там выдерживает...

Например, между исчезнувшими ныне станками Карасино и Полой в дровозаготовительном бараке, строенном на скорую руку и на большую артель. Папа время от времени выезжал из барака то на охоту, то за боеприпасами, то за вазелином, необходимым ему ежедневно. бросив в тайге на произвол судьбы молодую жену на сносях с двумя детьми, из которых я, старший, добывал удочкой рыбу и кормил мачеху и Кольку до тех пор, пока кормилец и глава семейства не вспоминал наконец о нас.

До дровозаготовительного пункта — темного и сырого барака, рубленного на одну зиму. потому как полусухой тонкомерный лес здесь будет подчистую выпластан на пароходные дрова и другой зимою заготовки пойдут в другом месте,— жили мы в станке Карасино, где папа начальствовал на засольном рыбном пункте. После длительной разлуки да и от хорошей возбудительной пищи мигом он сотворил новое брюхо потерявшей бдительность мачехе. Всего же он пятерых детей произвел на свет, не считая меня, шестого. Слава Богу, ни одному из нас не передалась страшная папина болезнь — псориаз, но вот тоже неизлечимый недуг. или тяжкий российский порок,— алкогольное замыкание прошло через голову. Одного брата уже смыло хмельной волной и унесло в могилу; младшая, самая красивая; и боевая дочь папы, изображая из себя альпинистку, упала с приенисейских скал: Коля умер от рака. Осталось нас на свете трое: Галя, Володя и я. Иногда младшие советуются со старшим, слушаются его, иногда — нет, живем-то далеко друг от друга и жизнью разной.

Колька после лютой игарской зимы и голодухи в Карасине обыгрался, качал неуклюжую деревянную кровать на дугах так, что она на волне бьющимся кораблем валилась с борта на борт. порой малец вываливался из нее, бился головой об пол. орал на весь станок. Не раз мне за него попадало, поскольку, вернувшись под родительский кров, я снова был определен на старую должность — в няньки — и одновременно на новую. более ответственную — в сторожа при рыбоделе.

А мне хотелось бродить по лесам, удить и стрелять. Когда не очень донимали комары, я брал за руки восставшего почти из мертвых брата, вел его на Енисей, забрасывал удочки. Колька пулял в воду камни, пускал щепочки и добытую мной рыбу, восторженно заливаясь, хлопал в ладоши, радовался, если, отдышавшись, рыба уплывала восвояси. В моей рыбе никто не нуждался, поскольку в папином распоряжении был рыбодел, полный стерляди, осетра, нельмы, муксуна, чира. Случалось, папа сдавал по пять-шесть бочек икры, тоннами соленую и живую рыбу. Пил рыбный начальник напропалую и в конце концов согнан был с кормного места, из начальников угодил на самую захудалую должность дровяного караульщика и на совсем-совсем нищенскую зарплату.

Еще когда мы жили в Карасине, я развлекался с малым братиком на берегу, пел на всю реку «с подтрясом», как артист, заверял папа, учил и Кольку бодрым песням той поры, также и матершинным частушкам, которые малый усваивал лучше, чем патриотические песни, — удался и этот малый в нашу залихвастую породу.

Петь-то я, значит, пел, но и природу наблюдал.

...Часу во втором мертвенно бледной заполярной ночи от острова Тальничного через Енисей тянул одинокий, молчаливый гусь и садился на нашем берегу по-за станком Карасино. Я выследил, куда он садился, встрепенулась во мне охотничья душа, стал я клянчить у отца ружье и патроны. «Ты знаешь, что такое добыть гуся? Да ишло летошнего, гнездового? Надо масло здесь иметь! — звонко постучал себя по голове папа. — И стрелять, как я стреляю! Р-раз! — и ваша не пляшет!» — покуражился, поораторствовал, и, безнадежно махнув рукой, разрешил взять ружье, но наказывал припас беречь, патронов много не жечь.

И вот, уторкав Кольку в старой лодке, вытащенной на берег, сижу я в кусту тальника, сросшегося с ольхой, жду заречного гуся. Давно жду. Тишь накрыла округу. Комары меня едят, как им хочется. Енисей перестал блестеть под солнцем, как бы в тень отодвинувшись, солнце, зависшее по-за островами, сморилось, никуда больше не катится, маревом его окутало. Убавляясь в ярости и размере, светило задремало, серым гусиным пухом окутавшись. Стоп! Пух есть, солнце, пусть и сонное, есть, но где же гусь-то? Не продремал ли я его? Только так я подумал и увидел в небе сером точечку. Она возникла там, в истаивающем, но все еще прозрачном крае неба, вылетела из-за острова, из-за солнечного кругляша и, пошарившись в нем, словно малая пчелка в подсолнушке, молча и величаво потянула над рекой.

Чувствовалось, что енисейские просторы гусю родны, подвластны, что зовут они его, радуют и томят прохладными ночными далями. Из комарика, пчелки, малой серой птахи превращаясь в размашистую, как бы из тлена прошедшего дня народившуюся птицу, шел гусь все так же спокойно, все так же величаво, сваливаясь к карасинскому берегу. Коротким гармонным перебором поприветствовал гусь наш берег, может, предупредил кого, сторожко огибая куст, в котором я сидел, может, себя взбодрил, и полетел над прибрежной полосой так близко, что я увидел прижатые к светлому животу рябиново-алые лапы, даже заметил, что одну лапу вроде бы как отогнуло ветром на сторону. Широко размахнутые, остро изогнутые крылья с нарядным окаймлением из зубчатого пера, походившим на девичье кружево, пронесли надо мной птицу, и вроде бы опануло мое лицо воздухом, вроде бы даже просвистело над моей головой что-то.

В утихом мире сделалось совсем тихо, когда, бесшумно паря над водой, птица пошла на снижение, на посадку, и гусь, легко тормознув крыльями, опустился на мысок в устье небольшой безымянной речки. Отшумев в половодье, речка эта заснула среди кустов, заилась, густо заросла травой, превратилась в стоялые лужи. Там в надежном крепе водяного сора, в непролазной шараге росла, набиралась сил, обзаводилась чешуей. колочками мелкая рыбешка, утята ныряли, кулички плясали, и всякая водяная и лесная тварь, нуждающаяся в изобильной еде, в надежной ухоронке, чувствовала себя здесь как дома. Когда речка кипела и угорело неслась в Енисей, намыла она в устье своем бугор. Енисей встречными волнами нахлестывал сюда песка, ила, камней и запечатал речкин ход, остановил ее. В этом-то бугорке, в высохшем песчаном русле рылся гусь, выбирая чутким расплюснутым клювом всякое добро, за тем и летел сюда каждую ночь.

Прежде чем начать кормиться, гусь, вытянув шею, постоял недвижно, вслушиваясь в ночь. повертел головой, оглядел прибрежные кусты, реку: не

плывет ли в тени берега бесшумная лодка с охотником, не притаился ли в утении кустов песчишка линиялый либо другой коварный зверь? Переступил на месте, как бы разминая лапы, коротко, успокоенно гагакнув: «Добро-добро» гусь пошел вверх по руслу, кланяясь, шевелия наносный сохлый ил.

Подбираться к птице было далеконочко. Сбросив башмаки, чтобы не стучали, пригнувшись, побежал под берегом, меж летошних побегов тальника, ольхи и смородинника. Как и всякий с детства избегавшийся парнишка, был я скор на ногу, легок телом от не особо обременительного харча, но гусь все равно что-то почуял, взнял голову из водомоины, насторожился, и тогда я решил ползти. Берег реки, как и всюду в Заполярье, был лестницею. Ближе к подмытому обрыву и лесу, уроненному водой, ступени узкие, с крутым вземом, затем лесенки ниже, травянистей, в камешнике, где сиренево цветет береговой лук, пиканник, кровохлебка, шире, шире ступени, ниже и ниже уступ, нет уже ни бурых камней, ни кустов, ни даже луку дикого, одни хвощи да редкие травинки.

Отступая после весеннего половодья, вливаясь в меженное русло, Енисей оплодотворял природу стелил по берегам намытую бурной водой почву, разносил по ней семя и успокаивался чистой, промытой полосой песочка, словно в горнице, застеленной желтыми половиками, млея, нежилась, пошевеливался, потягивался, вздыхал, дымкой светлого песка шелестя, катался туда и обратно, вымывал мелкую разноцветную гальку; прибрежная кормная полоса кипела сплошною тучкою пугливых мальков, которые пригоршнями взлетали над водой, чего-то испугавшись возле берега мелководье искрило, светилось, расходилось кружками, и шептало, умиротворенно шептало отштормившее, бородастое, морщинистое лицо Енисея будто он, батенька, никого и не губил никогда только жаловал да привечал

Я решил ползти под укрытием средней ступени, не самой высокой, но все же способной укрыть человека, если он постарается ползти, совсем ужавшись в землю, почти сделавшись землею. Над ступенькой этой густо росли хвощи, цветом схожие с моими волосами, хитро все я продумал, даже кепку снял, чтобы гусь, глядя на мои волосья, верил, что это никакая не голова человечья, а хвощи пошевеливаются от легкого дуновения с реки. Комары грозным облаком ворочались, клубились надо мною, ели меня дружно, безнаказанно. Потому как я даже и отмахнуться от них не мог. Чем далее в ночь, в безветрие. в волглый морок, тем более налетало этой заразы, но мне было уже не до комаров, не до боли и крови своей, от которой липла рубаха к спине и шее. Не встревожился бы гусь от пирующего комара Марал вон, зверина, лишь чутьем и бегом спасающийся, замечает и загустевшего над человеком комара.

Я приближался к гусю

Он валяжно враскачку вышел из водомоины, шипал желтенько цветущую узорчатую травку зовущуюся гусятником, которой сочно заросли бугристые полянки по-над высохшей речкой. Гусь кормился но бдительности не терял все время вскидывая голову смотрел, слушал, и смотрел-то все в одну и ту же сторону, в мою! Стало быть не надо и вовсе головы поднимать, пугать птицу алчным человеческим взглядом. Улетит гусь — значит, жить ему, не улетит — на верный уж выстрел подлезу и тогда как молвит мой папа, «ваша не пляшет»

Подлез!

Приподнял голову, раздвинул носом хвощи — вот он, голубчик, вот он, красавец ненаглядный, стоит, смотрит, глаз круглый видно, в глазу ядрышко золотое сверкает, значит, солнце просыпается, из пуху из гусяного-то распеленывается. С солнцем гусь кормиться перестанет, улетит. Но еще будут туманы наутренние. Если туман поползет густой островной гость тоже не останется на нашем берегу, подастся к себе домой. Возьми его там, достань. Хитер, зараза!

Я разговариваю сам с собой, переживая, когда уймется мое сердце. Мне кажется, птице слышно даже, как оно бухает. Но нет, не слышит, не чувствует меня гусь, опустил голову, стрижет вкусную травку, аж слышно, как причмокивает от сладости и удовольствия зеленую сочащимся клювом: га-гак, га-гак.

Не тревожа и песчинки, без шороха просовываю ружье в хвощи. Чтоб не щелкнуло, курок я давно уже взвел, вытер глаз, которым целить, от пота о плечо, долго-долго напряженно целью в бок гуся, чтобы не промахнуться, чтоб уж наверняка, в крылатый, не одним, а двумя иль тремя резными кружевцами украшенный бок, да еще и сине-зелеными перышками подкрашенный.

«Ну, Господи благослови!» — облизав губы, соленные от пота и крови, молвил я и давнул на собачку, так опять же папа называет курок, и еще до дыма, до гула

выстрела увидел, как огнем снесло перед моим лицом полосу русых хвощей и разбризгало с дальних травинок росу. Выстрела я отчего-то не услышал, только ощутил толчок в плечо от сильного заряда и увидел в черном ворохе дыма оседающую в траву, бьющую нарядным крылом крупную птицу, рвущуюся в небо. Крик, напоминающий звук все той же родной, но уже надвое разорванной старой гармонии, крик отчаянья, прощальный крик оглашал берег дохлой безымянной речки, заманившей, прикормившей дальнего гостя.

Крича: «Есть! Есть!» — я подбежал к гусю, схватил его. Он еще пытался бить меня целым крылом, поднимал голову, еще глаз его с гаснущим ядрышком света глядел на меня с ужасом и упреком. Я прижимал тугую, горячую птицу к груди, зарывался носом в холодное перо. Гусь зазевал судорожно, предсмертно, шевеля в клюве окровенелую травку, с которой режет и режет капало, пока наконец не выдулась в две дыхательные дырки на клюве пузыристая пена. Клюв беспомощно открылся, черная от крови выпала травинка, что-то клекнуло в горле птицы, она уронила голову, и с клюва длинно потекла жидко окрашенная слюна. В разнятых перьях шарились комары, вязли в красном мокре, пытаюсь улететь. Под моими пальцами тише и режет стучало, все глубже утопая в птичье перо, вольное и сильное сердце, скребло мне в брюхо лапами, дрожало у моего подбородка изнемогшее крыло.

Не жалость, нет. восторг добытчика сотрясал меня, мое сердце рвало счастьем, меня звало прыгать, кричать: «Вот! Я сам! Сам добыл гуся!» — наверно, и кричал и прыгал, потому что надо мной кружили чайки и оралы, ворохами взмывали утки с насыженной поймы речки и, панически клохча, неслись куда-то, ударяясь в навислые кусты.

— Вот, смотри!..

Папа сонно глянул на меня, подержал в руках птицу, взвесил, заметил, видимо, еще во время весенней охоты перебитую, криво сросшуюся лапу — отчего и отстал гусь от стаи, отчего и жил бобылем, кормился в одиночку.

— В натуре гусь. Из тюрьмы лытал, — небрежно сказал папа, так и сказал презрительно, по-блатному — не «летал», а «лытал». Заметив по моему лицу, что ляпнул не ко времени остроту, миролюбиво зевнул и добавил: — На пароход завтра продам, рубаху тебе куплю.

Я бережно, как это делают настоящие охотники, заложил голову птицы под крыло, унес ее в кладовку, убрал в ларь, закрыл железную накладку, и подумав, просунул в пеглю накидки палочку, чтоб ни собаки, ни кошки, ни какая другая тварь не добрались до моей добычи.

Усталый, в кровь объеденный комарами, но счастливый, полез я на чердак спать, сладко думая, какой я удачливый, какую папа купит мне рубаху на вырученные за мою добычу деньги. Если хорошо, с умом и выгодой продаст папа гуся, может, и на штаны сойдет. Сапоги он мне сулитесь шить давным-давно, сапоги я заработал на рыбоделе еще до приезда Кольки и мачехи, днем пластая рыбу, ночью сторожа рыбный склад. Папа мне уже показывал кожаный фартук, выданный в качестве спецовки на рыбодел. Из фартука выкроются переда и голенища, оставался суший пустяк — достать подошвы и найти сапожника, папа сапожника знает в станке Полое, пьяница, конечно, как и все сапожники, но зато первого класса сапожник. вот время подходящее наступит, сплаваёт в Полой папа, закажет сапоги, тогда совсем все хорошо будет.

Лафа моя детдомовская кончилась. Пожил я на всем бесплатном, поел бесплатные харчи, поносил бесплатную одежду всю-то зимушку. И довольно! Хватит государство обирать! Раз родители объявились, пусть платят за содержание в интернате. одевают, обувают своего ребенка. Государству есть кого кормить и содержать, оно большое, и народу в нем много живет, тем более государство не обязано содержать такого неслуха, варнака, у которого нет никакого порядка ни в поведении, ни в учебе. По половине предметов сплошные отличные оценки, по другой половине сплошные очень плохие оценки. Без всякой середины! Этот всем надоевший ученик только разлагает здоровый коллектив, дурно влияет на детей и явно метит в бродяги или в преступный мир.

Поскольку папа в интернат, объединенный с детдомом, за меня не платил и платить не собирался, то мне там из сердобольности отдавали обноски детдомовцев. Явился я под родительский кров в ветхой рубахе, в драных штанах и ботинках, которые просили каши. Только кепка на мне была новенькая рябенького, птичьего цвета. Кепку ту я выменял на горсть урючных косточек и за жошку



у одного плахинского паревана. Очень я гордился этой ценной вещью и берег ее, но вот одежку разбил до того, что мачеха уж и не знала, с какого боку ее чинить. Обновы, которые сулил мне папа, были бы совсем не лишние.

Проснувшись среди дня, первым делом забежал я в кладовку посмотреть на моего гуся, но его в ларе уже не было. Мачеха крикнула из избы: пристал пароход и отец унес мою добычу продавать. Что-то зануло во мне от нехороших предчувствий.

Пароход прогудел и отчалил. Папа домой не возвращался. Ждет, когда магазин откроют, чтоб рубаху мне купить... — со слабой уже верой в справедливое дело утешал я себя. Не было папы до обеда и после обеда. Вернулась мачеха и, отводя глаза, сказала мне, совсем упавшему духом:

— Не жди. Продал и пропил он твоего гуся... — Потрясла головой, отвернулась и добавила: — Да еще и глаз сулится нам обоим выбить. В натуре.

Мне казалось, давно, еще в раннем детстве, я выплакал все слезы, но в ту ночь на карасинском чердаке, забитом комарами, зарывшись в дряхлую постельку, я так горько плакал и так еще оказалось много слез, что обессилили они меня, просветлили и тяжело успокоили. Я решил уплыть от отца своего и больше никогда к нему не возвращаться, навсегда вычеркнуть его из своей жизни. Ах, мальчишка, мальчишка, наивный человек! Жизнь посильнее, поизворотливей твоих твердых рвений и намерений. Жить да быть тебе еще с отцом, никуда вам друг от друга не деться — так судьбой и Богом велено.

Летней, сенокосной порой папа отбыл из барака в сторону станка Полой с попутчиками, братьями Губиными, дровозаготовителями из соседнего, верстах в пяти ниже по течению Енисея расположенного дровяного табора. День, другой, третий — нету родителя. Рыбой питаемся, она уже приелась, горчит, как трава. Колька выплевывает рыбу, орет, хлеба просит. Мачеха сказала, слава Богу, перстун лодку не забрал, велела мне плыть, искать родимого кормильца. Мачехе страшно было оставаться в тайге одной, помня, что по берегам Енисея идут беглые арестанты из Норильска, да что же делать-то, голод неволит. И кроме того, никто ведь наш дровяной склад не освобождал от дел и служб. На обрывистом берегу было сложено тысяч пятнадцать кубометров дров, заготовленных зимою. Приставали пароходы, загружались дровами, топливом, выписывали квитанции, накладные и всякие деловые бумаги, в которых надлежало расписываться о сдаче продукции дровяному начальнику, и он это делал с большой охотой, расписывался-то, важно вынося на берег папку с бумагами и карандаш за ухом. Меня и мачеху начальник записал в списки работников дровосклада, в наши обязанности входило спускать с крутого яра по деревянному лотку к воде поленья дров, но мачехе, ходившей последние сроки, уже было не под силу делать эту довольно тяжелую работу, я же был склонен больше стрелять и удить, затянуть песню на весь Енисей с подтрясом, а не заниматься хлопотным делом. Поленья, катаясь по лотку, часто в нем застревали, доски катка, сколоченные уголком, сваливались с козлин, и надо было бегать снизу вверх, сверху вниз ликвидировать технические прорухи. К приходу парохода надлежало стащить от табора кубометров двести — триста, а табор с каждым днем отдалялся в глубь смятой, иссеченной тайги, потому как поленицы, будто стены храма, разбирались, исчезали, сгорая в утробах пароходных ненасытных котлов, и к осени здесь не должно было остаться ни единого полена.

Приставали к нашему табору чаще всего буксирные трудяги, сопровождающие вниз по Енисею огромные матки-плоты до Игарки, и вот, пристав и не найдя на берегу приготовленного для себя топлива, пароходные капитаны и матросы сами выполняли назначенную нам работу, по лотку спуская дрова, или, ругаясь, уходили к другим дровяным складам, или составляли акт на дровяного начальника, не выполняющего свои прямые обязанности, неизвестно куда исчезнувшего, к пароходу на зов гудка не явившегося. Словом, папе, а значит, и нашей семье, грозила новая беда — потерять и это таежное рабочее место, и ту жалкую зарплату, что отец получал как руководитель, те рублишки, что выплачивались нам с мачехой за подхватный труд на вверенном ему объекте.

И вот мачеха оставалась при ответственной должности выполнять обязанности дровяного начальника, а я, штатный грузовой трудяга, впряг собаку под названием Полюс в бечеву и начал правиться вверх по Енисею, зорко высматривая на его просторах лодку с непосредственным дровяным начальником, но где его не видно было, ни на водах, ни на суше. Начальник снова загулял,

кинув свой объект и забыв про ответственность. Переплыв через реку на лодке в станок Полой, ходил я от избы к избе, вслушиваясь, внюхиваясь, как хорошо натасканная собака лайка, стараясь взять след родителя. И взял! В новом дощаном доме, в развеселой компании лихо отплясывал мой родитель, пятками об пол стучал, пальцами прищелкивал, ахал, охал, посказульки озорные выдавал. Лицо его было вдохновенно, несколько отстраненно и серьезно — все видели, на какой высокой волне волнующего искусства пребывает он, в какие недосыгаемые выси захватило и занесло редкостно талантливое человека. Некрасовского толка и могущества братья Губины с соседнего участка, не способные ни к какому искусству, только в ладоши хлопали да завистливо глядели на развеселого своего товарища и, видно по лицам, сообразить не могли, как же вот с этими-то выдающимися артистическими данными человек на дрова угодил?!

Папа, как когда-то в овощном ларьке, долго не замечал меня и не узнавал, но все же наконец выделил взглядом из публики, недовольно поинтересовался, отдыхиваясь, вытирая пот со лба: «Ты! Зачем ты суды приплыл? Кто те велел? Она?..» — и тут же посулился выбить мачехе глаз, но, отдохнув и выплеснув с досадой в себя рюмаху, решил оба глаза ей выбить, всех нас, в натуре, перестрелять, поскольку навязались мы на его «горькую головушку», мешаем ему везде и всюду, путаемся, в натуре, в его ногах.

Однако, как тут же выяснилось, стрелять папе было уже не из чего — он пропил ружье, нашу последнюю надежду и выручку. Жены братьев Губиных, бабы бывалые, всего навидавшиеся за свою вербованную жизнь, обшарили папин пиджак, добыли какие-то мятые рублишки, велели мне бежать за хлебом, пока не закрылся магазин. Я купил полный мешок хлеба, да еще и на кило сахару для малого Кольки выгадал. Завернув мешочек с сахаром все в тот же кожаный фартук, предназначенный для сапог, продукцию я тайком и поскорее снес в лодку. Предстояла боевая и трудная задача вытащить папу с гулянки из Полоя домой, к дровяному объекту, подманить к лодке Полюса, который сорвался с поводка и убежал в селение.

На Енисее тем временем подразгулялась волна от крепчающего к ночи ветра. Много я времени потратил на поиски двух беглецов, и когда поздней уже ночью решился бросить их и плыть через Енисей к мачехе и ребенку, по реке катили беляки. Ночь летняя северная хотя и светла, но хмарна, и мне показалось, что под другим, высоким, каменным, как говорят на Севере, берегом волна еще не крута, стоит мне перемахнуть туда — и я в безопасности.

Ширь реки возле Полоя версты четыре, может, пять, может, и больше, годиков же мне было всего тринадцать, с весны с будущей пойдет четырнадцатый. К тому же без сна и отошал на рыбе, рыская по Полою в поисках беглецов, выдохся, и силенок моих не хватало на всю реку. На середине ее начало волноно захлестывать лодку, обвялыми руками, из последних сил держал я лодку носом на волну, безволие охватывало пловца, хотелось бросить весла, не сопротивляться. Утону так утону, экая потеря! Но там, в забитом комарами и кратким мороком лесу, ждали меня молодая женщина и ребенок, ждали, сжавшись от горя и страха, запершись на крючок. И пароход за дровами должен вот-вот подойти, по низкому лесному окоему уже растягивало, трепало дым из пароходной трубы...

Бился я, боролся с волной до потемнения в глазах, пока со стоном и плачем выгрелся за середину реки. Под каменным берегом волна и в самом деле была не такая навальная, как на стражи. Течение валкое, но не быстрое. Меня медленно сносило и сносило на пониз реки, к дровозаготовительному барaku. Я лежал в носу лодки, прикрыв собою мешок с хлебом и кулек с сахаром для брата малого, собираясь с силами и пытаюсь выловить корье, плавающее в полузатопленной лодке, чтобы снова прикрыть хлеб от хлестких брызг. Фигурку в белом платке, которая металась по берегу, махала мне, звала, я и увидел на берегу не сразу.

Меня несло мимо барака.

Где, у кого, каких еще сил я набрался? Всевышний, должно быть, и на этот раз мне пособил. Выбил я под высокий берег, снова ушел из-под волны, все более звереющей, в совсем отяжелевшей лодке. Скребусь к берегу, плачу, кашляю, мачеха в ледяную северную воду забрела, за нос лодку ловит, диким голосом кричит и не мешок с хлебом, меня под мышку волочит из лодки, волочит и целует, целует в мокрую голову, повторяя: «Царица небесная! Господи, батюшка, помог! Милостивец!..» И на угор, на угор, в теплую баню, одежду

срывает с меня, но я уже большой, зажимаюсь. «Да не стыдись ты меня, не стыдись! Мать я тебе, мать!..»

Потом уж, сквозь тяжкую муть и смертельный сон, доносило до меня слова мачехи, научившейся говорить с самой собой: «Сахар-то, сахар-то обернул, бечевкой обвязал! Вот откуда же берется? Пустобрехом рожон...» И про хлеб что-то успокоительное напевает: подмокли булки-то, да мы их подсушим, которые совсем раскисли, перемесим, перестряпаем на лепешки... «Не-э пропадем, ребята, не пропаде-ом!..»

Явился папа, больной, трясущийся, со спекшимся черным ртом, и сразу в наступление: почему я уплыл, бросив его одинокого на чужом берегу? Почему не купил ему «визилину» и табаку? Денежки вот из кармана выгresti догадался, жульман городской, но о больном человеке не подумал! И в наказание приказал мне идти на соседний дровоучасток к братанам Губиным за ружьем.

Не пропил, а променял он ружье — старую, заслуженную двустволку — на одноствольный дробовик, поскольку нужны были деньги на продукты и вазелин, и ему дали придачу братья Губины, да еще какую придачу! Мозга у него шевелится, масла достаточно, чтобы обмозговать выгодно обменную операцию. Выходило, папа на полойском берегу не пил, не гулеванил, за копейку бился, соображал, как нас, дармоедов, дальше и лучше содержать. Голова его от забот поседела, мы же не только не ценим его радений, но и ведем себя черт знает как — недостоинно, вольно, во вред ему и не на пользу общественному делу.

Ветер все еще не унялся. По Енисею шла уверенная волна, комаров с берега сдуло, загнало в прибрежную шарагу. Светлой ночью, под незакатным солнцем босиком шлепал я по мягкому приплеску, и вольно мне было. Никуда я не торопился, никого и ничего не боялся, пел песни, ел ягоды смородины, пил воду из ключей, пулял камнями в чаек, кружащихся надо мной, и не знал еще, что поход тот останется во мне на всю жизнь таким ярким озарением. Я озорно торжествовал, когда от берега вплавь бросилась врасплох застигнутая утка с выводком, выедавшим на отмели мулявку и всякие корешки, выброшенные волной. Утят, будто пробочки, подбрасывало на волне. Я хлопал в ладоши, пугал пташек, утка, изображая из себя предсмертно раненную, большую птаху, бултыхалась на воде, кружилась на прибрежном урезе, где ходила мутная вода, отманывая меня от выводка и одновременно командуя, чтоб детишки не лезли в круто бьющую волну. Поняв, что весь «театр» этот разгадан, утка, сердито крикая, летала над моей головой, прогоняла меня вон, обрызгала водой с крыльев и даже целилась обкакать, но я увернулся; глухарь, тоже подбирающий по берегу корм и камешки, уже сменивший перо, но не окрепший крылом, под шум волны не услышал моих шагов и, застигнутый врасплох, по-мужичьи пьяно почесал от меня в чашобу, и я чуть было его не настиг; сидящие на чисто выдутом песчаном осередке гуси перестали кормиться, тянули шеи вверх и, словно на собрании или в кино, вдруг радостно загорготели обо мне — он же без ружья, он же так, для испугу глаз щурит и палкой целит. Одного нашего брата угробил зазря, отел все равно пропил добычу, теперь вот и ружье пропил, и бояться нам стало вовсе нечего и незачем.

Гагару, вылетевшую на Енисей проветриться, надо мной забазарившую и плюхнувшуюся на мелководье, пугал я, бросая в нее камешки. Способная занырнуть при выстреле от дробы, гагара не улетела. Бесстрашно играла со мною, поныривала, мелькая юрким задом, и я говорил гагаре: возьму вот у братьев Губиных дробовик да пальну, узнаешь тогда, как баловаться.

В одном месте в логовину налило штормом воды, набило туда рыбешки, и над гибельно обсыхающей лужей густо, будто бабочки боярышницы, клубились чайки, трепетали, суетились, дрались, играли и жрали, жрали. Весь уже песок обгадили, но не давали прсжоры приблизиться к корму воронам, возмущенно орущим с вершин леса, по которым они расселись и, глядя сверху, страдали, что ничего им не останется от дармовой трапезы. Я снес несколько пригоршней рыбешек в Енисей. Да разве спасешь тут всех, вычерпаешь руками гибельный водоем?

Братья Губины шибко удивились моему явлению: никакого ружья они папе не обещали, наоборот, он им остался должен, поскольку спяну положил цену за свое ружье ничтожную. Так уж и быть, долг они прощают. Однако ж поговорят с моим отцом при встрече — сделан был договор, при народе ударено по рукам,

и нечего этому артисту клепать на них понапрасну Сердобольные бабы братанов Губиных покормили меня, дали поспать в пристройке

Папа шибко гневался на меня и на братьев Губиных, мачеха гневалась на папу Трепло несусветное, говорила она, мало что склад на произвол судьбы бросил, парнишку чуть не утопил, так еще его же и за пропитым ружьем послал и теперь вот «тиятр», в натуре, разыгрывает. Папа стоял на своем: он еще разберется с этими братьями Губиными и даже которому-то из них выбьет глаз. В натуре.

Подлая, унижающая привычка посылать мачеху и меня кланчить взаимы денги, выглядывать куски, жаться по чужим углам сохранилась в папе на все время, пока мы были с ним, а он с нами.

Там, в дровозаготовительном морхлом бараке, я доходил до того, что иной раз, боясь себя, думал, не выдержу и зарублю, застрелю или зарезу папу Мачеха молода, издергана жизнью, однако хорошо битым и тертым бабьим чутьем улавливала неладное

— Не надо, парень, не надо! Ты что задумал? Бог с тобой! — прижимая к округлому, горячо пекущемуся животу, гладила она меня по голове — Не связывайся ты с ним Характер твой патылицинской, чижолой, нерва издергана, сгробишь его да и уконтромишь. Мне не отобрать, я вот-вот растелюсь И пойдешь ты по отцом проторенной дорожке, по тюрьмам да по этапам и погинеешь там. А воротись? Таким же, как он, и воротись, испортишь чью-то бабью жисть, может, и не одну, как он мою жисть испортил, загубил, подлец. — Глядя отрешенно в мутное, сплошь покрытое окроветелыми комарами, паутами да мухами окошко, мачеха вздыхала. — Лучше уж я сама. Терплю, терплю да и ухоньдехаю этого плясуна-блядуна. С бабы какой спрос? Да ишшо с брюхатой?

Мачеха неуклюже, но по-женски умно отводила от меня беду и говорила, чтоб терпел я до осени, там, Бог даст, в Игарку уеду, люди добрые, Бог даст, снова не оставят на ветру снова в интернат определяют на казенное содержание

Тебе бы лучше было у бабушки остаться Аль уж одному скитаться Каки мы тебе родители? Сами свою жисть запутали, хоть в петлю лезь.

Годы минули, жизнь папина прокатилась по земле, он ее почти и не заметил Сидит вон в гудящем самолете, клюет носом с тяжкого похмелья и не до конца понимает, куда опять, зачем влечет его бурная судьба, да и понилать не хочет, не приучен он отвечать за себя и за кого-либо

Перед улетом побыли мы на астраханском кладбище, как и всюду по Руси, довольно запущенном, захламленном Была там лишь одна достопримечательность, ее показывали всем гостям Астрахани, и папа, конечно же, мне показал Скульптура из белого девственного мрамора, излаженная под греческую пышнотелую и пустоглазую матрону, стыдливыми ладошками зажавшую голую писку, — памятник юной любовнице, доморошенная прихоть какого-то дешенного купца. На новом кладбище среди множества ничем друг от друга не отличимых могил, плавающих в вязкой глине, виднелся голый холмик с привязанными ко кресту двумя до бледности промытыми дождем венками — здесь покоилась последняя жена папы

Покаянно склонясь головой, сиротливо стоял он над холмиком. Ни о чем не обмолвившись, сделал мне отмашку, отойди, дескать, и мелко-мелко затрясся, шепча что-то, затем пошлепал по глине, не выбирая сухого пути, швыряя носом, утирая платочком лицо. Не крестясь, не прочтя ни одной молитвы, навсегда простился с близким человеком. До самой смерти он оставался неприкаянным безбожником, да и молитвы он давно все позабыл.

В отдаленном московском аэропорту Быково народу не протолкнуться. Папа совсем плох, сидит на рыхло увязанном узище, прижав ногой бечевкой перепоясанный чемодан, просит выпить глоток водички. А за водичей той, точнее за мутным соком, наливаемым прямо из пузатой банки, очередь в сотню человек.

Пока я сидел в астраханской гостинице без штанов, папу в дорогу собирали Юра Селенский и лучший друг папы Евлаша. Навязали они всяческого барахла, хотя просил я взять с собой самое необходимое. Однако по стародавней привычке деревенского жителя ценить каждую тряпку и показать нам, что явился он с нажитым добром, собрал папа подушки, ватные одеяла, недоношенную обувь, портреты со стены, альбом с фотокарточками, что-то из вещей Варвары Ивановны в подарок жене и Ерине — так в России повелось издавна, раздавать

вещи покойного живым. Всплакнув, попрощался папа с опустевшей конурой, положил ключ под крылечко — для племянницы покойной жены, — вышел на середину двора, остановился возле вечной астраханской лужи, скульптурно отразился в ней, стащил с головы кепчонку, поклонился направо, налево: «Прощайте, люди добрые, и простите меня за мое нескромное поведение».

Никакого ответа ниоткуда не последовало, лишь послышался вдогонку волосатый бабий бас: «Езжай-таки, езжай! Да не портишь своим детям нервов, как ты их портил нам продолжительное время».

Э-эх, папа, папа, забубенная головушка! Как теперь-то с моей-то доблестной семьей жить станешь? Непростая семейка-то, ох непростая. Но папа уже едва шушкает, в узел уткнулся, ртом обсохшим шевелит, да не жалуется — на этапах, видать, бывало и хуже ему.

Вся надежда на девчонок, работавших в Быкове. Были они в те поры в Богом и «Аэрофлотом» забытом авиапорту вконец отчаянные, озорные, невозмутимые, почти бесстрашные, но все еще к народу сочувственные. Как и вся наша советская бытовая обслуга, клиентов не любили, но по христианскому завету жалели, поскольку сами вышли из того же народа. Не раз и не два выручали меня быковские девушки на пути в Вологду, не требуя никаких воздаяний, на торопливое «спасибо, спасибо!» дружелюбно махали рукой: «Лети, дяденька, домой, свои люди!» Одна проводница, Зина, прониклась ко мне особенным участием. У Зины той, в общем-то красивой, фигуристой девахи, от судороги иль испуга был перекошен рот, у меня на фронте покорябало лицо, и эта деталь иль с детдома доставшееся понимание чужой юдоли — несчастья и ранимости, из-за физического изъяна никогда «не замечаемых» собором по несчастью, — пожалуй, и сблизило нас. Да и видал я уже девушку с таким-то повреждением в сорок втором году в Красноярске перед отправкой на фронт и даже влюбился в нее односторонне, без всяких, впрочем, последствий для жизни и судьбы.

«Господи! Помоги мне увидеть Зину!» — взмолился я и уже через минуту вижу — спешит она по залу, запруженному пассажирской клейкой массой, за рукава ее цепляющейся. Я приветно заулыбался на всякий случай, да много тут таких приветно-то, заискивающих улыбающихся. Ловко лавируя телом, девушка проскользнула мимо. Тогда набрался наглости и окликнул ее. Глянув критически на меня и на папу, Зина покачала головой: «На вологодский? С таким багажем?! Да и посадка заканчивается».

Папа мой, совсем было скуксившийся, вдруг воспрянул для борьбы, сказал девушке, что он в голову ранен на войне, в натуре, болен опасной неизлечимой болезнью, ему середь народа долго находиться нельзя. Зина сказала: «Я сейчас узнаю» — и умчалась куда-то. Смотрю, тем же наметом мчится обратно, издала рукой машет. Сгреб я узел, чемодан да и за Зиной к самолету. Тот уж под рамами, турбинами нетерпеливо визжит. «Дедушка, дедушка, скорее, миленький, самолет задерживаем!» — вскричала Зина и, под руку моего папу поддев, поволокла его к трапу. Заскочив в подпрыгивающий, лапами шевелящий самолет, бросил я узлище, чемодан в багажном отсеке и навстречу папе кинулся, чтобы схватить его за шкуру, втянуть наверх, — вижу, капитан мой, директор, непобедимый зверобой, плясун на карачках ползет по выдвинутому трапу, хватаясь за ступеньки. «Счас коньки отброшу, счас коньки отброшу», — повторяет.

Тут на глиной припачканных, скользких ступеньках самолета вскипело, рассиропилось мое траченное российское сердце, и простил я папе все и навсегда.

Сколько потом было всего и всякого в нашей совместной жизни — не пересказать. Папа пил, гулял, паясничал, невзирая на преклонный возраст, пытался завлечь женщин, поиспортил отношения со всеми моими домашними, даже с дочерью, больше других его обожавшей. Однажды я пробыл в Москве вместо суток четыре дня. Хозяйничая дома с моим папой и с большим ребенком, дочь моя с порога заявила, что с этим идиотом больше никогда ни на час не останется домовничать. Я в сердцах заявил в ответ, что всем бы вам, современным деткам, хоть с годик побыть в обществе моего папы, вот тогда, может, все вы лучше почитали бы родителей своих.

Все чаще и чаще надолго сваливался папа. Предчувствуя смерть, просил меня уже не для «тиатра», не для того, чтобы разжалобить: «Увези меня в Сибирь! Хочу быть похороненным возле жены моей Лидии Ильиничны в Овсянке». Я уже готовился к переезду с Вологодчины в Сибирь, просил папу хотя бы какое-то

время не пить, побережь себя и тогда непременно свезу я его на родину, к родным могилам.

Был я в Сибири в творческой командировке, когда пришла мне телеграмма из дому о том, что отец находится в тяжелом состоянии. Если б было не опасно и терпимо, меня не потревожили бы. Билеты на самолет из Красноярска, как всегда, достать было трудно, я не вдруг вылетел домой. Папа мой, меряя весь свет и всех на свете на свой аршин, сказал жене: «А что, Витя бросил нас?» Жена его успокоила: мол, если раньше, когда помоложе был и поздоровее, не бросил, то теперь, Бог даст, подобное происшествие уже не случится. И в больнице возле папы дежурила она, моя отходчивая сердцем жена, которой он тоже успел причинить обид многовато, да кто ж на умирающего человека обижаются. Что папа умирал, было достаточно одного взгляда — сделался весь желтый, почти коричневым, речь его сыпкая, звонкая заторможена, сжевана от снотворных и обезболивающих лекарств, но голосок, но манеры все не унывающие, все юноше под стать. Попросил папа, чтобы мы подняли его с постели и поводили по палате. Идет, обнявши меня и жену, ноги его плясовые-то, бегучие, нетерпеливые ноги отстают, сзади волокутся. Я и говорю: «Папа, тебе сейчас в самый раз сплясать». Он мне с поутрой на озорную улыбку: «Не сплясать, а сбачать».

Главный хирург областной больницы отозвал меня, заговорил насчет операции. Папе стукнуло семьдесят восемь, и я спросил хирурга, в чьем ведении он ныне, в медицинском или в Боговом. «Больше в Боговом», — честно признался хирург.

— Не надо мне никакой операции, — оставшись со мной наедине, провел «мужичкий разговор» папа. — Наступил конец моему пределу. — Подышал, отвернулся к стене и как бы сам себе молвил: — Хватит с меня хворей, больниц, тюрьмы, лагерей, скитаний...

Без сознания он был совсем недолго и умер во сне от распространенного ныне среди пьющих наших мужиков недуга — цирроза печени. Легко жил человек. Нетрудно в отличие от других моих родичей ушел в мир иной.

У гроба отца сидючи, я думал о том, что не прав был, когда говорил ему: Господь, мол, избавил маму от него, пусть и такой мучительной смертью. Конечно же, не прав. С годами эту неправоту ощущаю все больше. Папа — крестьянский сын, пусть из бурной, непутевой, но деревенской семьи. Я знаю доподлинно, что мама любила его, и не он, а она несла бы свой крест насколько хватало сил. По распространенному на Руси верованию, весьма и весьма редко исполняющемуся, может, и человека бы из него сделала, если б сама не сломилась прежде.

Деревня не терпит баловства и ветрогонства. Здесь надо жить трудом и заботами о семье. Главное в деревенской жизни — постоянство, остойчивость, надежность. Сшибленный, сжитый с Богом ему определенного места, несомый по земле что выветренный осенний лист, папа, не то придуриваясь, не то основываясь на жизненном опыте, не то политически выламываясь, на вопрос, кто во всем виноват, неизменно отвечал: «Ворошилов виноват!»

Других вождей он, видать, не терпел, не хотел помнить, воссоединял их всех в образе первого маршала, но есть тут и моя личная догадка: дался тот Ворошилов папе потому, что шибко они пошибали друг на друга лицами и носили одинаковые усики.

Так вот и остался папа на чужой стороне, в неглубокой вологодской могиле, заваленной мокрыми комками, так и не додужил до Сибири, где могилы роются такие, что «не вылезешь и не сбежишь», заверяла моя покойная тетка Апраксинья Ильинична, в жизни — Апроня, покоящаяся вместе с Кольчей-младшим и моей дочерью уже на новом овсянском кладбище, среди березового леса, где были до коллективизации деревенские пашни, но потом земля стала ничья.

От папы остался альбом с фотокарточками, увеличенный фотопортрет и записная книжка. В книжке текущие впечатления, записи погоды, стихи, которые он таил от меня и доверял печатать на машинке только жене моей. Надо заметить, что стихи нисколь не хуже тех, что еще совсем недавно широко печатались и печатаются по нашим газетам, альманахам, даже в столичных журналах. Немножко бы папе грамотешки добавить, непререкаемости же в образованности своей поубавить, и он вполне мог стать в ряды членов Союза писателей СССР, пить и кормиться с помощью поэзии, как это делает легион отечественных стихосложителей.

Самая знаменательная в записной книжке папы оказалась последняя, крепко засекреченная запись: «У Любки фамиль Ковалева». Развеселое мое семейство доподлинно установило — Любка эта работает продавцом в «сорокашке», стало быть, в вологодском железнодорожном магазине номер сорок, располагавшемся через улицу от дома, в котором мы жили. В «сорокашке» папа частенько разживался винишком. Любка Ковалева на шестьдесят лет моложе папы, и какие он имел на нее виды, никто уж и никогда не узнает.

Говорят, и в последнее время довольно часто, что родину не выбирают. От себя добавлю: родителей тоже. Да и детей не выбирают, они на свет являются сами. Готовых угланов только в род- и детдомах отсортировывают и выбирают, точно овощ или фрукт на базаре, но все остальные со дня миротворения живут по велению судьбы и природы.

Она, природа, и Создатель подарили мне моих родителей, родители подарили мне мою жизнь; отечество родное — судьбу мою сотворило. Не судья я им, и не указчик, и не идейный наставитель. Лишь вздохну, помолюсь и молча вымолвлю: «Пусть тебе, папа, покойно будет хотя бы на том свете. Блатные, помнится, пели в твоё время: „Выпьем, хлопцы, выпьем тут, на том свете не дадут!..”»

Трезвый же ты непременно угладишь своим зорким охотничьим взглядом среди несметной молчаливой толпы молодую рослую женщину с одной косой — другую у нее оторвало сплавной боной, когда она плыла к тебе в тюрьму с передачей. Ступая босыми ногами по облакам, она, я думаю, непременно пойдет навстречу тебе, ведя за руку маленьких ангелочков — узнай их, это жена твоя из дальнего далека вместе с детьми и внуками твоими, покинувшими сей свет раньше тебя, спешат соединиться с тобою на блаженном небесном покое. Полюби же и пожалей их всевечной любовью, коли здесь, на шатучей земле, во взбаламученном мире, времени и сердца на нас, на детей твоих, у тебя не хватило.

*(Окончание следует)*

---

---

---

БАХЫТ КЕНЖЕЕВ

\*

## ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

\* \*  
\*

Ледяной синевой обделенный,  
лепит дерево слепорожденный  
в разумении темном своем.  
Хорошо ему жить, властелину  
влажной, серой, фисташковой глины,  
хорошо ему с Богом вдвоем.

Создавая на ощупь, по звуку  
воплощение шумного бука,  
и осины, и мгlistой луны  
на ущербе, он счастлив до дрожи —  
так творения эти похожи  
на его сокровенные сны.

Двадцать лет уже он не робея  
лепит дупла и листья — грубее  
настоящих, но веруя в труд  
ради вечности, в глиняный воздух, —  
жаль, что даже бездомные звезды  
подаянья его не берут.

А учитель его терпеливый  
шелестит облетающей ивой,  
недовольною воеет трубой,  
обещая на обе сетчатки  
навсегда наложить отпечатки  
небывалой беды голубой.

Нам-то что? Мы и сами с усами,  
глина, глина у нас под ногтями,  
мой читатель, попробуй отмой.  
Не ощупать поющей синицы —  
и томится в трехмерной темнице  
червоточина речи прямой.

\* \*  
\*

Нет, не безумная ткачиха  
блуждает в кипах полотна —  
ко мне приходит тихо-тихо  
подруга старая одна,

в свечном огне, в кухонном дыме  
играет пальцами худыми,  
свистит растительный мотив,  
к коленям голову склонив,

я принесу вина и чая,  
в неузнаваемой ночи

простую гостью угощая  
всем, что имеется в печи,

но в город честный, город зыбкий,  
где алкоголик и бедняк,  
она уходит без улыбки,  
благословенья не приняв,

и вслед за нею, в сердце ранен,  
влачится по чужой земле  
на тонких ножках горожанин,  
почти невидимый во мгле.



\* \*  
\*

Обманимая всех, переживая,  
любовники встречаются тайком

в провинции, где красные трамваи,  
аэропорт, пропахший табаком,

автобус в золотое захолустье,  
речное устье, стылая вода.

Боль обоймет, процарствует, отпустит —  
боль есть любовь, особенно когда

как жизнь три дня проходит и четыре,  
уже часы считаешь, а не дни.

Он говорит: «Одни мы в этом мире».  
Она ему: «Действительно одни».

Все замерло — гранитной гальки шелест,  
падение вороньего пера.

Зачем я здесь, на что еще надеюсь?  
«Пора домой, любимая». «Пора»

Закрыв глаза и окна затворяя,  
он скажет: «Ветер». И ему в ответ

она кивнет. «Мы изгнаны из рая»  
Она вздохнет и тихо молвит: «Нет»

\* \*  
\*

За головокружительную далью,  
где отдыхает житель неземной,

не ведая терпенья и страданья,  
которые таскаются за мной,—

там хорошо, там в чаще бродит леший,  
подругу зазывая калачом,

но человек, смешон и безутешен,  
печалится — Бог ведает о чем.

Он раньше жил любовнее и проще,  
прислушиваясь к дождику над рощей,

он выбирал меж ветром и огнем,—  
забудь о нем. Обнимемся, вздохнем —

и отвернемся. Знаешь эти окна  
в вечернем небе — шепот сквознячка

иных миров, алмазные волокна,  
холодный свет у самого зрачка?

Все это блажь, побочная работа  
русалочьей болезни лучевой,

рисующей сговорчивые ноты  
на влажной оболочке роговой...



## Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ

*Мне позвонили, и женский голос сказал:*

*— Извините за беспокойство, но тут после мамы, — она помолчала, — после мамы остались рукописи. Я думала, может, вы прочтете. Она была поэт. Конечно, я понимаю, вы заняты. Много работы? Понимаю. Ну тогда извините.*

*Через две недели пришла в конверте рукопись, пыльная папка со множеством исписанных листов, школьных тетрадей, даже бланков телеграмм. Подзаголовок «Записки на краю стола». Ни обратного адреса, ни фамилии.*

## ВРЕМЯ НОЧЬ

**О**н не ведает, что в гостях нельзя жадно кидаться к подзеркальнику и цапать все, вазочки, статуэтки, флакончики и особенно коробочки с бижутерией. Нельзя за столом просить дать еще. Он, придя в чужой дом, шарит всюду, дитя голода, находит где-то на полу заехавший под кровать автомобильчик и считает, что это его находка, счастлив, прижимает к груди, сияет и сообщает хозяйке, что вот он что себе нашел, а где — заехал под кровать! А моя приятельница Маша, это ее внук закатил под кровать ее же подарок, американскую машинку, и забыл, она, Маша, по тревоге выкатывается из кухни, у ее внука Дениски и моего Тимочки дикий конфликт. Хорошая послевоенная квартира, мы пришли подзаныть до пенсии, они все уже выплывали из кухни с масляными ртами, облизываясь, и Маше пришлось вернуться ради нас на ту же кухню и раздумывать, что без ущерба нам дать. Значит так, Денис вырывает автомобильчик, но этот вцепился пальчиками в несчастную игрушку, а у Дениса этих автомобилей просто выставка, вереницы, ему девять лет, здоровая каланча. Я отрываю Тиму от Дениса с его машинкой, Тимочка озлоблен, но ведь нас сюда больше не пустят, Маша и так размышляла, увидев меня в дверной глазок! В результате веду его в ванную умываться ослабевшего от слез, истерика в чужом доме! Нас не любят поэтому, из-за Тимочки. Я-то веду себя, как английская королева, ото всего отказываюсь, от чего ото всего: чай с сухариками и с сахаром! Я пью их чай только со своим принесенным хлебом, отщипываю из пакета невольно, ибо муки голода за чужим столом невыносимы, Тима же налег на сухарики и спрашивает, а можно с маслицем (на столе забыта масленка). «А тебе?» — спрашивает Маша, но мне важно накормить Тимофея: нет, спасибо, помажь потолще Тимочке, хочешь, Тима, еще? Ловлю косые взгляды Дениски, стоящего в дверях, не говоря уже об ушедшем на лестницу курить зяте Владимире и его жене Оксане, которая приходит тут же на кухню, прекрасно зная мою боль, и прямо при Тиме говорит (а сама прекрасно выглядит), говорит:

— А что, тетя Аня (это я), ходит к вам Алена? Тимочка, твоя мама тебя навещает?

— Что ты, Дунечка (это у нее детское прозвище), Дуняша, разве я тебе не говорила. Алена болеет, у нее постоянно грудница.

— Грудница??? (И чуть было не типа того, что от кого ж это у нее грудница, от чьего такого молока?)

И я быстро, прихватив несколько еще сухарей, хорошие сливочные сухари, веду вон из кухни Тиму смотреть телевизор в большую комнату, идем-идем, скоро «Спокойной ночи», хотя по меньшей мере осталось полчаса до этого.

Но она идет за нами и говорит, что можно заявить на работу Алены, что мать бросила ребенка на произвол судьбы. Это я, что ли, произвол судьбы? Интересно.

— На какую работу, что ты, Оксаночка, она же сидит с грудным ребенком!

© Л. Петрушевская.

Наконец-то она спрашивает, это, что ли, от того, о котором Алена когда-то ей рассказывала по телефону, что не знала, что так бывает и что так не бывает, и она плачет, проснется и плачет от счастья? От того? Когда Алена просила займы на кооператив, но у нас не было, мы меняли машину и ремонт на даче? От этого? Да? Я отвечаю, что не в курсе.

Все эти вопросы задаются с целью, чтобы мы больше к ним не ходили. А ведь они дружили, Дуня и Алена, в детстве, мы отдыхали рядом в Прибалтике, я, молодая, загорелая, с мужем и детьми, и Маша с Дуней, причем Маша оправлялась после жестокой беготни за одним человеком, сделала от него аборт, а он остался с семьей, не отказавшись ни от чего, ни от манекенщицы Томика, ни от ленинградской Туси, они все были известны Маше, а я подлила масла в огонь, поскольку была знакома и с еще одной женщиной из ВГИКа, которая славна была широкими бедрами и тем, что потом вышла замуж, но ей на дом пришла повестка из кожно-венерологического диспансера, что она пропустила очередное вливание по поводу гонореи, и вот с этой-то женщиной он порывал из окна своей «Волги», а она, тогда еще студентка, бежала следом за машиной и плакала, тогда он из окна ей кинул конверт, а в конверте (она остановилась поднять) были доллары, но немного. Он был профессор по ленинской теме. А Маша осталась при Дуне, и мы с моим мужем ее развлекали, она томно ходила с нами в кабак, увешанный сетями, на станции Майори, и мы за нее платили, одна живем, несмотря на ее серьги с сапфирами. А она на мой пластмассовый браслетик простой современной формы 1 рубль 20 копеек чешской сказала: «Это кольцо для салфетки?» «Да», — сказала я и надела его на руку.

А время прошло, я тут не говорю о том, как меня уволили, а говорю о том, что мы на разных уровнях были и будем с этой Машей, и вот ее зять Владимир сидит и смотрит телевизор, вот почему они так агрессивны каждый вечер, потому что сейчас у Дениски будет с отцом борьба за то, чтобы переключить на «Спокойной ночи». Мой же Тимочка видит эту передачу раз в год и говорит Владимиру: «Ну пожалуйста! Ну я вас умоляю!» — и складывает ручки и чуть ли не на колени становится, это он копирует меня, увы. Увы.

Владимир имеет нечто против Тимы, а Денис ему вообще надоел как собака, зять, скажу я вам по секрету, явно на исходе, уже тает, отсюда Оксанина ядовитость. Зять тоже аспирант по ленинской теме, эта тема липнет к данной семье, хотя сама Маша издает все что угодно, редактор редакции календарей, где и мне давала подзаработать томно и высокомерно, хотя это я ее выручила, быстро намарав статью о двухсотлетию Минского тракторного завода, но она мне выписала гонорар даже неожиданно маленький, видимо, я незаметно для себя выступила с кем-нибудь в соавторстве, с главным технологом завода, так у них полагается, потому что нужна компетентность. Ну а потом было так тяжело, что она мне сказала ближайшие пять лет там не появляться, была какая-то реплика, что какое же может быть двухсотлетие тракторного, в тысяча семьсот каком же году был выпущен (сошел с конвейера) первый русский трактор?

Что касается зятя Владимира, то в описываемый момент Владимир смотрит телевизор с красными ушами, на этот раз какой-то важный матч. Типичный анекдот! Денис плачет, разинул рот, сел на пол. Тимка лезет его выручать к телевизору и, неумелый, куда-то вслепую тычет пальцем, телевизор гаснет, зять вскакивает с воплем, но я тут как тут на все готовая, Владимир прется на кухню за женой и тещей, сам не пресек, слава Богу, спасибо, опомнился, не тронул брошенного ребенка. Но уже Денис отогнал исполощенного Тиму, включил что где надо, и уже они сидят, мирно смотрят мультфильм, причем Тима хохочет с особенным желанием.

Но все не так просто в этом мире, и Владимир наступал женщинам основательно, требуя крови и угрожая уходом (я так думаю!), и Маша входит с печалью на лице как человек, сделавший доброе дело и совершенно напрасно. За ней идет Владимир с физиономией гориллы. Хорошее мужское лицо, что-то от Чарльза Дарвина, но не в такой момент. Что-то низменное в нем проявлено, что-то презренное.

Дальше можно не смотреть этот кинофильм, они орут на Дениса, две бабы, а Тимочка что, он этих криков наслушался... Только начинает кривить рот. Нервный тик такой. Крича на Дениса, кричат, конечно, на нас. Сирота ты, сирота, вот такое лирическое отступление. Еще лучше было в одном доме, куда мы зашли с Тимой к очень далекому знакомым, нет телефона. Пришли, вошли, они сидят за столом. Тима: «Мама, я хочу тоже есть!» Ох, ох, долго гвляли.

ребенок проголодался, идем домой, Тимочка, я только ведь спросить, нет ли весточки от Алены (семья ее бывшей сослуживицы, с которой они как будто перезваниваются). Бывшая сослуживица встает от стола как во сне, наливает нам по тарелке жирного мясного борща, ах, ох. Мы такого не ожидали. — От Алены нет ничего. — Жива ли? — Не заходила, телефона дома нет, а на работу она не звонит. Да и на работе человек то туда, то сюда... То взносы собираю. То что. — Ах что вы, хлеба... Спасибо. Нет, второго мы не будем, я вижу, вы устали, с работы. Ну разве только Тимофейке. Тима, будешь мясо? Только ему, только ему (неожиданно я плачу, это моя слабость). Неожиданно же из-под кровати выметывается сука овчарки и кусает Тиму в локоть. Тима дико орет с полным мяса ртом. Отец семейства, тоже чем-то отдаленно напоминающий Чарльза Дарвина, вываливается из-за стола с криком и угрозами, конечно, делает вид, что в адрес собаки. Все, больше нам сюда дороги нет, этот дом я держала про большой запас, на совсем уже крайний случай. Теперь все, теперь в крайнем случае надо искать будет другие каналы.

Ау, Алена, моя далекая дочь. Я считаю, что самое главное в жизни — это любовь. Но за что мне все это, я же безумно ее любила! Безумно любила Андрюшу! Бесконечно.

А сейчас все, жизнь моя кончена, хотя мне мой возраст никто не дает, один даже ошибся со спины: девушка, ой, говорит, простите, женщина, как нам найти тут такой-то заулочек? Сам грязный, потный, денег, видимо, много, и смотрит ласково, а то, говорит, гостиницы все заняты. Мы вас знаем! Мы вас знаем! Да! Бесплатно хочет переночевать за полкило гранатов. И еще какие-то там мелкие услуги, а чайник ставь, простыни расходуй, крючок на дверь накидывай, чтобы не клячил, — у меня все просчитано в уме при первом же взгляде. Как у шахматистки. Я поэт. Некоторые любят слово «поэтесса», но смотрите, что нам говорит Марина или та же Анна, с которой мы почти что мистические тезки, несколько букв разницы: она Анна Андреевна, я тоже, но Андриановна. Когда я изредка выступаю, я прошу объявить так: поэт Анна — и фамилия мужа. Они меня слушают, эти дети, и как слушают! Я знаю детские сердца. И он всюду со мной, Тимофей, я на сцену, и он садится за тот же столик, ни в коем случае не в зрительном зале. Сидит и причем кривит рот, горе мое, нервный тик. Я шучу, глазу Тиму по головке: «Мы с Тamarой ходим парой» — и некоторые идиоты организаторы начинают: «Пусть Тamarочка посидит в зале», не знают, что это цитата из известного стихотворения Агнии Барто.

Конечно, Тима в ответ — я не Тamarочка, и замыкается в себе, даже не говорит спасибо за конфету, упрямо лезет на сцену и садится со мной за столик, скоро вообще меня никто не будет приглашать выступать из-за тебя, ты понимаешь? Замкнутый ребенок до слез, тяжелое выпало детство. Молчаливый, тихий ребенок временами, моя звезда, моя ясочка. Ясненский мальчик, от него пахнет цветами. Когда я его крошечного выносила горшочек, всегда говорила себе, что его моча пахнет резко ромашковым лугом. Голова его, когда долго не мытая, его кудри пахнут флоксами. Когда мытый, весь ребенок пахнет невыразимо, свежим ребенком. Шелковые ножки, шелковые волосы. Не знаю ничего прекрасней ребенка! Одна дура Галина у нас на бывшей работе сказала: вот бы сумку (дура) из детских шек, восторженная идиотка, мечтавшая, правда, о кожаной сумке, а ведь безумно тоже любит своего сына и говорила в свое время, давно тому назад, что у него попка так устроена, глаз не оторвать. Теперь эта попка исправно служит в армии, дело уже кончено.

Как быстро все отцветает, как беспомощно смотреть на себя в зеркало! Ты-то ведь та же, а уже все, Тима: баба, пошла, говорит мне сразу же по приходе на выступление, не выносит и ревнует к моему успеху. Чтобы все знали, кто я: его бабушка. Но что делать, маленький, твоя Анна должна денежку зарабатывать (я себя ему называю Анна). Для тебя же, сволочь неотвязная, и еще для бабы Симы, слава Богу, Алена пользуется алиментами, но Андрею-то надо подкинуть ради его пяты (потом расскажу), ради его искалеченной в тюрьме жизни. Да. Выступление одиннадцать рублей. Когда и семь. Хотя бы два раза в месяц, спасибо Надечке опять, низкий поклон этому дивному существу. Как-то Андрей по моему поручению съездил к ней, отвез путевки и, подлец, занял-таки у бедной десяти рублей! При ее больной безногой матери! Как я потом была хвостом и извивалась

в муках! Я сама, шептала я ей при полной комнате сотрудников и таких же бессрочных поэтов, как я, я сама знаю... У самой матушка в больнице, уже какой год...

Какой год? Семь лет. Раз в неделю мука навешать, все, что приношу, съедает тут же жадно при мне, плачет и жалуется на соседок, что у нее все съедают. Ее соседки, однако же, не встают, как мне сообщила старшая сестра, откуда такие жалобы? Лучше вы не ходите, не баламутьте тут воду нам больных. Так она точно выразилась. Недавно опять сказала, я пришла с перерывом в месяц по болезни Тимы: твердо не ходите. Твердо.

И Андрей ко мне приходит, требует свое. Он у жены, так и живи, спрашивается. Требуется на что? На что, спрашиваю, ты тянешь у матери, отрываешь от бабушки Симы и малышки? На что, на что, отвечает, давай я сдам мою комнату и буду иметь без тебя семьдесят рублей. Каку твою комнату, изумляюсь я в который раз, каку твою, мы прописаны: баба Сима, я, Алена с двумя детьми и только лишь потом ты, плюс ты живешь у жены. Тебе тут полагается пять метров. Он точно считает вслух: раз комната пятнадцать метров стоит семьдесят рублей, откуда-то он настаивает именно на этой сумасшедшей цифре, поделить на три, будет двадцать три рубля тридцать три копейки. Ну хорошо, соглашается он, за квартиру ты платишь двадцать рублей, подели на шесть и отними. Итого ты мне должна ровно двадцать рублей в месяц. Теперь так, Андрюша, в таком случае, говорю я ему, я на тебя подам на алименты, годится? В таком случае, говорит он, я сообщу, что ты уже получаешь алименты с Тимкиного папаша. Бедный! Он не знает, что я ничего не получаю, а ежели бы узнал, ежели бы узнал... Мгновенно пошел бы на Аленушкину работу орать и подавать заявку на не знаю на что. Алена знает этот мой аргумент и держится подальше, подальше, подальше от греха, а я молчу. Живет где-то, снимает с ребенком. На что? Я могу посчитать: алименты это пятьдесят рублей. Как матери-одиночке это столько-то рублей. Как кормящей матери до года от предпринятия еще сколько-то рублей. Как она живет, не приложу разума. Может быть, отец ее малыша платит за квартиру? Она сама, кстати, скрывает факт, с кем живет и живет ли, только плачет, приходя ровным счетом два раза со времен родов. Вот это было свидание Анны Карениной с сыном, а это я была в роли Каренина. Это было свидание, происшедшее по той причине, что я поговорила с девочками на почте (одна девочка моего возраста), чтобы они поговорили с такой-то, пусть оставит в покое эти Тимочкины деньги, и дочь в день алиментов возникла на пороге разъяренная, впереди толкает коляску красного цвета (значит, у нас девочка, мельком подумала я), сама опять пятнистая, как в былые времена, когда кормила Тимку, грудастая крикливая тетка, и вопит: «Собирай Тимку, я его забираю к ...ней матери». Тимочка завыл тонким голосом, как кутенок, я стала очень спокойно говорить, что ее следует лишить права на материнство, как же можно так бросить ребенка на старуху и так далее. Эт сестра. Она: «Тимка, едем, совсем у этой стал больно», Тимка перешел в визг, я только усмехаюсь, потом говорю, что она ради полсотни ребенка сдаст в психбольницу, она: это ты мать сдала в психбольницу, а я: «Ради тебя и сдала, по твоей причине», кивок в сторону Тимки, а Тимка визжит как поросенок, глаза полны слез и не идет ни ко мне, ни к своей «...ней матери», а стоит, качается. Никогда не забуду, как он стоял, еле держась на ногах, малый ребенок, шатаясь от горя. И эта в коляске, ее приبلудная, тоже проснулась и зашлась в крике, а моя грудастая, плечистая дочь тоже кричит: ты даже на внучку родную не хочешь посмотреть, а это ей, это ей! И, крича, выложила все суммы, на которые живет. Вы здесь типа того проживаете, а ей негде, ей негде! А я спокойно, улыбаясь, ответила и по существу, что пусть ей тот платит, тот уй, который это ей заделал и смылся, как видно, уже второй раз никто тебя не выдерживает. Она, моя дочь-мамаша, хватъ со стола скатерть и бросила на два метра вперед в меня, но скатерть не такая вещь, чтобы ею можно было убить кого-либо, я отвела скатерть от лица — и все. А на скатерти у нас ничего не лежит, полиэтиленовая скатерть, ни тебе крошки, хорошо, ни стекла, ни тебе утюга.

Это было время пик, время перед моей пенсией, я получаю двумя днями позже ее алиментов. А дочь усмехнулась и сказала, что мне нельзя давать эти алименты, ибо они пойдут не на Тиму, а на других — на каких других, возопила я, поднявши руки к небу, посмотри, что у нас в доме, полбуханки чернышки и суп из минтая! Погляди, вопила я, соображая, не пронюхала ли чего моя дочь о

том, что я на свои деньги покупала таблетки для одного человека, кодовое название Друг, подходит ко мне вечером у порога Центральной аптеки скорбный, красивый, немолодой, только лицо какое-то одутловатое и темное во тьме: «Помоги, сестра, умирает конь». Конь. Какой такой конь? Выяснилось, что из жокеев, у него любимый конь умирает. При этих словах он заскрипел зубами и тяжело ухватился за мое плечо, и тяжесть его руки пригвоздила меня к месту. Тяжесть мужской длани. Согнет или посадит или положит — как ему будет угодно. Но в аптеке по лошадиному рецепту лошадиную дозу не дают, посылают в ветеринарную аптеку, а она вообще закрыта. А конь умирает. Надо хотя бы пирамидон, в аптеке он есть, но дают мизерную дозу. Нужно помочь. И я как идиотка как под гипнозом вознеслась обратно на второй этаж и там убедила молоденькую продавщицу дать мне тридцать таблеток (трое деточек, внуки, лежат дома, вечер, врач только завтра, завтра амидопирин может и не быть и т. д.) и купила на свои. Пустяк, деньги небольшие, но и их мне Друг не отдал, а записал мой адрес, я жду его со дня на день. Что было в его глазах, какие слезы стояли, не проливаясь, когда он нагнулся поцеловать мне мою пахнущую постным маслом руку: я потом специально ее поцеловала, действительно, постное масло — но что делать, иначе цыпки, шершавая кожа!

Ужас, наступает момент, когда надо хорошо выглядеть, а тут постное масло, полуфабрикат исчезнувших и недоступных кремов! Тут и будь красавицей!

Итак, прочь коня, тем более что когда я отдала в жадную, цыпковую, разбухшую большую руку три листочка с таблетками, откуда-то выдвинулся упырь с большими ушами, тихий, скорбный, повесивший заранее голову, он неверным шагом подошел и замаячил сзади, мешая нашему разговору, и записал адрес на спичечном коробке моей же ручкой. Друг только отмахнулся от упыря, тщательно записывая адрес, а упырь подплясывал сзади, и, после еще одного поцелуя в постное масло, Друг вынужден был удалиться в пользу далекого коня, но одну-то упаковку, десяток, они тут же поделили и, нагнувшись, начали выкусывать таблетки из бумажки. Странные люди, можно ли употреблять такие лошадиные дозы даже при наличии лихорадки! А что оба были больны, в этом у меня не осталось сомнений! И коню ли предназначались эти жалкие таблетки, выуженные у меня? Не обман ли сие? Но это выяснится, когда Друг позвонит у моей двери.

Итак, я возопила: погляди, на кого мне расходовать, — а она внезапно отвешает залившись слезами, что на Андрея, как всегда. Ревниво плачет по-настоящему, как в детстве, ну что Поешь с нами. Поем. Я ее посадила, Тимка сел, мы пообедали последним, после чего моя дочь раскошелилась и выдала нам малую толику денег. Ура. Причем Тимка не подошел к коляске ни разу, а дочь ушла с девочкой в мою комнату и там, среди рукописей и книг, видимо, развернула прилудную и покормила. Я смотрела в шелку, совершенно некрасивый ребенок, не наш, лысенкая, глазки заплаканные, жирненькая и плачет по-иному, непривычно. Тима стоял за мной и дергал меня за руку уйти.

Девочка, видимо, типичный их замдиректора, с которым и была прижита, как я узнала из отрывков ее дневника. Нашла причем, куда его прятать, на шкаф под коробку! Я же все равно протираю от пыли, но она так ловко спрятала, что только поиски моих старых тетрадей заставили меня кардинально перелопатить все. Сколько лет оно пролежало! Она сама-то в каждый свой приход все беспокоилась и лазила по книжным полкам, и я волновалась, не унесет ли она для продажи и мои книги, но нет. Десяток листочков самых плохих для меня новостей!

*«Прошу вас, никто не читайте этот дневник даже после моей смерти.*

*О Господи, какая грязь, в какую грязь я окунулась, Господи, прости меня. Я низко пала. Вчера я пала так страшно, я плакала все утро. Как страшно, когда наступает утро, как тяжело вставать в первый раз в жизни с чужой постели, одеваться во вчерашнее белье, трусы я свернула в комочек, просто натянула колготки и пошла в ванную. Он даже сказал «чего ты стесняешься». Чего я стесняюсь. То, что вчера казалось родным, его резкий запах, его шелковая кожа, его мышцы, его вздувшиеся жилы, его шерсть, покрытая капельками росы, его тело зверя, павиана, коня — все это утром стало чужим и отталкивающим после того, как он сказал, что извиняется, но в десять утра он будет занят, надо уезжать. Я тоже сказала, что мне надо быть в одиннадцать в одном месте, о позор, позор, я заплакала и убежала в ванную и там плакала. Плакала под струей душа, стирая*

*трусики, обмывая свое тело, которое стало чужим, как будто я его наблюдала на порнографической картинке, мое чужое тело, внутри которого шли какие-то химические реакции, бурлила какая-то слизь, все разбухло, болело и горело, что-то происходило такое, что нужно было пресечь, закончить, задавить, иначе я бы умерла.*

(Мое примечание: что происходило, мы увидим девять месяцев спустя.)

*Я стояла под душем с совершенно пустой головой и думала: все! Я ему больше не нужна. Куда деваться? Вся моя прошлая жизнь была перечеркнута. Я больше не смогу жить без него, но я ему не нужна. Осталось только бросить себя куда-нибудь под поезд. (Нашла из-за чего — А. А.) Зачем я здесь? Он уже уходит. Хорошо еще, что вчера вечером, как только я к нему пришла, я позвонила от него м. (это я — А. А.) и сказала, что буду у Ленки и останусь у нее ночевать, а мама прокричала мне что-то ободряющее типа «знаю, у какого Ленки, и можешь вообще домой не приходить» (что я сказала, так это вот что: «ты что, девочка моя, ребенок же болен, ты же мать, как можно» и т. д., но она уже повесила трубку в спешке, сказав «ну хорошо, пока» и не услышав «что тут хорошего» — А. А.). Я положила трубку, сделала любезное лицо, чтобы он ни о чем не догадался, а он разливал вино и весь как-то застыл над столиком, стоя о чем-то думать, а потом, видимо, решил нечто, но я все это заметила. Может быть, я слишком прямо сказала, что останусь у него на ночь, может быть, этого нельзя было говорить, но я именно это сказала с каким-то самоотверженным чувством, что отдаю ему всю себя, дура! (именно — А. А.) Он мрачно стоял с бутылкой в руке, а мне уже было совершенно все равно. Я не то что потеряла контроль над собой, я с самого начала знала, что пойду за этим человеком и сделаю для него все. Я знала, что он замдиректора по науке, видела его на собраниях, и все. Мне в голову не могло ничего такого прийти, тем более я была потрясена, когда в буфете он сел за столик рядом со мной не глядя, но поздоровавшись, большой человек и старше меня намного, с ним сел его друг, баюн и краснобай, говорун с очень хорошей шевелюрой и редкой растительностью на лице, слабенькой и светлой, растил-выращивал усы и в них был похож на какого-то киноартиста типа милиционера, но сам был почти женщина, про которого лаборантки говорили, что он чудной и посреди событий вдруг может отбежать в угол и крикнуть «не смотри сюда». А что это значит, они не объясняли, сами не знали. Этот говорун сразу же стал со мной заговаривать, а тот, кто сидел рядом со мной, он молчал и вдруг наступил мне на ногу... (Примечание: Господи, кого я вырастила! Голова седеет на глазах! В тот вечер, я помню, Тимочка стал как-то странно кашлять, я проснулась, а он просто лял: хав! хав! и не мог вдохнуть воздух, это было страшно, он все выдыхал, выдыхал, съезживался в комок, становился сереньким, воздух выходил из него с этим лаем, он посинел и не мог вдохнуть, а все только лял и лял и от испуга начал плакать. Мы это знаем, мы это проходили, ничего, это отек гортани и ложный круп, острый фарингит, я это пережила с детьми, и первое: надо усадить и успокоить, ноги в горячую воду с горчицей и вызвать «Скорую помощь», но все сразу не сделаешь, в «Скорую» не дозвонишься, нужен второй человек, а второй человек в это время смотрите что пишет.) Тот, кто сидел рядом со мной, вдруг наступил мне на ногу. Он наступил еще раз не глядя, а уткнувшись в чашку кофе, но с улыбкой. Вся кровь бросилась мне в голову, стало душно. Со времени развода с Сашкой прошло два года, не так много, но ведь никто не знает, что Сашка со мной не жил! Мы спали в одной кровати, но он меня не трогал! (Мои комментарии: это все чушь, а вот я справилась с ситуацией, усадила малыша, стала гладить его ручки, уговаривать дышать носиком, ну, помаленечку, ну-ну носиком вот так, не плачь, эх, если бы был рядом второй человек нагреть воды! Я понесла его в ванную, пустила там буквально кипятилок, стали дышать, мы с ним взмокли в этих парах, и он помаленьку начал успокаиваться. Солнышко! Всегда и всюду я была с тобой одна и останусь! Женщина слаба и нерешительна, когда дело касается ее лично, но она зверь, когда речь идет о детях! А что тут пишет твоя мать? — А. А.) Мы спали в одной кровати, но он меня не трогал! Я ничего тогда не знала. (Комментарий: негодяй, негодяй, подлец! — А. А.) Я ничего не знала, что и как, и была ему даже благодарна, что он меня не трогает, я страшно уставала с ребенком, болела вечно согнутая над Тимой спина, два месяца потоком шла кровь, никаких подруг я ни о чем не спрашивала, из них никто еще не рожал, я была первая и думала, что так полагается — (комментарий: глупая ты глупая, сказала бы маме, я бы сразу угадала, что подлец боится, что она еще раз забеременеет! — А. А.)*

— и думала, что это так и нужно, что мне нельзя и так далее. Он спал рядом со мной, ел (комментарии излишни — А. А.)

— пил чай (рыгал, мочился, ковырял в носу — А. А.)

— брился (любимое занятие — А. А.)

— читал, писал свои курсовые и лабораторные, опять спал и тихо похрапывал, а я его любила нежно и преданно и была готова целовать ему ноги — что я знала? Что я знала? (пожалейте бедную — А. А.) Я знала только один-единственный случай, первый раз, когда он предложил мне вечером после ужина выйти погулять, стояли еще светлые ночи, мы ходили, ходили и зашли на сеновал, почему он выбрал меня? Днем мы работали в поле, подбирали картошку, и он сказал «ты вечером свободна?», а я сказала «не знаю», мы рылись у одной вывороченной гряды, он с вилами, а я ползла следом в брезентовых рукавицах. Было солнышко, и моя Ленка закричала: «Алена, осторожно!» Я оглянулась, около меня стоял кобель и жмурился, и у него под животом высунилось нечто жуткое (вот так, отдавай девочек на работу в колхоз — А. А.). Я отскочила, а Сашка замахнулся вилами на кобеля. Вечером мы забрались на сеновал, он залез первый и подал мне руку, ох, эта рука. Я вознеслась как пух. И потом сидели как дураки, я отводила его эту руку, не надо и все. И вдруг кто-то зашуршал прямо рядом, он схватил меня и пригнул, мы замерли. Он меня накрыл как на фронте своим телом от опасности, чтобы меня никто не увидел. Защитил меня как своего ребенка. Мне стало так хорошо, тепло и уютно, я прижалась к нему, вот это и есть любовь, уже было не оторвать. Кто там дальше шуршал, мне уже было все равно, он сказал, что мыши. Он меня уговаривал, что боль пройдет в следующий раз, не кричи, молчи, надо набраться сил, набирался сил, а я только прижималась к нему каждой клеточкой своего существа. Он лез в кровавое месиво, в лоскутья, как насосом, качал мою кровь, солома подо мной была мокрая, я пищала вроде резиновой игрушки с дырочкой в боку, я думала, что он все попробовал за одну ночь, о чем читал и слышал в общежитии от других, но это мне было все равно, я его любила и жалела как своего сыночка и боялась, что он уйдет, он устал

(если бы сыночка так! Нет слов — А. А.).

Он мне в результате сказал, что ничего нет красивее женщины. А я не могла от него оторваться, гладила его плечи, руки, живот, он всхлипнул и тоже прижался ко мне, это было совершенно другое чувство, мы нашли друг друга после разлуки, мы не торопились, я научилась откликаться, я понимала, что веду его в нужном направлении, он чего-то добивался, искал и наконец нашел, и я замолчала, все

(все, стоп! Как писал японский поэт, одинокой учительнице привезли физгармонию. О дети, дети, растишь-бережешь, живешь-терпёшь, слова одной халды-уборщицы в доме отдыха, палкой она расшерудила ласточкино гнездо, чтобы не гадили на крыльцо, палкой сунула туда и била, и выпал птенец, довольно крупный)

сердце билось сильно-сильно, и точно он попал

(палкой, палкой)

наслаждение, вот как это называется

(и может ли быть человеком, сказал в нетрезвом виде сын поэта Добрынина по телефону, тяжело дышал как после драки, может ли быть человеком тот, кого дерут как мочалку. не знаю, кого он имел в виду)

— прошу никого не читать это

(дети, не читайте! Когда вырастите, тогда — А. А.).

И тут он сам забылся, лег, прижался, застонав сквозь зубы, зашипел «ссс-ссс», заплакал, затряс головой... И он сказал «я тебя люблю». (Это и называется у человечества — разврат — А. А.) Потом он валялся при бледном свете утра, а я поднялась, как пустая собственная оболочка, дрожа, и на слабых ватных ножках все собирала. Под меня попала моя майка, и она была вся в крови. Я закопала кровавое, мокрое сено, слезла и поплелась стирать майку на пруд, а он тронулся вслед за мной голый и окровавленный, мы помыли друг дружку и плюхнулись в пруд и долго с ним плавали и плескались в бурой прозрачной воде, теплой, как молоко. И тут нас увидела наша дисциплинированная Вероника, которая по утрам раньше всех выходила чистить зубы и мыться, она увидела на берегу пруда кровавую, еще не стиранную мою майку, от испуга пискнула, Сашка даже нырнул, оглядела нас безумными глазами и бросилась бежать, а я бросилась стирать, а Сашка быстренько натянул на себя все сухое и ушел. Я думаю, что он в тот момент испугался навеки. Все. Больше он ко мне не прикасался. (Да, и от всего этого ужаса и разврата родился чистый, красивый, невинный Тимочка, а что же говорят, что красивые



дети рождаются от настоящей любви? Тимочка красив как Бог, несмотря на этот весь позор и стыд. Прятать эти листки от детей! Пусть прочтут, кто есть кто, но позже, что такое я и что есть она! Надо положить их обратно на шкаф, она все равно докопается, вспомнит, она все эти годы ищет и ищет свой дневник как маньяк, она умрет, если узнает, но теперь она далеко. И я пишу это и для нее, чтобы она сама все поняла, чья жизнь какая! Да! Мне, например, ни один мужчина не сделал больно, да! Чего там, какие страдания, все иллюзия! Позволю себе также поразмышлять: вот тебе и на, от этих слез, стонов и от этой крови зарождается малая кровиночка, точка в икринке, головастик после этого взрыва и извержения, он первый доплыл по волнам и внедрился, и это каждый из нас! О обманщица природа! О великая! Зачем-то ей нужны эти страдания, этот ужас, кровь, вонь, пот, слезь, судороги, любовь, насилие, боль, бессонные ночи, тяжелый труд, вроде чтобы все было хорошо! Ан нет, и все плохо опять — А. А.)

*Я стояла под душем и плакала навзрыд в квартире у замдиректора по науке, серьезного человека в очках, а он вдруг пришел и полез ко мне в ванну, я только успела закинуть трусики наверх, на занавеску. Он вытер мне глаза, он смотрел на меня, присев, отодвинувшись, он тяжело задышал — тебе же надо уезжать — нет, нет, сейчас — иди встречай поезд — молчание, льется горячая вода — если бы навеки так было, как я буду без тебя жить, оставь меня, что ты делаешь, ты опоздаешь.*

(нет, надо действительно это оставить для потомков, да я по сравнению с ней просто не знаю что, младенец невинный, несмотря на то, что у нее это всего второй человек: кобели чувствуют в ней ее женскую слабость и способность раз и хлопнуться на спину от счастья — А. А.)

*Он меня одел, высушил мне голову феном, а я опять начала плакать в горячке, как будто бы я прощалась с отцом, как тогда, когда папа уходил от нас навсегда и я цеплялась за его колени, а мать меня в бешенстве отрывала, улыбаясь и говоря: «Что ты, девочка, перед кем ты, а ты уходи, чтобы духу твоего» и т. д. (Нашла кого с кем сравнивать, родного отца с этим... с отцом Кати прибудной... — А. А.)*

*Он говорил: «Не плачь, я на тебя выйду, пиши мне до востребования, я всегда там получаю, ты меня не теряй», — он бормотал, мотаясь по квартире, подбирая пылинки, соринки, сорвал белье с постели, постлал тщательно новую простыню и повалился на ней, чтобы имитировать свой крепкий одинокий сон, а потом употребленное, в пятнах, белье сложил, аккуратно завернул в газету, сунул в пакет и отдал мне. «Что это?» — «Постирай». — «А потом?» Он подумал и сказал: «В рабочем порядке». (Нет бы сказать «дарю», а вот что она так упорно кипятила в баке, а потом проглатывала и — что бы вы думали — вернула ему! Но правильно сделала, такие мужчины не выносят и малейшего материального урона! Да и потом это как-то неприлично, я думаю, он был прав, ничего не сказав насчет «дарю», делать такой подарок после первого свидания?! А мог бы выкинуть на улице в урну. Пожалел? — А. А.)*

*Когда мы уходили, он с тоской посмотрел на часы и на свою супружескую постель, и было видно, что ему хотелось бы использовать каждую минуту и он только ищет повода, чтобы опять все на мне растянуть. Но растягивать не понадобилось, он обошелся так, в почти одетом виде, и только говорил «потерпи, сейчас». Все кончилось просто, я натянула колготки обратно, он мне сказал: «Иди выше этажом, вызывай лифт, я побегу пешком». Когда я вышла из подъезда, он уже давно укатил на своей машине или поймал такси — во всяком случае, улетучился, на остановке стояло несколько человек в ожидании воскресного автобуса, но его не было. И только в метро я поняла, что свои выстиранные трусики я оставила в его ванне на занавеске! О ужас! (Знала, что делала, небось жена приехала и погнала, хлопнула чужими мокрыми трусами да по морде, по очкам! А он тоже хорош, жалко было отпускать бесплатную, выжал до конца в одетом виде! Что же не ценишь себя, не говоришь-то «нет»? — А. А.)*

*Волосы у меня на голове буквально зашевелились от ужаса, когда я представила себе, что его жена полезет в ванну, потянет непромокаемую занавеску, и ей на голову в виде подарка шлепнутся мои мокрые трусики! Я ехала домой, вся замирая от стыда, и теперь сижу ночью, просто проваливаясь сквозь землю! Сердце падает, уходит в пятки каждый раз как подумаю! Все, все предано, поругано! Как он тогда смотрел на меня в буфете, косвенно, ускользая взглядом, а сам ногой надавливал аккуратно на мою ногу, придавливал, да еще руку положил на колено и пальцем слегка царапнул повыше, но не успел куда собирался достать, я вся сжалась и сбросила его руку. Они с другом галантно проводили меня до самой моей двери, и вдруг он сказал своему компаньону: «Созвонимся, мне тут надо договориться», на*

*что тот склонил в полупоклоне свою немужскую голову и, многозначительно усмехаясь, отчалил. И замдиректора быстро написал в своем блокноте адрес и время: 20 часов, и дату. И я к нему поехала в тот же вечер. И была счастлива! Когда я ехала, я была счастлива! И такой глупый, постыдный конец!»*

Конец дневника.

Но это было у них только начало. Вскоре после этого мы с Тимочкой почти перестали видеть нашу молодую маму (22 года), она сдавала в институте госэкзамены, закончилась ее преддипломная практика (в том НИИ с замдиректора она защищала диплом якобы, но все свободное время была только с этим пожилым человеком — 37 лет, шутка ли!), все мысли о нем, потом вот и был конец. Она пришла, «мне надо с тобой поговорить» — и мне тоже, кстати, — я выхожу замуж — а он что, будет двоеженец, многоженец? Нельзя сразу на всех быть женатым. — Ты не понимаешь, мама. — Он что, разошелся с женой? — Ма-ма, не в том дело. — Ах вот как, будешь любовь женатого мужчины. — Ма-ма, как ты не понимаешь, у нас будет ребенок, и он снимает нам квартиру. — Вам — это тебе, а сам? — Ма-ма! Не приведу же я его сюда к тебе! И тебя туда я не возьму, — вдруг сказала она с застарелой ненавистью, — Тимочку приеду и заберу, но не тебя! Не тебя!

Она не взяла меня. Но алименты она взяла. Правда, не скоро. Видимо, когда поняла, что он скуп, скуп и не будет сорить деньгами. Любовь у таких людей всегда возвышенная и платоническая, т. е. платить ни за что они не будут. Нематериальная любовь. Их деньги всегда им самим нужней. Вот что характерно: удивятся за копейку! Все у них какие-то планы — то машина, то компьютер, то видеокамера, всю жизнь собирают на что-нибудь деньги и очень любят бесплатно «пожениться», видимо, считая свой взнос в женщину чем-то вроде валюты.

Вот кому мы платили, кого содержали. Моя бедная, нищая дочь, ау.

Ночь. Малыш уснул. Я держу оборону, хотя дочь время от времени наносит удары: перед прошлым Новым годом, никогда не забуду, мы собирались справлять его с Тимой дома, ну куда не званы, как всегда, мы с ним пошли на елочный базар и из подобранных вполне пушистых, как веера, веток мы сделали букет, как елочку! Также мы с ним нарезали из цветной бумаги (старые журналы) флажков и зверюшек, и тут пришла Алена, выбралась якобы поздравить, принесла Тиме пластмассового синего кота, выдающегося по безобразию, но Тима с ним носился, укладывал его спать, и я не сказала бедному ребенку, что его родная мать, совершенно обнаглев, увезла из семейного дома две коробки елочных украшений, оставив нам только три. Я плакала. Но электрогирлянду она позабыла! И на Новый год мы обвесили наш еловый букет сверху донизу, в том числе я удачно заранее спрятала отдельно, как чувствовала, стеклянный домик: сверкающая крыша и два окошка по сторонам. Тима любит заглядывать в окошки, как Тильгиль и Мигиль вместе взятые из «Синей птицы». И ненадолго я зажгла гирлянду, и домик у нас сверкал, и мы с Тимой водили хоровод (плюс синее пластмассовое чудовище), и я тихо вытирала слезы.

На Новый год мы сделали друг другу подарки: Тима мне завернул в газетку и заклеил свой рисунок, а я ему сшила вполне приличную куколку из тряпок, надевается на руку, театр. У него теперь четыре таких куклы. Мне их очень трудно выдвигать, не получается красивое лицо, какие-то проблемы с носом, просто ставлю запяную. Но я не могу бесконечно ему что-то клеить, вырезать, шить, он и сам хочет это делать, чтобы у него сразу получилось хорошо, но он так быстро устает! Через десять минут уже хнычет, мало лет, руки еще кривые, все делает не так и спустя мгновение уже запутал и злобно дергает. А я же занята, мне надо работать! Уже кривит рот. Нервный тик.

Андрею я тоже пыталась сделать свой подарок, приобрела ему книжку «Правила хорошего тона», брошюру, но он отверг и запросил свою обычную цену, четвертной, грубо и по телефону. А я уже поработала над этим текстом и жирно подчеркнула некоторые положения, т. наз. поведение в быту. Андрей, кстати, опять грозит, что выбросится из окна.

Правда, не мне сказал, а жене, что уж она там ему опять нагубила, в прошлый раз он ничего не угрожал, а просто не вынес, выбросился действительно с второго этажа в сильной стадии опьянения, как определили в больнице.

Перелом обеих ног, неудачно упал на асфальт. Лежал в больнице, и теперь у него болит пята.

Пята болит, как жена его сообщает, невыносимо, а по видимости нет ничего. Задет какой-то пяточный нерв. Он не способен оказался на ходячую и стоячую работу, только на сидячую. Где ему ее подберешь, чтобы и лежать иногда, только в пожарке или сторожевать. Трагедия, трагедия! Тому уже прошло пять лет. Две ноги пять лет назад со второго этажа.

Я их обоих боюсь, мужа и жену. Она говорит по телефону, что у них все в порядке, вчера рукав халата оборвал у нее, но так все в порядке. Она медсестра. Тяжелая работенка, но она лечит и колет ему болеутоляющее, массаж ноги, ванночки, а ведь он еще молодой! Да и Аленка, моложе-то его всего на два года, я ей сказала в нашу последнюю свиданку Анны Карениной с сыном над супом из спины минтая: ты следи за собой, в кого ты превратилась. Она глаза в сторону и медленно налилась слезами, набухла. Налилась опять ненавистью ко мне. Встала, ни тебе спасибо, ни наплевать, Тиму ни в грош и укатила с коляской. Пешком волокла с четвертого этажа эту коляску с толстенькой девочкой, отсутствие лифта — наше проклятие.

Эта ревность у нее была в детстве, потом прошла, потом они вроде бы даже говорили ночами на кухне в юности, отвергнув меня, которая с радостью бы послушала их молодые разговоры и приоткрывала дверь своей комнаты, но! Кухня была плотно запечатана, как их души. И когда Андрей сел в тюрьму, она даже ему писала, речь об этом впереди. Писала, пока не привела к нам в дом этого охламона, который не знал ни сесть ни встать как следует и ел, забыв себя, все что было в холодильнике. Город Тернополь. Бредется всегда в полном экстазе перед зеркалом каждое утро, сеанс полчаса — гладит себя электробритвой. Медитация по йоге. Глаза полузакрыты, заглянешь в ванную по спешному делу мысли, видимо, бродят, Тимочка мокрый кричит, моя сидит на унитазах рождает каждое утро, Андрей, пришедший из тюрьмы, не попадет ни туда ни сюда, ни в ванную, ни в уборную утром вставши, бешеный сидит в кухне, где ему стоит кресло-кровать, и меня гонит, чтобы выпить в одиночестве свою чашку кофе. Горькую чашу кофе. Через год он и прыгнул, но уже от жены и не в нашей перенаселенной квартире. Честно говоря, покончил со своим прошлым здорового бугая, который уже отсидел за драку в то время, в какое другие служат в армии. Любовь, любовь и еще раз любовь и жалость к нему руководили мною, когда он вышел из колонии. Я его встречала у одного входа Бутырской тюрьмы, а он вышел из другого и, как был, одежду я ему привезла вычищенную, но с другого входа, — как был, на троллейбусе и автобусах без билета через всю Москву, денег ведь нет, затем еще пешком. Я, обознавшись и запутавшись, прождала напрасно, прибегаю домой, а тут он сидит, двадцать лет, во всей их форме. И кепка-пидараска, так он назвал, указав на нее, лежащую на столе. Все каменноугольного цвета. И тут же весна, народу на улицах много, видно, все на него смотрели. Вид героя, исхудалый, я присела на пятки и стала снимать с него ботинки. Он тихо говорит в кухне: «А это кто же? И что это вообще?» (тут выходит охламон тире обалдуй), спал днем, у них ни ночи ни дня, и Тима запищал. Вот куда ты вернулся, сын мой. Ночью Тима не спал со мной, я ночами не сплю, днем не спал с ними, если они сидели дома, а они оба спали. Я поэт, я всегда и во всем дома. Но тут меня не оказалось, и дверь Андрею открыл город Тернополь. Что за вопросы были, я не узнавала. Андрей тем не менее спрашивает: «А это кто же и что это?», видя, что я прикарманила еще одного сыночка (город Т.). Я стала все объяснять, сказала, что мы не писали, чтобы не волновать.

Я вообще бы сюда не пришел, говорит Андрей, боюсь еще один срок типа того что намотать, и что он уже все, ему все равно, что с ним, поскольку я в первых же строках своего рассказа сообщила, кто это такой тип и чего стоило женить его на Алене. А тот мимо кухни, опухший со сна, так и шнырнул в уборную и там задвижкой застучал, она плохо запирает, да и от кого было всегда запирает, все свои. Все просто кричат «есть там кто», а задвижка-то не запирает. Заржавела, видно, не от кого было. Тот со страху застучал как заяц. Он ведь тоже не подозревал, в какую семью входит и чьим там порохом воняет, еле-еле женился и еще не прописался. С помощью людей я его оженила, с помощью подруг, которые были с ними в колхозе на картошке в поддержку по уборке урожая колхозникам, которые вообще. В июне родился Тима, Андрей уявился

спустя шестнадцать дней. Вот-то был содом. Я вижу, начинается. Я же не знаю, с чем пришел мой страдалец любимый и единственный. Мускулы опали, пропал молодой жирок, пухлые губы сжаты, красавец — не отвести глаз. Во всем готовом цвета асфальта.

Ситуация была такая: еле-еле этот город Т. на нас женился, ему резко намекнули в деканате, что будут сложности вплоть до ухода в армию, если не женится. Мы его увидели в семье, уже когда стукнуло восемь месяцев беременности, привела его моя страдальница, моя вечная боль, моя Алена. Он пришел с таким видом, что они недовольны. Они с большой буквы, вся Русь и Тернополь. Их усадили, они изволили по сторонам не глядеть, Алена вся распухшая, юная, страшная, под глазами ямы, губы с голубизной, волосы висят. В общем, я никогда себя не теряла ни в одной ситуации, всегда волосы! Волосы самое главное, богатство мытых, причесанных волос! И если есть, свежесть кожи, но это уже от прогулок, я любила тогда когда-то прогулки, теперь скорее шныряю.

— Аленка,— говорю, — я, когда тобой ходила, я себя не теряла. Мужайся, поди помой голову. В чем дело? Что за траур тут? Ты что, первый раз беременна?

Она:

— Дорогой, я говорила уже тебе, что моя мама круглая дура?

Даже он струхнул. Но, видно, крепкий еще был паренек, еще верил в себя и в свои силы.

Они пошли в ту комнату, в бывшую детскую, и там засели, и она носила ему еду. Они там выкушали салат, по весеннему времени картошка с луком с майонезом, потом бадью супу, потом последние три котлеты, которые я вертела, слава Богу, с половиной хлеба для величины. Я ждала из тюрьмы Андрея и сэкономила даже на Аленушке, не говоря о себе. Мне не надо ровным счетом ничего, я и так полнею от чашки чая, такие пришли времена. Он (Они) выжрали три котлеты, Алена, по-моему, осталась ни при чем. Я ей на кухне тихо даю свою порцию, говорю пока без него:

— У мальчишки аппетит? Ешь тогда все мое.

Она смотрит на меня спокойно-спокойно, вся взбеленившись, и вдруг начинает плакать:

— Не-на-вижу! Господи, не-на-вижу!

— А что такого? Изголодался этот, я поняла. Но тебе тоже надо маленького во чреве кормить. Он, кстати, будет вносить деньги на еду или будет пожирать твое? У меня заработки сама знаешь, позт много не наработает.

— Графоманша,— ответила на это моя Алена.

Обычный случай.

А она в это время носила своего маленького Тимофея, я же не знала, моего Тимку, в честь какого-то тернопольского предка. Я бы ее на руках таскала, а тогда как я могла прокормить Аленку и маленького плюс этот муж нависал над нами, черт его нанес с ветром, труса, убоявшегося идти в армию вон из института в случае отказа от женитьбы, убоявшегося, что его там за красоту сделают педерастом, а через что прошел мой Андрей в лагере в таком случае, спрашивается? Через что? Как над ним там измывались, спрашивается, и чем окупить это страдание, раз ты за него на мои деньги ешь и пьешь? Наш муж, таким образом, женился, скромно посидели в детской комнате плюс две свидетельницы, не те, что были на картошке, этих он, видимо, не схотел. Я выставила винегрет, мясо с макаронами и пирог с сухофруктами. Утром она, продравши глаза, помчалась раньше меня на кухню и зажарила из последних трех яиц яичницу, видимо, для одного этого мужа. Сама стояла над ним с салфеткой, наверное, как лакей. Я попозже говорю:

— Лакей, а лакей, тут было три яйца на нас двоих, я хотела сделать блинчики. Есть-то не фига. Пусть платит хоть тридцатник, так-то жениться, за пищу, неблагородно. Утром вари манну на воде. Как ты будешь, чем ты будешь, какой грудью кормить малышку? Иссохшая!

Я хотела ее обнять и заплакать, но она отпрянула. Так у нас потекла жизнь. Она билась из последних сил, чтобы угодить своему, как она его называла, дорогому. Так она его называла. Я стала просто не выходить из своей комнаты. Холодильник выключила, во-первых, энергия впустую, во-вторых, я, оскорбляемая, одинокая, брошенная ею мать, как должна реагировать на то, что притащишь домой две полные сумки после дня очередей, а у них «жадный гость

пришел и все съел»? (по ее меткому выражению). Гости не давали просохнуть народной тропе в нашу квартиру, всех трогала их ситуация голодающей беременной пары, находящейся в медовом периоде, и Она, торжествуя, несла на кухню Их картошку, Их сто грамм масла и Их колбаску. Плыли аппетитные запахи вплоть до того, что даже уносили мой единственный чайник, и я, голодая перед приездом из колонии моего единственного любимого сына, экономя на всем, кипятила себе воду в кастрюле, пустую чистую воду, и ела чай с хлебом на ужин, завтрак и обед, тюремную еду. Раз он там так, я здесь тоже так.

— Мать рехнулась,— так она объясняла своим гостям мои проходы из кухни с кастрюлькой кипятка.

Я ведь ни с кем с ними не здоровалась. Но, оказывается, моя ненависть к всея Руси как-то хило, но все же сплотила их в крепкую семью. Они потешались надо мной. Она исполняла соло, а он был фундамент, они, короче говоря, спелись за мой счет, поскольку я действительно о том только и мечтала, чтобы они оба катились вон и оставили бы детскую комнату Андрею, но куда бы они выкатились? Куда бы? Я сказала им, что не пропишу их мужа, так они быстрее получают в общежитии комнатку для семейных, в доме воцарилась буря со слезами Алены. Ах, он женился из-за прописки, сказала я. Пусть разженивается обратно. Алена думала-думала и приняла меры: с его подачи она мне сообщила, что тогда будет против прописки Андрея в нашей квартире после тюрьмы, имеет право. О! Удар. Все разошлись по углам, успокоились, как всегда после великого скандала. Потом она вышла и вошла ко мне, я дрожала, я сидела работала якобы.

— Ты что, желаешь мне смерти? — обливаясь слезами (все еще), спросила она.

— Чего тебе умирать, живи со своим пашенком будущим, но учти! Если ваша семья состоится только при условии его прописки, тогда я, честно говоря, не знаю, стоит ли такая семейка жертв со стороны Андрея, которому негде будет приткнуться, и со стороны мамы в психбольнице?

Она легко-легко плакала в те времена, слезы лились просто струями из открытых глаз, светлые мои глазки, что вы со мной наделали, что вы со мной все наделали!

Хочу ее обнять, она, как ни странно, не отстраняется. Держу ладонь на ее плече, хрупенькое такое, дрожит.

— Хорошо,— говорит она,— я знаю, что я тебе не нужна с моим ребенком, что тебе нужен этот преступник всегда. Так? Ты хочешь, чтобы я умерла? Или как-то рассосалось? Так вот, этого не будет. Смотри, что-нибудь случится с дорогим, Андрюша загремит уже на много больше лет.

Так о своем брате, о страдальце, заслонившем грудью восемь друзей! О том, над кем она плакала ночами (я слышала), кому она писала письма со всякими смешными деталями и стеснялась мне их читать (но я читала и восхищалась, видя в ней будущую писательницу, и как-то однажды это ей сказала и в доказательство процитировала ее же фразу из письма, шутку — и был дикий скандал о шмоне, который я устраиваю у нее, об обысках, дикий, дикий скандал). Правда, она плакала о нем первые два месяца тюрьмы, потом у нее остальные девять месяцев были основания плакать о себе.

И вот теперь все ждали амнистии к празднику 9 мая!

— Ты,— тихо говорит она,— мало того что шпионишь за нами и нашими друзьями, ты мало того что вызывала к нам милицию, ты еще и украла у Сашки военный билет! Он искал! Он с ума сошел!

— Да? — говорю я, лишившись дара речи.— Я украла? На черта он мне нужен, твой Тернополь!

— И подложила два дня спустя!

Параноики и шизофреники, просто бред преследования! Я купила на последние и пригласила очень милого слесаря вставить замок в дверь моей комнаты. Слесарь взял с меня рубль и шутил со мной, что как раз ищет жену. Глупец, он не подозревал, что я уже взрослая и даже готовлюсь стать бабкой! Святая простота простых людей, которым просто нравится любой человек, а преграда не существует ни на уровне возраста, ни на каком другом. На следующий день он пришел с конфетами и был встречен моей дочерью (я стояла поодаль в халате с ромашками) вопросом, вам кого. Он протянул мне издали кулек и

сказал, чтобы я угощалась. Сам он уже был крепко угостившись. Моя дочь демонстративно сказала: «Мама! Еще чего!» От каковых слов мой набравшийся для храбрости жених стушевался и канул в вечность, вообще уволился из нашего дома.

Но когда за ним закрылась дверь, дочка моя рассмеялась:

— Мама, вот как раз он — типичный искатель московской прописки, будь осторожней, заразишься плохой болезнью или лобковыми вшами, я тебя вообще к ванной не подпущу, а тем более к тому, кто будет.

К моему родному Тимошке не подпустит!

— Пока не принесешь справку, что ты здорова венерическими болезнями.

Так она в суматохе своей победы выразилась.

— Нам в консультации всем на учебе говорили о бытовом сифилисе, не пить из стаканов на улице газировку, а тут это еще!

Конечно, она теперь порядочная, жена и будущая мать, торжественно ходит в консультацию на лекции, все в порядке.

Я ушла, заперлась у себя и долго плакала горячими слезами. Мне было тогда всего пятьдесят лет! Мои молодые, прежние годы, суставы только еще начинали болеть, давление не беспокоило, все было, все! Ночами, правда, я уже не спала, заснешь и проснешься, заснешь и проснешься. А потом — как лавина стала таять жизнь, но опустим над этим завесу тайны, тайна есть у всякого, в том числе и у могилы, не подлежит разглашению. Бедные старые люди, я плачу над вами. Но моя тогдашняя молодость, насколько же я ее не ценила и считала себя глубокой старухой! Нет, я не падала духом, я все еще мечтала сшить себе то юбочку, то платье, бегала по магазинам лоскутов в поисках дешевки и вся в мечтах. То хотела связать себе кофточку из дешевых бумажных ниток типа гипюра. Вот какая все-таки загадка эти мои мечты в разгар трагедии! Мне на пепелище вязать кружево, в преддверии прихода двух любимых существ, Тимки и Андрея!

Теперь из этих тогда приобретенных лоскутов я все намереваюсь что-то сшить Тиме, но рубашечку я не осилю, да и Машуня, добрая моя, отдает ихнего парня кое-что нам, не все, не богатое, не куртки и кроссовки, нет! Убогое. И есть уже школьная форма, да! Все коплю.

Машуня какая ни на есть, а все же последнее, что у меня осталось, о моей жизни прошлой я не найду тут места рассусоливать, о том, как мои бывшие подруги вдруг рассосались, ушли в семьи, когда меня выгнали с работы, а должны были выгнать не меня, и все дело теперь ограничивается моими якобы свободными к ним звонками и осторожными, раз в два месяца, приходами в гости на прокорм, но об этом уже речь была. О моей экономии речь уже тоже шла, но и тогда, в те поры, перед приходом этих двух любимых существ я тоже экономила. Моим постояльцам перепадала стипендия и даже материальная помощь профкома, не говоря уже о том, что осатаневшие гости за право провести вечерок в теплом доме приносили с собой иногда и жратву, а уж те, кто оставался ночевать и пытался жить у них на полу (а мои дураки очень бывали растроганы этим проявлением любви к ним и поощряли эти попытки проживания групповой семьей), — этим ночлежникам вообще приходилось кормить всю ораву! Они и попивали, бывало. Я держалась стойко и регулярно устраивала скандалы со звонками в милицию, протестуя против проживания у меня в квартире посторонних лиц после 23 часов! Один раз притопал наряд милиции, нагremели в прихожей, разбудили моих постояльцев и их ночных жителей, попросили предъявить документы. Это спугнуло желающих и вызвало прилив еще большей ненависти у дочери. Сам всяя Руси даже и глядеть не изволили в мою сторону, так опасались, о простом «здравствуйте» не было и речи. Греческая трагедия! Андрей, ты должен будешь держаться, Андрей, в душе заклинала я, они тебя опять посадят!

Но я не желала им зла и, видя, как они бедствуют, варила и варила запасенный геркулес по утрам, якобы для себя, для больной печени, а потом обнаруживала пустую, но грязную кастрюлю. Слава Богу, этот Сашка с детства ненавидел геркулес. Их от него рвало. А моя ела и ела, слава Богу. Не удалось выяснить, чего он еще не переносит, пока что он косил все подчистую. Но не у

меня. Если он отчаливал в библиотеку (шла весенняя сессия, и он долго каждый раз перед уходом раскачивался, брился, чесался), то я оставляла на кухне и супчик, и второе из рыбок и получала опять приказ долго мыть грязную посуду, но не впервой! Не впервой! Как я любила свою дочь, ее худенькую спину, ее розовые грязноватые пяточки в разношенных шлепках, ее спину, ибо лица своего она мне не показывала. Я бы ее всю вымыла, накормила, она бы у меня в чистых простынках, на пуховых бы подушечках под атласным одеялом (я его пока что убрала) лежала бы все последние дни перед родами, но она бегала, сдавала сессию досрочно, умудрялась поймать преподавателей пораньше и жаловала их своим аккуратным животиком. Я-то знаю! Она все рассказывала по телефону, а я-то не без слуха! Телефон имел короткую привязь, нельзя было его унести как следует, он застревал в полуоткрытых дверях. Все новости были мои. Она сдавала сессию, и от меня шли ободряющие письма в преддверии амнистии, лета, свободы в ту страшную человеческую преисподнюю, где мучился терзаемый Андрей. А моя дочь все старалась накормить своего Шуру. Я мысленно уже привыкла к нему и называла «наш подлец», видимо, в рифму к будущему слову «отец». Писать Андрею Алена перестала, а я в своих бодрых письмах ежедневно передавала от нее приветы и объясняла ее молчание сессией. Я писала, что меня беспокоит, что Алена слишком много занимается, и я боюсь, как бы она не загремела в больницу, — и накаркала.

Вечером я приползла домой из библиотеки, где собирала материал в газетной рубрике «Из зала суда» (есть надо), а дома, разумеется, я работать не могла по причине шума и агрессии в виде громкого смеха, хлопания дверью, рассказов по телефону, где я была темой номер один, сбрендившая мамаша, особенно в ходу была история со слесарем-больным-триппером, ха, ха! — и застала дома полнейшую тишину. В десять вечера никого. Я поужинала (ура!) в пустой кухне, тихо помылась, с удобствами и в покое, и радостно и свободно легла в свою чистую постель, чтобы в двенадцать ночи проснуться, как обычно, но на этот раз от полной тишины. Я встала и начала бродить мимо их двери, потом толкнула ее в панике — темно. Пригляделась — пусто. Вошла — их тахта застлана, но на покрывале пятно засохшей крови. На синем ржавое. Первая мысль была, что он ее убил. Вторая, сразу же — что начались роды.

Шурка пришел в два ночи в сильном подпитии, подлец, и молча качнулся мимо меня в уборную, где его, подлеца, вырвало.

— Что случилось? — спросила я его прямо через дверь. — Что случилось? Где Аленка?

Он спустил воду и вышел бледный, как замазка.

— Алена родила, — сказал он.

— Поздравляю. Кого?

— Сына.

— Где они?

— В двадцать пятом роддоме. — И он упал как пьяная свинья.

Я оставила его лежать где лежит, не мать его таскать, затем долго убирала за ним в уборной, затем кинулась к ним в комнату, нашла там узел детского рванья и всю ночь стирала и кипятила ту ветошь, какую они набрали по знакомым. Мой малыш, однако, пришел из роддома весь в кружевах, ибо теперь уже я начала методически, радостным голосом обзванивать всех кого знала баб, оповещать их о радостном событии и, минуя их недоумение, сразу спрашивала, обязательно чтобы у них лично, но, может, у родни что осталось для новорожденных (в магазинах ничего, шаром покати, складно врала я, там кое-что было, но не про нашу честь). Даже я не стеснялась просить если у кого рваные старые мягкие простыни, на подгузники. Подлец как нанятый бегал по результатам опроса, даже привез блок детского мыла, даже, бывало, долго, впадая в медитацию, гладил, но по вечерам он регулярно исчезал, после чего повторялась вся история с мытьем уборной мною. Домой я категорически запретила ему водить, сказала, что где ребенок, там этому сброду их не место, мигом занесут клопов. Так. Он слушал, слушал, днем носил Аленке куру в банке, бульон в термосе и соки, я раскрыла кошину, да и что у него было, у этого щенка! Отец, тот знаменитый Тимофей, погиб в море, так и не нашли, мать ездила, искала, мать всю жизнь потом, оказалось, по больницам, инвалид второй группы. Спросила, а чем больна эта мать, померещилась, а не туберкулезом ли, еще этого нам не занесли, но ответ был: шизофрения. Спасибо. После нашего мирного разговора на кухне подлец опять смылся на ночь. Тут уже Алена слабым голосом звонила из

больницы, начала со мной нормальным голосом говорить, что мальчик красивый, кудрявый (я видела потом эти кудри, четыре приклеенных к темени пружинки, остальное лысина, как у китайского председателя Мао, и таковые же глаза). На что я ей ответила, что у нас в роду все женщины и все мужчины красавцы и красавицы и что они с Андреем тоже родились лучше всех, и тут я заплакала. И она быстро со мной попрощалась, узнав, что подлеца дома нет и неизвестно.

И с нетерпением теперь мы поехали вдвоем с подлецом отцом встречать нашего Ненаглядного. Его вынесли няньки и отдали подлецу, я сунула няне тряпку, все по чести, тут же я поймала немного загаженное такси, привезшее к родному немолодую роженицу совершенно одну, с красным лицом. Ее бы надо было довести до дверей, бесформенную, скрюченную, она шла на полусогнутых, неся свой одиноческий чемодан с детским приданым, но человек силен задним умом, и я так обрадовалась, что машина освобождается, что чуть ли не кинулась быстро мимо этой одинокой матери, чуть ли ее не сшибла, безумная, и в виде подарочка получила все залитое водой сиденье. Я тут же объявила об этом шоферу, он молча вылез, стал тряпкой обгирать внутренности своей обшарпанной машины и сказал крепкое слово в адрес той скрюченной родильницы, которая явно уже неслась в промежности головку ребенка, так беспамятно она шла, скрюченная, со старым бедным чемоданом. Я теперь все вспоминаю ее, все думаю о ней, все мечтаю ее встретить в добром здравии с ребенком. Но она тогда шла пятнистая, как черепаха, еле ползла, теперь же, если ребенок остался жив, это стала, видимо, справная бабенка лет сорока, а ребенок тоже уже шестилетний, если остался жить. Матери, о матери. Святое слово, а сказать потом нечего ни вам ребенку, ни ребенку вам. Будешь любить — будут терзать. Не будешь любить — так и так покинут. Ах и ох.

Так я и привела свою троицу на закаканное в переносном смысле сиденье такси. Что там было, воды и воды. Святые воды, несщие ребенка. Шофер был помятый и злобный, он, видимо, зарекался вообще связываться с этим делом и подозрительно оглядел мою святую: не обольют ли? Подлец вез ребенка на вытянутых руках, Она хлопотливо закрывала кружевцем лицо. В такси жужжала муха, притянутая, видимо, мокрой тряпкой, кровавые дела, что говорить, муха была, видно, тоже на сносях по весеннему времени. Все это наши грязные, кровавые дела, грязь, пот, тут же и мухи, если не мыть, а Они ведь жили у меня как бар: нальют, накапают на стол, набросают в кухне и под раковину. Что говорить, много было пролито пота, но я видела Его, моего ненаглядного, видела во всем и всегда, даже в лице подлеца научилась видеть его широкий лобик, Его рот — три вишенки. Говорить нечего, подлец откуда только вынырнул с этими данными, теперь он ловит большую рыбу, теперь он женится на иностранке, хотя и получает не очень чтобы очень, судя по алиментам. Моя была трамплин, не более того, но насчет этого не секла, как они выражаются, и плясала на коленях перед ним.

Шестнадцать дней пролетело как во сне, не было ни ночи, ни дня. То и дело что-то кипятилось, что-то гладилось, моя мокрая кура заболела запорами, у нее открылись трещины на сосках плюс загробления молочных желез. Высокая, значит, температура, крик Тимы, побелевший подлец, я молчу. Она, видите ли, потребовала, чтобы я не смела касаться их ребенка после одной простой констатации факта, что подлец опять съел с каким-то другом (я сидела в читалке) все из холодильника на ночь глядя, утром ах! пустой дом. Ах! Неожиданность. Мать не принесет, нечего так и будет кинуть в эту тернопольскую прорву, а я не нанималась его обслуживать, еще и его, говорила я ей, войдя в их конуру, где было тепло и пахло молочком и свежим бельем от принесенных с балкона мною же пеленок. Сладкий запах детской, где спало мое счастье с крутым лобиком и темным пухом на головушке. Моя радость. Но тогда я рвалась на части, Андрей придет, чем его кормить? И где он будет? И как вообще? Я не спала совершенно, заснешь проснешься, заснешь проснешься и лежишь вся в поту облившись. А тут этот лишний привесок везде присутствует, яковы сдает сессию. Пощади, девочка моя, гони его в три шеи, мы сами! Я тебе во всем пойду навстречу, зачем он нам? Зачем?? Жрать в три горла все твое? Чтобы ты перед ним танцевала на карачках, вымаливая очередное прощение? Но я сказала одно:



— Пусть подлец идет работать, едет куда-то в тайгу, я не знаю. Где его папа вкалывал. Все равно тебе сейчас спать с ним нельзя! Я его кормить больше не намерена.

Она без слез:

— Этого не будет. Он мой муж. Все. А ты пиши свои графоманские стихи!

— Графоманские, да. Какие есть. Но этим я кормлю вас! — ответила я без обиды.

Разговор всегда сваливал на эту тему, на тему моих стихов, которых она стыдилась. А я, если не буду их писать, я умру, у меня разорвется сердце. Но я ответила вот что:

— Короче, пусть едет на заработки. На днях приходит Андрей. Объявлена амнистия.

Я же сама слышала по телефону, как подлец с кем-то договаривается насчет бетонных работ, якобы он имеет рабочие специальности, то-се, тихо кипятился по телефону.

— То, что объявлена, еще ничего не значит, не выступай раньше времени, а то сглазишь.

— А ты надеешься? Ты надеешься, что Андрея не будет? А он будет. Я ходила узнавала, была у адвоката. И я не хочу, чтобы Андрей с его нервной системой опять сорвался, теперь уже из-за подлеца. Ведь он его пришьет! — громко говорила я, рассчитывая на размер нашей квартиры, что подлец услышит. Тимка заскрипел в кровати, она к нему бросилась даже преувеличенно, а подлец, оказывается, стоял тут же, за моей спиной, и, как всегда, молчал. А что ему было говорить, кому кто здесь мог сказать что-либо новое? Все висело в воздухе, как меч, вся наша жизнь, готовая обрушиться. Западня захлопывалась, как она захлопывается за нами ежедневно, но иногда еще сверху падало бревно, и в наступившей тишине все расплзались, раздавленные, и только Тимка жалобно скрипел, жаловался на голодуху, на материнское истощение, на отцово подлецово равнодушное молчание, на мою нищету и на тюремные лагерные дни сына Андрея.

А тем не менее настал тот день, когда Андрей пришел. И подлец, как уже было сказано, заперся (или не сумел) в уборной, а я Андрею:

— Молю, молчи, выслушай. Я тебе не писала, что было толку писать, что Алена ходит с животом неизвестно от кого. Расстраивать.

— Алена?

— Да. Неизвестно от какого подлеца.

— Погоди. А этот?

— Все было не сразу. Слушай по порядку.

— Я есть хочу, и голова кружится. Мать, все.

— Сейчас я наливаю суп. Ты не знаешь самого главного. Вот хлеб. Ты вымыл уже руки?

Как всегда, молчание. Проблема мытья рук. Смотрит на меня как обычно, со смешанным выражением во взоре. Взял хлеб немывтыми руками, разломил.

— Хорошо, ты уже большой с руками. Ешь так. Так вот, я приняла меры.

— Ты?

— Насчет Алены. Я. Как всегда, я.

— Насчет меня ты не очень принимала.

Ревнует, как всегда!

— Андрюша, ты там не знал многого.

— Я знал, что один сел за восьмерых.

— Молчи, слушай. Ты один сел, получалось, ты был один против пяти, да?

— Я это уже слышал. Это плешь.

— Не пори ерунды. Слушай. Поэтому ты получил два года. Если бы вас было восемь против одного, которого топтали, кстати, все тринадцать человек, слышишь? Все! Я в больницу к нему ездила.

— Получил, что причиталось.

— О, как ты не прав!

— О.

— Если бы вас оказалось на суде восемь, срок каждому был бы от пяти лет. Понял?

— Мо-олчать! Сука.

— Умоляю тебя,— говорю я.— Успокойся, деточка моя! Мое солнце вернулось! Солнце моей всей жизни! И ты меня защитишь от подлеца!

Отчаянно застучал задвижкой этот трус в уборной, теперь он не мог оттуда выдаться.

— Значит, так, по порядку. Ешь. Я, пусть ты знаешь это, я приняла меры, и девочки из ее группы выступили свидетелями на сеновале что произошло и как она отстирывала кровь от майки, в сентябре.

— Все. Кружится голова.

— И он расписался с ней из-за свидетельниц. Ешь, вот картофель старый, вот селедочка... Маслице. Не все еще он съел. Подлец!

Я не могла плакать.

— Что мы пережили! А он, видишь ли, якобы сирота. Сам из гэ Тернополя, еле с трудом удалось поступить в этот институт, и грозила армия.

— Пошел бы. Я бы пошел в армию, чем это.

— Подлец не пошел.

— Приволокли себе молодого. Ну, мать, ты сволочь.

— Ешь, ешь, ешь домашнее.

Вошел тернопольский сирота, помывши руки, разомкнул рот и сказал странную вещь:

— Рад видеть.

Они пожали друг другу руки.

— Андрей.

— Саша.

Первым протянул руку подлец. Иногда в нем что-то проскакивает, какая-то искра разумного.

Ворвалась Аленка, застегиваясь (все это время кормила), охотно зарыдала и кинулась Андрею на грудь.

— Дура, она всегда дура,— радушно сказал Андрей.

— Что делать,— согласился подлец. Глаза ему выцарапать.

Она и эти двое как-то очень хорошо смотрелись на фоне нашей убогой, загаженной кухни. Свет молодости, свет надежды бил из их глаз, о, если бы они знали, прозревали, что их, собственно, может ждать впереди, кроме тьмы и единственного, что способно греть в этой тьме,— детского дыхания Ненаглядного.

Я плотски люблю его, страстно. Наслаждение держать в своей руке его тонкую, невесомую ручку, видеть его синие круглые глазки с такими ресницами, что тень от них, как писала моя любимая писательница, лежит на щеках — и где попало, добавлю я. Даже на стене, когда он сидит в кровати под лампой. Грубые, загнутые, густые ресницы. О веера! Родители вообще, а бабки с дедами в частности, любят маленьких детей плотской любовью, заменяющей им все. Греховная любовь, доложу я вам, ребенок от нее только черствеет и распоясывается, как будто понимает, что дело нечисто. Но что делать? Так назначено природой, любить. Отпущено любить, и любовь простерла свои крылья и над теми, кому не положено, над стариками. Грейтесь!

Они стояли на этой кухне, мои двое любимых, а я была сбоку припека.

— Так.— Сказала я.

Они не шелохнулись.

— Андрей, я возражала против прописки вот его. А она возражает против твоей тогда прописки обратно после колонии. Так она угрожала, что имеет право.

О сила слова!

— Как это? — сказал Андрей.

— А я тебе потом расскажу,— затуманилась Алена,— пошли посмотришь на нашего парня.

— Ты могла? — недоумеваю, спросил Андрей.

— Да ну, что ты. Форма борьбы с ней. Ты же знаешь это наше вечное скотство.

— Ладно.

Они, как поникшие цветочки, ушли в свою комнату. Андрей стал есть. Я села напротив.

— Андрей.

— Мама!

— Две минуты. Андрей, действительно все очень плохо. Она хочет его прописать, не видя, куда это было смотрит. Она ему нужна как трамплин. Он же отсудит у нее комнату! Туда смотрит!

— Парень красивый. Очень. (Странный смех.)

— Да, он мог бы выбирать бы. Если бы не мои свидетельницы. Но, как говорится, он хочет урвать с нашей паршивой хоть клочок. Хоть прописку и уйти.

Я говорила все это громко и не стеснясь. Я была права! Как оказалось, я была права в ста процентах, но доказать! Доказать эту правоту стоило многих усилий. Ибо подлец привязался к Тимочке. Он его полюбил плотской любовью, он его купал, он им гордился, сморчком, он с ним гулял и гордо показывал жадным гостям, пришедшим на дармовщину. Он его любил! Как это было не просто все...

Я оказалась лишней в жизни.

— Имей в виду,— сказала я Алене, как-то выйдя в коридор.— Твой муж с задатками педераста. Он любит мальчика.

Алена дико поглядела на меня.

— Он любит не тебя, а его,— объяснила я популярно.— Это противоестественно.

Алена разинула рот и заржала. Она, правда, только что плакала у себя в комнате, что было видно даже во тьме коридора. Подлец еще не пришел в двадцать три вечера.

— Деточка моя! — Я хотела ее обнять, но Алена, облегченно хохоча, пошла к телефону и взяла его к себе, полузакрыв дверь. Я — постоянная тема ее длинных, как зимняя ночь, бесед по телефону.

Однако сколько же мне тогда было? Каких-нибудь пятьдесят лет!

Алене девятнадцать, Андрею двадцать.

Это было давно, когда я их родила, сразу, за два года двоих, это было сумасшествие одной археологической экспедиции и моя очередная грандиозная ошибка в людях, когда я, юная особа двадцати девяти лет, стрижка под мальчика, худоба, глаза и ноги, девчонка совсем (мы с одним ребенком еще в начале, никто никого не знал, рассматривали за камнем его находку, ржавый обломок, а он подошел, так смешно, и говорит: «Мальчики, вы что тут делаете?» Я на него подняла глаза, он рассмотрел и поперхнулся, так я была похожа на мальчика. С того все и началось, дни и ночи счастья, когда я — поэтесса после пединститута и выгнанная из газеты со стажем журналистской работы за роман с одним женатым художником, отцом троих детей, которых я всерьез собиралась воспитать, дура! А жена его тут как тут: вам не стыдно? — и к главному редактору. И тут же им дают давно обещанную трехкомнатную квартиру — они жили в одной комнате все плюс мать его якобы жены, а у меня в комнате он мог работать, хотя моя в свою очередь мать очень бурно его попрекала, что он живет на моей шее, не женясь,— какие еще старые, старые песни, однако!), — так вот, когда я, уволившись из газеты, поехала куда глаза глядят в археологическую экспедицию, и вот вам результат, Андрей и Аленушка, два солнышка, все в одной комнате опять-таки, мать в своей упорно и упорно! Пожили, посмотрели на реальность, у моего мужа грандиозный развод в городе Куйбышеве, жена его приезжала смотреть на меня пузатую, то есть как смотреть — он открывает дверь, а там жена с пятнадцатилетним сыном, надо поговорить. Входят, она мне по щеке, окно разбила, осколком себе вены полоснула, все в крови, он ее держит, сын его бледный и кричит — не смей трогать мою маму! Моя мать всунулась, увидела такое дело, принесла бинтик (она жадная, принесла б/у, стиранный свой, видимо, с ноги, любит перебинтовываться). Затем она увела их к себе, напоила чаем, мы сидели с ним как два голубя, клюв к клюву, запершись, и хорошо, что эта старая жена ворвалась, у нас уже было все плохо, он задумывался и тосковал о сыне, о доме, да где тут работа, в археологии ставки низкие, да мой живот, да алименты. Осунулся. Тут она ворвалась и все перевернула, умница, женщина с жадной разрушения, они многое создают! Разрушится, глянь, новое зеленеет что-то разрушительное тоже, как-то по костям себя собирает и живет, это мой случай, это просто я, просто я, я тоже такова для других.

Так что были дела, и так недавно. Перебираешь жизнь — они, мужчины, как верстовые столбы. Работы и мужчины, а по детям хронологию, как у Чехова. Пошло выглядит все, однако же что не выглядит пошло со стороны? Для Алены

все мои слова и выражения, я чувствую, отвратительны. К примеру, вопрос типа «а он интересный?» — если она мне случайно выбалтывала по молодости в восьмом классе что-то о своей подруге Ленке и ее романах. Слова в вопросительной форме «а он интересный?» вызывали у нее столбняк и взрыв ненависти, хотя я имела в виду только одно, а именно что ее Ленка кобыла, с которой шкуру еще не ворочали, а надо бы, и кому придет в голову обнять такую кувалду, от которой в четырнадцать лет разит солдатским потом, нога тридцать восьмого размера, волос надо лбом черный, как на сапожной щетке, видны уже молодые усы, а под толстым задом в виде подпорок две жерди. Моя Алена (а в том году все девочки рождались Елены, равно как теперь все девочки, а как же, Кати) обожала этого кузнеца с усами Ленку, Ленка была постоянно у ней на языке, и даже при тех отношениях, которые у нас сложились к ее четырнадцати годам (отстань, отскеч, отвал и еще резкий ответ «ты с дуба, что ли, рухнула»), — даже при этих взаимоотношениях легенды о Ленке, в мало-мальски тихое мгновение, выкладывались мне с упоением вплоть до первого моего вопроса:

— А он интересный?

— При чем это?

— Я в том смысле спрашиваю, что уж он-то, наверное, интересный?

— Что это такое?

Я мнусь, мне надо сказать вообще-то только одно:

— Ну, в смысле, кто на такую слонику позарится. На Ленку.

— О-хо-хо! Это на меня никто...

Известно, что девочки, у которых отец ушел из семьи, на всю жизнь имеют комплекс брошенных жен со всеми вытекающими.

— Это на меня никто. А ей на каникулах еще в прошлом году в Гаграх проходу не давали грузины. Ей давали восемнадцать лет! А ей было тринадцать!

— Не тридцать давали, и то хорошо.

— Ма-ма! (почти визжит)

— Слушай историю. У них в Гаграх, конечно, все бывает, бабина подруга тетя Оля с сестрой там отдыхали, вышли на пляж в шестьдесят пять лет в халатах на босу ногу, сердечки мои, а женщины в теле, халатики брали, мне показывали еще в Москве, шестидесятого размера, бюсты тянут на восьмой номер, причем неразличимы, поскольку животы у бедных как на девятом месяце.

— Тьфу!

— Слушай. Вот, говорит, не поверите, Серафимочка (это они потом нашей бабе), каким мы пользовались в Гаграх на пляже успехом, дедушка посидел с нами наш, сестрин муж, плюнул и больше с нами никуда не выходил. А эти обступили, так сладко вслед чмокали, целовали даже воздух, проходу не было.

— Мама, ты... (шипит) Я просто не знаю... пошлость.

— Ну и что, он у Ленки интересный? Тоже из Гагр?

— Что ты ко мне пристала? (чуть не плачет)

А дело было в том, что я правильно видела, что та Ленка не стоит и мизинчика моей Аленушки. Моя младшая дочь, моя красавица Аленка, мое тихое гнездышко, которое согревало меня после бурь с Андреем в его подростковом периоде, моя Аленушка говорила мне в девять лет такие слова! Мудрые слова утешения, когда произошел у нас разрыв с их отцом, баба Сима нас доконала! Нашлась какая-то опять же летом в экспедиции, по тому же сценарию, причем с ним были и сын и дочь, а когда они вернулись, Аленка мне сказала:

— Мама, нас так любили, на прощальном костре, когда мы уезжали, одна тетя Лера так плакала! Так плакала!

Через месяц каких-то междугородных переговоров, покрывшись весь на нервной почве фурункулами по лицу, мой муж уехал теперь уже в город Краснодар, где и проживает сейчас с Лерой-плакальщицей, каким-то сыном и ее слепой мамочкой, дети к нему ездили, снова в экспедицию, пока не выяснилось загем, что папе не до них. У Леры однокомнатная квартира и нет перспектив, туда моих детей не возьмут. А в экспедиции папочка стал ездить ни много ни мало как в Руанду или Бурунди. Международные связи крепчают, но в Африке СПИД, и есть повод думать об этом без оптимизма.

А баба Сима нашего папу считала дармоедом, ловкачом и тэдэ. Как она скорбно ликовала, когда он приехал за вещами и увольняться! Как демонстрировала! Как была мила и ласкова со мной, кобра, которая теперь плачет на своей

подушке и пишит, что все ее разворовывают... И жадно хлебает с ложки, жадно-жадно: диабет.

Пошли алименты ноль-ноль копеек, сорок рублей, я подрабатывала, отвечала на письма в отделе поэзии, приютит некто Буркин, добрый человек, борода, усики, трясущиеся руки и такие раздутые щеки, что кажется все время, что болен флюсом. «Это у меня навеки!» — говорит Буркин в ответ на мои жалостливые слова, что я тоже терпеть не могу зубных врачей и бормашины, но если двусторонний флюс, то надо обратиться, а то все может быть. Рубль письмо, бывает и шестьдесят писем в месяц. Два моих стихотворения в год напечатано, оба на Восьмое марта, гонорар восемнадцать рублей вкуче.

И вот мудрые слова утешения, которые сказала мне моя девятилетняя Аленка, когда в последний раз закрылась дверь за их отцом, а я стояла усмехаясь, с горящими щеками и без слез, близкая к тому, чтобы выкинуться из окна и там, там встретить его бесформенной тушей на тротуаре. Наказать.

— Мам,— сказала Аленка,— я тебя люблю?

— Да,— ответила я.

Моя красавица, которой я любовалась в пеленках, каждый пальчик которой я перемыла, перецеловала. Я умилялась ее кудряшками (куда что девалось), ее огромными, ясными, светленькими, как незабудки, глазками, которые излучали добро, невинность, ласку — все для меня... О их детство! Мое блаженство, моя любовь к этим двум птенчикам, когда они спали, их головушки на подушках, тихое тепло в моей комнате... «Белое пламя волос — Светит на белой подушке,— Дышит, работает нос,— Спрятаны глазки и ушки». Все потом было тьфу, все отобрано и брошено к первым попавшимся ногам этой Ленки. Все дни с нею, все ее думы — о ней, какие-то Ленкины капризы сводят всю нашу семью с ума. Андрей дрался с Аленкой из-за телефона, ему надо было звонить, а она ждала звонка от этой мымыры, куда они пойдут, на день чьего рождения, да пригласят ли. Вообще мои дети дрались бешено. Аленка то и дело визжала и прибежала ко мне на кухню, неся разинутую пасть, полную слез, на вдохе: и... Аааа! Тоже милая подробность нашей жизни. Ночами, только ночами я испытывала счастье материнства. Укроешь, подоткнешь, встанешь на колени... Им не нужна была моя любовь. Вернее, без меня бы они сдохли, но при этом лично я им мешала. Парадоск! Как говорит Нюра, кости долбящая соседка.

Андрюша играл в футбол и хоккей, к девятому классу у него было шрамов на голове и на лице, как у боевого кота. Его приводили со двора ребята, бледные от страха, а он ковылял то окровавленный, то с пробитой ступней, то его поднимали от проволоки без сознания (наши активистки во дворе, взбодрившись на почве политических свобод, вскопали газоны, сволочи, посадили что-то и застолбили свои раскопки натянутой невидимой проволокой на высоте детского горла). Другой раз деточки играли в ножички отточенной ножкой от кровати, стальной, разумеется. Один толстый Вася промахнулся и воткнул Андрею в ногу. В это время (дело было в молодости, но после краснодарского случая) у меня в гостях был мой знакомый, интересный, но женатый мужчина, однако запойный, что не мешало ему быть очень интересным.

— Старик,— сказал он Андрею, когда того привели на одной ноге с кровавым следом в лифте (я потом, плача, мыла),— старик, осколочное ранение?

— Ага,— ответил Андрюша.

Когда спустя шесть лет Андрей не пришел домой, а пришел в два ночи, и баба Сима встретила его в прихожей диким криком «иди откуда пришел» и табуреткой, у меня что-то случилось с сердцем. Утром я позвонила этому Аркадию Яковлевичу, и он бодрым голосом, какой у него всегда бывает после запоя, но задолго перед новым, сказал:

— Андриановна, на всякий случай надо вызвать «скорую», хотя у баб инфаркт бывает редко (из чего видно, что Аркадий Яковлевич лежал в мужской кардиологии, а в женскую не заглядывал).

И затем он спросил, в чем дело. Затем он спросил, сколько лет Андрею.

— И вы хотите, чтобы он встал от бабы с криком «меня в десять мама ждет»? У меня в пятнадцать лет должен был быть ребенок, а ему уже шестнадцать.

Он меня всегда очень успокаивал, А. Я. Мы познакомились на почве работы, я составляла для Машуни сборник стихов поэтов на темы труда, меня уже выперли из издательства и отовсюду, долгая история, я не могла там появляться, и сборник составляла как бы Машуня, гонорар она мне потом отдала двадцать пять процентов и еще два раза давала по четвертной. Я и тому была счастлива. Короче, А. Я. был сын поэта как раз трудовой тематики, я на этого поэта набрела во время работы в библиотеке, смотрю: раз стихи к Октябрю, два к Маю... О труде. Мне-то не все равно. Я позвонила, попросила Якова Добрынина. А мне сказал мужской голос, что его нет, и я спросила, когда он будет, а мужской голос ответил, что на этот вопрос ответа нет. Я поперхнулась, сердце ушло в пятки, но я объяснила, в чем дело, и мы познакомились с Аркашей, действительно очень добрым мужиком, жена которого восприняла мой визит однозначно, все жены меня всегда воспринимали однозначно, хотя и любезно, а одна жена поэта, по телефону согласившись в десять вечера вернуть мне рукопись моих стихов, которую я дала с просьбой прочесть и сказать, надо ли продолжать работу,— эта жена вышла в те же десять вечера на мой звонок в прихожую в чем мать родила, прикрыв только, присобрав в единое целое свой бюст. Типа того что «мы уже лежим». И дружба тяжкая их жен.

Ночь.

Но по порядку. Мое визгливое солнышко уже уснуло, разметавши ножки и ручки, сирота ты сирота, теперь бабе можно остаться наедине с бумагой и карандашом, поскольку на авторучку мне не заработать. Ни на что мне не заработать, Андрюша меня ограбил серьезно, это не то как раньше, когда он бушевал на лестнице и на прощанье поджег спичками мой почтовый ящик, а требовал он от меня ни много ни мало как четвертную и называл при этом страшными словами и методически бил ногой в дверь, а мы с малышом, я зажимала ему уши, сидели на кухне.

— Я... (кричал Андрей) да я вселюсь, и будешь знать (страшные слова), дай, такая-сякая, четвертную! Заняла мою комнату, страшно сказать, теперь плати, страшно сказать, мать!

Мать матом.

Моя звездочка не плакал, а только трясся. Но, по счастью, Андрей сам трус Я только хваталась за Тиму, но потом не выдержала и закричала громко и грозно

— Вызываю милицию! Все! Звоню!

Андрей не способен никогда поверить, что я смогу вызвать милицию — к кому? К нему, к несчастному, который так и не оправился от колонии, не мог забыть, что с ним там творили, не мог возродиться как человек и все ходил по своим так называемым друзьям, за которых он сел, все укорял их и собирал трешки и пятерки путем шантажа — это я так думаю, потому что однажды Андрея разыскивала некая совершенно сумасшедшая мамаша его товарища по тому делу, подельника. Голос отвратный:

— Але! Але!

— Але,— говорю я.

— Але! (кричит в тревоге) Можно.. Это квартира таких-то? Але!

— Нет,— отвечаю.

— Андрея такого-то нет? Але! (так тревожно)

— Он тут вообще не живет А кто это?

— Не важно.

Не важно, значит, до свидания. Но не тут-то было.

— Але! Але! А где он?

— Я не знаю.

— Он больше не работает в пожарке? Я туда звонила.

Вот сука!

— Нет, он теперь в министерстве.

Пусть обзванивает все отделы кадров всех министерств.

— Да? Можно телефон? Але!

Так ее и видишь, паника на лице, уши горят.

— Это секретный телефон,— говорю я.

— ...

— Я его не знаю.

— Это говорит мама его товарища Ивана. Он унес у нас из дома кожаную куртку после его посещения без меня. Але! Вы слышите?

— Вы поищите у вашего сына, а его что, еще не посадили по делу Алеши К.? Начинается же пересмотр!

(Этот ее сын до сих пор носит Андрюшин свитер, который я купила Андрею на день рождения из последних денег.)

— И, кстати,— говорю я,— не может ли Иван вернуть мне стоимость украденных у меня вещей?

Трубка брошена.

Страшная темная сила, слепая безумная страсть — в ноги любимого сына вроде блудного сына упасть, стихи.

Андрей ел мою селедку, мою картошку, мой черный хлеб, пил мой чай, придя из колонии, опять, как раньше, ел мой мозг и пил мою кровь, весь слепленный из моей пищи, но желтый, грязный, смертельно усталый. Я молчала. Слова «иди в душ» не лезли вон, но стояли в горле как обида. С детства эта моя фраза вызывала у него рвоту отвращения (поскольку, понятно, эта фраза его унижала, напоминала ему о том, чего он стоит, потный и грязный, в сравнении со мной, вечно чистой, два раза в день душ и подолгу: чужое тепло! тепло ТЭЦ, за неимением лучшего).

— Дай мне денег.

— Каких денег? — вскричала я. — Ких еще денег? Я кормлю троих!

Да! И я четвертая! Здесь все из моей крови и мозга!

Так я стала восклицать, сама имея пять рэ в сумочке и часть на сберкнижке, мамина страховка, а часть за плинтусом, поскольку, всем всё знакомым и незнакомым рассказав, я получила пять переводов с подстрочников неизвестных мне языков, поскольку: сын-диссидент в тюрьме по ложному обвинению, дочь почти без мужа родила, два студента без стипендии на руках и родился внук, ах, ох, ботинки, пеленки.

— И знаешь что, не помыться ли тебе? Хочешь ванну?

Он медленно сморгнул, глядя на мои ключицы.

— Ты знаешь, я прибрела тебе джинсы отечественные, не смейся, туфли светлые, иди переоденься, предварительно в душ, и все.

— Нет. Не буду переодеваться. Так пойду. Дай денег. Мне надо.

— Сколько это тебе надо?

— Пока что полста.

— Фью! Пять рублей на завтра на еду, и все. Этот все выжирает, я буквально прячу еду в комнату. Дать тебе трешник?

— Мне надо полтинник. Пойду убью, в таком случае.

— Убей меня.

— Андрей.

В дверях стояла моя прекрасная дочь.

— Андрей, иди к нам, у нас вчера была стипендия у Сашки, мы тебе дадим, она ведь удавится не даст.

Андрей тяжело ушел с этими пятьюдесятью рублями и не вернулся два дня, а за это время приходил участковый, спрашивал, где А., и говорил, что прописывать его нельзя. Была большая паника, и мы с Аленой подали на прописку и Андрея и Шуры. Махнулись, так сказать, обменялись, как страны шпионами. Я испугалась-то в первую голову, что Андрей натворил черт-те чего.

Но он явился через два дня во всем новеньком, в джинсовом костюме, с сумкой через плечо, побритый и с двумя девками такого вида, что у меня заклокотало в груди, как у орла. Вышла Алена и тоже стушевалась и отступила в свою теплую пеленочную обитель. С девками он прошел в мою комнату и там оставался ровно час, хотя я стучала ему аккуратно, ногтями, деликатно, что мне нужны мои вещи, но в глазах стоял плинтус с деньгами, а Алена, проходя мимо, саданула пяткой в эту проклятую запертую немую дверь.

Когда они отперлись, я сказала, протянув руку:

— Пятьдесят рублей.

— ...

— Так вот, я вернула Алене эту твою сумму.

Девки задержались у двери, а он рылся в моем шкафу, перебирал вещи.

— Твое все собрано, ты что, вон чемодан наверху...

Кровью облитые сердца матери и сына, они бьются сильно и грозно. Где ты, бленький мальчик, запах флоксов и ромашковый луг.

— Тут приходил участковый, предупреждал...

— А хули он приходил...

— Чтобы тебя не прописывали...

Сердце, сердце!

— Ах так!

— Мы тебя прописываем, Андрей, не беспокойся, не волнуйся.

— А я не беспокоюсь. Я женюсь, и ваша прописка... Подотришь.

— На ком, на них?

— А что, плохие жены?

Девочки резко засмеялись, показавши зубы с недочетами.

— Кстати, где баба?

— Я не хотела писать... Баба наша сильно сдала.

— Померла, что ли?

— Хуже. Самое страшное, что может быть с человеком. Понял? Ты меня понял?

— И где она?

— В Кашенко, где же еще быть человеку.

— Упекли?

Он взял чемодан, и они все выкатились.

Ночь. Тишина. Где-то долбит кости соседка Нюра. Завтра она сварит из них суп.

И вот что странно, что Де́за Абрамовна, завотделением психбольницы, такой спокойный, такой уверенный человек, такой даже успокоительный, она в одной из бесед сказала правильную фразу, относящуюся и к вышеприведенному разговору и вообще: что там, за пределами больницы, гораздо больше сумасшедших, чем тут. что тут нормальные в основном люди, которым чего-то не хватает, и не сказала чего. Мало ли, мне тоже всего не хватает, подумала я тогда и была полной дурой, как я понимаю сейчас, когда все кончилось: в первых наших беседах, когда я перед ней всегда плакала, жалуясь на то, что мама чуть ли не спалила квартиру, напустила газ и т. д., оставили ее одну на две недели летом, и мы вернулись, а у нас на балконе черви, птицы сидят рядами, и тяжелые жирные мухи прямо ползают а это она купила и забыла на воздухе краске, И запах! Это вообще был страшный период, когда Андрея таскали по повесткам в милицию, я была там, следователь накричал на меня, Андрей возвращался домой желтый и безжизненный, и ему все время звонили и что-то орали, а он кивал, не отвечая, и его вызывали родители этих проклятых друзей в кавычках на свиданки, таскали, уговаривали взять, видимо, вину на себя, а мама ничего не могла понять и тревожно говорила, что мальчик плохо чувствует и не питается, девочка вчера пришла домой поздно плащ светлый спина в зеленой краске, где-то лежала спиной; и вдруг мать затихла у себя в комнате и почти перестала выходить, это совпало с тем, что Андрей однажды ушел утром на допрос и больше к нам не вернулся. Она даже не спросила, где Андрей. Проходили месяцы, она трудолюбиво складывала у себя на серванте свои свободно вынутые из десен зубы и однажды торжественно предъявила мне пакет кровавых ваток: вот сколько было кровотечений из горла! Зачем? Зачем, спрашивается? Кому, какой комиссии ты это все предъявишь, дай выкину! И в чем ты ходишь, мама? Во что ты превратилась? У тебя же полный шкаф одежды, это мне нечего носить, а у тебя? Я так поняла, что она все сберегает до лучших времен, как бы представляя себе ясно, что в один прекрасный момент все расступятся и выйдет она, вся в новом демисезонном пальто или в шерстяном платье, и потом (внимание!) — на ней кто-нибудь женится. Она как-то даже пошутила, что берегите-де ея для жениха, и я тут же ответила: «Для пенсионера? Хочешь за пенсионером ходить остаток жизни», не желая вдаваться, какого на самом деле жениха ей ждть. Она поглядела на меня своими маленькими серыми когда-то глазами, теперь у нее осталась только голубизна, все выцвело и сравнялось — младенчески-голубое, мутное, сияющее как луна. Сияя, она ответила, что терпеть не может пенсионеров и горшки таскать не намерена. Оставался вопрос, кого она ждала, и единственный вариант напрашивался сам собой, что она ждала возвращения молодости и свято верила в это. Где-то там, в глубине сознания, она ожидала лучших времен, т. е. что она встрепенется, сбросит с себя эту внешность,



расцветет, как расцветала некогда после отпусков. Она, короче, ждала в глубине души чего? Рая и небес? Вместо этого случилось то, что она однажды тихо позвала меня к себе и сказала, что за ней «приехали».

— Это с какой стати?

— Ти-ше.

— Кто, господи?

— Посмотри,— она отвернула голову от окна и по возможности от меня.—

Там.

— Где, что ты мелешь?

— Там, внизу.

Там, внизу, я посмотрела, был дождливый день.

— И что, ничего. Ничего нет.

— Едут опять.

— Кто?!

— На букву «п». И на букву «с».

— Какая буква, ты что?

— Тише, не ори (шепотом). Скорая помощь.

Я посмотрела. Сверху по улице действительно ехала «скорая».

— Ну и что?

— Я выходила вчера когда, они сразу за мной тронулись. И милиционер за мной шел, я специально повернулась и пошла ему навстречу. Иду и специально смеюсь ему в лицо. Я их не боюсь!

Так. Я оцепенело стояла на кухне, а потом вошла к Алене и сказала, что баба сошла с ума, на что она мне ответила, что это я сама сошла с ума. Я ей возразила, что это ничего страшного, это бывает, кстати, так тетка кончила, но жила долго. Наследственность. Алена резко вышла и пошла к бабушке, я слышала их тихий разговор, потом Алена плакала и говорила «какой ужас». А я ей отвечала, что она сама давно бы послушала меня и сходила бы к психиатру. Алена засмеялась, как всегда, не зная того, что я уже консультировалась с психиатром и поставила Алену на учет в психдиспансере, и врач ее уже навешал под видом терапевта, хотя Алена как по заказу отвечала на вопросы грубо и резко и на фразу «почему ты не в институте, почему валяешься на неубранной постели?» она вскочила и демонстративно пошла в уборную, где спускала воду минут пять, пока врач не ушел.

— Ты тоже разве нормальная? — сказала я ей в дополнение.— Посмотри на себя. Ты опять на занятия не пошла, ночью читаешь, утром не встаешь. Это же типичный психоз. Наследственность — это такая вещь. Моя дорогая.

Я говорила все это лишь для того, чтобы взбодрить ее, шокировать, сердце мое обливалось кровью, мать в маразме, сын в тюрьме, помолитесь обо мне, как писала гениальная. Я хотела вывести мою дочь из сна разума, в котором она пребывала по причине Андрюшиной тюрьмы, своих отметок, прыщей и какой-то ее первой любви, насчет чего она вела дневник, а я прочла.

*«Никто не читайте этот дневник, а то я уйду совсем. Мама, баба или Андрей! Никто! Вчера был семинар у Татарской. С. пришел и сел передо мной и все время поворачивался ко мне и смотрел на меня так туманно, откинув голову, а сам смеялся. Ленка с ним шутила, анекдотики, а я сидела серьезно как ни в чем не бывало, только сердце падало в пятки. После лекций мы с Ленкой уходили, и вдруг она сказала в раздевалке: «С. хочет встречать с тобой Новый год! Он мне так сказал». А я только пожала плечами, и кто бы знал, какая буря ликования была в моей душе! Я почти не могла идти! С. и я будем вместе на Новый год!*

*22 декабря. Ленка опять мне сказала, что С. меня, наверно, любит, так часто он обо мне спрашивает. Его спрашивают, пойдешь в кино, а он спрашивает, а Алена пойдет? И не идет. И при этих словах Ленка испытующе смотрит на меня. Хочет удостовериться. Я-то знаю, что она его любит, а про меня она не догадывается. Я совсем не могла сегодня спать от счастья. Утром мне приснился С. и что мы с ним едем в открытой машине с откидным верхом и я вся окружена каким-то его теплом. Сегодня С. не было нигде. Надо воспитывать силу воли! Надо по утрам делать гимнастику. С. прошлый раз сказал, что он проснулся в двенадцать часов дня.*

*30 декабря. Завтра Новый год. Зачет еле сдала. Плакала в седьмой аудитории. Ленка молчит, ничего не говорит. С. первым сдал и ушел. А я, как всегда, опоздала. Я ее спрашиваю: «Ну, где вы будете с С. завтра?» Набралась смелости и с таким*

ехидством. Она отвечает как ни в чем не бывало: мы с С. идем в Дом культуры института транспорта. Я тебе не говорила, С. сказал, что никуда и ни с кем не хочет идти на Новый год, а будет дома спать, терпеть не может праздники. И Ленка купила им двоим билеты на встречу Нового года в ДК транспорта, там будет шампанское, подарки, дискотека, американские кинофильмы и маскарад. Я ради интереса спросила, какие будут кинофильмы, она ответила, что американские и что билеты уже все проданы, она якобы ходила еще за деньгами купить мне, а было уже все. Билеты дороговатенькие. Хочешь, пойдем вместе с нами, сказала она, постреляем лишний билетик в десять вечера? Я ответила, что ну еще. Она ответила, что можно придумать мне тоже костюм, она будет колдунья и всем гадать по картам, а С. она наденет отцовскую шелковую рубашку, косынку углом набок и повязку на один глаз, пират. После этого я пошла домой как побитая собака. Баба с мамой ругались, что меня надо правильно воспитывать, ночами она читает, говорила баба, утром результат: не встает даже на экзамен. Воспитывайте вашего Андрея, он курит! Да!

1 января. Сенсация. Ленки и С. не было в транспортниках! Я пришла туда в 10 вечера как дура в бабушкином черном платье, с розой в волосах (Кармен с веером, баба дала, баба меня наряжала), совершенно спокойно купила билет в кассе и смотрела в полупустом холодном зале дикий концерт, один крик и вытье и какие-то балльные танцы до почти двенадцати часов, потом купила себе бокал шампанского, постояв в небольшой очереди, там же можно было купить себе кулек с подарком. Выпила шампанского, когда стрелки на больших часах сдвинулись, на дискотеку я не стала оставаться, пошла домой спать. Мама и бабушка доругивались перед телевизором после ежегодного скандала с красными щеками. Тема, как всегда, был Андрей, которого нет уже три дня, он звонил, бабушка кинулась, но мама взяла трубку и как следует ему все сказала, что бабе вызывали из-за сердца «скорую» и тэдэ. Он и вообще бросил трубку, и мама не дала бабушке поговорить с Любимым.

5 января. Ленка пришла на консультацию перед диаматом и сказала мне, что с маскарадом ничего не вышло, и она сама вечером 30 села и поехала в Питер к тетке и там смотрела телевизор в большой компании родственников и, что еще лучше, маленьких детей, которые плакали, так как их стали укладывать спать. Слезы и скандалы по всей земле на Новый год! На консультации С. не было.

8 января. Я сдала на удовлетворительно, буду пересдавать. Дома будет крик, т. к. могут не дать стипендии. С., как всегда, пришел, сдал на 5 и ушел. Ленка сказала, что звонил С. и что С. встречал Новый год с одноклассниками у школьного друга. Ленка сказала, что С., наверно, голубой. Мы с ней очень смеялись.

12 января. С. пришел в библиотеку заниматься с Т. И. с третьего курса, всем известной проституткой. Они улыбались друг другу, потом С. встал, зашел к ней со спины и накинул на нее свой пиджак. Сам остался в черном свитере. Ленка сидела, напряженно улыбаясь, на щеках у нее были красные пятна. Потом в туалете мы курили и она плакала. А я не плакала, так пусто было внутри. Скучно жить на этом свете, господа. Я люблю тебя, С. Хоть ты меня не замечаешь. Хочу подарить ему свою фотографию с одним-единственным словом «Помни». Но как? Т. И. старая проститутка, ей уже 20 лет. А мне в декабре исполнилось 17. А С. будет 17 в феврале, он пошел в школу в шесть лет. Напрашивается сравнение. Ленке 19 лет. Ленка хороший товарищ, но она слишком большая, ей придется туго на жизненном поприще. Она худеет. Кожа у нее на лбу в прыщах. У меня тоже бывает около крыльев носа. Она очень много курит! Она мне не говорит, но она уже жила с мальчиками. Она сказала, что понимает не меньше Т. И. и разные позы, и все. С. не мужчина, она в этом убеждена.

15 января. Лежу. От нечего делать якобы готовлюсь и пишу, запишу разговор матери с бабой.

— Ты? Ты всю посуду уже переколотила! (это мать)

— Какую, ты что, охилела совсем! — кричит баба. — Какую, где? Я от страха умру!

— Вон, вон у чашки ручка отбита! Где я куплю? Тарелку теперь где я куплю.

— Это не я! Это не я! Ой, спасите, помогите! Ой! Господи, да что же это! Господи! Люди! Что это! Спасите! Я на колени встану, что не я (долго становится на колени, судя по шуму). Вот! Клянусь!

— О-о-о, вставай, вставай, ну что ты, из-за чего ты, ну разбила, ну и разбила.

— (долгий стон) Люди, спасите! Да где же... где же (кряхтя, видимо, встает) я что разбила?! (со слезами) когда ты разбила мою чашку синюю...

— Ага, ага, вспомни еще твое тяжелое детство...

— А когда я единственно что разбила, так это отбила носик у чайника... (скрипит стул. Видимо, села допивать чай) Это я, да, но это же можно приклеить... Я спрятала носик...

— Какой?!!

— Синего чайника носик, и все. Приклеится, ничего.

— Какого... Что!!! Здрасьте! Начинается! У сервиза носик отколотила! У лучшего чайника! Кто теперь из него что нальет?! Ой-ой-ой (прослезилась).

— Ты чашку, я носик.

— Але-на! Иди сюда.

— У меня экзамен, мам».

Конец дневника.

Чтобы ее совсем сбить с толку, я возвращаюсь к прыщам.

— Прыщи, кстати, такая вещь,— продолжала я,— что если не мыться и даже не подмываться здесь и под мышками и не подстирывать трусов, то пахнет и прыщи. И ты могла бы стирать сама! Ну хорошо. я стираю за вами обеими, но ведь бабушка сошла с колес, а ты!

— Я тоже сошла,— отвечала эта прыщавая (слегка), бледная как тень юная девушка, героиня Тургенева. Все должны были лежать у ее ног, все! Но для этого надо мыться, по меньшей мере.

— Ты должна как минимум чаще мыться и мыть голову, это раз. И потом предохраняться, предохраняться, раз уж спишь с ними.

Она уже сидела у себя в комнате и плакала о себе, слава Богу, о эгоизме молодости! Я очень боялась, что вид бабушки ее потрясет, она опять перестанет спать, но о освежающая сила оскорблений!

Тому прошло семь с лишним лет, жизнь.

Ночь.

Как раз сегодня в дверь позвонили. Я, как всегда, спрашиваю: кто там? Отвечают «по делу». Изумительно. По какому? (все через дверь) Тогда:

— Такой-то здесь живет?

И имя моего сыночка. Причем голос с акцентом.

Нет. Нет, нет и нет.

— А где его найти, женщина?

Я страшно испугалась. Я ответила, что он снимает где-то квартиру. «Адрес». Прям. Откуда я знаю адрес. «Откройте». Нет, ответила я, не обязана открывать свою дверь без санкции прокурора. Помолчали. Хорошо, мамаша, я бы советовал вашему сыну очень побояться. А вы что, из тюрьмы? Уголовные? «Нет, это он уголовный элемент, понимаешь. Мы его все одно найдем, поймаем, тогда береги его». Ударили ногой в дверь и отошли, много ног. Штук шесть. Я в тот день не выходила, а сыночку я позвонила сразу же. Они были не в духе и говорили со мной односложно.

— Привет.

— ...

— Как пята?

— М.

— Ты на работу устраиваешься?

— Мм.

— А почему?

— Да ты же... твою мать.

— Не по адресу. Мою мать, а твою бабушку я при всем желании не могу то, что ты предложил. Ну улыбнись. Что ты такой какой-то?

— А... мм.

— Обязательно надо устраиваться на работу.

— ...

— Да, ты знаешь, за тобой опять кто-то охотится.

— Кой охотится, это меня друзья спрашивали?

— Друзья. Сказали, все равно тебя найдут. Поймают.

— Кто?

— Друзья, ты говоришь, твои. Я им говорю: уходите, уголовный вы элемент.

— Так? (угрожающе)

— Они говорят: еще неизвестно, кто уголовники. Андрей! Что ты наделал опять?

— Я? Ты что? Почему я?

Судя по ответу, действительно что-то произошло.

— Короче, тебя ищут, там было шесть ног. По шуму суда.

— Трое?

— Тебе видней. Может, они одноногие. Короче, тебя ищут, не появляйся у меня.

— А. А я как раз хотел взять у тебя деньги.

— Ты — у меня?

— Ты, мама, все придумала, да?

— Вот чудак, — ответила я и положила трубку. Ежемесячная дань, которую, он думает, я должна ему платить, ему уже два раза перепала! Два грабежа! Я теперь нищая! Первый раз он унес у меня мою драгоценную, еще детскую книгу «Маленький лорд Фаунтлерой». Я все ждала, когда малыш сможет перешагнуть через ужас известия о том, что маленькому лорду ничего не достанется. Один раз я ему дочитала до этого места, один раз. Больше он не позволил, и я отложила книжку, а ее хапнул Андрей. Вообразить только эту мою панику! Малыш может все, но шкаф ему не отпереть.

Эти унижительные переговоры, мы с малышом подкараулили у больницы рано утром после дежурства его жену Нину, Нина была недовольна, мрачна, сказала, что больше не может жить с ним и пусть он уходит. Все выяснилось на том, что они уже полгода не платят за квартиру. Нина как-то умудрилась платить за телефон, однако свет у них отключили. Тут Андрей и пришел в отчаянии грабить меня.

Нина согласилась обменять «Лорда Фаунтлероя» на сорок рублей. Сорок рублей! Подозревала всегда, что Нина и была одна из тех двух девиц в черных очках и при полном маскараде, и никогда ей не доверяла.

Это был тот последний раз, когда Андрей посещал в мое отсутствие мое же материнское гнездо. Я пошла на многое и вставила дополнительный замок, хлопотала, бегала за слесарем, их пришло двое, осмотрели дверь, обои в прихожей, пол, что же делать. Дверь им не годилась, замок «не вставал», но я их умолила, сказав правду: ломится и грабит прописанный человек из тюрьмы. Его не берут на работу, есть нечего, а у меня у самой... Я не плакала, но дрожала. Они поскучнели, их игра, их вечная игра в невозможность исполнения работы без дополнительных оплат, их борьба за лишний рубль рассыпалась от чужого горя. Они ушли, я слегла за новым замком как за стенкой, но следующий раз не заставил себя долго ждать. Андрею понравилось доить меня, тлю. Хотя в этот месяц мы жили как в лихорадке, я выпросила у Буркина, завотделом, лишние сорок писем, сказав, что буквально задолжала, это в него влезло, он и сам бывал должен. Остальное он не воспринимал — роды, болезни, тюрьмы, все это он ненавидел и на такие слова не реагировал. Выпить и деньги на выпить — этому он сочувствовал. Лихая правда моей жизни была ему неудобна, и о, как легко я приходила в редакцию! Я буквально порхала, улыбалась, рассыпалась в комплиментах, мои щеки цвели, лицо, я это чувствовала, худело, скулы обтягивались, руки, трудовые, как у черепахи, мои грабли, я загодя приводила в порядок, стригла ногти скобочкой, делала серьезный массаж. Малыш во время моих визитов в редакцию пасся на диванчике около вахтера: детям наверх нельзя! Там, наверху, на третьем этаже, я была непризнанной поэтессой, а мой алкоголик заведующий был суровым, но справедливым меценатом, который буквально по капле выдавливал из себя раба, то есть не сразу сдавался на мои льстивые замечания типа «что бы я без вас делала», «подайте на чашку водки» и «вы мой спаситель». Он рылся в столе, выходил, в столе у него с громом перекатывалась пустая бутылка, напрасный ко мне намек, в жизни не даю взяток и не с чего, он говорил по телефону, копался в портфеле, с ним беседовали его девушки, которые приходили поодиночке, но скапливались затем кучкой и никто не уходил, все словно кого-то ждали. Они садились к нему на стол и чуть ли не на колени, они были молоды и прекрасны, а меня внизу ждал Тима, изнывая и становясь кверху тормашками. Тут же заходили деловые мужики из соседних отделов, но все это было не то, они все ждали, кто бы их повел в кабак. А у меня было только одно: писем и писем!

Девушки, возможно, тоже хотели бы писем, возможно, это были как одна голодные поэтессы, но Буркин всех прокормить не мог, он еще давал письма одной вдове своего товарища, который утонул, но его так и не нашли, и какие-то трудности были с пенсией его двум малолетним детям и не работающей жене,

которая ничего на свете не умела. Зав научил ее шпарить по трафарету пять видов ответов, она мне сама призналась, а я каждый раз создавала произведение искусства разового употребления, это были безумные ночи, полные разговоров с невидимыми душами пенсионеров, моряков, учетчиц, студентов и школьников, прорабов, медиков, сторожей и заключенных. Она писала: «Ув. тов... К сожалению, ваш(и) стих(и), рассказ(ы), роман, повесть, поэма не представляет(ют) для редакции интереса. Тематика нашего журнала сугубо такая». Это вариант номер один. Если все-таки тематика совпадает, то «по языку и стилю ваши произведения оставляют желать лучшего. Всего вам хорошего».

А я что писала? Я писала поэмы. Я цитировала, советовала, хвалила, а ругала очень сочувственно. Мой Буркин брал эти мои произведения, и его перекашивало, как от горя. Но ведь за каждой рукописью вставали передо мной живые люди, может быть даже больные, прикованные к постели, как Николай Островский! Инвалиды и горбуны! Они иногда писали исключительно уже мне и мне лично присылали свои рукописи на рецензию, но их-то Буркин аккуратно отдавал на «ув. тов.» бедной вдове.

Он как огня боялся новых авторов.

А я тут написала неожиданно прозу, да еще от лица моей дочери, как бы ее воспоминания, ее точка зрения, надо же, что на меня навалилось среди ночи сидя без сна на кухне. Вот этот отрывок, но Буркину ни в коем случае:

*«Лучше на улице, лучше так, как я сейчас, когда хозяин квартиры некто Шереметьев, сдавший мне ее как уехавший заколачивать большую денгу на север, теперь он приехал навестить, нашел унитаза с трещиной на подпорке и сказал: „Я теперь приехал, я буду сюда водить, мне больше некуда, не к жене же, я мужчина физически крепкий, выходи на это время с ребенком, а можешь остаться, бывает любовь втроем”».*

Прим. автора: страшные вещи лезут в голову, ужас, ужас, представить себе свою дочь беззащитной, но это почти то, что у нее вырвалось однажды со слезами, как она живет. Она рассказала о Шереметьеве все.

Дальше:

*«Один раз я у мамы переночевала с девочкой, среди ночи поднялся шум и стук, зажгла она свет в квартире, демонстративно повела мальчика писать: писяй, писяй, маленький, раз ты уже описался, — зажгла у нас в комнате свет искать в шкафу ему свежие трусики, шарил в шкафу. Катя проснулась в коляске, мальчик стоял босой и держался за ее локоть двумя худенькими ручками и дрожал от холода, стоя описанный, без трусов, в маечке. Худая попка, тоненькие ножки, грудка спутанных кудрей на голове и по плечам, ангел! На нас не смотрит, а тут ведь Катя лежит в коляске и уже покряхтывает, мне все равно вставать, но не хочется, я говорю:*

*— Мама, давай я помогу, найду.*

*— Что ты найдешь? — Крик, визг, слезы. — Где что ты тут знаешь еще, черт, собака! Сволочь! (неизвестно кому) Говорили, не пить на ночь! Говорили, живете на наши деньги, так хоть стыд бы знали, наедаться за его счет, чтобы он с голоду пил! (она, высокая красавица еще, в драной рубахе, выдрала свой локоть из его клещиков, он вдруг горько зарыдал и закрыл лицо) На! — кричала она, как древнегреческая богиня ужаса. — На! Надевай!*

*— Иди ко мне, мальчик, я тебе надену, — сказала я, не в силах приподнять зад от кровати.*

*— Сам, сам, пусть теперь сам все приучается, мне скоро уже уходить на погост, на кого я его оставлю! Пусть все теперь сам!*

*Он упал как подкошенный вдруг на пол, рыдая. Сцена! И моя Катя завела, завела и вдруг как заорет!»*

Вот такую я сценку написала с полным критицизмом в свой адрес и с полной объективностью, а почему, ах да.

Значит, дело в том, что вдруг раз в год мне позвонила моя дочь, живущая, как известно, на выселках со своей нагульной дочерью от воображаемого сожителя. Этот звонок произошел внезапно и кончился, не успела я развернуться и ответить. Значит, так (подумать только).

Звонок: бззз! бзз!

Малыш мчится, но я его опережаю, маленькая борьба.

— Але!

— Мама, это я.

— Привет! (я)

— Ладно.

— Хорошо, ладно так ладно.

— Мам. Послушай. У меня в моче белок.

— Я тебя сколько учила, что надо каждый день соблюдать гигиену. Плохо подмылась, вот и весь белок.

В ответ сдавленный смех. Как, впрочем, всегда. Когда ей хочется умереть, она сдавленно смеется. Погоди, скоро буду смеяться я.

— Мама.

— Ну слушаю, слушаю.

— Скажи. Вот они хотят меня класть в больницу.

— Не пори ерунды. Какая больница, ты же с малым ребенком. Какая может быть больница. Во-первых, сходи подмойся наконец и сдай анализ как следует.

Она отвечает:

— Ладно, этот вопрос проехали. Но если действительно и плохая кровь? Что в таких случаях? Ложиться помирать?

— Что значит плохая? Какая в наше время может быть плохая кровь? У кого ты видела хорошую? У малыша? Ты мать, ты хоть отдаленно представляешь, что у него гемоглобин такой-то при норме такой-то?

Сдавленный смех.

— У меня (ответ) вдвое меньше.

— При чем ты, при чем здесь ты? Дело идет о твоём сыне, о жизни твоего сына! Делай что-нибудь, плати ему хоть те деньги! Которые ты заграбастала! Да! Хоть деньги! Ему надо печенье! Грецкий орех, да! Не давайся от смеха, что смешного, сволочь, собака! Черт!

— Так. Мама, значит, ты считаешь, что не все так страшно?

— И что ты теперь рыдаешь? (пауза)

— Я не рыдаю (сдавленный смех).

— А кто?

— Слушай (дрожащий голос). Слушай, меня кладут в больницу на сохранение.

— Что? Что опять ты городишь! Псих. Что ты сказала?!

— Ну что, у меня роды-то через две недели срок, а они говорят, может случиться от высокого давления там, знаешь, гибель от комы, что ли. Во время родов. Судороги и все такое. Почки отказывают у меня, значит, так. Катька-то куда денется?

— Пф! Пф! Они меня тоже пугали, успокойся. Нашу семью не испугаешь. Когда я ходила тобой и был маленький Андрей. И что же? Несмотря что была мама и этот пресловутый твой отец, я ни в какую твою больницу не пошла, а пошла нормально, только когда начались схватки в полседьмого утра, его разбудила...

— Ладно.

— Твой этот знаменитый отец даже встать не хотел... Не ловись на их удочку, кстати, не ходи! Возьмут на стол для обследования, ковырнут ложкой якобы на анализ, родишь прежде времени, как я: пузырь-то проткнули! Тем более им выгодно, чтобы рожали раньше указанного срока, меньше платить по декрету, а какое дело врачам?

— Тогда я так и сделаю, как ты говоришь, мама, а то я договорилась с одной тут соседкой, но она именно только пять дней может сидеть с Катей, а две недели и пять дней уже не берется.

— Ну ладно, ты держись, что делать, надо держаться! Прячься от них, и насильно никто не положит. Ничего страшного.

— А, ну тогда пока.

— Пока. Целую.

— Ага (смех). Как парень-то?

— А тебе что? (торжественно)

И тут я бросила трубку.

И только потом я медленно, но грозно начала прозревать, и весь ужас моего положения возник передо мной

Она снова рождает, это раз.

И попрошались она и побрела куда-то беременная да и с коляской, желая — это два — подкинуть мне толстенкую. И неизвестно на какой период. Что делать, о Господи, что делать? Что еще возникло в воспаленном мозгу этой самки? Зачем ей еще ребенок? Как она пропустила срок, как не сделала аборт? Ежу ясно. Опомнилась, когда уже плод начал толкаться ножками, я все восстановила, всю картину. Пока мать кормит, часты случаи отсутствия прихода Красной Армии, как моя дочь в разговорах со своей еще Ленкой: «Красная Армия пришла, на физкультуру не иду». И многие так обманываются. Кобель лезет, его какое дело. Кто этот кобель? Кто? Тот же самый бродячий замдиректора или слесарь по ремонту? Или, что хуже всего, этот ее хозяин с Колымы? И сколько это может продолжаться? Разумеется, ей отказали в позднем аборте. Тогда-то она и стала (восстанавливаю по обрывкам) толкаться к врачам со своим белком и давлением, что рожать противопоказано и сделайте поздний аборт, а они ее хоп — и поймали, вели-вели и теперь укладывают, чтобы проследить и не упустить, как будто бы их охватил азарт не упустить ни одного ребенка. Им, можно подумать, очень необходимы эти дети. Просто обыкновенный трудовой энтузиазм на рабочем месте, рабочий азарт, как в шахматах. Ни для чего, а так. Цоп ребенка! Еще один, а кому, зачем? Надо было найти человека! Сестру в белом халате, чтобы сделала укол, женщину в белом, бабы-то справляются, и на шестом месяце тоже. Жена Андрея Нина рассказывала про свою соседку, та вовремя не сделала аборт, укатила на курорт, протрепыхалась, а потом отправила детей куда-то на субботу-воскресенье, уже на дворе месяц октябрь, родила с помощью укола шестимесячного сына, тот мяукал всю ночь при открытом окне, пока она мыла полы в соседней комнате, ай-я-яй, потом к утру затих, на что она и рассчитывала. За всю ночь даже к нему не подошла. А врач не ассистировал, сбежал после укола. Вот ведь: нашла она доктора, даже мужчину, и расплатилась с ним. Даром ли пьешь нашу кровь? Почему не позаботилась? Мать обо всем нашлась мучиться?

Ведь наш разговор был не о белке и не о моче, наш разговор был такой: мама, помоги, взвали на себя еще одну ношу. Мама, ты всегда меня выручала, выручи. — Но, дочь, я не в силах любить еще одно существо, это измена малышу, он не перенесет, он и так зверенышем смотрел на новую сестру. — Мама, что делать? — Ничего, я тебе ничем помочь не могу, я тебе все отдала, всю денежку уже, солнце мое, любимая. — Я погибаю, мама, какой ужас. — Нет, дорогая, крепись. Я же креплюсь вот. Я твоя единственная, твоя мама, и я еще держусь. Недавно у меня был случай, один человек на улице пристал ко мне и принял за девушку, так: «Девушка!» Представляешь? Твоя мать еще женщина! И ты крепись. Ладно? Вселиться вам сюда нельзя, опять искаженные ненавистью лица, мелькающие в нашем зеркале в прихожей, мы ругаемся, мы ругаемся-то всегда в прихожей, плацдарм боевых действий. И рядом еще и Он, святой младенец, который не может сообразить, что рушится конец света для него, его мама (я) и его Алена (мать его) ругаются последними словами, его две богини! Я же для него живу! Ты же мне точно сказала, что лучше на улице, чем со мной! Крепись, дочь! — Ладно, мамочка, прости, я дура. Целую. (Это я воображаемо продолжила наш разговор.)

Пришел малыш со словами: «Баба, чего ты трясешься, отними руки от лица, не трясись, а. Не психуй», — хлынули наконец радостные слезы из моих глаз, сухих ущелий, хлынули, как солнце сквозь дождь в березовом лесу, мой дорогой, мое солнце незакатное.

Как мертвый подставлял свое лицо бесчисленным поцелуям. Кожа бледная и светится. Ресницы густые и слипшиеся, как лучи, глаза серые с синевой, в бабу Симу, у меня глаза золотистые, как мед. Красавец мой, ангел!

— Ты с кем говорила?

— Не важно, мой маленький. Мой красивый.

— Нет, с кем?

— Я тебе сказала. Это взрослые дела.

— С Аленой? Ты на нее кричала?

Мне стало неловко перед ангелом. Дети все-таки воплощенная совесть. Как ангелы, они тревожно задают свои вопросы, потом перестают и становятся взрослыми. Заткнутся и живут. Понимают, что без сил. Ничего не могут поделать, и никто ничего не может. И я не могу подложить малышу эту свинью.

— А что ты кричала, что надо подмыться?

— Нет! Что ты! Я кричала, что надо наконец подмыть пол.

— Ты дура?

— О, я дура, мой ангел, я идиотка. Я тебя люблю.

Бесчисленные легкие поцелуи в щечки, в лобик, в носик, минуя рот. Детей нельзя целовать в рот. При мне в трамвае один вез, видимо, дочь из детсадика домой. И измучил ее поцелуями в рот. Я сделала ему резкое замечание через весь вагон. Он очнулся как от преступления весь малиновый и возбужденный, а дочь несчастная лет пяти уже совершенно скисла от смеха, от щекотки, потому что он еще ее и щекотал. Он очнулся и стал грязно меня ругать, глядя затравленными и обиженными глазами. Откуда ему было что знать? Он говорит то, что все говорят: не лезь на хер не в свое дело.

— Посмотрите, до чего вы довели ребенка! Представляю себе, что вы с ней творите дома! Это же преступление!

Вагон весь оцетинился, но против меня.

— Какое вам дело, старая вы (...)! Уже давно старая женщина, а туда же!

— Я, я желаю вашему ребенку только добра. За такие дела ведь сажают. Развратные действия с несовершеннолетними! Изнасилование детей!

— Дура на хер! Дура!

— И потом еще вы удивитесь, что она внезапно родит в двенадцать лет. И причем не от вас.

Слава Богу, он отвлекся на меня, он горит теперь другим желанием, задвинуть мне кулакком по харе. И может быть, теперь каждый раз, когда он захочет подвергнуть ласкам свою дочь, он вспомнит меня и переключится на ненависть. И опять я спасла ребенка! Я все время всех спасаю! Я одна во всем городе в нашем микрорайоне слушаю по ночам, не закричит ли кто! Однажды я так услышала летом в три ночи сдавленный крик: «Господи, что же это! Господи, что же это такое!» Женский сдавленный бессильный полукрик. Я тогда (пришел мой час) высунулась в окно и как рывкну торжественно: «Эт-то что происходит?! Я звоню в милицию!»

(Кстати говоря, милиция охотно ездит на такие случаи, где преступник еще тут: сразу стопроцентная раскрываемость! Это я знаю по опыту своих исследований.)

Немедленно высунулись еще в одно окно, пониже, кто-то еще закричал, и буквально через две минуты я увидела, что издали бегут двое на помощь. Моя задача была его спугнуть, чтоб он ее бросил, ничего не успев.

— Да, да, товарищи, он здесь, сюда, вот в кустах! (несмотря на то, что им еще было бежать метров сто)

И мгновенно он выскочил из кустов и умчался за угол. И тут женщина в кустах громко заплакала. Представляю себе ее ужас и омерзение, когда тебя душат зверски и бьют головой о стену.

Я сама с омерзением чувствовала на себе чужие руки, когда что-то затрепыхалось у моего бока в метро, как змея, настырно лезущая в кишки: грубо шарили у меня в сумке. Я обернулась и крикнула: «Это что же вы ко мне залезли в сумку!» И сразу три человека из моего окружения, смеющаяся женщина и два черных почти бритых мужика, стали быстро уходить вместе с моим, тоже черным и бритым, и исчезли в толпе. Итак, мы побеждаем!

Нести просвещение, юридическое просвещение в эту темную гушу, в эту толпу! Воплощенная черная совесть народа говорит во мне, и я как бы не сама, я как пифия вещаю. Кто бы слышал мои мысли в школах, в лагерях, в красных уголках, дети сжимаются и дрожат, но они запомнят!

И плюс мое горе сидит всегда рядом со мной, я о нем забываю, а дети смотрят то на него, то на меня, воспринимая нас обоих как неизбежное одно целое. Семь рублей с копейками потом получу я, но три-четыре выступления плюс письма...

Есть ли силы, способные остановить женщину, которая стремится накормить ребенка! Есть ли такие силы!

Вот я выступаю в пионерском зимнем лагере, в эту неделю, спасибо Надечке Б., она мне дала два выступления. Мы едем, сбор у бюро пропаганды, там, сказали, покормят!!! Беру, как всегда, Тимофея. Собираться надо задолго, предстоит обычный скандал с одеванием.

И тут началось самое ужасное. Не самое ужасное вообще, а начало всего того, что последовало за этим. Звонок телефона, малыш кинулся первым и долго стоял, прижавши трубку к голове двумя ручками, не отдавая мне, известная манера, всегда кидается.

Он! Але! Але! Что? Кого? Анну кого? Але! Кого?



- Дай, дай, маленький. Дай бабе трубочку.
- Да погоди ты! Ничего не слышно! Что, але! (пауза)

Положили трубку.

Я: Никогда! Слышишь? Никогда...

Опять звонок. Борьба. Я выхватываю трубку, он взревел и стукнул меня ножкой по голени. Какая боль... Я отбрасываю его рукой и вежливо разговариваю, а малыш сидит на полу, глаза сверкают как граненый хрусталь, это он заходится, хватая воздух, три-два-один — пуск! А-а-а-а!!!

- Минуточку. Или ты замолчишь...
- Ааааа!!!

Никогда ни Алена, ни Андрей маленькие себе такого не позволяли, но ведь у малыша энцефалопатия, мать его, как видно, роняла со стола, я ее предупреждала, и у него расшатаны нервы, как у истеричной бабы.

В трубке приветливый провинциальный голосок информирует меня о том, что мою мать Серафиму Георгиевну переводят из больницы в интернат для психохроников.

Все. Это все. Все, о чем я даже боялась думать, сбылось. Ведь знает завотделением, знает, что мне некуда брать мать и на что я живу.

- Простите, деточка, как вас звать?
- Никак. Ну, Валя.
- Валечка, девочка, а почему так? Что стряслось? Она плохо себя ведет? А где Деа Абрамовна?

— Деа Абрамовна в отпуску, а мы все с первого в отпуску... Начинается ремонт, всех больных кого куда, кого даже выписываем домой, если можно. Кого в интернат, одиночек или отказных. Кого в другую больницу. Но вашу... тетя она вам... или мама...

- Не важно, тетя или мама, она живой человек...
- Вашу бабулю не примут.
- Почему, Валюша? Что такое?
- А не будут держать.
- Можно, я заеду поговорю? А кто на месте? Малышик, погоди, не до тебя. (А он разбежался и ударил меня двумя кулаками по почкам.) Господи, за что? А, Валечка?

— В общем, вы решайте. Выписка в интернат уже готова. Вы не беспокойтесь, вам приезжать не надо, мы все оформили. Завтра ее увозят.

— Так... Тише, маленький (он вывернулся из моего кулака, которым я держала его за рубашонку). Почему такая спешка?

А сама лихорадочно соображаю, что делать. Значит, так, ее переводят, пенсию у нее отбирает государство. Интернатным не платят. Значит, мы сидим совершенно уже в калоше. Абсолютно. А ее пенсия как раз через два дня, я ее успею ли получить? Могут не дать. Ах ты горе какое! Живешь плохо, но как-то все уравновешивается до следующего удара, после которого может показаться, что предыдущая жизнь была тихой пристанью. Горе, горе. Они там умирают как мухи, в этих интернатах для психохроников.

— Какая спешка, никакой спешки,— неожиданно всплывает голос этой Вали,— вас же предупреждали загодя. Да вы не беспокойтесь!

— Никто, во-первых, не предупреждал. В какой интернат ее перевозят, это где?

- Не беспокойтесь. Это за городом. Да мы ее погрузим, ее там примут.
- Теперь за город ездить два часа в одну сторону, спасибо.
- Да нет, это дальше. Зачем вам ездить? — отвечает Валя.— Они там на всем готовом. Ну все, я вас предупредила. Да, еще нужна ваша подпись, ну это потом.

- Кака така подпись?
- Ну что вы согласны.
- Я не согласна, чего выдумали!
- А вы берете ее домой?
- Никаких подписей,— говорю я взбешенно,— никаких подписей вы не получите. Новое дело!

И я бросаю трубку.

Как всегда, следует скандал с одеванием, малыш не хочет надевать валенки с галошами, не хочет прекрасную ушанку еще Андрюшину: хочет вязаную, легкую.

Но ведь холодно! Что ты со мной делаешь, ты желаешь мне сидеть у твоей койки смотреть, как ты болеешь опять? Я тебя умоляю и т. д. Поехал все-таки

в легкой шапке, но в валенках, хорошо, держи голову в холоде, ноги в тепле, народное правило. Ладно, до метро семь минут ходьбы быстрым темпом, в метро тепло, а там опять-таки три остановки. Денег на билеты ушла уйма, но дальше нас везут на машине, оказалось, зеленый продуваемый «газик». Спасибо и на том. Вместе с нами едет какая-то неизвестная дама в дубленке, рваной на спине по шву рукава, и в самодельной шапке из лисьего хвоста.

— У вас рукав продрался...

— О! О! Зашиваю, зашиваю...

Бьет на роскошь, но в дальнейшем тоже оформила выступление на три копейки, как и я. Низшая категория.

— Вы кто, я поэт,— говорю я, чтобы обозначить специализацию.

— Я,— говорит лисий хвост,— я сказительница, они меня так называют.

— Кто, простите?

— Сказительница, рассказываю сказки и показываю кукол.

— Кукол?

— О, это так просто! Я делаю необычных кукол, из картофеля, из мочалок, понимаете? Вот ваша девочка тоже посмотрит.

Ага, даже мальчика от девочки не может отличить, хотя Тимошины кудри всех вводят в заблуждение. Девочка моя стрижет припухшими глазками в окна, снявши шапку на морозе.

— А я поэт,— говорю я.— Надень, говорю, надень. Смешно, знаете, я ведь почти тезка великому поэту. А то не поедем, сейчас скажу шоферу остановить и вылезем, надень.

— Какому? — резонно спрашивает сказительница.

— Догадайтесь. Меня зовут Анна Андриановна. Это как высший знак.

— О, это всегда мистика! Мое имя тоже, знаете... Ксения.

— А это в чем заключается?

— Чужая. Чуждая всем.

— Наградили родители, да...

— А.

Молчание. В животе у меня подвывает, в душе, которая не знаю, как у других, у меня находится вверху живота между ребер, в душе горит непрерывная лампочка опасности, сигнал тревоги. Не ела ничего, в связи со звонком из больницы я не имела ни секунды, пыталась найти одного психиатра еще давних времен, сказали только (по домашнему телефону и очень горько): «Такие тут уже не живут». Стало быть, разошлись с мордобоем и новый телефон спрашивать бессмысленно. Тимочку покормила, посыпала сахаром кусок хлебушка и дала остывший чай, он любит, весь обсыпался и причавкивал, как хрюшка. Называется «пирожено» и сдобрено горькими слезами. Тимоша, вижу, тоже оголодал, но перед едой мы сначала должны трястись в «газике», холодно и воняет керосиновыми макими-то мешками, горькая, холодная судьба. Мать моя сегодня пока еще лежит (я дозвонила еще раз в больницу, никакой такой Валечки мне не дали, такая не работает, тоже мистика), мама лежит хорошо, кушает, я это знаю, видела, как ест, жадно вытянув вялые как тряпочки губы, беззубо чавкает, глаза матовые, не блестят, зрачок туманный и как бы впечатан в глазное яблоко. Маленькая тусклая кругленькая печать. Как она в прошлый раз лежала, плечи один костяк, слеза из открытого глаза сбежала, едва смочила висок. Куда ее такую волочь? Да дайте же, сволочи, хоть умереть на своем месте! Не дают. Мстят за все наши деяния настаивают нас в конце, когда мы такие убогие, что кому тут мстить? Кому мстить? Но затаскают перед концом. Странно, кто такая Валя? Откуда был звонок? Или они там в больнице ленятся, не идут звать? Ведь я три раза звонила, дважды говорили «сейчас», и трубка лежала-лежала, пока я сама ее не клала безнадежно.

— Дети — самые лучшие слушатели,— говорит эта Ксения.

— О да,— соглашаюсь я.

— Приходишь — крик, гвалт, но начинаешь выступление...— заводит она на полном крике, «газик» рыпается по ухабам, мотор ревет.

Может быть, меня разыграла жена Андрея? Наняла подругу? Нет. Все подтвердилось. Маму выписывают завтра, завтра.

— ...сказки народов,— заканчивает Ксения.

— Простите, а как вас по отчеству?

— Зовите просто Ксения.

— Ну как-то неудобно, вы давно на пенсии?

— Я? Я не на пенсии, — отвечает эта безотцовщина, а сама явно уже кандидат в бабушки.

— А я на пенсии, — говорю я, — вот выйдет книжка моих стихов, мне пенсию пересчитают, буду получать больше. Пока что мы с Тимой живем Бог знает как, и маму вот из больницы выписывают, и дочь по уходу за двумя детьми только алименты, а сын инвалид (перечисляю, как нищий в электричке).

— А я, — говорит не имеющая отчества, подскакивая на ухабах совместно с нами, — я выиграла машину. Водить учусь.

— Да, некоторые покупают лотерейные билеты, потом говорят, что выиграли, я знаю такие судебные процессы об отобрании прав.

— У нас сын! — говорит отца не помнящая, тряся щеками при скорой езде, — его надо возить в музыкалку, так что пригодилось! Муж принципиально машину не водит, потому что лотерейный билет купила моя мама.

— Все понятно, поздно родили, — говорю я, — но ничего. Воспитать успеете к восьмидесяти-то годам.

— Мам, — говорит Тима, он меня то «мам», то «баб» зовет. — Мама! Я есть хочу!

— Ваша дочка, это ваша дочка, хочешь конфетку? — забормотала эта всем чужая.

Он съел как собака, гам! И посмотрел еще.

— Спасибо скажи и надень шапку, тогда тетя даст тебе еще, — говорю я.

Тима сидит, как бы не веря в такое.

— Вот шапку снял, — говорю я, — если ты заболеешь, я ведь бабушку из больницы беру... Я завтра — оп! (подпрыгнули) — бабушку из больницы беру... (предупреждая его вопрос «каку таку бабушку?») помнишь бабу Симу? Баба Сима не разрешает без шапок ездить! У-у! Надень шапочку. Тетя еще конфетку даст.

Тетя бормочет:

— Да-да, я всегда про запас... У меня язва желудка... Мама снабжает импортным, насильно запихивает...

Так дай же ребенку!

— Ну (это я), раз-два, надеваем! — И накидываю шапочку на него. Смотрим друг на друга выразительно, Тима и я. Тетя молчит.

Есть же некоторые. И про мать ее все ясно. Лотерейный билет, машина, импортные конфеты...

Тима осторожно тянет руку к шапке.

— Не снимай, Тима!

Неудобно как. Ксения без отца задумалась и поникла головой, трясаясь, как холодец. Есть люди, которые легко-легко убивают, перед ними надо на четвереньках плясать, чтобы удостоиться одного взгляда, они же смотрят не выше подбородка, об улыбке нечего и говорить. Просто так задумчиво глядят мимо.

— А шоколадную ему можно? Я знаю, некоторым детям запрещено, моему сыну.

Я говорю:

— Нет, шоколадную ему нельзя.

Тима окаменел, насколько это возможно в прыгающей машине.

— А у меня остались только шоколадные, увы!

— Спасибо, а то потом, знаете... Сыпь и все такое. — Я держусь. Мы не нищие!

Тимины глаза переливаются, как чистой воды бриллианты, все выпуклее и выпуклее. Сейчас скатятся эти слезы, нищие слезы. Он отвернулся. Он стыдится своих слез, молодец! Так просыпается гордость! Его ручка ищет мою руку и с силой щиплет.

Тетя деликатно отправляет в пасть конфету.

— Мне нельзя долго не есть.

— Ну ладно, — говорю я, — так и быть, я разрешаю. Ничего, одну в день можно, тем более что это не шоколад, а соевая смесь. У нас давно настоящего шоколада нет. Понижен процент содержания.

Тима чавкает, как его прабаба, неудержимо и захлебываясь. У меня в животе воеет пустота, словно в печной трубе.

Нас встречают в пионерлагере.

— Вы знаете, вы сначала чаю попьете? Они только что чай отпили, пионеры.

Уже стемнело, желтые фонари, воздух опьяняющий, сыплется морозная пыль.

— Не знаю, — говорю я. — Надо подготовиться к выступлению.

Ксения, лишенная отца, возражает:

— Как же! Успеем! Обязательно горячего чаю, ведь говорить придется! Для голоса!

Сидим за столом в огромной столовой, я пью чай с карамелью и дважды покусила на большие куски хлеба, им здесь хлеб режут ломтями от круглых хлебов, больше всего люблю неудержимо, неудержимо люблю хлеб. Капает из носу, у меня в портфеле с рукописями чистая откипяченная тряпочка, но как ее достать, деликатно сморкаюсь в бумажку, у них тут вместо салфеток нарезаны бумажки. Где-то вдали шумят дети, их заводят в зрительный зал, мы с Ксенией забежали в туалет, она там задрала юбку и стала снимать с себя шерстяные рейтузы и осталась в шерстяных колготках, мелькнуло обтянутое брюхо и жирное лоно. Ужас, до чего мы не ведаем своего безобразия и часто предстаем перед людьми в опасном виде, т. е. толстые, обвисшие, грязные, опомнитесь, люди! Вы похожи на насекомых, а требуете любви, и наверняка от этой Ксении и ее матери ихний мужик гуляет на сторону от ужаса, и что хорошего, спрашивается, в пожилом человеке? Все висит, трепыхается, все в клубочках, дольках, жилах и тягах, как на канатах. Это еще не старость, перегорелая сладость, вчерашняя сырковая масса, сусло нездешнего кваса, как написала я в молодости от испуга, увидев декольте своей знакомой. И правильно, что на Востоке такую Ксению (и меня) упаковали бы до предела в три слоя, до кончиков рук и подошв, и подошвы бы замазали хной!

Я отговорила свое, дети затихли, мы причем, как всегда, выступали вдвоем с Тимофеем, он сидел за моим столиком на сцене рядом со мной и наливал из графина воду в стакан, стучал, булькал, пил эту сырую воду, холодную и отравленную, а остаток сливал обратно — и ладно. Хотя пионервожатые, стоящие позади своих пионеров лицом к нам, как лагерные капо, уже настороженно и злобно переглядывались. Но, как всегда, искусство победило, я сорвала аплодисман, и мы с Тимошей пошли за кулисы ждать ужина. Я пыталась отправить Тимошку в зал к детям, посмотреть на Ксению, но он ни в какую, не дал бабе посидеть одной справиться с мыслями. Да, так о чем я. Плотно забрался на колени в пыли, во тьме кулис, ревнивый, требовательный, и стал оттуда смотреть в спину сказительницы, которая действительно ковырнула два раза картофелину (глаза), насадила ее на вилку, распустила мочало и с поварешкой и щипцами для белья показала очень симпатичную оригинальную сказочку, неожиданно для меня. Ах, друзья мои, и в старческом теле мерцает огонь ума! Брать хотя бы пример моей великой почти что тезки.

После сказочки мы пировали за отдельным столиком, дети подходили посмотреть на кукол сказительницы, а я под шумок взяла с собой, опуская незаметно в сумку с рукописями, три громадных бутерброда маслом друг к другу и конфет карамелей: будет пир горой, когда приедем домой. И льстиво выпросила эту огромную, видно с рынка, породистую шершавую картофелину с двумя выковырнутыми ямками, якобы чтобы Тиме устроить тоже повтор сказки, а на самом деле это же на второе! На второе блюдо!

Домой, домой. Безрадостное встанет утро после бессонной ночи с проворачиванием всех вариантов: пенсия-то пенсия, но запах! Запах! Как в зверинце. Мама давно «ходила на гумнс», и как там смердело, у этих старушек в палате, и как они стеснялись посторонних, пытаюсь накрыться до подбородка, и до подбородка марались, при мне сестра с сердечной руганью от всей души отворила такую укромно затаившуюся в тепле Краснову, соседку мамы, и с криком причем, как это уобразило-то, бя, до шеи. В глазах мамы сверкнуло, в темной воде белков пробудилось скромное торжество. Ах, как я знала это торжество! Как часто я видела его сквозь якобы расстроенные чувства, особенно когда она меня якобы защищала от мужа, всякое ведь бывает в тесной семье, но упаси Боже на глазах мамы или в пределах ее слуха! Торжество правоты. Торжество правоты под лозунгом «я ведь предупреждала», торжество ее разума на фоне моей глупости.

И я даже думаю, что те немногие добрые дела, которые она делала, она делала вопреки кому-то, к примеру мне! Много добрых дел делается при попытке к сопротивлению, и я думаю, что и Малыш станет добрым к своей распутной матери только из сопротивления моей правоте — увы или нет, вот вопрос.

Сытые, вермишель с мясом, три стакана сладкого чая, три кусища хлеба с маслом, хорошо живется детям в нашей стране, Тимоша тоже ходил в садик, вот было времечко! Ел там. Я отсыпалась, писала свои штучки, ходила по библиотекам, в редакцию, даже сшила юбку из неплохой штапельной тряпочки. Золотое время! Но Тимоша болел. За каждую неделю свободы (моей) он платил двумя месяцами кашля, жалкий, с водянистыми, прозрачными щеками, он сидел дома и мучил меня и мучился сам. Что они там их терзают, что дети приходят злые, агрессивные и заболевают, или это дети детей терзают? Перестали мы ходить в садик и потеряли место, у нас в садик очередь.

. И всю ночь я вертелась на своем диване, на своем продавленном ложе, «в норочке», как говорит Тимофей, всю ночь думала и не решалась, не плакала, но мучилась как на раскаленной сковородке, а потом посмотрела в окно и испугалась: что-то белое прилипло к стеклу! Это белое это был уже мутный рассвет. Утро стрелецкой казни, утро начала зловещих перемен, утро расплаты. Если бы мама жила со мной, если бы я вытерпела этот ад, эти вечные крики и оскорбления, эту защиту детей от меня, а «скорые» и милиционеры — мы к их призракам привыкли довольно быстро и даже пытались, о идиоты, выводить ее на чистую воду и спорить с ней, что мусор просто дежурит у гастронома (это доказывал с пеной у рта Андрей, придя в досаде от следователя, когда бабушка с кривой улыбкой, выглянув в окно, провозглашала «ну вот опять милиционер», — «нужна ты мусорам»), а я говорила, что не за тобой поехала «скорая», не за тобой, гляди, свернули, кому ты нужна, но потом «скорая» приехала за ней.

Дела были такие: Алена плакала по всем углам до бессилия, потом начала толстеть и жадно ела, доводя Андрея до бешенства. Он вообще с детства следил, кто сколько за столом съедает сладкого, заставлял на месте преступления Алену, а иногда и нас с бабкой. У него все должно было быть поделено по справедливости, и иногда он, как садист, клал на видное место свое несъеденное, чтобы изводить маленькую Алену, да! Это имело место! Что-то не в порядке с пищей было всегда у членов нашей семьи, нищета тому виной, какие-то счеы, претензии, бабушка укоряла моего мужа в открытую, «все сжирает у детей» и т. д. А я так не делала никогда, разве что меня выводил из себя Шура, действительно дармоед и кровопиец у своего ребенка пищи, но это уже были последствия того шока, который я пережила, когда со стоном все узнала, поговорив по телефону с подругой Алены, чтобы она, я просила, поговорила с Аленой, что нельзя же так кидаться на мать и не ходить неделями в институт! И психиатры говорят, что такое поведение отходит от нормы, может, полежать в санаторном отделении, нарочно спрашивала я подругу Веронику по телефону, а Вероника сказала, что Алене это не поможет. Я нарочно выбрала именно эту Веронику, честную комсомолку, которую Алена называла «водка-кислярка» после именно колхоза, и эта ядовитая Вероника, помолчав, сказала, что месяцев через пять Алене станет лучше и она поймет, как в дальнейшем себя вести с мальчиками (если бы я тогда знала, в чем дело, см. дневник), потому что все уже готово к разбору персонального дела, но лично она в эту грязь вмешиваться не собирается, и какое еще счастье, что она лично не пошла с Шурой на сеновал, а Алена пошла, есть гордые люди, которые не будут бороться за свое счастье такими методами, как сеновал, а этот Шура кому только не предлагал, противно было смотреть, и она лично никогда не вешалась никому на шею, и для нее мужская красота состоит совершенно в другом, не в смазливом личике, а в другом!

Из чего я мгновенно сделала правильный вывод, и Вероника стала моим главным другом на ближайший месяц, когда Андрей приходил домой с допросов и ложился лицом к стенке, а бабушка недвижно сидела в своей комнатке, плотно завесив окна, почти не ела, лабела, и один раз я ей принесла поесть, а она скосила на меня глаза, абсолютно алые по цвету, лопнули сосуды, и она ворочала глазами, как негр. Что она знала, что понимала, сказать трудно, все совершалось в тишине, вот уж когда мы шуршали как мыши, и Андрей исчез в пасти следовательской машины бесшумно, и я исчезала бесшумно, носясь от следователя к адвокату и на свидания к Веронике, и Алена, теперь одна в своей комнате, плакала тихо.

Дело шло, однако, к тому, что мы с Вероникой не допустили никакого персонального дела; она горячо ходила хлопотать за Шуру в деканат и к Шууре, чтобы он временно женился, хотя бы временно, на Алене, и меня это устраивало,

на хрена мне был нужен этот человек, я об этом уже писала выше, да и Вероника за этот месяц сблизилась с Шурой, беседовала с ним, получила к нему доступ, к недоступному тайному идолу всех девочек курса, как я поняла, вечно молчащему, брови которого, я должна объективно признать, были как у тюркской красавицы, ласточкины крылья, а рот вечно запекшийся, тьфу! О ненависть тещи, ты ревность и ничто другое, моя мать сама хотела быть объектом любви своей дочери, то есть меня, чтобы я только ее любила, объектом любви и доверия, это мать хотела быть всей семьей для меня, заменить собою все, и я видела такие женские семьи, мать, дочь и маленький ребенок, полноценная семья! Жуть и кошмар. Дочь зарабатывает, как мужик, содержит их, мать сидит дома, как жена, и укоряет дочь, если она не приходит домой вовремя, не уделяет внимания ребенку, плохо тратит деньги и т. д., но в то же время мать ревнует дочь ко всем ее подругам, не говоря уже о мужиках, в которых мать точно видит соперников, и получается в результате полная мешанина и каша, а что делать? Моя мама, пока не случилось все ужасное, именно так выжила из дому несчастного моего мужа и все говорила в хорошую минуту: кто тут глава семьи? (лукаво) ну кто тут глава семьи? (подразумевая себя)

Я двигала ошалевшей от безумных надежд Вероникой как пешкой, впереди уже замаячил призрак прихода в наш опустевший дом нового мужчины; и причем как раз тогда, когда возникла, повторяю, надежда, Алена раздалась и совершенно опустилась, не веря ни во что, и готовилась умереть, я поняла.

И вдруг однажды, придя домой, я обнаружила, что дверь бабушки приперта с той стороны, я с трудом приоткрыла щель, дверь была приперта письменным столом. Зачем она подвинула стол, зачем забаррикадировалась? Зачем тебе стол под лампочкой, ответь?! Я ввалилась в ее комнату, она сидела бессильно на своем диванчике (теперь он мой). Вешаться собралась? Ты что?! Когда пришли санитары, она молча, дико бросила на меня взгляд, утроенный слезой, вскинула голову и пошла, пошла навек. Вечером я устроила жуткий крик, просто кричала и все, выла, не могла остановиться, Алена притащилась с таблетками и дала мне две, я выхватила у нее весь флакончик, я знала, зачем она берегла эти таблетки, и якобы для себя выдрала у нее их, попросила воды и, пока она брела за водой, я спрятала таблетки под подушку внутрь наволочки, не переставая выть. «Брось истерику», — сказала мне дочь, а что я ей могла объяснить? Что я была в больнице, где окна закрыты решетками? что конец нашей жизни? Что Андрей в такой же яме с решетками? Что я преступник? Кто, кто отдаст свою мать в психбольницу? Я, о Господи. Врачи меня утешали, что налицо большая опасность, что ее надо подлечить, очень старая шизофрения, сообщили дату, она сама рассказала, с каких пор за ней стали следить агенты КГБ, я сказала, что у нее лопнули сосуды в глазах, они сказали, что это бывает. Алые совсем глаза. Подлечат, сказали, ее жизнь в опасности.

\* \* \*

Настало белое, мутное утро казни.

Я поняла, что не могу взять мать домой, не имею права перед Тимошей, за что ему эти дела, этот запах зверинца, эти крики и обвинения, эти моча и кал, и никакая пенсия ничего не возместит, тем более такая мизерная, она встанет поставить чай и подождет дом. Нельзя, о Господи. Пришел ко мне Тимоша, я ему улыбнулась, как всегда (встречать Твой день улыбкой), и обещала хлеб с маслом, тот, вчерашний, и чай с конфетами (тебе понравилось вчера?) и склеить домик с окошечками, только надо где-то раздобыть клей. Голова болела, я согрела чай и подумала, что вполне может быть, что я сейчас забуду выключить газ и сожгу дом, что это может со мной произойти в любую минуту, я и так последнее время еще удивлялась своим способностям находить дорогу, не терять деньги и ключи и так ловко отвечать на письма, что никто ничего не подзревает! Никто ничего! Но если это случится прежде, чем я уйду навеки, кто спасет Тимошу? Кто его спасет? Всегда надо, чтобы в доме были люди, а где, где их взять?

Вот тут и раздался гром небесный, звонок в дверь. Явление Христа народу: звонок. Кто там, спрашивается? Опять какие-нибудь друзья в кавычках Андрея? Я заплатила, я уже все заплатила, сволочи, собаки! Хорошо, спрашиваю, кто там, стоя за дверью с бьющимся сердцем. Малыш несется открывать — он откроет всем! Всегда!

— Да я, я,— раздраженно.

— Кто это «я»?

— Я, Алена,— отвечает она и что-то еще там такое говорит.

Сегодня же не день ее полочки! Ошалела, что ли?

— А что такое? — спрашиваю я в своей полутьме.

— Мама! Мама пришла,— неизвестно чему радуется Тимоша.— Это ты?

— Я, я,— устало и раздраженно говорит Алена тупо в закрытую дверь.—

Открой, сынок.

Сынок!

Я открываю на цепочку, как бы удостовериться.

— Ты что, мама? — с деланным любопытством спрашивает меня эта низенькая бабенка. Действительно, большие глаза, и действительно, ребенок на руках, второй (вторая, она же вторая по счету в ее многодетной семье) держится за подол юбки. Моя дочь принаряжена в какую-то чью-то куртку, куртка ей мала и явно с помойки.

— Открывай, открывай,— говорит она мне. Рядом я вижу коляску, все ту же самую, узел, чемодан. Как дотащила-то на наш этаж?

— У нас денег нет вас принимать тут! Нету!!!

Я хочу захлопнуть дверь.

Мальш борется со мной. Его мать с той стороны припасла ключ и вертит им в замке. Давно не тот ключ! И дверь на цепочке!

Алена через щель разговаривает с пыхтящим Тимошей:

— Тимочка, не надо, не старайся, прищемит она тебя!

— Тимочка, давай закроем дверь,— ласково говорю я.

— Нет! Нет! — кричит он.

— Тимочка,— говорит она,— не старайся тут с ней... Она же больная! Ты не понимаешь? Она тебя прищемит, сынок, она сумасшедшая! Не надо, отойди.

— Отойди, да! (это я)

— Нет!!!

— Отойди, сынок!

Я плюнула и ушла к себе в комнату и закрылась на ключ, они там шуровали, бегал Тимоша, слышался писк и другой тонкий голосок, который внятно, как попугай, говорил: «Аля? Аля? Уля?» Ворковала их мать, все потом пошли мимо моей двери на кухню, потом в ванную, объединились в одну секунду. Семья! Тима их спас, им открыл, он теперь счастлив и их, их член семьи! Мать с тремя детьми. Вот для чего я готовила почву, вот зачем не спала, голодала, лечила, учила: чтобы Тимоша меня в одну секунду бросил, возненавидел. Аля, аля, уля. В одну минуту жизнь потеряла смысл. Ах ты какой тонкий. Как хорошо сыграл. Все на руку матери, чтобы ей доказать преданность! Малая борьба у дверей — и все! Готово! Ах предатель, шелковые кудри, шелковые ножки! Так всегда, волк всегда в лес убежит, к матке! Сколько я видела таких матерей-кукушек, и как их любят брошенные дети, в одну секунду отказываясь от тех, кто их воспитал! Одна мимолетная знакомая еще в молодости, одна Ирина (помню), сказала, что наконец теперь-то знает, что мать ей не мать, потому и были такие отношения, а ходит она теперь на могилу к своей настоящей матери Астаховой, ибо наемная мать, к счастью, сохранила ее могилу, та умерла родами и была рабочей, в общежитии живущей, одна, без мужа и семьи. На эту-то могилу Ирина и готова таскать цветы, а той настоящей матери, что ее кормила и питала потом и кровью,— шиш, хотя и говорит, что Ксенофонтова (она ее так в благодарность называет) болеет, слегла и уходит со своего большого поста замминистра. И от мужа Ирина Астахова ушла, он тоже ксенофонтовский, из ее дачного окружения, сын папаша на ровном месте, Ирина посоветовалась с могилкой и выгнала мужа, выкормыша правительственных дач, живет теперь одна с маленькой дочкой, но в своей отдельной квартире. Как помнилась мне в молодости эта история, я так надеялась, что моя мать окажется тоже не моей матерью и все наконец встанет на свои места. Мне не жаль было эту колоду Ксенофонтову, а жаль было могилу Астаховой, а Ксенофонтова в ее мужском пиджаке, со стрижкой чуб на лоб, я ее представляла трясущейся от волнения, когда она решила рассказать (чувствуя себя на склоне годов) своей дочери, кто она для нее есть на самом деле, и какой подвиг она совершила, и сколько ради этого было положено сил. Хотела Ксенофонтова лучше, оказалось, что хуже, и никакого оправдания она своей жизни не получила, шиш, шиш и шиш!

Это я теперь сидела, я теперь сидела одна с кровавыми глазами, пришла моя очередь сидеть на этом диванчике с норочкой. Значит, дочь теперь сюда переедет, и мне тут места не останется и никакой надежды. Дочь моя займет большую комнату, Тимошу отправит с кроватью ко мне, так. И на кухне будет праздновать одиночество, как всегда я ночами. Мне нет тут места!

Я выхожу с абсолютно сухими глазами:

— Алена, можно поговорить? Ты способна меня выслушать?

Как ни в чем не бывало:

— погоди, мама.

Мама! Кольнуло в сердце.

— Видишь, распадаемся. Покорми старших, а?

— Так ты что, ввалилась жить? А?

— Тимоша, надо покормить Катю. Ты можешь? А баба, видишь, не дает вам есть.

— Могу! — выпаливает Тимоша, взял эту толстую Катю за руку и заботливо повел в кухню мимо меня как мимо столба. Мимо меня протопала эта пара, не замечая меня, только Катя сказала: «Уля?»

— Куда, там пусто!!! Пусто!

— Мамуля, — сказал Тимоша, — у нас есть два куска хлеба с маслом и конфетки, я могу поставить чайник.

— Куда, обваришься и обваришь ребенка, — закричала я, — Алена, последи, я ухожу срочно.

— Уходишь, — тускло говорит Алена.

Явно сама хотела куда-то уйти, оставив на меня всю свору.

— Ухожу, ибо: сегодня, — говорю я торжественно, — я забираю мать из больницы. Твою бабку.

— Бабушку? — бесцветно повторяет Алена с застывшим видом. — Зачем еще?

— Зачем? Вот вопрос так вопрос!

— Почему сегодня? Мама! — наконец говорит она. — Брось свои штуки! Тут трое детей!

— Да, да. Или ее сегодня через час отправляют в интернат для психохроников. Навеки.

— Ну и что, — говорит она.

— Что! Кто к ней туда будет ездить? Кто будет ее кормить? Ее там прибьют табуреткой, и все.

— Ты будешь ездить, ты будешь кормить, как все эти годы кормила. Ты же ходила к ней? — язвительно намекает на что-то Алена. — Или нет, я что-то не понимаю. С чего вдруг такой переполох? Ты же получаешь ее пенсию? А? Ну и будешь к ней ходить.

— Это где-то три часа на электричке.

— Ничего. К своей матери поездишь. Или не поездишь. Пенсию-то ее ты аккуратно будешь получать?

— Не буду получать. У интернатных пенсию отбирают, ты что.

— Ах вот как, так бы и сказала, что тебе жалко денег, и мы будем из-за этого опять выносить ваши взаимные скандалы. Все детство прошло в криках, все самые лучшие времена. Кривая семья.

Я, с сухими глазами:

— Вот для того, чтобы у тебя была прямая семья, чтобы тебе не мешать, бабушка и оказалась т а м.

— Слышала эти басни много лет.

— Чтобы спасти твою семью, я ее убрала с твоего пути, а оказалось, для спокойствия Шуры, чтобы он тебя начал терпеть. Но не вытерпел!!! Никто!!!

Глаза ее наливаются слезами, все-таки что-то человеческое в ней еще осталось, со странным удовлетворением замечаю я, какое-то осталось у нее чувство стыда, неловкости за свой разврат.

— Мамуля, не плачь! — Тима откуда-то очутился рядом с ней.

— Сынок, ты где оставил Катю? Ее нельзя оставлять на кухне, живо вывернет на себя кастрюлю.

Я говорю:

— И еще. Андрея-то нашего жена гонит.

— Так-к...

— Со всеми последствиями. Андрей-то пьет.



(Тут я пригнула. Когда второй раз Андрей ворвался ко мне с криком, что его убивают, и я открыла дверь на эту провокацию, действительно за ним стояли те трое, держа по одной руке в карманах, а Тима плясал за моей спиной, сгорая от любопытства. Выяснилось, что тут долг восемьсот рублей. Я извинилась, закрыла перед носом сопровождающих лиц дверь и сказала, что позвоню в милицию. Андрей был бледен, и ему удалось убедить меня, что они убьют не только его, но и Тимошу. Мы все вместе пошли в мою сберкассу и под их взглядами я сняла с книжки все, что там было, оплаканных шестьсот восемьдесят рублей, еще мамина страховка. Взамен Андрей обещал больше никогда меня не беспокоить, устроиться на работу, прекратить пить, лечь в больницу с пятой и прописаться к своей жене. Он плакал на коленях.)

— Семья! — протяжно вздыхает Алена.

Я:

— Бабушка будет в этой маленькой комнате. Я переселяюсь на кухню в кресло-кровать. Если придет Андрей, место ему будет с бабушкой. Он бабин внук.

— Ничей он уже не внук. Я к нему приехала в гости с детьми, он пьяный посреди ночи начал бушевать.

— Когда?

— Сегодня ночью.

Так.

— Зажгли свет они с Ниной, начали выяснять отношения, а это он так нас гнал. Бей своих, чтобы чужие боялись.

— Он же обещал больше не пить!

— Он пьет не просыхая уже неделю, откуда-то деньги достал, поит дружков. Полный дом. Ну ладно, хоть эта комната моя! Наша!

— Так. Ну хорошо. Андрей... — Я глотаю слезы. — Сын, вот тебе сын.

Решение мое пришло абсолютно неожиданно. Свобода, свобода и свобода! Как странно, свобода в таком тесном пространстве! Алена тоже не очень будет переживать. Из каких подземелий она воротилась, если комната восемнадцать квадратных метров на четверых ей кажется убежищем!

— Прошу политического убежища, — бормочет она, подбирая с полу и ставя обувь в ряд. Она читает мои мысли. — Как я жила! Мама!

Одна минута между нами, одна минута за три последних года.

— Нечего было рожать, пошла и выскоблила.

— Выскоблила — Колю? Да ты что!!!

— Господи, все же делают аборт с большими даже сроками... За деньги, — говорю я. — Абортируют вплоть до не знаю. За деньги!

— Какие деньги? Ты что, какие деньги? — забормотала она.

— Деньги с них! Надо было думать, когда ложилась под н и х! А ты брала с нас! Плять, — с сердцем сказала я и пошла собираться в поход.

Собираться в поход. Если я не поеду, ее уже увезут. Их увозят рано, их увозят, так, ее уже одели в два больничных халата, резиновые сапоги, полотенце на голову, такой холод, однажды ее так вели с рентгена, водили на рентген в другой корпус через двор, я пришла койка пустая, о как я перепугалась, но зачем меня пустили смотреть на пустую койку, сестричка Марина пустила отомкнула дверь в отделение, когда я поскреблась, а стучать нельзя, больные беспокоятся, и меня предупредили, Ревекка Самойловна еще тогда работала царствие ей небесное, а здравствуйте Мариночка это вам, что вы, что вы, это вам, а, пустяк ручка за 35 копеек, но мне и такую купить сложно, бегала по киоскам, везде за восемьдесят с гаком, ну проходите, и она ушла с ручкой, о как малыш плакал бедный плакал, дай порисовать этой ручечкой, его потрясло что она красно-синяя новенькая, а теперь он не плачет, теперь он не мой, да, моя мама уже стоит качается!

На нее надевают халат, второй халат, полотенце, а санитарка говорит санитару «скорой помощи», полотенце вернешь и два халата и рубашку до пупа распишись, а моя мама стоит последняя в отделении, ее соседки Красновой уже нет, никого нет, постепенно отделение пустело, кого куда, отделение пустое гулкое одна мать лежала водила глазами на шум шагов, к ней уже другое отношение, кормят как единственную, жадно ест замшевым ртом, замшевым с усами и бородой ртом, вялым пустым, и лицо сокращается вполовину, когда она жует деснами, шепчет «я не выживу», а выживешь выживешь бабуля, нет я не выживу материально, кой материально, бабуля, сейчас ты у нас поедешь новую

больницу тчк ничего что не приехали за тобой, государство так тебя так дело не оставит, раньше смерти не похоронят, везде тебе будет порция каши, ну сейчас будем одеваться, бабуля, вставай страна огромная вставай на смертный бой, ну вот и хорошо, там тебя не бросят, мы к тебе привыкли бабулечка, последняя осталась, у нас завтра в отпуск, кто в отпуск ходит в феврале, мы, мы, мы, эх кому мы будем нужны на старость, так вот в говне и лежит бабуля, эх пошли подмоем ее, неси судно и квач, я кувшином полью вся опять обмаралась эх, кости да кожа, а, а, а, ведь рожала бабуля, все висит, отстает, надьсь ту подмывала что-то под ней лежат, матка выпала, Марина сказала, эх бывает, восемьдесят семь лет, она в пятую уехала, пятая хуже!

Бабуля, тебя в хороший интернат повезут, там почище, какунья, простыней на тебя пеленок не напасешься, чисто как ребенок, что, что ты говоришь, что она говорит, вот, убивать таких надо, вколоть укол и все, что ей мучиться, ну вставай бабуля, эх как стюдень дрожит вставай тчк.

Но ведь надо повезти ей что-то надеть, так, так, она худая, все мое ей подойдет, ах, нестираное, что делать, это нестираное, то рваное, неудобное, ах, вот когда нужда выступила наружу, нищета и нищета, а нищета это прежде всего белье, заведомая рвань, как им это предьявить, ну хорошо, лифчик ей уже не нужен, хотя полагается, трусы трико трико есть одни, слава тебе Господи, почти новые, на дне, на самом дне, на случай врача, о счастье, о слезы, так, теперь!

комбинашку, все рваное, что делать сама ношу что попадется, чиню латаю, но редко, а никто не видит, так и сойдет, теперь все вылезло на белый свет, так, Господи, есть, есть, есть вскл есть белая майка бывшего зятя Шуры, спасибо Шура, спасибо птица, так и должно было пригодиться, но, но откуда эта майка здесь, именно здесь, так, слава тебе Господи, чулки и пояс, этот пояс у меня один ей не подойдет, однако есть спортивные трикотажные штаны, о, как однако все пригодилось, и если я найду носки целые, носков целых нет!

я точно знаю, ура, сносила, поскольку в валенках очень рвется все, так, так, зато есть еще целые бумажные чулки, ура, закатаю внизу будет как носки, так теперь какие ей туфли!

тьфу, какие могут быть туфли, сейчас зима, стало быть валенки о, о, о, мой запас валенок, Господи какая здесь в чулане лавина вещей, никак не могла разобрать, сволочь ты, сволочь, живешь как паразитка, ни о чем не думаешь, только о стихах, плачь теперь, вой, в больницу не успеваю, не успеваю оооо!

— Господи! Что ты тут делаешь, мама! Все повыкидывала, не пройдешь. Неужели же это надо делать день в день как мы приехали (удаляясь) ты подумай, ну ты подумай здесь малые дети, а она тут пыль, тьфу.

Не успеваю, не успеваю, ура, есть валенки с галошами, ура, слава тебе Господи, так, теперь надо найти платье, ее платье, ее платье, слава тебе Господи, что она меньше меня и я ничего не носила и не перешивала, а были мечты из разных платьев скомбинировать, но ничего не скомбинировала с мыслью о старости Алены, вот наступит, дескать, время, и я предьявлю ей, доченька, а у меня целый запас для тебя, Алена, ты ростом удалась в бабушку и такой же характер Акула Глотовна Гитлер, я ее так один раз в мыслях назвала на прощанье, когда она съела по два добавка первого и второго, а я не знала, что в тот момент она уже была сильно беременна, а есть ей там было-то нечего совершенно, так, так, так, есть чудное!

чудное чудное, ура, мама ведь совсем худенькая, платье в талию темно-синее в красно-белый цветочек плюс шелковый красно-белый платочек в кармане пришитый, мама была изящная молодая дама на каблучках в злобном женском коллективе, любовники из высшего эшелона, из руководителей, покровители скоты, так, теперь ее пальто слава тебе Господи, с каракулевым воротником, синий коверкот, кто теперь знает эти материи, коверкот, ура, шляпа, нет шляпа мягая и твердая как валенок, в народе говорят «каляная», уши не закроет, это самое главное закрывать уши, это я твердила малышу, малыш, малыш, не думать, забыть, не плачь, не плачь, нет, вон он жив, он с матерью, сестрой и братиком, ты была ему подстилкой, он вытер об тебя свои шелковые ножки и кинулся к другой матери, мать его острижет теперь, острижет его кудри и отдаст в детский сад как в армию на пятidineвку, я прозреваю ход событий, она как мать-одиночка многодетная будет пользоваться благами детсада, тюрьмы для своих детей, их раздать и идти работать, все  
все будет нормально!

все!  
все!

но как он там будет спать один, а, а, а, как мать твоя спит одна, не будем думать, почти семь лет стоп так, на голову платок шерстяной, а платок в вещах Тимочки, ему нужен при ушных болезнях клетчатый довольно приличный, ага, но он весь в желтых пятнах, это камфарное масло и нельзя выносить на Божий свет.

— Ничего я не беру ничего не роюсь Аленочка но ведь бабушке надо что-то на голову старая голова это же тебе ни жиринки черепок и кожаца.

поняла, волос почти нет!

нигде!

нигде ничего нет, так, так я придумала, у меня есть шарф старый полушерстяной, я ношу его на шею, но мне особенно не надо и потом это на один раз, так, я подниму воротник, так, теперь необходим чемодан, где, на шкафу, тьфу, какая пыль, обтереть тряпкой, время, время, время, ффу, теперь надо постелить свежее белье и потом где взять клеенку, Аленочка, прости еще раз, у тебя нет лишней клееночки, нету, ах нету, так я и думала, так, разорву полиэтиленовый пакет, или вот что, я попрошу старую в больнице не откажут списанное, так, бегом бегом!

бегом с тяжелым чемоданом, вечный путь, пятьдесят два раза в год плюс на Новый год плюс Первое мая и Восьмое марта плюс день ее рождения, то ли девятого, то ли десятого, на всякий случай хожу девятого, и седьмого еще ноября, поскольку покойница Ревекка, благородная женщина, деликатно намекнула, что именно в праздники бабульки чувствуют себя плохо, плачут, умирают, ничего не едят и хотят снотворного, кто тебя теперь вспоминает, Ревекка, я вспоминаю, ты была богом для нас, о Господи, какая тяжесть, ее наверно увезли, куда я мчусь, уже час дня, уже машина, насквозь ледяная, «скорая помощь», уже ее везут, уже увезли, приеду, тьфу, все давно заперто, персонал в отпуске, внутри ходят маляры, а хуже маляров, что интересно, никто никогда не одевается, сколько лет не делала ремонт, о, о, о, о чем тут думать, уступите мне место, молодой человек, сейчас упаду ох благодарю не ожидал, это цитата, о Господи, сколько стоит на остановках, плетется, как я буду ее везти, если все-таки ее не увезли, а, надеешься на это, плять, низкая душа, доплелись, теперь метро, гул, но без пересадок, не люблю метро, гул, так страшно, все смотрят, куда едет эта высокая женщина с чемоданом с таким измученным лицом, а что касается зубов, не разжимая губ живи и помни, не улыбайся, как на почте, приду, а они говорят, мы о вас говорили, что говорили, что никак не идет эта высокая с ребенком? да, мы говорили, что-то ту бабулю с внучком не видать, перевод лежит на два раза по семь рублей, ой, спасибо, это за мою литературную работу, я ведь поэт, спасибо, вы всегда меня выручаете, двадцать-то копеек оставьте себе, купите конфету ребенку от моего имени, когда выйдет книга, подарю, ой, ай, уступите мне это место, девушка, так трудно стоять, измучилась, падаю, спасибо, так, едем!

едем едем, все-таки приданое получилось довольно сносное, а как же, старые люди всегда носят все старинное, они это любят, ах ее брошь, я забыла, костяная на груди и не будет ли ей задуть, ладно, хорошо, сниму свою шерстяную кофту, так, очередь на маршрутку, разрешите мне без очереди, мне нельзя опаздывать, психбольницу закрывают, да, да, я именно что психбольная, это вы угадали, да, со справкой, ну, что же вы, толкните меня еще раз, товарищ, ай, ой, дайте руку, я не влезу с чемоданом, уфф маршрутное такси это такое благо, раньше тут только на трамвае, передайте, а, а, почему, ах да, за чемодан двойная плата, забыла, и чего мы ждем, все вакантные места заполнены, ямщик, подгони лошадей, поехали

так, бегом, волочи чемодан по лестнице, сердце стук, стук, стук, «скорой помощи» у порога уже нет, или еще, стук, бух, бух извините, что так колочу, здравствуйте, я за мамой, я забираю ее домой, я не опоздала, нет, о счастье, извините я должна была позвонить, но прособиралась, о, как я боялась, а что, машина едет ах, извините, у меня дочь приехала с тремя внучатами, несчастная, одна, все ее бросили, все, я одна на всех, сына спасла от гибели, да, все я одна, да, ему угрожали уголовники, кому-то он был должен, я расплатилась, теперь он мне предан, но он болен, он инвалид без одной пяты, теперь меня рвут на части, кашку вари, эту кашай, этого одевай, тому сказку, знаете, я счастливая бабушка, дивные внучата Тимофей, Екатерина, Николай, дивные имена, и плюс маме

вещи собирала, да, а зачем вы мне пишете выписку, что это, ДЗ вялотекущая шизо (далее росчерк), ах да, дадут по ней бесплатные лекарства, нет, вы мне дайте просто ту, которую вы оформляли в интернат, просто так, на память, вас как зовут, Сонечка, солнечное имечко, какое удивительное в наше время, имя героини Достоевского, Сонечка, будьте так любезны

минуточку, я хотела вам подарить на память мои стихи с надписью, я ведь поэт, но такая сутолока, забыла дома, но ничего, это от вас не уйдет, вы ведь тут еще после отпуска будете, всем подарю, у меня выходит книга стихов

со стихами, у, заживем, я ведь, знаете, поэт, а поэты нищий народ и не от мира сего, кончают жизнь в забвении, ах, если бы была такая возможность, если бы не нужда, о чем бы было говорить, но у вас нет ли чего списанного, ну там судно, ну клеенка, старые простынки, можно рвань, я сошью куски, ну буквально нечего подстелить бабушке, а вы здесь ведь новенькая, а моя матушка здесь ветеран вскл О я вам благодарна! О, кувшин, о, это судно? Квач, так, я понимаю. И пеленки!!! И клеенки!!! Ничего, я отмою! А марганцовочки... Ничего, все валите, и вату, чемодан-то будет пустой. И хлорка! О радость. Ну, ее приведете или уже можно мне прямо в палату? Здравствуй, привет, как поживаешь? Сейчас я тебя одену, и мы поедем домой. Пипи сделаешь на дорожку? Я тебе подложу судно, пись-пись-пись. Ну. Давай. Молодцом! Писнула все-таки. Сонечка, она ведь все понимает: удивительно! Сонечка, а ее лекарства... Я понимаю, рецептов вы не даете... Но ее-то лекарства посмотрите в истории болезни записаны... Мама, одеваемся. Поднимайся. Голова голая! Ее побрили... лысая. Так, молодец. Ой какие ногти, надо будет остричь, отросли как у Вия, а на руках тоже, как же за тобой тут смотрели, ничего, видишь, и трико тут целое, и майка беленькая, видишь, тебе прямо ниже колен, как комбинация, ну маленькая какая у нас мама, а валенки потом, держись за меня, чулочки сверху, штаны в них, валенки потом, теперь платье до пяток, тогда так носили, уфф, спина болит, не разогнуться, оо, спасибо, чудесная девочка Сонечка нам принесла лекарств про запас, я и просить-то боялась, видите, Сонечка, мою куколку, Господи, какой запах от этого тела, больной зверь, голова кружится, нет ли у вас валерианочки, Сонечка, так, мама, вставай в валенки, ноги-то не мешают ли —

Не колыхайся, колени не подгибай, как же я тебя поволоку-то, о, Сонечка, спасибо, глумглумглум, валерианка это чудо, ничего в жизни не пила страшной валерианки, а, ах, Сонечка, как же я ее поташу, она же не ходит, вы говорили, едет машина, а нельзя ли сказать шоферу, что нам надо не за город, а гораздо ближе, метро такое-то, семь минут ходьбы, умоляю вас, а у меня нет денег на такси, нету, нету совершенно, книга-то еще не вышла, а выйдет, я всем отдам кому обязана, а, Сонечка

— Бабуля,— трезво отвечает Сонечка,— если вы ее забираете, то это не больница развозит.

Ну в виде исключения, Сонечка, ну хотите, я встану на колени, ну не мучайте нас, отвезите, ну врачей нет, никого нет кого умолять

— Это с шофером, это с ним.— И Сонечка, потерявши интерес, убирается от греха подальше.

Мы одеты, мама сидит скрючившись как эмбрион, поникнув головой, еще немного — и она описается, я уже чувствую, куда идет дело. Гром на лестнице, в коридор входит санитар

— Больная Голубева!

— Здесь, здесь, я ее провожаю, все-все документы у меня. Голубчик, помогите ей одолеть лестницу.

Сонечка издали наблюдает эту драму, мы выходим на лестницу, она запирает дверь с той стороны особым ключом, все.

Моя матушка в валенках, как кот в сапогах, передвигается дико и странно, санитар, средних лет мужчина в белом, ведет ее под локоть и под спину, лестница. Мама в большой шапке, свою шапку я вынуждена была надеть на мать, из шарфа она вообще ежеминутно выпадала, как кукушка из часов.

Мы в машине.

— Простите меня великодушно, как вы поедете?

— В пятую.

— Это далеко? В пятую, сказали ведь в другую...

— Это-то? Порядочно. Часа три в одну сторону.

— А потом?

— А потом обратно в город. Но на подстанцию, это не здесь.

— Вы знаете... Я предлагаю вам вот какой выход из положения. Как хотите, можете везти ее в этот интернат... Как хотите... А можете везти всего-навсего здесь двадцать минут езды.

— Это куда?

— Документы вот у меня. Я вам отдаю справку, что я ее забрала домой. И все. Неожиданно, понимаете? И пять часов вы свободны.

— Так. Бабуля, вы тут что... вы ее забираете так забираете, нечего нам тут... ваньку, понимаешь... Берите и везите на такси сами.

— Нет. Если вы ее не везете сюда, то мы с вами едем туда, в пятую, вместе, а уже оттуда вам главврач даст указание везти ее домой как передумавшую. Я так и так с ним договариваюсь, я бы и здесь договорилась, Дезы не было, заведующей. Потому что таких возят, возят, я вам говорю, на «скорых помощах» именно. Просто здесь сейчас главврач и Деза в отпуске, иначе все было бы проще. Ну, поехали.

— Давайте бумаги.

— Бумаги я вам отдам у подъезда моего дома, ребята, ну что вы, в самом деле, вам же легче. Не ходит она, не ходит.

— Это вы не с нами тогда везите, у нас путевка туда, кто нам подпишет?

— Ну едем туда, там вам подпишут, но на обратном пути мы все равно поедem к нам домой. Я вам это гарантирую. Не ближний свет, шесть часов по морозу. А лучше всего скажите на подстанции, что больную забрали домой. и все, даром проездили.

— Мы сами знаем, что говорить...

— А я вам дам в подтверждение эту бумагу. И все. Ну подумайте, в такую погоду, не дай Бог она умрет... Ребята...

— Выходи! Выходите все! Мы и так вернемся, без вас.

— Нет. Без нас вы никуда, а с нами вы поедете туда.

— Так... Много мы видели сумасшедших. Вас же саму надо, тебя надо в дурдом! Вы же старая женщина! Старая!

Я вся дрожала, но валерьянка, драгоценный корень жизни, делала свое дело. Собранная, энергичная, волевая, я действовала на эти тупые мозги так мощно, что они были готовы убить меня оба. Они ясно понимали, что что-то здесь происходит не то, и готовы были тронуться в пятую, однако перспектива провести шесть часов со мной в машине их тоже не радовала. С другой стороны (прослеживала я ход их мыслей), здесь спокойный наряд, а вернувшись раньше времени на подстанцию, они могут получить направление куда-нибудь почище, к белой горячке или к топору в запертой квартире. Да. Жизнь.

— Я вам очень и очень сочувствую, искренне прямо, но положение безнадежное, я ее сопровождаю и буду сопровождать, куда бы она ни поехала, и вы меня не выкинете. Вы не имеете права везти ее без документов.

— Да к тебе надо врача со шприцом!

Странная ситуация, в психоперевозку понадобился врач со шприцем.

— Смотрите, сейчас она обоссется у вас тут, ее покормили. Я ее раздену. Я не собираюсь стирать все это, и она сходит вам на пол (про судно в чемодане я молчала).

Моя старушка что-то забулькала, лежа на койке. Я сидела у ее изголовья.

Они мрачно на меня смотрели из кабины.

— Везите нас скорее. Здесь полчаса.

Мрачно, мрачно, с сердцем шофер тронул. Я прокричала адрес. Они не шелохнулись и не прореагировали. Они нас повезли. Куда? Путь был сложен. Куда нас везли? Куда? Я лишена была возможности видеть, стекла ведь в таких машинах забелены специально, чтобы не волновать окружающих. Врачебные тайны, врачебные тайны, что происходит под вашим покровом! Роды, насилие, пытки, боль, преступления против нравственности, кровь, скрученные руки, крики, последнее отчаяние, смерть. Санитары это власть, это деспотия, не знающая неповиновения и милосердия, и дорого бы дал этот санитар, чтобы всадить мне укол и показать, кто здесь тля, а кто тиран и начальник.

Через буквально десяток минут шофер остановил и сказал, что приехали. Приехали. Но каким образом? Откуда они узнали, как подъезжать, — ах да, им дали историю болезни, ах и ох, но ведь к нам трудно разобраться, поворот во двор совершенно из другого переулка, те считанные разы, когда я брала такси, — куда, куда он привез, совсем не туда, а стекла замалеванные —

Будьте добры, вы с той ли стороны заехали, а то мне трудно бабушку выводить, я понимаю, мне уже никто не поможет, я бы взяла такси, но пенсия, вот в чем вопрос, только послезавтра, не могли бы вы сказать, где мы находимся, у меня топографический кретинизм, ха, ха, ха, вечно не понимаю, как добратся — какое место —

— Приехали, приехали, то, то.

Я выставила чемодан на снег, долго выводила мою старушку, она была хоть и невесомая, но какая-то каменная, неповоротливая. Два здоровых лба сидели и курили, и «скорая» вывернулась из-под наших ног буквально в ту же секунду, когда я захлопнула дверь. Как буквально живое существо, как таракан, вывернулась и укатила.

Где-то мы стояли, на каком-то мосту, серым днем, ближе к вечеру, у обочины. Справа дымили огромные трубы, под мостом проходили железнодорожные пути, открывались огромные производственные дали. Мимо проехал незнакомый трамвай приглушенно по снегу, стояли на той стороне какие-то кирпичные дома, шли небольшие осадки. Я все дрожала. Где мы находимся?

Но, но! Не война, не под танками. Санитары да, они все поняли, ну не первый же раз. Ну они возят каждый день по сто человеческих отбросов. Сколько они видели-перевидели таких хитрых родственников, которые хотят забрать домой своих старичков и детей, не отдают их дальше на смерть и растерзание, сколько, ха, ха. Они поневоле научились.

Мы тряслись, расположившись на одном месте, у края тротуара. Я посадила бабу на чемодан, она сидела скрючившись, в той же позе эмбриона. Вдруг она вздрогнула всем телом и опять поникла, и я поняла, что в этот момент она помочилась в валенки. Сейчас ей тепло. Через пять минут она замерзнет. Я ее подняла под мышку, взяла чемодан и поволокла скрюченное, окаменевшее тельце по снегу ближе к трамваю, будь что будет, взгромоздимся, мне помогут. В трамвае тепло и куда-нибудь доедем.

Сзади, фырча, надвинулась какая-то машина. Подождут. Хлопнула дверца.

— Ложите ее давайте, чего там,— сказал мужской голос, и бабулю у меня перехватили под мышки. Я повернулась и пошла следом, волоча чемодан.

У обочины стояла «скорая помощь». В лицо секла метель. Кто-то вызвал, подумала я, спасибо добрым людям. Мы подошли к дверям, мужчина открыл дверцу. Я разглядела его сквозь обледеневшие ресницы! Это был все тот же он, санитар психоперевозки. Они вернулись. Санитар быстро, умело поднял тело моей мамы в машину, уложил ее. В машине, я чувствовала, было тепло, горела лампочка. Мама лежала на носилках, санитар укрыл ее сверх мокрого пальто каким-то их рубищем. Мама лежала на белой подушке в слишком большой шапке горшком, с провалившимся ртом и малюсенькими щелочками глаз. Глаза были мокрые, как и все лицо.

— Ну подписывайте,— сказал санитар и подsunул мне бумажку.

Вот зачем они возвращались. Все должно было быть подписано.

Дома дети, Алена, я ей нужна, куда в этот детский очаг наше говно и пропахшие мочой одежды, наша старость. Вообразить рядом запахи мыльца, флоксов, глаженных пеленок, зачем я все эти сутки пугала мою бедную Алену, мне самой-то надо уйти.

Санитар влез с моей подписью в машину, поправил еще маму, оглядываясь на меня. Возможно, он ждал, что я с ней попрощаюсь. Потом он вылез, захлопнул с силой дверцу, залез к шоферу, хлопнул еще своей дверцей, и машина тяжело тронулась.

У ближайшего мусорного контейнера я разгрузила свой чемодан, выбросила пахнущие хлоркой пеленки, остро воняющую клеенку, квач и утку, свои скровища периода надежд. Туда же пошли рваные простыни, я оставила только ком ваты.

Теперь Алена меня полностью загрузит детьми, думала я, бросит на меня троих, а как же так, мне надо съездить к маме туда. Почему я не обтерла ей лицо? Что было так каменеть, обычное дело, старца везут в богадельню, божие дело этих санитаров. Что было так рыдать на скамейке в метро, люди смотрели, глупость. Закон. Закон природы. Старое уступает место молодым, деткам.

Я подошла к моей священной обители, не стала звонить, тихо так открыла, было темно и тепло, пахло маленьким ребенком и пригорелым молочком, на

кухне урчал явно пустой холодильник, надо выключить, все можно хранить на балконе. Так я размышляла, прокрадываясь к себе, стащила с себя все мокрое, вымылась тихо, пропарилась, легла в свою кровать. Теперь я проснулась среди ночи, мое время, ночь, свидание со звездами и с Богом, время разговора, все записываю.

В квартире полная тишина, холодильник выключен, издалека тупые, глухие удары: соседка Нюра дробит кости на суп детям, сколько раз ей говорили, чтобы она прекратила по ночам эти леденящие душу удары, как поступь судьбы. Почему такая полнейшая тишина, трое детей ведь! Никто не пикнул, молодцы, устали. И мать не шляется по квартире то молочка согреть, то пеленку сухую. Молодец. Все тихо и эти удары. Шаги судьбы. Что же они молчат?! Молодцы. Спят мертвецким сном. Спят как мертвые. Полная тишина. Живы ли, вот вопрос. Живые дети так не спят. Совсем не ворочаются. Уже всю ночь тишина. Что еще эта сумасшедшая натворила с собой и детьми? Живы ли? Полное молчание. Я и всю-то жизнь ночами прокрадывалась к детским постелькам послушать, дышат ли. Иногда дыхание такое слабенькое, спят как умерли. Как сейчас. Не придумывай на свою голову. Какая тишина! Далекие удары. Совсем Нюра с ума тронулась, все жалуются. Кормить нечем, она пустые кости где-то достает детям. Потом сутки вываривает, делает холодец, холодец. Спят как убитые, молодцы. Не могу туда идти. Не могу знать. Не могу предугадывать насчет четырех гробов мал мала меньше, и как все это хоронить?! Как, скажите мне! Зима, цветы. Какие могут быть еще зимой цветы! Андрюша запыет. Подлец не явится от ужаса передо мной и этой погубленной маленькой жизнью. Ветер будет трепать на мертвой головенке легкие кудри. Ветер создает впечатление живых волос. Как она это совершила, гадина! Таблетки! У нее всегда были в запасе таблетки. За что детей? Тому последнему и вообще крошка понадобилась, растворила в молоке. У мертвых выражение лица облегчение как после слез. В ряд лежат. Сколько можно бить по костям, я спрашиваю? Удары судьбы. Нюра, хватит! Пойти постучать ей в дверь. Можно просто сойти с разума. Ответит матом, распаренная трудовая женщина, с визгом. Все давно привыкли и спят. Господи! Господи!!! Спаси и помилуй!

Я сделала две вещи. Первое, я не выдержала и пошла к Нюрке. Я ей сказала пару слов на ее языке, что заявлю, что ее Генка ворует телефоны, если она не понимает простых вещей. Мы с детьми видели. Срезал трубку. Она только разинула пасть для мата в разгаре трудовой деятельности, как я захлопнула с треском ее дверь. Пусть подумает. Далее. Я решительно поднялась к себе и вошла в комнату своей дочери, и там при свете включенной лампочки никого не оказалось. На полу лежала сплюснутая пыльная соска. Она их увела, полное разорение. Ни Тимы, ни детей. Куда? Куда-то нашла. Это ее дело. Важно, что живы. Живые ушли от меня. Алена, Тима, Катя, крошечный Николай тоже ушел. Алена, Тима, Катя, Николай, Андрей, Серафима, Анна, простите слезы



---

---

АНДРЕЙ ВОЛОС

\*

## КУДЫЧ

*Повесть*

Быстротечная жизнь точно сон.

*Ли Бо.*

1

**Н**ачало было очень печальным.

Я проснулся от какого-то телесного неудобства. Повернувшись, я обнаружил, что неудобство не устранилось, а обрело вполне отчетливые контуры.

Болел бок.

Я снова повернулся, чувствуя, как сон неудержимо отлетает, а сам я, вместо того чтобы отвлечься и забыть о пустячном недомогании, вызванном скорее всего безобидным и скоротечным процессом, идущим в организме, поглощен ожиданием той минуты, когда этот процесс прекратится.

Потом я встал и проглотил три таблетки какого-то анальгетика. Теперь я, твердо уверенный в том, что перед современными лекарствами отступают неизлечимые прежде недуги, прислушивался к себе с некоторым злорадством.

Между тем боль превратилась в живое злобное существо. Я всегда знал, что во мне много нечеловеческого; но чтобы до такой степени! Чтобы до такой степени звериного и безжалостного!.. Она жрала меня изнутри, и я крутился на постели, принимая самые рискованные положения.

Очень скоро я понял, что умираю. По-настоящему умереть мне захотелось получасом позже, а в ту минуту я решил вызвать «скорую».

Я все сделал правильно — кроме того, что забыл сообщить корпус дома. Честно говоря, я его попросту не знал. Почему — это отдельная история, и если начать с нее (а она потянет за собой еще десяток), то мое краткое повествование превратится в пухлый роман, лишенный смысла и сюжета, поскольку этот роман — сама жизнь.

Я описал неприветливой телефонной женщине грозные симптомы одолевающего меня недуга, сознался в том, что не знаю ни причины его, ни названия, и прохрипел натужное «спасибо», когда она неожиданно твердо сказала что-то такое, из чего следовало, что в беде меня не оставят. После этого я снова лег и продолжил свои упражнения.

Тот эффект психики, когда человеку кажется, будто он наблюдает за самим собой со стороны, многократно описан в литературе. Для меня его новизна заключалась в том, что я не раздвоился, а по крайней мере расчленился. Один из нас пыхтел и корчился на сбитой простыне. Другой почти равнодушно посматривал то на него, то на часы, прикидывая, сколько еще бедняге осталось, и, в очередной раз решив, что более сорока минут он не протянет, с выражением вежливого сочувствия пожимал плечами. Третий витал над крышей многоэтажного дома, паря в прохладе утреннего воздуха. Правую ладонь он прижимал ко лбу, чтобы защитить глаза от солнца. У него была внимательная, напряженная физиономия. Всматриваясь в расстилающиеся внизу переплетения затененных улиц и в поросшие голубыми дымками вереницы машин, сочащихся по артериям города словно капли разноцветной крови, он пытался разглядеть белый «рафик» с красным крестом на боку, спешащий по важному делу, неудержимо приближающийся, вот уже, быть может, скрипящий тормозами у подъезда.

Наличествовал и четвертый. Он тоже парил — но выше, значительно выше. Если третий мог показаться с земли мальчишкой, забравшимся на самый верх пожарной



лестницы, то четвертого человеческого глаз не разглядел бы вовсе: ничто земное уже не могло коснуться его — даже взгляд.

Он появился в тот момент, когда некая часть моего «я» принялась возносить сначала робкие, а потом все более требовательные молитвы. Это происходило само по себе, а вовсе не по моему желанию. Атеистический мой мозг работал, анализировал, наблюдал, делал выводы; атеистическая моя душа тоже была на месте — в той степени, насколько она вообще мне присуща. Она была, разумеется, испуганной, почти такой же скорченной, как и тело. Какие-то сполохи, какие-то обрывки мыслей и чувств перебегали по ним, как перебегают огни гаснущего костра. Но ни боль, ни эти бессвязные вспышки, касавшиеся пустяков, еще вчера называвшихся жизнью, не могли заглушить таинственного всхлипывающего бормотания, то нисходящего, то восторженно возвышающегося и обращенного из какой-то недосыгаемой для человеческого глаза выси в высь, недосыгаемую даже для воображения. И уж конечно, не могли перебить его те жалкие слова, что лепетал я, комкая простыню, то бессмысленное «осподидачтожтакое», срывавшееся с теряющих чувствительность губ...

Дважды звонил телефон, извлекая меня из бесцветного полуобморока, в который я снова погружался, едва положив трубку. Какая-то дальняя, электрически похрустывающая особа допытывалась, где я живу. Я говорил. «А корпус, корпус! — не унималась она. — Корпус какой?»

Корпус дома сообщил мне беспредельно возмущенный и взерошенный молодой врач. Когда позвонили в дверь и я с грехом пополам отпер, они с медсестрой ворвались так, словно брали давно осажденную крепость и намеревались не облегчить мои страдания, а смертельно изувечить. Сверля меня серыми глазами, врач крикнул, чтобы я, если умею писать, в чем он глубоко сомневается, немедленно взял карандаш и бумагу и записал номер корпуса. Как я понял из его запальчивой речи, в будущем это могло бы сэкономить литров тридцать бензина, который они сожгли, колеся по микрорайону. Я понял, что ждать милосердия от человека в таком состоянии — совершенно безнадежное дело, и снова повалился. Я слозил по дивану, а он смотрел на меня с отвращением. Было заметно, впрочем, что мои муки не приносят ему полного удовлетворения. Поэтому он засучил рукава и стал гневно мять мой живот, добираясь кулаком не только до кишок, но и до позвоночника. Я поскуливал. Медсестра тоже была очень милой.

Обследовав меня, они коротко посоветовались.

— Госпитализировать будем? — спросил врач.

— Не будем, — ответил я с последним испугом.

Он тут же подсунул мне какую-то казенную бумажонку, которую я молча подмахнул.

Сестра раскрыла ящик, извлекла блестящую коробочку стерилизатора, несколько ампул и принялась скрипеть стеклом. Когда она двинулась ко мне, угрожающе воздев сверкающий шприц, я собрал последние силы и спросил, стараясь придать голосу выражение надежды:

— Скажите, доктор, это со СПИДом?

— Других не держим, — буркнул он.

— Вытяните руку, — сказала она, наклонившись.

Игла вошла в вену, и еще до первого движения поршня я почувствовал облегчение. Она выдернула шприц, внимательно глядя мне в лицо.

— Отпускает?

Я кивнул.

Они сидели, врач барабанил пальцами по столу, а сестра иногда немного улыбалась.

Мир выплывал ко мне, как выплывает, должно быть, из толщи мутно-зеленой воды поднимаемый спасателями корабль.

— Ну? — снова спросила сестра, наклоняясь. На этот раз я почувствовал легкий аромат ее духов и заметил нежную ложбинку груди в треугольнике белого халата.

— Оживаю, — уверенно сказал я.

На меня необоримо наваливался сон, но я еще слышал, как они хлопнули дверью.

## 2

Серьезно болеть в мои планы никоим образом не входило, однако на следующий же день я, гонимый убежденностью в том, что за жизнь следует бороться до последнего, отправился в медицинский кооператив. Через неделю я получил целый ряд щедро оплаченных сведений, что в моих глазах несколько скрашивало их расплывчатость. Выходило так, что почечную колику может пережить всякий и

случается она по тысяче разных причин; что, возможно, причиной был камень, однако ни рентген, ни ультразвук этого камня не выявили; что почки у меня здоровые, но следует помнить о том, что спорт и рациональное питание, а вовсе не разного рода излишества и злоупотребления помогут сохранить здоровье; и что я должен на всякий случай попить таблетки. «Я вам пропишу, пожалуй, вот это... — сказал тучный уролог, пыхтя над рецептом. — Или нет, лучше, пожалуй, вот это... — Он посмотрел на меня, словно оценивая, перенесу ли я прием задуманного им препарата, скомкал рецепт, безнадежно махнул рукой и сказал: — Знаете что, попейте лучше ромашку...»

Ромашки у меня не было, а лечиться хотелось, поэтому я так и сяк примеривал к себе мысль о том, чтобы лечь на серьезное обследование — облачиться в линялый халат, слушать анекдоты, утром есть овсянку... Но, как это обычно и бывает, жизнь, выбитая было из колеи, катилась себе дальше, и уже через неделю, проводя мыслью по тому месту, где еще недавно бугрилась проблема, я обнаруживал почти идеальную гладь. Проблема рассосалась сама собой, и на этом все, казалось бы, кончилось.

А было лето, стояла жара, ночами донимали комары, невозбранно плодящиеся где-то в тухлой сырости подвальных коммуникаций, цветы стоили баснословно дешево и, главное, было кому их дарить.

Возможно, никогда в жизни я уже не вспомнил бы об этом неприятном происшествии, если бы однажды вечером не заехал к приятелю.

— О! — обрадовался он. — Заходи! Мы тут как раз выпиваем!

— Ну и дураки, — сказал я, расшнуровывая ботинки. — Знаешь, как алкоголь действует на почки?

— Сейчас обсудим, — сказал он, нетерпеливо подталкивая меня в спину. — Вот, знакомьтесь.

Из-за стола поднялся широкий и очень плотный человек лет сорока. Он был запотелым, как водочный графин. На нем были армейского образца брюки и майка квелого голубого цвета. Плечи из нее выпирали и бугрились.

— Шабко, — сказал он, протянув руку. — Прапорщик Шабко.

Я уважительно пожал его широкую клещеватую лапу, сделанную как будто пять минут назад в большой спешке из неоструганной доски. Шабко приветливо смотрел на меня, улыбаясь и часто кивая, словно заранее со мною во всем соглашаясь. На столе лежала охалка зеленого лука, сверкала редиска и пристальным взглядом обреченного таранилась большая яичница.

— Ну, садись, садись, — сказал Саня, берясь за бутылку.

— Я не буду, — не очень твердо сказал я. — Если только половинку...

Шабко развел руками, горестно улыбнулся и спросил:

— А шо ж такое?

— Видишь ли, — сказал Саня. — Ему недавно вырезали почку...

Шабко окаменел.

— ...а человек с одной почкой должен, на его взгляд, пить вдвое меньше...

Рюмки наполнились.

— Шо, правда? — с искренним ужасом спросил Шабко.

— Почти, — сказал я.

Мы выпили, закусив луком и редиской.

— Надо ехать на арбузы, — сказал Шабко. — Первое дело.

— Арбузы — это если камни, — сказал я. — У меня камней нет.

— Подожди, — возразил Саня. — Тебе же говорил этот коновал, что колика могла быть результатом сдвига камня?

— Сдвиг камня... — повторил я. — Ты обо мне как о будильнике... Сдвиг камня...

Семь камней... Анкерный механизм... Ну и что, что говорил? Если был, то маленький.

— Большой нам пришлось бы поставить тебе на могилу, — заметил Саня.

— Арбузы — первое дело, — повторил Шабко.

— В прежнее время пол-России ездило на арбузы, — мечтательно сказал Саня, берясь за бутылку. — Только тем и спасались:

— Мне половинку, — сказал я. — А куда ехать-то? Все кругом в удобрениях. От таких арбузов еще скорее загнешься.

Мы выпили и подробно обсудили эту проблему.

Между тем своим чередом наполнились рюмки, лук, как ему и подобает, хрустел, редиска оглушительно трескалась на зубах. Мизерное пространство кухни открывалось запахнутым окном в пропасть десятого этажа. На дне пропасти кудрявились деревья, неумно визжали железные качели, дети настойчиво бегали друг за другом, и было непонятно, дерутся они или играют. Противоположным бортом являлась сверкающая закатным отражением стекол стена соседнего дома.

— Да не может, не может человек жить в этом муравейнике! — говорил Саня, описывая рукой широкий полукруг, причем бутылка, поваленная им, была естественно ловко подхвачена Шабко, так что и капельки не пролилось. — Не может!

А если может — это не человек уже, а муравей! Насекомое! И ты мне скажи — нет, ты мне скажи! Почему тысячу лет назад, когда мир был чист как стеклышко, люди только и думали что о конце света, а теперь, когда до него рукой подать, никому и в голову не приходит об этом задуматься? А? Почему? Да потому, что это и есть его главный признак!..

Шабко то ли по складу характера, то ли по роду своей прапорщицкой деятельности вовсе не был склонен к эсхатологическим изысканиям, я же несколько лет назад решил, что онтологический конец света ничуть не страшнее индивидуального и отличаются они друг от друга только массовостью — как отличается личная зарядка от физкультурного парада. Поэтому говорили мы в основном не о смерти, а о жизни — о ее тяжелых сторонах, по преимуществу.

Беседа наша становилась все задушевней. «Слушай сюда!» — говорил Шабко, показывая мне растопыренную ладонь. Он начинал загибать пальцы и так, на пальцах, в два счета убеждал меня в том, что прожить на его зарплату с женой и двумя детьми невозможно. Я качал головой, и на лице у меня, надо полагать, было написано искреннее сочувствие, потому что Шабко, выдержав драматическую паузу, говорил опять «слушай сюда!», снова протягивал растопыренную свою грабку и опять-таки по пальцам расписывал мне целый ряд остроумных приемов, которые позволяют ему прожить не хуже других. Пальцы были похожи на клавиатуру фортепиано, на котором, как известно, можно сыграть гамму как слева направо, так и наоборот.

Уже смеркалось, света мы не зажигали, сидели себе сумерничали, время от времени чокаясь, а затем привычно хрустя редиской или луком. И мы уже на многое были готовы друг для друга — последнюю рубашку можно было отдать не задумавшись в этом уютном полумраке.

Собственно говоря, к тому и шло. Я обещал Сане немедленно, вот, может быть, прямо сегодня, позвонить друзьям и договориться о том, чтобы они привезли из Канады, куда в скором времени собираются, слуховой аппарат для его двоюродной тетки, которую в последний раз он видел девять лет назад, и уже тогда она была глухая, — а то что же ей, старой, без аппарата. Саня, бросая на меня растроганные взгляды, рвал в свою очередь ворот, клянясь, что Шабко может спокойно как белый человек ехать с богом в свой Грозный и стоять там дальше на страже мира и безопасности, а он, Саня, которому все это ровно ничего не стоит, сам в качестве дружеской услуги купит заказанные женой вещи — две куртки на десять и на двенадцать, четыре пары брючат, пальто — то есть, короче говоря, все, что ее душевнке угодно, и даже денег ему оставлять не нужно — что, у него денег нет, что ли? Шабко не хотел, видно, оставаться в долгу и потому божился выслать бандеролью тысячный кинжал, который недавно по-кунацки вручил ему приятель-чечен.

Когда совсем стемнело, мы включили свет и рассмотрели симпатичные, милые, дорогие черты друг друга. Было поздно. Саня принялся стелить Шабко на диване, я же, норовя попасть ногой в ботинок, слушал, как прапорщик толковал мне:

— Слушай сюда! Завтра я выезжаю! В четверг я дома! В пятницу — в части! А в понедельник позвоню!

Умиленный, я смотрел на него с нежностью.

— Так а шо же мне стоит?! — говорил Шабко, плаксиво кривясь и прижимая пудовые кулаки к груди.— Шо мне стоит? А места у них арбузные — у-у-у! Договорится — и поедешь! Ему еще полгода у меня служить! Шо он, для меня не сделает? Сделает! Он у меня вот где!

Шабко отнял от груди правый кулак и предъявил мне.

— Телеграмму даст! Вызовет родителей на переговоры! Договорится! И поедешь! Места там арбузные — у-у-у! Он рассказывает!..

Я растроганно кивал. Ботинок елозил, собака, по полу, а на ногу не надевался.

— Слушай сюда!..— повторял Шабко...

Мы сердечно простились, расцеловавшись и пожав друг другу руки, я вышел на воздух, оказавшийся ошеломительно свежим, и побрел к метро. Руки я держал в карманах. Мир был полон добрых людей, и поэтому спешить куда-либо было вовсе не обязательно...

Проснувшись, я хмуро изучил в зеркале помятую физиономию и умылся ледяной водой. Потом я заварил чай. Дымящаяся пиала несколько организовала бессмысленное прежде пространство. Я сел, подпер кулаком голову и задумался.

Вчера мы так и не выяснили, как действует алкоголь на почки, но было очевидно, что на мозг он оказывает совершенно сокрушительное действие.

Я хорошо представлял себе, как будут развиваться события, если я на самом деле обращусь к своим друзьям с просьбой насчет слухового аппарата. Для начала они осведомятся, нельзя ли этой штукой разжиться здесь, и мне придется мямлить, намекая на качество заграничных. Можно, разумеется, взять еще один грех на душу

и заявить, что аппарат нужен не Саниной, а моей собственной двоюродной тетке. Они спросят, сколько он может стоить. Откуда мне знать, сколько он может стоить! Они честно распишут мне свой нищенский бюджет, а я буду кивать трубке и повторять как заведенный: «Конечно, конечно...» В общем, дело совершенно безнадежное. И зря все-таки говорят, будто что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Еще вчера утром у меня, у трезвого, и мысли бы подобной не возникло!..

Но больше всего я жалел Шабко. Куртки, брюки, пальто и все прочее, вчера перечисленное, должно было, по моим представлениям, висеть на плечиках в магазине до второго пришествия, потому что ни один разумный человек, наобещав спяну все это купить и выслать, ни шага не сделает в сторону универсама. Но если мы с Саней отвечали только за себя, то несчастному Шабко предстояло держать ответ перед женой.

Надаться можно было только на то, что Шабко не хуже меня знает цену застольным обещаниям.

Я сел к телефону и набрал номер.

— Ты живой? — спросил я, когда Саня поднял трубку.

— Вполне, — ответил он.

— А Шабко?

— Не знаю. Вскочил в семь часов и унесся куда-то за мануфактурой. — Он помолчал и хмуро добавил: — В ночную мглу.

— Слава Богу, — сказал я. — Разумный человек. Ну пока. Кинжал потом не забудь показать.

Он даже не засмеялся.

И снова жизнь покатила своим чередом, спеша, словно неумелый рассказчик, закруглить одну историю, чтобы начать сразу несколько следующих. И снова все стало неудержимо отступать в прошлое под напором настоящего. И снова дни полетели, слоясь друг на друга, будто палая листва.

Но однажды меня разбудил звонок, телефонистка буркнула: «Говорите с Грозным!» — я услышал голос прапорщика, и в самое ухо по-солдатски бодро прокричал он мне несколько слов, являвшихся адресом и маршрутом.

— Слушай сюда! — ревел он, не рассчитывая, видно, на надежность связи. — Тебя ждут! Перед выездом дай телеграмму! А потом...

Что я должен был сделать потом, осталось тайной, поскольку связь и в самом деле оборвалась.

### 3

Присидевшись, трудно подниматься. Хоть все и жалуются на однообразие будней, на безвкусицу незаметного времени, невозвратно струящегося в мелкие поры незначительной суеты, хоть и толкуют о том, что жить так — это все равно что не жить, поскольку не остается ни памяти, ни следа, хоть и гомонят подчас за рюмкой о прежних днях, когда, бывало, рюкзачок за спину и — фьюить! — только тебя и видели все эти сидни, которым никогда не понять, как свеж мир, если смотришь на него с дороги, — а все же никто никуда не едет, предпочитая однообразие мелких удобств разнообразию тягот.

Как ни крути, но для того, чтобы сорваться с насиженного места, требуется определенное мужество.

Для того же, чтобы двинуть гостевать к совершенно незнакомым людям, предварительно установив с ними насильственный контакт по армейской линии, требуется, видимо, не только мужество, но еще и нахальство.

Отдавая себе в этом отчет, я колебался и никуда бы, наверное, в конце концов, не поехал, если бы не таинственное очарование фамилии: Акашевы.

Что за фамилия такая? — гадал я. Понятно, что не русская. Акашевы. Может быть, какие-нибудь кавказцы. Чечены там или осетины. Правда, Саня, принимавший активное участие в моих сомнениях и подначивавший меня немедленно ехать, заявил, что Акашевы — самая что ни на есть русская фамилия, возникшая в годы афганской войны и берущая начало от автомата Калашникова — АК. «Да перестань, — отмахивался я, пытаясь настроить его на серьезный лад, — лезгинская, может быть, фамилия. Даргинская, может быть...» «Кавказ — котел народов, — сказал Саня. — Может быть, даже табасаранская». Я насторожился. «Нет такой национальности», — сказал я. «Как же нет?» — возразил Саня. В качестве доказательства он поведал мне о споре, что произошел однажды в ресторане города Шевченко между ним и неким человеком, случайно оказавшимся за столиком. Поначалу тот был настроен в высшей степени дружелюбно, однако с течением времени помрачнел и незадолго перед закрытием стал требовать, чтобы Саня угадал его национальность. «Ты сначала мою угадай», — предложил Саня. «Что тут угадывать? — фыркнул тот. — Татарин!» Саня не стал его

разубеждать, а вместо этого заявил в свою очередь, что ему тоже ничего не стоит угадать. «Ну угадай, угадай!» «Табасаранец», — твердо сказал Саня. «Ну и что?» — спросил я. «Ну и ничего», — сказал Саня. — Он, оказывается, был татом, страшно обиделся и тут же, мерзавец, съездил мне по морде». «Ну? — спросил я. — А ты?» «И я съездил», — сказал он. — В общем, есть такая национальность — табасаранцы».

Так или иначе, мы сошлись на том, что фамилия явно кавказская, тем более что и по карте от дельты Волги до Кавказского хребта было рукой подать.

Я все сомневался, так и сяк прикидывая шансы на успех этой поездки, а уже попался мне совершенно случайно хороший чай, и я купил три большие пятисотграммовые пачки. Я еще не решил, еду ли, а чай уже стоял в шкафу, и слоны нетерпеливо переминались вокруг золоченого дворца.

Потом мне попалась колбаса.

Можно сказать, что поехал я в конце концов именно из-за этой колбасы. Она меня повязала по рукам и ногам. Конечно, если бы можно было в любой момент пойти в магазин и купить эту несчастную колбасу, я не стал бы ее хватать, когда она мне, как на грех, подвернулась. Но поскольку в магазине колбасы нет, а если есть, то в очереди не достанешься, я, разумеется, купил ее сразу, как только увидел. Я рассуждал так: если не поеду, то пристрою куда-нибудь эту колбасу, будь она проклята, а если не куплю сейчас, а потом соберусь ехать, то буду мыкаться как саврас по магазинам — и скорее всего безуспешно. Рассуждение было в общем и целом правильным, однако, оказавшись с колбасой на руках, было решительно невозможно от нее избавиться. Ну куда, в самом деле, деть пять килограммов сырокопченой колбасы? Я еще продолжал заниматься какими-то московскими делами, а в голове уже беспрестанно тикало: помни, помни, у тебя колбаса в холодильнике!

Именно колбаса перевесила в конце концов все мои сомнения, я купил билет на самолет, добрал кое-чего по мелочи — сыру, «Зубровки», каких-то конфет — и был готов.

И, как всегда это бывает в подобных ситуациях, проснуться пришлось затемно, когда еще звезды помаргивали в окно. Страшно хотелось спать, а есть совершенно не хотелось, но я все же закинул в себя какие-то бутерброды да еще и в сумку с собой сунул пару, потому что когда придется перекусить в следующий раз — было неизвестно. А выходя из дома, почувствовал вдруг тоску, неуют, пронизывающий холод утреннего воздуха и даже мгновенный прилив острого отчаяния: куда еду? зачем? кого встречу? что за люди? как они ко мне отнесутся? хорошо ли мне с ними будет? — полная, совершенная неизвестность.

Автобус летел по залитому ранним солнцем шоссе, мелькали кусты и деревья. Казалось, кто-то снимал нас, не жалея пленки и фотовспышки, — а это багровое светило, едва только оторвавшееся от горизонта, моргало за сводами, вспыхивая, пропадая и вновь слепяще появляясь. Порой автобус скатывался в сырой ложок, наполненный ночными тенями, а потом, упрямо загудев, взмывал к прежнему свету. Меня донимали вопросы, я задремал, покачиваясь в кресле, и в дреме поплыли ответы, облеченные в туманные картины предполагаемого будущего. «Наримановский район... поселок Кудыч...» — твердил я сквозь сон «Куда я еду? — спрашивал я сам себя и тут же отвечал: — В Кудыч!» Это слово — Кудыч — особенно смущало мозг. Кудыч! Кудыч! В нем слышалось бесконечное «куды?». «В Кудыч, в Кудыч!» — твердил я. А эхо откликалось: «Куды? Куды? На кудыкину гору? Куды, куды вам, не кудычьте...» В автобусе было тихо, все дремали, у шофера поигрывала музыка, гудел мотор, а меня обступали какие-то шальные дорожные голоса и трандычили на разный манер: «Кудыч! Кудыч! Куды вам? Кулек!.. Кулек! Пиши, в общем и целом!.. Кудыч?.. Куды ты!..» — и все это переплеталось и плясало передо мной, дразня своей губительной незавершенностью.

Автобус мчался по асфальту, а навстречу ему вставали какие-то просторы, огромный дом... собака во дворе... лепетание деревьев... резная тень на блистающих стеклах террасы... из обрывков тумана поднималось какое-то симпатичное усатое лицо... становилось безусым... вот вдруг бородастым... вот и борода пропала... оно нежнело, облекаясь явно женской плотью... Усмехалось, шурилось, приветливо глядя и произнося почему-то только одно слово — «хлопчик». Автобус качался, я стряхивал на секунду сон, недовольно смотрел в окно, провожая взглядом столбы и дорожные знаки; снова закрывал глаза и тут же, быстро построив еще один реалистический вариант будущего, в котором вообще ничего, кроме цветных линий и сполохов, разобрать было невозможно, мучительно задавался вдруг вопросом: а арбузы?! где я буду брать арбузы?! Еще не успевало погаснуть гулкое эхо этого восклицания, как уже выстраивался в центре какого-то села небольшой базарчик, коряво расползшийся потемнелыми дощатыми рядами по вызолоченному солнцем грязному майдану... теснились с краю грузовики... мотороллеры-фургоны... стоял гомон, шум... я шагал неторопливо, присматриваясь к терриконам больших арбузов... и какие-то старухи...

дети... женщины... наперебой предлагали мне... катили в мою сторону... похоже на кегельбан...

Меня растолкали добрые люди. Спотыкаясь и зевая, я побрел к самолету.

Моя соседка появилась, когда трап уже дрогнул, откатился метра на полтора. Я видел в окошко, как она бежала с чемоданом. Повалившись в пустующее кресло, она левой рукой схватилась за сердце, а правой извлекла пудреницу.

Затем она сообщила, что перепутала время, ехала на такси и таксист взял с нее сорок рублей; что не успела позавтракать, что ее не хотели пускать к самолету и что она все же прорвалась, лишившись, правда, двух пуговиц и зонтика; что зонтик у нее есть еще один, да и пуговицы, пожалуй, найдуся; что вот она доберется к вечеру домой, обнимет мужа, поцелует дочку, распакует чемодан, раздаст подарки, а потом примет ванну и навеки забудет весь этот кошмар, всю эту толкотню, давку, все эти аэропорты, самолеты...

Я вынул из сумки свои бутерброды. Глаза у нее заблестели. Жуя, она продолжала говорить, а потом спросила, смахивая крошки с коленок:

— А вы куда едете?

— В Кудыч, — сказал я. — Кудыч Наримановского района.

И пожал плечами. Большого я сказать ей не мог.

— О! — воскликнула она. — В Нариман! К казахам, значит!

— К чеченам, — поправил я ее. — Акашевы. Акашевы — это чеченская фамилия.

— Казахская, казахская! — не уступала она. — У казахов, у казахов будете жить! Акашевы, Айкашевы, Арташевы, Байгашевы — это все казахские фамилии! Да и вообще в Наримане одни казахи живут!..

Я поверил ей безоговорочно и сразу — может быть, потому, что бессознательно ждал появления человека, который бы смог толком объяснить, куда же я, черт побери, еду! Я ждал, вот он и появился, как всегда появляется то, чего тебе не хватает. Если ты хочешь о чем-то узнать — непременно придут и расскажут. Если тебе что-то нужно, возникнет человек, у которого этого просто завались, просто некуда девать, и он будет страшно благодарен тебе за то, что ты взял хотя бы часть. Честное слово, я никогда не хожу в библиотеки не потому, что мне лень, а потому, что нужные книги возникают сами собой. Если книга нужна — она обязательно и очень скоро появляется на столе: тебе предлагает ее почитать кто-нибудь из знакомых, ты находишь ее в подворотне или она падает на голову с крыши. Узор жизни непонятен, но осмыслен: ткач следит за разумностью орнамента. Одна моя приятельница захотела научиться готовить плов. Я привез ей казан, написал на бумажке рецепт, разъяснил что к чему, а потом сказал, что все, кроме зиры и барбариса, она сможет купить в магазине; и что я дал бы ей и зиру и барбарис, кабы они у меня были; однако мои запасы кончились и поэтому я не могу ей дать ни барбариса, ни зиры. Она покивала, взяла казан, помещенный мною в большую авоську. В метро она села рядом с каким-то человеком. Он долго косился то на нее, то на казан, потом спросил: «Вы случайно не плов будете варить?» Она кивнула. «Скажите, — спросил он, ерзая от нетерпения, — а зира и барбарис у вас есть?» Она ответила, что вот именно зиры и барбариса у нее нет. Тогда он засмеялся от счастья, расстегнул портфель, достал оттуда кулек и вручил ей. Теперь она сама учит подруг варить плов. «Лук, мясо, морковь, масло ты купишь в магазине, — говорит она, — а зиру и барбарис тебе дадут в метро...»

— Казахи? — переспросил я.

#### 4

Как известно в нашей стране каждому, в церквях могут располагаться не только склады, конторы, мастерские, небольшие заводики по изготовлению скоб и петель, юридические консультации и зубоорудные кабинеты, но даже и места отправления религиозного культа. Тем более никого не может удивить, что в церкви разместились автовокзал.

Никого это и не удивляло. Автобусы сюда, разумеется, не въезжали, но, как и в любом другом автовокзале, находились кассы, справочное бюро, буфет и газетный киоск. Возле каждого из этих заведений стояли или прохаживались люди, и на их лицах нельзя было заметить даже тени изумления. На второй этаж, представлявший собой хлипкое переплетение каких-то жердочек и перегородок, по-птичьи неловко вмонтированная под самые своды, где некогда клубился сумрак непросвещенности и аромат ладана, а теперь тускло освещивали сорокаваттные лампочки, вела сварная узкая, лепящаяся к стене лестница. Ее крутизна и очевидная ненадежность вкупе с упомянутыми уже гулками сводами навевали несколько праздничное, цирковое чувство удовольствия, с какимзираешь на чужое удалество. Небольшая табличка, прикрепленная к белому камню трехсотлетней стены, извещала, что там,

наверху, в этом дощатом курятнике, находится автошкола. По лестнице сновали люди, на их лицах тоже не было удивления, а на самом верху виднелись темные лики святых — эти и подавно ничему не удивлялись.

Было часов одиннадцать. Узнав, что автобус в Кудыч отправляется в пять, и на всякий случай купив билет, я, понуждаемый неприятным зудом в ногах, отверг все доводы разума и вместо того, чтобы, сдав сумку в камеру хранения, посвятить свободное время изучению города и чувству первопродничества, решил немедленно добраться до железнодорожного вокзала и уехать поездом.

Решив так, я почувствовал, что у меня испортилось настроение. Ведь, в конце концов, человек должен быть хоть немного разборчив в средствах! Вот ведь есть же у меня чудное средство — автобус! Куплен билет. Рейс вечером. Днем я могу пошататься по Астрахани. Увидеть Волгу, постоять у дома, где родился Хлебников. Пойти дальше по улочке, бормоча про себя: «Ах, молодчики-купчики, ветерок в голове...» Посидел бы на каком-нибудь трухлявом пне, поразмышлял бы о том, что некогда пень был деревом и поэт разглядывал птах, попрыгивавших в кроне... Как там про зинзивера? «...В короб пуза положил много всяких трав и вер...» Вер — это камыш. «О лебедино, о озари!»

Я поколебался еще минуту, вздохнул, поднял свою кладь и вышел на пыльную площадь.

В сущности, спросить дорогу до вокзала можно было у любого из тех, кто стоял или прохаживался у дверей. Я, однако, не спешил. Во-первых, это должен был быть мужчина. Женщины не склонны делать разницы между старожилом и приезжим. «Так это... До Солдатского доедешь, а там мимо Седьмого к Татарскому, а на Камушках налево, вот тебе и вокзал...» При этом Солдатский — это магазин, и ехать до него с тремя пересадками. Седьмой — тоже магазин, только его снесли лет двадцать назад, а на его месте разбили сквер, унаследовавший имя. Татарское — кладбище, но в действительности называется оно Воскресенским. Что же касается Камушков, то с ними приедем человеку и вовсе никогда не разберемся...

Однако и с мужчинами следует держать ухо востро. Среди нашего брата попадаются такие любители точности, что разговаривать с ними можно только наевшись предварительно гороху. «Далеко ли до вокзала?» — спрашиваешь ты у него, этак по-простецки улыбнувшись. «Далеко», — отвечает он, дав точный ответ на заданный вопрос. Есть такой у меня в друзьях. Однажды он пригласил меня к себе на дачу, мы встали на лыжи и долго бродили по лесу. Он свои места знает как пять пальцев, я же в тех краях был впервые. Мы ушли далеко от дома. Начинало смеркаться, снег голубел, небо над лесом бледнело, теряя последний румянец. Из кустов вышел какой-то изможденный человек. От него валил пар. Увидев нас, он остановился и повис на палках. Должно быть, он стоял на лыжах с самого утра. Усы его заиндевели. «Скажите! — хрипло обратился он, когда мы приблизились. — Так я выйду к железной дороге?» Он махнул при этом палкой куда-то в сторону мрачно чернеющего леса. «Выйдете», — сказал мой друг. Тот облегченно вздохнул и широким лосиным шагом двинулся в ту сторону, куда махал. Мы прошли еще немного и повернули к дому. «Слушай, — спросил я, пытаюсь сориентироваться. — Разве Колюбакино в той стороне?» «Разумеется, нет, — ответил он. — Колюбакино вон там, вон, где кривая елка». «Зачем же ты отправил его в противоположную сторону?» — изумился я. «Я его отправил? — в свою очередь изумился он. — Я только ответил на его вопрос. Выйдет ли он к железной дороге? Разумеется, выйдет. Он же не уточнял — к какой дороге. Если бы он сказал — к ближайшей железной дороге, я указал бы ему совсем другое направление». Он пожал плечами и покатил дальше. Мне ничего не оставалось делать, как следовать за ним. Но я часто оборачивался и смотрел назад, в чашу ночного леса...

Я заметил одетого в серый костюм казаха. Он стоял, лениво опершись о невысокий металлический заборчик. Было видно, что он ждет давно и занятие это ему наскучило.

— Вокзал? — переспросил он, отпуская заборчик, чтобы высвободить руки. — Вон ту улицу видишь? — Он махнул в подразумеваемую сторону.

— Вон ту? — уточнил я.

— Поперек идет, видишь? Вот по ней. а там на любой автобус!

— А сколько идти? — спросил я.

— Квартал идти, — ответил он; неожиданно глаза его еще больше сузились, он просверлил меня взглядом и спросил голосом, в котором не звучало даже отголоска надежды: — Ты знаешь, что такое квартал?

Я опешил. Разумеется, я знал, что такое квартал. Я с детства успешно пользовался этим словом. Более того, мне было известно, что происходит оно от латинского *quartus*, то есть четвертый; что означать может не только часть города, ограниченную пересекающимися улицами, но и часть года, а также часть леса, отрезанную просеками. Разбуди меня ночью, и я все про квартал отбарабаню без запинки, от зубов

будет отскакивать... Но когда тебе задают слишком простой вопрос, а ты не можешь и предположить, что спрашивающий хочет проверить самые верхушки твоих знаний или умственных способностей, невольно закрадывается подозрение, нет ли в этом вопросе какого-нибудь подвоха! Черт их всех тут знает, может, у них кварталом называется что-то совершенно иное! Кроме того, интонации его голоса и выражение лица неопровержимо свидетельствовали о том, что он заранее уверен в полном безумии моего ответа. Поэтому вместо того, чтобы отместить злополучный вопрос как явно провокационный и тем или иным способом выказать решительную уверенность в своих знаниях, я неожиданно для самого себя вяло пожал плечами и, попытавшись свободной ладонью обрисовать что-то похожее на квадрат, промямлил:

— Ну, квартал — это такое вот...

— Квартал?! — бешено воскликнул он, вздымая обе руки, а затем принимаясь рубить ими воздух. — Вот смотри: так улица, так улица, еще вот так улица... — Ему уже не хватало и локтей и ладоней, чтобы изображать перекрестки. Я тупо молчал. Видимо, осознав всю обреченность попыток растолковать мне это простое понятие, он с огорчением опустил расслабившиеся руки, в мгновение ока безжалостно разрушив все, что было только что им создано, шелкнул пальцами и уже совсем равнодушно сказал:

— А!.. Иди туда, сам увидишь...

И действительно, часа через полтора я уже сидел у вагонного окна, вагон постукивал: Астрахань со всеми своими домами, заборами, пыльными пустырями строек, Волгой, мостом, деревьями, снова заборами и пустырями и прочими неприглядными, оставляющими впечатление разрухи задворками, мимо которых всегда следует поезд, выбирающийся из города, отползала, отползала и скоро изгладилась совершенно. За окном теперь лежала бугристая степь, а то блестела вода, поросшая по краям желто-зеленым тростником. Вдоль полотна стояли столбы, на столбах провисшие провода, а на проводах сидели какие-то птички.

Куда я еду? — с тревогой спрашивал я сам себя, испытывая досаду при взгляде на очередное озерцо, проплывающее мимо. Вода немного рябила, сверкала; сверкал и берег, покрытый белоснежной коркой соли. Степь, степь! Да еще какая степь — вон даже песок буграми, барханы! Не степь — пустыня! А где же Волга, где рыба, осетры?.. В поезде было жарко, солнце лупило в мое окно, пересеть на другую сторону не было возможности, поскольку все было занято. Все куда-то ехали — но, надо полагать, все ехали по делу и знали, куда едут. Ехала бабушка-казашка с тремя внуками — один из них норовил сползти на пол, и для этого выгибался и скулил, а бабушка и внуки постарше держали его в шесть рук; от их группы исходили волны живой энергии. Ехала молодая русская женщина в роскошной мохеровой кофте и шерстяной юбке; я видел ее в окно, когда поезд притормозил на какой-то остановке по выезде из города — кофта была красной, а юбка черной; теперь она сидела рядом; кофта была по-прежнему красной, а юбка стала розовой, поскольку ее облепил мохеровый пух; женщина терпеливо обиралась, но юбка только розовела пуце. Ехал скуластый парень в тертом кушем костюмчике; усевшись, он вынул из кармана колоду карт и предложил сыграть; когда же все отказались, спрятал колоду, откинул голову и моментально уснул, причем лицо его разгладилось и стало почти невинным...

Я смотрел в окно и тосковал, понимая, что меня обманули. Поезд постукивал, но это ритмическое постукивание не рождало в душе никаких чувств. Я стал вспоминать, когда в последний раз ездил поездом, и вспомнил — это было года два назад. Я ехал в командировку, поезд был пассажирский, ехал не спеша, но и мне спешить было некуда; я лежал на верхней полке с книжкой, так же вот постукивали колеса, но тогда это постукивание рождало в душе — отчетливо помню! — некое ностальгическое умирление. Иногда я выходил из купе и стоял в коридоре у окна, и ветерок из его открытой верхней части шекотал лоб. Поезд часто останавливался, однако почти никогда никто не входил и не выходил; проводница привыкла к этому и даже не открывала дверей на остановках; три минуты стоянки протекали быстро, и снова тихо-тихо, понемногу ускоряясь, начинали плыть дома, деревья, штабеля шпал и вагоны. Однажды под моим окном пробежали два человека. Они несли по два больших чемодана. Первый не заметил меня, а второй остановился и крикнул растерянно и хрипло, воздев ко мне потное лицо: «Где рабочий тамбур?» Должно быть, они с напарником бегали вдоль всего состава и не могли найти ни одной открытой двери. «Где? — отчаянно вопрошал он, — где рабочий тамбур?!» Я был так разнежен стихшим на время стуком колес, так расслаблен покачиванием и покоем, что не смог сразу сообразить, в чем дело. Я пожал плечами и сказал: «Не знаю». Я думал, он плюнет и побежит дальше, ведь три минуты — это очень недолго. Но вместо этого он решительно поставил чемоданы на землю, еще круче задрал голову и, глядя на меня с отвращением и укором, разразился речью. Мое незнание подверглось глубокому анализу. При этом, надо отметить, он почти не употреблял бранных выражений. Он яростно стыдил меня, утверждал, что у таких, как я, нет ни ума, ни



совести, и даже сардонически расхохотался, показывая, как ему смешно меня видеть — дожил чуть ли не до седых волос и не знает, где рабочий тамбур! Он тряс в воздухе пальцем и топал ногой. Он был прав, разумеется, и я бы даже сбегал растолкать проводницу, если бы не столбняк изумления, сковавший меня в ту секунду, когда он бросил чемодан и начал речь. По-моему, он не сказал еще и половины того, что хотел, когда поезд медленно поехал. Я стал удаляться, а он не хотел быть оборванным на полуслове. Но и чемоданы оставлять ему не хотелось. Он поднял их и пошел за мной вдоль полотна. Поезд набирал ход, чемоданы были тяжелые, однако он все ускорял шаг, а потом побежал. Если бы не чемоданы, его хватило бы секунд на сорок. До сих пор не понимаю, почему он не оставил их там, где они стояли, — он всегда мог бы за ними вернуться, когда отдышался...

«Уеду! — думал я, малодушно примериваясь к тому, что скользило за окном. — Не понравится — соберусь да уеду!..» За окном скользила степь, солончаки, соленые, оставившие на пологих топких бережках избыток соли, озера. Поезд содрогался, тормозил у какой-то станции с невнятным тюркским названием, у разъезда, выспавшего к полотну дороги десяток жалких кособоких домишек, оставляющих впечатление дощатых, пыльный косогор и равнодушного верблюда вдалеке. «Уеду! — повторял я, уныло храбрясь. — Вот ей-богу, соберусь и уеду!» Ах, дьявол! Я уже представлял себе все неудобства подобной ситуации: приехал человек погостить ненадолго, но ведь не на два же дня! А если собрался уезжать — значит, не понравилось? Живут люди себе так, как умеют, а тут приезжает какой-то икс (не очень-то его и звали, между прочим) и нос воротит. Да и не могу я так: фырк, и уехал — не понравилось, мол, вот и уехал!.. Ах, беда! Ведь придется, придется теперь блох кормить дней десять, куда денешься! Сойти на ближайшем разъезде... дожждаться обратного поезда... с вокзала в аэропорт... только меня и видели! Я совсем уже было решил так сделать и уже чувствовал легкое сжатие чего-то в груди — то ли сердца, то ли еще чего, — всегда предшествующего принятию значительных решений, как вдруг вспомнил и чуть не застонал: колбаса! Колбаса, будь она трижды неладна! Куда ее? Не назад же везти!.. Я обреченно успокоился и снова уставился в окно.

Еще через час я взял сумку и направился в тамбур. Приближался разъезд, на котором мне следовало сойти.

Поезд остановился, проводница отперла дверь, посторонилась, я протиснулся к ступенькам, спустился, встал на твердую землю и оглянулся.

С небольшого бугра, на котором стояли дома и сараи, к поезду бежали какие-то люди. Они спешили. В основном это были женщины, но попадались и старики. Женщины были нагружены мешками. Одна катила большую садовую тележку, набитую арбузами. Старики несли связки сушеной рыбы — судя по цвету, позапрошлогодней.

Из поезда тоже посыпались люди. Так сбегаются два войска, чтобы начать крошить друг друга. Я отошел в сторонку. Между тем на воблу никто не обращал внимания, и ее владельцы в отчаянии ковыляли вдоль состава, тщетно оглашая степь призывными воплями. Зато арбузы шли нарасхват. Недалеко от меня худая смуглая казашка вынула из мешка и положила в пыль три больших арбуза. Она недолго поторговалась с каким-то солидным чернявым мужчиной в трикотажных бриджах и олимпийке, после чего он отдал ей деньги и стал топтаться, примериваясь к покупке. Все знают, что человек в силу своего физического строения не в состоянии поднять одновременно три больших арбуза. Вопреки ожиданиям, ему это удалось, но картина была явно противоестественной. Должно быть, и покупатель и продавец хорошо это понимали; во всяком случае, только этим я могу объяснить то удовлетворение, с которым оба воззрились на осколки упавшего арбуза — словно этот арбуз являлся необходимой жертвой, оговоренной условиями сделки. В голове состава что-то свистнуло. Мужчина заторопился. С двумя оставшимися управиться ему было легче. Помогая себе животом, он пристроил их под мышки и затрусил к дверям вагона. Он несколько раз попытался задрать ногу. Ступеньки были слишком высоки. Сверху на него с любопытством смотрела проводница. Снова свистнул тепловоз. Поезд дернулся, загремели буфера. Он нечеловечески ловко вывернул руку, чтобы, удержав арбуз, ухватиться вдобавок за поручень. Вторая часть замысла вполне удалась, однако арбуз при этом выскользнул, с победным треском грянулся о шпалу и развалился на восемь частей. Каждая из них сверкала и переливалась. Мужчина ошеломленно посмотрел на мясистые черепки, обливаясь и, видимо, не до конца понимая, как это такое может быть. Но зато теперь у него освободилась рука. Поезд медленно поехал. Мужчина снова схватился за поручень и в мгновение ока превратился в комок готовых к броске мускулов. Третий арбуз вырвался, когда он уже опустил левую ногу на пол тамбура. Кругом ахнули. Ахнул и арбуз — но для него это было смертельно. Мужчина окаменел, свесившись с лестницы. Все под ним плыло, удаляясь, — сухая трава, окурки, фантики и останки последнего арбуза. Он провожал их взглядом; под которым и Лазарь бы зашевелился в гробу. Вдруг он бешено, словно зверь прутья

клетки, затряс поручень и закричал в степь: «Ваш арбуз плохой! Ваш арбуз плохой! Ваш арбуз плохой!..» Он не уточнял, который из трех. Поезд набирал ход, уже шелестел воздух и постукивали колеса. «Ваш арбуз плохой! — надсаживался он, удаляясь. — Жулики! Жулики! Ваш арбуз плохой! Ваш арбуз плохой!!!» Вот уж верно говорят — не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Казалось бы, совершенно безвредное растение — арбуз, — а поставило человека буквально на грань умопомешательства!..

Он все орал, а поезд набирал ход, унося его, обливающегося слезами злобы и отчаяния, куда-то в глухую степь, где ему смогут посочувствовать разве что суслики. Поезд набирал ход и удалялся, и по мере его удаления оставшиеся теряли к слабо доносящимся воплям последние крохи интереса. Все расходились, оживленно переговариваясь. Женщины шагали належке, гомоня и смеясь, а старики тащили воблу и в разговоре ограничивались какими-то невнятными проклятиями.

Взобравшись на гребень плоского холма, я оглянулся в последний раз. Да, так оно и было, все возвращалось на круги своя, ничья печаль не могла поколебать оси вечного вращения: к разъезду с другой стороны приближался поезд, от поселка семенили женщины, старики упрямо несли воблу и моя казашка бегом тащила мешок с тремя новыми арбузами.

Что же касается меня, то я шагал по степной дороге, приближаясь к поселку с названием Кудыч. Я шагал по дороге, а в это самое время километров в четырех или пяти от меня некто Прокшина бежала по мосткам к лодке, нагнулась, добежав, стала развязывать непослушный узел, потом перелезла в лодку и стала махать рукой тем, кто остался на берегу; тот же ветер, что налетал на меня справа, дул ей прямо в смеющуюся лицо, быстро отжимая лодку от мостков дальше в озеро; я об этом знать ничего не мог, потому и шагал себе к поселку, с интересом разглядывая недалекие уже дома.

## 5

Прокшина то и дело смеялась. Она вскидывала голову, залиристо хохоча, а потом словно в изнеможении опускала ее, мотая, и волосы тряслись, а концы прядей раскачивались. Соловейко сидел у правой дверцы, а Прокшина рядом с Карзеевым, и часто, толкая рычаг переключения передач, он задевал ее полное колено, обтянутое зеленым вельветом брюк, и тогда ему становилось еще веселее. Соловейко после второй бутылки засмурел, но не от выпитого, а оттого, что Прокшина его шуткам почти не смеялась, а когда он, подсаживая ее в кабину, решил немного пощекотать, по-кошачьи зашипела и замахнулась. Он смотрел перед собой сквозь пыльное стекло, за которым набегала под колеса грузовика увалистая, но хорошо наезженная дорога, и немного оттопырившаяся нижняя губа придавала его широкому лицу выражение неприятной утрусости.

— Слышь, Семен! — крикнул Карзеев, скалясь и снова чувствуя, как словно током ушибло руку от обтянутой зеленым вельветом круглой коленки. — Слышь! Ленка завтра в душ пойдет, там-то мы ее и ушучим!

Он повернул голову и подмигнул обоим, взлаив отрывистым кашляющим смехом, успев схватить глазами ее лицо, казавшееся сейчас совсем молодым и свежим.

Прокшина хохотала, махала рукой, потом выговорила:

— Задвижка там! — И снова залилась, опустила голову, а потом, наклонив, на мгновение прижалась виском к его плечу.

— Задвижка... — нетвердо сказал Соловейко. — Задвижка... Дернул как следует — вот и вся задвижка!

Он засмеялся, толкнул Прокшину локтем и спросил, заглядывая ей в лицо:

— А?

— Да не толкайся ты! — недовольно сказала она, отодвигаясь ближе к Карзееву. — Не люблю, когда лезут!

— Ишь ты! — буркнул Соловейко. — Не любит!

И снова стал смотреть в стекло, оттопырив губу.

Дорога несильно пылила, кузов грохотал, ветер сносил пыль из-под задних колес вправо, и она желтым хвостом летела на траву, на холмистую степь, ртутно освещенную брезжущим за облаками солнцем.

Соловейко ткнул в рот папиросу, чиркнул спичкой, долго совался в ладони, сберегающие пламя; машину трясло, он прикурил, но обжег пальцы и выругался. В его представлении ошибкой было именно то, что поехали вдвоем: троем здесь делать было нечего. Пока сидели в вагончике, ему казалось, что Прокшина ждет не дождется, когда уйдет Карзеев; впрочем, именно она первой и заговорила о том, чтобы проехать до озера. Теперь же, когда ему все равно деться было некуда — не

пешком же назад идти! — он чувствовал, что поехал напрасно. Соловейко покосился на Прокшину и почувствовал одновременно злость и желание. Ему не нравилось, когда водили за нос, но волей-неволей гнев свой приходилось усмирять — не позволяло положение.

— Ну, все, сворачивай! — сказал он. — Здесь ближе!

Карзеев притормозил и стал съезжать на какую-то колею, лежавшую по склону увала. Машина закачалась, накренилась. Прокшина ойкнула, засмеялась.

— Слышь, Семен, как бы нам не перевернуться! — озабоченно сказал Карзеев и подмигнул Прокшиной, отчего она в ужасе прижала к груди ладони и снова захохотала.

— Ой, у меня дети! — выкрикнула она сквозь смех.

— Дети пенсию будут получать! — ответил Карзеев, осторожно руля. — Государство сирот не оставит! А, Семен? Не оставит ведь?

Соловейко буркнул что-то.

— Витечка, Витечка, не торопись! — повторяла Прокшина с преувеличенным страхом в голосе. — Дети ведь, дети!

— Ты сильно-то не бойся, — крикнул Карзеев, — а то другие дети не родятся!

Передние колеса ухнули в какую-то вымоину.

— Тише, тише! — недовольно сказал Соловейко. — Не видишь, что ли?

— Я бы сам тут в жизни не поехал! Я бы вон там поехал, вон, где прошлый раз ездили!.. Я бы женщину по гладкой дороге вез, а, Ленка? По гладкой-то дорожке хочешь проехать?

— С вами по гладкой дороге далеко заедешь!

— Втроем далеко не заедешь, — мрачно сказал Соловейко.

— А мне все равно! — выкрикнула Прокшина, хохоча и снова приваливаясь к плечу Карзеева. — Хоть вдесятером! Мне бояться нечего!

— Совсем нечего, что ли? — Соловейко несколько оживился. — Хоть вдесятером, говоришь? А?

— Да ради бога! Только где же десять мужиков-то нормальных найдешь?

— Нет, что ли, нормальных мужиков? — гнул свое Соловейко. Он закинул левую руку ей на плечи.

— Ну! Ну! Руки-то, руки!

— Ну вот, говоришь, нет нормальных мужиков, а сама упираешься! — сказал Соловейко, несколько удовлетворенный.

— Что ж я должна? — сказала Прокшина и хотела еще что-то добавить, но снова залилась и, наклонив голову, коснулась виском плеча Карзеева.

Карзеев чувствовал эти прикосновения, и всякий раз не то чтобы вздрагивал и не то чтобы ему совсем уж хорошо становилось на душе — не так уж ему нужна была эта Прокшина, чтобы стало хорошо на душе от прикосновения ее виска к плечу; напротив, брезжили сложности, связанные с местом и временем, да к тому же прежде у нее было что-то с Мишкой Капустиным, который в этом году командирован не был, остался в Калининграде; да и с Соловейко что-то было наверняка, недаром он бурчит; и по сумме обстоятельств ничего хорошего ждать от этих прикосновений не приходилось, — однако всякий раз Карзеев чувствовал, будто к плечу приложили что-то горячее — ну, словно кто-то ложку из стакана с кипятком вынул и приложил, — и невольно косил глаза, мгновенно выхватывая подрагивание ее груди.

Он проглотил внезапно набжавшую слюну, откашлялся.

— К мосткам подъедем?

— Давай к мосткам... — сказал Соловейко. — Тут в тине утонешь.

Они обогнули остроносый залив, въехали на холм, а потом снова спустились к зарослям. За ревом мотора не было слышно, как шумит под ветром камыш, но озеро рябило мелкой волной, кое-где срывались барашки, и если смотреть прищурившись, можно было представить, будто глядишь на далекое море.

Карзеев остановил машину и заглушил двигатель. Ветер мгновенно вымел из-под колес последнюю пыль. Камыш беспорядочно качался и скрипел, клочковатая жесткая трава вздрагивала так, словно по песку бежала дрожь.

— Ну, ну, ну! — заторопилась Прокшина. — Пусты-ка, пусты!

Она выбралась из кабины, постояла недолго, повернувшись лицом к ветру, пошла вдоль камыша, разглядывая проблескивающую воду.

— Ты кустики-то подходящие присмотри, — крикнул Соловейко. — Присмотри кустики-то!

Прокшина не оглянулась.

— Давай допьем, что ли? — спросил Соловейко.

Он достал из бардачка стакан, плеснул из бутылки, посмотрел, сколько осталось. Долил еще немного, протянул Карзееву. Нашарил в валявшейся под ногами сумке помидор.

— Ну, давай,— сказал Карзеев, кося в стакан.— Чтоб нам жить до ста лет. Ленке-то оставил?

— Хватит с нее,— сказал Соловейко.— Не задерживай.

Карзеев выпил, сморщился, надкусил помидор.

— Эх,— сказал Соловейко, выливая остатки.— Разве это жизнь!

Выпив, он помотал головой, осторожно выдыхая воздух, потом засунул в рот то, что осталось от помидора.

— Не смотри ты туда, не смотри,— сказал Соловейко, жуя.— Не даст она тебе. Соли нет?

— Откуда? — рассеянно сказал Карзеев, доставая сигареты.— Вон, посолонись пойдн...— Он кивнул туда, где поблескивало пятно солончака.

— Я ж не корова,— хмыкнул Соловейко.— Не могу без соли жрать. Никакого вкуса.

— На мостки пошла,— сказал Карзеев.

— Давай беги за ней,— предложил Соловейко.

— Сам-то что не бежишь? — спросил Карзеев.

— Я набегался,— сказал он.

Прокшина постояла на самом конце длинных, проложенных сквозь камыш мостков, пошла назад.

— Купаться-то будем? — спросила она, улыбаясь.

— Ветер-то какой,— неопределенно сказал Карзеев.

— Ты раздевайся, а там видно будет,— сказал Соловейко.— Заодно и искупаемся. Карзеев засмеялся.

— Да ну вас! — сказала Прокшина.— Сидите тут пнями!

Она повернулась и побежала к мосткам. Ветер трепал волосы, нежно мямл лицо. Ей казалось, что она бежит очень легко, словно стала почти невесомой. Она чувствовала на своей спине взгляды, и ей хотелось бежать еще легче. Может быть, ей казалось, что если она побежит так же легко, как бегала когда-то, она сможет испытать тот давний восторг, то биение сердца, от которого осталось лишь смутное, изредка приходящее воспоминание. Она стала смеяться на бегу, словно ее кто-то догонял, а ей хотелось хоть немного оттянуть тот неизбежный миг, когда он все же догонит, и схватит за руки, и обнимет, и повалит в траву. Никакой травы под ногами не было, она тяжело бежала, смеясь и задыхаясь, по доскам играющих под ногами мостков; справа и слева скрипел под ветром камыш, мотались метелки, пахло водой, прелью, ветер нагонял и трепал волосы. Добежав до края, она оглянулась, переводя дух.

— Эй! Эй! — закричала она, размахивая руками.

Никто не догонял ее, да она и не предполагала, что тучный Соловейко или даже Карзеев сорвется и побежит.

— Сидите там пнями! — бормотала она, торопливо дергая не желавший распутываться узел.

— Смотри-ка, лодку отвязала, что ли...— сказал Соловейко.

Прокшина стояла в лодке, махала руками. Лодка медленно отплывала от края мостков.

— Весла-то там есть? — спросил Карзеев.

— Наверняка,— сказал Соловейко.

— Смотри-ка, несет как,— сказал Карзеев.— Ветер. Во дает!

Прокшина стояла в лодке, размахивая руками и хохоча. Пространство воды между нею и мостками все ширилось. Она была одна. Соловейко и Карзеев остались на берегу, и неожиданно она почувствовала радостное облегчение.

— Что она не гребет-то? — спросил Карзеев.

Он распахнул дверцу и спрыгнул на землю, глядя в сторону озера.

— Эй! — закричала Прокшина.

Она уже взяла весло и тыкала им в воду. Ветер относил лодку дальше, весло не слушалось. Она испугалась.

— Эй! — снова крикнула она, стараясь засмеяться.— До свидания!

Волны поплескивали о борта. Лодка покачивалась. Прокшина оглянулась. Озеро простиралось вдаль, и где-то страшно далеко зеленел такой же камыш, желтели холмы. Она опять схватила весло, стала месить воду. Лодка повернулась к мосткам кормой.

— Второе весло возьми, слышь! — заорал Карзеев.— В уключины вставь!

— Вот же дура,— сказал Соловейко, выбираясь из машины.— Перевернется еще.

— Не перевернется,— возразил Карзеев.— Большая лодка. Ее танком не перевернешь.

Они торопливо шагали по мосткам.

— Гребн, гребн как следует! — заорал Соловейко.



двигалось. Он стриг ногами, чтобы подняться. Ветер холодил лицо и плечи. Вон она! Далеко! Карзеев оглянулся. Берег зеленел камышом, вот и белая полосочка мостков, вон машина чуть выше. Он тяжело дышал, глядя туда, где должна была быть лодка. А, вот же она! Далеко. Руки мерно работали, отталкиваясь от воды, тело скользило все дальше и дальше. А вдруг не догоню? — подумал Карзеев. Стих бы ветер! Если бы стих ветер, он бы ее тут же догнал. Ветер несет ее все дальше. Ему приходится гнаться за ветром. За ветром разве утонишься! Ветер не устает. Волна, плеснув в физиономию, залила рот на вдохе. Он закашлялся, долго фыркал, болтая в воде ногами, чтобы не погружаться. Толстые люди плавучи. А он даже в море не умел держаться поплавком — ноги вечно тонули. Стоило остановиться, как вода кругом похолодела. Ух! Он попытался взбодрить себя фырканьем. Раз, два. Правой, левой. Раз, два. Не так страшен черт, как его малюют. Раз, два.

Когда Карзеев поднял голову в следующий раз, он отчетливо понял, что догнать лодку не сможет. Ветер гнал ее скорее. Мне бы парус! — подумал он, тяжело дыша. Мышцы лица были напряжены, улыбки, наверное, не получилось. Дальний берег, тот, к которому несло лодку, был далек. Отсюда, с поверхности воды, все было далеко, едва видимым. Лодку несло, черной галочкой Прокшина торчала на корме. Лодка не переворачивалась. Такую большую лодку и втроем-то не перевернуть. Скоро ее прибьет в камыши. Через полчаса. Или чуть больше. Значит, и ему плыть полчаса — или чуть больше. Карзеев повернулся и поплыл назад, к мосткам, к берегу, казавшемуся ближе. Он и был ближе. Но ветер и волна били теперь в лицо. В спину они не больно-то подгоняли. А сейчас ему показалось, что он толчется на одном месте. Руки плескали воду, гнали ее от себя, но волна катилась в грудь, отталкивала назад. Он плыл и плыл, плыл и плыл, стараясь не смотреть вперед, потому что это только отнимало силы. А когда посмотрел все-таки, ему показалось, что не сдвинулся с места.

Если бы я был в лодке! — подумал Карзеев. Дыхание прерывалось, легким не хватало воздуха, чтобы освежить кровь. Дура! Дура! Есть же весло! Если бы ему это весло!.. Гребь себе с кормы полегоньку! Ну и что, что одно весло! Если бы два, так это совсем бездельница! Но ведь и одним можно! Гребь себе полегоньку с кормы, лодочка и пойдет!..

Ноги устали стричь воду, он погрузился на мгновение с головой, вынырнул, стал бить руками. Выправился. Сделал несколько гребков в сторону ближнего берега. Нет, это неправильно. Надо плыть все-таки туда, за лодкой. Он попробовал подняться в воде. Лодка едва виднелась на разрытом пространстве озера.

Он чувствовал ужас. Вода холодила тело, сковывала мышцы. Главное — не спешить. Помаленьку, помаленьку!

Он медленно взмахивал руками, но они почти уже не были способны грести. Ему подумалось, что, может быть, у мостков была привязана и вторая лодка. Просто они с Соловейко не заметили. Если бы была вторая лодка, он бы сел в нее и быстро догнал Ленку. Волна залила распяленный в попытке бесполезного вдоха рот. Он закашлялся, погрузился, судорога легких заставила вдохнуть еще. Он беспорядочно бил по воде руками. Хотел крикнуть, но не мог — горло было сдавлено.

Карзеев слепо сделал еще несколько гребков. Да, конечно, там же есть вторая лодка. Как же он ее не заметил! Вода залила рот, он закашлялся, погрузился, выплыл. Сейчас Соловейко отвязывает ее. Узел мокрый. Возитесь! Скорее бы надо! Скорее! Вот он отвязал наконец. Вода тянула его в себя, норовила слизнуть, спрятать. Карзеев хлопнул левой рукой и ненадолго ушел под воду. Отвязал! Отвязал! Два весла входят в воду и выходят, входят и выходят! Скоро он подгонит ее сюда, тогда Карзеев схватится за борт. Он вынырнул, выпучив глаза и содрогаясь в судорогах кашля, снова ушел под воду. Волна пробежалась по тому месту, где только что была его голова. Мама! Мама! Карзеев вынырнул, хватаясь руками за что попало. Лодка летела по озеру, подгоняемая мощными махами крепких весел. Вот сейчас он схватится за борт! Вот сейчас! Он вынырнул, ничего не видя. В глазах стояла зеленоватая муть. Вдохнул полной грудью. Вот он, борт! Карзеев крепко схватился за него, не оторвать! Вот он! Легкие вдыхали воздух. Светило солнце! Лодка снова летела вперед. Голова еще раз показалась на поверхности, высунулась рука. Карзеев содрогался, двигался, жил. Легкие вдыхали зеленоватую воду. Тело крючилось, пальцы свело на том, за что они схватились в последний момент,— это были водоросли.

Несколько вспышек в мозгу нарисовали перед ним напоследок картины будущей жизни.

Гришка сидит на корме, смотрит на озеро, и по глазам его видно, что думает он об утопленнике.

Черт его дернул вплавь за лодкой!

Озеро большое, Гришка этому озеру хозяин — взял у колхоза в аренду, рыбу разводит. Рыба в озере и так есть всякая, но у Гришки в питомничке малек зреет, воду клюет. Питомник маленький — тоже озеро, только совсем пустяковое. И пересыхает. Гришка насос арендовал, поставил на берегу, из большого озера воду качает.

Подрастет малек — Гришка его в большую воду пустит. А в питомник снова мальков. В большом озере им привольней, да мальков в большое пускать — только судака попусту кормить.

И невод у Гришки есть — тоже арендованный. И лодка большая. И все хорошо и ладно, да только теперь лежит на дне утопленник.

Ветер был, лодку отвязали. Лодку понесло. А он, значит, вплавь за ней.

Зачем было чужую-то лодку отвязывать?!

Неприятно, когда в твоём озере утопленник. Того и гляди всплывет.

Вчера невод у Гришки взяли — его удить. Да решили обождать. Невод на берегу валяется, а на берегу ему не место. Взять-то взяли, а назад не привезли. Говорят, еще сегодня, может, или завтра заведут. Ни фига не заведут. Не на чем заводить. Лодка одна, одной не справиться. Значит, новая забота — машину найти, невод погрузить, на место отвезти. Тьфу!

Хоть бы уж всплыл скорее, что ли... Вот морока! Не всплывает — плохо, всплывет — еще хуже. Чует Гришкино сердце, что придется ему с ним возиться!

Прямо руки опускаются, как подумаешь!

Раньше Гришка воду с удовольствием нюхал — у воды здесь свой запах, особый, рыбой пахнет, тиной, свежестью. А теперь уж который день как сетки проверять, так все глядит — рука за сетку не держит ли? Трепыхается там — это сазан или что? Блеснуло в глуби — это не глаза ли выпученные? Тьфу!

Уключины скрипят, весла хлопают, лодка плывет между камышовым берегом и камышовым островом, и чуть рыскнет, как залезает носом в камыш. Гришка шурится, а я оглядываюсь и начинаю сучить одним веслом. Камыш шуршит, клонится, лодка выбирается на простор. Весло, хлопнув, погружается в зеленоватую воду и вода смыкается вокруг, а потом, по мере его возмущенного рывка, бурлит и рождает правильную, узкую и глубокую воронку, отмеченную пузырьками и пухожую на стебель растущего в воде и расцветающего к поверхности цветка; весло завершило свою работу и вот шумно взлетает на воздух, роняя сначала струи, а потом только капли; а воронка все живет, и лодка проходит мимо нее так же, как мимо камышей.

Гришка сидит на корме и шурится, озирая воду и прогалы в зарослях. Рожа у него то так скрывается, то этак. Он вообще не красавец: курносый такой монголоид с мышиными глазами. Изредка он что-то бормочет, но поскольку уключины немилосердно скрипят (я время от времени поливаю их водой, но это мало помогает), а весла хлопают, разобрать ни черта невозможно. Впрочем, я уверен, что, если фраза будет содержательной, Гришка произнесет ее погромче.

Мы знакомы с ним четвертый день, но его озабоченная худая физиономия кажется мне такой близкой, словно она была первым, что я разглядел, открыв глаза в колыбели. В самый первый раз я увидел его выглядывающим из-под машины. Это было четыре дня назад. Или три? Дни такие длинные, что устанешь разбираться.

— Гриш, я когда приехал? — спрашиваю я, перестав грести.

— Когда этот утоп, — говорит он, кивая на воду. — Вечером.

— Во вторник. А сегодня четверг. Или пятница. Гриш, сегодня пятница?

— Считай... Этот утоп в понедельник... — Он снова кивает на озеро.

— Нет, во вторник, — говорю я. — Я же во вторник приехал.

— А тогда, значит... Считай. Этот утоп во вторник...

В общем, не разберешься.

Вот он опять что-то бормочет, я не выдерживаю, сушу весла и переспрашиваю нарочно зычным голосом:

— Что?

Справа невдалеке шарахается что-то в камышах — то ли рыба, то ли птица.

— Арбуз, говорю, надо было с собой взять, — озабоченно повторяет он — Приехал арбузы кушать, а не кушаешь!..

Он огорченно цыкает и качает головой

Я снова берусь за весла.

Арбуз! Тут не до арбузов!..

Правда, уже на пятой минуте моего гостевания Джамиля завела меня в дом, по-казахски крикнув что-то сыну тонким, выпевающим конец фразы голосом, и пока я мыл руки и смотрел в зеркало на свое ошалелое лицо, Гришка уже принес из сарая большой арбуз. Обоим хотелось узнать подробности о жизни некоего Кольки, брата Гриши, приславшего им недавно из Грозного письмо, я же, утирая губы и глотая свежую, какую-то даже чрезмерно сладкую мякоть, норовил рассказать им о прапорщике Шабко, но и этого сделать толком не мог, поскольку почти ничего о нем не

знал, а то, что знал, было не вполне уместно. Тем не менее я, утираясь и чавкая, не жалел самых радужных красок, с беспокойством замечая, что эта стезя может завести меня довольно далеко. Но очень скоро стало совершенно не до арбузов. Появился какой-то кудрявый человек, мельком поздоровался со мной по-русски, а потом затараторил, размахивая руками, отчего все пришло в движение: Гришка стал хвататься за голову, Джамиля всплескивать руками, кудрявый человек, очень довольный произведенным эффектом, взялся за ручку двери, Джамиля что-то сказала ему, но он покачал головой и выразительно поклевал пальцем по циферблату наручных часов; Гришка вышел вместе с ним, а Джамиля сказала мне нараспев: «В ильмене механик утоп». Я горестно закивал и тоже принялся с набитым ртом качать головой, лихорадочно пытаюсь сообразить, кем же приходится им этот несчастный механик, поехавший в Новгородскую область и ненароком утонувший в озере Ильмень. Однако Джамиля не рвала на себе волос, только пропела: «Как же это? Пьяный, видно, был...» — поэтому я немного ободрился и спросил, почему пусть и трагическое, но все же столь неблизко происшедшее событие имеет здесь такое значение.

— Как же! — сказала она. — Ильмень-то Гришин!

— Ильмень? — переспросил я, сбитый с толку. — Что такое ильмень?

— Ильмень? — спела Джамиля. — А вон там ильмень, за сараями... И у Гриши нашего ильмень... Вода. — Она задумалась и сказала, словно пробежала по трем тонким клавишам: — Озеро.

Я бы никогда не поверил, если бы мне сказали, что есть люди, способные за пять минут поставить на машину передние крылья, однако когда я, съев еще только один ломоть, вышел во двор, Гришка уже протирает стекло.

— Едешь, нет? — спросил он, отшвыривая тряпку.

Я понял, что период адаптации благополучно завершился, и едва успел плюхнуться на сиденье, как Гришка, уже успевший распахнуть ворота, бешено газует, вылетел со двора и погнался, объезжая поселок...

В общем, тут не до арбузов.

Конечно, я ем их, эти арбузы. Джамиля следит за мной, и чуть зазеваешься, как она ставит перед тобой большущее блюдо сахарных ломтей. Происходит это утром, пока мы еще не уехали, и вечером, когда вернулись. Утром еще куда ни шло, а вечером, натрескавшись арбуза и повалявшись спать, непременно просыпаешься в какое-то несуразное время, когда даже Цезарь по-мужичьи храпит, положив голову на лапы, — но тоже открывает глаза и в лунном свете сумрачно следит за тем, как я танцующей нервной походкой паралитика или официанта, стремящегося не пролить ни капли с полного подноса, семению к сортиру... Как выдастся минутка, так и залучает меня Джамиля есть арбузы!

— Арбуз! — кричит она. — Арбуз забыл покушать!

Но тут разве до арбузов!

Встаем рано, а все времени не хватает. Утром чаю попить, да сети высохшие потрести, да за комбикормом для мальков съездить... Да еще какая-нибудь мелочь подвернется — труба вон водопроводная потекла, и задний мост надо менять... Пока до озера доберемся — солнце высоко, двенадцатый час. Позавчера раковод из Краснодар на машине приехал — можно ли, говорит, раков наловить, он их с калмычками скрещивать будет и у себя в Краснодаре разводит... Слово за слово, тут еще утопленник этот — все ведь интересно: «Да как же? Да неужели? Пьяный был, наверное?» Раковод ражий мужик, энергичный, и шофер у него малый не промах — в два счета разбили бивак, вытащили из своего «УАЗа» барахло, расположились на берегу у вагончика Гришкиного — будто век здесь жили. Драгу вынули, показали — такой драгой они раков ловят. За лодку цепляют, она по дну ползет, раки вспрыгивают да сослепу в мотню попадают. Полдня Гришка драгу их на моторе по озеру таскал — ни хрена не поймали. Больше рыбы в драгу попадает, чем раков. К вечеру они решили дальше ехать — мало, мол, раков здесь. Гришка обиделся — мало?! Приезжайте через пару дней, я вам пока наловлю! Только нам раков этих и не хватало. Мальков кормить некогда, а теперь Гришка штук сорок раколовок откуда-то привез, рыбу мы теперь все больше в раколовки суем; ловим рыбу, на рыбу ловим раков. А раки не ловятся.

Пока все сетки проверишь, солнышко уже на закат. Гришка спохватывается — мальки-то! Едем на питомник, мешки с комбикормом переваливаем в лодочку — там у него тоже есть лодочка, без лодочки не обойдешься. Кружим по озерцу. Тут Гришка сам за весла садится. Лодочка маленькая, груженная, не слушается меня, куда хочет, туда и плывет. Гришку слушается. Он гребет, я помалу комбикорм за борт сыплю. Пыль от него, труха в глаза...

К вечеру нагребешься — руки не поднимаются. Машина бежит по дороге вокруг озера, край розового солнца торчит в степи, словно ломоть арбуза. И всегда на обратной дороге в одном и том же месте мы вспугиваем цаплю. Она не спеша бежит, взмахивая крыльями, и вот отрывается от воды или от земли — от отмели. И



безмолвно, в абсолютной тишине, словно погасив первым взмахом все окрестные звуки и шорохи — не только вой мотора не слышно, но даже и собственное дыхание,— начинает улетать все дальше и дальше, дальше и дальше в сторону розового солнца, отчего белое ее перо тоже немного розовеет,— низко, чуть только не задевая воду кончиками нежно пульсирующих крыльев. Длинную шею свою она изгибает строчным глаголом, укорачивает, а ноги в первую секунду полета торчат назад ненужными хворостинами, а потом тоже подбираются и пропадают. Так летает цапля над водой — плавно скользит она над поблескивающим стеклом, плавно и медленно взмахивает крыльями, низко и неторопливо улетает она все дальше и дальше...

— Что? — переспрашиваю я.

— Здесь вот, говорю, сетку поставить можно... — задумчиво бормочет Гришка.

Понятно. Я снова хлопаю веслами. Сетку здесь можно поставить, и там, и тут — всюду, в общем.

— И здесь бы вот надо было поставить... — бормочет Гришка. — Левай давай, левай, вон в том прогале ставили...

Как он их различает, прогалы эти, ума не приложу. Тут камыш, там камыш, вода одна и та же. Проголов этих сотни. Заплывешь — и мыкаешься потом, никак на простор не выберешься.

— Стой, стой! Куда разогнался! — кричит Гришка. — Вот поплавок-то!..

Я послушно табаню. Гришка перегибается, хватает и подтягивает сеть. Теперь я могу сидеть спокойно. Сеть стоит давно, заилилась, запуталась, с ней долго придется возиться.

— Раков тоже бери, — говорю я. — Все прибыток.

Гришка сопит, трясет сеть. Лодка качается. Протряся кусок, он отпускает его, тянет лодку дальше по сети, снова трясет. Вот показывается запутавшийся в капроне совершенно тухлый судак. Рядом три больших рака. Раков Гришка, по чести сказать, не любит — то ли боится, то ли брезгует. Я начинаю их выпутывать. Глаза на ниточках. Гришка возится с судаком, распутывает сеть.

— Затлел совсем... — говорит он. — Каждый день проверять нужно...

— В раколовки пойдет... — успокаиваю его я.

Только освободишь клешню, как он норвит тебя этой клешней за палец цапнуть.

— Вот ты, Гриша, говоришь — поганые... — бормочу я. Рак смотрит на меня так, как только и умеет — по-рачьи возмущенно. — А вот если бы этих зверей отвезти в Москву... да в пивняк какой... а, черт!.. Цены бы им не было!..

Гришка брезгливо бросает раздутого судака на дно, осмысленным строгим взглядом смотрит на рака, потом спрашивает деловито:

— Сколько стоит?

Яжимаю плечами. Раки пытаются по дну лодки, пока есть возможность. Доплывшись до упора, настороженно замирают. Зелено-коричневые, страшные.

— Ну, сколько... Копеек пятьдесят... Или рубль. Я, помню, лангустов ел, так три хвоста — шесть рублей. И это когда еще было!.. Наловил их мешка три, на машину — и айда! Сколько их в мешке? Штук триста. Вот считай — триста рублей мешок. Утром выехал — вечером в Москве. На другой день опять наловил — опять отвез...

— Ага, три дня уже ловим, сто штук никак не поймает. Это разве ловля!

Он снова начинает трясти сеть. Брызги тревожат воду.

— Ничего, скоро их тут будет — не протолкнешься!.. — говорит он, хмуро озирая озеро.

Должно быть, он представляет себе, как они облепляют сейчас где-то мертвое тело.

Я молчу. Солнце сверкает на воде.

— Хоть бы уж всплыл скорее, что ли... — говорит Гриша.

Он зло трясет сеть. Вот мелькает что-то золотистое, серебряное. Сазан! Он бьется, топорщит красное перо, разевает круглый губастый рот, глотая гибельный воздух. Замирает... Гришка быстрыми пальцами тянет ячеи, сдирает с него сеть вместе с чешуей. Швыряет на дно. Сазан падает на доски, бьется, прыгает как пропеллер...

Мы проверили еще три или четыре сетки. В одной ничего не было. Гришка вытащил ее из воды, мокрым слизистым комом бросил на дно лодки. Мы входили в прогалы, где мелкие пичуги перелетали по тростнику со стебля на стебель, с неразумным птичьим любопытством следя за тем, как мы тревожим стоячую воду. Солнце жарило по-летнему, вода стеклито покачивалась, голубела, отражая небо, и весло тоже успевало отразиться в ней, прежде чем расколоть. Говорить было незачем, потому что все было ясно без разговоров, и поэтому я греб молча, посматривая на пространство озера, на дальний его берег, желто-бурый, стorerший за лето. Было странно представлять себе, что где-то под водой лежит, мягко опираясь о нежную подушку тины, какой-то незнакомый мне человек, и глаза его не могут увидеть этого

серебра, золота, этой драгоценной эмали, усыпанной искрами. Я пытался представить себе, что он чувствовал напоследок, о чем думал... Вечером того дня прошел слух, будто видели какого-то человека, который шел от озера к поселку, не разбирая дороги, — там, где никто никогда не ходит. Поначалу сошлись на том, что это был механик Карзеев, не пропавший вовсе в глубине, а, как это свойственно пьяным, лихо переплывший водную гладь. Но то ли помстилось кому-то, то ли впрямь ходил кто-то по косогорам — только не механик, потому что механик и утром не объявился... Я налегал на весла, прикидывая, не могло ли быть здесь со стороны механика специального умысла: поплыл, спрятался, все решили, что он потонул, а механик жив-здоров пошагал куда-то по степи, ведомый тайным своим планом — сказаться мертвым, уйти, поменять имя и жить где-то совсем иной жизнью, вовсе не имеющей отныне ничего общего с жизнью механика Карзеева. В конце концов мне просто хотелось, чтобы было именно так. Кой толк валяться в тине, когда можно шагать по степи, чувствуя свободу от всего — даже от самого себя! И потом: что, мы все знаем о жизни механиков? Может, действительно у механика была такая жизнь, что решил он с ней расстаться и завести другую! Черт его знает, что у него там стряслось! Долги? Любовь? Какие-то обязательства, от которых он хотел навсегда избавиться? И вот нырнул, отплыл, спрятался, вылез на берег, продрался сквозь камыши и шагает сейчас по степи, и чувствует себя как никогда озорно и весело...

— Гриш,— сказал я.— А может, он и не утонул вовсе?

— А куда же он делся? — буркнул Гришка.

— Точно я тебе говорю! — настаивал я, не переставая работать веслами.— Он уже всплыть должен был давно! По крайней мере вчера! А он не всплывает! Все всплывают, а он нет! Почему? Да потому, что нет его в озере-то, нету! Ты до второго пришествия ждешь будешь, пока он всплывет! Говорили же, что видели кого-то! Кому тут еще было ходить? Кто от озера мог идти? Он и был, он!

— А, кто видел... Правей давай, правей!

Гришка махал куда-то рукой, я повернул лодку.

— Вон, видишь! Правей, правей!

Я еще ничего не видел, но сердце ухнуло и заколотилось. Работая веслами, я одновременно выворачивал голову, чтобы увидеть то, на что он указывал.

— Стой, стой! Куда?!

Гришка перегнулся через борт и выхватил из воды маленький сигнальный поплавок. Он потянул шнур, и я увидел, как сразу заколыхалась вода на одной линии, как закачались, выныривая, налитые водой почти до полна закупоренные бутылки, державшие длинную сеть.

Возмущенно сопя, Гришка рвал из дна колья, тянул, складывая на дно лодки. Сеть была полна дохлых раков, тины и тухлятины.

— Давно стоит! — сказал Гришка.— Это я зна-а-аю, кто ставит, зна-а-аю!

Я молчал, подгребая немного, чтобы ему было удобнее.

— Это я знаю... — бормотал Гришка.— Помнишь, вчера на мотоцикле кто-то ездил?.. Я ему руки-то пообрываю... Все сотлело... Бутылок навязал, чтоб не видно... По башке ему этой бутылкой!

Он выбрал сеть до конца, свалил ее поверх нашей, встал на корме, оглядывая ближний берег.

— На резинке, наверное, ходит... Подъехал, резинку надул, сплавал — и только его и видели... Это я знаю кто, зна-а-аю... Без спроса... Не помнишь, какой вчера мотоцикл был?

— По звуку, что ли? — Я пожал плечами.

— «Ижак» был, «ижак»... — пробормотал он.— Главное, без спроса... Ну, спросил бы, что мне, жалко, что ли...

Он отнял ото лба руку, ничего не высмотрев, сел на доску и сказал решительно:

— Давай, поворачивай, к Шайдулле съездим.

У мостков я привязал лодку, Гришка взял мешок с рыбой, и мы пошли к машине.

## 7

Я не спрашивал, кто такой Шайдулла. То и дело нам приходилось заезжать то туда, то сюда. Заезжали к Ахату завести два газовых баллона. Заезжали к Сереге закинуть мешок комбикорма. Серега в свою очередь заезжал к нам на огромном красном кормовозе, привозил арбузы. Все в Кудыче помогали друг другу, однако те, кому помогали, должны были помогать тем, кто помогал, — иначе могла оскудеть рука дающего. Вчера заезжали к какому-то старику, жившему на отшибе, почти на поддороге к озеру. Гришка отдал ему почти весь вчерашний улов. Они побеседовали минут десять. Старик все восклицал: «Нет, ну совсем сумасшедший — в воду бросаться!» На лице его отражался искренний ужас. Он качал головой и закатывал

глаза... Я стоял у машины и смотрел на двух индюков. Первый защемил второму подбородок клювом, тот надрывно визжал и неловко пятился, не чая вырваться — насильник деловито ступал за ним. На индюков никто не обращал внимания. Какая-то женщина посадила у дверей мальчика на горшок. Тут же появился второй. В руках у него была большая томная кошка. Он подошел к сидящему на горшке братику, подумал, потом стал совать ему в физиономию кошкину морду. Кошка жмурилась, мальчик в ужасе махал ручонками. Старший подумал еще, потом с усилием поднял кошку повыше и бросил ее братику на голову. Тот повалился вместе с горшком. Кошка обиделась и убежала. Маленький захныкал. Старший испугался, сел возле него, стал прилаживаться то так, то этак, намереваясь, видимо, восстановить прежний перпендикуляр. Вышла мать, ахнула, отвесила затрещину... Гришка стал прощаться. «Нет, ну совсем сумасшедший — бросаться в воду!» — сказал старик, пожимая мне руку. «Я у него лодку нанял, — сказал Гришка, когда мы отъехали. — Рыбой плачу. Видел маленькую лодку-то? Это его».

Гришка сел, захлопнул дверцу, поерзал на сиденье, усаживаясь. Секунду посидел неподвижно, словно раздумывая над чем-то. Вздохнул, выжал сцепление, повернул ключ.

«Волга» легко катилась по грунтовке.

— Хорошая все-таки машина, — сказал я. — Надежная.

Гришка быстро взглянул на меня. Он любил, когда хвалили его вещи — его лодку, невод, его озеро или его машину. Однако машина была старая, битая, выдавшая виды, и даже самый тщательный уход не мог ее сделать совсем хорошей; за долгие годы жизни с нее давно осыпалась не только родная краска, но и все необязательные свойства, присущие новым автомобилям. Она не могла усладить пассажира музыкой, если не считать тот нервный дребезг, что сопровождал движение даже на гладком асфальте. Она не была способна сообщить водителю ни одного из тех важных известий, что появляются у других на приборном щитке. Все ненужное давно отвалилось, отстало где-то на одном из бесчисленных километров, она умела только ездить, ездить — и все; но ездить она умела хорошо.

— Хорошая, — согласился Гришка, не заметив на моем лице улыбки. — Такую машину еще поискать! Вот только крылья бы достать новые, а то уж одна шпаклевка осталась... Да коробку бы еще...

Я кивнул. Хорошо бы старой «Волге» новую коробку. Как-то я попросился сесть за руль. Гришка легко согласился, однако долго еще потом тянул резину, между делом выпрашивая, как у меня со зрением, да водил ли я когда-нибудь машину, да не было ли у меня в роду буйных сумасшедших... В конце концов он нехотя уступил мне место. При попытке переключить передачу рычаг остался у меня в руке. Я растерялся и чуть не заехал в кювет. «Вот видишь, — бурчал потом он. — А говоришь, ездил...»

— Как бы нам поворот не проскочить... — сказал он.

Мы остановились на бугре, с которого озеро казалось большим овальным зеркалом. Гришка постоял у машины, глядя куда-то в степь, лежавшую перед нами мятым платком. Солнце висело на полпути к горизонту, и уже мелкая рябь фиолетовых теней начинала бежать по траве, по песку, по всему пространству бурой, выжженной земли.

Шайдулла мы увидели издалека: он стоял, как часто стоят пастухи, немного наклонившись, закинув руки на палку, лежавшую на поясице. Заслышав машину, он повернулся в нашу сторону, а вслед за ним и все стадо повернуло головы, чтобы так же спокойно и пристально смотреть, как мы подъезжаем, поднимая пыль и дребезг.

Но как только машина остановилась и мы выбрались наружу, коровы отвернулись, а Шайдулла, напротив, расплылся в улыбке и принялся восторженно кивать, протягивая нам руки и посмеиваясь с такой радостью, словно последний человек, которого он видел в своей жизни, была повивальная бабка, принявшая его от матери.

Сколько я ни встречал пастухов, все они, переняв нечто неудовимое от своих подопечных, выглядят диковато, слова говорят неясные, знают много такого, о чем простой человек и понятия не имеет: где какая трава растет, почему мух много. Зачем корове колоколец-ботало, и в каких камнях линяют ядовитые змеи. Различают они и птичьи посвисты, и шорохи в траве, и, подозреваю, так же легко понимают баранье меканье, как мы — вывески на магазинах.

— Гриша, Гриша! — лепетал он, посвистывая сквозь недостающие передние зубы. — Гриша, Гриша!..

Мы были одеты по-рабочему — в линялых, запачканных высохшей рыбьей слизью и чешуей штанах, в таких же зеленых, тертых и засаленных куртках, однако в сравнении с тем пиджаком, что лежал на плечах Шайдуллы, с теми брюками, сквозь одну из прорех которых глядела темная коленка, с той кепкой, что сидела боком у него на затылке, прижимая длинные пряди нечистых волос, которые, на мой взгляд, не были знакомы даже с пятерней, не говоря уж о расческе, в сравнении со всем

этим мы были одеты просто-таки по-царски и вообще являлись выходцами из баснословного мира, где по утрам чистят зубы и едят на тарелках.

Шайдулла, как-то по-особому приседа и не переставая кивать и посмеиваться, отчего тряслась его куцая монгольская бороденка, пожал нам руки, а меня вдобавок погладил по рукаву с выражением приязни и ласки: должно быть, это означало, что он рад со мной познакомиться.

— Ну что, Шайдулла,— сказал Гришка, усмехаясь.— Мы к тебе за коровой приехали.

— Какой коровой? — спросил Шайдулла, радушно улыбаясь и переводя счастливый взгляд с Гришиного лица на мое.

— Гость приехал,— Гришка кивнул в мою сторону.— Угощать надо.

Шайдулла немного призадумался, но скоро просиял и ответил:

— Ай, гость! Какой гость! Нужна, нужна корова!

— Вот я и говорю,— сказал Гришка.— Дай одну корову.

Шайдулла смотрел на него еще смеясь, но уже испуг начал появляться в его сошуренных радостью глазах.

— У Шайдуллы откуда корова? — спросил он, мирно улыбаясь и кивая так, словно Гриша и сам должен был вот-вот осознать свою ошибку.

— Так вон же сколько коров! — сказал Гришка и обвел стадо рукой.— Нам какую поплоче дай — и мы поедем. Гостя ведь надо угощать, а, Шайдулла?..

— Гриша, Гриша! — встревоженно сказал Шайдулла.— Это разве мои коровы? Это чужие коровы! — Он немножко посмеялся мне, качая головой, морщась, лучась глазами и вообще делая все, чтобы я тоже оценил Гришину шутку; однако испуг не покидал его — по-видимому, он боялся того, что Гриша будет настаивать на своей просьбе.

— Э! Чужие, не чужие! Пасешь ведь ты их?

Шайдулла заколебался, беспомощно оглядываясь и начиная понемногу уступать. Вдруг он сунул руку в карман, вытащил горсть каких-то грязных корешков и, униженно улыбаясь, стал совать их Гришке.

— Гриша! Гриша! — посвистывал он.— Сладкие, сладкие!

Видимо, он надеялся на то, что Гришка увлечется сладкими корешками и забудет о корове.

— Ладно, ладно! — сказал Гришка, засмеявшись.— Я пошутил, пошутил! Не нужна мне твоя корова! Ты лучше скажи вот что...

Шайдулла тоже засмеялся, облегченно просветлев. У него было очень загорелое, темное лицо, гладкая кожа, натянута на скулы так плотно, что глянцево блестела на солнце; что же касается возраста, я бы не решился определить его точнее чем между тридцатью и пятьюдесятью: глаза Шайдуллы были по-стариковски ясны и спокойны, а лицо совсем молодое. Он снова счастливо смеялся и кивал — по-видимому, с души свалился большой камень, и вот так-то, смеясь и кивая, сказал вдруг совершенно серьезно, так серьезно, что смех и кивки отчего-то только подчеркивали эту серьезность:

— Не добрый ты, Гриша, не добрый... Нужно быть добрым, не нужно обманывать... Зачем обманывать... Зачем обманываешь?

Улыбаясь, Гришка сконфуженно пожал плечами. Он мог бы захохотать, или свойски хлопнуть его по плечу, или просто подмигнуть — мол, чудак, шуток не понимает! Но вместо всего этого он сконфуженно пожал плечами, и я понял, что Гришка чувствует себя немного виноватым; и что он знал о том, что его просьба будет воспринята Шайдуллой совершенно всерьез; и что Шайдулла боялся его настойчивости не потому, что ему пришлось бы сопротивляться и усиливаться, выдерживая натиск, а потому, что он не смог бы отказать. Счастливый Шайдулла смеялся, ласково глядя на меня, глаза его светились, а я испугался, мне захотелось уйти или хотя бы отступить на шаг, и я так и сделал — отступил на шаг, чтобы пространство между нами немного увеличилось. Счастливый Шайдулла кивал и улыбался, но мир вокруг нас оставался прежним; мир лежал вокруг, бросив нам под ноги свой самый, может быть, тихий, самый мирный и чистый лоскут, но нельзя было быть уверенным в том, что в следующее мгновение он останется таким же и не расстелет вдруг иной ковер — со всей своей хищью, глупостью и обманом. Шайдулла смеялся, а я еще немного отшагнул, прислонившись к машине: мир мог оставаться таким, каким он себя понимал, каким хотел быть и становился, мог жить по тем законам, что избрал для себя, но лично мне не хотелось быть здесь его проводником, а в том, что так не могло получиться, я убежден не был.

— Ты лучше вот что скажи, Шайдулла... — Гришка махнул неопределенно рукой в сторону озера.— Кто-то сетки ставит. Ты не видел?

— Сетки? — Шайдулла поцокал языком.— Рыбу ловит?

— Без спросу... Ладно бы спросил — я б еще поглядел, разрешить или нет. Озеро-то мое! Я его арендовал, деньги за него плачу... ну, сейчас не плачу, так потом

все сразу выдерут! За насос плачу, за невод... Невод когда еще нужен будет — а я уже за него плачу!.. Все знают — и на тебе: ставят сети без спросу...

— Ц-ц-ц! — цокал языком и качал головой Шайдулла.— Все знают, все знают... Тут воров-то раньше не было...

— Это если я буду разводить, а все станут сетки ставить — что получится?

— Да, да! — кивал Шайдулла.— Если ты будешь разводить, то это твоя рыба, твоя... Как же можно — без спросу!

— Я и говорю! И давно стоит! Заилилась вся, тиной поросла... Видно, и рыба-то ему не нужна — так, поставил побаловаться...

— Нехорошо, нехорошо...— твердил Шайдулла, морща лоб.— Надо, Гриша, всю рыбу выловить, написать на каждой: Гришина. И снова пустить...

Шайдулла помялся своей шутке, а Гришка надулся.

— И так все знают, что моя...

— Гриша, Гриша! — сказал Шайдулла извиняющимся тоном, сияя и улыбаясь.— Твоя еще в питомнике! Ты ее в ильмень не пускал! В ильмене рыба еще не знает, чья она!

— Ильмень-то я арендовал! — рассердился Гришка.

— Гриша, Гриша! — свистел свое Шайдулла.— Ты разве ильмень с рыбой арендовал? Ты ильмень арендовал, чтобы свою рыбу в нем выращивать! Вот мальки твои вырастут,пустишь их в ильмень, тогда каждая рыбка любому скажет: не лови меня, я Гришина!

Шайдулла залил приветливым смехом, протянул руку, коснулся Гришкиного плеча и несколько секунд стоял так, как бы придерживая его или в очередной раз выказывая крайнюю степень расположения.

Гриша отступил немного, и тогда Шайдулла опустил руку.

— Ведь не все в ильмене — твое? — спросил он, не ожидая, впрочем, ответа.— Коровы воду из ильменя пьют...

— При чем тут коровы...— буркнул Гришка, недовольно морщась.— Что ты со своими коровами! Пусть пьют, жалко, что ли...

— Завтра там буду пасти...— сказал Шайдулла.— Напьются коровы твоей воды.. Вон их сколько!

Он махнул рукой, и стадо словно по команде медленно повернуло головы и посмотрело на пастуха.

— А, тебя не поймешь! — махнул рукой Гришка.— Да черт с ним, отдам я эту сетку, пусть дальше ставит! Чья сеть-то, Шайдулла?

— Не знаю,— сказал пастух.— Не видел. Спросит кто — тогда и отдашь...

— И так все одно к одному! Хоть бы этот скорее всплыл, что ли!..

Шайдулла стоял, оперевшись о свою палку, все так же как будто немного заискивающе посмеиваясь и кивая.

— Всплывет, всплывет...

— Когда всплывет? Пятый день пошел...

— Он сам знает, когда...— сказал Шайдулла.— Он сам знает...

Гришка сплюнул, сунул руки в карманы.

— Ты бы его поторопил, Шайдулла! — сказал он, усмехаясь.— Уж кончить бы с этим делом — и гора с плеч. А то вот калининградцы уедут, буду я тут с ним один возиться... Хоть бы при них всплыть успел, что ли...

— Успеет, успеет,— согласно кивал Шайдулла.— Завтра всплывет, завтра...

Гришка снова сплюнул.

— Завтра, завтра... Ты-то откуда знаешь? Может, всплыл уже, пока мы тут болтаем! Главное, его же забьет в камыш, он там и будет киснуть, ни хрена не увидишь... Если птицы только покажут...

— Нет, нет! — посмеивался Шайдулла, качая головой.— Сейчас не всплыл, не всплыл... Сейчас на дне. Завтра, завтра всплывет...

Он закинул голову, сощурился. Небо было почти чистым, только на западе стояли молочной пенкой несколько облаков да самолетный след отсекал с востока большую краюху.

— В это время и всплывет...— сказал Шайдулла.

— Эх, Шайдулла, Шайдулла! — Гришка повернулся к машине, открыл багажник.— Все-то ты знаешь! Даже про утопленников... Тебе в Сочи схать надо, в преферанс играть будешь... Богатым приедешь... Ладно, на вот, держи.

Он достал из мешка двух больших сазанов.

Шайдулла принялся застенчиво перетаптываться; посох он сунул под мышку, руки сложил на груди таким жестом, словно увидел что-то противоестественное.

— Все знаешь, а рыбы-то у самого нет! — съязвил Гришка.

Шайдулла выхватил из неубрятого, отвисшего махровой пастью пиджачного кармана какую-то тряпицу, встряхнул, отчего ее комок развернулся, осыпав меня хлебными крошками, ловко постелил на ладони и принял рыбу.

— Рыбка вкусная...— ворковал он, заворачивая тушки.— Гриша, Гриша! Это ты хорошо сделал, что рыбки мне привез... Я люблю... У меня картошка есть, Гриша!..

— Не может быть! — усмехнулся тот.— Ешь, ешь на здоровье.

Приплясывая от восторга, Шайдулла поднес сверток, из которого торчали рыбы головы, к уху.

— Гриша, Гриша! — ликовал он.— Слышишь, они говорят: Гриша добрый! Слышишь, что они говорят?

— Нет, Шайдулла! Они говорят: хорошо, что в Гришину сеть попали, а не в чужую!

— Это тоже говорят, тоже!

Шайдулла захохотал.

Гришка захлопнул багажник.

— Ладно, Шайдулла... Нам еще мальков кормить ехать. Смотри за коровами, разбегутся!

— Куда разбегутся? — удивился Шайдулла.— Куда им от меня идти? Нет, не разбегутся...

Он повернулся к стаду и, смеясь, прокричал что-то по-казахски.

Гришка покачал головой.

— Говорит, не ходите никуда, я вам хорошую траву покажу...

— Хорошую, сладкую траву! — подхватил Шайдулла.— Сам бы я ел такую сладкую траву! Они знают, Шайдулла не обманывает!..

Он просто сиял, когда мы начали усаживаться в машину.

— Эй, Гриша! — крикнул Шайдулла, кланяясь.— Передай подружкам этих,— он потряс свертком,— что их души уже сегодня будут в раю! Пусть тоже идут в твою сеть!

Гришка завел мотор, и машина, завывая на задней передаче, стала разворачиваться.

## 8

Уже темно, когда мы привязывали лодку и передевались, а на полдороге догнала нас быстрая, легкая ночь, чуть только светлеющая там, где совсем недавно село солнце, и въезжали во двор мы уже в темноте.

— Цезарь, ворота! — крикнул Гришка.— Ворота, кому говорю! У, дармоед!..

Цезарь неохотно встал, потянулся в обе стороны — прежде на передние лапы, а потом, переступая и хрипло скуля, на задние. Лениво, словно делая одолжение, он потрусил к воротам, вспрыгнул, уперевшись лапами в створку, налег, скребя когтями. Когда створка закрылась, он постоял, нехотя подошел ко второй, снова поднялся — широкогрудый, мощный, с тяжелой головой и крепкими лапами,— захлопнул и вторую, тут же повеселел и отбежал в сторону.

— Если б еще открывать умел, цены б ему не было,— устало сказал Гришка, накладывая поперечину.

В доме светились окна, слышался гомон телевизора, и когда Гришка распахнул дверь, на нас обрушился запах бараньей лапши.

Джамиля спела свои не требующие ответов вопросы, я сел на стул, чувствуя, как горит лицо, а в кисти рук будто налилась горячая вода. Чужой язык пощелкивал в ушах, словно птичье пение.

— Не всплыл? — спросил наконец Хайрулла.

— Нет,— ответил отцу Гришка.

Хайрулла пожал плечами. Его тяжеловатое, к вечеру потемневшее от щетины и будто чуть съехавшее книзу лицо осталось невозмутимым. У него был спокойный, цепкий взгляд, будто Хайрулла всегда успевал оценить предмет прежде, чем на него посмотреть. Он был черноволос, и волосы, в которых только кое-где проглядывала седина, лежали плотно, завершая собой такую же плотную, невысокую фигуру сорокавосьмилетнего крепыша.

— Ну, ну! — сказал он.— Ужинать, ужинать!

— Сейчас, рыба еще...

Мы снова вышли во двор и в два ножа принялись за рыбу. В свете переноски рыба кровь была краснее, чем на самом деле, слизь перламутрово сверкала на мешке и на лезвиях. Потом я взял ножи и, оттопырив руки, чтобы не перепачкаться, пошел к крану. Гришка сунул таз под струю, рыба зашевелилась, поплыла, словно была живой и хотела на волю.

Ветер к ночи посвежел, холодил плечи, пока мы умывались.

— Ну что...— сказал Хайрулла с особой, много говорящей задумчивостью.— Достань там, Гриша...

Гришка вынул из шкафчика рюмки и початую вчера бутылку, поставил на стол, сумрачно проследил за тем, как отец разливает водку.

Скрипнула дверь. Худенькая Гришкина жена, простое и нежное лицо которой всегда хранило отчасти любопытствующее детское выражение, тихо вошла, с улыбкой помедлив у занавески: на руках у нее был ребенок — наспулённая со сна девочка месяцев пяти.

Хайрулла взглянул на них, и на его каменном лице появилось что-то вроде улыбки.

Гришка тоже смотрел на них; лицо его сделалось немного удивленным, словно за день он успел забыть о том, что составляет его жизнь в пределах дома.

Женщины перебросились мягко стрекочущими фразами, и пока Джамиля подавала нам большие чаши с дымящейся лапшой, Марьям посадила дочь на палас, постояла над ней в задумчивости, с любопытством и тоже как будто с некоторым удивлением глядя, как она тянется к игрушкам и гукает, усмехнулась и снова бесшумно прошла мимо нас, на мгновение коснувшись своей ладонью ладони мужа.

— Ну что... — повторил Хайрулла.

Я поднес ложку ко рту, подул, чувствуя, как мутится в голове от запаха, потянул в себя, обжигаясь и хлюпая.

Ели молча, только раз Гришка буркнул что-то отцу, и Хайрулла так же неясно буркнул ему в ответ, а потом, потянувшись за хлебом, сказал отдельно:

— Четыре мешка выписал.

Гришка кивнул и больше не сказал ни слова.

Мы уже напились чаю, когда хлопнула калитка, взлаял и замолк Цезарь, видно, узнав знакомых, скрипнула дверь; кто-то вошел в прихожей, снимая обувь.

— Кто там, эй! — негромко сказал Хайрулла. — Семен, что ли...

Вошли сразу двое — один был тем кудрявым, которого я видел несколько дней назад, второй — низенький, с золотым зубом, немного топыривший грудь и все время улыбающийся во весь рот: именно он был Семеном.

— Джамиля! — сказал Хайрулла.

— Э, не надо, не надо! — затряс головой Семен. — Минуту посидим, дальше пойдём...

Джамиля налила им лапши.

Оба были немного под хмельком и, усевшись за стол, сразу принялись вышучивать Хайруллу, упоминая какие-то всем, кроме меня, известные события, — видимо, они действительно были очень смешными, потому что кудрявый просто-таки заливался.

— Ну, ну... — говорил невозмутимый Хайрулла. — Ешьте, ешьте...

— А что не наливаешь? — спросил Семен.

— Ты поешь, поешь, а то пьяный станешь...

Хайрулла придвинул им рюмки, налил.

Было похоже, что они многое готовы простить друг другу. Наверное, именно поэтому кудрявый спросил, поболтав в лапше ложкой:

— Что, Хайрулла, ты и гостя лапшой кормишь?

— Да, — подхватил Семен, качая головой. — Гостя — лапшой?

Оба засмеялись, переглянувшись с таким видом, словно Хайрулла прилюдно совершил нечто совершенно неприличное.

— Гостя — лапшой! — воскликнул кудрявый. — Да ты что, Хайрулла!..

— Ешь, ешь, — сказал тот. — Стынет. Пей, еще налью...

— Гостя — лапшой! — повторил и Семен, сокрушенно качая головой, но между тем выуживая из чашки большой кусок разваренной баранины и разламывая сустав.

— Ты, Хайрулла, забыл, как гостя принимают, — предположил кудрявый, улыбнувшись с таким видом, словно понимал, что забывчивость — грех не очень большой, поскольку свойствен всем; и что он ничуть не винит Хайруллу, а просто хочет напомнить ему всем известные вещи, что по чистой случайности ушли из памяти.

— Лапшой! — повторил Семен, смачно сгрызая хрящ и облизывая пальцы. — Подумать только!..

— Ешьте, ешьте... Проголодались... Сейчас вам Джамиля еще нальет... Не доедите — вон собака есть... Лапши много, ешьте.

— Слышь, собаку лапшой кормит! — сказал кудрявому Семен. — Гостя — лапшой, собаку — лапшой... — Он снова покачал головой, а потом с хрустом сжал крупные зубы на молочной кости.

— Ты бешбармак сделать должен! — воскликнул кудрявый. — Голову перед гостем положить!

Я знал, что речь идет о бараньей голове.

— Где голова? — с легким оттенком угрозы спросил кудрявый. — Где бешбармак?!

— Ешь, ешь, — сказал невозмутимый Хайрулла. — Лапши много, всем хватит. Не волнуйся. Джамиля, налей ему еще!

Он был невозмутим, спокоен, однако вдруг бросил на меня быстрый взгляд, и я понял, что дружеские шутки зашли дальше, чем ему хотелось бы; я не претендовал

ни на бешбармак, ни на баранью голову, однако этот мгновенный взгляд свидетельствовал о том, что Хайрулла сейчас чувствует себя неловко; что, стало быть, шутка шуткой, но кудрявый и впрямь поддел его как следует; что, видно по общему мнению, должен был Хайрулла положить передо мной баранью голову после бешбармака... Единственное, чем я мог ему сейчас помочь, это сделать вид, что так оно и было.

— Ну не каждый же день — бешбармак! — сказал я.

Хайрулла снова на меня взглянул; на этом лице трудно было что-нибудь прочесть, но мне показалось, что недовольства или растерянности на нем уже не было.

— Э, что ты пристал! — сказал Семен, кладя на стол кости. — Хайрулла — человек бедный, где он каждый день барана возьмет? Скажи спасибо, лапши налил!

— Спасибо! — с чувством сказал кудрявый. — Ракмет!

Хайрулла усмехнулся и сказал что-то по-казахски. Семен повалился от хохота на стол.

Кудрявый сразу как-то взъерошился. Он тоже посмеивался, но через силу.

Хайрулла еще что-то сказал, горестно качнув головой.

Семен и вовсе зашелся. Кудрявый стал распрямляться на стуле. Последние усилия задержать на лице хотя бы след улыбки привели к тому, что у него задрожали и побелели напряженные губы. Но вот глаза вспыхнули, он махнул рукой и ответил. Семен рвал на себе ворот рубахи. Хохотали все трое.

Ночь лежала над поселком, ветер лениво трепал листву дерева у ворот. Я сел на ступеньку крыльца. Подошел Цезарь, положил морду мне на колени, а потом вздохнул и растянулся у ног. Ветер шумел в листве, в хлевах дремала скотина, прислушиваясь, должно быть, к этому шуму; рыба в озерах пристально глядела сквозь черную воду, звезды мерцали над головой, и время от времени проплывало по ним темное пятно облака — будто человек на время закрывал глаза ладонями.

Гришка вышел из большого дома, зажег свет в сарае, повозил там с чем-то; свет погас, он вышел, постоял у машины, думая, наверное, все о том же — о крыльях, о заднем мосте, пнул колесо ногой, сунул руки в карманы, подошел и сел рядом.

Завтра пораньше бы поехать, — сказал он расслабленным ночным голосом.

Поедем, — кивнул я.

Гришка зевнул.

Был я у вас там, — сказал он. — Когда из армии ехал, два дня жил.. Билетов не было, так я ночевал на вокзале, а днем все ездил..

Я промчал что-то утвердительное.

Смешно! — Он и впрямь тихо засмеялся. — Все бегут куда-то, бегут!.. Я раз в метро за одним пристроился. Думаю: куда же бежит, дай посмотрю! Он бежит, бежит, я за ним — еле успеваю, честно... Он бежит, руками машет, прямо как на пожар... Бежали, бежали, выбежали к поездам, он прыг в вагон, я за ним — прыг! Двери закрылись, он встал, книжку вынул — и читает! — Гришка засмеялся. — Куда бежал, если все равно стоять надо?

Я снова помычал — мол, действительно..

Нет ну а как вы там живете, а? спросил вдруг он. Вот мне просто интересно как? А?

- Ну как.. — сказал я, хмыкнув. — Так же вот и живем..

— Не я бы не смог, — уверенно сказал он.

И вдруг Москва стала наваливаться на меня, словно проступая из-под свежей побелки: я оцепенело сидел на ступеньках крыльца, а она шумела в ушах, рябила в глазах, наплывая миллионом одновременно возникших, толкающихся, мешающих друг другу, перепутанных, большей частью заслоненных соседними картин: промчался поезд метрополитена, потекла толпа, запрудили все кругом машины, нескончаемый ряд лиц двинулся на меня из электрических вывертков, из мелких сполохов, сливавшихся в одно световое трепетание; выпрыгнул и, заслоненный чем-то другим, мгновенно исчез подъезд моего дома, скользнули, словно резко брошенные чей-то сильной рукой, пролетая перед глазами, какие-то ступени, автобусы, буквы, стены, руки, слова; пахнуло тоской, ненавистью, любовью, счастьем и безысходностью; сорвался и исчез чей-то взгляд, и еще, и еще, и еще один: вспыхнуло бешено смеющееся лицо Алевтины, запрокинутое, почти уродливое в этой гримасе восторга, и тут же уступило место ключьям дыма, вечно окружающим пасмурную физиономию Караванова; ахнул и оскорбленно закусил губу Болыц; слепяще возгорелись какие-то люстры, какие-то фонари и софиты; метнулись тени, сгрудились вокруг одной, корчащейся на асфальте; возникло губастое лицо Климова, хрипло читающего свои вирши, а вслед за ним побежало то, что было их содержанием; два санитара подошли к человеку, лежавшему на мраморе, перевалили его в носилки и понесли; эскалатор полз вверх, нижний положил рукоятки на плечи; мертвец прижимал к груди портфель, неловко всунувый одним из санитаров; крошки недоразжеванной таблетки белели на губах, и еще одна лежала под мертвым языком; эскалатор поднимался



выше, выше, к иной толчее, к иной сумятице, он всплывал следом за бессмертной душой, наверняка уже нашедшей выход из подземелья и растворившейся в дождливом небе; хлопнули и покатались голоса: какой-то фиолетовый, крупитчатый от прыщей человек выглянул и спросил гугняво: «По пятнашке будешь?»; и тут же завопил кто-то: «По две в руки! По две в руки!..»; и все, все — бестолочь магазинов, страх, речи, топот над головой, ораторы, деньги, дурман работы, гул и блеск, тепло, стон извивающейся в темноте женщины, злой телефонный звонок, нервное ожидание, смех, беспричинная радость детского голоса; и все, все, что окружало меня и держало при себе, все, что я пытался понять, осмыслить, оправдать и, оправдав, найти подходящее место, — все это, мгновенно соединившись в бессмысленный, сумбурный фильм, пролетело перед глазами, сведя душу резкой судорогой собственной жизни...

Я бросил окурочку и повторил:

— Так вот и живем.

И снова пожал плечами.

— Ну да, — вздохнул Гришка. — Ты тоже, наверное, думаешь: как мы тут живем? Тоже так вот и живем... Все друг про друга думают, наверное: как они там живут? А они живут себе... — Он помолчал и спросил деловито, как спрашивал всегда, когда дело касалось денег: — А почему рыба в Москве?

— Кто ее знает, — сказал я. — Ты спроси лучше, когда я ее в последний раз видел...

Что, спать, что ли, идти...

Гришка пошкрябал себя по щеке пальцами.

— Еще побриться надо. А то жена не пустит.

Он помолчал, потом сказал с усмешкой:

— А знаешь, я ведь ее украл!

— Жену?

— Ну да! Из армии пришел — ну, мы походили-походили, вроде жениться надо... А это целая история — свататься ездить, то-се, полгода пройдет. Ну, я ее посадил в машину, привез, отцу говорю: вот, жить у нас будет. Жена то есть...

— А он?

— А что он? — Гришка зевнул. — Пусть, говорит, живет. А сам утром к ее родителям. Уже ведь сбилось все, не поймешь — свататься, не свататься... Через две недели расписались. — Он довольно засмеялся.

Дверь маленького дома отворилась.

— Гриша! Гриша! — закричал кудрявый. — Куда луну дел? Ну-ка зажги, а то ничего не видно!

— Ничего, ничего, тебе много света не нужно, — заметил Хайрулла. — До первого забора добредешь как-нибудь...

— Ему не до забора, ему до канавы надо! — сказал Семен, шаркая в прихожей обуваемыми туфлями. — Это аж на тот конец идти, к правлению!

— Я-то дойду, а ты смотри не упади, ишь лапшой-то налился! Хайрулла, дай ему костыль какой, что ли!..

— Гриша! Открывай ворота, Семен в калитку все равно не попадет!..

Они еще постояли за воротами. куда вышел их проводить Хайрулла, поговорили о чем-то, а потом разошлись, и шаги поначалу были слышны, а потом пропали, словно оба поднялись над землей.

— Надо было отвезти, что ли... — сказал Гришка.

— Что за два дома везти! — Хайрулла покачал головой. — Дойдут. Ладно, все, спать пошел.

Гришка встал, я тоже поднялся.

Меня определили в большом доме, где жил Гришка с женой, и было еще довольно места, чтобы смогли, когда приедут, поселиться другие два брата — пусть даже и с женами. Я разулся, поставил туфли к стенке, по мягкому половику прошел зал, где было слышно только тиканье часов, зажег свет в своей комнате и сел на кровать. Это была комнатка, а не комната, — небольшая уютная комнатка, третья часть которой была занята стопой одеял под самый потолок, другая треть — широкой кроватью, и еще одна оставалась свободной. Дом был большим, просторным, в пять комнат. Все они, впрочем, были по-азиатски проходными, с огромными проемами, и только одна, вот эта, могла называться совсем отдельной.

Я сел на кровать и вдруг почувствовал себя страшно усталым. Нужно было гасить свет и ложиться, а я сидел и недовольно разглядывал уже достаточно изученные цветочки обоев. Вот тебе и степняки-кочевники; осели, капусту растят, дом отгрохали о сорока стенах, вместо верблюдов рыбу разводят в ильмене... А у меня пращурь хлебопашцы, а я, значит, и есть перекасти-поле — сорвался, приехал, на лодочке катаюсь... чувствую себя своим, а какой я, к аллаху, свой? Тут люди крепкие живут, не то что я — и дома нет, и рыбу я разводить не умею...!

Всегда так — если где нравится, то жаль, что не можешь себя почувствовать в доску своим.

Я вздохнул, погасил свет, откинул одеяло, разделся, лег, закинув руки за голову. Хлопнула входная дверь, Гришка прошлепал босиком по паласу, постучал и заглянул ко мне.

— Слушай, ты же арбуз забыл покушать!

— Да поздно уже, Гриш! Какой арбуз!

— Ладно...— Он почесал нос.— Завтра с собой на ильмень возьмем. И утром поешь, не забудь!

— Ладно, что там... Арбуз! Тут не до арбузов...

Я ворочался, думал о себе, о тех людях, к которым мне скоро уже нужно было возвращаться, и жизнь казалась совершенно никчемной, путаной, бестолковой; и зачем жил раньше — было непонятно, и как жить дальше — тоже было непонятно; и сравнить себя ни с кем было нельзя, потому что у всех все как у людей, а тут какая-то сплошная чепуха...

Потом я стал наконец засыпать, и перед глазами побежали всплески весел — плесь, плесь, плесь... Это было неприятно, я вздрагивал, смотрел в темноту, снова закрывал глаза, и опять — плесь, плесь!.. Скоро они стали как будто удаляться понемногу, превращаясь в посверкивающие пятна взбурленной воды. Я уже спал, я видел сон, но сон этот был отчетлив как явь и, главное, повторял ее во всех деталях; сон, который повторяет явь, совершенно не нужен, поскольку в таком случае вполне достаточно чего-нибудь одного, и лично я предпочел бы явь; однако я видел сон, и в этом сне мы с Гришкой сидели в лодке — мы плыли по озеру, проверяя сети, и уже довольно рыбы билось о деревянное днище.

Сверкала вода. хлопали об нее весла, сияло небо, бежали облака. Мы молчали, потому что протрясли уже много сетей. И еще много сетей ждало нас впереди.

Все вокруг было красивым и ярким, но мы уже не смотрели на эту красоту: мои руки немели, поднимая весла, чтобы затем опустить их в воду и толкнуть лодку дальше, а его руки были красны от воды, и сочились кровь из глубоких ссадин, нанесенных острыми плавниками.

А на дальнем берегу озера стояло стадо, похожее на россыпь коричневых камней, и пастух Шайдулла стоял рядом, держа в руках свой неказистый посох.

Вот он сказал что-то коровам, и они двинулись за ним. «Вот сладкая трава!» — говорил Шайдулла, обращаясь к одной, и она послушно шла туда, куда он указывал, и кивала головой, довольная, и ела ту траву, что показал ей пастух. «Вот тоже сладкая трава!» — говорил он другой, и она степенно приближалась и клонила голову к этой траве. «Вот сладкая трава...— говорил он, неспешно шагая по берегу.— И вот сладкая трава... Ешьте, это хорошая трава!»

Вот он остановился, оглядывая озеро и берег. Он засмеялся, увидев нашу лодку, и приветливо поднял посох. Но какая-то забота была на его лице, и тогда он неторопливо пошел к воде и не остановился там, где уже мелкая волна мыла корни растений, а двинулся дальше, ступив на волны,— и точно так же пошел по ним, как только что шагал по берегу.

Он шел, чему-то смеясь, и там, где он ставил ногу, радостно всплескивала рыба, пытаясь поцеловать его стопу. Белая цапля, нежно касаясь воды крыльями, летела за ним, и водоросли стлались по воде, чтобы ему было мягче идти.

И вот он остановился, смеясь и протягивая руку тем беспрекословным жестом, которого никогда я не видел прежде; и тогда забурили расступающиеся глубины, и медленно поднялось к солнцу мертвое тело... и вдруг зашевелилось... и взмахнуло руками... и Шайдулла снова засмеялся, довольный своей удачей, повернулся и пошел назад, а механик Карзеев поплыл за ним, держась за посох, фыркая, когда в рот попадала вода, и в крайнем изумлении шурясь от яркого света.

0

Утро выдалось пасмурным, и когда я вышел умыться, то увидел, что в пыли остались редкие пуговичные следы минутного ночного дождя.

Машины во дворе не было — должно быть. Гришка унесся спозаранку по одной из своих бесчисленных надобностей.

Я знал, что в поселке есть где-то книжный магазинчик, но добраться до него все не хватало времени. Сейчас тоже, конечно, бежать туда было не с руки — придет Гришка, будет меня ждать...

— Чай пей! — приветливо сказала Джамиля.— Гриша-то уже завтракал...

Я сел за стол, взял горячий баурсак.

— Куда он поехал? Я бы в книжный сбегал...

— В книжный магазин? — удивленно спела Джамиля.— Зачем?

Я пожал плечами.

— Ну, интересно... Купить что-нибудь..

— Книги купить? — еще более удивленно спросила она. — Так есть же книги! Нужно на шкафу посмотреть..

Я решил оставить свою затею. Джамиля поставила передо мной большую пярящую пиалу.

— Пей вот, — сказала она. — С барсуками пей, с барсуками..

В пасмурной теплой погоде есть нечто такое, что лично на меня действует как сильное успокоительное. Я сидел, пил чай с барсуками-баурсаками, косил глазом в комнату, где светился телевизор — шло утреннее повторение очередной серии итальянского фильма о борьбе с мафией. Это была сильная серия — поминутно стреляли, потом кто-то принял яд и захрипел, оскалившись во весь экран. Джамиля и Марьям смотрели телевизор утром. Впрочем, они вместе со всеми смотрели его и вечером, но вечерний просмотр больше напоминал сеанс гипноза — намаившись за длинный день, все, расположившись на паласах (я, впрочем, сидел на стул), осовело смотрели в экран. Хайрулла минуты через три начинал похрапывать. Джамиля, которая вставала в пять часов, чтобы убрать скотину, клонила голову на грудь. Гришка тоже сопел, да и я пару раз чуть не падал на пол. Позавчера транслировали длинное выступление Горбачева. Я зачем-то хотел быть в курсе событий и поэтому, преодолевая дремоту, слушал речь под всеобщее посвистывание. Когда оратор перешел к заключительной части, Хайрулла вздрогнул, увидев, должно быть, во сне что-то неприятное, открыл глаза, мутно повел ими на экран, хрипло воскликнул: «Он еще говорит!» — и, мученически махнув рукой, снова повалился на подушки..

Баурсаки были с пылу с жару — в кухоньке потрескивал на огне котел; и, когда Джамиля кидала в масло очередную порцию поднимался такой шум, словно все куски теста хотели немедленно оттуда выпрыгнуть. А через минуту она вытаскивала их, румяных и золотистых, старой шумовкой.

За воротами послышался автомобильный гудок. Я сунул в рот последний кусок, вытер руки о полотенце и, дожевывая на ходу, выскочил во двор.

— Арбуз! — трагически закричала мне вслед Джамиля. — Арбуз забыл покушать!

— Заскочим в одно место, — сказал Гришка, когда я плюхнулся на сиденье.

Мы просквозили поселок, нырнули в проулок к магазину. Какой-то толстый человек ждал Гришку у ворот своего дома. Гришка довольно долго втолковывал ему что-то и даже рисовал на бумажке. Наконец он пожал ему руку и вернулся.

— Сейчас еще в одно место заскочим, — сказал он.

Мы заскочили еще в одно место, где нас встретила хмурая старушка. Пес во дворе лаял и рвался с цепи. Я с опаской смотрел на него, тем более что когда мы поволокли тот лист железа, за которым приехали, мне, разворачиваясь, пришлось оказаться в непосредственной близости от собаки. Этот зверь был еще почище Цезаря, и, скосив глаза и топчась в ожидании, пока Гришка просунет свой край в калитку, я видел, как в горле у него при каждом хрипе что-то хищно пульсирует.

Мы принайтовали лист к верхнему багажнику и отвезли его на другой конец поселка, где и отдали очкастому парню. Взамен Гришка получил двухсотлитровую стальную бочку. Он пнул ее ногой, удовлетворенно прислушиваясь к гулу, и предложил мне немедленно браться. Мы выволокли ее со двора (здесь тоже была собака, но такая, что не стоила и доброго слова — сявка и сявка) и сумели каким-то образом закинуть наверх. Гришка вынул моток веревки и стал с пауцей сноровкой опутывать ее. Все равно бочка ерзала по крыше и норовила скатиться. Но ехать нужно было не очень далеко — до фермы. На ферме мы сгрузили бочку и ее укатил очень довольный человек в черном халате. Я ждал, что сейчас он выкатит нам ее полной или взамен бочки что-нибудь даст, однако Гришка отряс руки, сел за руль и, тоже очень довольный, сказал:

— Ну, все!.. Сейчас только заскочим в одно место..

Но потом, посмотрев на часы, махнул рукой, и мы поехали на ильмень.

Проглянуло солнце, а к поддороге и вовсе рассеялось, и степь засверкала крупными воды, разбросанной дождем.

— Плохой дождь, — сказал Гришка. — Маленький. Нужно бы побольше, а то скоро опять воду в питомник качать.

Два мешка корма лежали в багажнике, еще два — на заднем сиденье. Мы неторопливо переоделись, выволокли мешки. В сапогах хлюпала вчерашняя вода. Я спустился в лодку, Гришка, краснея и тужась, переваливал мешок, я принимал его на вытянутые руки и валился вместе с ним на дно. Лодка ходила ходуном, хоть и была привязана.

Последний мешок оказался развязанным, несколько горстей просыпалось в воду, и тут же вокруг крупниц прессованной травяной сечки замельтешили маленькие рыбки.

Гришка греб, лодка ерзала, не слушалась, шла то боком, то почти кормой, а он вдобавок норовил начать с вполне определенного места.

— Да увидят они твой корм! — не выдержал я.

— Нет, надо по-привычному! — сказал он, сопя.

Я присунул горловину к борту и стал, понемногу потряхивая, ссыпать корм в воду.

— Ты комками-то не сыпь, не сыпь! — крикнул он.

— Что же, если он весь комками! — огрызнулся я.

Но все же поколотил по мешку кулаком, чтобы разбить комки. Корм пылил, я шурился, оберегая глаза.

— Ты сыпь, сыпь! — командовал Гришка. — Что ты не сыпешь?

— То комками, то сыпы!.. — отвечал я. — Сыплю!

Второй мешок, развязанный, уже и полегче был, да и комков в нем оказалось меньше. Зато третий едва целиком не перевалился за борт, когда я стал его пошевеливать.

Гришка греб, лодка шла по большому кругу, отмеченному плавающей трухой корма. Лодка теперь шла лучше, двух мешков уже не было.

Он бросил весла и принялся вычерпывать воду консервной банкой.

— Течет, сволочь! — зло сказал он. — Заделывал, заделывал — все равно течет!

Мы кружили и кружили в середине этого небольшого озерца, я сыпал и сыпал корм. Когда он кончился, Гришка быстро погнал лодку к берегу.

— Пустая не течет, — бормотал он между гребками. — А нагузишь — течет!

Мы привязали лодку и постояли возле машины: рыба клевала корм и вода рябила.

— Ну что, — сказал он. — Давай сетки проверим... — Взглянул на солнце. — Если быстро управимся... мне бы надо было в одно место заскочить.

Мы сели в машину и покатали по грунтовке вокруг большого озера.

Я покосился на Гришку. Лицо у него было сосредоточенное, неласковое. Я и сам чувствовал какое-то недовольство. Все крутом было прежним, машина бежала по берегу, ильмень блестел, проглядывая за камышом. Я попробовал осознать: что же не по мне? И не нашел причину беспокойства. И отогнал от себя мысль, которая его объясняла.

Гришка подогнал машину на обычное место и заглушил.

Он бросил в лодку тяжелую охалпку сети, которую вчера мыл и вешал сушить во дворе, пробрался, хватаясь за борт, на корму. Лодка качалась. Я тоже ступил на эту колеблющуюся твердь, сел, поставил весла.

— Отвязывать не будешь? — с ядовитым интересом спросил он.

Я чертыхнулся, всгал, потянул за веревку; лодка стукнулась носом о деревянный брус; отвязал и оттолкнулся.

Когда солнце стоит в зените и совсем нет теней — да посреди озера откуда им и взяться? разве что от весла на воде... — кажется, что тебя специально осветили и рассматривают — как живешь? что делаешь? не шалишь ли? — точно как микроба на предметном стекле.

— Во... Тащится... — бурчит Гришка. — Коров моей водой поить...

Я оглядываюсь — и точно, россыпью небольших коричневых камней плетется стадо по отлогому склону к берегу.

— Правей, правей... В тот прогал...

Гришка вздыхает, хватается за сеть и принимается за работу. Эта короткая, но стоит в хорошем месте. Вчера здесь штук пять сазанов было и здоровущий злой судак, колючий как напильник.

Я подрабатываю немного веслами, хоть это и ни к чему. Гришка перебирает сеть руками, и лодка тянется вдоль нее.

— Да не плещи ты!

Лодка раскачивается. Он трясет сеть, бултыхает ею в воде, чтобы смыть насевший за сутки ил. Рыбы нету.

— Поймали два тайменя, — бодро говорю я. — Один с хрен, другой помене!..

Я вывожу лодку на чистую воду, налегаю на весла. Отсюда видно — вон метрах в ста поплавки.

Снова Гришка качает лодку, снова поднимает из воды и шваркает сеть; поплавки прыгают, словно сеть полна рыбы, — да прыгают они только сейчас, а пока не трясли, лежали себе спокойно.

— Переставить бы надо... — говорит Гришка. — Что тут держать без толку...

— Вчера-то была рыба, — возражаю я. — Вчера здесь и рыба была... сазаны... и раки тоже...

— Раки, раки... Нужны эти раки... Давай-ка туда, где большая стоит... А потом эту где-нибудь поставим, что ли... — Он пинает мягкий комок капрона.

Я налегаю на весла. До большой сетки не близко. Однообразное поплескивание весел, однообразный мягкий шорох воды о борта и днище, однообразные движения рук и спины — согнулся, потянул, разогнулся, забросил... Вода блестит, ветер утих совершенно, и далеко бегут от лодки по глади озера прямые усы. Мне вдрут

становится весело. Гришка хмуро смотрит мне в лицо. Я улыбаюсь, а он отворачивается.

— Не дольше чем на моторе, а, Гриш! — говорю я. — Возились бы с ним сейчас...

— Вот я его в Нариман отвезу... — говорит он. — Там кореш у меня лодочник. Вот он ему кишки-то прочистит... Правей давай, куда заваливаешь!

Я оглядываюсь, немного поправляю лодку и снова — согнулся, потянул, разогнулся, забросил...

— О! — говорит он через некоторое время. — Притоплена, что ли!..

Я присматриваюсь. Точно, сеть в самой середине немного притоплена. Ближе к нам виден поплавок, и с той стороны один или два. А середина провисла. Это значит, будет рыба. Обычно сом так притапливает сеть — залезет в ячею, запутается, а потом все норовит утянуть ее на самое дно. Сом, сом! — уговариваю я себя.

— Тише, тише! Разогнался!.. — бурчит Гришка.

Я задерживаю весла в воде, делаю легкий гребок от себя. Лодка останавливается, поворачиваясь к сети боком. Гришка перегибается через борт, вытягивает руку — и не достает.

— Подожди, сейчас!

Я делаю мощный гребок левым веслом. Лодка поворачивается. Теперь обоими! И правым! Гришка хватается сеть, а лодка продолжает движение. Я делаю гребок навстречу — р-раз! Вот и все. Лодка бортом к сети, Гришка держит верхнюю тесьму.

— Давай! — говорю я. — Тряси! Уснул, что ли!..

Не все же ему меня погонять! Я свое дело сделал!..

Гришка сопит, перебирая сеть руками, подтягивает лодку. Здесь пусто.

— Заилилась! — бухтит он привычно.

И шварк, шварк сетью об воду — полощет. Дальше — тоже ничего. Да еще рано судить, сеть длинная, а Гришка метра четыре всего протряс. Уж в середине-то точно сидит сом, как пить дать. Вон как притопилась! Сом! Сом! — суеверно твержу я. Лезет же в голову черт знает что! А это обычный сом, здоровущий такой сом!.. Ведь не утопленник же!..

— Откуда здесь ила-то столько! Три дня постоит — и обратно мыть надо! Мы ее вчера смотрели?

— Нет, — говорю я. — Позавчера.

Я поднимаю со дна лодки короткую толстую дубинку. Сейчас Гришка доберется до сома, а я ему тотчас дубинку-то и протяну. Гришка сморщится, коротко примерится и два раза резко ударит по широкой плоской башке. Сом замрет, короткая дрожь пробежит по черной скользкой спине... Сом, сом!..

— А-а-а! — дико вскрикивает он, отшвыривая от себя сеть стремительным движением человека, обнаружившего в руках змею или скорпиона. Вдобавок он разгибает колени, вскакивая, — сумма движений приводит к тому, что тело начинает переходить ту мыслимую границу, за которой центр тяжести неминуемо должен увлечь его за борт; Гришка взмахивает руками, пытается сохранить равновесие, — глаза у него выпучены, рот раскрыт, а нога между тем запинаяется о поперечину, когда он хочет переступить; и Гришка рушится в воду по другую сторону от лодки.

Я сию как сидел, оторопело глядя то на притопленную сеть, то на него, фыркающего в метре от борта. Я тоже вскакиваю, и тоже слишком резко — лодка гуляет; успев присесть и схватиться за борт, я протягиваю ему руку. Должно быть, взгляд у меня оторопелый. Гришка отстраняет руку, хватается за борт.

— Там!.. — говорит он, отплеываясь. — Там!.. Сидит!..

— Залезай, залезай! — кричу я. — Что ты барахтаешься!

Он налегает на борт, и лодка угрожающе кренится. Лодчонка-то маленькая, утлая; я перегибаюсь на другую сторону, чтобы он смог забраться; я перегибаюсь, невольно оказавшись над самой сетью. И вижу сквозь зеленоватую, взбаламученную воду какое-то белесое пятно — длинное, очертаниями похожее на рыбу, но для рыбы слишком большое.

Гришка валится на дно, в лужу, которую с утра никто из нас не удосужился вычерпать. Впрочем, повредить ему это уже не может.

— Давай! — кричит он. — Греби! Греби, мать-перемать!..

Он лежит на дне, норovia подняться, и все что-то никак не может это сделать нога оскальзывает.

— Да погоди! — говорю я. — Погоди!

— Греби! — повторяет он. — Давай отсюда, давай!

Глаза шалые.

Но вот садится, приходя в себя.

— Что? — спрашиваю я. — Куда грести?

Гришка молчит, озираясь.

— Ну вот так и знал! — говорит он. — Так и чуял!

Лодка легко покачивается на воде, снова все гладко, тихо. Только сеть немного притоплена, и в том самом месте, где притоплена, виднеется, если приглядеться, продолговатое белесое пятно. Но я стараюсь туда не глядеть.

— Так, — говорит Гришка. — Сигареты-то есть?

Я протягиваю ему сигареты и чиркаю спичкой.

— Куда, куда... — бормочет он. — К машине, куда... Что теперь... надо за ними ехать. Пусть вытаскивают... Доловились! Так я и знал...

Он снимает мокрую куртку, рубашку. Выжимает по очереди, влажными комками кладет на сухую сеть. Разуваается, стягивает брюки.

— Гриша! Гриша! — издалека, с берега катится по воде. Шайдулла размахивает руками и что-то еще кричит, но что именно, разобрать нельзя.

— Вот разорался...

Гришка швыряет окурок в воду, машет рукой.

— Ладно, погоди!.. Все равно им потом сюда таскаться... Еще лодку потопят, ну их к черту! К берегу отташим... а там уж...

Я осторожно подгребаю к началу сети. Гришка раскачивает загнанный в дно кол, выдергивает. Кладет на дно лодки, наступает босой ногой на осклизлое дерево.

— Понемногу, понемногу...

Он напряженно следит за тем, как сеть, тянущаяся за лодкой, тревожит воду. Я подгребаю, лодка идет полукругом. Вот и притонувшая часть сети начинает двигаться. Лодка сразу замедляет ход. Я продолжаю грести. Лодка тянет сеть, и сеть, загибаясь кошелем, тащит груз. Я подгребаю к другому ее концу. Гришка качает второй кол, вытаскивает, кладет рядом с первым.

— Не выскочит? — спрашиваю я. — Потеряем...

— Не потеряем, — говорит он. — Я увижу...

Я разворачиваю лодку и, стараясь мерно, неторопливо работать веслами, гребу к берегу...

## 10

То ли не было на дне никаких коряг, то ли нам повезло и не задели мы волочащейся за кормой сетью ни одной коряги, но так или иначе через полчаса лодка ткнулась носом в брус, я высочил на мостки и привязал ее. Гришка, свесившись с кормы, понемногу ткнул и свалился на дно лодки мокрое полотно сети. Он выбрал метров восемь, и то, что мы приволокли с собой к берегу, оказалось совсем рядом.

— Гриша! Гриша! — закричал Шайдулла. Он стоял неподалеку, поджидая, когда лодка причалит. — Рыбы много, Гриша?

Гришка перехватил сеть шнуром и привязал шнур к лодочной скамье.

— Теперь не сползет, — сказал он и, обернувшись, крикнул затем: — Иди, иди сюда! Навалом рыбы, навалом! Посмотришь, какую рыбу притащили! До сих пор руки дрожат!.. Мешок-то есть?

Шайдулла прошел по мосткам и встал рядом с мной. Несколько секунд он смотрел мне в глаза, по обыкновению кивая и посмеиваясь, потом немного согнулся и протянул руку.

— Шутит Гриша... — сказал он, улыбаясь. — Хочет снова обмануть Шайдуллу.

Он медленно подошел к лодке и остановился. Отсюда, сверху, было хорошо видно, что плавало метрах в трех от кормы.

— Нехорошая рыба, — сказал Шайдулла печально.

Гришка уже торопливо одевался у машины.

— Эта рыба не для нас, — сказал Шайдулла. — Это рыба Бога.

Он стоял, оперевшись на палку, кивал и бормотал что-то вполголоса.

— Короче, я поехал, — сказал Гришка. — Ты тут побудь пока... вон, с Шайдуллой... Я скоро. Скажу этим... и к Припасенкову заеду.

— Давай.

— Где их искать сейчас... — говорил он, уже садясь. — И брезент нужен. Ладно, поехал!

Гришка захлопнул дверцу, несколько секунд посидел неподвижно, глядя перед собой, потом вздохнул и повернул ключ зажигания.

Я снял куртку, постелил на землю и лег, запрокинув голову. Пламенный диск солнца висел в небе, чуть перевалив за середину своего пути. Плыли небольшие, но пышные облака, похожие на комья ваты, растрепанной ветром. Высоко-высоко и немного правее скользил коршун, и от того, что он был совершенно неподвижен и лишь свойства воздуха и тела несли его по выбранному круту, казалось, что он кружит вместе с небом и облаками.

А там, в нескольких метрах от меня, запутавшись в мокрой холодной сети — мертвый механик Карзеев. Заплыв его подошел к концу, и нечего было бояться, да

и делать было нечего — нужно было лежать, смотреть в небо, следя за полетом коршуна, и ждать, когда придет грузовик с калининградцами, и Гришка привезет капитана милиции Припасенкова.

Я приподнялся на локтях и посмотрел в сторону мостков. Шайдулла сидел на досках, скрестив ноги, посох лежал у него на коленях, и он немного раскачивался, словно напевая какую-то грустную песню.

Позавчера мы трясли эту сеть — и не было в ней никакого утопленника. А вчера был ветер, и вот, должно быть, мелкая волна потревожила его; и механик оторвал голову от мягкого ила — очень медленно оторвал голову, глядя сквозь воду совершенно мертвыми глазами, и двинулся по озеру искать пристанища... И нашел.

Я вздрогнул, когда Шайдулла встал и посох его стукнул о доски.

Сев, я потер лицо ладонями.

Шайдулла постоял на мостках, потом сошел на берег, приблизился ко мне.

— Что, брат... — сказал он, посмеиваясь. — Уже напился... Хватит ему пить... Вода здесь плохая, ее не пьют люди. Только мои коровы пьют эту воду. Людям нельзя...

Он положил на землю палку, снял пиджак, скинул растоптанные башмаки без шнурков, в которые был обут. Босые ноги переступили по земле.

— Что, брат... — снова пробормотал он, все так же посмеиваясь, но глядя уже не на меня. — Сейчас, сейчас...

Он неспешно подошел к воде. Справа от мостков камыш подступал вплотную, слева, где подходили на водопой коровы, оставался широкий прогал, а берег был вязок и илист.

Как был, в брюках и рубашке, качая головой и продолжая что-то бормотать, Шайдулла ступил в грязь, и ноги его погрузились выше щиколоток.

— Эй! — сказал я. — Шайдулла! Куда?

Он обернулся, смеясь, и сделал руками такой жест. словно брал на руки ребенка...

— Рыба пусть живет в воде, — сказал он, — а человеку нужно на землю... Ему лучше на земле.

Он сделал еще шаг, второй: было видно, что ноги вязнут. Брюки промокли уже до колен.

Держась руками за мостки, Шайдулла добрался до их края. Вода была ему чуть выше пояса. Он ступил дальше, но там уже начиналась глубина — Шайдулла попятился. Он толкнул лодку, чтобы она повернулась и он смог бы взяться за сеть. Лодка заколыхалась, нос был привязан, корма была отягчена сетью. Шайдулла снова дотянулся до борта, стал тянуть. Медленно, очень медленно поворачивалась лодка к мосткам; медленно тянулась за ней сеть, державшаяся на колышающемся теле. Мокрая сеть сверкала, тело блестело.

Наконец Шайдулла смог, перехватывая руками, взяться за корму. Он отступил назад, лодка уперлась бортом в мостки и замерла. Шайдулла немного протолкнул ее от себя направо и теперь взялся за ту часть сети, что оставалась в воде. Он неторопливо тянул, приговаривая что-то умиротворяющее, словно должен был вот-вот коснуться чего-то такого, что могло повести себя враждебно или испуганно, и поэтому сначала следовало объяснить, что от него, Шайдуллы, не следует ждать никакого зла.

Он выбрал сеть, и тело оказалось у самых мостков.

Я стоял на берегу, оцепенело наблюдая за ним.

Шайдулла замер в раздумье. Должно быть, он не знал, как действовать дальше. Тело было опутано, он мог бы вытащить его вместе с сетью. Но почему-то этот способ действий не понравился ему.

Шайдулла притянул тело к себе и, придерживая за плечи, стал распутывать сеть.

Вода рябила, сверкала, снова поднимался ветер; озеро серебрилось, и только что круглое отражение солнца превратилось в спящую рябь.

Он терпеливо возился, стоя по грудь в воде; вот оскользнул, схватился за мостки, снова взялся за свое.

Через несколько минут он сбросил последнюю захлестку, приобнял тело, обхватив его поперек живота, и двинулся к берегу.

Становилось мельче; он наклонился, подсунув ладонь под затылок механику.

Теперь я мог разглядеть его целиком. Довольно полное тело имело странный, неопиcуемый цвет. Живот был синим, к бокам оно желтело; на лицо я старался не смотреть.

Шайдулла выпрямился. Он снова стоял в вязкой грязи. Выбрался на твердое, неспешно подошел ко мне.

— Хватит ему воды, — сказал он, улыбувшись.

Поднял пиджак, брошенный на траву, и пошел назад.

Он снова ступил в грязь, потоптался, примериваясь. Приоттолкнул механика, отчего тот, заколыхавшись и заболтав руками, немного отплыл. Шайдулла постелил

на воду пиджак, притопил его ногой. Пиджак пускал пузыри. Шайдулла снова просунул руку под затылок, потянул вперед; теперь тело лежало на пиджаке.

Шайдулла наклонился, охватил полы, захлестнул их вокруг и, напрягшись, вытащил все вместе на берег. Передохнув немного, он снова взялся и оттащил утопленника метров на шесть от воды.

— Вот, вот... — бормотал он. — Вот тут сухо, хорошо... Хватит воды... Хватит... Хватит ила...

Он постоял минутку, присел на корточки, раскачиваясь и бормоча, провел рукой по его затылку, чтобы смахнуть ил. Опустился на колени, сделал то же самое тыльной стороной ладони.

— Нет, не хватит воды... Надо воды еще немного, потерпи...

Шайдулла поднялся, пошел на мостки, шагнул в лодку, взял жестянку. Зачерпнул, подошел к телу, вот опять присел и стал, понемногу поливая, отмывать лицо и волосы...

— Хватит ила, — бормотал он, улыбаясь и качая головой. — Пусть рыбы копаются в иле, раки пусть копаются в иле... Хватит, хватит...

Он не спешил и делал все как будто нарочито медленно, словно ему это было не противно и не страшно. Еще два или три раза ходил он за водой, приносил полную жестянку и так, постепенно, сантиметр за сантиметром, обмыл покойника.

Потом Шайдулла сел возле него, скрестив ноги, положил руки на колени. Иногда он поднимал ладонь, отгоняя мух, но его бормотание не прерывалось ни на секунду.

Так мы сидели на этом берегу — он возле механика, я в некотором отдалении, и тени легких облаков порою пробегали по земле, отчего все кругом начинало покачиваться и трепетать. Ветер стих, снова поднялся и снова стих, и опять озеро лежало голубой, золотистой чашей; солнце незаметно двигалось, двигалось и его отражение, шевелился камыш, проносились какие-то пичуги, коршун пропал, а потом снова взялся откуда-то — но уже в паре; а может быть, это был не тот же коршун, а два других.

От фигуры Шайдуллы, склонившегося над обезображенным мертвецом и что-то с улыбкой нашептывающего ему, от его темного посмеивающегося лица, от его ладоней, время от времени касающихся мертвой плоти нежным, ласкающим движением, исходил ток теплой, умиротворяющей силы. Может быть, сиди я чуть дальше, это струение, эти волны покоя и радости могли бы меня и не коснуться. Но я был рядом, я смотрел и постепенно начинал видеть. То, что еще недавно было слизистым комком распухшего мяса, лишь отдаленно напоминающим формы, свойственные нам, сидевшим на берегу, становилось в моих глазах телом человеческим, телом, разделившим плачевную судьбу всех тел, — судьбу, которую раньше или позднее должны будут разделить и все другие тела. Я смотрел на них в оцепенении мучительного, блаженного внимания. Шайдулла проводил ладонью по лицу, несколько дней назад живому и розовому, и всякий раз это движение вызывало во мне мгновенное сжатие души, которой приходилось сейчас понимать нечто огромное, великое, не способное быть выраженным человеческим языком. Мы сидели под голубой линзой неба, сидели на голом берегу, маленькие, почти невидимые с той высоты, откуда даже большое озеро кажется малой росинкой, случайно не высохшей под шелестящим напором ветра, и любое сомнение казалось детским, не требующим разъяснений или уговоров — ведь пройдет еще совсем немного времени и ребенок все поймет сам. Шайдулла бормотал и наклонялся, и под действием его бормотания пространство наконец-то становилось слитным, единственно настоящим, в котором невозможно отделить предмет от предмета, тело от тела, поскольку все соединено, спаяно и живо; Шайдулла бормотал, и мне казалось, что его тихие, недовыговоренные слова отчетливо слышны сейчас не только мне, но и во всех пределах этого пространства, и как сейчас я, говорящий на ином языке, без труда и напряжения понимаю их удивительный смысл, так и все, до кого они доносятся, понимают их и соглашаются с ними...

Должно быть, мы сидели так довольно долго, потому что когда я очнулся, солнце заметно продвинулось к западу.

Шайдулла поднялся, взял палку, постоял опершись, оглядывая озеро.

— Коровы зовут, — сказал он, засмеявшись. — Говорят: где Шайдулла?

Он подошел ко мне и покивал, не то прощаясь, не то утвердительно отвечая на какой-то вопрос.

— Он теперь далеко, — сказал Шайдулла, морщась улыбкой. — Уплыл!

Он еще больше сморщился, мелко засмеялся, глядя на меня так, словно я мог выругать его или замахнуться.

— Его не жалко, — добавил он, словно поясняя. — Его не жалею. Он далеко, далеко уплыл...

Шайдулла неопределенно махнул рукой, и взмах этот охватил не только озеро и часть берега, но и ясное небо.



Кланяясь и по-прежнему посмеиваясь, Шайдулла осторожно протянул мне руку, коснулся ладони и тут же отступил, кивая и радостно шурясь.

— Ты теперь не спеши... Его уже не догоним.

Он перехватил палку, положив ее поперек поясницы, закинул на нее руки и побрел по склону вверх, где стояло стадо.

Отойдя от мостков метров на сорок, он крикнул что-то, и коровы повернули головы, дружно на него посмотрев...

Машины показались минут через двадцать. По тому участку дороги, что лежал через пологий холм, катилась, поднимая пыль, Гришкина «Волга», а за ней — грузовая «КАМАЗ».

Гришка подъехал к самым мосткам. Рядом с ним сидел капитан милиции. Он вылез из машины, оказавшись седоватым, осанистым, гладко бритым и вообще, видно, холеным мужиком. Подойдя к телу, он постоял, вздохнул повернулся и снова сел в машину, положив планшетку на колени.

Из кузова «КАМАЗа» высыпалось человек восемь парней, а из кабины вслед за шофером и каким-то толстым, вытирающим лоб платком и отдувающимся человеком выбралась невысокая женщина лет сорока, одетая в блузку и зеленые вельветовые брюки. Она была довольно полной, брюки туго обтягивали широкие бедра, а на выпирающем животе их крепко держал красный капроновый ремень.

Спустившись на землю, она шагнула было к мосткам, но тут же попятилась, бросив взгляд на то, что лежало на траве, уперлась головой в железо капота и заплакала. Делала она это достаточно негромко.

Гришка сел рядом со мной.

— Вот, — сказал он. — Привез.

— Брезент давай! — орал кто-то в сторону «КАМАЗа».

Из кузова вылетел бурый комок скомканного брезента, хлопнулся на песок, подняв пыль.

Люди, подойдя к телу, стояли возле него не больше минуты и отходили подальше.

Капитан высунул голову в приоткрытую дверь и помахал рукой. Никто не обратил на этот жест внимания. Он сморщился и крикнул, прокашлявшись:

— Соловейко! Прокшина! Слышите? Протокол...

— Семен! — крикнул кто-то, услышавший этот зов. — Служба зовет! Эй!

Соловейко подошел к «Волге», наклонился.

— Садитесь, подпишем, — сказал капитан. — Прокшину позовите!

— Прокшина! — громко сказал Соловейко. — Хватит реветь, иди, тут дело!

Она подняла голову, замотала, отказываясь.

Соловейко чертыхнулся, подошел к ней, что-то проговорил. Прокшина мотала головой.

— Может, туда пойдём? — спросил он у капитана, вернувшись. — Не хочет сюда подходить. Бойтся.

— Что бояться! — сказал капитан. — Теперь уж бояться нечего...

Соловейко пожал плечами.

— Гриша! — крикнул капитан. — Можно, отъеду немного?

Гришка вскочил было, но потом махнул рукой.

Капитан завел машину, тронулся задом, развернулся и выехал на дорогу. Соловейко побрел туда.

На полпути он остановился, махнул рукой.

— Прокшина! Пошли!..

Женщина тоже двинулась к машине, как-то неуверенно шагая и вытирая лицо.

— Сейчас погрузят... — сказал Гришка, зевнув. — Домой поедём. — Он ковырял спичкой песок.

Двое постелили рядом с телом брезент. Распрямились, покрутили головами, отошли в сторону, закуривая.

— Сетку разобрать... — задумчиво сказал Гришка.

Вздохнул, поднялся, пошел к лодке.

Мы выкинули запутанную сеть на мостки. Гришка стал тереть ее, расправляя, и складывать возле лодки.

Люди возле тела стояли кучно. Было видно, что никому из них не хочется приниматься за главное. Почти все курили, двое то и дело поправляли брезент. Еще двое уже стояли в кузове, видимо, ожидая, когда нужно будет принять груз.

— Нет, не могу! — сказал Гришка, зло пнув мокрую кучу сети. — Пошли, ладно!

Нам еще вон сколько проверить нужно!

Он уже отвязывал лодку.

— Петрович! — зорал он, уже ступив в лодку. — Мы поедем, что тут!.. Еще вон сколько работы!

Капитан махнул рукой.

— Садись, садись! — заторопился Гришка. — Давай! Нечего!..

Он пробирался на корму.

Мы вернулись часа через два, и к тому времени берег был пуст, Шайдулла увел своих коров, а его пиджак, брошенный кем-то на доски, почти высох.

## 11

Обратный билет у меня был на понедельник, и оставшиеся дни прокатились так же быстро. Я уже сжился с озером, с Гришкой, мне нравилось кормить мальков и трясти сети, мне нравилось грести и возвращаться вечером усталым, чувствуя, как тяжелы и непослушны руки.

Должно быть, я вел себя хорошо — в том смысле, что не чурался работы, не строил из себя отдыхающего, ничему не удивлялся и не искал себе здесь, в Кудыче, места под солнцем. Как-то уже стало забываться понемногу, что я приезжий, и, видимо, именно поэтому однажды Хайрулла, строго проследив за тем, как я вешаю для просушки сеть, поманил меня пальцем и сказал голосом хозяина, обращенного к батраку: «Завтра с утра картошку копать!» Я кивнул, и только после этого он, помедлив, добавил: «Если хочешь, конечно...»

А отчего мне было не хотеть? Полдня мы копали картошку, извлекая ее из легкой рассыпчатой супеси, таскали ведра, насыпали мешки; огороды лежали за ближним ильменем, и отсюда, с пригорка, был виден за неширокой водой двор, и даже Цезаря мне подчас удавалось разглядеть. Приехал грузовик, мы закинули девятнадцать мешков, отвезли и сгрузили под навесом, а двор к тому времени был наполнен запахом бараньей лапши — и здесь было бы уместно спеть гимн бараньим супам вообще и бараньей лапше в частности, однако бутербродный век давно растерял необходимые слова... Вечером пятницы поднялась необыкновенная даже для нашей суматошной жизни суматоха — приехал сварщик, привез кислородный баллон и ацетиленовый бак, все вместе мы разобрали машину буквально по досточкам и до глубокой ночи возились, варя днище, крылья, жгли пальцы о раскаленное железо. Зато спозаранку мы погузились в обновленный автомобиль, Хайрулла сам сел за руль, и мы понеслись черт знает куда — в сторону Астрахани, которая замаячила перед нами часа через полтора, а потом и за нее, дальше, в Нариман — именно в тот Нариман, о котором грезил я в самолете... Нет, напрасно упрекал я казахов Акашевых в том, что они растеряли присущие им свойства степняков-кочевников! Напрасно! Ибо только степняк, все имущество которого помещается на верблюде, только человек, способный вечером раскинуть юрту, а утром сняться и пойти дальше, озирая из-под ладони бугристую степь, ни в одном из уголков которой нет его дома, поскольку вся она — его дом; да, ибо только кочевник может пролететь сто пятьдесят километров туда и столько же обратно, чтобы походить по большому гладкому полю, уставленному какими-то передвижными лавками, наспех раскинутыми ненадолго киосками и магазинами на колесах, с восторгом приобрести килограмм несъедобной пастилы, большой деревянный сундук и медную пельельницу; только степняк способен день-деньской сидеть там на земле перед сделанной наспех эстрадой, слушая концерт самодеятельности; и только степняк будет так реветь, напирая на ограждение, когда начнутся скачки и всадники погонят коней, скалясь, визжа и догоняя друг друга... Пять кругов, огромных кругов неслись кони, пыля и вытягивая шеи! А потом все шарахнулись, отступили, потому что появились напряженные в квадратные тележки верблюды; они кивали головами, хитрый человек тянул поводья, а верблюд стонал и вращал глазами. Удила держали их за ноздри, ибо именно так взнуздывают верблюдов — за нежные ноздри, сосущие воздух!.. С шахматным стуком летели они по степи, едва не пробивая ее насквозь своими тяжелыми лапами; тележки бойко катились за ними, и первая была расписана золотыми огурцами, вторая — малиновыми, а третья и вовсе выглядела фантастически красиво! Да и верблюды были покрыты цветными тканями, и, должно быть, понимали, как они прекрасны и величественны, как страшны и пугающи в своем титаническом беге!.. Один из них орал на бегу, и я думал, что в конце концов он вырвется, налетит на толпу и пожрет всех нас своей пламенной пастью — но все обошлось, только пара пьянчуг сцепились отчего-то неподалеку и покатались в пыль, матерясь и восклицая...

А утром в понедельник я собрал вещички, и на ильмень мы уже не поехали, только покормили мальков. Самолет был вечером, часа в два нужно было уезжать, и каким-то образом слух о том, что Хайрулла с сыном повезут гостя в Астрахань к самолету, пролетел по Кудычу, потому что появился кудрявый и о чем-то стал просить Гришку; оказалось в конце концов, что у свата Хайруллы тоже кто-то гостит и хорошо бы его нам отвезти.

Обед отчего-то затянулся, я немного нервничал, поскольку до самолета еще нужно было добраться. Но вот пришло время, мы сказали необходимые слова, я

потрепал Цезаря по загривку, а он лизнул мне напоследок руку, Гришка сел за руль, Хайрулла рядом, я уместился на заднее сиденье и...

— Арбуз!!! — закричала Джамия. — Арбуз возьми!..

— Да какой арбуз... — вяло отбивался я, поглядывая на часы. — Уже не до арбузов!

— Пойдем, пойдем... — сказал Гришка.

Мы пошли в сарай, и он стал пинать по очереди арбузы, приговаривая:

— Вот этот возьми... и этот хороший... и вот этот...

Я хорошо помнил, что человек в силу своей конституции не может поднять три арбуза разом; поэтому, потоптавшись, решил взять один, но большой. Это был действительно большой арбуз — килограммов на пятнадцать. Я едва-едва засунул его в сумку.

Мы окончательно простились, и машина выехала за ворота.

— Сейчас в одно место заскочим... — сказал Гришка.

Действительно, мы заскочили только в одно место — но попали как раз к обеду. Хайрулла стал обниматься с теми людьми, которых мы должны были везти. Их было двое — смуглый, какой-то уж очень черный, просто смоляной муж и белая-белая жена, смотревшая на него с простодушным умилением.

Нас посадили за стол.

И поставили тарелки.

Я знал, что отказываться бесполезно — если человек зашел в дом, его накормят непременно, даже если он сразу после этого умрет от заворота кишок.

Разговор за столом шел довольно оживленный. В какой-то момент мне показалось, что уместно и мне вставить словечко, и я заговорил, упирая в основном на то, что самолет ждать не будет. Присутствующие встретили мою речь плохо скрытым осуждением. Я махнул рукой и фаталистически решил про себя, что действительно, если нет большей роскоши, чем роскошь человеческого общения, то будет более или менее справедливо, если в крайнем случае я опоздаю.

Говорили между тем обо всем подряд — о болезни свата, о деньгах, о задних мостах, об аренде, обо мне (я вступил в терминологический спор с черным мужем; он утверждал, что в русском языке есть два слова — шурина и шурик, и что обозначают они совершенно разные вещи; я же, глядя на часы, твердил, что шурик — это что-то вроде уменьшительного от шурина. «Нет!» — сказал он. «Ладно, — сказал я. — Приеду — в словаре посмотрю»). Он фыркнул и протянул: «В словаре-е-е-е... Где ж такой словарь найти?»), о Гришке, об утопленнике и еще много о чем-то таком, чего я не понимал, поскольку говорили по-казахски.

Наконец Хайрулла сам посмотрел на часы, сложил губы бантиком и заметил, что можно ехать.

Все понемногу зашевелились. Первым, разумеется, вскочил я.

Сватья, искоса поглядывая на меня, заговорила о чем-то с Хайруллой.

— Слушай!.. — сказал он мне, покачав головой. — Сват у меня болеет... поговорить с тобой хочет.

— Поговорить? — переспросил я, взглянув на часы.

— Поговорить, да. Лекарство там какое-то...

Я разозлился. До рейса оставалось два часа. У меня еще была слабая надежда, что мы успеем. Если бы мы успели — то успели впритык, к черте, как говорится. Лекарство! Я хорошо понимал, что человек из Москвы выглядит здесь волшебником — ведь он может, если надо, достать лекарство!

— Перестройка, Хайрулла... — вяло сказал я. — Какие лекарства!.. Где взять?

Он кивнул.

— Все равно, все равно... Пойдем, поговоришь.

Он повел меня в дальнюю комнату.

Хайрулла приотворил дверь.

— О! — послышался слабый голос. — Заходите!..

Я остановился у порога. В комнате стоял небольшой столик и кровать; столик выглядел так, как только и мог он выглядеть в комнате тяжело больного человека, — рецелты, коробочки, чашка с чаем, еще одна чашка — видимо, с травяным отваром.

Запах, стоявший в комнате, неопровержимо свидетельствовал о том, что ее жилец умирает. Этот запах, пожалуй, не был бы неприятен сам по себе — но он наводил на мысль о скорой смерти, и я почувствовал, как перехватило на секунду дыхание.

— Садитесь... — слабо сказал сват.

Хайрулла примостился на стул у двери, я сел возле постели.

— Приезжали к нам, да? — тихо спросил больной. Он попытался улыбнуться, но ничего не вышло — в глазах стояла близкая тьма, и поэтому улыбка гасла, не начавшись.

— Да, спасибо... — сказал я. — Как вы себя чувствуете?

Он подумал и осторожно махнул рукой.

— Плохо...

Потом помолчал.

— Пищевод...

Слова его шелестели как листья, падающие на уже мертвую, убитую морозом землю.

Я качал головой.

— Операцию делали... а!

Он снова осторожно махнул рукой.

— Вот, Хайрулла меня возил... Хайрулла!

Хайрулла встал и сделал шаг к кровати.

— Вот он, он меня возил...— сказал умирающий.— Ты садись, садись. Стул там есть, у двери... Садись.

Я мучительно долго искал слова.

— Ну, может быть...— сказал я.— Может быть, еще...

— Травы пью. Лекарства.

— Может быть, я что-нибудь... в Москве?

Он помотал головой, потом повернулся на бок. С усилием подтянул ноги, свесил их с кровати. Ноги были худые. Он схватился за спинку и сделал попытку сесть. Я привстал, поддерживая. Он сел, опустив голову, перевел дух. Было видно, что он не может глубоко вздохнуть.

Минуту или полторы он сидел так, мелко дыша.

— Плохо,— сказал он тихо.

Хайрулла заскрипел стулом.

— Как... отды... хали? — спросил сват с расстановкой.

Я развел руками.

— Спасибо, спасибо. Все хорошо...

Он копил силы, чтобы сказать что-то.

— Я слышал... ты болеешь... мне жена... говорила...

Я пожал плечами.

— Да нет... Вот арбузы здесь у вас ел...

— Я тебе скажу адрес...— сказал он.— В Нальчике... Старик один... Травник...

Поедешь к нему... вылечит...

Я молчал.

— Ручка есть? — спросил он.— Возьми там... ручку... Пиши...

Я вынул из кармана блокнот.

— Нальчик... от вокзала десятый... автобус. Подожди, лягу...

Он стал клониться назад.

Я написал в блокноте: «Нальчик. Десятый автобус».

— Там пешком... спросишь... Автобус до конца... Краев. Спросишь, скажут... Его все знают. Травник он...

Я записал. Я знал, что не поеду в Нальчик.

— Он недорого берет... Поезжай. Вылечит. Он меня... лечил. Не... вылечил...

Хайрулла покашлял.

— Хорошо,— сказал я.— Поеду. Обязательно поеду. Спасибо вам. Спасибо.

— Ну,— решительно сказал Хайрулла, упирая руки в колени и поднимаясь.—

Пора!

— До свидания,— сказал я. И подумал: до какого свидания?

— Езжайте... до свидания...

— До свидания,— повторил я, осторожно притворяя дверь.

Гришка уже сидел в машине и неподвижно смотрел сквозь стекло.

— Поспеши, Гриша,— буркнул Хайрулла.— Сколько там осталось?

— Час двадцать,— ответил я. На мой взгляд, можно было уже не торопиться. С другой стороны, проветриться не мешало.

Но мы успели.

Правда, я бегом бежал к стойке регистрации, и арбуз бил меня по ногам. Последнее прощание был скомкан ревом динамиков, сообщивших, что заканчивается посадка. Я пожал руку Хайрулле, потом Гришке.

— Приезжай,— сказал Хайрулла.

Через десять минут самолет уже гудел, арбуз катался под ногами, все крутом трясло и дрожало.

Потом я ехал из аэропорта, арбуз лежал в сумке. Я перекладывал ее из руки в руку, ладони стали рубчатыми и болели.

Он, конечно, был большим. Он и там-то был большим, но на фоне степи, на фоне озер и дорог арбуз этот был просто арбузом — ну, чуть больше, может быть, чем все остальные.

Но когда я дотащил его до дому и водрузил на кухонный стол, он занял его целиком.

— Арбу-уз?! — восхищенно-недоверчиво сказала дочь. Должно быть, она была уверена, что таких больших быть не может, и решила, что это просто надутая резина.

И он оказался плохим, этот замечательный арбуз.

Я снял ему голову — проглянула чуть розовая мякоть. Нет, все ели, разумеется, нахваливали, все же с теми арбузами этот не шел ни в какое сравнение. Он был розовый, огуречного вкуса, и мякоть проросла какими-то травяными волокнами.

Он лежал на столе, нахально блестел и подтверждал собой ту простую мысль, что ничего ниоткуда нельзя привезти — ничего, кроме воспоминаний.

Ч и т а й т е в 1 9 9 2 г о д у :

ПРИСТАНИЩЕ ВЕТХОЙ СВОБОДЫ

Из литературного наследия Александра Сопровского

(1953—1990)

Всякая строка хорошего поэта — это его завещание. Свое последнее стихотворение Александр Сопровский — поэт, историк, философ — завершил строками, призывающими дышать так, «чтобы жизнь осталась незамутнена, как с осенью последнее свиданье». Нелегко следовать этому совету. Но если нет — как же тогда сбудутся другие его строки, о стране и мире? Десять лет назад, в глухие годы нашей родины, он писал про поэта: «И когда, обиженный, как Иов, он заводит шарманку своих речей — это горше меди колоколов, обвинительных актов погорячей. И зримо в метели — сколь век ни лих, как ни тшится бесов поднять на щит — вот, Господь рассеет советы их, по земле без счета их расточит...»

Александр Сопровский трагически погиб 23 декабря 1990 года. Ему едва исполнилось тридцать семь лет — роковой для поэта возраст. Он воплощал в себе одно из самых замечательных направлений русской поэзии, тянущееся от Пушкина к Ходасевичу и Георгию Иванову. Уже семь лет назад, когда несколько его публикаций появилось в «Континенте», требовательный Наум Коржавин в обширной статье радостно назвал его «первым ставшим мне известным поэтом нового поколения, который вызвал к себе серьезное отношение». Особой статьей отозвался о поэзии Александра Сопровского и парижский критик Василий Бетаки, резко отделив его от поколения «тайной свободы», справедливо усмотрев в стихах Сопровского отношение к поэзии как к пророчеству, «ветхозаветную суровость» и «доведенный до конца поэтический бунт».

Но что есть поэтический бунт? В стихах Сопровского сочетаются вполне взаимоисключающие, казалось бы, вещи — державинское негодование и тютчевская нежность, суровость Баратынского и фетовская печаль. В советском насмерть перепуганном мире, где среднеарифметический поэт-традиционалист элегически кутается в шарф на берегу канала, вздыхая о загубленной жизни, а поэт-модернист посвящает свое дарование сочинению рифмованных ребусов средней руки (не вздыхая уже ни о чем), Сопровский жил и писал — не побоюсь этих слов — на разрыв аорты..

Бахыт КЕНЖЕЕВ.

---

---

ГЕНРИХ САПГИР

\*

## РАЗВИТИЕ МЕТОДА

### КРАТКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

Метод прост и конструктивен. Обычно стихи образуют ритм, рифма — как его производное, и — интонация. И в данном случае так. Только здесь ритм складывается не из стоп и количества ударений, а из вариаций на тему. Отсюда же рождается интонация. Роль рифмы, чаще тавтологической или каламбурной, выполняют слова, повторяющиеся в разном контексте и синтаксисе. Получается не вполне свободный стих — и даже вполне регулярный. Тема и вариации являются основной системой построения искусства — такого, как музыка, абстрактная живопись и архитектура. Более же всего стихи напоминают кино, которое течет, вдруг стоп-кадр в одном ракурсе, в другом, в третьем — пока не разрешится тема.

Автор.

### Судьба

*(или общность фамильной кармы,*

рос на грядке Сутенеев — ярко-красный помидор  
был украшен красной датой Сутенеев-коридор  
размахался красной тряпкой Сутенеев-матадор  
и на красный свет поехал Сутенеев-шофер

спорить стал — в дежурку брошен Сутенеев-шофер  
был быком на землю брошен Сутенеев-матадор  
сорван был и в ящик брошен Сутенеев-помидор  
был прокурен и заброшен Сутенеев-коридор.

и попал на стол к хирургу Сутенеев-матадор  
выложил на стол тридцатку Сутенеев-шофер  
стол поставили — стал тесен Сутенеев-коридор  
подан был на стол и съеден Сутенеев-помидор

снова будет подметаться Сутенеев-коридор  
снова вырастет в теплице Сутенеев-помидор  
снова лезть готов на стену Сутенеев-шофер  
снова выйдет на арену Сутенеев-матадор

### Кошка и саранча

*(торжество метода*

в темноте поймала кошка саранчу  
в темноте играла кошка с саранчой  
саранчой играла кошка на свету  
саранчу пожрала кошка саранчу

в темноте поймала кошка темноту  
в темноте играла кошка с темнотой

темнотой хрустела кошка на свету  
в темноте пожрала кошка темноту

в темноте поймала кошку саранча  
саранча играла с кошкой в темноте  
саранча хрустела кошкой на свету  
саранча пожрала кошку саранча

темнота поймала кошку в темноте  
 темнота играла с кошкой в темноте  
 темнота хрустела кошкой на свету  
 темнота пожрала кошку темнота

темнота поймала темноту в темноте  
 темнота играла с темнотой в темноте  
 темнота хрустела темнотой на свету  
 темнота пожрала в темноте темноту

### Время разбрасывать

скучно разбрасывать камни  
 швыряешь куда ни попадая  
 ведь из камней ничего не вырастет  
 вина не выжмешь — камни и камни  
 прошло время  
 а ты урока не выполнил  
 больше полгоры осталось

может быть надо разбрасывать камни  
 все время целясь в кого-то  
 и стараясь попасть  
 трех подшиб — время быстрее пошло  
 три четверти времени —  
 целое поле битвы кругом —

лежат стонут корчатся  
 самого тебя временем убило  
 зато все камни раскидал

собирать камни куда веселей  
 форма размер узор — само по себе  
 уже развлекает  
 время бежит незаметно  
 будто и не было этого дольного пути —  
 на каждом шагу поклон  
 пусть гора твоя никому не нужна  
 камни собрал — время убил

время — враг человека

### Из воспоминаний

А ведь это действительно происходило со многими жившими тогда  
 она писала мне письма не думая хорошо ли они написаны или плохо  
 а ведь это происходило — она писала  
 действительно происходило  
 хорошо она писала — писала письма не думая  
 происходило в ту пору со многими  
 писала письма не думая мне ли они написаны  
 ведь это со многими жившими  
 они хорошо написаны — эти письма  
 в ту пору действительно жившими  
 или плохо они написаны не думая  
 ведь это в ту пору в ту пору  
 хорошо или плохо мне они написаны  
 действительно происходило  
 думая хорошо писала плохо  
 писала плохо написаны хорошо  
 ведь это в ту пору действительно  
 писала написаны — она мне — хорошо плохо — а ведь происходило

### На экране TV

на экране вспоминал старик-палач  
 вспоминал и мучился старик-жертва  
 рассуждал благообразный комментатор  
 на голой земле валялись клубки ржавой проволоки  
 ржавый старик-палач вспоминал как докладывал  
 благообразный старик-жертва мучился на голой земле  
 рассуждал комментатор о голой земле  
 клубки ржавой проволоки вспоминали на голой земле  
 голая земля мучилась на голой земле  
 на экране комментатор мучился когда ржавый и благообразный  
 вспоминали о страшных временах  
 страшные времена вспоминали о страшных временах  
 старик мучился вспоминая а комментатор рассуждал: палач  
 и жертва  
 старик — палач и жертва вспоминал о ржавых временах  
 старик — палач и жертва мучился клубком ржавой проволоки

экран мучился клубком проволоки  
 на голом экране мучились. старик-палач старик-жертва  
 и благообразный комментатор  
 страшные времена

### Современный лубок

сержант схватил автомат Калашникова упер в синий живот  
 и с наслаждением стал стрелять в толпу

толпа уперла автомат схватила Калашникова-сержанта  
 и стала стрелять с наслаждением в синий живот

Калашников-автомат с наслаждением стал стрелять  
 в толпу.. в сержанта. в живот в синее

в Калашникове толпа с наслаждением стала стрелять  
 в синий автомат что стоял на углу

синее схватило толпу и стало стрелять как автомат

наслаждение стало стрелять

### Кузнечик

над горизонтом подпрыгнуло солнце  
 подпрыгнул бинокль в руках наблюдателя  
 на столе подпрыгнула тарелка с черешней так  
 что со стола попрыгали ягоды  
 подпрыгнули рабочие на строительстве дома — продолжали  
 работать как ни в чем не бывало  
 самолет в небе подпрыгнул на тысячу метров  
 желудок подпрыгнул к горлу  
 подпрыгнуло внезапно решение подпрыгнуть  
 подпрыгнул от беспричинной радости машинист электрички  
 подпрыгнула электричка на мосту  
 и подпрыгнули все пассажиры  
 далеко в городе на глазах темноволосой женщины подпрыгнула  
 чашка — на кафельном полу плыли белые осколки разлетаясь  
 подпрыгнуло предчувствие: придет  
 вдруг подпрыгнул политический деятель — мгновенный фотоснимок  
 для журнала  
 подпрыгнули апельсины в сетке  
 подпрыгнули булки на прилавке  
 подпрыгнул пистолет в руке убийцы  
 подпрыгнули статуи в музее  
 изображение любви на экране подпрыгнуло  
 с мячом подпрыгнул негр-баскетболист  
 в Нью-Йорке подпрыгнуло здание МЕТРОПОЛИТЕН ОПЕРА  
 на Кавказе подпрыгнула гора  
 там же подпрыгнул город — и весь разрушился —  
 и множество вещей важных и неважных возможных и невозможных —  
 все подпрыгнуло сейчас по одной-единственной причине  
 в сухой траве подпрыгнул серый кузнечик

### Чудо

чем ты был? диваном ты был  
 или духом?  
 духами ты был  
 или дохой?



Дмитрием Самозванцем ты был — торжествующим умирающим  
или дохлой кошкой?  
драматической коллизией — колизем  
или попросту дыханием?

что ты есть? виолончель  
или вектор?  
величие души  
или венская встреча одна тысяча восемьсот какого-то года?  
воришка которого вот-вот схватят за руку  
или венчик фарфоровый?  
веские доказательства  
или весы?

чем ты будешь? чьей-то выдумкой — чернилами на бумаге  
или звездным часом?  
черепом  
или числом?  
чеканным профилем на медали  
или чайником с помятым боком?  
чайкой  
или частным случаем?  
обыкновенной чепухой  
или Чрезвычайным и Полномочным Послом в Черную дыру?  
чем бы ты ни был ты будешь — чудом  
или если ты — ничто  
все — ничто



---

---

## АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ

\*

# ОБМАНКИ

Обманка, *горное*: бленда, ископаемое, обманывает сходством своим с другим.

*Толковый словарь В. Даля.*

Обманка, Blende — старое саксонское название некоторых минералов с алмазным и полуметаллическим блеском (от нем. blende — обманывать, ослеплять).

*Г. Штрюбель, Э. Х. Циммер.  
Минералогический словарь.*

## ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ ОБХОДИТ СТРОЙ

**С**олнце, полыхающее в круглых зеркальцах пенсне, слепило не его, высокого старца в погонах, с седеющими висками ветерана. Оно слепило тех, на кого директор, статский советник, направлял свой безликий взгляд. У него же в голове как на счетах откладывалась каждая из девочек, навывтяжку стоящая в строю.

Он шел, медленно переставляя отекие ноги, от окна к золоченым двустворчатым дверям.

— Тта-ак-с!

Высокая, в чистом кружевном фартучке, синеглазая. Обувь начищена. Богатая девочка, в волосах, кажется, золотая заколка. Смотрит прямо.

Вторая. Накрахмаленный фартучек, форма чисто выглажена, каждый краешек и уголок отутюжены. Глаза сиреневые, ясные. Волосы убраны в узел. Обувь старая, но в порядке.

Совсем высокая. Пуговичка на горлышке немного расшаталась. Руки не аристократки. Фартучек накрахмален, блестит. Глаза оловянные, обувь чистая.

Глаза ехидные. Фартук немного скошен, — не беременна ли? Обувь по форме, но что-то не то. В волосах красная лента... Да-сс!

Среднего роста. Глаза голубые. Все по норме: фартук накрахмален, обувь чистая, руки в порядке.

Руки грязные. Под ногтями явно только что ковырялась спичкой, выгаскивая грязь. Фартук, однако, чист. Наглаженные уголки, из кармана торчит платочек. Обувь в порядке, только кнопки на туфлях не совсем те. Странные туфли, хотя и не придерешься.

Пышноволосяя, статная, старше сверстниц. Фартук выглажен, но не накрахмален, прогибается немного назад. Туфельки так и готовы упереться одна каблукочком, а другая носочком в пол. В глазах ехидный покой.

Двухцветная ленточка. Эта — из служащих, горбится. Фартучек накрахмален, но заметно, что сама крахмалила. Кнопочки на туфлях начищены, как гербовые пуговицы у самого директора. Тупится.

Высокая, стройная. Фартук в порядке, носочки не по форме — голубые. Туфли начищены. Волосы закреплены. Украшение из какого-то дешевого металла, а украшение, однако, само по себе ничего!

Ох, как хороша! Солнце из окна высвечивает прозрачный румянец веселых, но уже немного чахоточных щек. Фартук сияет белизной. Туфли как две черные розы. Кончики пальцев подрагивают в волнении, наверное, всего ее существа..

Высокая, даже, пожалуй, чересчур. Взгляд дерзкий, оценивающий. Таким нужен глаз да глаз. Однако все в порядке: туфельки без пятнышка, фартучек похрустывает, как новенькая ассигнация.

Рыжая, пышная, ее бы воля — зал подожгла, а глаза бешеные, зеленые, так и готова проглотить любого живьем. Фартук белый, накрахмаленно-ясный. Ботиночки поскрипывают. С ноги на ногу переминается.

Дочь старосты. Нахально смотрит. Серьги в ушах, фартук по форме, туфли не по форме. Издевается всем своим видом!

Полная, как свинья оплывающая. Затянута белым крахмалом, кружевом воротничка сдавлена пороссячья жирная стекающая шея. Ноги-колоды в начищенной обуви.

Двадцать девятая — совершенно стандартная, просто чудо! Фартук, туфли, волосы, руки!

Тридцатая: фартук, туфли, волосы, руки.

Тридцать первая: фартук, туфли, волосы, руки..

Директор гимназии доволен Медленно повернувшись, он сверкнул пенсне и начал обход в обратном порядке. Фартук, туфли, волосы, руки, ногти, ямочки на щеках, пуговицы .....

## ВЗЛОМАННЫЕ СКЛАДЫ

...Сделал еще один шаг и увидел звезды.. А на косом настиле, на блестящих лаком струганых досках, молотили сапоги, дрыгались чубы и косоворотки, раздувались пряниками красные галифе Умирал, дрыгался флаг, и закат зарывался в борозды.

Так без толку бесились на ненастоящих от страха, перепуганных подмостках, будто мостили подметки-утюги И свивались бабы, потные от водки, швыряли смачные плевки: слюна от кофе густо-коричневая, жирная от сытости

Ввиду барачных домов, ввиду свежего вечера перекормили, перевеселили голодных людей. Перепугали и запутали на непаханом поле взломанные февралем казиноские склады

Густо набычилась пыльная над полынным леском туча.

Перекормили, перебродили съединенных людей, перепутали слова и поря док чувств — на три года не паханном поле за городом, ввиду унылых барачных стен — бывшие купцов Казиновых взломанные склады.

Трепыхался, падал зеленый, кабы какой флаг..

Сделал еще один шаг и увидел звезды. Они, оказалось, мотались над головой, как ледок в проруби Таяли и посверкивали, нахальные, не ухватишь!

Горланя, люди набивались в мешки кибиток и укатывали! Ванька-слепень в последний раз разорвал гармонию. Крикнул кто-то зычно «Уря войне!» — и невесело другой голосистый мужик сказал «Уря, уря! Миру уря, а не германцу! Хрен с ним, с германцем!»

Потащились, потянулись ноги и руки обратно в барачное сырое тепло, где бы заснуть хотели под крысиный писк и кошачий крик.

Поджег-таки какой-то весельчак подмостки, и полетели желтые струганые доски, потрескивая лачком, в лицо небесной ускользящей проруби.

Труп купца Казинова, что лежал посередине веселья признаком свободы и сытости, тоже охватил жар А его сынок выглядывал на желтые языки, подставлял им издали, из леса, свои глаза, желая, чтоб отразился пожар в глазах и запомнился

На следующее серое утро угрюмо и безголово пошли всем миром по улицам с флагами и идеями

## НЮРА

Вышли из боя, прошли по уже знакомой трехкилометровой балке, стройно втянулись в деревню и успокоились по хатам. В ночи с поля долетали радостные бабы голоса, шорох разносимого ветром сена. Казалось, что шуршат это в веселье падушие августовские звезды.

Мне выпало ночевать в хате Маркуши. Здесь не было внутренних стенок, и вся живая сонная внутренность дома в синеватом лампадном свечении находилась перед глазами.

Четверо ребятшек перекатывали лоснящимися от пота животами, громко во сне посапывали. Один из них натужно дышал и часто вздрагивал, похоже, что его лихорадило.

Я лежал без сна, чувствуя каждую душу здесь, каждое движение.

Нюрка, дочь Маркуши, нисколько не стесняясь, налила в таз воды и ходила после этого куда-то прямо в расстегнутом платье, из которого выбивались пухлые ее груди. От таза шел пар. Пар этот клубом стоял, казалось, на половину хаты. Вернувшись и шелкнув шеколдой, видно считая всех спящими, она и вовсе стянула платье.

Она, загребая тяжелую смоль волос, погрузила голову в парящую воду и, тихо ойкнув, принялась перебирать необычно тонкими для крестьянки пальцами волосы, вмиг загустевшие и блестящие.

Я видел ее со спины. Я видел мутную икону в углу, видел свешенную с печи руку Марии, жены Маркуши...

— Нюр, — очень тихо позвал я. — Я ведь не сплю.

— Ну и смотрите на здоровычко, коли приятно вам — так же тихо ответила она. — Мне это все равно, ей-богу.

Маркуша как раз зашевелился у себя на печке, и на минуту мы замолчали.

После уже обычно, правда все так же тихо, продолжили разговор.

Говорили очень долго. Она уже успела помыть волосы и, накинув широкую холстяную рубаху, присесть на край моей постели.

За окном горели падушие августовские звезды. В эту ночь их было необычайно много. Если непрерывно смотреть, сразу можно было насчитать две или три.

— Иди ко мне! — обнимая ее большое теплое тело, сказал я.

— Грех это!

Она поддалась и заслонила все собой, заслонила глаза и любое другое царящее в хате ощущение.

— Больные в доме, нельзя, грех это! Батка говорит, что все мы, если рядом, душой связаны и друг за друга болезнь несем..

— Да не бойся ты, спят же все!..

— Да я же говорю, грех это! Ну да чо, невелик грех.

Через час Нюра ушла, а я легко и быстро заснул.

Зарядили дожди, немцы прорвали фронт, и эскадрон перебрасывали в другое место. Пора было уходить. Я пожал ее ледяную руку, посмотрел в бешенные глаза и сказал:

— Уходим мы, весь отряд... Да ты не думай, так само вышло, при чем тут мы? Совпало просто... Бывает...

Уже шагая по польничной тропе в гуще деревьев, я обернулся на простенькую могилку. Там был свежий земляной холмик, упокоивший под собой четвертого сына Маркуши, умершего как раз в ту ночь.

Там был точеный березовый крест.

Нюра не сказала мне на прощанье ни слова.

## УЗНИК НОМЕР ОДИН

Бесшумно одним прыжком рыжая кошка — уши торчком — вскочила на плохо оструганный деревянный стол. Она потянула лапами зеленое сукно, прищурила зеленые глаза на матовую маленькую лампочку и, помедлив, подумав минутку, взялась вылизывать отчет — большой линованный лист, заполненный мелким почерком, исписанный молоком.

Ему выдавали пол-литра молока на сутки, у него была какая-то болезнь легких.

— Ты, брысь отсюда! — вежливо попросил он. — Мне нужно закончить работу.

Узник номер один — на белой пижаме, на спине его, был пришит черный крупный номер — погладил животное. Он посмотрел ему в глаза и, обмакнув перо, огрызок пера, в железную чернильницу-непроливайку, продолжил свой приятно прерванный труд. Трудиться ему очень не хотелось, но он знал, что если не будет хватать в отчете-руководстве хотя бы одного параграфа, то хлеб на ужин окажется черствым, а во время завтрашней прогулки по крыше тюрьмы ему не

выдадут кепку, и просачивающийся сквозь крупную решетку дождь измочит и без того болящую голову.

Глубоко трижды вздохнув, он помассировал пальцами виски и принялся за работу.

В камере, в глухом бетонном каземате пять на пять метров, их было всего двое — он и стареющее животное, кошка.

Железная дверь из литого металла не имела даже замка, но как только перо прикоснулось к серому квадратному листу, оставляя за собой невидимый молочный след, стены исчезли. Тишина обратилась в грохот голосов, застучали печатающие устройства, загудели компьютеры, завелись одновременно миллионы моторов, отдаленные забухали пушки, зазвенела, зазубриваясь, сталь мечей, закричали, завращались, запищали все возможные во все века средства связи, забегали, зашелестели голыми пятками, зашелкали каблуками по коврам и блестящим паркетам распутные женщины, брякнули ордена на атласных мундирах, и как змеи зашевелились аксельбанты на плечах генералов, а в желтых песках пустыни черные ядовитые змеи сворачивались на подвижных, как волосы под ветром, барханах.

Всего этого не было, но воображение рисовало реальную картину, иначе невозможно было ему работать. На листе оставался быстро просыхающий невидимый след молока. Потом, позже, лист подогреют на свече, и все будет исполнено в точности. Все, что он напишет сейчас, что бы он ни написал. Но если он ничего не напишет, то ему не дадут кепку и голова намокнет.

Значит, так: брить бороды! Нет, лучше не брить, а рубить топором. Борода кладется на чурбан и отрубается топором. Пусть это делает сам государь лично! Какое основание? Будем таким образом прививать инородную культуру. Дальше: в печах больше не нужно жечь дрова, в печах будем теперь жечь людей, любого возраста. И еще можно людей замораживать, как рыбу, в брикеты! Но не в холодильниках, лучше это делать в поездах, идущих малой скоростью в северные районы... А потом брикеты складывать штабелями. Необходим полководец! Пусть изделиями из незакаленного металла он убивает себе подобных. Здесь можно ограничиться, пожалуй, сотней тысяч. И вот еще, лед! Пусть лед ползет по поверхности всей планеты, увлекая за собой все человечество! А когда возникнет вопрос, почему рельса два?.. Пусть будет один рельс, назовем его монорельс, обтекаемый вагон пусть передвигается по нему со скоростью, равной скорости самолета. Управление здесь можно поручить машинам. Построить такие машины, чтобы человеку не оставалось больше места. Машины умнее, машины проворнее! Писать побольше глупых книг! Книжки хорошо жечь! Бумага здорово горит, лучше всего на площадях жечь! Людей группировать в кучи! И вообще побольше бумаги. На одного рабочего пусть будет триста тысяч бумажек, и пусть одним рабочим управляет не менее трехсот человек!

— Все!— Узник номер один облегченно вздохнул.— На сегодня хватит!— Он подошел к своей железной двери и тихо постучал.

— Готово?— спросили вкрадчиво из-за двери.

— Готово!— отозвался узник номер один.— Я хочу гулять!

Гуляя по крыше единственной в мире тюрьмы, единственный в мире узник с черным номером, пришитым на белой спине пижамы, глубоко надвигал на круглую свою стриженую голову кепку. А сквозь крупную решетку были видны квадраты голубого радостного неба.

Во время прогулки в другой камере человек в сером костюме с золотыми витыми погонями разогревал над свечой исписанные листы. Молочные буквы от тепла медленно темнели, и возникал перед его глазами текст руководства.

## ОАЗИС

Идти оставалось недолго. Боль сменится блаженным теплом, и обмороженное тело рухнет на лед в сон под бесконечным солнечным северным днем, как под легким и хрупким одеялом. Он не хотел бороться, а брел по белой и гладкой во все стороны пустыне только потому, что хотелось еще немного пройти, сделать в этой жизни еще несколько сотен шагов. Он не знал даже верного направления.

Первая мысль была: «Я уже сплю!»

Недалеко, метрах в трехстах, перед ним желтым пятном лежал песок, в центре оазиса росла небольшая пальма.

Вторая мысль была: «Это мираж!»

Задыхаясь, он пробежал триста метров и нырнул в пятно жаркого солнца, упал лицом в раскаленный песок. Он лежал, и обмороженная, пропитанная ледяной пылью одежда стала мокрой, потом теплой, потом горячей. Он присел на песке, дотронулся рукой до шершавого ствола пальмы, медленно стянул с себя комбинезон, бросил его, встал на колени и закричал. Пальма была засохшей, а вокруг небольшого пятна жары, засыпанного песком, все так же расстилалась ледяная северная пустыня.

Где-то было и третье. Только что, минуту назад, или, может быть, прошел уже час? Он помнил: в краткую единицу времени были вложены поющие пружины, прохладный поворот простыни, шелест далекой улицы, запах яблока, запах лимона.

Теперь он задышался от жары и разглядывал свои быстро краснеющие на солнце руки. За гранью песчаного круга ледяное бескрайнее пространство, внутри круга нестерпимый жар...

— Пить!

Он сделал шаг, сошел с песка на лед. На одно мгновение обдало прохладой, шелестом и пением. И неприятный удар холода, сразу жестокий порыв ветра. Чудо было на грани, спасение существовало только в тот момент, когда он переходил с песчаного раскаленного круга в ледяное пространство пустыни. Он брал кусок льда и уносил его в вырытую яму. Песок быстро всасывал растаивающий лед, но напиться из ладоней можно было успеть. Несколько болезненных простуженных глотков спасали от сухости, царствовавшей с обеих сторон круга.

— Удержаться!.. Как удержаться?! — кричал он, пытаясь балансировать на одной ноге, но легкость и счастливый уют возникали только между двух ударов. Не испытыв удвоенной боли, боли от холода и от жары, он не мог до него добраться.

Наконец он заснул, полубезумный, ноги на льду и голова в самом пекле. Он только успел прикрыть макушку курткой и судорожно захватил меховой сапог в руку

Идти оставалось недолго. Солнце, высушившее до хруста бесконечный песок, высушивало и тело и мозг. Он понимал, что остается только упасть и высохнуть до конца, погрузиться в единственную оставшуюся теперь конечную боль, но хотелось сделать еще пару десятков шагов. Он брел по желтой, бескрайней во все стороны, раскаленной пустыне и вдруг увидел...

Первая мысль была: «Как, опять?!»

В двадцати, не более.. В двадцати метрах впереди лежал ледяной круг с маленькой острой льдинкой посередине.

Вторая мысль была: «Я смогу сделать еще несколько глотков растопленного льда. И я смогу ходить тысячи раз туда и обратно сквозь несуществующую преграду».

Он повернулся на сто восемьдесят градусов, чтобы отойти подальше и умереть, чтобы не видеть ледяного круга, и сразу угодил в полумрак, в женский шепот, в тиканье будильника, головой в подушку, в скрип пружин и шорох одеял.

«Я все-таки заснул, — подумал он. — Нужно встать. Нужно сделать еще хотя бы сотню последних шагов. Нужно подняться!»

Невыносимо полыхнуло белым в с трудом открывшиеся глаза. Он встал, пошатываясь повернулся на месте, упал, опять поднялся. В безумии он сделал круг и теперь вернулся к своей вмерзающей в лед, бессмысленной машине. Несколько шагов. Никакого ветра, только мороз.

Не чувствуя рук, он отламывал деревянные борта, крошил их ребром ладони, как тупым тесаком, и наконец от последней спички поджег. Протянул несвой руки к желтому пламени и обжег пальцы.

## ПРОКОФЬЕВ

Прокофьев дезертировал не по-человечески. Ему оставалось служить три месяца. Ушел в самоволку и не вернулся. Нашли его только на четвертые сутки, а если больше трех суток — трибунал.

Он так боялся, что выбросил даже казенное белье. Прикрываясь черным коротким пальтишком и брючками, и все это на голое тело, Прокофьев отправился из части через весь город к своей Любке. Перед этим была нездоровая

шутка, спяну Любка сфотографировалась сразу с двумя парнями, и кто-то сунул фото в конверт и надписал адрес.

Прокофьев рассчитал, что если его так в одном пальто на голое тело возьмут, то отправят в сумасшедший дом. Мороз прихватил лютый, сорок лет не было такого мороза, без ветра, без снега, только горение фонарей, и все вымерло, белая прямолинейная пустота, к середине вечера потерявшая последнее движение замерзших на острых путях трамваев.

Прокофьев пытался согреться в трамвае. Неосвещенная, насквозь распахнутая машина поразила его тело острыми деревянными сидений, и он чуть не остался там из-за боли в ногах.

Любка не спрашивая положила Прокофьева в ванну и долго массировала крепкой розовой рукой его отвердевшее на морозе тело. Потом поила его крутым чаем с медовым пряником.

— Я сегодня гостей жду, милый!— объяснила она.— Если хочешь, можешь в маленькой комнатке перекаптоваться, мамки все равно нет сегодня, она в ночь. Не могу же я, чтобы тебя здесь видели, ты же беглый, как преступник!

Прокофьев думал заснуть в горячей постели Любкиной матери и не мог понять, действительно он спятил, или все наяву, или звенят рюмки, гогочут пьяные голоса за шаткой стенкой, остренько пахнет болгарским огурчиком и коньяком... Шелест шелкового белья, искры, летящие в темноте за полуоткрытой дверью, один-единственный вздох, стук каблука и частое резвое дыхание...

— Люба, Люба... Любовь...— шепелявил по-мальчишески голос в темноте, такой знакомый... Голос Пиунова, его не взяли в армию, он был сумасшедший со статьей.

Нашли Прокофьева только на четвертые сутки. Голый по пояс, он забился на хлебозаводе между двух теплых котлов. Даже когда сторож окликнул его негромко, когда нацелил на него свое оружие, Прокофьев не отвлекся, положив под себя обмерзшее и теперь оттаявшее и полное воды пальто, он царапал в блокнотик стихи.

В помещении хлебозавода повисал сухой горячий воздух с хрупким и сладким запахом печенья, и круглые шары ламп вполнекала будто припорошены были горячей мукой. На стеклах острое мороза, а котлы снаружи черные, гладкие, теплые...

Прокофьева признали вполне нормальным. Он получил два года дисбата. Комиссовали через полтора года по инвалидности.

Пригвожденный первой группой к своим коммунальным девяти метрам, он ничего не видел, ослеп совершенно, потом запил.

Через год его нашла Любка, и они поженились. Это было уже лето, плетущееся за тобой запахами прогретой листвы и автомобильного мазута. Оно грохотало по высоким белым стенам загса как танковая колонна, и фата летела от бурного дыхания Любки, касаясь пересохших прокофьевских губ.

## ПЕРЕДЫШКА

С легким шипением автоматические двери разомкнулись, и в лифт, в маленькую, отделанную пленкой под дерево, освещенную белой лампочкой кабину, втиснулись еще три человека. Дышать было нечем, стояли, плотно прижимаясь друг к другу. Кабина, рассчитанная на пять человек, медленно ползла вверх, поднимая девятерых. Три женщины и шестеро мужчин спрессовались на несколько секунд в едино дышащий потеющий организм. Организм, лишенный ощущений, ощущение было одно — теснота, организм, медленно думающий, мучающийся.

— Вам какой?

— Четвертый.

— Товарищи, кому куда?— Подросток пьяно хихикнул.

Молодая женщина поморщилась, старик, опирающийся тростью в линолеум пола, закашлял.

Между третьим и четвертым этажами с тихим скрежетом кабина остановилась, белая лампочка медленно погасла. Исчезли стены, обклеенные пленкой под дерево, исчез линолеум пола, исчезли лица. Осталось: дыхание, кашель, смешки.

— Застрали, дьявол!— сказал немолодой мужчина.

— Да уж так...— сказал мужчина помоложе.

— Господи, мало нам, мало...— простонала тихонечко женщина.  
— Да замолчите вы, где здесь кнопка? Нужно вызвать диспетчера!..

Кнопку нашли, но звонка не было.

— Электричество опять вырубил!

— Как вы считаете, это надолго получится?— спросил старик.

— А какая разница? В тесноте, да не в обиде...

— В прошлый раз света всю ночь не было, так что, может, и до утра получится,— проговорил отчетливо спокойный мужской голос.

— Вы серьезно?

— А вас что, вчера дома не было?

— Нет, просто спать рано ложусь... Встаю рано...

— Да замолчите вы! Замолчите! И так тошно!..

— Если тошно, так ты сблюй! — посоветовал второй нетрезвый подросток.— Хотя, извини, тетя, здесь, пожалуй, и сблевать-то некуда!..

— Нужно стучать!

— Стучите, если хотите!

Организм медленно шевелился, тяжело думал. Каждая мысль была отлична от другой, но все вместе эти чувства внутри закупоренной тесной кабины были одно. Одно усталое живое тело, вздрагивающее, дышащее, единое.

— Значит, на всю ночь, говорите?

Медленно, сначала вполсили, загорелась над головой лампочка, тихо загудел мотор. Лампочка вспыхнула ярко.

— Ну вот, а вы говорили — на всю ночь!

Кабина шевельнулась, дважды вздрогнула и пошла вверх.

Девять человек, слитые воедино, в одно живое страдающее тело, подумали все по-разному, но одно и то же.

«Господи!»— подумала женщина.

«Все-таки есть бог!..»— подумала другая женщина.

«Даже не смешно»,— подумал мужчина, говоривший спокойным голосом.

Пьяный подросток ничего не подумал, ему отчего-то сделалось весело и захотелось всех расцеловать.

На четвертом этаже, стуча тростью, вышел старик.

На пятом вывалились, размахивая бутылками, раскупоренными, но еще полными, подростки.

Кабина медленно двигалась вверх. Бледные в искусственном свете лица, слабые улыбки, гул мотора.

— Вам выше?— спросил немолодой мужчина, когда кабина остановилась на его одиннадцатом этаже.

Женщина только улыбнулась, ей хотелось спать.

В кабине осталась она одна. Она стояла, прислонясь спиной к стене. Дышать было легко, думать ни о чем не хотелось.

Между одиннадцатым и двенадцатым этажами с тихим скрежетом кабина остановилась, белая лампочка медленно погасла. Исчезли стены, обклеенные пленкой под дерево, исчез линолеум пола. Осталось только ее собственное дыхание и ощущение острых ручек сумки, оттягивающих правую руку.

«Ну и слава тебе, господи!»— подумала она.— Как хорошо!»

В полной темноте она подложила сумку под голову, завернулась в пальто. Пол оказался теплым, и под ним чувствовалась прямоугольная пустота шахты.

«Слава тебе, господи!»— повторила про себя женщина.

Через минуту она уже спала, вытянув руку и во сне пытаясь дотянуться до мертвой кнопки вызова диспетчера.

## ФУНК-ЭЛИОТ

В конце сентября тридцать седьмого года, приговоренный к десяти годам лишения свободы революционным трибуналом, состоящим из трех человек (все трое совершенно неграмотны), Функ-Элиот, такую двойную фамилию он носил с детства, а звали его Соломоном Борисовичем, уже в начале октября отправился в теплушке для животных, охраняемой как груз боеприпасов во время войны, на Север. Отправился, чтобы, прожив в лагере около четырех месяцев (точную цифру установить невозможно, он потом и сам не помнил), бежать и пересечь с двумя своими товарищами Монголию и Китай, спустя почти три года оказаться в Индии, где, узнав о последних военных действиях Советского Союза, устро-



иться на пароход «Мерион» и, пересекая океан в качестве кочегара, в пьяной драке убить старшего помощника капитана. Приговоренный к смерти, а приговор должны были исполнить по прибытии в Глазго, бежал ночью на шлюпке с другим осужденным, негром Васиори (негр этот изнасиловал дочку повара, был прощен, но не ограничился и изнасиловал жену повара, прощен не был), и, оказавшись вдвоем с негром в открытом океане, чуть не умер от голода и жажды, но попробовал пить воду из-за борта и есть ту рыбу, которую удавалось поймать, попробовал и выжил, а негр умер от жуткого поноса на шестьдесят восьмой день пути.

Несколько месяцев прожив в шлюпке, прочитав обрывок газеты тысячу сто раз, он наконец увидел вдали корабль и, даже не сообразив, что корабль парусный, таких уже давно не делают на верфях Британии, стал подгребать к нему обломком весла, подгребать, чтобы подобраться к борту и взобраться на прогнившую от времени палубу корабля-призрака, носившегося по воле волн уже полтора столетия и потерявшего всю свою команду. Некоторое время Соломон Борисович помучился от голода и жажды на этом корабле (запасы продовольствия съели крысы, а запасы воды погибли), он подвергся нападению крыс, которые за полтора столетия размножения и процветания сделались большими гурманами, но удалось бежать на старинной шлюпке с надписью «Сирена» на одном борту и золотым выцветшим якорем на другом, бежать, имея в карманах несколько горсточек золота, на шее серебряный крест, а на теле несколько истрепанный костюм английского лорда конца восемнадцатого столетия.

Попав на небольшой необитаемый островок, Функ-Элиот не задержался на нем, он отправился опять в путешествие и, угодив на другой остров, с населением в тридцать шесть человек, устроил там революцию, в результате которой в живых осталось пять человек, а именно: он — глава клана, его заместители Судья и Палач и двое чернорабочих. Чернорабочих приговорили к смерти, потому что судить было некого, но приговор в исполнение не привели, а судили еще и еще раз, пока не надоело. Тогда обменялись ролями, трое верховных сделались чернорабочими, а чернорабочие — Судьей и Палачом, тут-то они и приговорили Функа-Элиота, и не только приговорили, а если бы он ночью не бежал на лодке, то и исполнили бы с рассветом.

Опять оказавшись в открытом море Функ-Элиот вскоре был подобран немецкой подводной лодкой и снова приговорен. Но на лодке случился мятеж коммунистов, а через несколько часов после этого мятежа она была потоплена американским миноносцем, не разобравшимся, в чем дело.

Подобранный миноносцем Функ-Элиот не преминул рассказать капитану, кого тот потопил, и до самого Вашингтона ехал в опечатанной деревянной бочке, не лишенной пищи и воды, но лишившей его свободы почти на месяц. Капитан миноносца решил, что так будет лучше.

Чрезвычайная комиссия в Вашингтоне, рассмотрев дело Соломона Борисовича, признала его невиновным и отпустила на все четыре стороны, чтобы через десять лет встать, правда в другом уже составе, перед ним на колени, вымаливая ограничения стратегических заказов.

А дело в том, что, выйдя на улицу, Соломон Борисович подобрал изрядный окурок сигары с тротуара, продал его бродяге за полтора цента, купил за полтора цента газету и, утверждая, что это фальшивка большевиков, получил за газету доллар. А где доллар, там и сто. Через полгода он торговал табаком, через год — наркотиками, через полтора — домами и машинами, через три — людьми, землями и литературой, через пять — мелкими политическими деятелями, легким оружием и сельскохозяйственным оборудованием, а через десять, как уже было сказано, авторитетная комиссия стояла перед ним на коленях, вымаливая ограничения.

Однажды вечером, когда, раскуривая свою сигару, Функ-Элиот скучал в одном из своих особняков, решение, вызванное красочным сном (мультимиллиардер увидел во сне березки родины), повлекло его в Советскую Россию.

Через месяц газета «Правда» поместила статью под заголовком «Акула в гостях у пролетариата».

Приехав в Москву, Соломон Борисович долго бродил по родным улицам, скверам и проспектам. Он даже чуть не отравился в столовой, но вовремя сообразил, что нужно делать, и вернул все в паукообразный унитаз в столовском туалете. В голову мультимиллиардера уже пришла благая мысль: остаться здесь,

на родине. Он вспомнил трибунал, маму, папу, вспомнил зону, вспомнил китайца, поедающего дохлую кошку, индийца в нирване, кровь старпома и смерть негра, крыс-гурманов с корабля-призрака, и авторитетную комиссию, и окурок у краешка тротуара, принесший ему шестьдесят миллиардов долларов. Вспомнил — и вновь отправился гулять по ночной столице. Он гулял долго, пока не попал под трамвай. Был доставлен в 3-ю городскую клиническую больницу, где и скончался, имея перед глазами литографические березки на противоположной стене.

За гробом мультимиллиардера, скончавшегося на родине, приехал его правнук. Гроб загрузили с почестями на поезд, потом из поезда оцинкованное последнее жилище перекочевало в самолет, из самолета — в каюту крейсера «Аракузы». Крейсер «Аракузы» спустя несколько дней исчез в районе Бермудского треугольника, успев передать, что атакован непонятным судном, без вооружения, но очень опасным по виду, и поэтому открывает огонь.

Через полгода в бульварной прессе появились первые сообщения о летающих тарелках. В одном из них утверждалось, что кубинский крестьянин видел, как вместе с атлантами и пигмеями из летающего аппарата выходил, прихрамывая на левую ногу, поврежденную еще на зоне, и поправляя правой рукой с четырьмя пальцами (пятый оторвало еще на острове во время революции) волосы, сам Функ-Элиот, он грязно ругался и жевал резинку...

### ТАКИЕ СТЕКЛЫШКИ :

Расстреляли его тихо. Отвели за угол, вежливо попросили встать лицом к стене. Красный щербатый кирпич оказался перед глазами, а пальцы, сцепленные на затылке, чувствовали биение сердца.

Он что-то крикнул и повернулся — небо развалилось на куски медленно, как под белым острым ножом разваливается сырой и жесткий, непропеченный хлеб. Небо было низкое и тяжелое, огромные его куски падали на лицо, набивались в рот... Он задохнулся и, падая, уронил очки.

— Гляди-ка, стеклышки-то целы, не разбились, — поднимаемая с окровавленной земли за тонкую металлическую дужку этот жалкий оптический прибор, сказал один из солдат. — Хорошая штука!

— Индивидуальная вещь была, — ухмыльнулся второй солдат. — Никому уже не нужна.

Он лежал, вытянув вперед правую руку и смешно, как-то по-детски поджимая ноги. Впервые за последние полтора года этот человек не испытывал голода. То, что он не испытывал больше вообще ничего, не имело значения, главное — прошел голод.

Неровно выбивая шаг, маршировали старики-добровольцы. Над головой убитого во втором этаже женщина аккуратно приклеивала бумагу на место выбитого стекла.

— А за что мы его? — спросил первый солдат. Он тяжело вздохнул, хотелось есть, продовольственной карточки матери не хватало, и накануне он поделился с ней и маленькой сестренкой своим пайком, отдал все.

— Бандитское нападение, — засовывая очки в карман и застегивая карман на маленькую золотую пуговку со звездой, отозвался второй солдат. — Пытался убить продавщицу.

Если бы мертвый человек, лежащий лицом вниз у выщербленной кирпичной стены, мог вспомнить, что произошло, он вспомнил бы голубое чистое небо, сверкающую витрину, заваленную хлебом, сахар в маленьких разноцветных пакетиках, шоколадные конфеты в плоских коробках. Он вспомнил бы, как подошел к белому чистому прилавку и вежливо попросил, попросил совсем немного, сказал, что забыл позавтракать сегодня... Но он теперь не помнил о голоде, он ни о чем больше не помнил, ему это просто было уже не нужно.

— ...Ворвался в магазин, схватил с прилавка нож... Голодный, наверное, был, теперь многие от голода с ума сходят... — рассказывал солдат, чувствуя, как медленная сосущая боль охватывает пустой желудок. — Сам понимаешь, теперь вообще так... Ударил кого-то. Женщину какую-то ударил. Крик. Ты когда подошел, его уже держали, хорошо не разорвали на куски, хорошо хоть так. Расстреляли как положено, по закону.

Мертвец еще мог бы вспомнить, как мгновенно и вдруг все переменялось вокруг: он поднес к губам пахучий мягкий хлеб, и тут же не стало голубого неба,

витрина затянулась черной холщовой тряпкой. И громкие злобные крики вокруг, и слабые руки, хватающие его собственные слабые руки... Он почти вспомнил это. Сквозь смерть донесся тяжелый далекий удар, сквозь смерть посыпалось оконное стекло, сквозь смерть загудели, продавливая асфальт, тяжелые танковые гусеницы.

— Да, наверное, псих, наверное, от голода свихнулся,— размеренно шагая вперед и стараясь не наступать на выбоины, рассуждал второй солдат.— Ты на него посмотри только! Человек — это человек...— Он вздохнул, поправляя на плече автомат и немного радуясь его привычной, весомой надежности.— Интеллигент!

Медленный и невеселый шел патруль по ледяному осеннему вечеру. Тишина вокруг и звон, переполняющий пустыни улиц и площадей, звон в ушах. И от этого звона у каждого патрульного болело сердце.

— А может, я тоже интеллигент?!— вдруг отвечая на ни к кому не обращенную фразу, брошенную в пустоту улицы полчасика назад, прошептал первый солдат. Он приложил ладонь к груди и попытался вспомнить сестренку, ее голодные детские глаза, ее тонкие пальцы, перебирающие клавиши расстроенного фортепиано.— Я, между прочим, за первый курс все сдал! Понимаешь ты, все!

Он немного повисил голос, но второй солдат не захотел его слушать, он слушал свое собственное звенящее от тишины сердце.

— А что мне на него смотреть,— вдруг сказал он.— Он там лежит, а мы здесь...— Он задрал голову и посмотрел в беззвездную пустоту без луны, в пустоте только медленно шевелились и дрожали, как руки, огромные воздушные тени...

Труп своего мужа женщина нашла очень скоро, рассказала соседка. Она попыталась тащить тяжелое, еще теплое, но уже одеревеневшее тело, в недавнем прошлом принадлежавшее кандидату наук, специалисту по сверхновым звездам. Сил у нее не хватило. Через час она нашла бывшую детскую коляску и, уложив в нее сложенное пополам тело мужа, медленно покатила по улице. Ей было некуда идти, у нее не было направления, она только думала, что если доберется до кладбища, то сможет обнять любимого человека последний раз и остаться там вместе с ним. А в мертвой голове все еще кружили, пересекаясь в невозможные синие линии, горячие звезды.

«А интересно, может, он совсем слепой был, в очках,— думал патрульный, продолжая обход.— Может, даже инвалид. Слепых в армию у нас гуманно не берут, а здесь их кормить нечем...»

Возле магазина патруль остановился. Очередь собиралась с вечера, человек триста женщин, дети, старики, не в состоянии держаться на ногах, сидели прямо на тротуарах и подоконниках.

Ночь прошла, медленно светлело, делаясь похожим на сырой хлебный мякиш, небо нового утра.

Мысли немного путались в голове солдата, он то расстегивал, то опять застегивал тугой воротничок гимнастерки и вдруг, сам не понимая, зачем он это делает, оттянул пуговицу со звездой и вынул из кармана очки. Круглые аккуратные стекла с большими диоптриями, даже без трещинки, тоненькие проволочные дужки.

— Радугу посмотреть хочешь?— ухмыльнулся его спутник.

...Небо рывком отскочило как бы назад, в глубину. Оно сделалось голубым, высоким и ясным. Проволочки, задетые за уши, оказались почему-то очень холодными. Солнце светило ярко, во все небо.

«Откуда утро?— только и успел подумать патрульный, сбрасывая себе под ноги автомат.— Как хорошо!»

Мир немного двоился: нарядная женщина в длинной широкой юбке, присев на корточки, пыталась подправить край детской коляски. Мальчик в коляске тихонечко хныкал, и мать с улыбкой успокаивала его. А прямо перед глазами сияла огромная чистая витрина, заваленная белым ароматным хлебом.

---

---

ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ

\*

## ФИЛИ, ПЛАТФОРМА СПРАВА

*Рассказ нигилиста*

**В** те годы я был диссидентом. Был человеком свободным, участвовал, распространял. Литература, которая шла через мои руки, чаще слепые экземпляры на папиросной бумаге с опечатками или неожиданными изменениями и текста и смысла, — эта литература меня уже не потрясала. Да и каким свободным был бы я, если бы сознание переворачивалось от каждой антисоветской книги? В политику ныряешь с головой и через несколько лет (какую бы идею ни исповедовал) становишься мудрым, коварным и всезнающим. И пока отечество не свернет на тот путь, который ты уже прошел теоретически и на том состарился, — жить смысла нет.

Это как выживание — выживание из будущего. Или выживание из памяти. Вообще я уверен, что наше отечество создано для воспоминаний. Вспоминают все. Может быть, в этом наша свобода. Заметьте, как любят вспоминать те, кто пережил мясорубку, — потому что есть что вспомнить: столько ушло из жизни. Ушло куда? — в прошлое! Я представляю влюбленного в бессмертие Н. Ф. Федорова, вот бы радовался старик осуществлению идеи восстания из гробов: ведь чем больше невинных смертей, тем больше в будущем воскрешений.

Живые лишь одежда воскрешаемых, и по той пустоте, которую я периодически в себе обнаруживаю, могу судить о том, сколько раз уже мной воспользовались. Умерших несравнимо больше живых, и мертвые, видимо, установили живую очередь... Но если когда-нибудь количество живых и умерших сравняется — наступит равенство возможностей (бессмертие) и жизнь потеряет свой главный смысл: ведь чувство ненужно прожитой жизни не вырастает из прошлого (как думают вспоминающие), оно навязывается нам деятельным настоящим — в назидание глупым потомкам.

Собираясь, мы не спорили, мы текли в протест как в углубление. Кого-то замели, что-то произнес имярек, получена новая книга — акция развивалась быстро, словно рябь по воде. Напряженное, деятельное тело подтягивало душу к каждой клеточке. Слова, понятия, обычно вялые и бессмысленные, обретали вектор. Выталкиваясь из глубины, мы получали ускорение. Ну, честно, идея двигала? Да. Идея тех и этих. Так в детстве мы дрались с соседним двором, он раздражал нас не меньше, чем «эти». Писал:

Волшебный свет стремительного счастья!  
Над вечностью и смертью рассмеюсь,  
Мир развалился на составные части —  
Не оглянусь...—

и т. д. Сочетание риска высокой пробы и как бы уличной войны наполняло даже мышечное усилие политическим значением. Мое сознание ничему не удивлялось, и в этом смысле я был бесстрашным. Я мог пойти в тюрьму или психушку — расплата потребна была как награда. Друзья не прощали мне такие мысли, и приходилось объясняться.

Не привлекало меня кредо, ввозимое из-за бугра. Не этим был я себе интересен. Нутро мое («нутро раба», говорили друзья) восставало против политического императива как против прижизненной смерти... Ей-богу, я обладал достаточной внутренней свободой, чтобы не выпасть из истории, но я не мог положить жизнь на историческую стометровку, да еще в обратном направлении.

Мне важно было понять неповторимость моего времени, поскольку неповторимость моего «я» была мне загадочно дарована от природы.

Мне было двадцать шесть. Я жил в Луковом, на Кировской. Тараканья коммуналка. На втором этаже моя комната, в комнате тахта, на узком пыльном подоконнике маленький, густой, как кисель, аквариум, под потолком в углу вниз головой терпеливый кактус. Еще соседка, татарка Машка, запойная. Она работала на табачной фабрике и снабжала меня рассыпухой. Запивала она в субботу под вечер, а с утра готовилась в баню: увязывала веник, латала мочалку, ругалась по телефону с любовником. Еще у меня была жена — молодая Зоя Блямкина. Она перепечатывала в самиздат, ездила по поручениям, сносились, выстаивала очереди на передачу. Она удивляла меня однонаправленным, как страсть, интересом к политике и утомляла, как всякий человек, который переживает тебя в том, в чем ты считаешь себя хозяином. Ее активистская агитация доставляла мне много неудобств. Но я мирился, привык делить с ней кровать, куда она ложилась просто и убежденно, точно копирка под белый лист.

«Ты меня любишь?» — спрашивала Зоя, полируя мои глаза темным влажным взглядом. Я еще только подбирал осторожное признание, а она уже спрашивала: «А за что ты меня любишь?» «Судьба однообразна, как машина, — вякал я многозначительно. — В мире насилия выбор не между жизнью и смертью (где же тут выбор?), а между смертью одного и смертью другого».

Половая легкость подтверждала в ней доброту. Зоя тянулась к христианству, осознанному доброду попусту и призывала меня к тому же. «Какое христианство! — отвечал я. — Мы переросли внутреннюю молитву. Нам подавайте что-нибудь мудрее, выше, значительнее».

Ласки были ей приятны, но, по сути, она ничего не испытывала. Лицо ее — ложе идейности — оставалось холодным. А вот если в ней загорался огонь идеи — она вспыхивала, беглый подкожный пламень пробегал по свежему, точно капустные листья, телу. «Зоя, Зоя», — брал я знобкое имя на язык... Я знал, Зоя заражалась человеком, принесшим новую идею, она с медицинской сноровкой благодарила его и уже через несколько минут стояла одетая, готовая действовать, нести идею в массы.

Сначала я не верил ей, думал — выпендривается, думал, это из ее игры, продолжение которой — и внезапные визиты, и быстрые уходы, и путанные пути через подворотни и проходные двory. Я думал, такие давно вывелись. Да, видимо, такие и вывелись. Зоя чесала по жизни верховым диссидентским порывом. Иных мне судьба не дарила (каких? чем меня можно было одарить?), а Зоя была из редких, но не для любви; она была половоидейна. Я не мог принимать ее всерьез, как не мог принимать «идею» за подлинный духовный интерес.

У Зои и в мыслях не было родить, завести семью. Но на ее счету было уже два благородных брака, которыми она выручила товарищей-зэков.

Ночь напролет она могла печатать наш «Бюллетень», а утром уже дежурить у районного суда, ждять с цветами, когда привезут страдальца, взятого по 72-й, врываться в коридор, стыдить стражу, а потом, дождавшись приговора, бежать впереди конвоя, раскладывать по перилам и лестнице гвоздику в надежде, что осужденный увидит, поймет и ободрится.

Почему она горела этим? Ее не охлаждал даже мой цинизм. Она сносила мои насмешки в самые откровенные мгновения — ничто не отвлекало ее от благородной миссии. «Ты считаешь меня душой, да? — Она так и лежала спиной ко мне. — Почему? Я не умею чувствовать? Ты не знаешь, как глубоко и тонко я чувствую! Не говори глупости. За что ты меня презираешь? Ты знаком с Грядкиным? Познакомь, пожалуйста! Я хочу... с ним работать. Фу, какой циник. Идея по силе равняется любви, ты разве не знал? И даже превосходит! Нет, я сплю не с идеей, пошлый ты человек, но я тебя прощаю».

Иной раз она плакала, но я с животной обидой понимал, что плакала она, жалея меня и мне выпрашивая прощения.

Она была равнодушна к быту, ела то, что я подавал, сама же готовила нехотя и неумело. На кухню выходила, если соседки не было дома. Машка учила ее жить и готовить. И Зоя, обычно в брюках, кофточке, в очках на кончике носа, покорно слушала, нарезаая колбасу или теребя сковородку над пламенем. Машка, небольшого роста, плотная, курила и поучала: «Мужика кормить надо. Баба для того и рождена, а вы, нынешние мирмизетки, позабили голову науками, картошки почистить не умеете... Я не говорю, в науках прок есть, но мужику пожрать

три раза в день надо. А ты вот говенную колбасу жарись...» — «Ну почему? Свежая». — «Говно тоже свежее бывает. Всю кухню завоняла, вон шкорки на полу, а тараканов — как жидов...»

Зоя входила в комнату, заваливала глаза под лоб, качала головой: «Она служит в КГБ, теперь я точно знаю».

Пьяная, Машка иной раз подходила к двери и строго спрашивала: «Трахай, Боря? Ты ее трахай. Я уже старая, и ты меня послушай. Отучи ты ее думать. Она баба здоровая — пусть рожает».

Или пела частушки на татарском. Весело, лихо, притопывая. Я слушал и понимал, что так называемые русские частушки подарены татарам, это их мелодия, их озорство: ам-балям-балям-баля, через тын, через тын доставал меня Мартын...

Были дни, когда мне хотелось оформить как-то наши отношения с Зоей. То есть страх быть повязанным отступал, являлось светлое долженствование. Я поддавался сочувствию как человек, у которого есть кодекс чести. «Я последователен, — говорил я себе тогда. — Никто не обвинит меня в неискренности». В кодексе, вписываемом набело, это было самым значительным пунктом: жить не по лжи. Жить так, чтобы не обвинили в подлости. Это состояние длилось несколько дней, воля иссякала, тогда вступала природная изворотливость, но и она подвигивалась, и я опять превращался в ленивого циника. Зоя собирала разложенные на полу экземпляры, а я, лежа на тахте, рассказывал анекдот: «„Куда бежишь, лиса?“ — спросил волк. „За яйцами“, — ответила лиса, семена за быком». Зоя неуверенно улыбалась большегубым ртом — она принимала на свой счет всякий анекдот. «Подлость без улик — вот основа порядочности, — бубнил я. — Отсюда до интеллигентности один шаг. Все, таким образом, связано. Мировоззрение должно соответствовать поступку, как история — подонку политике».

На кухне пьяная Машка уронила таз. «Живет тут всякое отребье! А я по две смены вкальваю, как верблюд! Смотри, Борька, я твою прокурву сдам! Своей долбаной ватой унитаза забила!» Зоя краснела и затихала над ворохами бумаг. Мне тоже делалось не по себе. Простой человек знает больное место образованного. Но вот откуда этот простой человек, не работающий с внутренним миром, знает, что самое тяжкое для образованного — внутренняя зажатость?

Один раз я всё-таки сдал Машку в милицию. Через несколько недель она вернулась тихая, по телефону говорила с опаской. Я сидел в своей комнате, глядел в кисельный уют аквариума, где вырождающиеся рыбки таскали за собой нити экскрементов, я прислушивался и старался ожесточиться. Я вышел на кухню. Машка поздоровалась и сказала: «Филе купила. Ничего? В нашей кулинарии. Ты пойдешь?» Оказывается, ненависть требует идеологии. Любой. Нужно, чтобы в тебе постоянно работал механизм поддержания ненависти. Иначе черта с два выдержишь. Машка делала вид, что ничего не произошло, и я с благодарностью хвалил ее вонючее филе. А уйдя в свою комнату, раздраженно корил себя: «Должна же быть в душе какая-то абсолютная точка! Нельзя жить на качельной доске честолюбия». Вот что открылось мне, струхнувшему, слушавшему, как Машка, прибитая насильственным лечением, гремит посудой, молча моет полы, чистит унитаз, — не временем, а состоянием жив человек. Честолюбие двигало мной, честолюбием жил. Оглянулся и увидел: восемь лет уложились как один день. Во имя? Цель? Свобода? Реабилитация невинно задавленных? Не было ни имени, ни цели. Мир жизни был выстроен словно тайна — в задвинутом и закрытом ящике. Ключом ли, отмычкой, но вскрыть, а то, что тайны впереди нет, что тайна здесь и сейчас, что тайна творится мною, это мне и в голову не приходило.

До сих пор я был уверен, что время уходит, рассеиваясь сразу за моей спиной. Даже память моя шла как бы впереди, была памятью наперед, я представлял себя только в будущем, но никак не в прошлом... Между моими лопатками и плотными завихрениями времени просочился космический холодок. Я испытал страх: мое сознание было сморожено, сжато, уложено. Мышление в память было моим привычным состоянием. Я увидел в зеркале свое посеревшее лицо, треснувшее морщинами, — паук старости угнездился на переносице и плел свежую паутину.

Я обнимал Зою — она читала, сидя на валкой тахте, — утыкался носом в спину и бубнил, слушая, как мой голос ударяет в ее позвоночник: «Заставить муку трудиться на идею, сделать так, чтобы идея билась в муке. Тогда идея

никогда не замутнеет, голова будет ясной, потому что дыхание и биение сердца будут мучительны».

Зоя вздрагивала, отстранялась. Глаза, освеженные раздражением, сияли. Она могла ударить меня, рука у нее была тонкая, но ладонь тяжелая, с твердыми короткими пальцами. «Ты какой-то смурной», — говорила она презрительно.

Всю ночь Зоя читала Авторханова. Я не мог сказать ей: погаси свет, пусть все идет к чертовой матери. Она читала пораженная (я не уставал удивляться ее способности вытарашивать глаза, мир предстал перед ней анфиладой, ведущей от идеи к еще более высокой идее), а часа в четыре утра она разбудила меня — иссосанная бессонницей, без очков, со свежим запахом зубной пасты. Глаза лучились новизной вычитанного. «Борис, это же откровение! Люди должны знать эту правду! Боже мой, какие вы все умные, а я, дура, ничего этого не знала. Вы просто потрясающие люди. И все это у тебя вот здесь? — Она охватила мою голову, прижалась губами ко лбу. — Все это ты знал? И жил с этим? И все это было вот тут, за этой светлой косточкой? Дай мне губы, вот как все близко. Я хочу знать тебя, хочу выпитать твою мудрость до капельки». Она мягкими, плывущими губами выискивала на моей груди какие-то ей одной нужные дольки и рыбьими щипками выдергивала их... Минуту спустя я сказал ей, нехорошо улыбаясь: «Великие цели ставят перед собой люди, которых бог обделил талантом».

Я предполагал, что после лечения Машка утихнет, но недели через две, пьяная, она кричала по телефону своему любовнику: «Я их раскусила, Миш! Слушай меня, я их раскусила! Они меня убьют, ты понимаешь? Упек в психушку, стой, упек в психушку, а сам же диссидент проклятый! Я решила заявить в милицию. Все напишу и отнесу в КГБ... Не перебивай... Как не торопиться? — Она вдруг стала тяжело, нежно плакать. — Он не знает, подлец, как меня лечили! Я от этих уколов до сих пор еле хожу. Я тебе говорю, он прямо сейчас стукнет меня по голове, а она кровь подотрет! Но я их теперь раскусила, я в туалете бумажки нашла энти, перепечатанные... Вот где теперь они у меня, Миш, выселю теперь их, и чтобы духу не было!» И так далее. Когда Зоя услышала о бумажках, она схватилась за голову: это было крупным проколом. Она смотрела на меня сквозь широкие линзы с упреком и болью. Я пожимал плечами, усмехался. Она первая поняла, что теперь надо расходиться. Наша связь распалась, Зоя стала собираться, укладывать в небольшую сумку свои вещи. Она всхлипывала и говорила: «Ты хороший. Я люблю тебя». «Ох, — отвечал я, — ты все путаешь. Человек пускает корни не вниз, а вверх». «Но я хочу, хочу быть с тобой!» У меня где-то в солнечном сплетении то завязывался узел, то развязывался. «Во имя нашего дела, зайчик, надо пренебречь». Лицо ее стало вдруг особенно красивым, осветилось белой бледностью. «Это моя оплошность», — сказала она круто. «Ну ладно, — сказал я, обнимая ее. — Как же без бумаги? В конце концов, если на Западе заинтересованы, пусть снабжают нас подтиркой». Я поцеловал ее взволнованную, потную ладонь. Зоя отмякла. Мы лежали, слушая, как Машка властвует на кухне, как величественно говорит по телефону. Я, чтобы отвлечь Зою, кивнул под потолок, где вниз ершистой головой висел кактус — он пустил отросток. «Зацветет», — шепотом сказала Зоя. Я обнимал ее осунувшиеся плечи и говорил: «Не верю я в сознательную совесть: узнал человек о массовых репрессиях — и загорелся стыдом за все человечество... Не может человек принять на себя чужой грех, как не может принять за кого-то смерть». Зоя вскинулась, уставилась расширенными обиженными глазами. «Ты говоришь неправду! — шепотом в самое ухо крикнула она. — Но зачем? — Она стала всхлипывать, по-детски дергать меня. — Зачем? Ну зачем ты это сказал?»

...Лежа без сна, я видел, как подвешенный кактус быстро растет в том самом разреженном времени, которое было для меня и тяжело и болезненно. Кактус ожил, из колючей грани выскочил и быстро вытянулся свеженький безволосый побег. Был он тонкий, но крепкий, поблескивал, как молодой огурец, он тянулся сначала вбок, а потом с какой-то фаллической удалью стал загибаться, но и на этом не остановился, а все в том же бесстыдном азарте набух головкой, раздулся и вдруг приоткрылся фиолетовой нежной тканью. Сколько напряжения и страсти было в нем! «Смотри, — толкнул я Зою, — это у него на тебя — ходишь тут голая». Отросток напрягался, выгибался, требуя если не встречной плоти, то неотрывного внимания к себе. Головка раздулась фиолетовым усилием, побелела в основании — и вот, опережая серый пар утра, кашель первого прохожего,

отросток лопнул и распустился легчайшим широким цветком. Я не утерпел — поднялся и пощупал. Цветок был нежный и пугливый, словно крылья бабочки, и странно было видеть, что юношески бестолковая плоть все еще напряжена и властна, а на самом кончике насмешкой и дуновением завис фиолетово-голубой, фиолетово-бледно-розовый цветок с нежным женским углублением. Колоссальной силы движение вдруг ощутил я в этом отростке: словно не испытав мужского наслаждения, отросток вывернулся наизнанку женской плотью, влажным розовым небом... Мы попрощались с Зоей, я погладил ее по щеке, попросил не забывать звонить. «Смотри, — сказала она, — как быстро свернулся». Цветок уже повисал обмякшей тряпицей. Зоя прижалась ко мне и легко сказала: «Он зацвел на счастье».

Бывали минуты, когда я жалел, что расстался с нею. Мне не хватало ее голоса, ее внезапных прикосновений... Но тут как раз у меня сильно ослабло зрение, перед глазами поплыли длинные, словно рыбы экскременты, червячки, и я надолго сторвался от политики.

Коридоры глазной клиники были узкие и темные. Кабинеты зашторены, электрический свет под глухими колпаками. Каждый день по разу, а то и по два мне расширяли зрачки и отсылали на этаж выше, где новый специалист пытался выяснить причину болезни. Я привык к стеклянной линейке, а когда врач наводил на зрачок зайчика, я чувствовал тепло, наблюдал сверкающую проекцию сосудов на собственной склере, и мне казалось, что это — внимательное око врача, вошедшее прямо в мою глазницу. Через неделю я уже был в очереди к онкологу. Холодная испарина и мелкая дрожь вызвали во мне чувство, какое бывает, когда смотришь на умирающее животное. Мне хотелось видеть людей, но из-за расширенных зрачков невозможно было взглянуться в лица. Внезапно распалась связь между зрением и мыслью — связь, о которой я и не подозревал. Потеряв остроту зрения, мысль беспомощно возилась со своими логикой и целесообразностью. «Если рак, — сказал я себе, — сам виноват». Сказал, чтобы вот такой угрозой успокоить себя. «За что?» — спросил я своего жестокого судью. Я не мог понять, для чего смерти необходимо осуждение, а жестокий судья не мог понять, для чего смерти необходимо оправдание... Рядом со мной кто-то тяжело и коряво завозился, затужился голосом, завыл, как безъязыкий. Я снял с глаз вату, взгляделся. Возился длинный большеголовый старик. Он держал лицо вверх и нянчил в глазницах свою вату. «Зымаувраумэ?» — сквозь судорожное заиканье обращался он ко мне с каким-то вопросом. «Да, — поспешно отозвался я, — несладко». Он опять промычал, уже требовательно. Мне казалось, что не понимаю его из-за того, что плохо вижу. Старик, волоча, подобрал ноги. Поднимаясь, он уронил палку.

Через пару дней мы опять ощупью оказались рядом. Он сидел, вытянув ноги поперек коридора, захватив палку сплетенными ступнями. Мы прижимали свои ваточки, ожидая, когда сестра заглянет нам в зрачки. «Было я не бовэл кувиной свепотой», — сказал старик. Я постепенно разгребал оползни его интонации, кое-как понимал слова. «Вы уже лечили дистрофию?» — спросил я. «В лагеве, — хмыкнул он, — там одно лекавство — жватва». «Сколько же вы сидели?» «Каэртэдэ, пятнадцать лет».

Мое мировоззрение, которое я разделял с друзьями, требовало уважать бывших эков. Надо, надо вынимать из забвения наших отцов (мой бросил семью, и судьба его мне также была неизвестна), но в душе я не мог преодолеть отчуждения. Выжившие среди повальной смерти, выкарабкавшиеся из братских могил, уж очень физиологичными были они. Их жизнь казалась мне искусственной, как вставная челюсть. Несчастные чудовища, как они хотели походить на людей! Я не мог предположить в них тонких душевных движений. Они носили в душе ту прожорливую яму, из которой чудом выбрались.

— Вы читаете бывших эков? — спросил я.

— Э-а.

«Все ясно», — подумал я. От его костюма пахло бесполой затхлостью. Возможно, это пахло его тело.

— Они восстанавливают память, — сказал я.

Он поерзал по скамейке, хмыкнул:

— Вы что, из нынешних Гильгамешей?

— Они пишут неправду?



— Они делают вид, что им нужна правда.— Он гонял во рту мякиш косноязычия, но я уже улавливал его слова, настраивался на речь.— На самом деле это терапия чистой воды. Они не могут приспособиться к послелагерной жизни. Солженицын даже историю взялся переписывать, чтобы хоть как-то прижиться.

Он мычал, клацал пластмассовой челюстью, что пятнадцать — двадцать лет лагерей — это жизнь и что все они лагерные зомби, и надо набраться отваги, чтобы не судить мир из-за колючей проволоки.

— В лагере каждый нашел свой предел,— сказал он, сбиваясь на рвотный кашель.

Атропиновое одурение прошло дня через два. Я сидел под дверью процедурного кабинета. По лестнице в темный коридор медленно взошел высокий урод. Каждый шаг давался ему трясущей и плечи и грудь судорогой. Он шел, заваливаясь на палку, которую для устойчивости подворачивал под живот. Большое, длинное лицо провисало шелковыми крапчатыми складками. Он остановился возле меня, уставился голубыми глазами, наверченными на крохотные зрачки. Бешеный взгляд предвещал слово, которое он ловил грудью, задыхаясь, горлом, губами, втягивая слюну.

— Юноша,— приветствовал он меня,— прозрели?

Мы бродили по коридору, сидели, выходили на лестничную площадку.

— Есть во всех нас что-то такое,— говорил он, усмехаясь до искусственных десен,— чем-то мы нормальным людям неприятны.

— Яков Петрович, честное слово, мне с вами говорить легче, чем со сверстниками!

Он рассмеялся:

— Ну, это результат моей тренировки. Я заставляю себя жить так, как будто я обыкновенный человек... Это как на допросе, только наоборот. На допросах били, заставляя вспомнить то, чего никогда не было, а теперь мне надо напрягать все чувства и все внимание, чтобы вспомнить, каким бывает обыкновенный человек или как читать книгу.— И, развернувшись на палке, сказал: — Зря ругают палачей. Жертвы могли бы отдохнуть душой возле них.

Он хорошо улыбался, лицо вдруг очищалось от морщин, делалось светлым, большелобо-детским. У него были длинные пальцы с неподвижными крайними фалангами, пальцы то всплескивали, то опадали. Он рассказывал, как били — он не оклеветал, как предлагали подписать прошение о помиловании — не подписал. Он все так же улыбался — и становился как бы моим ровесником, и я запальчиво спрашивал: «Но почему?» Я горячился, как будто мой ровесник знал нечто, чего не мог понять я. «Почему вы не выдавали? Почему не подписывали?» На каждый вопрос я уже знал ответ, но впервые эти два вопроса были сведены вместе, соединились в одном человеке. Не подписывал, чтобы не дать им в руки косвенное доказательство вины. Не клеветал, потому что ни в какой организации не состоял. Но — почему? Он ухмыльнулся, красноватые склеры заплакали от веселья. «Эту машину,— сказал он,— я строил и потому знал: если в одном месте она дала сбой — это не ошибка, это фашистский переворот». Я смотрел в его полуслепые глаза: тогда он ответов не знал. Избегав смерти, он не мог объяснить удачу отвагой, это было бы нечестно. Но нечестно по отношению к идее или по отношению к миллионам уничтоженных? — этого я не знал, и Яков Петрович мне этого не объяснил.

Я помогал Якову Петровичу доковылять до метро, на следующий день мы встречались у процедурного кабинета. Я вглядывался в Якова. Пятнадцать лет Колымы — что это такое: пятнадцать лет воздержания или разложения? Передо мной была старость, не имеющая времени на старение. Лагеря отняли это свойство. Яков был поразительно молод долагерной молодостью, с которой сожительствовала без видимого разлада неувядающая старость.

Он жил с женой, которая дождалась его, но сейчас умирала от рака. «Сторожила меня, как комиссар,— хихикал Яков.— Чтобы я не болтал лишнего и чтобы, не дай бог, чего не написал! Крепкая баба».

Неприятнь, которую я испытывал к нему вначале, обернулась во мне какой-то детской, давно забытой хворью,— я заразился Яковым. Мне хотелось ходить за ним, держать за руку, спрашивать и слушать его. Позвонила Зоя. Я обрадовался и рассказал о Якове. Она спросила, не написал бы он для них. Нет,

сказал я, жена у него такая, запрещает писать, а написанное уничтожает. «Нет,— сказал я,— он не станет писать».

Яков был плохим рассказчиком, не видел или не умел передавать детали. В его рассказах люди совершали поступки, но никогда не переживали. Мне казалось, что и сам Яков не чувствует внутренней драмы. Он был дидактик-интеллигент в первом поколении. «Шаламов говорит,— объяснял Яков свою терпимость,— что узнай Достоевский настоящих уголовников — возненавидел бы. Сомневаюсь. Сочувствие проистекает из понимания, что нет предела человеческому падению... Именно потому, что нет предела, человек и в самой крайней точке падения — человек».

Мы медленно двигались по улице. Накрапывал мелкий дождь. На голове у Якова был маленький серый берет. Темно-синий пиджак лоснился на отворотах и вокруг пуговиц. Удивительной белизны веснушчатое лицо, напряженные глаза, изношенные веки. Он останавливался словно для того, чтобы точнее выразиться. На самом деле — чтобы передохнуть. Сказав, он как бы отодвигался от себя, вертясь на палке, смотрел удивленно и внимательно: тут ли он? — и, увидев себя, совместившись, подавался вперед и приглашал меня следовать рядом.

Однажды он позвонил мне и попросил помочь. «Александра впадает в беспамятство. Надо бы помыть». Я взял бутылку водки и поехал.

Он жил в однокомнатной. Все как положено. Только запах разложения. Он был так густ, что, стоя на пороге, я не сразу почувствовал его. Я вошел в паробразный смрад. Не снимая куртки, прошел за Яковым на кухню. Яков был серезен и немного по вежливости суетлив.

— Вот тряпки, их надо разорвать. Таз в ванной, надо наполнить теплой водой.

Я прислушался, в комнате было тихо. Я сел на табуретку, поставил бутылку на стол. «А это мы потом»,— сказал, улыбнувшись, Яков и убрал бутылку в холодильник. Вид у меня был напряженный, и Яков спросил: «Запах? Я принимаюсь. Так пахло на Колыме, когда земля оттаивала». Он весело ощерился, даже взрыкнул. Я не мог предсказать, что меня ждет и что мы будем делать. Внезапно послышалось громкое шуршание и стон. Потом тонкий гласный зов:

— Яа-шаа!

Яков поспешно заковылял в комнату.

— Что, Сашенька?

— Аааа!

Я вошел. В кровати на ворохе газет лежала крупная рыжеволосая в проседь женщина. Шишчатое от метастазов лицо было запрокинуто и тяжело. Под синими веками ощупью ходили глаза. Она сквозь летучую одышку просила незакрывающимся ртом:

— Яа-шаа...

— Ты хочешь кушать?

— Аа-аа,— она нянчила какую-то обиду.— Я-ша, а шляпа? А шляпа?

— Какая шляпа, Сашенька?

Она молчала, дышала сквозно, нижняя губа безвольно трепетала.

— А платье, Яша? Платье?

— Какое платье?

Она не отвечала. Из глаз побежали слезы. И вдруг она сказала ясно:

— Керенский.

Яков кивнул мне с усмешкой:

— Бредит.

Слезы текли обильно.

— Яша-аа,— позвала она дыханием,— дай... мне... инфузорию.

— Какую инфузорию? — допытывался Яков, стараясь пробиться сквозь ее полубред, потом стал перебирать пузырьки, рассыпанные таблетки.

Жена открыла глаза. и оттого, что один открылся шире другого, взгляд был злой и пристальный.

— А таблетки? — с непроходящей жалобой спросила она

— Какие таблетки?

— От слез.

— Она плохо видит и думает, что мешают слезы,— сказал он.

— Яа-ша, Яа-ша,— звала она откуда-то одним стоном.

— Ну что, что, Сашенька? Тебе больно?

— Судьба... барабанщика...

Она дышала без вдохов, прокачивая настоящее, уплывая на своем парусном дыхании. На глазах она становилась фотографией, пожелтевшей от времени. Так я смотрел на нее, с тем же интересом к судьбе изображенного на фотографии человека.

Мы стали мыть ее. Я с трудом удерживал тяжелое, длинное, на удивление крепкое тело. Оно было горячим и совсем без запаха. Когда Яков теплой тряпкой протирал ей пах, она вдруг вздрогнула и притихла. Яков торопился, расплескивал воду, всхлипывал от усилий. «Ну вот, — сказал он, — спасибо. Теперь она чистая». Мы убрали из-под Александры мокрые газеты, подстелили сухие. «Обязательно вымойте руки, — сказал Яков. — Вот полотенце, чистое».

Мы сели на кухне. У меня было такое чувство, будто мы оживляли человека. Яков поставил рюмки, я разлил водку. Чайной ложкой Яков всыпал в свою рюмку красного перца, предложил мне. Я не отказался. «Врач ничего определенного не сказала, но я думаю, не сегодня-завтра» Мы выпили. Я был возбужден и расслаблен как после нужной и хорошо сделанной работы. Я стал рассказывать, чем занимался все эти быстрые для меня годы. Я говорил, что люблю, когда противоречие похрустывает под пальцами. «Но я против того, — мне казалось, Яков понимает меня, — чтобы губить противоречие вопросом о первичности!» Я насмеялся над своими друзьями, которые, говорил я, отчужденную свободу переиначивают в свободу отчуждения. Яков хмыкал, кивал, раздергивая скользкими зубами куски жесткой ветчины. Я с горящим от перца нутром восторженно смотрел на него. Мне было с ним так легко и ясно, словно мы были ближайшими духовными братьями. Он, дважды приговоренный к расстрелу, разбитый травматическим энцефалитом, и я, дитя коммуналок, окунувшее голову в холодную плазму протеста, — мы были свободны и самопричинны. «Назовите мне мудреца, — говорил я, — которого не разорвало противоречие!» Мы смеялись и спохватывались. В комнате была тишина. И Яков стал рассказывать, как после лагеря учился читать. «Буквы помнил, слова прочитывал, а понять ничего не мог». Он смотрел влажными слепыми зрачками. «Да, да!» — кивал я, пьяное вдохновение что-то ясно мне объясняло. Мне казалось, я понимаю и даже чувствую зияющую суть лагерного «очищения». лагерем завершалась великая история отчуждения человека. Пьяным поющим голосом Яков стал читать стихи:

На меня нацелилась груша да черемуха...

Так совпало, говорил Яков, дата под стихотворением и год его посадки. Он поднял длинный палец и лукаво погрозил над своей головой разгаданному оракулу.

— Что это такое, — спрашивал он, —

Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями, —  
Что за двоевластье там? В чем соцветье истина?

Нет, — спохватывался Яков, — не то. вот, вот что:

И двойного запаха сладость неуживчива!

Он тянул мокрым носом, показывал, как он внюхивается.

— Ну и что! — вкатывался я в его азарт.

— А то, что никому из поэтов не удалось так точно описать запах заживо гниющей плоти. Этот грушево-черемуховый смешанный и обрывчивый аромат!

Если мы не виделись, я представлял, как Яков бредет, изредка останавливаясь и тяжело дыша, ждет, когда совместится с самим собой. Он был похож на Рембрандта. Тот умел подстергать: вдруг появлялся из темноты с лампой и застигал время врасплох. «А, вот что ты делаешь со мной! — хохотал он. — Ну так вот что я сделаю с тобой!» Ни крупички от мертвых страстей минуты. Яков сказал бы: «Душа ищет эволюции, дух — революции, разум — противоречий».

Я ходил по своей комнате, приволакивал ногу, мычал, косноязычием задавая работу словам

Человек объявил себя целью и содержанием эволюции? Эволюция решила проверить его на прочность — собрала его в миллионы, огородила колючей

провоолокой: выживешь? Эволюция не знает гуманизма (это для тех, кто клянет революции за кровожадность). Эволюция знает, что такое отбор, но она исключает выбор.

От двери я поворачивал и хромал к окну. «Чистая закономерность, — думал я с каким-то светлым скептицизмом. — Мы же сами вносим в человеческую жизнь бесчеловечные законы вселенной, так почему мы отрицаем взрыв? Эволюция — это катастрофа, растянутая на столетия». Я так думал, но при этом бубнил и подвывал, и получалось: «Мои предки из крепостных, значит, я — побочный продукт отбора».

Я смотрел в аквариум — рыбе лицо, бездонные зрачки, ножевая судорога челюстей... Кажется, я понял, что такое апокалипсис. Это логика сна, это безумие сновидения, ставшее основой мира, оно наполняет внезапность каждое мгновение... Под дверью закричала Машка: «Там тебя какой-то алкаш зовет! Мычит в трубку, ни хера не разобрать». Яков сказал, что Александра умерла.

С соседями мы выносили Александру на одеяле. Когда поднимали, широкая грудь согнулась и выдохнула. Я долго потом не мог избавиться от этой «неуживчивой сладости» — ни дымом, ни водкой. Яков держался спокойно, он был в черном коротковатом костюме, в галстуке. На улице моросил дождь. Яков постоял минуту у гроба. По его лицу, теряясь в тусклых складках, катились капли.

Через несколько дней, опять в дождь, мы забрали урну. Яков сунул ее в авоську, и мы пошли к автобусу. Когда подъезжали к метро, дождь хлестал. Я взял у Якова авоську. Улицу перейти было негде, поток нигде не сворачивал и не иссякал. Яков разозлился и пошел прямо в воду. Он промок до колен, матерился. «Куда мы едем?» «К бабе!» Яков выпучил на меня глаза, я сжался — не стукнет ли? В переходе он остановился, подпер палкой живот и стал выгирать лицо — и делал это, как ребенок, водил лицом о платок. Из платка и заговорил: «Ты там что-то выдумывал... Мы выжили, потому что живучие. Те, что сдохли, — сдохли животной смертью, петришь? И потому, что они все — все миллионы — сгнили животной смертью, мы, живучие, выжили животной живучестью. Из нас этого не вынуть».

На «Киевской» нас прижали. Я боялся за урну. Якову наконец уступили место. Я взял авоську под мышку. Яков был угрюм. Он дергался тягучей, через все тело, дрожью. Те, что сидели рядом, поглядывали, отодвигались.

Поезд выскочил на свет. Пошли правые платформы. В свежести сентябрьских деревьев было что-то от свежей симметрии. Убаюканные подземельем люди не сразу замечали обновленной симметрии, и стоило человеку задуматься, как на остановке он тыкался не в ту дверь. Небо очистилось, пошло белыми, слабо завихренными волокнами. Яков перебрался к дверям. Он что-то говорил. Я за грохотом не слышал, кивал, улыбался. А он говорил и спрашивал, ждал ответа. Объяснили «Фили», я качнулся к выходу. Яков схватил меня за шиворот — куда?

Мы выбрались на дорогу. Лужи лежали огромные, вечерние. Мы плелись где тротуаром, где — поперек дороги. Яков устал и лужи не обходил. Чтобы отвлечь меня от своей немощи, он говорил: «Меня уверяют, что я прожил зря... Меня не просто уверяют, меня припирают к стенке... Но даже если я соглашусь, признаю это (особенно сильная судорога перекосила рот, слюна хлынула на подбородок), ведь моя жизнь никогда с этим не согласится. Я не могу переиграть прошлое, это невозможно.. Я могу отбросить идею — но отбросить жизнь ради новой идеи?.. Как раз к этому меня изо дня в день пытались приучать в лагере... Никакая идея не наклонит меня к раскаянью». Он остановился по своему обыкновению, поднял беретку над потным лбом, уткнул лицо в сгиб локтя. Вечерний свет делался тугим и близко-близко подступал к домам и деревьям. Свет был таким плотным, что казался фольгой, на которой черной четкой вмятиной отпечатывался каждый завиток предметного бытия. Яков качнулся, засмеялся и сказал: «Наша история кишит беглыми взглядами».

Мы подошли к старой пятиэтажке. На первом этаже Яков позвонил. Открыла недобро глядящая старуха.

— А вот и мы, Раиса Ивановна! — Яков ерничал и гугнил. — А это мой друг Глеб.

— Борис, — поправил я.

— Ну все одно единокровный, — заржал Яков.

Мы разделись. Раиса Ивановна, шурясь и подрагивая широким лицом — быстрый тик мял и разглаживал складки, — кивала мне, улыбалась осторожно.

Яков по-свойски бродил по комнате.

— Сейчас штаны переодену, и сядем за стол... Пожрать-то есть? — Яков подмигивал мне. — Раиса — баба мировая! Мы с ней в Институте красной профессуры учились! Она сейчас нас накормит.

Я вошел в однокомнатную с порожком в некий открытый альков, где в правом углу стояла книжная полка (этажерка), а прямо у стены широкая кровать.

Яков сел у стола, стал стягивать брюки. Хихикал, выжимая носки на пол.

— Яшка! — крикнула Раиса Ивановна. — Ты что хулиганишь? Еще кальсоны сними.

— Сниму, не торопи.

Яков подмигивал, шутил, насмехался, но сразу было видно, что он не играет, что он и такой тоже. Словно тот, которого он обычно поджидал и с кем совмещался, оторвался и повел свою жизнь.

Раиса Ивановна принесла из кухни салатницу и спросила, все ли прошло хорошо.

— Все, все, — сказал Яков. — Что же плохого в похоронах?

— Яшка, бог тебе детей не дал, — сказала раздраженно Раиса Ивановна. — Были бы такие же балбесы.

— Погоди, Раиса, вот мы с тобой теперь наделаем детей...

— Язык бы тебе... — Она сухо сплюнула.

— Давай поминать, — сказал Яков и поставил на стол белую запаянную урну. — Еще теплая.

— Яшка! — закричала Раиса Ивановна. — Ты зачем же в дом принес?

— Не твоего ума. Она просила на родине похоронить.

— Да когда ты похоронишь, господи! Не дашь ты ее душе покоя, пока сам не помрешь.

— А, хочешь меня пережить?

— Тьфу! — Тик сжал лицо, и Раиса Ивановна не справилась со слюной, плюнула.

Яков утерся, похрапывая от смеха.

— Сразу любовника заведешь, знаю.

Ясно было, что они давно вместе, здесь были вещи Якова, и его угловатое движение по комнате — тут отодвинет стул, там обопрется об угол секретера — завершалось затверженной фигурой инвалида. Раиса Ивановна терпеливо переживала его перемещения, и за внешней ее грубоватостью сразу всей полнотой проступала неукротимая и пугливая нежность.

Мы пили. Яков обращался то ко мне, то к Раисе, то к урне. Он был на взводе, насмехался над Раисой, рассказывал, как они крутили любовь и как он, параллельно получая медицинское образование («Продуктовые карточки!»), приводил ее в морг. «Там было тепло, да, Райка?» «Да замолчи ты, окаянный!» Ее лицо негодующе сжималось к носу вслед за тиком и вдруг обратной волной вспыхивало улыбкой. Меня уже не смущала урна на столе, и я и душа Александры вовлекались в простую (как обстановка комнаты), не требующую дальнейших разъяснений жизнь (ведь мы так часто и так умело ее недоговариваем!), но при этом сильнее опьянения я испытывал ностальгически-радостное чувство, будто эти старики — мною пережитое, которое внезапно вернулось сокровенным воспоминанием.

В Якове открылась лагерная могила, из которой он щерился молодыми деснами вставных челюстей. Он рассказывал, как спасал уголовника, который изнасиловал конвейерную овчарку. «Любимую овчарку начальника лагеря!» — он хохотал, поглаживая свою большую, с короткой стрижкой голову. Мы пили за покой души Александры, и Раиса вспоминала, какой была ревнивой Александра. «Я могла бы узнать о судьбе Якова», — с не остывшей значительностью сказала Раиса. «Да что бы ты узнала! — с блатным вывертом сказал Яков. — Прижухла, как мышь». Они стали препираться и загадочным образом дополняли друг друга. Говорил Яков — мычаще тянулись горло, лицо, выпучивались красные, пробитые зрачками глаза, сильно и плавно дергалось плечо, голова заваливалась набок — рождалась речь. Раиса подхватывала его судорогу на исходе и продолжала лицом — лицо сбегалось морщинами к носу, распадалось на лбу и подбородке. Раиса мелко трясла головой, словно стряхивая воду с лица, нервная рябь перетирали глаза, губы, скатывалась на шею, билась в кадыке. Раиса смеялась, говорила сильно, ясно, только мясистый нос дрожал, как дрожал указательный палец Якова, которым он пригвождал ее болтливость: «Заткнись!» И требовал: «Ты лучше расскажи, как описывала подвал на даче Сталина!» Раиса охотно, жмуря глаза, рассказывала о длинных рядах мундиров, о горе шелковых чулок

посреди подвала. Гора чулок привела Якова в бычий восторг. Он закашлялся, минуты три боролся со смертью, отдышался и перебрался в кресло. Раиса обтирала ему лицо и махала полотенцем, пока он не отогнал ее. Он потребовал альбом и стал показывать мне фотографии. Это была Раиса — высокая, крепкая на фотографии цвета ее нынешнего лица. «Александр я любил до лагеря, а ее — после». Раиса была прекрасно сложена и даже кокетлива для тех времен — в рубашке-блузке, косынке концами назад, прямой юбке и белых носочках, она незаметно выгибала кошачье бедро. «У вас вкус!» — льстил я. Яков улыбался еристо, он забывчиво, как малый ребенок, возился рукой в паху. И вдруг кричал: «Райка, пройдишь, покажись Борису!» «Да помолчи, кобель ты!» Раиса возмущенно вставала, брала что-нибудь со стола — тарелку или салатницу, — шла, отодвинув спину, плавно держа бедра. «О, какова! У нее фигура мадонны, я изучал. Особенная ступня с выдающимся вторым пальцем». Извернув по-кобелиному голову, ржал и пел Раисе вслед высоким голосом: «Чем торгуешь? — Мелким рисом! — Чем болеешь? — Си-фи-лисом!»

Потом Яков слушал транзистор, возил его на животе и ядовито передразнивал «голоса». Раиса лежала на кровати, читала. Я сидел на раскладушке под окном. В комнате было полутемно. Луна яркой лохматой долькой всходила над калиновым кустом. Яков уснул. Я потянул приемник, Яков проснулся, обматерил меня и поплелся через порожек к кровати. «Подвинься, невеста!» Раиса погасила свет. «Помню, поместили нас рядом с женским лагерем, — протяжно сказал Яков. — Бабы на работы не пошли, забастовали. Легли вдоль колючки, ноги расставили. Лежали, пока начальник не сжалился». Раиса насмешливо вздохнула.

С покойной чистой радостью я задремал. В полудреме вспоминал, как рассказывал Яков, что в лагере, без вестей от Александры, почему-то был уверен, что оставил ее беременной, представлял, что она родила ему ребенка, рисовал поочередно то мальчика, то девочку, а вернувшись, вздрагивал на улице, когда попадался ребенок, похожий на выдумку, вторая волна страха — когда понимал, что за это время ребенок вырос, а третья волна накрывала с головой, тянула на дно, туда, где никаких детей не было.

Я засыпал почти счастливый как бы посмертным дружеством этих стариков, мысленно прощался с пепельной душой Александры... Я проснулся от шепота: «Тише ты». «Да спит он». И тихое-тихое подрагивание пружин. Луна яркими полосами растянула полотно над кроватью, и на этом полотне я видел — не мог не видеть — их тени. «Яша, — сказала она с усилием, — да не сопи ты так». Яков повернул к свету лицо. Раиса плечом поддерживала его голову. Затяжными рывками Яков припадал к ней и, помедлив, отшатывался. Потом рядом с его лицом появилось ее, оно сминалось привычным тиком, но терпеливая нежность пересиливала, и лицо разглаживалось. Они уже не сторожились. Яков размашисто раскачивал себя, ее. Раиса обнимала его за плечи, Яков же никак не мог найти покоя рукам. Он постанывал, потом стал всхлипывать. «Тише, Яша, тише», — просила Раиса. Яков заторопился, вздыбился однобоко. «Рая, не роняй меня». «Ну что ты, я держу». Она обнимала его широким, вдоль тела, объятием, а он вырывался и падал, он сладко всхлипывал, словно мука рыдания позади. Поднятый тяжелой судорогой, он изломился и сник. Они затихли. Через минуту Яков спросил: «Ты куда урну дела?» — «А что?» — «В холодильник поставила?» — «Язык бы тебе вырвать». Они уснули.

Сбитый, напуганный, я долго наблюдал, как луна сворачивала свое полотно. Перед рассветом в бессонном моем сознании дурной приметой прозвучал ясный голос Якова: «Очищенный человек отрицает историю, очищенная история отрицает смысл».

...Яков умер через два года. Его грудь была тектонически поднята, а в лице сохранилась готовность выдержать. Для него начиналась, казалось мне, новая жизнь, как рассказ после смерти. И я мысленно готовил этот рассказ, но человек не умирал и смерть не приходила. Я мучительно ждал, не зная, что сказать Раисе Ивановне. Но вот пришла Зоя, обняла Раису Ивановну, положила Якову в ноги легкие осенние цветы — и Яков ушел. Раиса Ивановна, подмигивая ослабшим лицом, сказала: «Хорошо, что урну не увез. Теперь похороню их рядом».

---

---

# Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

\*

## КАК ЗАНАВЕС ПУСТЬ РАСПАХНЕТСЯ МЕСТНОСТЬ

*С немецкого*

### ИЗ «НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ»

#### Исход блудного сына

Прочь от всего, что спутанно и смутно,  
что в нас самих не нам принадлежит  
и образ искажает так, как будго  
на дне любого зеркала лежит.  
Ото всего, что каждую минуту  
шипы вонзает в нас, прочь уходить!

И стало быть,  
оставить навсегда —  
оглянешься, не видно за чертою —  
то близкое, привычное, родное,  
обычное, как хлеб или вода,  
что было каждый Божий день с тобою,  
а ныне исчезает без следа?

И все же уходить! Как письмена  
ненужные, перечеркнуть окрестность  
и прочь идти... Куда же? В неизвестность,  
где чуждая и милая страна.  
Как занавес пусть распахнется местность,  
а что там будет: сад или стена,—  
идти!

Но почему?

По безрассудству,  
по зову, по желанию, по чувству,  
что ведает лишь молодость одна!

Все это взять с собой  
и где попало  
растратить, сам не зная почему,  
чтоб умереть забытым, одному...

Вот это жизни истинной начало?

**Детство<sup>1</sup>**

День медлит, как река среди плотин.  
Там, в школе, все угрюмо и зловеще,  
и ты один, и страх в душе трепещет...  
И вдруг скорей туда, где площадь плещет,  
где улицы кипят, фонтаны хлещут  
и мир с садовых видится куртин.  
Идешь, дитя, среди его равнин,  
а он переливается и блещет.  
О дивная пора! Душа трепещет,  
а ты один.

Как быстро мир менял свои личины:  
мужчины, дети, женщины, мужчины,  
и все так не похожи и пестры.  
И чей-то дом и пес у конуры,  
с надеждой рядом — ужас без причины.  
О тайный груз тоски! О грусть! О грез глубины!  
Глубины той поры.

Играть в саду, когда за вечерело,  
гнать обруч и ловить летящий мяч,  
на взрослого наткнуться ошалело  
и вырваться и уноситься вскачь —  
а после красться в комнаты несмело:  
глаза настороже и лоб горяч,  
смятенье без причин и без предела.  
О страх! О плач!

И любоваться всласть, как проплывает  
кораблик твой по зеркалу пруда,  
и вдруг забыть о нем, ведь отражает  
другой кораблик сонная вода.  
И рядом чей-то облик возникает.  
Мгновенье — он растает навсегда.  
О детство: все летит, все исчезает.  
Зачем?  
Куда?

**Одиночество**

Одиночество — туча дождевая.  
По вечерам, над морем оживая,  
вползает в небо, небо закрывая,  
и тяжело над городом встает  
и рушится с сомкнувшихся высот.

И ливень льет над улочкой унылой  
в часы, когда ни мрака нет, ни света,  
когда в одной постели опостылой  
два тела дожидаются рассвета,  
когда, поняв, что неизбежно это,  
друг к другу, ненавидя, приникают...

И в реки одиночество стекает.

\* \*  
\*

Как душу удержать мне, чтоб она,  
с тобой расставшись, встречи не искала?  
О если бы, забытая, одна,  
она в дремучем сумраке лежала,

<sup>1</sup> «Детство» и «Одиночество» входят в «Книгу картин».



запрятанная мной в тайник такой,  
куда б ничто твое не проникало!

Но как смычок, двух струн коснувшись вдруг,  
из них единый исторгает звук,  
так ты и я: всегда звучим мы вместе.  
Кто трогает их, эти две струны?  
И что за скрипка, где заключены  
такие песни?

*Перевел ЕВГ. ХРАМОВ.*

### Смерть поэта

Лежал с остановившимся лицом,  
Был бледен, отрешен на возвышеньи,  
С тех пор как мир и мироощущеньи  
От чувств отторглись и смешеньи  
С днем безучастным стало их концом.

Кто с ним при жизни виделся — не знал,  
Насколько все на свете с ним едино:  
Ведь все поляны эти, и глубины,  
И воды эти — он лицом вобрал.

О, лик его был всею этой далью,  
К нему рвалась, тянулась эта даль,  
И маска с метой смертного стыда  
Так хрупко и открыто пропадала,  
Как сердцевина сгнившего плода.

### ИЗ «СОНЕТОВ К ОРФЕЮ»

\* \*  
\*

Не ставьте камня. Только дайте розе  
Его цветами каждый год ласкать.  
Ведь он — Орфей. Его метаморфозы  
Во всем и всюду. Незачем искать

Других имен. И тот же в каждом пеньи  
Орфей-певец. Он входит и идет.  
Не чудо ль, если он и роз цветенье  
На пару дней порой переживет?

Как вам уразуметь его уход?  
Да он и сам страшится, исчезая.  
Покуда слово в бытности растет —

Он сам исчез, и мы напрасно ищем.  
Рук не натрудит лира, ускользя.  
Он слух напряг в движенье наивысшем.

*Перевел Д. ЩЕДРОВИЦКИЙ.*

\* \*  
\*

И девушка была — бесплотный дух:  
Она почти возникла в лирном пеньи,  
Был скрыт вуалью блеск ее весенний,  
И стал постелью для нее мой слух.

Она спала во мне. Все было сном.  
Деревья, что любил я, мчались мимо.  
Луга и дали были ощутимы,  
И сам я — изумлением несом.

Она зачаровала мир. И ты,  
Поющий Боже, ей не дал стремленья  
Проснуться... Спит она, глаза закрыв.

Где смерть ее? Найдешь ли ты мотив,  
Пока тебя не изнурило пенье,—  
Куда она падет из пустоты?

\* \*  
\*

Нам что-то говорят цветы, плоды  
Не только языком сезонов года:  
Из тьмы взлетает пестрая природа,  
И в этом блеске, может быть, труды

Тех мертвецов, что в почве обитают...  
Что знаем мы о них? — Покоя нет  
Для них в земле — их соки с давних лет  
Суглинок новой силою питают.

И спросим мы теперь: легко ль им там?  
И этот плод, что был взращен рабами,  
Взметнется ль вверх на пользу господам,

Иль дремлют господа между корнями  
И дарят нам меж темной силой суток  
И сладким поцелуем — промежутком?..

\* \*  
\*

Вот зверь, которого на свете нет...  
Никто не знал его, но всякий рад  
Припомнить его позу, поступь, взгляд  
И робких глаз спокойный тусклый свет.

Но не было его... Любви порыв  
Воздвиг его, не зримого никем...  
В своем пространстве, замкнут и стыдлив,  
Он поднимал главу и жил лишь тем,

Что был... Не ел зерна, не клял судьбу,  
Надеждой жить он был преображен,  
Став самым сильным из земных зверей.

И скоро вырос белый рог во лбу...  
И к деве подошел он, отражен  
И в серебристом зеркальце и в ней.

\* \*  
\*

Жизненная сила анемона,  
Мускул, раскрывающий цветок,  
Чтоб излился в лоно с небосклона  
Многозвучный утренний восток,—

Тихой расцветающей звездой  
 Пьет лучи в бесчисленных мирах,  
 Так земною счастлив полнотою,  
 Что закатный расставанья взмах

Не закроет чашечек смятенных,  
 Не замкнет листочки в укоризне —  
 О начало тысячи вселенных!

Мы сильнее, мы знаем о свободе,  
 Но в какой из тысяч долгих жизней  
 Сможем так открыться мы природе?

*Перевел Б. СКУРАТОВ.*

\* \*  
 \*

О, возжелай перемен, вдохновившись на пламя,  
 Ведь неподвластна тебе Вещь, в превращеньях кружа;  
 Дух Начертаний, который правит земными делами,  
 Любит изломы одни в смелости их чертежа.

Те, что недвижность избрали — застывшие вещи, —  
 Им ли спокойно, когда стражник их — скрытый страх?  
 Твердому — жди — угрожает крушеньем Твердейший,  
 Близится молота гибельный взмах!

Кто родником зажурчал — того узнает Узнаванье,  
 И оно, восторгая, ему Творенье являет,  
 Чей источник — в конце, завершение — в Начале начал.

Всякий счастливый простор — сын или внук расставанья,  
 В нем изумленно проходят они. И Дафна желает,  
 Лавром себя ощутив, чтобы ветер тебя превращал.

*Перевел Д. ШЕДРОВИЦКИЙ.*



---

---

# РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

А. СОЛЖЕНИЦЫН

\*

## ТЕМПЛТОНОВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

ОТВЕТНОЕ СЛОВО

на присуждение Темплтоновской премии

Бэкингемский дворец, 10 мая 1983\*

**В**первые эта премия присуждена православному. В благодарности, что и наша доля замечена в мировом объеме, я ясно сознаю свою личную недостойность принять эту награду, оглядываясь на светлый ряд выдающихся иерархов нашей Церкви и православных мыслителей от Алексея Хомякова до Сергея Булгакова. И хорошо сознаю, что в восточнославянском православии, перенесшем за коммунистические 65 лет гонения, по своей лютости и по своей массовости превосходящие гонения первых веков христианства, — было много рук, более достойных, чем мои, и сегодня есть. От киевского митрополита Владимира Богоявленского, расстрелянного коммунистами у стен Киево-Печерской лавры в первые ленинские дни, — до отважного священника о. Глеба Якунина, домучиваемого сегодня, в дни андроповские, насильственно лишённого всех внешних знаков священства и даже права иметь Евангелие, по много месяцев содержимого без одежды, без постели и без еды в замороженной каменной коробке.

В этот век гонений выпало так, что и самое первое воспоминание моей жизни: как в храм Св. Пантелеймона в Кисловодске вошли чекисты в остроконечных шапках, остановили службу и с грохотом прошли в алтарь — грабить. А когда в Ростове-на-Дону я стал ходить в школу — мимо километрового каре ГПУ и сверкающей вывески Союза Воинствующих Безбожников, то школьники, науськанные комсомольцами, травили меня за то, что посещал с матерью последнюю в городе церковь, и срывали с моей шеи нательный крест.

Еще в 1922 году по замыслу Ленина и Троцкого были ограблены православные храмы, а затем, включая и сталинское и хрущевское время, десятки тысяч их снесены или отданы на поругание, так что Россия превратилась в обезображенную пустыню, не похожую сама на себя, какой стояла перед тем столетием. В целых областях и в полумиллионных городах не оставалось и по одному храму. И в этой темной безгласной пустыне десятилетиями осужден жить наш народ, как бы ощупью находя и сохраняя путь к Богу. В таких тисках мы жили и живем, что исповедание проступало не в свободном шедром развитии, но в отставании веры на рубеже гибели или на ломких рубежах соблазнительного марксистского красноговения — и много там сломано душ.

Сегодня в формулировке темплтоновского комитета мы слышим понимание того, как на нашей земле сквозь втолченное безбожие сохранила жизненную силу православная духовная традиция. Какие обрывки звуков из этого просочатся через

---

World © Alexander Solzhenitsyn.

\* Премия «За прогресс в развитии религии» была основана в 1973 году Фондом Темплтона. Она присуждается лицам, имеющим особые заслуги в укреплении духа перед лицом нравственного кризиса в мире.

Среди лауреатов были: мать Тереза, получившая премию в год ее основания, брат Роже Шутц, инициатор монашеского возрождения в протестантском мире. Впервые премия присуждена православному.

Вручение премии происходит в Англии в Бэкингемском дворце, всегда 10 мая. По установившейся традиции, премию вручает принц-консорт Филипп, после чего в большом и торжественном собрании новый лауреат произносит речь.

мясорубку глушения на мою родину — они поддержат наших верующих, что их не забыли и что в их стоянии черпают мужество и тут.

Централизованное безбожие, устрашающее весь мир своим оружием, так же ненавидит эту безоружную веру и так же боится ее, как и 60 лет назад. Да! Все яростные преследования, какие обрушил на наш народ государственный палаческий атеизм, и точение его лжи, и лавина оглуляющей пропаганды — все они вместе оказались слабее тысячелетней народной веры — она не уничтожена, она есть высшее, что мы храним в вершинах нашего дыхания и сознания.

## ТЕМПЛТОНОВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

Гиллхолл, Лондон, 10 мая 1983

Больше полувека назад, еще ребенком, я слышал от разных пожилых людей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: «Люди забыли Бога, оттого и все».

С тех пор, потрудясь над историей нашей революции немногим менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свидетельств и сам уже написав в расчистку того обвала 8 томов, — я сегодня на просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной революции, сгложившей у нас до 60 миллионов людей, не смогу выразить точнее, чем повторить: «Люди забыли Бога, оттого и все».

Но и более, события русской революции только и могут быть поняты лишь сейчас, в конце века, — на фоне того, что произошло с тех пор в остальном мире. Тут проясняется процесс всеобщий. Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту всего XX века, то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: «Люди — забыли — Бога». Пороками человеческого сознания, лишенного божественной вершины, определились и все главные преступления этого века. И первое из них — Первая мировая война, многое наше сегодняшнее — из нее. Ту, уже как будто забываемую, войну, когда избыточная, полнокровная, цветущая Европа как безумная кинулась грызть сама себя и подорвала себя, может быть, больше, чем на одно столетие, а может быть навсегда, — ту войну нельзя объяснить иначе, как всеобщим помрачением разума правящих, от потери сознания Высшей Силы над собой. И только в этой безбожественной озлобленности христианские по видимости государства могли тогда решиться применять химические газы — то, что так уже явно за пределами человечества.

Таким же пороком сознания, лишенного божественной вершины, уже после Второй мировой войны было — поддаться сатанинскому соблазну «ядерного зонтика». То есть: снимем заботы с себя, снимем долг и обязанности с молодежи, не будем делать усилий защищать себя или тем более кого других, — заткнем наши уши от стонов с Востока и будем жить в погоне за счастьем, а если грянет и над нами опасность — то нас защитит ядерная бомба, а нет — ну тогда пусть сожжется к черту весь мир! Плачевное беспомощное состояние, в которое сегодня скатился Запад, во многом истекло от той роковой ошибки: что защита мира — не крепость сердец, не стойкость людей, — а сама только ядерная бомба.

Лишь при потере нашего божественного надсознания мог Запад после Первой войны спокойно отнестись к многолетней гибели России, раздираемой людоедской бандой, а после Второй — к такой же гибели Восточной Европы. А ведь то начинался вековой процесс гибели всего мира — а Запад не разглядел, и даже много помогал ему. За все столетие единственный раз собрал Запад силы на бой против Гитлера. Но плоды того давно растеряны. Против людоедов в этом безбожном веке найдено анестезирующее средство: с людоедами — надо торговать. Таков сегодняшний бугорок нашей мудрости.

Сегодня мир дошел до грани, которую если бы нарисовать перед предыдущими веками — все бы выдохнули в один голос: «Апокалипсис!»

Но мы к нему привыкли, даже обжились в нем.

Достоевский предупреждал: «Могут наступить великие факты и застать наши интеллигентные силы врасплох». Так и произошло. И предсказывал: «Мир спасется уже после посещения его злым духом». Спасется ли? — это еще нам предстоит увидеть, это будет зависеть от нашей совести, от нашего просветления, от наших личных и соединенных усилий в катастрофической обстановке. Но уже свершилось, что злой дух победно кружит смерчем над всеми пятью континентами.

Мы свидетели где подневольного разрушения, а где добровольного саморазрушения мира. Весь XX век втягивается в крутящую воронку атеизма и самоуничтожения. И в этом падении мира в бездну есть черты несомненно глобальные, не зависящие ни от государственных политических систем, ни от уровня экономики и

культуры, ни от национальных особенностей. И сегодняшняя Европа, казалось бы так мало похожая на Россию 1913 года, — стоит перед тем же падением, хотя и притекшим иными путями. Разные части света шли разными путями — а сегодня все подходит к порогу единой гибели.

Знала же когда-то и Россия такие века в своей истории, когда общественным идеалом была не знатность, не богатство, не материальное преуспеяние, а — святость образа жизни. Россия тогда была напоена православием, сберегшим верность первоначальной Церкви первых веков. То древнее православие умело сохранять свой народ под двумя-тремя веками чужеземного ига, еще одновременно отражая и несправедливые удары крестоносных мечей с Запада. В те века православная вера у нас вошла в строй мысли и людских характеров, в образ поведения, в строение семьи, в повседневный быт, в трудовой календарь, в очередность дел, недели, года. Вера была объединяющей и крепящей силой нации.

Но в XVII веке наше православие было подорвано злополучным внутренним расколом. В XVIII Россия сотрясена насильственными преобразованиями Петра, подавившими религиозный дух и национальную жизнь в угоду экономике, государству и войне. А вместе с одноклассиком петровским просвещением донесся и до нас тонко-ядовитый ветерок секуляризма, за XIX век пропитавший образованные слои и открывший широкий проход марксизму. Перед революцией вера в России испарилась из кругов образованных. И повреждена была в необразованных.

Все тот же Достоевский, судя по французской революции, кипевшей от ненависти к Церкви, вывел: «Революция непременно должна начинать с атеизма». Так и есть. Но такого организованного, военизированного и злоупорного безбожия, как в марксизме, — мир еще не знал прежде. В философской системе и в психологическом стержне Маркса и Ленина ненависть к Богу — главный движущий импульс, первое всех политических и экономических притязаний. Войнствующий атеизм — это не деталь, не периферия, не побочное следствие коммунистической политики, но главный винт ее. Для ее дьявольских целей надо владеть населением безрелигиозным и безнациональным, уничтожить и веру и нацию — и то и другое коммунисты повсюду совершенно открыто провозглашают и открыто осуществляют. Насколько атеистический мир нуждается взорвать религию, насколько она ему поперек горла — можно видеть и по недавней паутине покушений на папу римского.

20-е годы в СССР — это длинная вереница поголовного мученичества православных священнослужителей. Два расстрелянных митрополита, из них петроградский Вениамин, избранный всенародным голосованием. Сам патриарх Тихон, прошедший ЧК-ГПУ, а затем умерший при загадочных обстоятельствах. Десятки архиепископов и епископов. Десятки тысяч священников, монахов и монахинь, которых чекисты, заставляя отказаться от слова Божьего, пытали, расстреливали в подвалах, слали в лагеря, ссылали в безлюдную тундру на крайний Север, выбрасывали стариков голодными и бездомными на бедствия. И все эти христианские мученики стойко шли на смерть за веру, лишь редкие единицы дрогнули и отказались. И десяткам миллионов мирян загородили путь во храм, запретили воспитывать в вере детей, отрывали от них в тюрьму, а самих детей угрозами и ложью отбивали от веры. Можно утверждать, что и бессмысленное разрушение российской сельской экономики в 30-х годах, так называемые раскулачивание и коллективизация, погубившие 15 миллионов крестьян и не имевшие никакого хозяйственного смысла, были жестоко проведены с главной целью: разрушить национальный быт и вырвать религию из деревни. И тот же замысел душевного разврата распространился над зверским Архипелагом ГУЛАГом, где людям указывалось выжить за счет смерти других. Только ополоумевшие безбожники могли решиться и на задуманное сегодня в СССР последнее убийство и самой русской природы: затопить русский Север, повернуть течение северных рек, нарушить жизнь Ледовитого океана и гнать воду на Юг, уже раньше погубленный предыдущими, такими же вздорными «великими стройками коммунизма».

Лишь на короткое время, нуждаясь собрать силы против Гитлера, Сталин затеял циничную игру с Церковью — и эту обманную игру, продолженную потом брежневскими декорациями и рекламными публикациями, увы, более всего и усвоили на Западе, приняв за чистую монету. Но насколько ненависть к религии укоренена в коммунизме — можно судить по самому либеральному их лидеру Хрущеву: решась на некоторые существенно освободительные шаги, Хрущев, рядом с этими реформами, снова воздур остервенелый ленинский запал уничтожения религии.

Вот чего не ждали они: в стране, прокатанной от храмов, где атеизм торжествует и разнузданно свирепствует уже две трети века, где до предела унижены и лишены воли иерархи, и остатки внешней Церкви терпят лишь для пропаганды на западный мир, где и сегодня не только сажают за веру в лагерь, но и в самом лагере бросают в карцер собравшихся помолиться на Пасху, — под этим коммунистическим катком христианская традиция выжила в России! Да, миллионы у нас опустошены и

развращены безбожием, внедренным властью, однако сохранились и миллионы верующих, они лишь внешне вынуждены и сегодня молчать, — но, как это бывает в преследованиях и страданиях, сознание Бога достигло на моей родине острой глубины.

И тут мы видим зарю надежды: как бы ни был коммунизм ошестинен ракетами и танками и как бы успешно он ни захватывал планету — он обречен никогда не победить христианства.

Запад еще пока не испытал коммунистического нашествия, религия свободна. Но и свой исторический путь привел его сегодня к иссушению религиозного сознания. Тут были и свои раздирающие расколы, и кровопролитные межрелигиозные войны, и вражда. И само собой, еще с позднего Средневековья, Запад все более затопляла волна секуляризма, а эта угроза вере — не от внешнего выжигания ее, а от внутреннего червоточенья силы — как бы не еще опасней.

На Западе незаметно, подтачиванием десятилетий, утеривалось понятие смысла жизни более высокого, чем добиться «счастья», — а это последнее ревниво закреплялось даже конституциями. Уже не первый век высмеиваются понятия Добра и Зла, и удачно изгнали их из общего употребления, заменив политическими и классовыми расстановками, которых срок жизни быстротечен. Стало стыдно аргументировать к извечным понятиям, стыдно промолвить, что зло гнездится в сердце каждого человека прежде, чем в политической системе, — а не стыдно: уступать интегральному Злу каждодневно — и по оползням уступок на глазах одного нашего поколения Запад необратимо сползает в пропасть. Западные общества все более теряют религиозную суть и беззаботно отдают атеизму молодежь. Какие еще нужны свидетельства безбожия, если по Соединенным Штатам, имеющим престиж одной из самых религиозных стран в мире, шел глумливый фильм об Иисусе Христе? Если американская столичная газета бесстыдно помещает карикатуру на Божью Матерь? Когда распахнуты внешние права — зачем же удерживаться внутренне самим от недостойности?..

Или зачем тогда удерживаться от раскала ненависти? — расовой, классовой, исступленно идеологической? Она и изъедает сегодня многие души. Атеисты-преподаватели воспитывают молодежь в ненависти к своему обществу. В этом бичевании упускается, что пороки капитализма есть коренные пороки человеческой природы, расовообожденные без границ вместе с остальными правами человека; что при коммунизме (а коммунизм дышит в затылок всем умеренным формам социализма, они не стойки) — при коммунизме эти же пороки бесконтрольно распушены у всех, имеющих хоть малую власть; а все остальные там действительно достигли «равенства» — равенства нищих рабов. Эта разжигаемая ненависть становится атмосферой сегодняшнего свободного мира, и чем шире наличные свободы, чем выше достигнутая в обществе социальная обеспеченность и даже комфорт — тем, парадоксально, напряженней и эта слепая ненависть. Так нынешний развитой Запад ясно показал на себе, что не в материальном изобилии и не в удачливом бизнесе лежит человеческое спасение.

Эта разжигаемая ненависть распространяется далее на все живое, на саму жизнь, на мир, на его краски, звуки, формы, на человеческое тело — и ожесточенное искусство XX века гибнет от этой уродливой ненависти, — ибо искусство бесплодно без любви. На Востоке оно упало потому, что его сшибли и растоптали, на Западе оно упало добровольно, в издуманные претенциозные поиски, где человек пытается не выявить Божий замысел, но заменить собою Бога.

Снова, и тут, единый исход мирового процесса, совпадение результатов западных и восточных, и снова по единой причине: забыли — люди — Бога.

Перед натиском мирового атеизма верующие раздроблены и многие растеряны. А между тем и христианскому — бывшему христианскому — миру хорошо бы не упустить из зрения, например, вот Дальний Восток. Недавно мне пришлось наблюдать, как в Японии и в Свободном Китае — при, кажется, меньшей отчетливости их религиозных представлений, а при той же невозбранной «свободе выбора», как у Запада, — и общество, и молодежь еще сохраняются более нравственными, чем на Западе, менее тронуты опустошительным секулярным духом.

Что говорить о разъединении разных религий, если и христианство так раздробилось само в себе? В последние годы между главными христианскими Церквями сделаны примирительные шаги. Но они слишком медленны, мир погибает стократно быстрее. Ведь не слияние же Церквей ожидается, не смена догматов, но только дружное стояние против атеизма, — и для этого медленны те шаги.

Есть и организационное движение к объединению Церквей — но странное. Всемирный Совет Церквей, едва ли менее занятый успехами революционного движения в странах третьего мира, однако слеп и глух к преследованиям религии, где они самые последовательные, — в СССР. Не видеть этого невозможно — значит,

политично предпочтено: не видеть и не вмешиваться? Но что ж тогда остается от христианства?

С глубокой горечью я должен здесь сказать, не смею умолчать, что мой предшественник по этой премии в прошлом году, и даже в самые месяцы ее получения, публично поддержал коммунистическую ложь, вопиюще заявив, что не заметил преследований религии в СССР. За это надругательство над всеми погибшими и подавленными — пусть его рассудят Небеса.

Сегодня все шире нам видится так, что при самых изощренных политических лавировках — петля на человечестве с каждым десятилетием затягивается все туже и безнадежней, и выхода нет никому никуда — ни ядерного, ни политического, ни экономического, ни экологического. Да, очень на то похоже.

И перед горами, перед хребтами таких мировых событий кажется несоответственным, неуместным напоминать, что главный ключ нашего бытия или небытия — в каждом отдельном человеческом сердце, в его предпочтении реального Добра или Зла. Но это и сегодня остается так: это самый верный ключ. Обещательные социальные теории — обанкротились, покинув нас в тупике. Свободные западные люди могли бы естественно понимать, что вокруг них немало и свободно вскормленной лжи, и не дать так легко себе ее навязать. Бесплодны попытки искать выход из сегодняшнего мирового положения, не возвратя наше сознание раскаянно к Создателю всего: нам не осветится никакой выход, мы его не найдем: слишком бедны те средства, которые мы себе оставили. Надо прежде увидеть весь ужас, сотворенный не кем-то извне, не классовыми или национальными врагами, а внутри каждого из нас, и внутри каждого общества, и даже в свободном и высокоразвитом — особенно, ибо тут-то особенно мы все это сделали сами, свободною волей. Сами же мы повседневно легкомысленным эгоизмом эту петлю и затягиваем.

Спросим себя: не ложны ли идеалы нашего века? И наша уверенная модная терминология? И от нее — поверхностные рецепты, как исправить положение? На каждом попроще их надо, пока не поздно, пересмотреть незамутненным взглядом. Решение кризиса не лежит на пути усвоенных ежедневных представлений.

Наша жизнь — не в поиске материального успеха, а в поиске достойного духовного роста. Вся наша земная жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к высшей — и с этой ступени не надо сорваться, не надо и протоптаться бесплодно. Одни материальные законы не объясняют нашу жизнь и не открывают ей пути. Из законов физики и физиологии нам никогда не откроется то несомненное, как Творец постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого из нас, неизменно добавляя нам энергии бытия, а когда эта помощь оставляет нас — мы умираем. И с не меньшим же участием Он содействует жизни всей планеты — это надо почувствовать в наш темный, страшный момент.

Опрометчивым упованиям двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда могут открыться наши глаза на ошибки этого несчастного XX века и наши руки — направиться на их исправление. А больше — нам нечем удержаться на оползне, ото всех мыслителей Просвещения — не набралось.

Наши пять континентов — в смерче. Но в таких испытаниях и проявляются высшие способности человеческих душ. Если мы погибнем и потеряем этот мир — то́ будет наша собственная вина.





---

---

АНТОНИЙ,

митрополит Сурожский

\*

## О ВСТРЕЧЕ

**Т**ема, на которую я хотел бы сегодня говорить, сейчас все больше и больше входит в сознание людей, которые вчитываются в Евангелие и испытывают на самом деле *встречу* на всех уровнях и во всех направлениях. Вам, наверное, ясно, что в нашем мире тема встречи стала гораздо более универсальной и часто гораздо более острой, чем это было в старом мире. Универсальнее она стала потому, что возможность встречи между людьми, которые, скажем, до первой мировой войны никогда и не мечтали бы встретиться, стала или легкой, или случайной, но во всяком случае постоянным явлением. И с другой стороны, встреча стала гораздо более острой, потому что тогда люди были разные по национальности, по языку, но такой разобщенности (и такой общности), как теперь, не было. Не было разделения на непримиримые и сталкивающиеся идеологии, которое появилось уже после первой войны. И вместе с тем не было того сознания *всечеловечества*, которое постепенно нарастает везде, на всех континентах, и ощущается на каждом шагу, особенно среди молодежи; молодые люди на Западе все больше и больше осознают, ощущают себя не членами обособленных этнических или государственных групп, а просто *людьми*, и тот мир, который они сейчас хотят строить, это мир *человеческий*, а не национальный, или классовый, или принадлежащий той или иной культуре. И вот в связи со всеми этими переживаниями тема встречи всплыла по-новому в сознании очень многих, а когда всплывает какая-нибудь тема, то все, что видишь, все, что читаешь, видишь и читаешь в ее свете; и сейчас большое внимание уделяется именно теме и проблеме *встречи*, как она раскрывается в Евангелии.

Если вы отрешитесь от обычного чтения Евангелия и прочтете его новыми глазами, посмотрите, как оно построено, то вы увидите, что, кроме встреч, в Евангелии вообще ничего нет. Каждый рассказ — это встреча. Это встреча Христа с апостолами, апостолов с какими-то людьми, каких-то людей со Христом, каких-то людей в присутствии Христа, каких-то людей вне Христа, помимо Христа, против Христа и т. д. Вся евангельская повесть построена именно так. Это конкретные, живые встречи; каждая из них имеет универсальное значение в том смысле, что, конечно, встреч было в тысячу раз больше, но выделены в евангельский рассказ лишь те, которые имеют сколь возможно абсолютное, всеобъемлющее значение, являются как бы *типом* встречи или такой ситуацией, таким положением, в котором словно в зеркале множество людей может посмотреть на себя, а не только единичным событием, которое однажды случилось и было настолько исключительно, что не применимо более ни к кому. И вот эта тема встречи, мне кажется, очень важна, потому что, конечно, встреча продолжается; продолжается встреча с Богом, продолжается встреча между людьми, продолжается встреча людей перед Богом и людей вне Бога. И все это — евангельская тема.

Если задуматься, то тут можно, мне кажется, выделить две-три темы, два-три момента. Во-первых, встреча со Христом, или, если предпочитаете, с Богом во Христе; это та встреча, которую мы видим постоянно, она бежит красной нитью через все Евангелие. Встреча учеников с Тем, Кто станет сначала их Учителем, Наставником и потом — их Богом. Встреча эта происходит различно, и на этом, может быть, стоит немного остановиться.

Типичная встреча нам показана в начале Евангелия от Иоанна: народ собрался вокруг Крестителя; вместе с Предтечей стоят двое его учеников — Андрей и Иоанн. Подходит к Иордану Христос, тогда еще никому *как таковой* не ведомый, Который пока для всех только Иисус из Назарета. И Иоанн приносит свое свидетельство: *вот*

Агнец Божий, Который берет на Свои плечи грех мира (перевод мой свободный, но передает то, что в греческом тексте содержится).

И вот первое событие: два ученика Иоанновых именно потому, что они поняли проповедь своего учителя, потому, что до них дошло, что Иоанн пришел пред-течей, предваряющим лицом, а за ним идет Большой, нежели он сам, потому, что они совершенные ученики Иоанновы, покидают своего учителя. Это трагический момент, ибо уйти от своего учителя *потому именно*, что ты понял: он должен молиться, дабы рос тот, который вновь явился, он должен сойти на нет ради того, чтобы другой вырос в полную меру, — трудное дело.

Это первая ситуация. Люди подготовленные уходят, отрываются от того, что *самое* было для них дорогое, и идут вслед Иисусу потому только, что Иоанн сказал: *это Он*. Христос оборачивается, спрашивает, что им от Него нужно, они Ему отвечают: мы хотим увидеть, где Ты живешь, — и проводят целый день с Ним.

Так совершилась встреча лицом к лицу там, где Христос жил. И едва ли речь идет о том, что им захотелось просто посмотреть, в той или другой хижине живет Христос: они хотели прийти туда, где Он живет, в то место, где все Им дышит, в то место, которое несет какой-то отпечаток Его присутствия. Там они Его нашли. И первое их действие — призвать своих друзей, родственников: Андрей зовет своего брата Петра, Иоанн зовет своего брата Иакова, оба зовут своего друга Филиппа, Филипп зовет своего друга Нафанаила. Так образуется целая цепь отношений, и эта первичная встреча начинает расцветать в целое дерево взаимоотношений, которые все основаны на встрече. Если бы Петр не был братом Андреевым, Иаков — братом Иоанновым, если у них не было бы встречи и дружбы с Филиппом, встречи и дружбы с Нафанаилом, они не вошли бы в этот круг и не дошли бы до этой основной встречи со Христом.

И вот они приходят, они Его открывают; открывают Его каждый по-своему. Один из них приносит особенное свидетельство; это Нафанаил. Когда он подходит ко Христу, Спаситель говорит: *вот израильтянин, в котором нет лести*. Нафанаил отзывается: как Ты это знаешь? И следует странный ответ: *я видел тебя под смоковницей*. Какая тут связь? В житии святого Нафанаила говорится, что он был из тех, кто чаял прихода Мессии; в момент, когда он был позван Филиппом, он молился и звал этот приход, и слова Христа для него были совершенно ясны, почему он и говорит: *Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев*, — ибо *знать*, что тогда происходило между ним и Богом, мог только Бог.

Вот первый ряд встреч. Причем надо подчеркивать постоянно, надо сознавать, как важны были эти основоположные простые человеческие отношения родства, простой человеческой здоровой деревенской дружбы и как важны и драгоценны *все* наши человеческие отношения, как они могут сыграть решающую роль в абсолютных событиях нашей жизни. Как нам надо воспринимать и бережно, и вдумчиво, и целостно все отношения, какие у нас есть; потому что каждое отношение определяет ситуацию, которая может расцвести в чудо — в чудо встречи с Богом.

И вот тут случается нечто другое. Если бы Христос был политическим вождем, Он бы сразу воспользовался вдохновением, восторгом, преданностью Своих новых учеников для того, чтобы их призвать к делу: идите, призывайте других, приводите других!.. Кого других? Тех людей, с которыми нет никаких отношений? Тех людей, с которыми встречи еще не было на других началах, на началах простой человеческой любви или дружбы?.. Христос этого не делает. Христос их отсылает домой; они идут обратно в Галилею, а Христос уходит в пустыню. Встречаются они около двух месяцев спустя: сорок дней Спаситель провел в пустыне, сколько-то времени Он потратил на путешествие обратно в Галилею. И тут осуществляется то, о чем, кажется, кто-то из ветхозаветных пророков говорил: Бог зовет нас раз и зовет два... Первый раз Он позвал этих людей, встал перед ними, они что-то увидели, и Христос их отпустил с миром: идите. Второй раз встреча иная. Прошло два месяца; они успели остыть, поражающие впечатления проповеди Иоанна, встречи со Христом на Иордане, беседы у Него на дому, первых встреч и первых ученических взаимоотношений с Ним — все это отошло куда-то. И вот теперь Христос проходит мимо озера. Там Его ученики чинят свои неводы. И Христос не делает ничего, чтобы им напомнить о случившемся, Он не делает ничего, чтобы возбудить в них то настроение, которое, может быть, и погасло. Теперь то, что было вдохновением, стало ясным, спокойным воспоминанием. Христос подходит и им говорит: *следуйте за Мною*.

Если все прежде бывшее отложилось в их душе как достоверное, безусловное воспоминание о чем-то совершенно реальном — они пойдут; если за это время случившееся затуманилось, начало приобретать неопределенные контуры, если у них впечатление, что это было мгновенное вдохновение, разбившееся о серую жизнь, которой живешь, — они не встанут. Вдохновенных людей Христу не нужно. Ему нужны люди, которые живут спокойным, хрустально-ясным, глубоким убеждением,

люди, которым Дух Святой может дать вдохновение, но которые не живут своим человеческим восторгом. На этом построить нельзя. И они следуют за Ним.

Это одна встреча. Другую встречу вы помните: апостола Павла на пути в Дамаск, когда лицом к лицу он оказался с Тем, Который умер, о Котором ученики (по его убеждению — ложно) проповедовали, что Он воскрес, с Тем, Кого он шел разоблачать и обличать в Дамаск. И вдруг Тот, Который был *мертв*, стоит живой перед ним, в славе небесной... Это другого рода встреча. Если вы прочтете Евангелие, то увидите массу такого рода встреч.

И вот мне хотелось бы сделать одно общее замечание. Когда мы читаем Евангелие, мы должны помнить, что каждый рассказ представлен нам вполне конкретно; мы могли бы быть частью этой толпы. Что же было тогда? Христос с кем-то завязывал разговор, или кто-нибудь к Нему обращался с вопросом. Христос отвечал. В этой толпе были люди, для которых и вопрос и ответ имели смысл; и тогда все, что говорилось между Христом и этим человеком вслух, было воспринято теми немногими (а может, и многими), для кого это было ответом на живой, конкретный, насущный вопрос. Много было, вероятно, и таких, для кого самого вопроса не существовало, а потому не существовало и ответа. И нам надо быть очень осторожными, чтобы не вообразить, будто все сказанное в Евангелии, просто потому, что это пропечатано в этой маленькой повести о Христе, относится непосредственно к нам. Да, оно относится к нам, но необязательно сейчас, необязательно полностью; оно относится ко *всякому* человеку, но разное и в разные времена.

Тут есть критерий, и критерий этот мы находим тоже в Евангелии. Помните путников, идущих в Эммаус? Христос к ним приближается, они заводят беседу и, когда Христос им открылся в преломлении хлеба и стал невидим, они друг другу говорят: *разве наше сердце не горело в нас, когда Он с нами говорил на пути?* Когда мы читаем Евангелие и какая-то фраза, какой-то образ, рассказ так ударяет нас в душу, что сердце загорается, ум делается светлым, вся наша воля подвигает нас последовать этому слову, мы можем уверенно сказать: Христос это сказал *мне* в течение разговора с другими; тогда сказанное мне лично я должен воспринять всецело, до конца, как встречу, в которой Христос ко мне обратился с требованием, с мольбой, с советом, с просьбой, — и уже поступать соответственно.

Таких встреч множество. Эти встречи были или встречами со Христом: богатый юноша, сотник, прокаженные, всякие люди, — или людей друг с другом около Христа, потому что толпа вокруг Христа была толпа пестрая, разнообразная, где люди, чуждые друг другу по всему, встречались и иногда уже больше не разлучались. Так постепенно собралась группа из двенадцати апостолов, а не из пяти, из семидесяти учеников, группа окружавших их людей, все шире и шире.

Но встреча со Христом играет и другую роль. Христос пришел принести *меч*, а не *мир*, разделить, а не только соединить. Христос пришел как камень преткновения; одни Его приняли, другие Его отвергли. Одни от встречи ушли, другие через встречу пришли к Богу. Одни увидели новое откровение о Боге, немислимое: Бога беспомощного, уязвимого, смиренного, как будто побежденного, — и увидели, что *только* в этом действительно Божественная слава; другие, увидев Бога, или, вернее, услышав проповедь о том, что *таков* Бог, отвернулись, потому что такого Бога они себе не захотели.

И есть одна встреча, не евангельская, о которой я хочу вам рассказать, потому что она, по-моему, бросает некий свет на целый ряд вещей. Отцы пустыни говорили: *кто видел брата своего, тот видел Бога своего*. Часто, встречая человека страждущего, измученного, мы делаемся способными увидеть хоть в какой-то малой мере Бога через него. Но я хочу вам рассказать о другом: иногда лик страдания *безобразен*, лик страдания отталкивает нас. Однако и это может нас привести к сложной встрече именно со Христом и к пониманию чего-то по отношению к человеку и ко Христу.

После освобождения Парижа стали искать и выискивать, ловить и вылавливать тех людей, которые сотрудничали с немцами, предавали и продавали других людей на смерть и на муку. Такой человек был и в том квартале, где я жил, и он сыграл очень страшную роль в судьбе многих людей. Его нашли и словили. Я выходил из дому, и шла толпа: этого человека влекли. Его одели в шутовскую одежду, сбрили волосы с полголовы, он был весь покрыт помоями, на нем были следы ударов, и он шел, окруженный толпой, по тем улицам, где занимался предательствами. Этот человек был *безусловно* плох, безусловно преступен; какой-то суд над ним и суждение о нем были справедливы. Через некоторое время я оказался в метро и ждал, пока придет поезд; и вдруг мне стало совершенно ясно, что именно так какие-то люди видели Христа, когда Его вели на распятие...

Мы видим во Христе Божественного мученика, но тысячи людей видели в Нем другое. По их мнению, этот человек возмущал народ, был политической опасностью, потому что из-за него римляне могли прийти, занять всю страну и взять все в свои руки, оккупировать ее; он был смутьян и в области веры, проповедовал кощунствен-

ный образ Бога; он был взят, его судили, его — как, вероятно, и теперь — били и наконец осудили на смерть. Точно та же самая картина, никакой разницы. Разница начинается там, где появляется наша вера во Христа и где мы видим Его новыми глазами. Но просто *глазами* можно было видеть тогда, в Иерусалиме,— битого, измученного человека, идущего под конвоем, с кнутами на казнь, которую Он заслужил.

Тут совершается встреча совершенно другого рода: встреча человека с человеком, но в свете Христа или под сенью креста. Такого человека христианин не может просто воспринять как преступника, который идет к заслуженной казни. Потому что он как бы проецируется на фон другого человека по имени Иисус из Назарета, о Котором думали точь-в-точь то же самое, к Которому отнесли так же, Который тоже умер. И тут поднимается вопрос о том, как мы можем в свете этого говорить о человеке и судить человека... На разных планах — разню; об этом я сейчас говорить не хочу, но это видение обезображенного человека, это видение страдания *отвратительного* мы должны тоже воспринять как встречу.

Встречи, о которых я только что говорил,— евангельские встречи, драматические встречи,— нам даны, брошены на наш путь, мы никуда от них не можем уйти; но жизнь состоит не из драматических встреч, а состоит из того, что мы *постоянно*, из часа в час встречаем людей — и не видим их, не слышим их и проходим мимо. Мы встретились сейчас без всякой драматичности, но мы *встретились*, мы друг другу посмотрели в глаза, мы друг другу открыты, мы друг друга хотим встретить. А что ли это бывает? Сколько раз бывает не только мгновенная встреча, совершенно пустая, вещественная, или коллизия, где два человека столкнутся и разойдутся, но и просто прохождение мимо, когда мы видели только анонимность проходящего человека; он — никто, это была тень, у него не было личности, не было существования, ничего не было, потому что он даже физически не вошел с нами в соприкосновение, и, значит, его *нет*. И однако весь упор евангельской проповеди, евангельской встречи, весь упор апостольской встречи в том, что каждая встреча может быть во спасение или нет и тому и другому. Причем встречи бывают разные: поверхностные, глубокие, истинные, ложные, во спасение, не во спасение,— но все они начинаются с того, что человек, у которого есть сознание евангельское или просто острое, живое человеческое сознание, должен научиться *видеть*, что другой существует. И это бывает редко, *очень* редко.

Подумайте о себе: много ли случалось у вас на пути людей, которые вас *замечали* в минуту, когда вам это нужно было, когда у вас было горе, когда была нужда? Мы не видим людей. Часто мы можем их описать, но только внешность, мы воспринимаем физическую оболочку — и только; мы ею часто дорожим — и только. А того, чем светится этот человек, мы даже не замечаем; мы смотрим на лампу и расцениваем ее материал и работу, которую в нее вложил художник, а то, что она светится, нам почти что даже неинтересно, или что она темная, мы не замечаем.

И вот первое: надо в себе развить способность каждого человека, кого встречаешь,— *встретить*, каждого человека *увидеть*, каждого человека *услышать* и, кроме того, признать, что он имеет право на существование; и это бывает опять-таки очень редко. Большею частью мы относимся друг ко другу, к тем, кто нас окружает, как к обстоятельствам нашей собственной жизни. Мы — в центре, и вокруг нас движутся — или не движутся — явления; предметы не движутся, а звери и люди движутся — вот часто и вся разница. Мы знаем, что такой-то человек нам пригоден, а такой-то непригоден, от такого-то бывают неприятности, а от такого-то их не бывает; если хочется получить тепло или дружбу, я к этому пойду, так же как я иду к печке, чтобы согреться, или в булочную за хлебом,— и все, и ничего другого. Таково, я бы сказал, постоянное отношение каждого из нас к какому-то числу людей. Значит, объективного существования мы за ними не признаем. Мы бываем по отношению к ним милостивы, милосердны, дружелюбны — все это в лучшем случае, конечно. Но что это значит? Это значит, что той *целяди*, которая вокруг нас, мы уделяем сколько-то внимания: как мы натираем воском шкафы или столы, так мы при случае можем одарить кого-нибудь улыбкой или добрым словом. Если у нас есть какое-то постоянство в этом, нас даже могут считать за хороших друзей,— и все равно не было дружбы, потому что дело не в том, как мы обращаемся с *предметами* вокруг нас, а в том, что это не предметы, а *люди*, и каждый из этих людей имеет право быть самим собой, а не только частью моей жизни. И этому учиться надо. Это настолько трудно и, я бы сказал, часто настолько неприятно, что приходится учиться. Гораздо удобнее признавать в человеке только ту сторону, которая к нам обращена улыбкой. Но беда-то в том для нашего себялюбия, что есть другая сторона, что человек существует не только тогда, когда он с нами, вокруг нас, около нас, для нас существует. У него есть целая жизнь *вне нас*.

Мы часто говорим, что справедливость заключается в том, чтобы уделять другому человеку то или иное. Справедливость начинается не тут, справедливость начинается

там, где мы говорим, что этот человек существует совершенно вне меня, что он имеет право существовать *совершенно* вне и даже против меня, он имеет право быть самим собой, как бы это ни оказалось неудобным, мучительным, убийственным для меня. Если *эту* меру справедливости мы не применяем, тогда все остальное — подачки, а не справедливость. Это раздача каких-то наград, каких-то благ, но не отношения с человеком. И вот, значит, первое: признать за человеком его право на собственное существование, развить в себе способность отстраниться и посмотреть на человека — *не по отношению ко мне*, а увидеть человека *в нем самом*: каков он, что он? — и сообразить (чего мы не любим делать), что если бы нас вообще и на свете не было, он бы все равно существовал или мог существовать, и что наше существование вовсе не является для него величайшим благом, каким его одарил Господь.

А во-вторых, надо уметь смотреть, чего мы тоже не умеем. Мы все умеем глядеть перед собой и что-то воспринимать, но что мы *видим*? Мы видим два рода вещей: те, которые нам сродни, которые нам подходят, или которые нас отталкивают; человек нам или симпатичен, или нет. Но эти две крайности, или два аспекта, человека его отнюдь не исчерпывают. Он не сводится к тому, что в нем есть вещи, которые мне нравятся и которые не нравятся, вещи, которые для меня опасны или благотворны. Но чтобы видеть человека безотносительно ко мне самому, надо уметь отрешиться *от себя*.

Есть английский писатель Чарльз Уильямс, автор целого ряда религиозно-философских романов. В одном из них<sup>1</sup> он описывает посмертную судьбу молодой девушки, внезапно убитой при падении самолета, когда она проходила по мосту. В какой-то момент рассказа эта девушка находится на берегу и смотрит на воды Темзы. Когда она была жива, все ее телесное естество испытывало отвращение при мысли, что к этой грязной, жирной, тяжелой, свинцовой воде, где плавают все, что отбрасывает и выбрасывает город, можно прикоснуться, что этой воды можно выпить. Тело ее стояло преградой между ней и ее способностью просто смотреть и видеть. Теперь она беспелесная стоит и смотрит, и первое, что она видит, — темные, грязные, густые воды, которые текут мимо нее. И так как она уже телом своим не может испытывать к ним отвращения, она их видит как они есть; это факт вне ее, а не факт, относящийся к ней. И дальше: это *факт*, который вполне соответствует тому, что должно быть. Таковы должны быть воды реки, проходящей через большой город. Она ощущает полное соответствие всего. И в тот момент, когда она вдруг это признает, она начинает прозревать что-то. Она через этот первый слой гущенности начинает прозревать слой за слоем более чистый, более прозрачный и постепенно где-то в сердцевине Темзы видит ручей неоскверненно чистой воды, и дальше, в сердцевине этого ручья, она вдруг видит *Воду*, ту Воду, о которой Христос говорил с самарянкой у Сихема.

Что же тут случилось? Она смогла посмотреть на воды Темзы *безотносительно*, просто посмотреть и увидеть их не по отношению к себе, а по отношению к ним самим; и в этот же момент она стала способна через темноту видеть свет. Мы обыкновенно поступаем наоборот: мы видим свет, а когда все больше вглядываемся, видим темноту, и она все сгущается. Здесь случается что-то обратное, и этому мы должны научиться в течение всей нашей жизни по отношению к людям: в тот момент, когда мы отрешаемся от суждения, мы начинаем делаться способными видеть вглубь, обнаруживая там, в глубине, все больше лучей света, а не наоборот.

Это — видение. Надо научиться и *слушать*. Это тоже трудно, потому что слушать значит согласиться на то, чтобы содержание другого человека стало нашим достоянием *без процеживания*. Слушать человека, не откидывая то, что мне не сродни, что мне оскорбительно, отвратительно, что для меня неприемлемо. Слушать по-настоящему это значит *приобщиться*, принять в себя все, что этот человек изольет, и это *пережить* именно в какой-то тайне приобщенности, общности жизни. В некотором отношении мы это делаем легко. Скажем, те люди, которые любят музыку, отдают себя ей, открываются ей, чтобы потоки чужого опыта стали через музыку их достоянием. Но это гораздо труднее делать, когда человек говорит прозой и говорит о вещах, которые сами по себе совсем неприглядны или ранят. Для этого надо согласиться сначала на какую-то долю, а потом на окончательную, полную приобщенность (а значит, и растерзанность).

И вот из этого получаются встречи. Эти встречи очень неодинаковы. Есть встречи животворные, есть встречи терзающие и убийственные. Но как бы то ни было, в каждой настоящей встрече нам дано прозреть что-то в человеке, что не есть тьма, а есть истинный человек в нем. Иначе встреча не состоялась. В этом отношении очень интересна православная служба венчания. В ее начале, в первой молитве обручения упоминаются Исаак и Ревекка. Это не случайно и не по церковной любви вспоминать

<sup>1</sup> Williams Charles (1886—1945), «All Hallows Eve».

лиц Ветхого завета, а потому что Исаак и Ревекка как обрученные находятся в совершенно исключительном положении: они были друг другу *даны Богом*. Вы помните, что, когда вырос сын Авраама Исаак, отец захотел найти для него невесту и послал слугу в Месопотамию, чтобы найти по знаку Божию кого-то, кто был бы Бого-данной невестой, и как Господь открыл слуге Ревекку. Эта Бого-данность нам открывается и иначе, необязательно в том или другом внешнем знаке, она дается в знаке, который никто не может ни с чем перепутать, — в любви. Любовь сказывается вот в чем: в человеке мы вдруг прозреваем что-то, чего никто не видел; человек, который проходил незамеченный, оставленный, отброшенный, чужой, человек, который был просто в массе человечества, вдруг нами замечен, делается значительным, единственным и приобретает в этом смысле окончательное значение. Вы, наверное, знаете не меньше меня, как это бывает: в вашей среде есть кто-нибудь, кого никто не замечает, кто существует в лучшем случае только как составная часть группы, если не существует где-то на краю; и вдруг кто-то на него посмотрит и его *увидит*, и тогда этот человек приобретает реальное существование.

Один из греческих отцов замечательно выразил это; он говорит: пока юноша никого не полюбил, он окружен молодыми людьми и девушками. Когда он увидел свою невесту, он окружен только людьми, потому что *этот* человек стал *единственным*, а остальные — только людьми, они не принадлежат к той же категории взаимных отношений; причем это случается не по добродетели, не в награду за какие-то качества. Вы сами знаете, что наши дружбы, любовь не завязываются как итог, который мы подводим, размышляя о другом человеке: он такой умный, такой добрый, такой красивый, такой еще что-нибудь, и в общей сложности у него баллов больше, и поэтому он мне будет друг, невеста, жених, приятель или что другое.

Об этом тоже говорит служба венчания. В следующей молитве говорится: *Господи, Ты от язык предобручивый Церковь, Невесту чисту...* Христос из всех языков и всех народов обручил Себе Церковь как чистую Невесту. Если мы подумаем о том, какова в этом доля реальности, мы никак не можем этого сказать про ветхозаветный Израиль, не можем мы этого сказать и про себя самих. Не потому Церковь, отдельный человек так воспринимаются, чтятся, что *есть* эта чистота и добродетель, а потому что человек, которого *полюбили*, делается тем, чем он, может, никогда и не был. Он получает качество вечности. Габриэль Марсель, французский писатель-экзистенциалист, говорит: сказать кому-нибудь: *я тебя люблю* — то же самое, что ему — или ей — сказать: *ты никогда не умрешь*. Потому что в тот момент, когда человек был *найден*, он уже содержится любовью. И не только во времени; это, мне кажется, можно говорить и о вечности вот в каком смысле.

На земле часто, поскольку мы не любимы, поскольку мы друг для друга чужие, мы стараемся существовать ограниченно, то есть в себе самих, утверждая себя по контрасту с другим, против другого или по различию, и существуем-то мы, именно утверждая свое существование: *я — не ты, и я есмь*. Но в тот момент, когда рождается любовь, случается действительно нечто в некотором отношении *разрушающее* и пугающее. Любить — значит перестать в себе самом видеть центр и цель существования. Любить — значит увидеть другого человека и сказать: для меня он драгоценнее меня самого. Это означает: постольку поскольку нужно, я готов *не быть*, чтобы *он* был. В конечном итоге *полюбить* значит умереть для себя самого совершенно, так, что и не вспомнишь о себе самом, — существует только другой, по отношению к которому мы живем. Тогда уже нет самоутверждения, нет желания заявить о своих правах, нет желания существовать рядом и помимо другого, а есть только устремленность к тому, чтобы *он* был, чтобы он был во всей полноте своей личности, во всей полноте своего бытия. И в тот момент, когда человек отмечен чьей-то любовью, ему уже не нужно утверждать свое бытие, ему уже не нужно стать иным, чем другие, потому что он стал единственным; а единственный — *вне* сравнения, он просто неповторим, он без-подобен. К этому и должны вести наши встречи; вот какова встреча между Богом и каждым из нас. Для Бога каждый из нас — единственный, неповторимый, бесподобный, каждый из нас Ему достаточно дорог, чтобы Христос принял на Себя Воплощение и Крест. Каждый из нас имеет полноту значимости, но при всем этом и полноту свободы, потому что Христос никем не обладает; Он любовью Себя отдает, Он общается нам, но Его любовь есть свобода. Эта свобода рождается опять-таки от встречи, потому что Господь нас принимает, как мы есть, потому что Он *верит* в нас безусловно, потому что Он готов приобщиться нам до конца и потому что приобщение это взаимно.

Но здесь есть момент веры. В разных местах службы венчания говорится о том, что мы просим у Бога для венчающихся *крепкой веры*. Веры во что? Разумеется, веры в Бога — но не только: веры друг во друга, потому что первичное видение, которое случилось, когда два человека друг на друга посмотрели, друг друга увидели, может потускнеть. Идет время; многое проходит мимо: другие встречи, другие люди, другие обстоятельства — все это может заставить потускнеть то ясное и яркое видение,

которое было изначально. И вот тут человек *должен* сказать: нет, то, что когда-то я увидел, более истинно, более несомненно, чем тот факт, что сейчас я этого не вижу... И это очень важно. Потому что единственность этой брачной встречи, этой встречи любви *абсолютна*, и ее надо защищать от слепоты, от опьянения, которое нас охватывает, от неспособности воспринимать снова и вновь человека с изначальной, первичной яркостью этого видения. Часто бывает, что мы на человека посмотрели и прозрели вечное сияние в нем; а потом вглядываемся больше, и больше, и больше и видим все более, и более, и более поверхностные его слои; и, начав с видения внутреннего таинственного человека, мы кончаем видением его физического «я», умственных способностей, сердечных или других дарований, и нам это закрывает, то, что в глубине есть, было и всегда будет.

У Мефодия Патарского есть место, где он говорит (вообще святые отцы наши были монахами, а чуткости сколько в них было!): когда человек любит другого, он на него смотрит и говорит: он мой alter ego, другой я сам. Когда только разлюбит, то говорит: здесь ego, а ты, дружок, alter; слова «дружок» он не употребляет, но, в общем, получается так: сначала два — едины, потому что каждый другому говорит то же самое, а потом трещина, и две единицы разъединились. И вот здесь, мне кажется, *колоссальное* значение имеет вообще все учение Церкви о *единственности* брачной любви, о том, что, если человек полюбил другого, он не должен никогда потом обманываться и думать: я ошибся; ибо то, что было открыто в тот момент, *нельзя* зачеркнуть. Того, что было тогда открыто, ты не можешь вернуть никаким искусственным видением, но ты можешь жить верой. Если ты ослеплен в данную минуту, ты должен сказать: я слеп, но я видел *единственный* свет, о котором могу сказать alter ego, все остальное — это alter'ы вокруг, это просто совсем другой тип и склад отношений. И тут вопрос не в том, чтобы стиснуть зубы и сказать: *умру*, да останусь верен своей первой любви, — а в том, что человек должен сказать: я живу верой; то, что когда-то было мне показано, это рай, это видение вечное, и я не дам ничему себя обмануть, я никого и ничего не поставлю на один уровень с этим; это — невеста, а то — *люди*. Я хочу сказать: они люди, а не столы, стулья или собаки; это совсем не значит: раз люди, значит, вы для меня не существуете, пошли вон. Это значит, что *это* — единственный, а те — *другие*. Совершенно исключительно *одно* отношение, хотя каждое другое отношение, в пределах встречи, тоже единственно в своем роде. И тут вопрос не дисциплины или аскетики, а торжества ликующей, побеждающей веры.

### О т в е т ы   н а   в о п р о с ы

*Почему же так редко бывают встречи?*

Нет, встречи не редки; мы просто не называем эти отношения встречами, не переживаем их как таковые и ярлыка не приделываем; а кроме того, мы и не стараемся встретить никого. Ведь вся жизнь заключается в том, чтобы сортировать овец и козлищ; и овец мы тоже сортируем, а уж козлищ исключаем совершенно: там козлищам и место. Вот и получается: какая же встреча — одна сортировка; несколько овец нашел, да и тех держишь с осторожностью, потому что ты же не овца, а они овцы.

*А то они кусаются?*

Нет, не то что кусаются, но у нас оценка овец очень разная бывает.

*По шерсти?*

Во-первых, по шерсти; во-вторых, когда они чистые, еще молоды и т. д., они милые зверята; а потом... Мне вспоминается один священник; он сам напечатал свои проповеди, потому что никто другой их не хотел печатать, и одна проповедь так начиналась: «Дорогие братья и сестры! Только что мы читали притчу об овцах и козлищах. И я видел по вашим лицам, как вы счастливы при мысли, что вы — овцы стада Христова; но, видно, никто из вас в деревне не жил. Пойдите в деревню и посмотрите, что такое овца: овца жадная, овца глупая, овца упрямая; без собаки и палки не справишься с ней — и вот вы такие и есть...»

*Трудно за другим признать его право на существование...*

Да; потому и разбивается столько дружб, столько браков, столько глубоких отношений. Знаете, английский писатель К. С. Льюис написал книгу: письма старого черта племяннику<sup>2</sup>; старый черт дает наставления молодому чертенку, который только что выпущен в свет и делает свои первые опыты соблазна и совращения людей. В одном письме он так говорит о любви: одного я не могу понять — в каком смысле Христос говорит, что любит людей? Вот я тебя люблю; что это значит? Это значит, что мне хочется тобою *обладать*; я хочу тебя взять, я хочу, чтобы ты был в моей власти совершенно, я хочу, чтобы ты и я слились, я хотел бы тебя *переварить* до

<sup>2</sup> Lewis C. S. (1898—1963), «The Screwtape Letters»

конца, чтобы тебя не существовало вне меня. А мой *Враг* (так он называет в этих письмах Христа) говорит, что любит людей, и им дает свободу, и еще жертвует Собой для них. Где же любовь?.. И вот очень часто наша любовь такова: я тебя *так* люблю, вот иди-ка, я тебя *съем*. Когда от тебя ничего не останется, когда ты будешь переварен до конца, тогда твое счастье будет неизмеримо...

*А что же козлица?*

А тех мы пожираем, тех мы грызем, рвем, кусаем.

*Без удовольствия?*

Ну, знаете, я бы не сказал; вы оптимисты, если думаете, что людей, которых мы не любим, мы без удовольствия рвем, кусаем зубами.

*Иногда самых близких людей меньше-то всего и видишь, замечаешь...*

Порой надо отойти на какое-то расстояние. Возьмите, например, картины или статуи: они создаются, чтобы на них смотрели с определенного места. Если вы отойдете слишком далеко от статуи — вы ее вообще не увидите; но если подойдете слишком близко, вы не будете видеть всех деталей, потому что с какого-то момента ваш обзор будет ограничен. Вы должны найти по своим глазам точку, от которой смотреть. То же самое с человеком. Вы его можете увидеть только на каком-то расстоянии, потому что иначе вы перестаете видеть человека, вы видите его отдельные черты, да и то вне контекста. Вы, наверное, пробовали: если взять портрет, фотографию и переменить только форму рта или брови, то лицо делается другим; поэтому вне контекста каждая черта ничего больше не значит. И так оно и есть; только мы очень редко находим мужество отойти и посмотреть на человека, чтобы его увидеть.

*Не хватает емкости внутренней, много людей!*

Да хоть на одного человека посмотрите — и на том спасибо!

*А если нет предпочтения, а много людей, то как выбрать?*

Знаете, хоть кого-нибудь. Вы оглянитесь вокруг себя, скажите: смотрю на Петра, на Ивана, на Машу — вот и все; как только научитесь, сделаете два шага назад и *посмотрите*, вы сразу увидите, до чего это интересно, гораздо интереснее увидеть лицо человека, чем свое собственное отражение в его глазах. Человек может быть умен или глуп, может быть такой или сякой, но если на него посмотреть не по отношению к себе, с той точки зрения, которая мне мешает или удобна, то существуют и другие свойства. Когда мы с кем-нибудь не хотим разговаривать, то говорим: ну дурак, — и все. Это *неправда*; это определение одним словом целого человека, в ком масса других качеств. Вообще ум и глупость тоже понятия не то что относительные, но, скажем, есть люди, которые умом не умны, а сердцем *так* умны, что дай Бог побольше таких дураков. Но мы не всегда это видим, потому что не смотрим, потому что человек нам неинтересен сам по себе.

Беседа записана в 1968 году в Москве.

Публикация и подготовка текста Е. МАЙДАНОВИЧ.





# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

ДАНИИЛ ХАРМС

\*

## «БОЖЕ, КАКАЯ УЖАСНАЯ ЖИЗНЬ И КАКОЕ УЖАСНОЕ У МЕНЯ СОСТОЯНИЕ»

*Записные книжки. Письма. Дневники*

*Может ли образ человека отразиться в считанных строчках, притом вполне иронических?*

*Может, если этот человек — Хармс.*

*«Не знаю, почему все думают, что я гений; а по моему я не гений. Вчера я говорю им: Послушайте! Какой же я гений? А они мне говорят: такой! А я им говорю: Ну какой же такой? А они не говорят какой и только и говорят, что гений и гений. А по моему я все же не гений.*

*Куда не покажусь, сейчас же все начинают шептаться и на меня пальцами показывают. «Ну что это в самом деле!» говорю я. А они мне и слова не дают сказать, того и гляди схватят и понесут на руках».*

*Он с о з д а в а л свой образ. И этот образ ни на йоту не расходился с тем, что он писал изо дня в день.*

*Недаром его друг Александр Введенский говорил, что Хармс — это само искусство.*

*О нем, поэте, прозаике, драматурге, нам известно уже очень многое. Но чем больше мы узнаём, тем легче слетает шелуха шутивого клоунского облика, каким его на первых порах знакомства представляли нам некоторые его современники.*

*Может быть, в его поведении не было игры, шутивости, веселья? Было. И очень много. Хотя бы потому, что он был молод. Тридцать пять лет, когда он навсегда скрылся за воротами тюрьмы, — возраст, конечно, молодой.*

*Но не шутивьюстью влюбляет в себя Хармс. А — как ни странно — своей серьезностью. Высоким отношением к искусству, к слову-делу. Отношением, которое по-особенному окрашивает не только им написанное, но и, как это ни парадоксально, сочиненное другими, в его, хармсовское, время.*

*Его писательская судьба накладывает свой ответ на множество писательских судеб, складывавшихся в те же 20-е—30-е годы, в его время.*

*Могут возразить: как же так? о каком ответе может идти речь, когда он при жизни опубликовал всего два свои стихотворения — из того серьезного, «взрослого», которое безусловно считал для себя главным, делом жизни?*

*Да, именно поэтому и ложится ответ его особенной писательской судьбы на судьбы других литераторов. Обреченный на пожизненную безгласность своего слова, он не отрекся от своего пути, от своего призвания. И несмотря на все помехи, несмотря на аресты, обыски, возвращаясь, продолжал свое дело — писать.*

*Он никогда не забывал, что он творец. Новатор. Искатель. «Нет уважения ко мне писателю. Нет между ними подлинных искателей», — обронил он в 1933 году в записной книжке.*

*Его небольшие, короткие рассказы и сцены вобрали в себя многое из бесчеловечных отношений времени, из того абсурда, в котором пребывали люди в нашей стране. Из абсурда трагического. А пьеса, написанная вскоре после десятилетия Октября, «Елизавета Бам», и поставленная на сцене ленинградского Дома Печати в январе 1928 года, дышала трагедией загнанного человека, личности, преследуемой и безвинно погибающей за несодееянное преступление. Ситуация, в которую попадает Елизавета Бам, уже*

В публикации сохраняется орфография и синтаксис подлинника.

© Состав. Вступительное слово, послесловие и комментарии. Владимир Глоцер. 1992

сделалась реальной для миллионов и становилась реальной для новых десятков миллионов. «Я не убивала никого! Я не могу убивать никого!» — всегда стоит в ушах крик героини.

Два стихотворения плюс один раз прошедшая «Елизавета Бам» плюс стихи и сказки для детей — вот и всё, что мог узнать читатель и зритель его времени под его именем.

Поэтому он прозревал своего читателя в потомках и обращался к своим сочинениям, как к своим детям. «Мои творения, сыновья и дочери мои...»

В нынешней публикации Даниил Хармс предстает не своими рассказами, стихотворениями и пьесами, составившими ему теперь всеевропейскую, даже всемирную славу. Они уже известны читателю, и читателю «Нового мира» в первую очередь, — журнал публиковал три года назад (1988, № 4) его самую большую прозу (30 страниц на машинке), повесть «Старуха», некоторые стихотворения и письма к актрисе К.В. Пугачевой, в которых высказано его человеческое и литературное кредо.

В настоящей публикации Даниил Хармс (1905—1942) предстает страницами, которые как бы не предназначались для постороннего глаза, во всяком случае для широкого читателя: заметками из записной книжки, письмами, дневниковыми записями. Тем яснее становится, чем жил и кем был этот удивительный человек и писатель, разделивший судьбу миллионов безжалостного советского времени.

## I

### Что меня интересует

Стихи.

Укладывать мысли в стихи.

Вытягивать мысли из стихов.

Опять укладывать мысли в стихи.

Проза.

Озарение, вдохновение, просветление. сверхсознание.

Пути достижения.

Нахождение своей системы движения.

Различные знания неизвестные науке.

Общие законы различных явлений.

Нуль и НОЛЬ.

Числа.

Знаки.

Буквы.

Шрифты и почерка.

Всё логически бессмысленное и нелепое.

Всё вызывающее смех.

Глупость.

Юмор.

Естественные мыслители.

Приметы.

---

Из архива Я.С. и Л.С. Друскиных (Санкт-Петербург) и фонда 1232 (Я.С. Друскина) в Рукописном отделе Государственной Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (Санкт-Петербург).

Индивидуальные суеверия.

Чудеса.

Фокусы ручные, но не иллюзоны с аппаратами.

Человеческие взаимоотношения, частные.

Хороший тон.

Человеческие лица.

Красота женщин.

Половая физиология женщин.

Запахи.

Ликвидация брезгливости.

Умывание, купание и ванна.

Чистота и грязь.

Пища.

Приготовление некоторых блюд.

Подавание блюд к столу.

Курение трубки и сигар.

Устройство дома, квартиры и комнаты.

Одежда мужская и женская.

Меня интересует: что интересует других?

Что делают люди наедине с собой.

Сон.

Записные книжки.

Писание по бумаге чернилами или карандашом.

Бумага, чернила, карандаши.

Ежедневная запись событий.

Маленькие гладкошёрстные собаки.

Женщины, но только моего любимого типа.

Муравейники.

Палки трости.

вода.

Колесо.

Метеорология.

Меня интересуют добрые старушки из хорошего дома.

Фазы луны.

Запись погоды.

Запись событий.

Каббала.

Пифагор.

<1933>

Не ищи глупого — сам найдется, ищи мудрого — нигде не найдешь. (Папа).

Глупый ищет мудрого среди глупых, а мудрый находит его. (Я).

<1925>

По всей вероятности вся моя жизнь пройдет в страшной бедности и хорошо я буду жить только пока я дома, да потом может быть если доживу лет до 35—40.

<1926>

### ВСЕ СЛОВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.

Сейчас еще не устоялся наш быт. Ещё нет бытового героя. А если он есть, то его ещё не замечает глаз. А если его и замечает глаз, то не узнают его другие.

Либо вечно либо невечно. Почти вечно не существует, оно есть простое невечно. Но явление почти невечно возможно, хотя мы отнесём его к вечному. В наших устах оно прозвучит как только могущее совершиться, т. е. вечное, но могущее стать невечным. Как только оно совершится, оно станет нашим уже невечным. Но существует ли несовершенство? Я думаю в вечном — да.

<1929>

Ищи то, что выше того, что ты можешь найти.  
Зря слов не пиши.

Стойте! Остановитесь и послушайте какая удивительная история. Я даже не знаю с какого конца начать. Это просто невероятно!

Ненавижу людей которые способны проговорить более 7 минут подряд.

Нет ничего скучнее на свете чем если кто ни будь рассказывает свой сон, или о том, как он был на войне, или о том, как он ездил на юг.

Многословие — мать бездарности!

Числа, такая важная часть природы! И рост и действие, всё число.  
А слово, это сила.  
Число и слово — наша мать.

<1930?>

6 мая 1931 года.

Приступить хочу к вещи состоящей из 11 самостоятельных глав. 11 раз жил Христос, 11 раз падает на землю брошенное тело, 11 раз отрекаюсь я от логического течения мысли.

Название второй главы должно быть: перекладина. Это перекладина снятая с четырехконечного креста.

Сила заложенная в словах должна быть освобождена. Есть такие сочетания из слов при которых становится заметней действие силы. Нехорошо думать, что эта сила заставит двигаться предметы. Я уверен, что сила слов может сделать и это. Но самое ценное действие силы, почти неопределимо. Грубое представление этой силы мы получаем из ритмов метрических стихов. Те сложные пути, как помощь метрических стихов при движении каким либо членом тела, тоже не должны считаться вымыслом. Это грубейшее и в то же время слабейшее проявление словесной силы. Дальнейшая действия этой силы вряд-ли доступны нашему рассудительному пониманию. Если можно думать о методе исследования этих сил, то этот метод должен быть совершенно иным чем методы применяемые до сих пор в науке. Тут, раньше всего, доказательством не может служить факт либо опыт. Я **ХЫ** затрудняюсь сказать, чем придётся доказывать и проверять сказанное. Пока из-в>ест<n>о мне четыре вида словесных машин: стихи, молитвы, песни и заговоры. Эти машины построены не путём вычисления или рассуждения, а иным путём, название которого АЛФАВИТ.

В предисловии к книге описать какой то сюжет, а потом сказать, что автор для своей книги выбрал совершенно другой сюжет.

Приступить к чистому вымыслу так приятно.  
Я это сейчас собираюсь проделать.

<1931>

Лучше удаются художественные произведения изображающие отрицательные стороны человеческой природы. Так же лучше удаются произведения начатые с безразличного или даже плохого слова.

Числа, в своём нисхождении, не оканчиваются нулём. Но система отрицательных количеств, вымышленная система. Я предполагал создать числа меньше нуля — *Cisfinitum*. Но это тоже было неверно. Ноль заключает в себе самом эти неизвестные нам числа. Может быть правильно было бы считать эти числа как некие нулевые категории. Таким образом, нисходящий ряд чисел принял бы такой вид:

.....3 — категория III  
2 — категория II  
1 — категория I  
0 — категория 0  
категория двух 0-ей  
категория трёх нулей  
категория четырёх нулей  
..... и т. д.

Пре<d>лагаю ноль образующий некие категории называть ноль и изображать не в виде удлинённой окружности  $\bigcirc$ , а точным кружком  $\circ$ .

Вторник 19 сентября 1933 года.

Я не люблю детей, стариков, старух и благоразумных пожилых.

Травить детей — это жестоко. Но чтонибудь ведь надо же с ними делать!

Я уважаю только молодых, здоровых и пышных женщин. К остальным представителям человечества я отношусь подозрительно.

Старух, которые носят в себе благоразумные мысли, хорошо бы словить арканом.

Всякая морда благоразумного фасона вызывает во мне неприятное ощущение.

<1937?>

Он был так грязен, что однажды рассматривая свои ноги, он нашёл между пальцев засохшего клопа, которого видно носил в сапоге уже несколько дней.

Обладать только умом и талантом слишком мало. Надо иметь ещё энергию, реальный интерес, чистоту мысли и чувство долга.

<1937>

Однажды я вышел из дома и пошёл в Эрмитаж. Моя голова была полна мыслей об искусстве. Я шёл по улицам, стараясь не глядеть на непривлекательную действительность.

<1940>

## II

Т. А. Липавской\*

20-го августа 1930 года.

Тамара Александровна,

должен сказать Вам, что я всё понял. Довольно ломать дурака и писать глупые письма неизвестно кому. Вы думаете: он глуп. Он не поймет. Но Даниил Хармс не глуп. Он всё понимает. Меня матушка не проведёшь! Сам проведу. Ещё бы! Нашли дурака! Да дурак-то поумнее многих других, умных.

Не стану говорить таких слов, как издевательство, наглость и пр. и пр. Всё это только уклонит нас от прямой цели.

Нет, скажу прямо, что это чорт знает что!

Я всегда говорил, что в Вашем лице есть нечто преступное. Со мной спорили, не соглашались, но теперь пусть лучше попридержат язык за грибами или за зубами или как там говорится!

Я прямо спрашиваю Вас: что это значит? Ага! вижу как Вы краснеете и жалкой ручонкой хотите отстранить от себя этот неумолимый призрак высокой справедливости.

Смеюсь, глядя на то как Вы лепечете бледные слова оправдания.

Хочу над Вашими извинениями.

Пусть! Пусть эта свинья Бобрикова сочтёт меня за изверга.

Пускай Рогнедовы обольют меня помоями!

Да!... впрочем нет.

Не то.

Я скажу спокойно и смело: Я разъярён.

А Вы знаете на что я способен? Я волк. Зверь. Барс. Тигр. Я не хвастаюсь. Чего мне хвастаться?

Я призираю злобу. Мне злость не понятна. Но святая ярость!

Знаем мы эти малороссийские поля и конавы.

Знаем и эти пресловутые 20 фунтов. Валентина Ефимовна\*\* уехала в Москву. Цены на продукты дорожают.

*Даниил Хармс.*

\* Тамара Александровна Липавская, урожденная Мейер (1903—1982) — первая жена А.И. Введенского, потом жена Л.С. Липавского, друзей Даниила Хармса. Последние годы своей жизни посвятила составлению «Словаря языка Введенского» (хранится в Рукописном отделе Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге).

\*\* Валентина Ефимовна Гольдина (1902—1968) — художница по тканям, после войны — корректор.

5 декабря 1930 года.

Дорогая Тамара Александровна,

Я люблю Вас. Я вчера, даже, хотел Вам это сказать, но Вы сказали, что у меня на лбу всегда какая-то сыпь и мне стало неловко. Но потом, когда Вы ели редьку, я подумал: «Ну хорошо, у меня некрасивый лоб, но зато ведь и Тамарочка не богиня». Это я только для успокоения подумал. А на самом деле Вы богиня, — высокая, стройная, умная, чуть лукавая и совершенно не оцененная!

А ночью я натёр лоб политурой и потом думал: «Как хорошо любить богиню, когда сам бог». Так и уснул.

А разбудил меня папа и, довольно строго, спросил кто у меня был вчера. Я, говорю, были приятели.

— Приятели? — сказал папа.

Я говорю были Введенский\*, Липавский\*\* и Калашников\*\*\*

А папа спросил не были-ли кто ни будь, так сказать, из дам. Я, говорю, что сразу этого не могу вспомнить. Но папа что-то сделал (только я не скажу что) и я вспомнил и говорю ему: «Да, папочка, были такие-то и такие-то мои знакомые дамы и мне их нужно было видеть по делу Госиздата, Дома Печати и Федерации Писателей». Но это не помогло.

Дело в том, видите-ли, что Вы решили буд-то я вроде как-бы, извините, Яша Друскин\*\*\*\*, а я, на самом деле, это самое, значительно реже.

Ну вот и вышло, что папа раньше меня прочёл и показал Лидии Алексеевне (это такая у нас живёт).

А я и не знаю, что там такое написано.

— Нет, — говорит папа, — изволь, иди следом за мной и изволь всё объясни.

Я надел туфли и пошёл.

Прихожу, вижу, Боже ты мой! С одной стороны и приятно видеть, а с другой стороны стоят тут рядом папа и Лидия Алексеевна.

— Я, — говорит Лидия Алексеевна, — сюда больше ходить не могу, а то и про меня ещё чего ни будь напишут.

И папа раскричался тоже.

— Это, кричит, — не общественная!

Ну что тут скажешь! Я стою себе и думаю: «Любит ведь, явно любит, коли до этого дошло! Ведь вон, думаю, каким хитрым манером призналась! Но которая? Вот вопрос. Ах, если-бы это была она! т.-е. Тамара!»

Только это я так подумал, вдруг звонок, приходит почтальон и приносит мне три заказных письма. И выходит, что все три зараз любят. А что мне до других, когда я Вас, именно Вас, дорогая Тамара Александровна люблю.

Как увидел Вас, пять лет тому назад в Союзе Поэтов, так с тех пор и люблю.

Сильно сломило это мою натуру. Хожу как дурак. Апетита лишился. А съем, что через силу, так сразу отрыжка кислая. И сна лишился. Как только спать, так левую ноздрю закладывает, прямо не продохнёшь!

Но любовь, можно сказать, священный пламень, всё прошибёт!

Пять лет любовался Вами. Как Вы прекрасны! Тамара Александровна, если б Вы только знали!

Милая, дорогая Тамара Александровна! Зачем Шурка мой друг! Какая насмешка судьбы! Ведь, не знай я Шуру, я бы и Вас не знал!

Нет!..

Или вернее да! Да, только Вы, Тамара Александровна, способны сделать меня счастливым.

Вы пишете мне: «...я не Ваш вкус».

Да что Вы, Тамара Александровна! До вкуса-ли тут!

Ах! Слова бессильны, а звуки неизобразимы!

Тамарочка, радуга моя!

Твой Дания.

\* Александр Иванович Введенский (1904—1941) — поэт и детский писатель. Друг Хармса с середины 20-х годов. Был вместе с ним в курской ссылке. Репрессирован в 1941 году в Харькове и погиб во время высылки по дороге в Казань.

\*\* Леонид Савельевич Липавский, псевдоним — Л. Савельев (1904—1941) — поэт и детский писатель, автор философских и лингвистических работ. Погиб на фронте под Ленинградом.

\*\*\* Петр Петрович Калашников, научный работник и писатель, был арестован и проходил по одному «делу» с Хармсом, Введенским и другими в 1931—1932 годах.

\*\*\*\* Яков Семенович Друскин (1902—1980) — философ, музыкант и теолог. Сберег рукописи Д. Хармса, А. Введенского и Н. Олейникова, хранившиеся в архиве Хармса.

[1933?]

Дорогой  
Доктор,

я был очень, очень рад, получив Ваше письмо. Те несколько бесед, очень отрывочных и потому неверных, которые были у нас с Вами, я помню очень хорошо и это

единственное приятное воспоминание из Курска. Что хотите, дорогой Доктор, но Вам необходимо выбраться из этого огорода. Помните, в Библии, Бог щадит целый город из за одного праведника. И благодаря Вам, я не могу насладиться поношением Курска. Я до сих пор называю Вас «Доктор», но в этом уже нет ничего медицинского: это скорее в смысле «Доктор Фауст». В Вас еще много осталось хорошего германского, не немецкого (немец-перец колбаса и т. д.), а настоящего германского Geist'a, похожего на оргán. Русский дух поёт на клиросе хором, или гнусавый дьячок — русский дух. Это, всегда, или Божественно, или смешно. А германский Geist — оргán. Вы можете сказать о природе: «Я люблю природу. Вот этот кедр, он так красив. Под этим деревом может стоять рыцарь, а по этой горе может гулять монах». Такие ощущения закрыты для меня. Для меня что стол, что шкаф, что дом, что луг, что роща, что бабочка, что кузнечик, — всё едино\*.

Письмо неустановленному лицу — по-видимому, одному из тех, с кем Д. Хармс познакомился в Курске во время своей ссылки в 1932 году.

\* На этом письмо обрывается.

[Без даты.]

Дорогой Саша,

в этом (я для краткости говорю просто в «этом» но подразумеваю в этом письме) я буду говорить только о себе. Я хочу, собственно говоря, описать свою жизнь. Очень жаль, что я не написал тебе предыдущего письма, а то я бы написал там всё, что пропустил здесь.

Давай прибегнем к методу сравнения. Ты, скажем, живёшь там в Ашхабаде каким-то образом. Назовем это для краткости «так». Это я так уславливаюсь называть то и другое для того, чтобы в дальнейшем было легче и удобнее говорить о том и об этом. Если ты находишь, что обозначения «так» и «так так» неудобны, то можно называть так. Ты живешь неким образом, а я живу неким образом, но иначе. Пожалуй, остановимся на последнем обозначении.

Допустим, что я живу не «неким образом но иначе», а таким же образом как и ты. Что из этого следует? Для этого вообразим, а для простоты сразу же и забудем, то что мы только что вообразили. И теперь давай посмотрим что получилось. Чуть чуть не забыл тебе сказать как я купил совершенно ненужное польто. Хотя об этом я лучше расскажу потом. У меня был в гостях Игорь\*

Письмо неустановленному лицу.

\* На этом письмо обрывается.

Н. И. Колюбакиной\*

Четверг, 21 сентября  
1933 года.  
Петербург.

Дорогая  
Наташа,

спасибо за стихи Жемчужникова. Это именно Жемчужников, но отнюдь не Прутков. Даже, если они и подписаны Прутковым, то всё же не прутковские. И наоборот вещи Толстого вроде «Балет комма» или «О том, дискать, как филосов остался без огурцов», чистые прутковские, хоть и подписано только Толстым.

Я показывал ногу д-ру Шапо\*\*. Он пробормотал несколько латинских фраз, но, судя по тому, что велел мне пить дрозжи, согласен с твоим мнением. Кстати дрозжей нигде нет.

Чтобы ответить стихотворением на стихотворение, посылаю тебе, вчера написанные, стихи\*\*\*. Правда они ещё не законченны. Конец должен быть другим, но несмотря на это я считаю, что в них есть стройность и тот грустный тон, каким



говорит человек, о непонятном ему предназначении человека в мире. Повторяю, что стихи не закончены и даже нет ещё им названия.

*Даниил Хармс*

---

\* Наталия Ивановна Коллюбакина (1868?—1942?) — сестра матери Д. Хармса, педагог, словесник, ученица Н. Я. Марра. Жила в Царском (Детском) Селе. Хармс часто гостил у нее и очень любил.

\*\* Доктор Шапо — домашний врач Хармса и его знакомых.

\*\*\* Речь идет о стихотворении «Подруга», в котором изображается Муза с лицом, обезображенным временем.

Воскресенье  
24 сентября 1933 года.

Дорогая Наташа,

ты прислала мне такое количество пивных дрожжей, будто я весь покрыт волдырями как птица перьями. Я не знал, что они существуют в таблетках и продаются в аптеках. Мне просто неловко, что об этом узнала ты, а не я сам, которому эти дрожжи нужны.

Твое издание Козьмы Пруtkова (1899 года) — лучшее, хотя в нём многих вещей не хватает. Вчера позвонил мне Маршак и просил, если я не занят и если у меня есть к тому охота, притти к нему. Я пошёл. В прихожей произошла сцена с обниманиями и поцелуями. Вполне были бы уместны слова: «мамочка моя!». Потом Маршак бегал вокруг меня, не давая мне даже сесть в кресло, рассказывал о Риме и Париже, жаловался на свою усталость. Маршак говорил о Риме очень хорошо. Потом перешёл разговор на Данта. Маршак научился уже говорить немного по итальянски и мы сидели до 3 ч. ночи и читали Данта, оба восторгаясь.

Стихи, которые я хотел послать тебе, ещё не окончены, потому хорошо, что я не послал их.

А Колпаков\*, это действительно я.

Спасибо Машеньке\*\* за спички и махорку.

*Даня.*

---

\* Писатель Колпаков — один из псевдонимов Даниила Хармса, которым он подписывался в детском журнале «Чиж».

\*\* Мария Ивановна Коллюбакина (1875?—1943?) — тетка Хармса, младшая сестра матери, жила в Царском Селе.

Дорогая Наташа,

Кофе я не смогу пить. А лучше я пройду ещё на часок в парк, чтобы воспользоваться тем, что называют природой, или попросту «самим собой».

*Д.*

Е. И. Ювачёвой\*

28 февраля 1936 года.

Дорогая Лиза,

поздравляю Кирилла\*\* с днём его рождения, а также поздравляю его родителей успешно выполняющих предписанный им натурой план воспитания человеческого отпрыска до двух летнего возраста, не умеющего ходить, но затем со временем начинающего крушить всё вокруг и наконец<ц>, в достижении младшего дошкольного возраста, избивающего по голове украденным из отцовского письменного стола вольтметром свою любящую мать, не успевшую вернуться от весьма ловко проведённого нападения своего не совсем ещё дозревшего ребёнка, замышляющего уже в своём недозрелом затылке, ухлопав родителей, направить всё своё преостроумнейшее внимание на убелённого сединами дедушку и тем самым доказывающего свое не по летам развернувшееся умственное развитие в честь которого, 28 февраля, соберутся кое какие поклонники сего поистине из рядов вон выходящего явления и в числе

которых, к великому моему прискорбию, не смогу быть я, находясь в данное время в некотором напряжении, восторгаясь на берегах Финского залива присущим мне с детских лет умением, схватив стальное перо и окунув его в чернильницу, короткими и четкими фразами выражать свою глубокую и подчас даже некоторым образом весьма возвышенную мысль.

Даниил Хармс

\* Елизавета Ивановна Ювачёва — сестра Даниила Хармса. Живет в Санкт-Петербурге.

\*\* Кириля — пасынок сестры. В этом письме присутствует несколько неожиданная для облика детского писателя тема, которая еще ждет раскрытия: Хармс и дети.

### А. И. Порет\*

[Без даты.]

Алиса Ивановна,

извините, что обращаюсь к Вам, но я проделал всё чтобы избежать этого, а именно в течение года почти ежедневно обходил многих букинистов. Отсюда Вы сами поймете как мне необходима книга Meugink «Der Golem»\*\*, которую я когда-то дал Вашему брату.

Если эта книга ещё цела, то очень прошу Вас найти способ передать её мне. Предлагаю сделать это при помощи почты. Ещё раз извините обстоятельства, которые заставили меня обратиться к Вам.

Мой адрес:

Ул. Маяковского 11 кв. 8

Даниил Иванович

Хармс

\* Алиса Ивановна Порет (1902—1984) — художник, ученица К.С. Петрова-Водкина и П.Н. Филонова. Одна из участниц группы «Мастера аналитического искусства», которую возглавлял Филонов. Написала «Воспоминания о Данииле Хармсе» («Панорама искусств 3». М., 1980, стр. 348—359). Вспоминала о нем и в своих записках («Алиса Порет рассказывает и рисует. Из альбомов художника». «Панорама искусств 12». М., 1989, стр. 399—400, 402, 403. Публикация Владимира Глоцера).

\*\* Мейринк «Голем» (нем.). Речь идет о романе австрийского писателя Густава Мейринка (1868—1932), влияние которого Хармс испытал, в частности, в своей повести «Старуха» (1939). Впервые вышел в переводе на русский в 1922 году.

### А. И. Введенскому

[Конец 30-х годов.]

Дорогой Александр Иванович,

я слышал, что ты копишь деньги и скопил уже тридцать пять тысяч. К чему? Зачем копить деньги? Почему не поделиться тем, что ты имеешь, с теми, которые не имеют даже совершенно лишней пары брюк? Ведь, что такое деньги? Я изучал этот вопрос. У меня есть фотографии самых ходовых денежных знаков: в рубль, в три, в четыре и даже в пять рублей достоинством. Я слышал о денежных знаках, которые содержат в себе разом до 30-ти рублей! Но копить их, зачем? Ведь я не коллекционер. Я всегда презирал коллекционеров, которые собирают марки, перышки, пуговицы, луковки и т. д. Это глупые, тупые и суеверные люди. Я знаю, например, что так называемые «нумизматы», это те, которые копят деньги, имеют суеверный обычай класть их, как бы ты думал куда? Не в стол, не в шкатулку а... на книжки! Как тебе это нравится? А ведь можно взять деньги, пойти с ними в магазин и обменять, ну скажем, на суп (это такая пища), или на соус кефаль (это тоже вроде хлеба).

Нет, Александр Иванович, ты почти такой же нетупой человек, как и я, а копишь деньги и не меняешь их на разные другие вещи. Прости, дорогой Александр Иванович, но это не умно! Ты просто поглупел, живя в этой провинции. Ведь должно быть не с кем даже поговорить. Посылаю тебе свой портрет\*.

чтобы ты мог хотя бы видеть перед собой умное, развитое, интеллигентное и прекрасное лицо.

Твой друг *Даниил Хармс*

Из архива Г.Б. и Б.А. Викторовых (Харьков)

\* На этом же листе Хармс нарисовал известный теперь по многим изданиям автошарж. Факсимильное воспроизведение страницы с этим письмом: «Московский наблюдатель», 1991, № 5 (в публикации А. Герасимовой).

### III

#### Дневниковые записи 1928—1939 годов<sup>1</sup>

[1 9 2 8]

Кто-бы мог мне посоветовать, что мне делать? Эстер\* несёт с собой несчастье. Я погибаю с ней вместе. Что же, должен я развестись или нести свой крест? Мне было дано избежать этого, но я остался недоволен и просил соединить меня с Эстер. Ещё раз сказали мне: не соединяйся! — Я всё таки стоял на своём, и потом хоть и испугался, но всё-таки связал себя с Эстер на всю жизнь. Я был сам виноват, или вернее я сам это сделал. Куда делось Обэриу\*? Всё пропало как только Эстер вошла в меня. С тех пор я перестал как следует писать и ловил только со всех сторон несчастья. Н<о> могу ли я быть зависим от женщины какой бы то ни-было? — или Эстер такова, что принесла конец моему делу? — я не знаю. Если Эстер несёт горе за собой, то как-же могу я пустить её от себя. А вместе с тем, как я могу подвергать своё дело, Обэриу, полному развалу. По моим просьбам судьба связала меня с Эстер. Теперь я вторично хочу ломать судьбу. Есть-ли это только урок, или конец поэта? Если я поэт, то судьба сжалится надо мной и приведёт опять к большим событиям, сделав меня свободным человеком. Но может быть, мною вызванный крест, должен всю жизнь висеть на мне? И в праве ли я, даже как поэт, снимать его? Где найти мне совет и разрешение? Эстер чужда мне как рациональный ум. Этим она мешает мне во всём и раздражает меня. Но я люблю её и хочу ей только хорошего. Ей безусловно лучше разойтись со мной, во мне нет ценности для рационалистического ума. Неужели-же ей будет плохо без меня? Она может ещё раз выйти замуж и может быть удачнее чем со мной. Хоть-бы разлюбила она меня, для того что-бы легче перенести расставание! Но что мне делать? Как добиться мне развода? Господи помоги! Раба Божия Ксения помоги! Сделай чтоб в течении той недели Эстер ушла от меня и жила-бы счастливо. А я что-бы опять принялся писать, будучи свободен как прежде! Раба Божия Ксения помоги нам!

*Даниил Хармс*  
1928 года 27 июля

Ни сегодня ни завтра я перевода из Москвы не получу.  
4—5 час. дня. четверг 18 октября 1928 года.

Сегодня я денег из Москвы должно-быть тоже не получу, это я знаю. Часов в 5 дня я смогу сказать себе,— так я и знал!

*Даниил Хармс.*  
Пятница 19 октября 1928 года. 1—2 дня.  
Петербург.

[1 9 3 0]

А интересно, что в это время Эстер делала.

Ночь с 21—22 февраля 1930 года.

<sup>1</sup> Из фонда Я. С. Друскина в Рукописном отделе ГПБ имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Комментарий к именам, названиям и проч., отмеченным звездочкой,— после окончания дневниковых записей.

24 декабря

Был с Заболоцким в костёле.

Ночью чувствую себя простуженным и неважно. Волнуюсь за своё здоровье.

28 декабря.

Чувствую себя неважно. Кружится голова. Измерил температуру, оказалось 37. Волнуюсь за свое здоровье.

29 декабря

Волнуюсь за своё здоровье.

### [ 1 9 3 1 ]

Я веду неправильный образ жизни. Эти дни я стал чувствовать себя неважно. Очень волнуюсь за своё здоровье. Господи, помоги мне быть здоровым.\*

1 января 1931 года.

Четверг.

1 января.

2 часа дня — 36,4.

7 часов дня начался легкий озноб, а, может быть, это просто холодно в комнате.

7<sup>15</sup> — 36,8.

12 часов — 36,9.

### [ 1 9 3 2 ]

[Курск. Без даты.]

Я один. Каждый вечер Александр Иванович куда-нибудь уходит и я остаюсь один. Хозяйка ложится рано спать и запирает свою комнату. Соседи спят за четырьмя дверями, и только я один сижу в своей маленькой комнатке и жгу керосиновую лампу.

Я ничего не делаю: собачий страх находит на меня. Эти дни я сижу дома, потому что я простудился и получил грипп. Вот уже неделя держится небольшая температура и болит поясница.

Но почему болит поясница, почему неделю держится температура, чем я болен и что мне надо делать? Я думаю об этом, прислушиваюсь к своему телу и начинаю пугаться. От страха сердце начинает дрожать, ноги холодеют и страх хватает меня за затылок. Я только теперь понял, что это значит. Затылок сдавливают снизу и кажется: ещё немножко и сдавят всю голову сверху, тогда утеряется способность отмечать свои состояния и ты сойдешь с ума. Во всем теле начинается слабость и начинается она с ног. И вдруг мелькает мысль: а что, если это не от страха, а страх от этого. Тогда становится ещё страшнее. Мне даже не удастся отвлечь мысли в сторону. Я пробую читать. Но то, что я читаю становится вдруг прозрачным и я опять вижу свой страх. Хоть бы Александр Иванович пришёл скорее! Но раньше чем через два часа его ждать нечего. Сейчас он гуляет с Еленой Петровной и объясняет ей свои взгляды на любовь.

Вторник 22 ноября 1932 года. 0 ч. 10 минут по астрономическому времени.

В субботу произошло следующее: Я утром отправил письмо в Москву, как посоветовал мне Коган. Я заходил в Горком Писателей, восстановит<ь>ся в союзе, но меня просили зайти 21-го. Я ходил два раза к скрипачу Loewenberg'у, ибо Борис Степанович Житков ищет скромного скрипача для музыкального времяпрепровождения. Но я оба раза не застал Loewenberga дома. Это время я без денег, а потому столуюсь у сестры\*. И вот пообедав у сестры я пошёл к К. И. Чуковскому, он переиздает свою книжку «О маленьких детях»\* и хочет процитировать мои стихи, но не те, что были в первом издании. Корней Иванович принял меня с радостным криком и лёг на пол возле камина. Он был болен гриппом и до сей поры нездоров. На полу лежит просто для красоты, и это действительно очень красиво. Смотрел «Чукоколу»\*, но ничего туда не вписал.

От Чуковского я зашёл в Преображенский собор. Там служил епископ Сергей. Когда епископ надевает фиолетовую мантию с дивными полосами, то превращается просто в мага. От восхищения, я с трудом удержался, чтобы не заплакать. Я простоял в Соборе вечерню и пошёл домой.

Я побрился, надел чистый воротничок и поехал к Порет. Там я познакомился с Frau René (Рене Рудольфовна О'Коннель-Михайловска\*), очень милой дамой. Ей лет 35, у неё дочь 13 лет и сын 6  $\frac{1}{2}$  лет. Но она изумительно стройна, нежна и приветлива. У неё очень ласковый и вместе с тем немного лукавый голос. Мы пили чай из хороших чашек.

Ничего не буду писать о Порет, но если бы и стал писать, то написал бы только самое лучшее. Тут же, как всегда присутствовала и Глебова\*. Был ещё некий Орест Львович, знакомый Авербаха, но он скоро ушёл.

Я провозжал Frau René на В. О. Она живет в отдельной квартирке из двух комнат. Я видел её детей, которые спали в своих кроватках. Было два часа ночи, я зашёл к Frau René за папиросами, ибо у меня кончился табак. Она предложила мне остаться пить чай, но я боялся, чтобы она не подумала, что я имею на неё какие ни будь виды, ибо я такие виды на неё имел. И потому, немного стесняясь, я ушёл.

Я шёл домой пешком, курил, любовался Ленинградом и думал о Frau Rene.

В воскресенье я был утром с Введенским на выставке всех художников. Я там уже второй раз, и по прежнему нравится мне только Малевич\*. И как отвратител<ьны><sup>1</sup> круговцы! Даже Бродский приятен чем-то. На выставке встретили Гершова\*. Я пошёл к нему и смотрел его картины. Он пишет хорошие картины.

После обеда ко мне зашёл Левин\* и мы хотели поехать к Раисе Ильиничне Поляковской. Но как-то не попали на трамвай и не поехали. Тогда я с А. И. В.\* пошёл на вечеринку к Евгении Давыдовне Барт. Там же была и Паперная\* и пела негритянские хоралы. Домой я вернулся в 4 часа по гражданскому времени (в 5 часа по астрономическому).

В понедельник, я проснулся в 12 часов. Мне позвонила Frau René и сказала, что идёт на выставку так в 2  $\frac{1}{2}$  часа. Я сказал, что приду тоже. Но ко мне пришёл Борис Петрович Котельников, с которым я познакомился в тюремном лазарете, а потом пришёл ещё Никичут, которого я не вида<л> уже 5 лет. Таким образом, на выставку я попал только в 3 часа. Там я встретил Frau René. Мы видели там Евгению Ивановну, мать Введенского, у которого <ой> Frau René лечится. Мы ходили по выставке. Я был по моему мало интересен. Я проводил её до трамвая и пошёл домой. На Невском встретил Малевича, потом встретил Кельсона\*.

Я пообедал и поехал к Житкову, где был Олейников и Заболоцкий и какой то агроном Иван Васильевич из Одессы. Олейников стал теперь прекрасным поэтом, а Заболоцкий печатает свою книжку стихов.

Обратно шёл с Олейниковым пешком, как обыкновенно; и домой пришол в час.

По приезде из Курска в Ленинград, я опять встречался с Esther. А в Пятницу она пришла ко мне <...> и на вопрос: не сердится-ли она на меня? она кивнула головой, но объяснять почему отказалась. А я сказал, что так я не могу, я должен знать, а иначе не могу с ней встречаться. Но она ни сказала по этому поводу ничего и ушла. Я проводил её до трамвая и она уехала домой. Я стал ей, по всей вероятности, просто противен. И конечно она мне больше не звонит и звонить не будет.

Уже вторник 22 ноября 1 ч. 20 м. по астрономическому <вре>мяни и 2 часа 20 минут по гражданскому.

Я только что записал всё это в дневник, <ка>к вдруг потухло электричество, что за последнее <в>ремя бывает очень часто. И уж эти строки я описываю при свече. Пора спать. Я неправильно живу. Я ничего не делаю и очень поздно ложусь спать. Немного скучно, что порвал с Esther, я всётаки, как она не противоположна мне по характеру и воспитанию своему, люблю Esther.

Сегодня я очень поздно встал. Я встал половина четвёртого. Лежа в кровати я звонил по телефону своим разным знакомым. Борис Степанович, обещал мне достать

<sup>1</sup> Здесь и в некоторых случаях дальше в угловых скобках воспроизводятся буквы на оторванных частях страниц.

пуделя. И вот, по этому, поводу я звонил в Институт мозга, где этот пудель якобы находится. Но так ничего и не вышло. Дело откладывается на завтра.

Мне позвонил Маршак и просил притти сегодня, а я обещал уже быть у Пантелеева. А Маршаку нельзя отказать, потом его долго не застанешь. Придется съездить к Алексею Ивановичу днём.

Я звонил Алисе Ивановне. Завтра концерт этого органиста. Я обещал достать билет Frau René. Но что делать, у меня нет денег, а как достать билет через Ивана Ивановича? После Курска, я ещё не видал его.

Думал я так же и об Esther. Даже чуть сам не позвонил ей. Но, когда стал человеку противен, то с этим ничего не поделаешь. Теперь то уж мы с Esther разошлись на веки. Хотя, что то в душе подсказывает мне, что мы ещё сойдемся как следует.

Под вечер я поехал к Пантелееву. Там пил много вина. Был там и Боба и Белых\* с братом и ещё какие то молодые люди. А к Маршаку я так и не пошёл. Боба ночевал у меня. Мы легли поздно спать, был уже шестой час ночи.

23 ноября 1932 года. Среда. Во сне видел буд-то у меня Эстер. И вот мы раздеваемся ложимся в постель, а тут приходит Введенский и тоже раздевается и ложится с нами и лежит между нами. А я злюсь на его безтактность и от злости просыпаюсь. И Боба видел во сне Введенского с какой то женщиной.

Боба ушёл домой, а я сидел на кровати и думал о Эстер. Я решил позвонить ей по телефону и уже позвонил, но тут телефон испортился. Значит так нужно.

Звонил Маршак. Очень неловко, что я не был у него вчера.

Сейчас пошёл на кухню и Лиза напомнила мне, ч<то> сегодня рождение Эстер. О как захотел я её увидеть!

Надо послать ей телеграмму. Этот день мы хотели провести вместе у меня, но вот как всё получилось.

Непонятно, почему я так люблю Эстер. Всё что она говорит, неприятно, глупо и плохого тона, но ведь вот люблю её нисмотря ни на что!

Сколько раз она изменяла мне и уходила от меня, но любовь моя к ней только окрепла от этого.

Пошёл на почту и в 4 часа отправил телеграмму: «Поздравляю. Хармс». Зашёл к Loewenberg'у. Застал его дома. Мы сговорились ехать завтра к Житкову.

Ко мне пришёл Б. П. Котельников, без телефона. Я его почти выгнал. Надо раньше звонить и узнавать: можно-ли притти.

Что бы не встречаться с Маршако<м> впервые в четверг или пятницу, я решил забежать к нему сегодня. И забежал на 5 минут. Он прочёл своё новое, очень хорошее произведение «Мистер Блистер».

От Маршака пошёл в Филармонию. В вестибюле встретил очень много знакомых и Порет, Глебову и Кондратьева\*.

Иван Иванович узнал меня и говорил со мной сразу на ты, но билетов достать не мог. У Глебовой тоже нет билета. У меня только три рубля. Мы решили купить входные билеты. У Глебовой 4 рубля, больше ни у кого денег нет. Я встал в очередь к кассе. Входные билеты все распроданы и самые дешёвые за 5 р. 75 к. Но пока мы думали пропали и эти. Я стою у окошечка и пропускаю в 5 раз свою очередь. Наконец я покупаю Глебовой билет за 6 р. 50 к. И больше денег не остаётся. В это время приходит Frau René. А народ толпится и толкается у кассы. Frau René одалживает мне деньги. Она протягивает бумажку, это всё, что у неё есть. Мне кажется, что это 20 рублей. А тут ещё какой то военный просит меня купить ему билет и дает мне деньги. Я не считаю сколько всего денег, мне кажется, что там 26 руб. 50 коп., всё это протягиваю в кассу и прошу 3 билета, по 6 р. 50 к. Деньги военного кассирша мне возвращает и говорит, что это лишние и дает мне три билета по 6 р. 50 коп. Я получаю сдачи рубль, беру билеты и рассчитываюсь, раньше всего, с военным. Я чуть не обидел его. Он, оказывается дал мне не 6 рублей, а 5+3, т.-е. 8. Наконец мы с ним в расчёте и я несу сдачу Frau René. Я протягиваю ей 7 рублей. Она говорит: «Как это вся сдача?» Да,— говорю я. «Что вы там было 50 рублей»,— говорит она. Я иду к кассе и кричу кассирше, что вышло недоразумение. А вокруг толкается народ, тянется к окошку и мешают переговорить мне с кассиршей. Кассирша говорит, что она сдала сдачу с 50 рублей и кто-то её взял. Я для чего то протягиваю ей оставшиеся 7 рублей, она мне возвращает только 5 и я ещё теряю 2 рубля. В общем, завтра я

должен отдать Frau René 50 рублей, сейчас-же даю ей только пять. Больше у меня ничего нет.

Вся надежда на Житкова. А у Житкова я рассчитывал занять 70 руб. на польто, которое отдал с Наташей\* на переделку к портному за 120 рублей. 50 рублей даёт Наташа, а 70 рублей должен достать я. Теперь-же, если я займу у Житкова 50 рублей, то не смогу занять 70.

Вот что получилось.

На концерте мы сидели во второй боковой ложе, вчетвером: <Ко>ндратьев, Глебова, Frau René и я. Алиса Ивановна <со> Снабковым\* сидела в партере.

Я сидел рядом с Frau René на виду у всех. И вдруг я вижу, что у меня на показ совершенно драные и изъеденные молью гетры, не очень чистые ногти, мятый пиджак и, что самое страшное, расстёгнута прорешка.

Я сел в самую неестественную позу, чтобы скрыть все эти недостатки и так и сидел всю первую часть концерта. Я чувствовал себя в очень глупом положении. К тому же концерт мне вовсе не нравился. Оркестр был под управлением Фрида, а за органом немецкий органист Рамен. Исполняли Бетховенского Кориолана, органнй концерт Генделя d-moll и Малера 5 ую симфонию. Малер был вторая часть концерта. На второй части, я сидел удобнее и чувствовал себя лучше, но зато Малер мне уж вовсе не понравился.

После концерта я провожал Frau René домой и пил у неё чай до 2-х часов ночи. На обратном пути случайно попал на запоздавший трамвай.

Я стоял на пустой площадке и пел прославляя Бога и Эстер.

Вдруг я увидел, что на площадке, за мной стоит ещё человек и слушает. Я смутился и запел по немецки, а потом по английски, а потом перешёл на фокстротные мотивы. Но когда человек слез, я запел опять о Боге и о Эстер. До самых ворот дома я пел: Весь мир — окно — Эстер.

24 ноября. Четверг.

Утром спал до часа. Потом позвонил и поехал к Житкову занять 50 рублей. Занял. Отвёз Frau René. Пообедал и отдохнул дома и зайдя к Loewenberg'у поехал с ним к Житкову. Домой вернулся в 12<sup>20</sup>.

---

Вечером опять стал скучать об Эстер. Вчера засыпая я молился и плакал. Ах как я люблю мою Эстер!

25 ноября, Пятница.

Проснулся и долго лежал в постели. Сегодня вечером я хотел пойти с Алисой Ивановной к Ермолаевой\*. Но звонил Маршак и приглашал к себе. Надо пойти к нему. Поэтому, когда позвонила Алиса Ивановна, то я сказал, что итти к Ермолаевой сегодня не смогу. Я лежал в постели до тех пор, пока не пришёл Гершов. Он едет в Борисоглебск. Вещи уже на вокзале. Поезд отходит в 5 часов. Мне очень жалко, что он уезжает. Он очень милый человек и хороший художник.

Я проводил его до площади и пошёл к Бобе. С Бобой мы ходили к трубочному мастеру Диментьеву. У Бобы сломалась трубка. Мастер закрыл свою мастерскую и работает на заводе. Но у нас, как у старых клиентов, он взялся за три рубля починить трубку.

Боба зашёл ко мне. Потом я пошёл к Маршаку. Маршак был усталый, я ленивый и стих<и> читались вяло. В 10 часов я уже вернулся домой.

С давних времён я люблю помечтать: рисовать себе квартиры и обставлять их. Я рисую другой раз особняки на 80 комнат, а в другой раз мне нравятся квартира в 2 комнаты.

Сегодня мне хочется иметь такую квартиру\*.

---

Это время я ничего не пишу и не читаю. Калоши у меня сносились. Сапоги почти тоже. Денег нет. Сегодня приезжала Машенька, привезла мне рыбьяго жира и 25 руб. денег. Я ложусь поздно спать. Сейчас уже без четверти два.

Суббота 26 ноября.

Повесил у себя в комнате икону Иверской Бож<sup>ь</sup>ей Матери.

Сегодня решил сидеть дома и никуда не выходить. Позвонил Эстер. <О>на сказала, что я хорошо сделал. Но надежд не подаёт.

Пришёл ко мне Вейсенберг\*. Потом пришли Боба и Игорь\*. Вечером звонила Эстер и спрашивала телефон Юдиной\*. Звонила сестра Эрбштейна\*, ей нужно повидать Александра Ивановича. Звонила Татьяна Николаевна и спрашивала телефон Ивана Ивановича. Игорь и Боба сидели у меня до часу ночи. Я на ночь читал «Капитана Трафальгара»\*.

Воскресенье 27 ноября.

С утра позвонил Алисе Ивановне. Вечером она собирается на концерт в филармонию будет Моцартовский Реквием. Я хочу тоже пойти. Звонил мне Иракий\*. Позвонила и Эстер. Она всю ночь была на вечеринке. Со мной говорила как по обязанности. Ей не интересно встречаться со мной. О встречи она ни слова. Я тоже молчал.

Звонила Татьяна Николаевна и я сговорился с ней, что буду в Филармонии в 8  $\frac{1}{2}$  часов. Я разгладил свой поношенный костюмчик, надел стоячий, крахмальный воротничёк, и вообще оделся как мог лучше. Хорошо не получилось, но все же до некоторой степени прилично. Сапоги, правдо черезчур плохи, да к тому же и шнурки рваные и связанные узелочками. Одним словом, оделся как мог и пошёл в филармонию.

В вестибюле встретил Порет с Кондратьевым и Глебову. У Ивана Ивановича просить билет у меня всё равно духу не хватит, и я встал к кассе. Надо купить билет не только себе, но и Глебовой. Самые дешёвые оказались за восемь рублей и я их купил.

Я очень застенчив. И благодаря плохому костюму и, всё таки, непривычки бывать в обществе, я чувствовал себя очень стеснённым. Уж не знаю, как я выглядел со стороны. Во всяком случае старался держаться как можно лучше. Мы ходили по фойэ и рассматривали фотографии. Я старался говорить самые простые и легкие мысли, самым простым тоном, что бы не казалось, что я остро. Но мысли получались либо скучные либо просто глупые и, даже, мне казалось неуместные и порой грубоватые. Как я не старался, но некоторые вещи я произносил с черезчур многозначительным лицом. Я был собой недоволен. А в зеркале я увидел, как под затылком оттопырился у меня пиджак. Я был рад поскорее сесть на места.

Я сидел рядом с Глебовой, а Порет с Кондратьевым сидели в другом месте.

Я хотел сесть в светскую, не принуждённую позу, но, по моему, из этого, тоже, ничего не вышло. Мне казалось, что я похож на солдата, который сидит перед уличным фотографом.

Концерт мне не понравился. Т.-е. выше и лучше «Реквиема» я ничего не знаю, и Климовская каппела\* всегда была поразительна, но на сей раз хор был явно мал. И «Реквием» не звучал как нужно.

В антракте видел Житкова с супругой, видел Frau René, разговаривал <с> Иваном Ивановичем, но говорил не находчиво и не умно. Какой я стал неловкий.

После концерта подошёл к нам Исаи Александрович Браудо\*. На этом основании я не поехал провожать Глебову.

Я поехал к Липавскому, где должен был быть Введенский и Олейников. Но Олейников не был, а Введенский был с Анной Семёновной\*.

Вот за столом у Липавского я чувствовал себя вполне свободным и непринуждённым. Но, по моему, я и тут пересоллил и черезчур размахался. Впрочем не знаю.

Я напросился ночевать у Липавского. Тамара Александровна, перешла спать в столовую и целую ночь не спала.

Понедельник 28 ноября.

Сегодня Александр Иванович едит в Борисоглебск. От Липавского я пошёл прямо к Александру Ивановичу. Я был с ним на рынке, где он покупал себе носки. Придя к Александру Ивановичу с рынка, я обнаружил, что пропала моя старая трубка. Кто поймёт, что значит потерять трубку! По счастью оказалось, что она у Тамары Александровны\*. Я провожал Александра Ивановича. На вокзал с нами поехали обе Евгении Ивановны\*. Туда же должна была притти Анна Семёновна и сестра Эрбштейна. За пол часа до отхода поезда Евгении Ивановны ушли. Мы остались с Александром Ивановичем вдвоём. И вот его Нюрочка не пришла. Я видел как его это опечалило. Он уехал очень



расстроенный. Потом Нюрочка звонила мне и спрашивала как уехал Александр Иванович. Нюрочка похожа своим поведением на Эстер.

Я лежал и читал «Der gute Ton». Было уже почти 9 часов. Вдруг позвонила Эстер. Эти дни она очень весело проводила время: всё ходила по гостям. А сегодня гости у них, ибо 35-ти летие свадьбы Ольги Григорьевны и Александра Ивановича. Эстер просит меня приехать. Что я не говорю, она всё таки настаивает на своём. И я еду.

В столовой сидит много народа. Тут и Кибальчич\* и Яхонтов и Марсель\* и какие то дамы и какие то ещё люди. Эстер налила мне рюмку ликёра. Я сидел совершенно красный и у меня горели уши. У Эстер очень истасканный и развязанный вид. Она говорит, взвизгивает, хохочет или вдруг слушает с раскрытым ртом и тогда она становится похожей на старую еврейку. Этого раньше не было. Но я люблю её. Несколько раз Эстер взглядывает на меня и каждый раз всё менее и менее приветливо. Яхонтов встает и читает стихи. Он читает Державина. Читает очень плохо, но декламаторски и культурно. Потом читает Пушкина. Всем очень нравится.

Эстер хлопает в ладоши и говорит: «ах какая прелесть!».

Потом Яхонтов уходит.

Когда Wiktor'a Кибальчича спрашивают, как понравился ему Яхонтов, он говорит, что у Яхонтова своя манера читки и ему <хотелось бы послушать его целый вечер. Эстер говорит: «Я в него влюблена». Wiktor говорит: «о, это очень просто, <для> этого не надо читать Пушкина<>».

Тогда Эстер говорит: «я влюблена не в него, а в его <читку>. Я влюблена в Пушкина».

Тогда Wiktor говорит: «о! я был в Москве и видел Пушкина. Трудно, чтобы он ответил на любовь». (Wiktor говорит о памятнике). Так Wiktor острит целый вечер и именно так, как я больше всего боялся сделать вчера, в фойе Филармонии.

Я сидел красный и неуклюжий и почти ничего не мог сказать. Всё, что я говорил было поразительно неинтересно. Я видел как Эстер призирала меня.

Я сказал Эстер: «Эстерочка, я потерял свою трубку».

Она переспросила: «Что? Трубку?» и потом заговорила о чём то другом с Наталией Александровной.

Наконец гости собрались уходить. Я нарочно переждал всех. Марсель сыграл мне что-то на рояле. Я простился и пошёл. Эстер проводила меня до двери. У неё было очень неприятное лицо: чем то озабоченное не касающимся меня, а по отношению ко мне — недовольное. Я ничего не сказал ей. Она тоже. Мы только сказали: до свидание. Я поцеловал ей руку. Она захлопнула дверь.

«Боже!» — сказал я тогда. — «Какая у нее б.....я рожа!». Я сказал так про себя и побежал по лестнице вниз. Я сказал очень грубо. Но я люблю её.

Я зашёл на 10 минут к Жуковскому и пошёл пешком, по Невскому, домой.

Придя домой я записал всё это.

3 часа 10 минут ночи.

Вторник 29 Ноября.

Утром ходил с Бобой в Горком, но ничего не добился. Видел Пантелеева и Заболоцкого.

Потом вернулся домой. Звонила Порет. Я должен был итти к ним, но потом всё переменилось. Я пригласил Порэт к себе. Лежал на кушетке и читал капитана Трафальгара. Половина двенадцатого пришла Алиса Ивановна. У меня была кетовая икра и севрюга. Это было очень кстати. Пили чай. Алиса Ивановна была у меня до 2-х часов ночи. Потом я провожал её домой. У кинематографа «Две Маски» мы остановились и решили завтра итти на фильм «Зелёный переулок». Домой я пришёл часа в 4. <...>

Среда 30 Ноября.

Проснулся поздно, так в час. Позвонил Алисе Ивановне, решили итти в кинематограф. Она должна была позвонить мне в 4. Зашёл ко мне Гейне и скоро ушёл. В 4 звонила Алиса Ивановна. Решили итти на 6-ти часовой сеанс. Я предложил приехать раньше и привезти оставшуюся рыбу. Алиса Ивановна просила приехать сразу. Я сразу и приехал. У неё и обедал. Потом Алиса Ивановна рисовала, а я сидел и ничего не делал. Мы пропустили несколько сеансов, ибо решили итти с Петром Павловичем Снабковым и ждали когда он освободится. Пошли на сеанс 10<sup>40</sup> и купили 3 билета. До начала осталось больше часа. И мы решили ехать ко мне и что найдём поест. Так и сделали. Потом звонили Снабкову но там никто не подходил. Алиса Ивановна позвонила домой и предложила Татьяне Николаевне пойти с нами. И мы

пошли в кинематограф. Я сидел рядом с Алисой Ивановной. Потом ещё пошли к ним пить чай. Некоторое время я был наедине с Татьяной Николаевной, смотрел её картины. Потом пили чай. Ушёл от них в 1½ ночи. На трамвай всё-же попал у Царскосельского Вогзала.

Сегодня звонила Наташа и сказала, что шуба готова. Послезавтра должен ехать за ней. Надо доставать деньги (70 рублей). Наташа страшно устает. Как помочь Наташе? Её служба слишком тяжела. Надо ей переехать в Ленинград.

Четверг 1 декабря.

С утра начал искать денег. Но кому не звонил, ничего не вышло. Я пошёл к Шварцу. Дома была одна Екатерина Ивановна\*, она жаловалась на полное безденежье.

Нигде денег достать не мог. Звонил об этом Алисе Ивановне. Она посочувствовала мне. На прощанье сказала: <«>До свиданье милый Даниил Иванович». Кажется она сказала милый.

Вечером я был у Липавского. Там денег тоже нет. Липавский читал мне свою сказку «Менике». Сказка плохая и я её поругал. Тамару Александровну и Валентину Ефимовну таскал за волосы. Вообще перекиривлялся и, кажется, произвёл плохое впечатление. Домой ехал на втором номере до Невского.

Пятница 2 декабря.

Встал в 10 часов. Побрился. Позвонил Алисе Ивановне. Решили ехать сегодня в Царское. Занял у Или\* 5 рублей. Приехал к Алисе Ивановне, а там уж Павел Михайлович Кандратъев.

Кандратъев уже шесть лет влюблён в Алису Ивановну. Он любит её по настоящему. Но он, с её стороны, не видит ничего хорошего. Хорошо ему было только пока он был болен и Алиса Ивановна каждый день приходила к нему. Теперь он мучается и ревнует дни и ночи напролёт.

Я с Алисой Ивановной пришел на вогзал. До отхода поезда у нас 1 час 40 минут. Мы пошли погулять в садик. В поезде Алиса Ивановна читала мои стихи.

В Царском пришли к моей тете. Наташи не было дома. Алиса Ивановна вела себя робко. Я чувствовал некоторую власть над ней. Мы оба хотели есть. Выпили стакан молока. Потом мы гуляли в парке. Ели в столовой. Видели Фирузека и поехали домой.

В поезде стояли на площадке. В Петербурге решили, что Алиса Ивановна зайдёт ко мне поест. Но потом она попросилась зайти к себе <до>мой. А дома ей сказали, что Снабков уже на дороге к ним. <Алис>а Ивановна осталась, а я пошёл домой. Дома было <нече>го есть. Хорошо, что Алиса Ивановна не поехала со мной.

<Я> немного спал. Звонила Эстер, но я не обрадовался её <з>вонку. Зато, когда позвонила Алиса Ивановна, я был очень рад. Возились с радио Владимир Иосифович\* и я, до 3 часов ночи. Потом в кровати я писал мысли об Алисе Ивановне в записную книжку. Долго не спал думая об Алисе Ивановне. Это нехорошо. Хорошо, чтобы она думала обо мне.

Суббота 3 декабря.

Утром встал и звонил Алисе Ивановне. Она через Илю хочет продать каракулевое монто. Принял ванну.

Днём пришёл ко мне Липавский, потом Олейников и Заболоцкий. Я трещал, что женился на Алисе Ивановне. Как я безтактен. Потом Олейников звонил Алисе Ивановне и спрашивал обо мне. Алиса Ивановна прекратила с ним разговор. Когда все ушли я позвонил Алисе Ивановне. Она назвала меня провокатором и видно изменила обо мне мнение. Вчерашние, наши отношения исчезли. Я мучался этим. Пришёл Вейсенберг. Сидел довольно долго. Потом я пошёл к Бобе. От Бобы не вытерпел и в 11 часов позвонил Алисе Ивановне. Говорил ерунду. У неё был голос не очень приветливый. Поделом мне! У Бобы сидел до 3½ часов ночи.

Лиза и Иля собрали мне 75 рублей.

Вчерашние ночные мысли об Алисе Ивановне, кажутся мне сегодня позорными. Надо не звонить Алисе Ивановне. Не буду звонить ей.

Воскресенье 4 декабря.

Утром пришёл ко мне Башилов\*. До обеда я проводил к себе в комнату громкоговоритель от ЭГС'а. После обеда поехал в Царское к Наташе. Получил у

портного польто. Некоторое время посидел у Наташе. Была Машенька. Ел чудный, огромный лук, жаренного гуся и пил молоко.

Домой вернулся к 12-ти часам.

Понедельник 5 декабря.

Утром был у Олейникова. Подарил ему исполинскую луковицу. Пришёл домой. Приехала Машенька. Я постригся под горшок. Вечером в крахмальных манжетах, в крахмальном воротничке и белом жилете поехал к Алисе Ивановне. Там собралось следующее общество: Алиса Ивановна, Татьяна Николаевна, Frau René, Снабков, Браудо, Струве\*, Олейников и я. Было довольно скучно. С Алисой Ивановной я почти поссорился. Обрато шёл с Олейниковым пешком. Он не верит, что я считаю его хорошим поэтом.

Вторник 6 декабря.

В 11 часов утра позвонила мне Эстер. Она сказала, что не может сказать мне <по> русски, и скажет по французски. Я ничего не понял что она сказала, но в этом мне было стыдно признаться. Я задавал ей глупые вопросы не в попад. И наконец она рассердилась и повесила трубку.

Звонила Алиса Ивановна, она говорила, что вчера ей были все противны. И звонит она чтобы я не ссорился. Но вышло, что мы поссорились е<щ>ё больше.

Заходил днём Эрнест Эрнестович\*.

Вечером был у Житкова. Были Олейников, Матвеев\* и Бианки. Потом пришла Татьяна Кирилловна Груздева\*. Пили водку. Житков напился. Обрато шли пешком Олейников, Матвеев и я.

Среда 7 декабря.

Хотел сегодня начать работать. Но целый день ничего не делал. До 4 часов совершенно ничего не делал. В 4 пришёл Тювелев\*. Он занимается математикой и немецким языком. Когда Тювелев ушёл, я с Владимиром Иосифовичем возился с радиоприемником. Вечером был у Порет и Глебовой.

---



---

[ 1 9 3 3 ]

8 февраля 1933 года.

Я не могу удержать себя и не увидеть сегодня Алисы Ивановны. Ехать к ней сейчас, почти наверняка окончательно испортить всё. Я знаю как это глупо, но я не могу удержать себя. Я еду к ней и может быть при помощи Ксении все будет очень хорошо.

*Даниил.*

Сейчас я сижу в комнате у Алисы Ивановны. Очень неприятное чувство. Я не вижу, чтобы Алиса Ивановна относилась ко мне хорошо. Она и<з>менилась ко мне. Было бы разумно просто уйти. Но страшно потерять её таким образом на всегда.

Она опять начала разговор о моём злодействе. Не знаю, что она под этим подразумевает, но во всяком случае ничего хорошего в этом нет.

Я прошу Бога сделать так, чтобы Алиса Ивановна стала моей женой. Но видно Бог не находит это нужным. Да будет Воля Божья во всём.

Я хочу любить Алису Ивановну, но это так не удаётся. Как жалко! Села!

Если бы Алиса Ивановна любила меня и Бог хотел бы этого, я был бы так рад!

Я прошу Тебя Боже, устрой всё так, как находишь нужным и хорошим. Да будет Воля Божья!

В Твои руки Боже передаю судьбу свою, делай всё так как хочешь Ты.

Милая Алиса Ивановна, думалось мне, должна стать моей женой. Но тепер я ничего не знаю. Села!

Я вижу как Алиса Ивановна ускользает от меня.

О Боже Боже, да будет Твоя Воля во всём.

Аминь.

13 февраля 1933 года.

*Даниил Хармс.*

Суббота 18 февраля 1933 года.

Новый год встречал с Глебовой. А потом приехали ко мне Алиса Ивановна и Снабков. Они целовались и мне было это мучительно видеть. Потом на несколько дней я поссорился с Алисой Ивановной. Это случилось после 4-го, когда я ехал с ней на извозчике и чуть чуть не поцеловал её. Расстались мы очень нежно. А на другой день она не захотела меня видеть. И больше недели мы не виделись. Потом лишь с трудом помирились. А за это время чего я только не надумался. Я ревновал к Введенскому. Но в 20-х числах января мы снова подружились. В конце января наступило тревожное время в связи с паспортизацией. С Алисой Ивановной мы виделись буквально каждый день. Я всё больше и больше влюблялся в неё и 1-го февраля сказал ей об этом. Мы назвали это дружбой и продолжали встречаться.

3 февраля я сел у ног Alice и положил к ней на колени голову. От неё чудно пахло. И я влюбился окончательно.

7 февраля я стал с Alice целоваться. <...>

10 февраля я гулял с Alice в монастырском, на Фонтанке мосту и целовался. <...>

<11> февраля Alice уехала в Всеволожское. 12 февр<аля> Alice звонила <от>туда мне по телефону. Я днём ездил в Царское, <а> вечером пришёл к Alice, которая уже вернулась в <г>ород. Были Чернецов\* и Кондратьев. Alice была довольно холодна.

13 февр<аля> Alice не дала себя поцеловать. Я долго и глупо говорил.

14 февр<аля> Alice была у меня. Мы целовались. Я поцеловал её ногу. Alice была очень мила.

15 февраля. Утром проводил Alice из Госиздата домой. А вечером опять был у неё. Мы целовались очень страстно. <...>

16 февраля говорили по телефону довольно нежно. Alice завтра едет в Всеволожское до 20-го. Обещала 18-го звонить и написать мне письмо.

16-же вечером был у Липавских. Там был Яков Друскин. Домой вернулся в 11 часов.

17-го. Целый день писал Alice письмо. И вечером послал. <...>

18-го. Alice не звонила. Был днём Гейне. Вечером я пошёл к Эстер. Она лежит больна. <...>

Воскресенье 19 февраля.

Ночью были страшные мысли <...>. Во сне видел Кепку\*, но буд-то она белая. Утром пока я ещё спал пришёл Введенский. <...> Ходил в горком. Баузе\* и Кальнына\* не видел. Анкету не заверил. Встретил Шварца. Заходил к нему и пил чай. Потом долго гулял с ним по улице. Вечером был опять у Эстер. Она всё еще больна. Сегодня у неё была температура 38,9. Я её не трогал по трём причинам: во первых из-за её температуры, во вторых из за своего бессилия и в третьих потому что люблю Алису Ивановну.

Домой вернулся в 11½ часов и пил чай с Лизой и Владимиром Иосифовичем.

20 февраля говорил с Алисой по телефону. Она приехала. Но в этот де<нь> мы не увиделись. Я пошёл к Эстер. Эстер не позволила к себе прикоснуться. Хорошо. Я ушёл к Липавским.

Пятница 3 Марта.

В конце февраля Алиса была как то у меня. Мы долго говорили. Выяснилось, что она любит Петра Павловича и живёт с ним.

1 Марта. Наташу сократили. Вечером был у Лизы ужин по случаю рождения Кирилла\*. Была Алиса Ивановна, и познакомилась она с Лизой. Потом Алиса Ивановна сидела у меня до 3 часов. Мы опять много говорили. Я люблю Алису Ивановну, а она любит Петра Павловича. Тут ещё применен Кондратьев. А я бессилён. А извне угрозы. А я так сильно люблю Алису Ивановну! Вот какое фортофо.

2 Марта. <Б>ыл у Житкова. Бианки, Бармин\*, Житков и я обсуждали серию энциклопедических книг.

3 Марта. Был утром у Алисы Ивановны. Она рисовала охотников. Смотрели Гою. Вечером у неё должен быть Пётр Павлович. Я этого не мог вынести и ушёл раньше, чем следовало. Обедал в ленкублитовской столовой. Придя домой не вытерпел и позвонил Алисе Ивановне. Это был напрасный звонок. Вечером чувствовал себя ужасно. С одной стороны так люблю Алису, а с другой стороны — так бессилён. Я сделал нехорошо: я пошёл к Эстер. <...> Я вернулся в 12 домой. Сейчас собираюсь пить зелёный чай, подарок милой Алисы Ивановны.

Воскресенье 10 сентября.

Как часто мы заблуждаемся! Я был влюблён в Алису Ивановну, пока не получил от неё всего, что требует у женщины мужчина. Тогда я разлюбил Алису. Не потому,

что пресытился, удовлетворил свою страсть, и что либо тому подобное. Нет, просто потому, что узнав Алису как женщину, я узнал, что она женщина неинтересная, по крайней мере на мой вкус. А потом я увидел в ней и другие недостатки. И скоро я совсем разлюбил её, как раз тогда, когда она полюбила меня. Я буквально удрал, объяснив ей, что уйду ибо она любит Петра Павловича. Недавно я узнал, что Алиса вышла замуж за Петра Павловича. О как я был рад!

А с Эстер я всё продолжал встречаться. Уже нет той любви, что была когда-то, но во всяком случае Эстер, как женщина, нравится мне, а это, хоть может быть и кажется печальным, — но важно очень. Да, очень важно!

Интересно, что: немец, француз, англичанин, американец, японец, индус, еврей, даже самоед, — всё это определённые существительные как старое **россиянин**. Для нового времени нет существительного для русского человека. Есть слово «русский», существительное образованное из прилагательного, да и звучит только как прилагательное. Неопределён русский человек! Но ещё менее определён «советский житель». Как чутки слова!

21 сентября.

Читаю Байрона «Преображённый Урод».

Начало с проклятием матери замечательно. Но дальше бесчисленное появление древних героев делается лишним. Байрон слишком увлекается описанием их.

Очень хорош первый разговор Арнольда с неизвестным, до заклинания. Потом идёт появление героев.

Как бездарен рисунок к «Преображ~~енному~~ Уроду»! «Появление тени Ахилла» рис. Мадокс Броун\*.

Арнольд, вместо уродливого горбуна, которого даже «...человек избегая, со страхом кругом обойдет», — просто крадущийся юноша, готовый поймать бабочку сидящую на низеньком цветке, а потому согнувший колени и корпус и держащий наготове руки.

Незнакомец, просто высокий человек с усами, для таинственности завернутый в плащ.

Ахилл, который должен быть гигантом в двенадцать локтей ростом, — не выше горбуна. На голове у него каска с куском шестерни, какую изображают на значках Осавиохима. С лицом хорошенькой гувернантки, стоит он в скромной позе провинциального балетного танцора. Мадокс Броун хотел изобразить Ахилла стоящего в водопаде, но жиденькие ахилловы ноги стоят на воде, а не в воде. И вообще водопад саломенный. В руках Ахилл держит два копья, длинной с тросточку, но с большими и широкими наконечниками; впечатление, что он держит в руке вафельницу.

Позор, а не рисунок!

Пьеса делается дальше интересной. Особенно когда дело происходит в самом Риме. Интересно появление Бенвенуто Челлини. Дальше замечательно говорит Цезарь (Мефистофель). Очень тонок отрывок из III части, где граф Герман ревнует Олимпию.

25 сентября.

## О СМЕХЕ.

### 1. Совет артистам юмористам

Я заметил, что очень важно найти смехотворную точку. Если хочешь чтобы аудитория смеялась, выйди на эстраду и стой молча, пока кто ни будь не рассмеётся. Тогда подожди ещё немного, пока не засмеётся ещё кто ни будь, но так, чтобы все слышали. Только этот смех должен быть искренним, и клакёры, в этом случае, не годятся. Когда всё это случилось, то знай, что смехотворная точка найдена. После этого можешь приступать к своей юмористической програм~~ме~~ и, б~~у~~дь спокоен, успех тебе обеспечен.

### 2.

Есть несколько сортов смеха. Есть средний сорт смеха, когда смеётся весь зал, но не в полную силу. Есть сильный сорт смеха, когда смеётся только та или иная часть залы, но уже в полную силу, а другая часть залы молчит, до неё смех, в этом случае, совсем не доходит. Первый сорт смеха требует эстрадная комиссия от эстрадного актёра, но второй сорт смеха лучше. Скоты не должны смеяться.

25 Sep.

О Производительности.

Мои творения, сыновья и дочери мои.

Лучше родить трёх сыновей сильных, чем сорок, да слабых.

Не путай производительность и плодливость.

Производительность — это способность оставлять сильное и долговечное потомство, а плодливость это только способность оставить многочисленное потомство, которое может долго жить, но однако может и быстро вымереть.

Человек обладающий производительной силой, обыкновенно бывает, в то же время и плодovit.

20 окт<ября> 1933.

Лучше плохое назвать хорошим, чем хорошее плохим, а потому я говорю, что Шестакович должно быть гений.

20 окт<ября>.

Прослушав два первых действия оперы «Леди Макбет»\*, склонен полагать, что Шестакович не гений.

Жан-<Б>атист, Покелин  
Мольер.

Я рассматривал одну из трёх сохранившихся подписей Мольера, относящуюся к 1668 году.

Это прекрасная, чёткая подпись, ни одна буква не написана без внимания. Вся подпись выглядит примерно так:

*J. B. Poquelin Moliere. j.*

[1935]

6 мая 1935 года. Смотрел картину «Частная жизнь Петра Виноградова». Сначала ругался, говоря, что это пошлятина. Но потом даже понравилось. Я люблю сюжет на тему: Человек напряжённым трудом добивается больших дел.

[8 мая 1935 года

*Хорошая погода:*

9 — встать.  
10  $\frac{1}{2}$  — 5 — пляж.  
6—7 — обед.  
7—9 — писать.

*Плохая погода:*

10  $\frac{1}{2}$  — встать  
11  $\frac{1}{2}$  — 1 — читать.  
1—3 — писать.  
3—4 — читать.  
4—5 — писать.  
5—6 — обед.  
6—8 — писать.

*Пляж:*

10  $\frac{1}{2}$  — 12 — читать  
12 — 12  $\frac{1}{2}$  — наблюдать.  
12  $\frac{1}{2}$  — 2 — сочинять.  
2—3 — наблюдать.  
3—4 — читать  
4—5 — сочинять.

*Хорошая погода:*

10  $\frac{1}{2}$  — встать.  
12—3 — пляж.  
3  $\frac{1}{2}$  — 4  $\frac{1}{2}$  — обед.  
5—8 — писать.

*Пляж:*

12—1 — читать  
1—2 — сочинять.  
2—2  $\frac{1}{2}$  — наблюд<ать>.  
2  $\frac{1}{2}$  — 3 — читать.]

Вот уже второй день нет от Марины\* писем. Я страшно волнуюсь. 25 мая.

Я мелкая пташка, залетевшая в клетку к большим неприятным птицам. (У Попова в Детском Селе 3 июня 1935 года).

Вот что плохо:

Современный «культурный» вкус.

Тихон Чурилин\*.

Пастернак.

Худ. Лебедев\*.

Худ. Акимов.

Палеховские мастера.

Изд. Academia

Косые карманы.

Широкие лацканы на мужск<их> пиджаках.

Мода на худошавых женщин.

Танго.

Кино

Тон девиц: Отстаньте!

Оркестр Рейнобль\*.

Патефон, Джаз

Сокращение слова из «метрополитен» в «метро».

Одно из основных начал расхождения человеческих путей является пристрастие к худым или полным женщинам.

Хорошо бы в общественных садах отвести алейки для тихого гуляния, с двухместными скамейками стоящими на расстоянии 2 метров друг от друга, причём между скамейками насадить густые кусты, чтобы сидящий на одной скамейке не видел, что делается на другой. На этих тихих алейках установить следующие правила:

1). На алейки запрещён вход детям, как одним, так и с родителями. 2). Запрещён всякий шум и громкий разговор. 3). К мужчине на скамейке имеет право сесть только женщина, а к женщине только мужчина. 4). Если сидящий на скамейке кладёт рядом на свободное сидение руку или какой ни будь предмет, то подсесть нельзя.

Отвести также алейки для одиночного гуляния, с креслами на одно лицо. Между кресел кусты. Воспрещён вход детям, шум и громкий разговор.

Хорошенькие женщины в садах не гуляют.

[ 1 9 3 6 ]

Господи, накорми меня телом Твоим

Чтобы проснулась во мне жажда движения Твоего.

Господи напои меня кровью Твоею

Чтобы воскресла во мне сила стихосложения Моего.

13 мая.

Нет пророка без порока.

Всякая нежить бессловесна.

Ключи на столе,— к ссоре.

Девка с полными ведрами. Жид, волк, медведь — добрая встреча.

Наблюдаю в парикмахерской страшных баб. Рожи, нелепые, кривляются, хихикают. Ужасные бабы!

Интересно называть стихи количеством строк.

Ободренные американцы с мужички́м акцентом, стоят в очереди за билетами. «Чиво это?» — фальцетом<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Возможно, что эта запись и некоторые другие записи рядом относятся к более раннему времени.

Вот рядом, на соседней скамейке сидит дура в коверкоте и читает «Теорию литературы», демонстративно подчеркивая на страницах карандашом. Дура!

Ваш доктор похож на головы с очками выставленные в оптических магазинах.

Нельзя представлять себе семь сфер как раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь сфер. Семь обозначает только некоторое количественное свойство.

Алаф! Сегодня я ничего не успел рассказать тебе. Весь день мне хотелось есть и спать. Я хожу очень вялый и ничем не интересуюсь.

Когда человек привык очень поздно ложиться спать, то ему очень трудно отучиться от этого. Чтобы ложиться рано существует единственный правильный метод: перескочить сутки, т.-е. ложиться всё позднее и позднее, сначала поздно ночью, потом рано утром, потом днём и наконец вечером. Так можно добраться до нормального часа.

В грязном падении человеку остается только одно, не оглядываясь падать. Важно только делать это с интересом и энергично.

Я знал одного сторожа, который интересовался только пороками. Потом интерес его сдулся, он стал интересоваться одним только пороком. И вот когда в этом пороке он открыл свою специальность и стал интересоваться только одной этой специальностью, он почувствовал себя вновь человеком. Появилась уверенность в себе, потребовалась иррудиция, пришлось заглянуть в соседние области и человек начал расти.

Этот сторож стал гением.

23 декабря 1936 года.

Я сегодня не выполнил своих 3—4 страниц. Почерк у меня сейчас такой, потому что я пишу лежа в кровати.

*Даниил Хармс*

Вчера папа сказал мне, что пока я буду Хармс, меня будут преследывать нужды.

*Даниил Хармс*

23 декабря 1936 года.

### [ 1 9 3 7 ]

②4 Вписываю сюда\* события сегодняшнего дня, ибо они поразительны. Вернее. особенно поразительно одно событие, я его подчеркну.

1). Мы вчера ничего не ели. 2). Утром я взял в сберкассе 10 руб. оставив на книжке 5, чтобы не закрыть счёта. 3). Зашёл к Житкову и занял у него 60 руб. 4). Пошёл домой, закупая по дороге продукты. 5). Погода прекрасная, весенняя. 6). Поехал с Мариной к Буддийской пагоде, взяв с собой сумку с бутербродами и фляжку с красным вином, разбавленным водой. 7). На обратном пути зашли в комиссионный магазин и увидели там фисгармонию Шидмейера двухмануально-го, копию с филармонической. Цена 900 руб. только! Но пол часа тому назад её купили! 7<sup>a</sup>). У Alexandr'a видел замечательную трубку. 85 рублей. 8). Пошли к Житкову. 9). С Житковым узнали кто купил фисгармонию и поехали по адресу: Песочная 31 кв. 46 Левинский. 10). Перекупить не удалось. 11). Вечер провели у Житкова.

4 апреля.

Довольно праздности и безделья! Каждый день раскрывай эту тетрадку и вписывай сюда не менее полстраницы. Если нечего записать, то запиши хотя бы по примеру Гоголя, что сегодня ничего не пишется. Пиши всегда с интересом и смотри на писание, как на праздник.

11 апреля 1937 года.

На замечание: «Вы написали с ошибкой». Ответстуй: «Так всегда выглядит в моём написании».

Никаких мыслей за эти дни в голову не приходило, а потому ни сюда, ни в голубую тетрадь я ничего не записывал. Очень дёргают меня зайчики. Вяло работал над Радловским альбомом «Рассказы в картинках». J. По утрам сидел голый. Лишон приятных сил<...>.

Апрель 1937 года.

Боже! Что делается! Я погрязая в нищите и в разврате. Я погубил Марину. Боже, спаси её! Боже спаси мою несчастную, дорогую Марину. 12 мая 1937 года. Марина поехала в Детское, к Наташе. Она решила развестись со мной. Боже помоги



сделать всё безбольно и спокойно. Если Марина уедет от меня, то пошли ей, Боже, лучшую жизнь, чем она вела со мной.

Пришло время ещё более ужасное для меня. В Детиздате придрались к каким то моим стихам и начали меня травить. Меня прекратили печатать. Мне не выплачивают деньги, мотивируя какими то случайными задержками. Я чувствую, что там происходит что то тайное злое. Нам нечего есть. Мы страшно голодаем.

Я знаю, что мне пришёл конец. Сейчас иду в Детиздат, чтобы получить отказ в деньгах.

1 июня 1937 года. 2 ч. 40 минут.

Сейчас в Детиздате мне откажут в деньгах.

1 июня 1937 года.

Мы погибли.

Я совершенно отупел. Это страшно. Полная импотенция во всех смыслах. Расхлябаность видна даже в почерке.

Но какое сумасшедшее упорство есть во мне в направлении к пороку. Я высиживаю часами изо дня в день, чтобы добиться своего и не добиваюсь, но все же высиживаю. Вот что значит искренний интерес!

Довольно кривляний: у меня ни к чему нет интереса, только к этому.

Вдохновение и интерес — это то же самое.

Уклониться от истинного вдохновения столь же трудно, как и от порока.

При истинном вдохновении исчезает всё и остаётся только оно одно.

Поэтому порок, есть тоже своего рода вдохновение.

В основе порока и вдохновения лежит то же самое. В их основе лежит подлинный интерес.

Подлинный интерес — это главное в нашей жизни.

Человек лишённый интереса к чему бы то ни было, быстро гибнет.

Слишком однобокий и сильный Интерес чрезмерно увеличивает напряжение человеческой жизни; ещё один толчок, и человек сходит с ума.

Человек не в силах выполнить своего долга если у него нет к этому истинного Интереса.

Если истинный Интерес человека совпадает с направлением э<то>го <его?> долга, то такой человек становится великим.

18 июня 1937 года.

В комнате Или.

5 июля 1937 года.

Подойдешь к Марине с нежной душой, а отойдешь с раздражением. И виной тому, должно быть, я—сам.

Не знаю, что и написать, так я растерен и смущён сам. Страшно пусто во мне. Ничем похвастать не могу. Во всём сплошные недостатки.

5 июля новая беда: Марина узнала, что я изменяю ей<...>. Как это нехорошо.

Надо быть хладнокровным, т. е. уметь молчать и не менять постоянного выражения лица.

Когда человек, говорящий с тобою, рассуждает неразумно,— говори с ним ласково и соглашайся.

Когда человек говорит: «мне скучно»,— в этом всегда скрывается половой вопрос. <...>

Создай себе позу и имей характер выдержать её. Когда то у меня была поза индейца, потом Шерлок Холмса, потом йога, а теперь раздражительного невротика. Последнюю позу я бы не хотел удерживать за собой. Надо выдумать новую позу.

Компендий\*:

...«Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь, или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых всё условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты»...

Чехов «Скучная История».

...В наш век авиации и беспроводного электричества... <...>

Попробуй сохранить равнодушие, когда кончатся деньги.

17 июля.

Вот интересное чувство на пляже: рядом пустое место. Кто ляжет? Ждешь, но обыкновенно сосед оказывается ничем неинтересен.

21 июля. Петропавловский пляж.

К Насте — ненастье.

Я достиг огромного падения. Я потерял трудоспособность совершенно. Я живой труп.

Отче Савва я пал. Помоги мне подняться.

7 августа 1937 года.

Жизнь это море, судьба это ветер, а человек — это корабль. И как хороший рулевой может использовать противный ветер и даже итти против ветра, не меняя курса корабля, так и умный человек может использовать удары судьбы, и с каждым ударом приближаться к своей цели.

Пример: Человек хотел стать оратором, а судьба отрезала ему язык и человек онемел. Но он не сдался, а научился показывать дощечки с фразами, написанными большими буквами, и при этом где нужно рычать, а где нужно подвывать, и этим воздействовал на слушателей ещё более, чем это можно было сделать обыкновенной речью.

Если государство уподобить человеческому организму, то в случае войны, я хотел бы жить в пятке.

Вот уж 7 августа. Я ничего не сделал до сих пор. Сейчас я в Детском (с 1 августа). Состояние моё только хуже. Неврастения, рассеянность, в душе нет радости, полное отсутствие трудоспособности, мысли ленивые и грязные.

Время от времени я записываю сюда о своём состоянии. Сейчас я пал, как никогда. Я ни о чём не могу думать. Совершенно задёрган зайчиками. Ощущение полного развала. Тело дряблое, живот торчит. Желудок расстроен, голос хриплый. Страшная рассеянность и неврастения. Ничто меня не интересует. Мыслей никаких нет, либо, если и промелькнёт какая ни будь мысль, то вялая, грязная или трусливая. Нужно работать, а я ничего не делаю, совершенно ничего. И не могу ничего делать. Иногда только читаю какую ни будь легкую беллетристику. Я весь в долгах. У меня около 10 тысяч неминуемого долга. А денег нет ни копейки и при моём падении нет никаких денежных перспектив. Я вижу как я гибну. И нет энергии бороться с этим. Боже, прошу Твоей помощи!

7 августа 1937 года.

Детское Село.

Я могу точно предсказать, что у меня не будет никаких улучшений и в ближайшее время мне грозит и произойдет полный крах.

7 августа.

Я всё не прихожу в отчаянье. Должно быть я на что то надеюсь, и мне кажется, что моё положение лучше чем оно есть на самом деле. Железные руки тянут меня в яму.

Но сказано «Не всегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». (Пс. IX 19).

28 сентября 1937 года.

Поели вкусно (сосиски с макаронами) в последний раз. Потому что завтра никаких денег не предвидется, и не может их быть. Продать тоже нечего. Третьего дня я продал чужую партитуру «Руслана» за 50 руб. Я расстратил чужие деньги. Одним словом сделано последнее. И теперь уже больше никаких надежд. Я говорю Марине, что получу завтра 100 рублей, но это враки. Я никаких денег ни от куда не получу.

Спасибо Тебе Боже, что по сие время кормил нас. А уж дальше да будет Воля твоя.

3 октября 1937 года.

Благодарю Тя Христе Боже наш, Яко насытил еси земных Твоих благ. Не лиши нас и небесного твоего Царствия.

4 октября 1937 года. Сегодня мы будем голодать.

9 октября, Суббота 10 ч. 40 м. утра 1937 год.

Даю обязательство до Субботы 30 октября 1937 года не мечтать о деньгах, квартире и славе.

*Даниил Хармс*

Боже, теперь у меня одна единственная просьба к Тебе: уничтожь меня, разбей меня окончательно, ввергни в ад, не останавливай меня на полпути, но лиши меня надежды и быстро уничтожь меня во веки веков.

Даниил.

23 октября 1937 года. 6 ч. 40 м. вечера.

31 октября 1937 года.

Меня интересует только «чушь»; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своём нелепом проявлении.

Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт — ненавистные для меня слова и чувства.

Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и вохищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех.

13 ноября 1937 года. Иду на заседание секции детских писателей. Я уверен, что мне откажут в помощи и выкинут меня из Союза.

Вот мои любимые писатели:

	Человечеству:	Моему сердцу:
1). <u>Гоголь.</u>	69	69
2). <u>Прутков.</u>	42	69
3). <u>Мейринк.</u>	42	69
4). <u>Гамсун.</u>	55	62
5) Эдвард Лир.	42	59
6). Люис Кэрроль.	45	59

Сейчас моему сердцу особенно мил Густав Мейринк.

14 ноября 1937 года.

16 ноября 1937 года.

Я больше не хочу жить. Мне больше ничего не надо. Надежд нет у меня никаких. Ничего не надо просить у Бога, что пошлёт Он мне, то пусть и будет: смерть так смерть, жизнь так жизнь,— всё, что пошлёт мне Бог. В руке Твои Господи, Иисусе Христе, предаю дух мой. Ты мя сохрани, Ты мя помилуй и живот вечный даруй мне. Аминь.

Я ничего не могу делать. Я не хочу жить.

Элс\* утверждает, что мы из материала предназначенного для гениев.

22 ноября 1937 года.

На что робщу я? Мне дано всё, чтобы жить возвышенной жизнью. А я гибну в лени, разврате и мечтании.

Человек не «верит» или «не верит», а «хочет верить» или «хочет не верить».

Есть люди, которые не верят и не не верят, потому что они не хотят верить и не хотят не верить. Так я не верю в себя, потому что у меня нет хотения верить или не верить.

Я хочу быть в жизни тем же, чем Лобачевский был в геометрии.

Ошибочно думать, что вера есть нечто неподвижное и самоприходящее. Вера требует интенсивного усилия и энергии, может быть, больше, чем всё остальное.

Сомнение — это уже частица веры.

Есть ли чудо? Вот вопрос, на который я хотел бы услышать ответ.

Марина голая, в одной ночной рубашке, выбегала на лестницу и разговаривала с газетчицей. Думаю, что она простудилась. Я страшно обозлился.

23 ноября 1937 года. <...>

Боже, какая ужасная жизнь и какое ужасное у меня состояние. Ничего делать не могу. Всё время хочется спать, как Обломову. Никаких надежд нет. Сегодня обедали в последний раз. Марина больна у неё постоянно температура от 37—37,5°. У меня нет энергии.

30 ноября 1937 года.

### [ 1 9 3 8 ]

Удивляюсь человеческим силам. Вот уже 12 января 1938 года. Наше положение стало ещё много хуже, но всё ещё тянем. Боже, пошли нам поскорее смерть.

12 января 1938 года.

Так низко как я упал — мало кто падает. Одно несомненно: я упал так низко, что мне уже теперь никогда не подняться.

12 января 1938 года.

Я очень люблю мою Мариночку. Сейчас 9½ часов утра. Я только что вернулся с Петроградской стороны. Сначала был у Валентины Ефимовны. Там были Михайлов\* и Анна Семёновна. В 1½ Анна Семёновна пошла домой; я проводил её и пошёл к Липавским. Туда же пришли Михайлов и Валентина Ефимовна. 2 ч. У Липавских в гостях Слонимские\*. Много водки и пива. Около 4-х часов все разошлись. У меня дома ночует Марина Ржевужская\*. Я знаю, что она легла спать на мой диван. Я не хочу приходить домой среди ночи и всех будить. Поэтому я остался ночевать у Липавских. В 7½ часов я проснулся т.к. закутали меня клопы. Спать я не мог, зажигать света нельзя, чтобы не будить хозяев и курить надо мало. Я просидел в темноте до 9 часов, выкурил две трубки и потихоньку удрал домой.

Дома обе Марины спят. Я сел на пуфик.

Я очень люблю мою Марину.

Раннее утро 24 января 1938 года.

Гармониус.

11 марта 1938 года продал за 200 рублей часы «Павла Буре», подаренные мне мамой.

20 Марта 1938 года.

Подошёл голым к окну. Напротив в доме видно кто-то возмутился, думаю, что морячка. Ко мне ввалился милиционер, дворник и ещё кто то. Заявили, что я уже три года возмущаю жильцов в доме напротив. Я повесил занавески.

Наши дела стали ещё хуже. Не знаю, что мы будем сегодня есть. А уж дальше что будем есть — совсем не знаю.

Мы голодаем.

25 марта 1938 года.

Пришли дни моей гибели. Говорил вчера с Андреевым\*. Разговор был очень плохой. Надежд нет. Мы голодаем, Марина слабеет, а у меня к тому ещё дико болит зуб.

Мы гибнем — Боже помоги!

9 апреля 1938 года.

25 мая. Вчера и сегодня был на пляже «Золотом бережке». Вчера — первый раз в этом году. Сегодня (25) приехала Ольга. Я был в бане. Виктор Эдуардович уехал в Туапсе. Поссорился с Мариной, потому что чувствовал, что она внутренне не пускает меня уйти. Вечером я всё же, со скандалом, ушёл.

26 мая. Марина лежит в жутком настроении. Я очень люблю её, но как ужасно быть женатым.

Меня мучает «пол». Я неделями, а иногда месяцами не знаю женщины.

Что приятнее взору: старуха в одной рубашке или молодой человек совершенно голый? И кому в своём виде непозволительнее показаться перед людьми?

1. Цель всякой человеческой жизни одна: бессмертие.

1а. Цель всякой человеческой жизни одна: достижение бессмертия.

2. Один стремится к бессмертию продолжением своего рода, другой делает большие земные дела, чтобы обессмертить своё имя, и только третий ведёт праведную и святую жизнь, чтобы достигнуть бессмертия как жизнь вечную.

3. У человека есть только два интереса:

Земной — пища, питьё, тепло, женщина и отдых и небесный — бессмертие.

4. Всё земное свидетельствует о смерти.

5. Есть одна прямая линия на которой лежит всё земное. И только то, что не лежит на этой линии, может свидетельствовать о бессмертии.

6. И потому человек ищет отклонение от этой земной линии и называет его прекрасным или гениальным.

9 июня 1938 года Маришенька уехала от меня и поселилась пока у Варвары Сергеевны\*.

### [ 1 9 3 9 ]

С 16-го апреля 1939 года живёт у нас Юра Фирганг.

С 8-го по 19 апреля сидел дома, был грипп, болел зуб и был без сопог.

9-го была пасха, т<ак> ч<то> 8-го были я и Ник<олай> Вас<ильевич> на пасхальной заутрени.

Стр. 202. Эстер Александровна Русакова (1906—1938) — первая жена Даниила Хармса. Она происходила из семьи иммигрантов, приехавших в СССР из Франции. В 1937 году арестована и погибла в лагере.

Даниил Хармс был одним из основателей и деятельных участников ОБЭРИУ (Объедине-

---

В комментариях не даны сведения о знаменитостях, которые можно почерпнуть из множества энциклопедий, а также о лицах, которые были знакомы автору дневника и о которых комментатор, к сожалению, не располагает дополнительными биографическими сведениями.

ния Реального Искусства), литературно-театральной группы, существовавшей под крышей ленинградского Дома Печати в 1927—1931 годы.

Стр. 203. Последняя фраза записана тайнописью.

О тайнописи Хармса — в статье Александра Никитаева «Тайнопись Даниила Хармса. Опыт дешифровки» (журнал «Даугава», 1989, № 8, стр. 95—99). Надо сказать, что тайнописный алфавит Хармса богаче, разнообразнее, чем это представлено в статье.

Сестра — Елизавета Ивановна, урожденная Ювачёва. Даниил Хармс, его сестра со своей семьей и отец Хармса и Елизаветы Ивановны Иван Павлович Ювачёв жили в одной квартире (Надеждинская, 11, квартира 8). В дальнейшем иногда просто Лиза.

В своей книге «От двух до пяти» (в первых изданиях называлась «Маленькие дети»), в главе «Заповеди для детских писателей», Корней Чуковский весьма одобрительно цитировал детские стихотворения Даниила Хармса: «Иван Иваныч Самовар» (во 2-м издании. Л., 1929), а также «Врун» и «Миллион» (в 3-м. Л., 1933) и во всех последующих изданиях книги (а их при жизни автора было свыше двадцати).

В «Чукоккале» есть и запись Даниила Хармса: «Совершенно не знаю, что сюда написать...» и так далее, а также автографы его детских и недетских стихов (Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., «Искусство», 1979, стр. 389—390).

Стр. 204. Рене Рудольфовна О'Коннель-Михайловская (1891—1981) — художница. Во время чистки была выслана из Ленинграда и многие годы провела в ссылке.

Татьяна Николаевна Глебова (1900—1985) — художница, ученица П.Н.Филонова. Входила в группу «Мастера аналитического искусства». В те годы неразлучная подруга Алисы Порет.

Казимир Малевич был близок к ОБЭРИУ. Во второй половине 20-х годов он привлекал левых поэтов, в том числе Хармса, к работе Института художественной культуры, в котором был директором. Хармс написал стихи «На смерть Казимира Малевича» и прочел их над гробом 17 мая 1935 года.

Соломон Моисеевич Гершов (1900—1989) — художник. Был вместе с Хармсом и другими арестован «за организацию на основе имеющихся у них контрреволюционных убеждений» нелегальной антисоветской группы литераторов и художников. Был с Даниилом Хармсом в курской ссылке (1932 год).

Дойвбер (Борис Михайлович) Левин (1904—1941) — детский писатель, обэриут (единственный только прозаик в литературной секции ОБЭРИУ, в которую входили главным образом поэты). Погиб на фронте под Ленинградом. В дальнейшем иногда просто Боба.

А. И. В. — Александр Иванович Введенский.

Эстер Соломоновна Паперная (1900—1987) — автор известных литературных пародий («Парнас дыбом») и детская писательница. В конце 30-х годов была репрессирована и вернулась из ссылки в конце 50-х. Вместе с Хармсом любила петь в домашнем кругу народные песни многих стран.

Зигфрид Симонович Кельсон (1892—1938), поэт и переводчик. Репрессирован и погиб.

Стр. 205. Иван Иванович Соллертинский (1902—1944) — музыкальный критик, музыковед, историк театра. Предварял своим вступительным словом концерты в Ленинградской филармонии.

Григорий Георгиевич Бельх (1906—1938) — детский писатель, соавтор Л. Пантелеева по повести «Республика Шкид» (1927). Был репрессирован и умер в тюремной больнице.

«Мистер Блистер» — первоначальное, до печати, название поэмы С. Маршака для детей «Мистер Твистер».

Павел Михайлович Кондратьев (1902—1985) — художник, друг Алисы Порет. Быть может, о нем думал Хармс, когда писал стихотворение «Однажды господин Кондратьев...» (1933).

Стр. 206. Наташа — Наталия Ивановна Колубакина.

Петр Павлович Снопков (1900—1942) — театральный художник, друг Алисы Порет и впоследствии ее муж. Репрессирован осенью 1941 года и погиб в ссылке.

Вера Михайловна Ермолаева (1895—1938) — художница. Иллюстрировала произведения Хармса в журналах «Еж» и «Чиж» и одну из первых его детских книжек «Иван Иваныч Самовар» (1929). Была репрессирована и погибла близ Караганды.

Далее следуют зачеркнутые чертежи. Сохранилось несколько чертежей воображаемых квартир, нарисованных Хармсом. Публикация «Даниил Хармс рисует» в журнале «Гуголь», 1992, № 1 (в печати).

Стр. 207. По-видимому, Лев Маркович Вайсенберг (1900—1973) — автор биографических книг и переводчик.

Игорь Владимирович Бахтерев (р. 1908) — драматург, поэт, обэриут. В те годы дружил с Хармсом. Сопостановщик пьесы Хармса «Елизавета Бам» на сцене Дома Печати (1928 год).

Мария Вениаминовна Юдина (1899—1970) — пианистка.

Борис Михайлович Эрбштейн (1901—1964) — театральный художник. Был репрессирован и находился с Хармсом в ссылке. Его сестру звали Мирра Михайловна.

Роман Паскаля Груссе (псевд.— Андре Лори, 1844—1909). Перевод с французского. Издавался в 1887 и 1890 годах.

Иракий — по-видимому, Иракий Луарсабович Андроников (1908—1990), в те годы секретарь редакций журналов «Еж» и «Чиж».

Капелла под управлением Климова (бывшая Придворная капелла). Михаил Георгиевич Климов (1882—1937) — хормейстер.

Исайя Александрович Браудо (1896—1970) — органист, пианист, музыковед, педагог. Знакомый Т. Н. Глебовой и А. И. Порет.

Анна (Фанни) Семёновна Ивангер (р. 1906) — вторая жена поэта А. Введенского.

Мать и сестра Введенского. Мать, Поволоцкая-Введенская (1872—1935), врач-гинеколог. Сестра, также Евгения Ивановна, педиатр, умерла в 1943 (?) году.

Стр. 208. «Der gute Ton» — «Правила хорошего тона» (нем.).

Родители Эстер Русаковой, первой жены Хармса.

Виктор Львович Кибальчич (1889—1947) — писатель, псевдоним — Виктор Серж. Муж старшей сестры Эстер Русаковой.

Поль Марсель (1908—1973) — композитор, автор модных в свое время романсов и фортепьянных пьес, родной брат Эстер Русаковой. Был репрессирован в 1937 году и вернулся из ссылки в 1956-м.

Стр. 209. Евгений Львович Шварц (1896—1958) — драматург, детский писатель, сотрудник «Ежа» и «Чиж», мемуарист. Екатерина Ивановна Шварц, урожденная Обухова (1903—1963) — его жена.

Иля — домашнее имя Лидии Алексеевны Смирнитской (ум. в 1942-м), экономки, жившей в той же квартире, где и Хармс.

Владимир Иосифович Грицын (1900—1976) — инженер, первый муж сестры Хармса.

Александр Алексеевич Башпилов — один из «естественных философов», которых привечал и изучал Хармс. О Башпилове рассказывают в своих воспоминаниях искусствовед Всеволод Петров («Панорама искусств 13». М., 1990 [1991!], стр. 244) и сын С.Я. Маршака, И.С. Маршак (там же, стр. 248).

Стр. 210. Кирилл Васильевич Струве, физик и драматический актер. Был репрессирован в конце 30-х годов.

Эрнст Эрнстович Гейне. Жил на Литейном проспекте.

Владимир Павлович Матвеев (1897—1935) — писатель, участник гражданской войны. Друг Н. М. Олейникова. Был репрессирован и погиб.

Никандр Андреевич Тювелев (1905?—1938?), поэт. Репрессирован и погиб.

Татьяна Кирилловна Груздева (1898—1966) — жена литературоведа Ильи Груздева.

Стр. 211. По-видимому, Владимир Семенович Чернецов (1907—1969) — художник.

Кепка — собака Хармса.

По-видимому, Роберт Петрович Баузе — в 30-е годы председатель Ленинградского комитета по радиовещанию.

Ян Антонович Калнынь (1902—1937), писатель и редактор детского радиовещания. Репрессирован и погиб.

См. письмо к Е.И. Ювачевой на стр. 200—201.

Александр Гаврилович Бармин (1900—1952) — детский писатель, автор исторических книг.

Стр. 212. Наверное, Хармс рассматривал рисунок между стр. 308 и 309 в следующем издании: *The Poetical Works of Lord Byron*. Edited, with a Critical Memoir by William Michael Rosseti. Illustrated by Madox Brown. London.

Мадокс Броун (1821—?) — английский художник, иллюстратор.

Стр. 213. Премьера оперы Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» («Катерина Измайлова») состоялась 22 января 1934 года (Ленинградский Малый оперный театр, дирижер С. А. Самосуд, режиссер Н. В. Смолыч). Хармс, по-видимому, слушал музыку Шостаковича до премьеры.

Стр. 214. Марина Владимировна Малич (1909?—1983?) — вторая жена Даниила Хармса. У нее очень необычная судьба. После гибели Даниила Ивановича она эвакуировалась из блокадного Ленинграда на Северный Кавказ, который оккупировали немцы. Была угнана в Германию. Там узнала, что ее мать, уехавшая за границу еще до октябрьского переворота, живет в Париже. М. Малич добралась до Парижа. Здесь произошел разрыв с матерью. Малич уехала в Южную Америку, родила сына, вышла замуж за русского эмигранта. Последние годы жила в Венесуэле. Содержала книжный магазин.

Гихон Васильевич Чурилин (1885—1946) — поэт.

Владимир Васильевич Лебедев (1891—1967) — художник, больше известен как художник детской книги.

Популярный в 30-е годы джазовый ансамбль.

Стр. 215. «Сюда» — то есть в «Голубую тетрадь». Тетрадь в переплете из голубого шелка, с дневниковыми записями, рассказами, стихами.

Впервые издан в 1937 году, с подписями Даниила Хармса, Н. Гернет и Н. Дилакторской.

Стр. 216. В связи с опубликованной в журнале «Чиж» песенкой Даниила Хармса «Из дома вышел человек» (1937, № 3). Ее сюжет — о том, как «из дома вышел человек» и «с той поры исчез», — был уже не сказочным, а самым что ни на есть реальным.

Стр. 217. Краткое руководство, резюме (лат.).

Стр. 218. Элэс — прозвище Леонида Савельевича Липавского.

Стр. 219. Дмитрий Дмитриевич Михайлов (1892?—1941?), в эти годы преподаватель немецкого языка в университете. Умер в блокаду.

Слонимские — Михаил Леонидович (1897—1972), писатель, и его жена Ида Исааковна (р. 1903).

Марина Николаевна Ржевуская (1915—1982) — дальняя родственница и подруга Марины Малич.

Стр. 220. Сергей Андреевич Андреев (? — 1938?) — тогдашний директор Детгиздата. Вскоре был репрессирован и погиб.

Варвара Сергеевна — бабушка М. Малич. Умерла в 1942 году.

Существует ли дневник Даниила Хармса?

«Что за странный вопрос! — скажете вы, — а что же мы только что читали?..»

Между тем вопрос не покажется столь уж странным, если присмотреться к прочитанному и вспомнить судьбу самого автора.

То, что перед нами дневник, — не вызывает сомнений. «Я только что записал всё это в дневник...» — обронил Хармс 22 ноября 1932 года. И действительно, записи 1932—33 годов, сделанные на больших листах гроссбуха, следуют день за днем, как это и бывает в дневнике; они обстоятельны и подробны. Но они же и остаются единственными во всей массе дошедших до нас ежедневных записей дневниковыми, д н е в н и к о м. Остальные — как бы записи дневникового свойства. Даже при том, что у Хармса дневник подчас переходит в записную книжку и наоборот, это удивляет.

В чем тут дело? Может быть, прав один из отечественных биографов Даниила Хармса в своем утверждении, что Хармс не оставил дневника?..

Даниила Хармса на протяжении десяти лет арестовывали три раза. И по крайней мере дважды, во время арестов, происходили обыски. Еще живы люди, которые мне об этом рассказывали.

На обысках забирали прежде всего дневники и записные телефонные книжки. Как известно, они лучше всего очерчивали для карательной власти круг интересов и значимость арестованного. «Заметно выходил из употребления такой предмет, как записная книжка с адресами и телефонами...» — писал в своих воспоминаниях о Хармсе хорошо знавший его в последние годы искусствовед Всеволод Петров. То есть дневник и записная книжка воспринимались как донос на самого себя; дневника, своего же дневника боялись.

Первый раз Хармса арестовали в конце 1931 года по липовому делу «Детского сектора Госиздата», где готовились к печати все его детские книжки. Сначала держали в тюрьме, а потом вместе с друзьями и «подельниками», среди которых был и гениальный Александр Введенский, сослали в Курск. Разумеется, дневник, который Хармс вел до ареста, должен был быть изъят при обыске, и остались лишь разрозненные записи за предыдущие годы. Подробнейшие записи с ноября 1932 года свидетельствуют о том, что дневник у Хармса был и раньше. Так — вдруг — с места в карьер — на двадцать седьмом году жизни — не начинают: «В субботу произошло следующее...»

В дневнике Хармса заметны зияния целых лет. Так, не существует ни одной записи 1934 года, до мая 1935-го. И причина этого в том, что 1934—1935 годы — время чистки Ленинграда от неблагонадежных и высылки их из города. Хармс, который уже однажды сидел, конечно, находился под подозрением. И либо не вел дневника из страха, либо этот дневник был изъят у него при обыске.

Исчез и его предвоенный дневник. А он тоже существовал. Сестра Хармса, Елизавета Ивановна Ювачёва, вспоминала, что жена Хармса, Марина, читала ей в начале войны записи из этого дневника, и они были крайне пессимистические. Война пугала Хармса. Он предчувствовал, что не переживет это время. Вспомним сохранившуюся запись 1937 года: «Если государство уподобить организму, то в случае войны я хотел бы жить в пятке».

Итак, многие страницы из дневника утрачены, и по всей вероятности безвозвратно. Однако возблагодарим судьбу за то, что она сохранила хотя бы эти страницы.

Судьбу — и друга Хармса Якова Семеновича Друскина. Именно ему, слабейшему от голода, передала в блокадном Ленинграде рукописи Хармса, и в том числе дневниковые страницы, жена Даниила Ивановича, Марина Малич, а потом, спустя два года, с оставшимися рукописями то же сделала сестра Хармса Елизавета Ивановна. И Друскин берег эти рукописи долгие годы как самую большую драгоценность. Он сложил их в чемоданчик и не расставался с ним ни на час. Он носил его с собой в бомбоубежище во время немецких налетов, а затем увез в эвакуацию. Благодаря этому мы вообще можем говорить о Хармсе-писателе и читать его вещи. Потому что, если бы рукописи погибли, как и сам автор, мы бы рассуждали лишь о Хармсе «детском».

Я. Друскин два десятилетия не решился открыть чемоданчик для посторонних глаз. Но в середине 60-х годов предоставил его содержимое первым исследователям. Впрочем, дневниковые страницы стали доступны только еще через два десятилетия, сорок лет спустя после гибели Хармса, в недавние годы, когда вместе с другими хармсовскими рукописями они попали в государственный архив.



*Ни об одном русском писателе не ходит столько невероятных историй и легенд, сколько о Данииле Хармсе. Какие только проделки ему не приписывают!*

*Как на пари он взялся пройти по людной улице в совершенно невообразимом виде: в канотье без дна, с торчащими волосами, в военных галифе и домашних тапочках на босу ногу, в пиджаке без рубашки и с огромным крестом на груди...*

*Как по дороге на концерт набрал сосулек и потом в артистической, стоя близко к знаменитому музыканту, засовывал эти сосульки ему в карман. И как во время концерта торжествовал, когда на сцене из карманов потек ручеек.*

*Как, завязав знакомой глаза, долго вел ее неизвестно куда и приводил на ненавистный ей бокс, наслаждаясь, когда снималась повязка, ее испугом и отвращением...*

*И так далее и тому подобное.*

*Наверное, мы бы питались только такими историями и биография Хармса была бы составлена из подобных полуправдивых выдумок, если бы... если бы он сам не явился нам совсем в другом образе. И сделал это в своем дневнике.*

*Дневник открыл подлинного Хармса. Со всеми его мечтами и мыслями, страданиями и увлечениями, желаниями и страхами.*

*В последний раз он был заключен в тюрьму 23 августа 1941 года, когда ему было всего 35 лет. Чем жил этот молодой человек? чем жила его душа?*

*Он сам открыл нам свое заветное, свой интимный мир, и перед нами прошли все, кого он любил на протяжении пятнадцати лет, до своей гибели. Первая и, пожалуй, самая сильная любовь — Эстер Русакова. Героиня романа — художница Алиса Порет, романа, в котором она сама никогда не признавалась. Любовь и брак с Мариной Малич... Нет, никто бы не рассказал об этих увлечениях поэта правдивее и чище, чем он сам.*

*Но дневник осветил и главное в Хармсе-поэте, и в тех именно словах и выражениях, в каких он думал о себе сам. Как известно, он всю жизнь писал «взрослую» прозу, стихи, пьесы. Но кроме двух «взрослых» стихотворений, не мог опубликовать из написанного ничего. Импульсы этого беспримерного по своей целеустремленности творчества навсегда остались бы загадкой, и для читателя и для исследователей, если бы не голос, собственные признания самого писателя.*

*«Мои товарищи, сыновья и дочери мои...» — в таких, напомним, выражениях обращался он к своим стихам, рассказам и сценкам. Он, не имеющий своих детей и, по мнению близких и собственному признанию, не любивший детей вообще. «Лучше родить трёх сыновей сильных, чем сорок, да слабых...» Произведения, рожденные таким сильным чувством, не могли не быть прекрасными.*

*Да, мы знали о тяготах его жизни. Тяготах жизни художника в обществе, в которое никогда не вписывается человек его склада и его таланта. Страшно читать его записи 1937 и 1938 годов, когда он молит Бога о смерти.*

*И чтобы стало очевидно, какое значение для нас, потомков, может иметь этот дневник, этот правдивейший документ, скажем, что многие записи в нем явились откровением даже для тех, кто хорошо знал Даниила Хармса и жил с ним рядом.*

**Публикация, вступительное слово и послесловие  
ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.**



В то время, когда эти страницы записных книжек, писем и дневников Даниила Хармса находились в печати, в Париже в сборнике «Минувшее», вып. 11 (1991) появилась обширная публикация «Дневниковые записи Даниила Хармса», составленная А. Устиновым и А. Кобринским (в комментариях — некоторые письма Хармса), — к сожалению, с текстологическими ошибками, вызванными, по-видимому, невозможностью сверить корректуру с автографами, и с фактологическими неточностями в комментариях.

В. Г.

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЯЧЕСЛАВ КУРИЦЫН

\*

## ПОСТМОДЕРНИЗМ: НОВАЯ ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА

**С**лово «новое» лакомит всякий творческий рот, лелеет всякое творческое ухо: каждому лестно думать, что он приносит в шкатулку мировой культуры хотя бы чуть-чуть уникальную жемчужинку. В известном смысле любой шаг, каждый жест — новый, доселе невиданный-неслышанный, раньше таких не было, я первым достал кончиком носа первый поясничный позвонок, ты первым придумал рифму к «окуню». И даже если слово — полная калька со звучавшего раньше, все равно оно — «новое», ибо появляется в новом, неповторимо сегодняшнем контексте. Романтизм нов в сравнении с сентиментализмом, все так.

Но новизна нынешнего этапа принципиально отлична от той новизны, что возникает при смене стилей, поэтик, художественных систем. Рифму к бедолаге «окуню» первым придумал Бродский, но вряд ли кто угораздится утверждать, что его новаторство именно в этом. Сегодня меняется нечто куда более важное: космическая ситуация. Романтизм с сентиментализмом, античность с Эсхилом, рабовладение и конвергенция, соцреализм и роман воспитания, акмеизм и карнавальная культура, Винни-Пух с англо-бурской войной, предательство Иуды и подвиг леди Годивы — все это происшествия истории человечества и истории человеческой культуры, истории, которая появилась с того момента, когда густообволащенное существо впервые отделило мир от образа мира, впервые узнало, что мамонт может быть не только живым или мертвым, но и нарисованным. Манипуляций с изображением животного, пассы, заклинания и ламбада вокруг рисунка влияли на оригинал: пораженный в сердце на картинке, он был приговорен к неизбежной гибели на завтрашней охоте. От культуры («второй природы») зависела «первая» — непосредственно, напрямую. И это была правда, но об этом скоро забыли или почти забыли. Должно было утечь много веков, прежде чем в н о в ь стало можно спросить, не птицею ли намалеван город Эривань. Культура покрыла «действительность», культура — ну хотя бы в силу неумения никогда никуда исчезать — стала «действительнее» самой «действительности».

Та «старая», первобытная культура возникла с появлением формы материи, способной непосредственно отражать самое себя, — с появлением человека. «Новая» первобытная культура возникает в момент, когда культура начинает отражать самое себя, — нет, она, разумеется, сразу обладала такой способностью, но в качестве доминантной осознала ее лишь в новые времена; до сих пор она отражала реальность, казавшуюся внеположенной культуре, до сих пор было возможно деление на субъект и объект речи, теперь уже так не бывает, теперь культура принялась за себя всерьез. Мне нравится формула молодого критика Станислава Львовского, заметившего, что змея, поедающая себя с хвоста, способна дать себе труд довести это дело до конца. Именно это сейчас и происходит, культура зацикливается, культура сама на себя заворачивается, она оставила в покое уже отрефлексированный мир, и мир, оправданный — в эволюционном смысле — лишь тем, что был материалом, пушечным мясом и маслом, сырьем для материи духа, мир как бы вываливается из процесса развития, деактуализируется и перестает существовать. Он был оправдан только рефлексией, теперь рефлексия занялась тем, что стало со временем более интересным, собой и занялась. «Женщина интересная, если бы кто заинтересовался» (Т. Щербина). Никто не интересуется — женщины нет.

Нет, разумеется, какие-то мирские, прикладные функции у культуры остаются. Пока существует человек, «литература и искусство» будут обеспечивать какие-то его потребности: поддержку нравственной температуры в обществе (это, впрочем, проблематично, но принято считать, что поддержка есть), развлечения-увеселения, передачу этнографической информации и т. д. Все это задачи вполне не стыдные, именно ради них существует подавляющее большинство художников, и не дай нам бог оскорбить их усмешкой или небрежением. Но во внутрикультурном, эволюци-

онном смысле эти задачи давно и совершенно неинтересны — их как бы уже и нет. Впереди — новая, практически неосвоенная реальность, реальность духа. Мы перед ней — такие же «начинающие литераторы», какими «начинающими» были первобытные художники перед громадой реальности «старой». Мы вынуждены и себя ощущать такими же первобытными художниками.

Умберто Эко говорил, что постмодернизм — это когда, допустим, коллаж рассказывает не только о том, что на нем изображено и из чего он составлен, но и о самом себе. Другая известная формула — «мир как текст». Оба подхода, обе точки зрения приводят к одному результату: к невозможности разделения произведения и описываемой действительности, к рефлексии, замыкающейся на самой себе; выясняется, что обе точки зрения совмещены в одну, ибо нет уже разницы между субъектом и объектом. «Текст» описывает «мир», так же как и «текст» описывается «миром», «текст» и «мир» находятся внутри друг друга — этакая инвертированная матрешка, каждая из двух частей которой заключает в себе другую. Постмодернизм — культура, замкнутая на самой себе, а «окружающая реальность» — тоже часть культуры, живущая и оцениваемая по эстетическим законам. Как нет в постмодернизме фиксирования объекта и субъекта, так нет в нем и «результата»: постмодернистский текст — не готовая вещь, а процесс взаимодействия художника с текстом, текста с пространством культуры, с материей духа, текста с художником и с самим собой; если что и может быть итогом этого взаимодействия, так только изживание всякой материальности, превращение элементов процесса и самого процесса в единую духовную субстанцию.

Когда же возникает постмодерн как художественная практика? Как бы ни расходились во взглядах теоретики, большинство считает, что постмодернизм — штука сегодняшняя, появившаяся в каком-то вполне обозримом прошлом и являющая некий действительно новый этап. Я тоже так считаю, но, как вы понимаете, общее согласие утомляет, и потому я очень обрадовался, прочитав у Марка Липовецкого другую гипотезу: постмодернизм возникает в культуре перманентно, после всякого «модернизма», в нашем случае — после соцреализма (который и впрямь ни с чем не сравнимый взлет авангарда). Идея чудесная — не в смысле соотносимости с гипотетической истиной, а в том смысле, что из нее можно сделать очень изящную, яркую работу. Настоящий постмодернист так бы и поступил: построил бы на идее, в которую не верит, убедительную концепцию. Постмодернист — «игрок в бисер», решающий предложенные или придуманные задачи; чем сложнее задача, тем интереснее, чем меньше веришь в мысль, тем заманчивее ее доказать. Очень логично доказывать, что постмодернизм был всегда, если сам думаешь, что он появился недавно...

Видимо, все же в XX веке — как бы параллельно идеям русских космистов. Признанный классик российского постмодернизма — Владимир Набоков. «Российского» или «русскоязычного» — это если считать, что исконно русская литература всегда шла от проповеди, от Больших Идей, от кафедры и от Голгофы. Но, с другой стороны, признание того, что солнце и светила движутся по законам эстетики — чем не «Большая Идея»?

«Признание того, что...» — сказано, конечно, грубовато, не очень изящно. Грубое и неизящное тоже должно быть красиво. Набоков хвалит человеколюбивые стихи Ходасевича за то, что читатель испытывает не жалость к несчастным их персонажам, а восхищение совершенством строфы и звучанием строчки. Впрочем, эстетство еще не есть постмодерн. Но вот фраза Набокова из интервью, данного Альфреду Аппелю: «Мне было бы приятно, если бы мою книгу читатель закрывал с ощущением, что мир ее отступает куда-то вдаль и там замирает наподобие картины внутри картины, как в «Мастерской художника» Ван Бока». Картина внутри картины, описывающая себя, первую картину, тот мир, что — уже не различить — либо породил движение кисти, либо порождает ее движением; мир как текст; да, кстати и то, что Ван Бок — анаграмма... это как раз Набоков.

Принято считать, что мотор доброй половины его романов (так называемых русских) — любовь к России, тоска по утраченному раю (вариант — по детству, которое, разумеется, синоним России и рая; «Кинь ты Русь, живи в раю» — фраза невозможная, противоречивая). Это, в общем, очень похоже на правду: типичному герою Набокова «всякая чужая страна представлялась... исключительно как родина той или иной бабочки, — и томление, которое он при этом испытывал, можно только сравнить с тоской по родине» («Пильграм»). Но Россия — Набокова — категория скорее эстетическая, чем какая-либо иная. Один из его персонажей считает, что после большевистской революции Россия превратилась в законченное произведение искусства, в некую замкнутую художественную сущность, которая никак не соотносена с последующими происшествиями в бывшей своей географии и которой можно любоваться как прекрасной древней амфорой.

Эта законченность уже лишена динамики, в нее уже нельзя «войти», к ней можно только прикасаться, на нее можно только смотреть. Так, собственно, обстоит

дело и с детством: вряд ли возможна великая книга, построенная на детских ценностях и приоритетах, но вполне возможна книга, настоящая на эстетике детских ценностей (и называется книга «Другие берега»). Ее «детские» страницы не о детстве, они об отражении мира детства в сознании ребенка, которому суждено стать великолепным прозаиком, и в сознании писателя, которому посчастливилось быть великолепным ребенком, о том, как получается мир из игрушек, запаха трав, сада, какао, неба, и о том, как он из всего этого получается. Или теннис — это прежде всего гармония, соразмерность, звук соприкосновения мяча и ракетки, белые гольфы, белые туфли. «И дар богов — великолепный теннис» (Мандельштам). Не только же от мышечной радости он дар богов.

Так вот, о России. Возьмите для примера самый первый роман Сирина. Русский эмигрант Ганин неожиданно узнает, что к его соседу по какому-то берлинскому пансионату (сосед — персонаж, разумеется, не из самых приятных) должна приехать невеста и что невеста эта — давняя русская любовь Ганина, юношеский идеал, воплощенная память о красоте навсегда потерянной родины. Ганин, конечно, устраивает так, чтобы жених не встретился с Машенькой (нельзя допустить оскорбление идеала лихим человеком другой эстетики), Ганин и сам отказывается от встречи: старая эстетика в принципе кончилась, заново войти в нее невозможно. Потому, что сюжет обязан закончиться на не-встрече, потому, что после встречи сюжету делать нечего, он — в пределах предложенного романа — себя исчерпал. Ганин подчиняется воле сюжета<sup>1</sup>.

Кстати, в уже упоминавшемся интервью Набокова есть замечательная проговорка: говоря о Кинботе, герое «Бледного огня», Набоков замечает в скобках, что, «завершив подготовку поэмы к изданию, он, несомненно», покончил с собой. Чудесное «несомненно»: в тексте самоубийства нет, но оно есть в логике сюжета, и, стало быть, у тренированного читателя не может быть и тени сомнений по поводу дальнейшего развития событий. Герои Набокова всегда очень послушны, они не способны «удрать шутку», они всецело подчинены заданным хозяином правилам игры (о чем неоднократно говорил и сам хозяин).

Подчинение жизни персонажей (и жизни вообще) правилам эстетической игры, достаточно явное уже в «Машеньке», движет и все последующие тексты Набокова. Бессмысленный поход Мартына («Подвиг») в Россию — типичная постмодернистская акция, значение которой сводится лишь к переживанию осуществления акции. Чернышевский так жалок в эссе Годунова-Чердынцева («Дар») не ущербностью своих общественных взглядов (они, собственно, и не важны), а эстетической беспомощностью. «Сухие грозы» обязаны были закончиться свадьбой, ибо изначально строились как мелодрама со счастливым концом, а их герой Артемьев просто вынужден по ходу сюжета терять (сбрасывать) те качества характера, что могли бы помешать предумышленному хеппи-энду. И даже когда персонаж предпринимает отчаянные попытки «обмануть» автора, читателя и полицию, выстроить жизнь по своему хотению, его все равно ждет поражение. Вторая реальность принципиально перекрывает первую, воля и законы культуры выше воли и законов «действительности», материя духа приобретает сугубую материальность, не текст существует по законам мира, а мир по законам текста; эта инверсия и есть, очевидно, начало постмодернизма<sup>2</sup>.

Русская литература в «советский период» развивалась, как известно, очень дискретно, скачкообразно, с искусственными препятствиями на одних участках и не менее искусственной катализацией на других. Эволюция российского постмодернизма после Набокова — тема, насколько я понимаю, совершенно не изученная, будущих исследователей ждут удивительно интересные параллели и соответствия, определение места в постмодернистском контексте Гайто Газданова, М. Агеева, обэриутов, Мандельштама, Вен. Ерофеева, Бродского...

Мы лишь отметим, что сегодня постмодернистское сознание, продолжая свою успешную и усмешистую экспансию, остается, пожалуй, единственным эстетически живым фактом «литпроцесса». Постмодерн сегодня не просто мода, он — состояние атмосферы, он может нравиться или не нравиться, но именно и только он сейчас актуален.

<sup>1</sup> «...внезапное решение отказаться от встречи... и, значит, навсегда предпочесть «сверхреальность» вымысла и воспоминания, «псевдореальности» жизни — повторяет выбор, сделанный самим Набоковым», — пишет А. Додинин в интересной статье «Цветная спираль Набокова» (в кн.: Набоков В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе. Интервью. Рецензии. М. «Книга». 1989).

<sup>2</sup> Западная параллель Набокову — конечно, Борхес. Набоков и Борхес — вполне отдельная, очень важная тема, но в этой статье я стараюсь уделять больше внимания отечественному материалу.

Проявляется постмодернистское сознание, как и положено всякому сознанию, на самых разных уровнях. Вот, пожалуй, самый примитивный, самый «внешний»: обильная цитатность и центонность нынешних текстов. Собственно, и Набоков уже насквозь цитатен: он постоянно обыгрывает мифы, известные сюжеты, затвердевшие эстетические конструкции — реалии не жизни, но культуры.

Жизнь в сочинениях «новых» литераторов часто строится по законам художественного текста. Так, например, в повести Александра Верникова «Никто не забыт, ничто не забыто» сельский учитель («молодой специалист», неуютно чувствующий себя в новой системе координат) устраивает в школе что-то вроде уголка боевой славы, возведя в ранг героев давно отшумевших сражений своих бывлых товарищей по институту: наделяет их военными биографиями, придумывает трагическую судьбу; и эти придуманные герои оказываются реальнее настоящих героев Великой Отечественной (и, кстати сказать, «действительнее» в прикладном, пропагандистском плане). «Текст» на глазах замещает «мир», и реально от этой замены ничего не пропадает, скорее наоборот.

Другой внешний признак постмодернистского сознания — повышенная рефлексия. Это и собственно внутритекстовая рефлексия, когда автор в процессе осуществления своей вещи периодически как бы перебивает себя, объясняя значение того или иного образа, указывая на обстоятельства, сопутствующие процессу, и на условия и формы его протекания (так, рижский прозаик Андрей Левкин в одной из своих вещей, ссылаясь на вышесказанное — на такой-то абзац такой-то страницы, — оговаривает, что при получении текста в виде, отличном от машинописного, его следует перед прочтением перепечатать через два интервала, на бумаге определенного формата), даже, наконец, оценивая качество рифмы или пассажа. Таких штук много, например, у Виталия Кальпиди:

Я следую мифу: вино — это кровь. Мне кровь подменяет вино  
(дивитесь, миряне, зеркала исполненной только что фразы),  
и, стало быть, все во мне мигом удвоено, но  
я верю в такие... (здесь пауза, дальше их больше появится — будьте готовы) — ...

В начале 90-х в советской печати стали много говорить о наступлении времени комментаторства, о выдвигении на передний план второстепенных литературных жанров (дневников, комментариев, писем и т. д.) или текстов, сделанных под такие жанры, связывая это обычно (В. Славецкий, В. Курбатов) с качеством эпохи, лишенной перспективы, динамики, позитивных идей. Что-то верное в таком суждении есть, но главное все же не социумные заморочки, а постмодернистский этап культуры, закончивший движение «вширь» и «вперед» и обратившийся на самое себя.

Комментаторство, автодокументирование — для рефлексирующей культуры вещи вполне естественные. Хорошо известна, например, акция К. Ольденбурга, создавшего в Центральном парке Нью-Йорка «подземную скульптуру размером 6×3×6 футов, состоящую из выкопанного и вновь уложенного в полученную яму материала», — собственно, единственным «материальным» итогом акции осталась документация ее проведения. Таких примеров можно привести сотни — и глубоко импортных и отечественных (например, группа «Коллективное действие»).

Самое, может быть, значительное русское постмодернистское сочинение последних времен — «Пушкинский дом» Битова — насквозь пропитано комментаторством, можно, в общем, сказать, что оно и представляет из себя один большой, структурно сложный комментарий. «Пушкинский дом» — это как бы три физически самостоятельных текста: первый — книга «Статьи из романа», вышедшая в Союзе раньше самого романа и состоящая частью из вещей, вынутых из «основного» текста, а частью из не имеющих к нему внешнего отношения; второй — собственно роман «Пушкинский дом»; третий — написанные позже комментарии к тексту романа, называющиеся «Близкое ретро». Сам роман (вот чисто постмодернистский подход) — это своего рода музей русской литературы, изошренные рефлексии по поводу ее сюжетов, персонажей и ситуаций, калейдоскоп пересечений и параллелей между текущей советской реальностью и пространством словесности золотого девятнадцатого столетия, статьи как таковые и рефлексии к этим статьям. «Близкое ретро» — это и комментарий к тексту романа, и комментарий к той действительности, что описана в нем, и, соответственно, к менталитету русской литературы, на которой настояны как эта действительность, так и текст романа. Это действительно постмодерн, но что интересно: такой диагноз вовсе не мешает срабатывать социологической версии «эпохи комментаторства» (социология дополняет культурологию) — советская ситуация как бы подыгрывает эстетической погоде, лишенное исторической перспективы советское время (история, не желающая развиваться, а желающая комментировать) способствует распространению постмодернистского сознания.

Подобный эффект находим сегодня и в так называемом соц-арте. Он появляется в конце 60-х — начале 70-х, когда официальный стиль — социалистический реализм — скомпрометировал себя окончательно и на всех фронтах. Типологически это

явление можно определить двояко. Чаще соц-арт рассматривается как вариант нонконформистского искусства, способ разрушения, развенчivanja тоталитарной эстетики. Это совершенно справедливо — субъективно соцартисты именно прогивостояли, защищались и атаквали, выражали не только художественный, но и идеологический протест. Они удивительно удачно сочетали «фигу в кармане» (термин соц-арт придумали художники Комар и Мелаид, рисуя какую-то идеологически правильную агитацию в пионерском лагере) и работу по низвержению коммунистических идейных ценностей. Но можно рассматривать соц-арт и как высшую стадию соцреализма, фазу его гниения. Из физики известно, что замкнутая система, не потребляющая энергию извне, обречена на энтропию, на хаос, на вырождение; так соцреализм со временем превращается в соц-арт — в пародию на самого себя.

Соц-арт работает с фактурой, приемами и смыслами советского искусства, не деформируя их, а, напротив, воспроизводя с предельно серьезным уважением к требованиям метода, обнажая тем самым онтологическую никчемность самих этих требований. Когда Брежнева рисуют Налбандян или Глазунов, у них при всем старании не получится изобразить своего персонажа великим и гениальным, ибо даже самые косматые мамонты соцреализма в свою задачу до самого конца верить не могут, всегда остается доля халтуры, а халтура искренней не бывает, по определению. Для соцартиста искренность — художественный прием; соцартист как бы исполняет роль туповатого придворного живописца или моделирует литератора, который и впрямь способен верить в то, о чем говорит. Соц-артистский Брежнев действительно велик и гениален, это-то и смешно, это и выдает лживость и неестественность всей ситуации.

Истинный классик соц-арта — Дмитрий Александрович Пригов.

Нет прекраснее примера  
Где прекрасней он, пример  
Чем один Милицанер  
Да на другого Милицанера  
Пристрастно взирающий  
В смысле, все должно быть, брат, честно и  
в строгом соответствии с социалистической законностью!

Или так:

Они живут, не думая  
Реакционны что  
Ну что ж, понять их можно  
А вот простить — никак:  
Ведь реакционеры  
А с легкостью живут.

С точки зрения коммунистической идеологии, все в этих стихах правильно: автор как бы иллюстрирует последние пропагандистские тезисы. Нет и эстетических претензий: понятно всем, вплоть до самого «простого» народа. Но нормальный читатель понимает тем не менее, что подобные тексты — издевательство и над эстетикой и над идеологией.

Два признака этого искусства: соц-арт доводит до логического предела стиль советского искусства, соц-арт погружает соцреалистические тексты в другой контекст с целью профанировать первоисточник. То есть соц-арт, как и постмодерн, работает с уже отрефлексированным, со вторичным материалом. Разница очевидна: в одном случае работа со всеобъемлющей материей духа, в другом — с локальным, случайным ее проявлением; в одном случае — бескорыстное служение культуре и эволюции, в другом — вполне конкретная «земная» функциональность.

Но я хочу сказать о другом: взаимное влияние соц-арта и постмодерна все же достаточно велико. Они как бы катализируют друг друга: постмодернистский воздух подсказывает метод борьбы с наследием соцреализма (рефлексия на его теле), соц-артистский тренаж учит жить в пространстве культуры. Это типично советский эффект, вряд ли он мог быть реализован — хотя бы в приблизительно похожих формах — на других просторах...

Вернемся, впрочем, к основной нашей теме — к «первобытности» постмодернизма. Можно вычленить по крайней мере три группы признаков, типологически рифмующих нынешнюю культуру с древней первобытной культурой.

В постмодерне явственна тенденция к синкретизму, к переплетению, слиянию разных искусств, к единству видов и жанров, к синкретизму не только внешнему, что вторично, но, главное, к синкретизму мышления. Материя духа — нерасчлененная, недифференцированная. Изобразительное искусство переплетается с музыкой, театр с литературой, «традиционно» художественные тексты — с неотрефлексирован-

ным материалом газетных статей, «научных» графиков и таблиц (вернее, рефлексией здесь является сам факт обращения к тому или иному тексту).

Легендарная «Поп-механика» Сергея Курехина — объединение в единое действо буквально всех без исключения искусств, в действо, стремящееся в перспективе втиснуть в свою орбиту всю подвластную взгляду реальность, и эстетизированную и не эстетизированную.

Далее — в постмодерне, как и в «старой», первобытной культуре, размывается категория авторства. Борис Гройс вполне справедливо подмечает «кризис ориентации на оригинальность». Работа в пространстве культуры не предполагает олимпийских амбиций — художник, по Раушенбергу, «часть непроницаемого, неуправляемого пространства, не имеющего ни начала, ни конца, не зависящего от его решений или действий», то есть художник — скромный элемент всеобъемлющей материи духа. Пишутся палимпсесты — тексты, написанные «поверх» существовавших ранее текстов. Упомянутый ранее коллаж — одна из основных структур постмодерна.

Чудная постмодернистская игра мэйл-арт в последние годы распространяется и в России (С. Сигей, Р. Никонова, Евг. Арбенев и многие другие). Мэйл-арт — это искусство почтовой корреспонденции, искусство знаков почтовой оплаты, искусство в конверте. Работа, выполненная одним художником, запускается в долгое путешествие по планете и дорисовывается, доделывается, дополняется всеми участниками игры, автором одной вещи может быть несколько десятков человек. И как бы наоборот — мэйл-артист делает свою вещь из обрывков — кусочков работ десятков других участников игры, вряд ли его можно назвать автором в привычном смысле слова.

Постмодернист вообще не очень склонен быть оригинальным автором: он живет в музее. У Андрея Левкина есть вещь под названием «Достоевский как русская народная сказка» — на протяжении долгих страниц текст как бы существует в пространстве текстов Достоевского, гуляет по его страницам, пересказывает одну и ту же достоевскую ситуацию фразами и образами других достоевских же ситуаций... При этом вовсе не возникает новой семантики, вовсе нет никакого обогащения и углубления смыслов, контекстуального выворачивания значений. Мы имеем дело не столько с конкретным текстом, сколько с ритуалом бытования конкретного текста как экспоната в энергетическом поле музея русской словесности.

Постмодернизм принципиально, тенденциозно вторичен, но вторичность эта — не отсутствие потенциалов, а скорее смирение перед лицом Духа.. И жизнь между тем подкидывает удивительные совпадения. Замечательный художник Юрий Селиверстов (очень любимый, кстати, русскими «возрожденцами») предложил свой вариант восстановления храма Христа Спасителя. Очень концептуальная идея: соорудить каркас, возвести конструкцию, воспроизводящую контуры бывшего Храма.

Проект, мне кажется, отличный и... совершенно постмодернистский. Более того, он прямая цитата из классика архитектуры постмодернизма Роберта Вентури, точно таким образом восстановившего в Филадельфии дом Франклина. Христианин цитирует постмодерниста, что, собственно, и требовалось доказать...

...И наконец еще одна «первобытная» характеристика постмодернизма — ритуальность. Никогда ранее в культуре не было такого расцвета, или, если угодно, разгула, действ. ритуальность которых является едва ли не единственным их смыслом. Акции, хеппинги, перформенсы могут, конечно, иметь неритуальное значение, но в центре — сам факт переживания действия, рефлексия по поводу участия в акции. Авангардист напяливает желтую кофту или всовывает в задницу папиросу — он работает на публику, его задачи направлены вовне. Постмодернист — внутри текста: он и элемент постмодернистской акции, и участник, переживающий саму акцию и свое участие в ней как ритуал, приобщающий к единому, «нерасчлененному» миру.

Самой авторитетной советской постмодернистской группой являются московские «Коллективные действия». Но позволю себе предложить здесь в качестве примера сделанное мною описание одной из акций менее известной группы «Гижоверт».

«Их было вполне достаточно — четверо... В городе наметили двенадцать точек, одна другой хлеще. Двое вышли на полчаса раньше, чем двое, а двое на полчаса позже. Порядок прохождения точек был определен строго. Двое приходили в точку и действовали: один ложился на асфальт, а другой обводил контур одного мелом. В контуре писали точное время — 10.07 и так далее. Составлялся протокол — где, во сколько, кого, подписи. Влачили на следующую точку, какая по порядку. Пользоваться такси запрещалось. Другие двое приходили, писали в контуре (мелом) «видено», ставили время, составляли протокол...» — изобретательный интерпретатор может предложить, конечно, сколько угодно причудливые прочтения этого мероприятия, но главным значением все равно останется ритуальность.

Ритуальность, разумеется, никуда и никогда из культуры не уходила. Она могла приглушаться, но всегда оставался осадок, хотя бы ощущение осадка — за содержанием и за знаковыми играми всегда было что-то еще: собственно кайф от процесса осуществления произведения и от присутствия при этом процессе.

В постмодерне очень популярен жанр перечня — его открытый бесконечности ритм помогает стряхнуть наваждение «формы» и «содержания» и раствориться в ритуальном действии. Даже «перечни» прежних веков (скажем, прелюдный «список кораблей» в «Илиаде») воспринимаются из сегодня во многом как ритуал: нормальному читателю-неспециалисту вряд ли очень уж важно, из каких земель сколько кораблей с каким количеством воинов какой именно герой привел, наслаждение вызывает сама ситуация потенциально бесконечного проплывания по книжным страницам названий малознакомых местностей, имен, сама ситуация списка, возможность интегрировать себя в его ритм. Постоянное повторение ситуации от стиха к стиху, ничтожное информационное отличие последующей строфы от предыдущей вообще характерны для народных текстов (взять, например, «Песнь о Роланде» или другие европейские памятники). Древний шаман или, скажем, современный Борис Гребенщиков повторяют ограниченный набор достаточно бессодержательных фраз, песня заговаривает нас незначительными вариациями простого образа — все это ритуал: в первую очередь переживание ритуала и только потом переживание чувства и «содержания».

В нынешней ситуации это свойство культуры резко обостряется, ритуальность начинает вытеснять все остальные смыслы. Вряд ли случайно Мандельштам, изрядно зараженный постмодернистской энергетикой, читал «список кораблей» (у него же кстати, упоминается перечень рыб из поэмы Ариосто). «Большая элегия Джону Донну» Бродского — типичный перечень. Перечни, списки, каталоги («бесконечные» жанры) встречаются у многих современных авторов — у поэта Дмитрия Пригова и художника Ильи Кабакова... «Поп-механика» Курехина — перечень аудиовизуальных искусств, проза Сорокина — перечень стилей русской литературы (Сорокин не ограничивается только соцреализмом). Даже Солженицын, которому очень неуютно в тесных реалистических рамках, приходит к идее словаря...

Художник Александр Шабуров создает всеобъемлющий перечень окружающих предметов, в который входит — реально или потенциально — все; физически объем перечня ограничен рамками жизни автора, ритмически — ничем. Предметы в таком перечне материальны до полного размывания материальности. Функции остаются за пределами перечня, нет контекстов, в которых они способны себя проявить. Нам предоставляется редкая возможность видеть вещи как они есть, то есть в некотором смысле уже и не вещи. Их реально вычленяемая функция: следовать друг за другом в перечне.

Перечню же его элементы безразличны. Перечню важно себя длить, важно поддерживать свой ритм, перечню должно распространяться. Перечень, как уже было сказано, бесконечен, и отдельный предмет стремится к отсутствию, так как любой числитель при бесконечности в знаменателе ничего, в общем, не значит. В итоге исчезает даже и ритм, поскольку нет единицы, масштаба, шкалы, относительно которых он мог бы себя проявить. В перспективе перечень становится чистой энергией, «голой», неовещественной материей духа.

И последний, не самый уютный, вопрос — о качестве, об уровне нашего постмодернизма (понятно, не Набоков имеется в виду, а нынешние действующие лица). Возможен в принципе такой вариант ответа: в постмодерне категория качества как бы начинает размываться, ибо он, во-первых, избегает всякой иерархичности, а во-вторых, культура, заворачивающаяся на самое себя, мало озабочена, как она выглядит со стороны; ее качество — умение соответствовать самой себе. Десятки людей, подобно герою уотсоновского «Союза рыжих», выписывают подряд названия, допустим, словарных статей или библиографических карточек, вовсе не претендуя на оригинальность, а лишь переживая свое соответствие культурной ситуации. В постмодерне категория, допустим, «хорошего» часто сменяется категорией «правильного»: выписывать на бумажку названия всех фильмов или книг, начинающиеся с буквы «у», — это правильное занятие, ходить по городу с табуреткой — правильное занятие. Важно быть адекватным — культуре, контексту, энергии, самому себе...

Но можно посмотреть и с другой стороны. Быть адекватным тоже надо уметь; качество — это технология. Адекватно замотивировать себя в пространствах культуры можно только при хорошей (опять же — правильной) технологии, которая, разумеется, не есть сумма навыков, в каждом конкретном случае, кроме опыта и элементарных умений, нужно и вдохновение, как и в «нормальном» искусстве.

И тогда придется признать, что общий уровень нашего постмодернизма не очень высок. Битов и Пригов, Левкин и Верников, Вик. Ерофеев и Берг, Парщиков и Драгомощенко, как и многие другие, упомянутые и не упомянутые в этой работе —



художники серьезные, но, в общем-то, их не так уж и много. В принципе постмодерн — занятие высокообразованных людей, «игроков в бисер», способных легко ориентироваться в серьезных проблемах и свободно говорить на языках разных культур. Большинство из нас — дилетанты, кустари-одиночки (автор и себя с грустью обозначает этими невеселыми дефинициями), что вполне понятно.

Но это ни в коем случае не отменяет главного: постмодернизм сегодня — самая живая, самая эстетически актуальная часть современной культуры, и среди лучших его образцов есть и просто отличная литература.

---

СЕРГЕЙ НОСОВ

\*

## ЛИТЕРАТУРА И ИГРА

**В** одном стихотворении В. Кривулина — известного ныне поэта из бывшего литературного «подполья», — духовность «с любовью к высоким словам» названа пустым, безмянным, зябким воздухом, — что подобен молчанию. «где ни человека, на звука», родствен «лунной муке» на «площади, белой дотла». В недавней книге стихов Кривулина «Обращение» (Л. 1990) ощутим призрак пустоты, мира, где все постепенно «исходит как пар изо рта» — и растворяется в небытии, в несуществовании, с «вкусом» которого пэет как бы свыкся. Поэзия Кривулина — словно прозрачный стеклянный сосуд изящной формы, выглядящий пустым, хотя и наполнен он, по слову поэта, невидимой «чистой водой» бытия. Иногда кажется Кривулин увлеченным реалиями и воспоминаниями культуры, кажется культурологичным, но ощущение, что «храм культуры», который он ценит и как бы лелеет, построен среди пустоты, неизбежно. Зыбкость, размытость контуров жизни, выводимых поэтом, ее ненаполненность создают впечатление «бегства в культуру» — и вовсе не за нематериальной, подобной прозрачному воздуху духовностью, а как раз за «материей существования». Реалии культуры и цивилизации уподобляются пестрому занавесу, скрывающему пустынную космоса. ширмой, которою заслоняется человек, зная, что стоит выйти из храма культуры, растворить дверь из комфортного дома цивилизации, как попадешь в объятия пустоты.

Этот призрак пустоты — знак большого исторического времени, растягивающегося на всю вторую половину XX века и как бы заставляющего литературу (как и искусство вообще) придумывать радости, утешения и развлечения, будто спасаясь от безжалостного, упорного преследователя. Конечно, литература всегда была связана с вымыслом, в известном смысле — с изобретением несуществующего, вовсе не копировала реальность с безропотным послушанием, но глубинное отличие нынешней литературы (в значительной ее части) от литературы классической в том, что она сознательно созидает то, чего не находит в действительности, придумывает содержание жизни, кажущееся ей отсутствующим, заполняет пустоты существования.

Творчество Льва Толстого, Достоевского, искания русской классической литературы в целом были порывом к истинной жизни сквозь «мишуру» цивилизации, сквозь «суету» поддельного существования, в которое представлялось погруженным человечество. Притворство, выдуманнные ценности, мир блестящих «фасадов» и пустой игры в жизнь — давние враги русской литературы, отвращение к которым ныне заметно выветривается. Игровое начало и «притворную» реальность, рожденную богатством одной лишь фантазии, начинают ценить и любить — за «глоток свободы» от серых будней, за даруемый ими отдых от действительности. В п р и д у м а н н о м уже не видят беды, игровой камуфляж реальности уже не воспринимается как нечто сомнительное, в литературе растет склонность к развлекательности, укрепляется привычка «шутить» жизнью — играть в прекрасное и ужасное, развлекать и увлекать «игрушечным» миром, созидаемым прихотливо и целенаправленно.

Защита от критики книгу А. Синявского «Прогулки с Пушкиным», книгу, для которой характерен «веселый рассвет» игрового начала, воинствующая антисерьезность, и отстаивая в каком-то смысле права литературного сегодня, с азартом распространяющего вирус игрового мировосприятия, И. Волгин пишет: «Монументальность искусства не отменяет игры — экспромта, эксперимента, художественного озорства...». Это очевидное в своей элементарной правоте утверждение, разумеется, приводящее на ум философический интерес к карнавальному началу в литературе и культуре у М. Бахтина. Литературная игра в содружестве с художественным озорств-

вом, с иронией и смехом — давнее оружие свободолюбия, разрушения всех и всяческих идолопоклонств и даже (как отмечал Бахтин) оружие критического анализа. Но игровое отличается от неигрового — игра в любовь от любви, игра в счастье от счастья и т. д. — преобладанием несерьезного над серьезным. Это необязательно господство смеха. Игра в литературе — это прежде всего творчество иллюзий, установка на художественный обман. Цели такой игры (сознательные и бессознательные) могут быть экзистенциально серьезны и значительны — освободить человека из-под гнета действительности, например, — но означает она приоритет искусственного над естественным, театрально-условного над «всамделишным» и в конечном счете вымышленного над истинным.

В одной из ранних своих вещей, в стилизованных под дневник «Записках из-за угла», А. Битов разочарованно заметил: «Человечество живет так: обманывая себя». Обманом и самообманом, бесконечным производством иллюзий, сопричастных обманности самой жизни, изображено у Битова и художественное творчество. И пусть это больше ламентации, чем выражение действительного миропонимания, больше гипербола разочарования, чем свидетельство его глубины, но и здесь тоже знак времени. Игра и обман сопредельны друг другу, и если вся жизнь — обман, то вся жизнь и игра.

Бегство от уныния — одно из стремлений нашей нынешней словесности, мало знакомое русской литературе прежних эпох. И естественно, что убегая от уныния, литература становится не только веселее и игривее, но и развлекательнее — качество, давно уже ценящее в искусстве на Западе. Вместе с игрой в литературе утверждается и своего рода европеизация.

В одном из игривейше написанных рассказов Виктора Ерофеева под откровенно и нарочито манерным названием «Белый кастрированный кот с глазами красавицы» (альманах «Петрополь», т. II, Л. 1990) сюжет составляет фантастически нелепая беседа некоего мучителя-полковника с приговоренным к расстрелу героем (рассказ написан от первого лица). Полковник, например, доверительно сообщает осужденному: «Тебя завтра утром пиф-паф». А осужденный вдруг начинает с ним откровенничать: «Я больше всего в жизни страдал от того, что жизнь не соответствовала моим идеалам. В школе у меня была учительница истории, Циля Самойловна Пальчик. Такая фамилия — Пальчик! — Я показал Диаманту (то есть полковнику. — С. Н.) указательный палец. Мы дружно расхохотались». Трагедия целенаправленно и, пожалуй, прямолинейно превращена в фарс. Игровой идиотизм диалогов полковника и осужденного, может быть, даже и подчеркивает мрачную жестокость происходящего — совершенно бессмысленная казнь воспринимается с тяжелым чувством, — но жестокий мир, в котором гибнет герой рассказа, все же выглядит приукрашенным — хотя бы смехом. И естественно подумать, что и близящаяся казнь — только метафора, что она «не на самом деле». За счет художественной игры вопиющие жестокость и несправедливость как бы сублимируются в рассказе в нечто заманчивое — это, пожалуй, никакое не кощунство (не стоит козырять благонамеренным дидактизмом, от которого все устали), но это старательная попытка выжать из темных реалий тоталитарной эпохи и изувеченного ею сознания нечто эстетически состоятельное, попытка, оплошная лишь тем, что намерение недостаточно тонко зашифровано, что простота исполнения не слишком далека от примитива.

Уже Набоков в «Приглашении на казнь» отнесся к тоталитаризму и его ужасам в известном смысле с юмором: когда палач и жертва, как у Набокова, «побратимы», это не только ужасно, но и комично, а смех — знак веселья, пусть больного, пусть inferнального, но отдаляющего от беспросветной тоски. Театрализация способна превращать ужасное в художественное, и есть верный прием приобщения к литературе самых «черных» реалий бытия. Однако «черное» при этом перестает казаться таким уж черным (равно как и «белое» таким уж белым) — ищущий игровых эффектов скользит по поверхности «моря бытия», предлагает изображение жизни в более или менее облегченном и увеселительном варианте. Изошренное сознание, находящее смешное и в печальном, может скатиться к детской простоте, простоте непонимания. Сказать, например:

Такая нежность на душе весной  
что хочется  
погладить насекомое —

значит позабавить своими чувствами себя же самого и ничего более. (Это стихотворение Г. Лукьянова из сборника современного верлибра «Время Икс». М. 1989.)

Когда классический российский романтик Ап. Григорьев воспевал в стихах «безумное счастье страдания», он утверждал не только алогизм души человеческой, но и открытость ее миру, в котором жить значит страдать, принятие этого мира вплоть до упоения его скорбью и болью. Григорьевское безоглядное чистосердечие как-то

не прививается в современной литературе, если и прорывается оно, то словно бы детским лепетом, как в строках поэта-эмигранта новой волны Ю. Колкера:

Развешу дочкины колготки,  
Отмою кляксу на плите —  
И в коммунальном околотке  
О вольном возглашу груде

Если чистосердечие обязывает лишь к рассказу о ежедневном развешивании «дочкиных колготок», то оно, естественно, излишне. По существу, откровенность, исповедальность в литературе уместна, лишь когда возвышает, обнаруживает возвышенное. Тогда можно не притворяться, обходиться без литературных игр. «Душа нараспашку» — своего рода роскошь, которую не может себе позволить «умная» современная литература, предпочитая — нередко вынужденно — изощренный игровой камуфляж действительности. Игра — заменитель «пустующей» реальности, литературное производство которого отлажено и, пожалуй, «механизировано» в эпоху цивилизации.

Один из заметных представителей нынешней эмиграции, философ и публицист Б. Парамонов, пишет в статье об историософии Т. Манна: «Игровую природу художника — и художественной культуры — не следует трактовать в упрошенном психологическом смысле как свидетельство личной несерьезности, легкомыслия и неосновательности художественной натуры. Тут дело гораздо серьезнее — в толстовском смысле: художник не берет идеи и верования всерьез, потому что он не верит в линии, проводимые по воде. Любое частное мнение дискредитируется, сходит на нет, исчезает перед бесконечной целостностью бытия». Серьезность идей и верований изображается как производное узости мировосприятия, а игра и ирония — как итог всеобъемлющего взгляда на мир. Парамонов с симпатией вспоминает слова Т. Манна о том, что ирония — это взгляд, которым Бог смотрит на букашку. Смысл позиции Парамонова — сублимация игры в «верховную» реальность, иронии — в сверхсерьезность. Но ребенок, играющий в то, что он пират, или самодовольный стихотворец, играющий в то, что он пророк, или даже утонченный эстет, со вкусом разыгрывающий в жизни (одного «чистого искусства» ради) эффектные драмы, только подражает действительному — настоящим пиратам, пророкам, драмам. В основе игры — имитация реальности. Нельзя играть в творца и быть им, нельзя, в конце концов, играть идеями и иметь их.

Под сенью художественной игры прекрасно живет в современной, по преимуществу «молодой», литературе безбрежный скепсис, носителю которого решительно ни до чего нет дела. С несколько самодовольных высот именно такого художественного миропонимания молодой писатель Р. Гумеров, автор опубликованной журналом «Юность» (1990, № 12) абсурдистской повести «До ресторанов Парижа — лягушки поют о любви на своем языке», иронически изображает увлеченного богатствами мира (предполагается — мнимыми) человека, которому есть дело «и до Фрейда, поселившегося в парикмахерских, и до Шурочки, навеки оставшейся во ржи, и до Велимира Хлебникова с корзинкой на голове, полной творений, и до Наполеона, с деревянным ружьем завоевывающего мир, и до Натали Саррот, говорящей, что есть в этом мире Натали Саррот из-под Иванова: и даже до Беккета, который 20 лет служил секретарем у Джойса и так ловко спародировал его, что стал вторым Шекспиром, а Джойс так и остался Джойсом, а не Гомером». Мир и его персонажи представлены в этих строках как бы уцененными, не стоящими внимания и тем более поклонения, как не стоит поклонения (выразительный, признаться, образ!) Наполеон с деревянным ружьем, покоряющий мир.

Растекается по литературе и красивое поэтическое безразличие, преднамеренное неразличение «что есть что» — где день, а где ночь, где смех, а где плач... Художественное сознание живет при этом как бы с закрытыми глазами, пробуя на вкус слепоту и незнание (так, имитируя полное «ничегоневидение», дети с восторгом играют в жмурки). В книге ленинградского поэта А. Драгомощенко «Небо соответствий» (Л. 1990) в стихотворении с типически сложным и туманным названием «Наблюдение падающего листа, взятое в качестве последнего обоснования пейзажа» мы находим такой характерный «обрывок» этого пейзажа: «...снег, в мужском плаще, ветер, до земли,/ собака,/ не то груда раскисшей земли, глины...» «Соответствия» (название книги Драгомощенко служит довольно точным самоопределением) отыскиваются повсюду: плетя и плетя ассоциативные лабиринты, истребляя ясность как врага, дробит поэт «тело жизни». Серый комок, застывший на дальнем плане импрессионистски размытого пейзажа, — собака ли он, груда ли земли, безразлично; выскальзывает из рук, рассыпается так называемая реальность, готовая превратиться в малоинтересную серую пыль. Поэт наслаждается беспрепятственным расслоением любых реалий мира, на которые падает его взгляд, — «расслоением куста, собаки, земли лопатой...» Поэзия Драгомощенко, собственно, и живет тем, что крошит все,

к чему ни прикасается, лишает определенности и понятности. Еще раз подчеркнем, что это именно эстетическая игра в непонимание, в удивление «путаным» бытием, спотыкающаяся о свою собственную изошренность и ни к каким итогам, естественно, не приводящая (как самоценна всякая игра, цель которой вовсе не выигрыш, а она сама). Кто не играет в неведение, а с интеллектуальной бесхитростью переживает внешне заурядную жизнь, тот счастливо путает простое и сложное, малое и великое. Такой счастливой наивностью рождены, например, строки поэтессы З. Эзрохи из ее книги «Зимнее солнце» (Л. 1990):

Дождь идет стеклянною походкой,  
Я в дожде гуляю, как в лесу,  
И люблюсь маленькой селедкой,  
Той, что я под зонтиком несусь.

За игровой литературой, до краев полной иронии и «кривляющихся» смысловых метаморфоз, скрывается душевное многообразие, пронизательность, уставшая от себя самой. Это, несомненно, ощущается и теми читателями, которые, иногда безотчетно, ценят нынешнюю игровую литературу за ее «подводную» мудрость, за «аргументы» в пользу разочарования, так созвучного современности, наконец, за то, что она способна отвлечь и развлечь.

Литература невозможна без игры фантазии. Даже применительно к лирической поэзии (исповедальной «по призванию») закономерно выработано понятие лирического героя, в духовный облик которого, по сути, «выигрывается» поэт. Но это, конечно, не значит, что лирика, и литература вообще, непременно носит игровой характер. Литературная игра в собственном смысле слова начинается с абсолютизации «как бы» — с как бы правды, как бы любви, как бы ненависти, — достаточно занятых, но не пытающихся убедить в своей истинности. Можно сказать и так: чтобы играть, художнику требуется не вполне верить самому себе, все время помнить, что изображаемое им есть только воображаемое, «шутить» своими мыслями и чувствами. Потому-то разрастание игрового начала (мы не говорим о подобных кроссвордам детективах, остро сюжетных триллерах и т.д.) неизменно сопровождается нагнетанием иронии. В известном «Представлении» И. Бродского пародирование российской истории и российского настоящего вкупе со светочами русской культуры: «Входит Лев Толстой в пижаме, всюду — Ясная Поляна. (Бродят парубки с ножами, пахнет шипром с комсомолом)», несмотря на всю резкость, не выглядит тем «смертным приговором» отечественному XX веку, какой с болью и горечью, всерьез и бесповоротно произнесен в его знаменитом «Конце прекрасной эпохи»:

Этот край недвижим. Представляя объем валовой  
чугуна и свинца, обаделой тряжнешь головой,  
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.

«Представление» построено на иронической театрализации поэтом своих предпочтений, симпатий и антипатий, а «Конец прекрасной эпохи» — это действительно крик души без тени какой бы то ни было самоиронии.

Казалось бы, невозможно писателю, заявив или изобразив нечто, тут же взять свои слова обратно, стереть изображенное, не умаляя, а, наоборот, умножая этим смысловую значимость своего произведения. В классической литературе лишь диалогизм, сосуществование конфликтных и равнозначительных «голосов», взаимодействие противостоящих и как бы равновеликих героев позволяло автору утверждать и отрицать одновременно, спорить с самим собой, вовлекая в спор и читателя, — это мы видим у Достоевского, этим диалогизмом жива драматургия. Писателю, казалось бы, положено знать (хотя бы интуитивно), что именно хотел бы он передать, изобразить — пусть не однозначные «добро и зло», но, скажем, печаль или радость, красоту или уродство. Однако все та же игровая стихия помогает литературе отстраниться от смысловых претензий. В этом отношении игру можно уподобить молчанию о сущности бытия.

У Т. Толстой есть типический для ее творчества (хотя это творчество неоднородно и не вписывается в «окружность» единообразных оценок) рассказ «Милая Шура». Героиня — пожилая, некогда «шикарная» женщина, вроде проворонившая свое счастье. Были у нее благополучные мужья: «третий был не очень...», зато «первый был адвокат. Знаменитый. Очень хорошо жили», а со вторым мужем, известным врачом, — «знаменитые гости. Цветы. Всегда веселье». Но был у этой увядшей, одинокой, в бедности доживающей свой век женщины и роман, роман в солнечном, «пляжном» Крыму с неким небогатым Иваном Николаевичем, требовавшим, умолявшим, чтобы она бросила все, бросила мужа и навсегда уехала к нему. Иван Николаевич был жарко, романтически влюблен. И кажется тоскующей о былом

старушке, ностальгически перелистывающей альбом фотографий прежних славных дней, что «надо было решить тогда. Надо было. Да она уже решила». Но тогда героиня рассказа так ни на что и не решила, к небогату, страстному Ивану Николаевичу не поехала, осталась жить как жила. Бывшая «милая Шура» не была идеальной натурой — была расчетлива, любила дорогую жизнь. Теперь, на закате дней, ей верится, что она упустила истинное, высокое счастье, и если б суждено было этому гипотетическому счастью состояться, ни за что не состоялось бы нынешней убогой старости.

Автор, будучи «в курсе» реальных достоинств и слабостей своей героини, отнюдь не подразумевает, что слабости эти — тривиальность ценностей, привязанность к комфорту — помешали осуществиться некоему подлинному счастью, загубили пылкую любовь. Какая-то любовь, конечно, была, и роскошь Крыма служила ей выгодным фоном, но слишком походит эта любовная история на обычный курортный роман, имеющий свои естественные границы. И вспоминаются-то «милой Шуре» ее очаровательные полупрозрачные легкие платья, «бесстыдные» купальные костюмы, уже уложенные в саквояжи в приготовлении к отъезду, на который она не решилась, — в сущности, то же, что и во всей прежней, ушедшей жизни: блеск и вкус тех же чувственных наслаждений. Героиня Толстой вовсе не человек «нереализованных возможностей». Жалеет она, в сущности, только о том, что жизнь прошла, и, повернись время вспять, она повторила бы пройденный путь. Автор не осуждает «милую Шуру», однако и не жалеет. Нет в рассказе и традиционной печали о том, что все уносит «река времен», что ничто не вечно; есть лишь пародия на эту печаль в виде карикатурно сентиментального порыва — «передать» убитому горем, давнему Ивану Николаевичу: «...не уходите, она приедет, приедет, честное слово, она уже решила». Писательницей как бы проигрываются, причем одновременно, возможные настроения, «цвета» рассказа: грусть о том, что все бrenно, сожаление о человеке, чье счастье так и не состоялось, трезвая неприязнь к нему же, фатально не способному «воспарить душой», и, наконец, поэзия былого, ностальгия по дореволюционному прошлому, которому принадлежала блестящая молодость героини. Эти-то соседствующие настроения и мешают друг другу перерасти в глубокое переживание, и одновременно они как бы повязаны художественной взаимопомощью — удерживают повествование на уровне светской игры, чарующей легкости, культивируя которую противопозакано слишком вдумываться в «проклятые вопросы» бытия, слишком грустить, негодовать или даже слишком громко смеяться.

Так называемый «свет» не случайно не любила классическая русская литература. Вспомним салон Анны Павловны Шерер в «Войне и мире» — Пьер Безухов казался в нем угловатым, лишенным такта. Он был лишь естествен, был самим собой, утверждает Толстой, — жарко спорил, громко смеялся, не умел и не хотел притворяться. И классическая русская литература благородна в своих поисках подлинной, нейтральной жизни, в тяге к бесстрашной искренности и в конечном счете в любви к истине. Отчуждение от светскости с ее морем условностей закономерно, если цель как в жизни, так и в литературе — «верховная истина», нетленные ценности, непридуманные чувства. Но не всегда понимают, что так называемая деланность светских манер, искусственность светского поведения, требующего любезных улыбок, эlegantных шуток, поддельного внимания к собеседнику и множества внешних приличий, есть не просто отъявленное притворство, а в известном смысле утонченный компромисс с несовершенством жизни — вместо красоты отсутствующей или потесненной суровой реальностью создается красота искусственная, вместо истины, который «рядом нет», предложена эстетически очаровательная игра. И, обрамленная светской оправой, жизнь кажется лучше себя самой.

Игровая стихия искусства — это в некотором роде стихия светскости, нахлынувшая в эпоху цивилизации, призванная, как и сама цивилизация, облегчить человеческую жизнь, скрасить ее горести и боли комфортом, как душевным, так и материальным. Игровая, художественной игрой проникнутая литература в первую очередь развлекательна, однако она и произвольно «наставительна», настраивает миропонимание ее читателя и поклонника на свой лад — учит условному жизнеповедению, светскому отношению к дилеммам бытия, исключаяющему слишком жаркие страсти и слишком чистые чувства, которым не удержаться на «трезвой» плоскости неидеальной земной жизни. Разрастание игрового начала в нынешней отечественной литературе — знак духовного прития современной европейской цивилизации, ее мощи и ее немощи. Не стоит все-таки обольщаться чарами игры безоглядно — истины она на своих легких крыльях не приносит.

## РЕДАКЦИОННОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ: ИГРАЕМ В МЭЙЛ-АРТ

Что такое мэйл-арт, новомирцы (как, вероятно, и многие читатели нашего журнала) впервые узнали с достаточной определенностью из статьи Вячеслава Курицына. Один начинает произведение, посылает другому по почте (отсюда английский *mail* в названии), тот дорисовывает или дописывает, посылает третьему... Так — спонтанно и сверхавторски — оформляется некая эстетическая «вещь».

Статьи Курицына и Сергея Носова пришли в нашу редакцию (как это уже не раз бывало с проблемными публикациями) самотеком. А в том, что они «срифмовались», дали переключку — веяние и знак общего для авторов времени: одни и те же его загадки пытаются уяснить разные люди, приступая к ним с разных концов. Будучи прочитаны вместе, эти статьи не вызвали у нас желания подводить итоги непроизвольному спору, отдавать предпочтение одной из намеченных точек зрения, пытаться их объединить и вообще: становиться в позу арбитров. Слишком уж туманно будущее новейшего искусства. Зато в наших головах родилось немало вопросов — простодушно-недоуменных, шутивно-провокационных, добросовестно теоретических. И мы решили завершить публикацию небольшим вопросником, сочиненным по методике мэйл-арта: один стартует, другой, третий, четвертый подхватывают... Правда, мы не пользовались при этом услугами почты, а просто перекладывали свое скромное сочинение с одного письменного стола на другой; но принцип мэйл-арта — анонимность и преемственность участников — остался в силе.

Наши вопросы обращены не к авторам представленных статей (хотя и тем отнюдь не воспрещается откликнуться), а к читателям, склонным поразмышлять над путями художественной культуры. Наиболее интересные и квалифицированные ответы мы рады будем опубликовать, как это уже было однажды сделано в № 8 «Нового мира» за 1991 год.

Итак, предлагаем следующие вопросительные размышления:

### I

Мы оказались в ситуации сложной и неожиданной, когда господствующий стиль как бы исчерпал себя, а вместе с ним и все остальные стили, так или иначе на него реагирующие — по принципу отталкивания или сближения, преодоления или преемственности. В этой культурной ситуации художник знает и может использовать все стили и манеры, знает, как можно быть эпическим писателем — и становится им, как можно быть лирическим — и им тоже становится, если пожелает.

Спрашивается: ожидаема ли в таких обстоятельствах исключительно лишь «игра в бисер» внутри широкодоступной стилевой «материи искусства» или нечто остается и на долю «действительности», с которой прежде искусство соотносило себя, на долю внимания к ее «предметам»? Например, в рассказе Андрея Битова «Фотография Пушкина» полным ходом работает рефлексия над стилями, задействовано несколько стилей, каждый из которых дан не в прямой, бесхитростной, классической сориентированности на авторский замысел, а подан как бы иронически, что отдаленно напоминает воспетый автором стиль либерти начала века. Но, как ни странно, при таком отрицании серьезности стилей в рассказе наличествует с т и л ь в классическом понимании этого слова — простодушная, чистая, не тронутая рефлексией ориентация на создаваемый образ, соотносённость словесного жеста избранному предмету. Рассказ не только «играет» с нами, но и глубоко трогает. (То же можно сказать и о рассказе Т. Толстой «Милая Шура», хотя С. Носов ставит под вопрос серьезность в нем авторского чувства.) В чем тут дело: в таланте? в непоследовательности метода? или в самой неизменной природе искусства как синтеза «игры» и «больше-чем-игры»? А может быть, мы, старорежимные читатели, «вчитываем» в текст и привычные свои эмоции, в этом тексте напрочь отсутствующие?

### II

В. Курицын предполагает, что постмодернизм — новый этап развития культуры, когда она в избытке и многообразии своих богатств обращается на самое себя. А вдруг постмодернизм — только стиль, присущий определенной эпохе, исторически к ней прикрепленный, по-своему единый и этим единством ограниченный? Такое понимается из отдаления. В архитектуре начала века модерн, собравший элементы чуть ли не всех доселе известных архитектурных стилей, тоже мыслился или воспринимался как «конец» прежнего зодчества, как подводящий под ним черту «постмодернизм», а не как образ своего времени. Но вот мы отступили от него совсем немного, на два-три поколения архитекторов, две-три творческие волны, — и архитектурный модерн оказался именно стилем модерн, стилем начала века не более того...

## III

Постмодернизм, следуя логике Курицына, следовало бы считать «новой эрой» в том случае, если бы позади него лежала территория эпически наивного искусства, прямого, без околичностей взаимодействия культуры с жизнью. Но это ведь совсем не так. Достоевский, например, отталкивается от ококультурного сознания своих читателей никак не меньше, чем собственно от жизни. Рядом с ним Пушкин видится родителем, дающим имя своему ребенку, Творцом, определяющим все сущее в мире. Но перечитайте «Евгения Онегина». И вспомните, сколько Набокову или Лотману требуется места, чтобы прокомментировать хотя бы первые строфы, охватив растворенный в них культурный материал! Сколько там литературной игры! Почему же тогда «Пушкинский дом» — постмодернизм, а «Евгений Онегин» нет? И зачем для иллюстрации такой игры цитировать как новинку строки Виталия Кальпиди, когда на ум тут же просятся: «Читатель ждет уж рифмы „розы“»? Или, быть может, дело в количестве этой игры культуры с самой собою, количестве, переходящем, по известному правилу, в качество? Кто его измерил?

## IV

Разве не таинственны связи, которые устанавливаются между произведением искусства и действительностью? Художественное произведение существует для читателя в особой (назовем ее хотя бы и эстетической) сфере, не имеющей лобовых выходов в жизнь. В конечном счете «Война и мир» — это игра, в которую предлагает играть Толстой, играть в войну, охоту, бал, в Ростовых, Болконского, Наполеона. Так, может быть, не надо бояться слова «игра»? Может быть, не в пример С. Носову, следует отличать (и по-разному оценивать) игру в искусстве от игры в жизни? В жизни любить и играть в любовь — разные вещи. Но в искусстве любить всерьез можно, только играя, не так ли?

## V

Немного философии. Поворачивая искусство спиной к жизни, к миру, Курицын, видимо, представляет эту жизнь и этот мир как безбрежный и бесформенный океан неупорядоченной материи, к которой можно относиться только прагматически — воспитательно, устроительно и т.п. Искусство, освободившись от этих временных и скучных целей, тем самым расстанется и с «миром действительности», потеряет к нему интерес. Но кто сказал автору этой теории, что мир, на который до сих пор были обращены взоры искусства, не одухотворен, не «искусен», не образцов сам по себе, не «текстуален» до всякого человеческого к нему прикосновения? Как бы то ни было, такая гипотеза несколько не менее вероятна, чем мысль о хаотической и случайной вселенной, которую культура покинет, как мертвый кокон. Идущее от Аристотеля понятие «мимезис» означало не подражание действительности, как нередко вульгарно его толкуют, а подражание творческому началу жизни, творящему в ней Духу — «великому богу деталей», что «погружен в отделку кленового листа». Кленовый лист так хорош, что художнику трудно будет от него отвернуться, а верней — от вложенной в него художественной идеи. Или постмодернисту — нетрудно?

## VI

Вот еще вопрос: затратное ли искусство постмодернизм или интенсивное, наращивает ли оно объем культуры или откусывает от него по кусочку? Дело в том, что постмодернистский «коллаж» жив и игрив до тех лишь пор, пока в нашем сознании не померк исходный смысл его элементов; обыграть цитату можно лишь в том случае, когда не выветрилась память об ее источнике. Превосходно разбирая «Машеньку» Набокова, Курицын, критик новейшего поколения, кажется, вовсе пренебрегает полемической, иронической зависимостью этой вещи от «Аси» Тургенева. Перед нами знаменитый «русский человек на randevu», но на сей раз выведенный из-под моральных санкций, оправданный за верность эстетическому чувству жизни. О повести Тургенева заставляет помнить и женское имя в заглавии, и сама фамилия героя, которая в набоковском наоборотном духе повторяет фамилию тургеневской героини — Гагина — с изменением одной буквы. Сирин-Набоков, думается, не представлял себе, чтобы прославленное сочинение Тургенева не хранилось в активной памяти его читателя. Но спустя несколько читательских поколений память об «Асе» порядком померкла, и из набоковской игры выпал изрядный фрагмент. В «Машеньке» прибавилось «от жизни» (потому что жизнь там все-таки изначально была) и убавилось «от искусства». А когда постмодерновая вещь только «потребляет» прежние культурные смыслы, не сгинет ли она, после того как иссохнет могучий ствол, вокруг которого она обвилась?

## VII

Любопытно, что прежде новые эры в искусстве декларировались как отрицание предшествующих этапов: в каждом типичном литературном манифесте — от романтизма до футуризма — содержался сильный элемент иконоборчества. И в этом, сколько бы ни морщиться, был свой резон. У К. Чапека есть остроумный «апокриф», который так и называется «Иконоборчество»; там эта ересь, приведшая к уничтожению множества живописных ценностей, представлена в связи с борьбой художественных школ, одна из которых готова на все, лишь бы погибло «плохое», «неправильное» искусство другой. В такой борьбе порой действительно достигалось обновление. Постмодернизм, если верить Курицыну, напротив, чрезвычайно миролюбив и сознает себя эволюционным звеном в человеческой культуре, правда звеном особенным, смыкающим конец цепи с ее началом. Хотелось бы понять: это миролюбие и всеядность постмодернизма — на фоне наступательных авангардных течений, имевших место прежде, — происходят ли они от бессилия или от исключительного сознания силы; от неприятия революционаризма, от постреволюционной усталости — или от напряженного апокалиптического чувства, от уверенности, что твое слово — последнее?

## VIII

Наш теоретик постмодернизма наградил его очень привлекательной родословной: Набоков, Мандельштам, Битов. И в статье представлены убедительные основания для такого именно подхода к этим художникам. Но когда следом выстраиваются Драгомощенко, Пригов и группа «Коллективные действия», между предшественниками и последователями (при всей симпатии к изобретательности последних) начинает зиять очевидная пропасть; у Курицына у самого вырывается вздох по этому поводу. Может быть, не стоило прибегать к широкоизвестному «методу присоединения», чтобы не скомпрометировать своих подопечных? Или, следуя Андрею Плахову, стоит разделить всю постмодернистскую продукцию на «постмодернизм с человеческим лицом» (так кинокритик не без юмора определил «Ургу» Никиты Михалкова) и постмодернизм, у которого оное лицо не просматривается?

## IX

«Даже Солженицын, которому очень неуютно в тесных реалистических рамках, приходит к идее словаря...» Солженицын — постмодернист? Возможно ли не видеть разницы между приемом «каталогизаторства» у Бродского, а также у Пригова, Курехина, Сорокина и других — и работой Солженицына? Словарь Солженицына — н а с т о я щ и й. Он является художественным произведением не более чем Словарь Даля. Зачем тогда упоминается это имя?

Во всяком случае, это небрежение реальностью хорошо сопрягается с типично постмодернистской, демонстративной безответственностью. И не является ли, к слову сказать, сам постмодернизм особым типом (безответственного) отношения художника к своему слову (что неявно признает В. Курицын)?

## X

Вопрос сугубо практический: об источниках финансирования. Мы, заметьте, не спрашиваем «кто прочтет?» (это особая тема), а «кто купит?».

Итак:

рентабельна ли постмодернистская продукция?

если да, то кто ее (реальный или потенциальный) покупатель, готовый платить за нее из своего кармана?

если нет, то кто ее (реальный и потенциальный) меценат, готовый поддерживать ее опять-таки из своего кармана?

Что делать, проза жизни...





## *Литература и искусство*

### ДВОЯЩИЙСЯ ПЕЙЗАЖ

Николай Климонтович. Двойной альбом. Роман. Рассказы. М. «Советский писатель». 1990. 448 стр.

Книга Николая Климонтовича шла к читателю десять лет. А могла бы семь, а то и шесть. И в этой второй, пусть сравнительно краткой, отсрочке слышится мне мягкий упрек настоящей литературы — журнально-издательской суетности перестроечных времен, когда все, что не укладывалось в сложившуюся конъюнктуру, отсекалось. Пропустить в такой ситуации писателя не шумного, не диссидента и не «крутого» авангардиста, пишущего не о тюрьме, не об армии и не о монастыре, проще простого. Чего, к счастью, не произошло. Николай Климонтович все-таки прорвался.

Но вот новая тревога — уже за читателя: не разленились ли мы? Ведь публикуемые в последние годы вещи как бы и не требовали неторопливого, вдумчивого прочтения (для этого их набиралось слишком много), выстраданной оценки (оценки давно выставлены были отличные — лишь бы прочитать и приобрести). «Двойной альбом» — хороший экзамен на аттестат читательской зрелости, ибо, во-первых, автор почти неизвестен, не принес он с собой ни мифа, ни легенды, только «голый» текст. Во-вторых, это очень необычный и сложный текст.

Книга открывается романом «Цветы дальних мест». Читая его не слишком трудолюбиво, легко обмануться, уловиться в сети мнимой его простоты, легко изумиться: «Да что ж здесь такого?!» Да, пустыня и геологи, составляющие по аэроснимкам ее карту, да, экзотические животные, такие, как варан, верблюды и змеи, да, непривычные погодные условия, такие, как жара, ветры и песчаные бури. Однако никаких философских бесед геологи не ведут, открытый не совершают — все больше работают, спят, моются, немного вздремлют, едят и пьют водку на дне рождения своей начальницы. Вообще детали быта прорисованы здесь до почти немислимых мелочей, ничто, кажется, не забыто — начиная с количества, качества, цвета и расположения кухонной посуды, кончая устройством и убранством туалета: «К достоинствам заведения надо причислить: добротный, мягкого дерева, лак на котором от зноя делался бархатным, стульчак; аккуратную выполненную полочку, висевшую справа на двух гвоздях, на которой стояла пепельница, лежал коробочек спичек и имелось всегда два-три номера иллюстрированного журнала

«Юность»; наконец, подвешенный на отдельном шнурочке розоватый рулончик, мягкий и гофрированный».

Крошечные физиологические очерки (подобные процитированному) чередуются, одни нехитрые человеческие разговоры и дела сменяют другие — тихо течет романное действие... И вместе с тем от страницы к странице все ощутимей становится странность, жутковатая смещенность этих обычных предметов, зауряднейших поступков, их неадекватность самим себе. Ничего не происходит, а между тем что-то происходит, вершится какая-то неясная, медленная и методичная работа; шевелящаяся, неверное, миражное пространство пустыни искажает пропорции, разламывает и размывает контуры. Не тот это город и полночь не та; ни при чем здесь геологи и житейские их заботы, они лишь рамка, в которую помещена совсем иная картина.

В чем, впрочем, и сознается автор, утверждая во внезапно выскочившем в середине романа предисловии, что центральная фигура его произведения — убитый варан. Убийство варана в «Цветях дальних мест» — не более чем эпизод, однако авторское признание не пустой вызов и не игра. Полузадушенный шелковым шнуром, распростертый на песке «главный герой» думает перед смертью: «Зачем, зачем они нападают?» Он «стал падалью, тленом, трупиком», так этого и не узнав. Характерно, что в тех же выражениях («стал падалью, тленом, трупиком») описана и смерть другого героя, парня, отправившегося на поиски оазиса, или «цветов дальних мест», и погибшего в пустыне. Дело, конечно, не в варане, не в оазисе и не в пустыне, они лишь члены единого метафорического ряда.

Горькое недоумение всего живого, и твари и человека, перед тайной жизни, жажда и невозможность ее раскрыть — вот основной стержень и боль прозы Николая Климонтовича. Каждый раз, когда чудится, что вот-вот все разрешится, расколдуется, что герои уже на самом краю разгадки, — вновь и вновь рассеивается мираж, тайна оборачивается обманом, гибельным шелковым шнуром. Вот старый казах Телеген рассказывает геологам, что в пустыне где-то неподалеку есть тайный оазис — там бьет источник, растут деревья, туда прилетают птицы. Телеген даже дарит недо-

верчивым геологам дивный цветок, принесенный оттуда. Или вдруг во время праздничного ужина под окном раздается «отчетливый, громкий удар грома», хотя не было молнии, нет грозы, «ослеплены, оглушены, очарованы» герои. Не вступила ли наконец пустыня (читай — мироздание) с ними в беседу? Не первые ли это позывные? Но нет, нет и нет, вскоре выясняется, что необъяснимый громовой раскат вызван падением наземь железного душевого бака, что Телеген просто несколько не в себе и чудесный цветок изготовлен его старшей дочкой на уроке труда. Вот они какие, «цветы дальних мест», зная сверчок свой шесток. На том бы и успокоиться, но обозревая напоследок пустыню с высоты орлиного полета, автор отмечает, что помимо прочего виден орлу и «маленький красный островок в стороне». «Два-три дерева, склонившиеся к круглому озерцу, отражающиеся в нем. Цветы у основания стволов разрослись так ярко и пышно, что кажется, будто берег покрасили яркой краской». Значит, все-таки оазис существует? Но отчего же тогда не обозначен он ни на одной карте, почему знает о нем только безумец казах, а парень так и не нашел его? С прорвавшейся сквозь аллегорическую дымку прямой Климонтович дает тому свое объяснение: «Трудно только его разглядеть, разве что с птичьего полета, очень хорошим зрением, потому что красный этот островок — совсем крошечный, вокруг же — сухая и бескрайняя, мертвая земля».

Разглядеть свой островок на «бескрайней, мертвой земле» пытаются и герои цикла рассказов «Фотографирование и проч. игры», занимающего вторую часть книги. По сути, проблемный костяк сохраняется здесь тот же, что и в романе, слова произносятся похоже, но на языке других метафор: место Варана заступает Фотограф, точнее, и не он сам, а фотокамера, холодно поблескивающий глазок объектива. Фотограф же — это маска, которую примеряет то «легкомысленный подросток» («Проявление пленки: смутные виды после войны»), то работающий в фотоателье юноша двадцати одного года, то человек «в сомбреро, с кавказскими усиками и сильным украинским акцентом» («Мотив Кортасара: увеличение»), то некто Константин Касымович с помощником, промышляющие изготовлением порнографии («Найти модель, найти фотографа»), то подуставший от жизни мафиози («Запечатление града»). Неизменной остается лишь отстраненность взгляда: даже там, где Фотограф уходит за кадр (серия «С засвеченной пленки»), рассказы сохраняют сходство с «моментальным снимком», на котором с оптической резкостью запечатлены черты лица и фигуры, цвет волос, фасон одежды, улыбки, слезы, элементы пейзажа, обстановки — и ничего кроме.

Но все ли можно сфотографировать? Исчерпаем ли мир фотографиями? Цепко, с мастерской наблюдательностью Н. Климонтович ощущает деталь за деталью, подробность за подробностью точно в надежде обнаружить прореху, замочную скважину и заглянуть сквозь нее

т у д а, выйти из плоскости в объем, из тесноты в пространство. И потому так важен в этой прозе мотив побега, подчас побега-самоцели, ведущего в никуда, — так, герой «Удобной точки» уплывает в открытое море. «Беглецы» фатально обречены, ибо бежать некуда, никаких прорех и скважин реально нет.

В этом смысле особенно показателен рассказ «Мелкое воровство». На глазах читателей Н. Климонтович раздваивает своего героя и, поднеся к фотографу Ивану Васильевичу зеркало, получает «зеркально-симметричного» фотографа Василия Ивановича: «...где у первого ранее нежное брюшко, так у второго впалинка, на месте супруги первого — у второго зияет пустота... наконец, вместо сугубого реализма, как творческого метода Ивана Васильевича, у Василия Ивановича чистейший формализм». Но несмотря на «разность», обоих постигает одинаково незавидная участь: Василий Иванович уводит с вернисажа «под локотки» стражи порядка, Иван Васильевича «уводят под конвоем» стражи границы. Как видно, перед нами никак не открытие зазеркалья, новой удивительной страны: только для того и понадобился автору Василий Иванович, чтобы еще раз повторить — ничего другого быть не может.

Но где же тогда правда? Что есть истина? Как будто проза Николая Климонтовича о другом, а значит, и вопрос противозаконный, никак из нее не следующий. Она действительно никогда не ставит этого вопроса прямо, в лоб, но он присутствует здесь как скороненное мучение, тайный рубец, который лучше не тревожить лишним раз. Не тревожить, потому что с т р а ш н ы м оказывается ответ, который слышится автору, пугающей открывающейся ему истина. А она, по Николаю Климонтовичу, в том, что человек сначала юн, потом молод, а потом стар, и старость неотвратима, и вместе с увяданием тела дряхлеет душа. Она в том, «что в свой срок малютки зовут маму, девочки ищут отца, девушки ждут ребенка, женщины мечтают о муже, шарик летит, а юноши — юноши хотят иметь пару». И пожалуй, не найти слова точней — «пара». Герои не любят и не ненавидят, не дружат и не враждуют — они «спариваются»; привыкнув — остаются друг с другом, не привыкнув — расстаются друг с другом. Гомики, проститутки, извращенцы, самоубийцы (серия «С засвеченной пленки»), потенциальные убийцы («Найти модель, найти фотографа») — не все ли равно, ибо все это было (не было) и все это хорошо (плохо): двойной альбом. Отражение отражений, пространство расширяется без предела и все-таки остается замкнутым. Где тот волшебный камень, который расколет эту дурную бесконечность, этот морок так похожих друг на друга дней? Безмолвствует Николай Климонтович. Только привычное пощелкивание раздается в ответ — «спуск затвора, перевод кадра, вечное опасение, не царапает ли рамка пленку внутри камеры», затвор, щелчок, снимок на память...

Майя КУЧЕРСКАЯ.



## СВОБОДЕН ОТ ПОСТОЯ

С. Довлатов. Зона. (Записки надзирателя). Компромисс. Заповедник. М. ПИК. 1991. 351 стр.

Сергей Довлатов. Чемодан. Повести. М. «Московский рабочий». 1991. 334 стр.

Сергей Довлатов. Иностранка. Повесть. «Октябрь», 1990, № 4.

С. Довлатов. Филиал. Записки ведущего. Повесть. «Звезда», 1989, № 10.

— Вы поэт? — спросила женщина.

— Пишу кое-что между строк, — застенчиво ответил Буш...

«Компромисс».

Специально я, конечно, не подсчитывал, но, прикидывая на глазок, рискну утверждать, что в лексиконе Сергея Довлатова на одном из первых мест по частоте употребления — слова «хаос» и «беспечность». Соединив то и другое, получим правдоподобную характеристику настроения, которое преобладает в этой прозе, — «беспечность посреди хаоса».

К неуютному понятию «хаос» тут отношение сугубо деловое — как к привычному руке строительному материалу, когда лучшего взять негде. Притом у хаоса налицо два псевдонима — «порядок» и «регламентация». Только первоначальное имя не позволяет забыть о себе, заглушая псевдонимы. В такой, например, ситуации.

Случилось республиканскому активу проводить в последний путь местного сановника («Компромисс»). Обряд хорошо обкатан, и как будто неоткуда ждать помех. Однако уже возле разверстой могилы, когда ораторы зашуршали текстами речей, вдруг обнаружилось, что покойник в гробу не тот: недоработка служителей морга. Конфуз. Но не срывать же мероприятие. Решено: что начато, культурно завершить, а как стемнеет, не беспокоя репутанных мертвецов, поменять над ними надгробия. По-тихому. К такому всплеску алогизма и запредельщины мы, впрочем, отчасти подготовлены, ибо герой-повествователь от нас не скрыл, что в погребальную неразбериху он угодил по случайности (пришлось подменить сослуживца) и распорядители церемонии принимали его за другого. Какое-то бесчинство подстановок при соблюдении чинного ритуала и покорности правилам. Или закономерность нам почудилась?

Тогда проследуем все за тем же близким автору героем-рассказчиком на мемориальные объекты Пушкинского заповедника («Заповедник») и послушаем девицу-экскурсовода. Она недовольна тем, что из экспозиции изъят портрет Ганнибала, изображающий, как выяснилось, генерала Закомельского. «Значит, правильно, что сняли?» — задан ей вопрос. «Да какая разница — Ганнибал, Закомельский... Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят».

Вообще, по наблюдению рассказчика, на вопрос о подлинности экспонатов тут отзываются с долей раздражения: дергают, мол, по пустякам. Нет, мы вряд ли ошиблись: хаотичность подмен при соблюдении ритуалов и впрямь занимает прозаика — как черта советского уклада. Следует ли отсюда, что эмигрант третьей волны и диссидент 70-х Довлатов ловит манипуляторов за руку? Нет. Кого-то ло-

вить, пригвождать, карать за кривду ему попросту недосуг (да и судьей он себя не числит).

Перед ним — диковинная, сдвинутая с оси реальность, где людской взгляд упирается в декорации, за которыми неведомо что. Так как же соотносятся декоративное с натуральным?.. За десятилетия своего дураломства режим успел порушить многовековые установления, деформировать или искрошить душевные структуры. Окончательно ли? Тоже вопрос не праздный — как и про сочетание природы с подделкой. Но, подступая к ним, писатель не принимает стойку тяжеловеса, скорее парит по-спринтерски, едва касаясь беговой дорожки.

Для этой прозы вполне естественно ее графическое членение на малые фрагменты (критика уже проводила параллель с «Опавшими листьями» В. Розанова). Она словно и не настаивает на таком своем качестве, как внутренняя слаженность, не намерена выставлять укором разброду в умах и душах соразмерность своей архитектоники. Она, то есть проза, мозаична, слабо подчинена дисциплине сквозного сюжета? Ну а мир-то кругом нас (и в нас) иной ли? Так будет и ей разрешено своевольничать, искривлять повествовательное русло, сворачивая поближе к жанру дневниковых замет или непринужденной писательской эссеистики, свободно течь от одной веселой сентенции к другой, от застольного афоризма (культура застолий у Довлатова, с обильными возлияниями и высокоградусным красноречием, — отдельная тема) к афоризму, допустим, погребальному.

Только при вольном и как бы рассеянном нраве довлатовской прозы есть в ней подтянутость, строгость словесной выправки. У Иосифа Бродского явно был повод противопоставить речь Довлатова нашей общенациональной речевой стихии. В статье «О Серее Довлатове» («Независимая газета», 24.9.91), приуроченной к первой годовщине смерти прозаика, Бродский пишет: «Мы — люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных. Говорящий кратко, тем более — кратко пишущий, обескураживает и как бы компрометирует словесную нашу избыточность». Преодолевая стихию словесной вязкости, не давая фразе обрасти гирляндами придаточных, Довлатов и диссидентствовал в своих повестях по преимуществу стилистически. Колченогому и мутноглазому новоязу он буквально врзал между глаз энергичную речевую синкопу, сжатую формулу-вызов (редко — идеологический, всегда — эстетический). Его лапидарная проза протягивает дальше традиции Зошенко и мастеров южнорусской шко-

лы. При том существенном различии, что на долю Олеси, Зощенко, Бабеля выпало обрабатывать, переплавлять в тиглях своей стилистики младенческий советский воляпук, Довлатову — позднебольшевистское упадочное барокко — стоит заметить: к речевым маразмам агитпропа он умеет отнестись с известной долей насмешливого — на ильфо-петровский лад — благодушия (поправишь ли дело горячность?). Среди его персонажей есть более твердые пуристы.

Некогда довлатовскому повествователю, солдату действительной службы, довелось охранять уголовников. Послушайте, как он отзывается об их языке: «Речь бывалого лагерника заменяет ему все привычные гражданские украшения». «Лагерный монолог — это законченный театралный спектакль. Это — балаган, яркая, вызывающая и свободная творческая акция». «Настоящий уголовник редко опускается до матерщины.. Он дорожит своей речью и знает ей цену. Подлинный уголовник ценит качество, а не децибелы» («Зона»). Довлатовские уголовники — это гордые парни, которые брезгуют речевым пайком законопослушников, находя, что от него пахнет рабством.

Кажется, именно отсюда, из лагерной зоны, писатель вынес культ снайперски точного слова, стражайшей речевой дисциплины.

Но ведь здесь же, рядом с цитированными строками сказано, что советская тюрьма — «одна из форм тотального всеобъемлющего насилия». Неужели тема насилия тут не задета или задета вскользь? Во все нет. Взять хотя бы линию конфликта юного охранника с матерым вором в законе Купцовым. Очень уж раздрадило солдата-правдолюбца чужинное упорство зэка, не согласное отрабатывать пайку. До того дошло — выволоч Купцова на делянку, силком всучил ему топор: помашки! Хотя доведенный до точки накала зэк махнуть-то махнет, да не по солдатской ли ушанке? И что же? Топор взлетел, с хрустом опустился... на пальцы зэка. «Вот теперь — хорошо...» — произнес вор-саморуб. А дальше? Дальше — разбор лагерных сюжетов разного калибра и веса. Но ведь тут, на пространстве двух-трех страниц, уплотнено содержание обширной повести, не исключено — романа: линии характеров стянулись в драматический узел, ярость помножилась на ярость...

Верно. Только разворачивать такой конфликт вширь, поворачивать и той и этой гранью будет кто-то другой. Довлатову достаточно обозначить его контуры, подвести к нему и протянуть дальше сюжетный пунктир.

Важнейшее из слагаемых довлатовской художественной системы — темп. Он здесь необходим, как скорость водному лыжнику, чтобы скользить, не зарываясь в волну, как быстрота смены кинокадров, при которой не дергается картинка на экране. Довлатов обходится без тщательной проработки коллизий, ибо главное его возражение расхристанности, одышливой дряблости нашего мира — упругая легкость и динамика стиля.

Без налета угрюмства относится писатель-диссидент Довлатов и к идеологии тех «раскормленных дядек», с виду — «разодетых пен-

сионеров», какие по праздникам красуются на трибуне мавзолея (книга «Чемодан»). Вступить с ними в прямую конфронтацию не значит ли по-солженински бодаться с дубом, неизбежно меняя интонационный регистр? Идеология «дядек» овладела многими умами? Да, так. Однако с каких же, спрашивается, времен ум сделался главнее нашей натуры? Не с новоязовских ли?..

Самую длинную мировоззренческую пикировку я нашел у Довлатова поближе к концу «Иностранки», когда главная ее героиня Муся укоренилась за океаном и подвергается любовным атакам эротического безумца по имени Рафаэль Гонзалес. Ему-то и пришлось по вкусу коммунистическая доктрина, азы которой он довольно складно излагает. Хотя, по его сведениям, «Октябрьскую революцию возглавил знаменитый партизан — Голстой», впоследствии сочинивший «Архипелаг ГУЛАГ». Видно, еще не позабыв советскую логику, по которой нашим братьям по вере их невежество не в укор, герой-рассказчик сворачивает диспут, миролюбиво замечая, что его собеседник возвысился до уровня Плеханова и Чернышевского.

Вообще же, по Довлатову, идеология — гарант того самого порядка, в угоду которому номенклатурных почестей при погребении удостоился совсем не тот покойник. И необязательно идеология коммунистическая.

В «Филиале» рассказано о заокеанском симпозиуме русистов, по преимуществу — советских эмигрантов. При разбросе идейных платформ неизбежны взаимные выпады, пикировки. Может, и свалка. Свалка — это плохо: авторской улычиво-доверительной интонации трудно будет совладать с остроконфликтным содержанием. К счастью, обошлось. Атмосфера ожесточения понемногу развеялась. Даже сионист Гурфинкель и шовинист Большаков сколько-то уступили один другому. Обнаружилось, что люди сходной судьбы, выброшенные на чужой берег, плохо защищены идейной амуницией, под нею уязвимы, своим платформам не тождественны. И как раз такое открытие — главный подарок симпозиума. И его участникам и читателю.

Идеология как униформа для умов почти не тревожит Довлатова. Не побуждает принять бойцовскую стойку. Иное дело — тот психологический раствор, где разведен концентрат Непогрешимого учения. Брызги от такого раствора жгутся.

Вы любите Пушкина? — вопрос-рефрен, сопровождающий повествователя при обходе должностных лиц Заповедника, где он намерен поработать экскурсоводом. Хорошо спросено. Вроде: «Пропуск у вас при себе?» А что есть любовь? К Пушкину, в частности... И удастся ли ее выразить толчением казенных словес (про крепостничество, вдохновенные гимны свободе), которым встречают туристов здешние эрудиты?..

Вот уже и ортодоксальность не в чести, скрижали Учения запылелись, рассеянный слушатель полнитинструкций как будто раскрепощен, свободен от постоя (если использовать слова Чехова). Но нет, казарменная выправка умов и душ трудно вытравима. На-

стой совкового стиля крепок. Не ради ли нейтрализации этой вот «крепости» герой-рассказчик с приятелями часто употребляют другую, измеряемую в градусах?

Обмен репликами из повести «Компромисс»: «Что же делать?» — «Не думать. Водку пить». Погрузить рассудок на дно стакана — тоже какой ни есть способ эмиграции нашего творческого интеллигента, сироты при живом (или чуть живом) отечестве.

Развевать печали сиротства помогает любовь. Но... Как ни привлекательна, к примеру, девушка Тася, однако со странностью: ее знания о жизни отчетливо опережают саму жизнь. И получилась у рассказчика с Тасей любовь-тяжба. «Девушке импонирует нечто грубое во мне. Проблески интеллекта вызывают ее раздражение», — сразу догадывается рассказчик, которого Тасе отрекомендовали как боксера. «Проблески интеллекта» у боксера, кажется, грозят расшатать удобную для Таси модель мироустройства («Филиал»). Подобные модели не из казенного набора? Верно. А знание наперед и способ моделирования откуда?.. Вот тут и воздерживайся от выпивки!

Впрочем, отмечая у своих знакомых или подруг нездоровую полноту знаний, повествователь вовсе не считает свое знание о них полным. Ждет, чем они его удивят. А персонажи способны удивить серией импровизаций, выламываясь на какой-то срок из «портретных» рамок. Нет, не х а р а к т е р ы тут сложны — чудят самоуправные людские души, которым ни лень, ни косность их обладателей не указ. Характеры же пестры и мозаичны, расшатаны внутренней смутой. Особенно это касается героинь. Послушные и женской природе, и ритмики нашей жизни, они плохо предсказуемы: покладисты и буйны, агрессивны и беззащитны, расчётливы и непрактичны, привержены строгому вкусу и вызывающе вульгарны, скромны и распухнут попеременно. Автор же следит за их эволюциями с братским сочувствием и оттенком веселого недоумения, мало занимаясь заполнением пробелов и диалектикой переходов от крайности к крайности.

Психологизм Довлатова по преимуществу интонационный и стилевой. Главную правду о приключениях людских душ мы получаем

как бы из стилового потока, где есть и память о человеческой многосложности и образ времени. А души героев этой прозы подобны суденышкам среди хлябей, когда мотор заглох и руль заклинило. Бедствие? Авторский тон тем не менее окрашен мажорно. Можно допустить: не без влияния Пушкина.

В «Заповеднике» повествователь так отозвался о Поэте: «Не монархист, не заговорщик, не христианин (знал ли Довлатов в своем эмигрантском далеке, что у него на родине многозвучье пушкинских строк некоторым новейшим исследователям хотелось бы истолковать в духе напряженной христианской проповеди? — В. К.) — он был только поэтом, гением и сочувствовал движению жизни в целом».

Последние слова удачно передают характер мироощущения самого повествователя — сочувствие «движению жизни в целом». Ему, кажется, изначально свободному от постоя, был хорошо слышен пушкинский камертон. И если в строках довлатовской прозы выныривает слово «хаос», то между строк (смотри эпиграф к этой рецензии) прочитывается иное — про неистребимость внутреннего человека, который, надо надеяться, выдюжит и под бременем почти неподъемного «порядка». Так ли? Энергией, веселым напором своего стиля эта проза отвечает утвердительно.

В тех вещах, которые не только написаны в Америке, но отчасти и про Америку, мажора, даже «беспечности» прибавляется. На стадии сюжетных развязок есть и вставные увеселительные «номера», заметен налет эстрадности. Возможно, на душе у повествователя полегчало. Не исключено и другое: намолчавшийся у себя на родине писатель уступил диктату зарубежного книжного рынка, где привыкли ценить хеппи-энд.

Но насчет некоторой облегченности концовок — это попутно. Сегодня предстоит оценить сам феномен довлатовской прозы, вернувшейся к нам из чужих краев, услышать художника, чья образная система — вызов системе безобразной, и сам рисунок стиля, гамма интонационных, речевых красок — выражение стихии «тотального всеобъемлющего насилия».

В. КАМЯНОВ.

\*

### ДЖЕНТЛЬМЕН В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ

Клайв С. Льюис. Письма Баламута. Баламут предлагает тост. М. «Гнозис» — «Прогресс». 1991. 172 стр.

Клайв С. Льюис. Расторжение брака. М. «Прометей». 1990. 43 стр.

Клайв С. Льюис. Лев, колдунья и платяной шкаф. М. «Огонек» — «Вариант». 1991. 125 стр.

Клайв С. Льюис. Племянник чародея. М. «Огонек» — «Вариант». 1991. 107 стр.

Клайв С. Льюис. Конь и его мальчик. М. «Огонек» — «Вариант». 1991. 107 стр.

Глубокие чувства, сказал один мудрец, не бывают национальны: можно по-английски остричь, нельзя по-английски рыдать. И все-таки глубокая вера возможна как национальная, а вместе с тем и расширяющаяся вслед за нею прочие наши качества: милосердие, благоразумие, терпение... Зарубежная христианская литература сейчас легко осваивается

в России именно потому, что приходит в национальном облике.

Три христианских писателя Англии обрели у нас известность, кажется, большую, чем кто-либо из современных британских беллетристов: Честертон, Льюис и Блум. Как они не похожи друг на друга! Не похожи конфессионально: католик, протестант и православный. Не похожи профессионально: писатель, лите-

ратуровед и архиерей. По духовному самосознанию: аристократ, обыватель (в лучшем смысле этого слова, то есть очень близко к понятию «бггие») и интеллигент. По времени: представитель соответственно первой, второй и третьей четвертей нашего столетия. Митрополит Антоний Блум вообще «русский», невзирая на шведскую фамилию, — и все же есть в нем нечто, что сделало успешной его проповедь именно в Англии, а не во Франции, где он провел первые десятилетия жизни: он проповедник-джентльмен — суховатый, точный, несколько замкнутый. Замкнутость, видимо, неотделима от той вежливости и умения себя держать, которые подразумеваются понятием «воспитанный человек» — «джентльмен». Льюис тоже вежлив, он тоже джентльмен, как и всякий англичанин после определенного пункта истории. Но из этих троих Льюис — наиболее джентльмен-для-других.

Ибо все «христианское» творчество Льюиса (а именно оно сейчас прорывается в Россию одной книжкой за другой) — это, по существу, апологетика, защита истин веры. Честертон обращался еще к людям почти XIX столетия: неверующим, но знающим христианство и в целом доброжелательным к нему, как к приятному пейзажу за окном поезда. Блум обращается уже к пастве конца XX столетия: это люди, мало знающие о Христе, но желающие верить в него, жить в том самом пейзаже. Льюис обращается к неверующим 30 — 40-х годов, которые и не знают христианства, и недолюбливают его, для которых Христос — ничтожный призрак прошлого. Свои первые апологии христиане адресовали римским императорам, преследовавшим их. Книги Честертона и Блума не апологетичны, потому что читатели первого безразличны к христианам, читатели второго им симпатизируют. Подлинно апологетичен только Льюис, ибо он адресуется к читателям враждебным. Он почтителен, развлекателен, осторожен, ибо в каждом читателе видит человека-императора, жаждущего и могущего вновь казнить Того, в Ком более всего нуждается человек-грешник.

Как литератор Льюис более национален, чем Честертон. В «почвеннике» Честертоне нестремим все же привкус католического космополитизма, или, если угодно, вселенскости. Для него все вселенная — остров, в то время как для «типичного англичанина» его остров — вселенная. Честертон, подобно прерафаэлитам, обращался к той средневековой традиции, которая еще с трудом может быть названа прямо английской, — слишком много мостов соединяло до Кромвеля Остров с Континентом. Что-то, вырвавшееся и в протестантизме, и в промышленной революции, и в революциях политических, произошло именно в середине XVII века. Карл I еще «европеец», Карл II уже — англичанин. И именно в середине XVII века была написана книга, в течение всего Нового времени бывшая визитной карточкой английского христианства, — «Путь паломника» Дж. Бэньяна. Уже в прошлом веке ее на русском издавали с постраничными комментариями: ведь вся эта книга — одна огромная аллегорическая картина. Человек идет в город — преодолевает

опасности — приходит. В описаниях его приключений, знакомств, бесед все имеет подоплеку. Аллегорична каждая деталь, и каждая деталь есть повод для маленькой проповеди.

Тут Бэньян не был первооткрывателем — на протяжении всего литературного средневековья Любовь, Коварство, Смирение и Хитрость ходят, разговаривают и действуют. Но Бэньян совершил революцию (в буквальном смысле, то есть переворот) — в его книге не абстрактные добродетели и пороки обозначены чело-веческими фигурами, а конкретные, очень живые и реальные люди несут в себе добродетели и пороки. В отличие от средневековых аллегорий, где фигура Любви не может вмещать в себя ни грана Ненависти или хотя бы Маловерия, аллегорические персонажи Бэньяна вмещают в себя всегда больше одного какого-то качества. Более того, эти персонажи не статичны — недаром книга называется «Путь...», — они движутся, одни из них просто гибнут, другие гибнут и воскресают духовно.

Итак, Бэньян совершил революцию более великую, чем Кромвелевская. «Путь паломника» открыл дорогу всей современной беллетристике, начиная с «Принцессы Клевской». Перевернутая аллегория очень быстро перестала быть аллегорией — по крайней мере внешне: со времен Бэньяна литература стремилась избавиться от аллегоризма, довершить начатый им переворот, убрать то, что было когда-то наверху, под самый спуд. В «Робинзоне Крузо» аллегоризм еще просвечивает, в «Ярмарке тщеславия» — почти нет. Средневековая аллегоричность исчезла без следа, бэньяновская стала уделом детской литературы. «Мудрец из страны Оз», «Приключения Пиноккио» — все это те же гравированные образы «Пути паломника», только раскрашенные цветной гуашью. И издающиеся ныне сказки Льюиса для детей (семь сказок о волшебной Нарнии) суть все то же Евангелие — или, точнее, евангельское христианство, аллегоризированное так, чтобы помочь детям приходиться ко Христу. Хотя, надо твердо сказать, Россия не Британия, и у нас сказки Льюиса в пору издавать с такими же комментариями, как в свое время «Путь паломника». Наши родители не знают и не смогут объяснить ребенку, что сказочный льюисовский Лев — это Иисус, что это образ Царя и Льва от колен Израилевых; короче говоря — у нас есть опасность, что сказки Льюиса останутся мостом, ведущим в никуда.

Зато не грозит такая опасность «Расторжению брака». Это все та же бэньяновская аллегория. Только эта аллегория живет — все-таки двести лет изящной литературы не прошли даром (хотя Льюис как беллетрист куда слабее своего друга католика Толкиена). К тому же, и это особенно важно, здесь аллегория толкует самое себя. По ходу экскурсии из ада в рай все — от изумрудно-каменной травы до обезьяны на цепочке — немедленно разъясняется.

«Расторжение брака» начинается с того, чем кончается «Мастер и Маргарита», — с ада. Булгаков, конечно же, не мог изобразить Христа — впрочем, и не пытался. А вот сатана у него, как и в Евангелии, — «отец лжи». Волад все врёт — в том числе про загробную жизнь.

Аллеи и свечи, музыка Баха и лунный свет, обещанные Мастеру, — все это не просто «покой», как обещает Воланд. Это покой адский, худший, чем угрызения совести Пилата. И дело не в том, что нет за гробом тихих домиков, а в том, что именно такие домики — страшнее сквородок. Дружеские пиры духа при свечах хороши и возможны неделю, месяц, полгода — а затем начнется, увы, неизбежное: ссоры с теми самыми друзьями, о которых так мечталось в Москве в 1937 году, разочарования и грызня. Постепенно опустеет домик, а там, глядишь, и Маргарита уйдет в свой особый домик, не проклиная Мастера; а просто — скучая... Картиной такого ада, где люди не сбиты в кучу, как на полотне Босха, а раскиданы по неизмеримым просторам серой скуки, и открывается повесть Льюиса. В этом аду не жарко, а пыльно. Конечно, все это условность. Условен и льюисовский рай. Но как говорить о вечной жизни без метафор? Метафоричен был и Ориген, когда говорил о рае как о месте, где праведники будут огненными шарами. Попроще представления о рае у протестантов: гряда облаков, где праведники тренькают на арфах. Но Льюис напомнил: главное в раю — неожиданность. Когда Христос описывает Страшный суд, Он прежде всего упоминает удивление и у грешников и у праведников, удивление при виде и возмездия и награды. Рай Льюиса удивляет — особенно советских атеистов — своей сугубой материальностью. Человек из плоти и крови не в силах согнуть даже райскую травинку, а вот порезаться о нее — может. Святость, оказывается, не заменяет материю духом, а уплотняет духовное до степени, немислимой в нашем якобы материальном мире. Рай Льюиса удивителен еще и тем, что в нем нет ада. Походя, легко и зримо обнаруживается ответ на каверзный вопрос: почему праведники, если они такие добренькие, не спускаются в ад помочь грешникам? Ад оказывается молекулой, которая умещается в трещинке райской почвы. Туда и капля воды не просочится. Брак света и мрака невозможен так же, как брак слонихи с комаром. Невозможно святому встать в ад — это возможно лишь Христу. Схождение Иисуса в ад было, оказывается, делом не величия — а невероятного смирения, умаления до микроскопических масштабов адского небытия. Святые не могут умалиться так, как Источник святости. А возвеличиться до рая может всякий грешник — и Льюис описывает развратника, который отказывается (или, пожалуй, только решает отказаться) от похоти, и в тот же миг жалкая похоть его преобразуется в могучую любовь. Он остается в раю — в отличие от философа, который так и не обнаруживает в себе сил отказаться (или хотя бы захотеть отказаться) от размышлений о Боге ради жизни в Боге.

Повторю: творчество Льюиса — апологетика. Бэньян мог спокойно зашифровывать свои аллегории — он знал, что читатели располагают ключами. Современный отечественный (не скажу за англичан) читатель расшифровать льюисовские аллегории без подсказки не способен просто потому, что плохо знаком с Новым заветом и еще меньше — с собствен-

ной душой. А весь огромный аллегорический мир Льюиса, Толкиена или Бэньяна — это и есть одна-единственная человеческая душа. Прелестные жеманницы рисовали карты страны Любви, помечая острова Ревности и заливы Благоговения, но все это были карты их собственных душ; так и карты сказочных стран, заботливо прикладываемые к изданиям Толкиена (их можно составить и для сказок Льюиса и для «Расторжения брака»), — всё карты нашей «психы».

Тут мы оказываемся перед другой стороной творчества Льюиса, которая пока представлена у нас «Письмами Баламута». На первый взгляд эта книга кажется еще одной аллгорией — мелкий бесенок, приставленный к новообращенному, пишет старшему в ад отчеты о достижениях и провалах своего искушательства. Но аллегоричности здесь нет и в помине — вот почему Льюис так мучился, сочиняя эту вещь. Она стоит в одном ряду не с аллегориями, а с психологическими эссе Льюиса. В своих очерках о любви, о страдании, о чудесах он всегда прям, он не составляет карту, а препарирует душу — свою собственную, разумеется. Это не антидидактическая монтеневская эссеистика, предназначенная прежде всего для себя и тем пручительная. Это эссеистика апологетическая, рассказывающая о душе, как зоолог рассказывает о слоне, дотошно и реалистично, иногда даже немного нудно, когда хочется поторопить Льюиса — ведь уже все понятно, зачем так вдаваться в детали. Но спешить нельзя, как нельзя в анатомическом атласе помещать абрисы и контуры. В данном случае краткость точно совпала бы с поверхностностью. А Льюис забирается со ступеньки на ступеньку в глубь души, от самых поверхностных ее движений и рефлекторных реакций до жизни внутренней, обороняемой не от пакостей окружающей и заедающей среды, а от греха и смерти в самой себе. Его размышления не философские, не научные, не исторические, а практические. Если принимать тождество греха и болезни, то его эссеистику можно называть не психологической, а психиатрической. Это атлас для самохирургии, это аскетика для неаскетов.

Уже появились (в «Вопросах философии», «Иностранной литературе») журнальные публикации льюисовской психологической эссеистики. Скоро будут и отдельные издания — в том же, поразительно на общем нынешнем фоне интеллигентном, издательстве «Гнозис». С этими книгами к нам является не только Льюис, но накопленный в самиздате последних трех десятилетий духовный опыт. Здесь Льюису безусловно повезло: нашлись достойные переводчики, прежде всего — Наталья Трауберг. Труд этих людей благословил отец Александр Мень. И если митрополит Антоний Блум давно стал «своим» в Британии — профессор Клайв Льюис уже стал «своим» в России. Тонкой ниточкой соединен он и с нашим религиозно-философским Ренессансом начала века: одним из его друзей и коллег по Оксфорду был Николай Зёрнов, автор единственной пока книги об этом Ренессансе (переведенной, кстати, тоже в приходе о. Александра Менья). В своих воспоминаниях Зёрнов

создал миниатюрное житие Льюиса, которое стоит привести целиком. Хотя оно далеко не во всех деталях выверено, зато рисует образ цельный и яркий, рисует очень по-русски: «Внешне он напоминал скорее фермера, чем профессора, философа, поэта Небрежно одетый, с крупным, красным лицом, он любил громко смеяться за кружкой пива среди друзей Но за этой прозаической наружностью скрывался человек рыцарского благородства и глубокой духовности, умевший проникать в тайники души. Все его друзья считали Льюиса убежденным холостяком, но и тут он удивил всех, женившись в 1957 году на американке Джой Давидман (1915—1960) Она была писательница еврейского происхождения, обращенная в христианство его же книгами.

Брак был совершен в госпитале, у кровати тяжело больной женщины. Льюис хотел облегчить тревогу умирающей за будущее ее двух мальчиков, сыновей от первого брака. Льюис обещал ей взять на себя их воспитание. Но все вышло по-иному Госпожа Давидман чудесным образом оправилась, выписалась из госпиталя и даже смогла совершить свадебное путешествие в Грецию. Брак дал им обоим подлинное счастье. Льюис умер от рака крови через три года после смерти жены. В своей последней книге он описал ту агонию, которую он пережил, потеряв жену. Духовный кризис, испытанный им, углубил его веру».

Яков КРОТОВ.

\*

### Политика и наука

## КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ: ГЕНИЙ ИЛИ ЗЛОДЕЙ?

П. П. Черкасов. Кардинал Ришелье. М. «Международные отношения». 1990. 381 стр.

Среди государственных мужей, которым при жизни ставили памятники, многие (рано или поздно) были сброшены со своих пьедесталов. Такая судьба постигла и Армана Жана дю Плесси, кардинала Ришелье. Великая революция, громившая гробницы «тиранов», обошлась с его останками жестоко 5 декабря 1793 года взбунтовавшиеся парижане разорвали в клочья труп великого человека. полтора века мирно пролежавший в могиле Его мудрую некогда голову озорные мальчишки гоняли, словно мяч, по мостовой Вот он, исторический прототип того тяжкого пути — от величия до ничтожества, — который прошли некоторые сильные мира сего и в наши дни

Для широкой публики главным источником сведений о кардинале являются, пожалуй, романы Александра Дюма Ими зачитывались и зачитываются у нас многие — от мала до велика При этом нередко путают двух Арманов дю Плесси — кардинала и герцога, генерал-губернатора Новороссии в 1805—1814 годах, увековеченного в знаменитом памятнике на набережной Одессы. Однофамильцев разделяют сто пятьдесят лет, а сближает то, что оба они вошли в историю, хотя и с существенно разным «весом».

Кардиналу Ришелье посвящена недавно вышедшая в свет книга П. Черкасова, написанная в увлекательно-образной форме. Книга, едва успев выйти в свет, тут же исчезла с прилавков и — знаменье времени — немедленно появилась на черном рынке. Объяснение простое: за последнее время интерес читателей к исторической литературе, особенно научной публицистике, к живым биографиям государственных деятелей, резко возрос. И это естественно. Люди безмерно устали от политической трескотни перестройки. От ее трагедий и бед, маленких успехов и больших неудач. Читатели тянутся к правдивым и ярким пове-

ствованиям об опыте прошлых веков, об ушедших в небьгие событиях и их героях. В этом одна из причин несомненного успеха рецензируемой книги.

Кем же он был, кардинал Ришелье? Три с половиной века минуло со дня смерти премьер-министра Людовика XIII, но все еще, как и в далеком прошлом, даются различные оценки его деятельности Философ и правовед Шарль Монтескье писал «У этого человека деспотизм был не только в сердце, но и в голове» Гираном именовали Ришелье и революционеры 1789 года Но проходили десятилетия и столетия Суждения историков и политиков становились более грезвыми и реалистичными Немногие, разумеется, отрицали и отрицают, что личная власть всегда и везде непременно ведет к деспотическому режиму Но не всегда и не везде абсолютизм только реакционен На определенном этапе исторического развития он бывает и полезен И правление кардинала это убедительно показало

«...Гугеноты разделяли с Вами власть в государстве, вельможи вели себя так, словно не были Вашими подданными, а самые сильные губернаторы чувствовали себя чуть ли не самостоятельными властителями» Так Ришелье в «Политическом завещании», адресованном королю, описывал обстановку во Франции ко времени своего прихода к власти. И его высокопреосвященство железной рукой наводил монархический порядок в стране Оппозиция аристократов была разгромлена. Ее лидеры сложили головы на эшафоте. Аппарат централизованного государства из Парижа руководил провинциальной администрацией. Государственные чиновники — интенданты финансов, полиции, юстиции — вершили судьбы населения провинций и регионов, городов и деревень.

Территориальное и национальное единство Франции окрепло. Это заслуга кардинала.



Политическая стабильность в стране позволила ему начать наступление на гугенотов, фактически создавших государство в государстве, противостоявших не только традиционной католической церкви, но и королевской власти.

Для Ришелье на первом месте оказывались интересы не церкви, а государства. Ставя вопрос так, автор книги прав, хотя оппонентов, придерживающихся иной точки зрения, у него достаточно. Цитадель протестантов Ла-Рошель пала под натиском королевских войск. Победа обошлась в 40 миллионов ливров — это сумма, равная доходам бюджета Франции за два с половиной года. Но игра стоила свеч. Политическое единство страны было достигнуто.

Политическое, но не религиозное. Кардинал остался верен традиции Генриха IV, сменившего свои протестантские взгляды на католические во имя интересов династии Бурбонов под прикрытием знаменитого изречения «Париж стоит обедни». Жестокому, своевольному, беспощадному к врагам абсолютистского режима Ришелье, однако, не была свойственна религиозная нетерпимость. Его волновали прежде всего государственные интересы, требовавшие изгнания гугенотов из их столицы Ла-Рошели. 29 октября 1628 года Ришелье в одежде пастыря (сутане) и в доспехах воина, на коне, во главе французских войск въехал в знаменитый портовый город.

Казалось, костер духовного фанатизма кардиналу удалось погасить. Религиозные войны в стране завершились. Протестанты получили свободу вероисповедания. Даже офицерам «еретикам» не запрещалось служить в королевской армии. Это редкий в истории Ватикана и галликанской Церкви случай фактического признания свободы совести. Примеру не последовал уже Людовик XIV, не посчитавшийся с опытом своего деда Генриха IV и Ришелье и упразднивший Нантский эдикт — знаменитую хартию веротерпимости. Последствия этого шага, не получившего поддержки даже в Ватикане, для Франции оказались роковыми. Десятки тысяч гугенотов, спасаясь от насильственного обращения в католичество и преследований, покинули родную землю, нанеся огромный ущерб торговле, промышленности, административному аппарату, свободным профессиям и ремеслам, армии и флоту королевства. Международное положение Франции осложнилось. Ее отношения с протестантскими государствами Европы обострились.

Всего этого избежал его высокопреосвященство кардинал. Решив свою главную задачу — обеспечив территориальное, политическое, военное единство государства, — Ришелье оставил протестантам их веру и их церковь. А сам получил свободу действий в решении своих внутренних задач. А они были сложными и срочными.

Восемнадцать лет кардинал фактически единолично правил Францией. В его руках сконцентрировалась огромная власть. Это вызывало недовольство Людовика XIII и его окружения. Современники рассказывают, что однажды, остановившись у дверей своего кабинета, король сказал Ришелье: «Проходите первым, все и так говорят, что именно вы —

подлинный король». Королевская реплика была неожиданной, угрожающей. Но человека, к которому она относилась, было трудно заставить врасплох. Он прекрасно владел не только шпагой, но и словом. Ответ последовал немедленно: «Я иду впереди, чтобы освещать вам дорогу».

Сказано достойно и справедливо. Действительно, кардинал в значительной, если не в решающей, мере «освещал дорогу» королю, определяя внутреннюю и внешнюю политику страны. А она вела тяжелые войны. Из восемнадцати лет, на протяжении которых Ришелье занимал пост премьер-министра, только четыре года были мирными. Отсюда и постоянное внимание первосвященника (человека штатского) к военным делам, хотя применение оружия он считал крайним средством. «Последний аргумент короля» — такие вещие слова, как считают многие историки, по указанию Ришелье были начертаны на французских пушках. Можно спорить, кардинал ли автор этого изречения, но бесспорно, что именно он ввел новые формы комплектования армии: каждый город поставлял определенное число солдат, заново создал военноморской флот (три эскадры, действовавшие вдоль северо-западного побережья Франции, и одна в Средиземном море), реконструировал порты Тулона, Гавра, Бреста. Ришелье лично возглавлял Морской флот.

Каковы цели внешних войн, которые велись при кардинале? П. Черкасов дает объективный ответ на этот вопрос. Формирование национальной территории, надежные границы. Под власть Людовика XIII перешли епископства Мец, Туль, Верден, города Эльзаса, Лотарингии, Артуа и Руссильона. Границы: море — на юге и северо-западе, Пиренеи — на юго-западе, частично левый берег Рейна. Однако Испания сохранила на французской земле свое владение — Франш-Конте. Это означало, что франко-испанский конфликт сохранялся. У него были слишком глубокие корни.

Хотя его высокопреосвященство, как показывает рецензируемая книга, нередко выполнял функции коннетабля (главнокомандующего) — должность, которую он сам и упразднил, — его любимым занятием были внешняя политика и дипломатия. И здесь он прежде всего руководствовался государственным интересами. Поэтому именно со времен Ришелье можно говорить о национальной внешней политике Франции, когда уже не династические причуды и расчеты определяли ее отношения со странами Европы.

Концепция кардинала была определенной и стройной. Ее основа: противодействие гегемонии Габсбургов, правивших в Мадриде и Вене, восседавших на троне императоров Священной Римской империи германской нации. Равновесие на европейском континенте нарушилось. И восстановить его можно было только путем союзов Франции с государствами Европы.

Как же относился Ришелье к проблеме союзов? Совершенно необычно. Вопреки своему духовному сану и догмам католицизма, не считаясь с настроениями в Ватикане (провод-

ником политики которого ему следовало быть во Франции), не перенося в сферу международных отношений те методы, которые он использовал в борьбе с протестантами внутри страны. Пусть меня не обвинят в модернизации истории, если я скажу, что Ришелье идеологизировал французскую внешнюю политику, подчинив ее интересам Франции.

Ришелье фрондировал против Рима, откуда получил кардинальскую мантию, и в то же время был душой всех антигабсбургских коалиций. Он искал союзников в Европе повсюду. Это были прежде всего протестантские государства Швеция и Соединенные провинции (Голландия). Франко-шведский союзный договор был подписан в 1631 году. Людовик XIII обязался ежегодно в течение пяти лет выплачивать шведом миллион ливров, а шведский король Густав II Адольф должен был в эти годы держать в Германии тридцатитысячную армию.

Это была лишь часть грандиозного замысла кардинала, задумавшего создать антигабсбургскую коалицию в составе Англии, Голландии, Дании, Швеции, Московии, Турции, Трансильвании. Союз католической Франции с враждебными католицизму силами, не только с протестантами, но и мусульманами.

Первая серьезная попытка русско-французского сближения произошла при Ришелье. Он стремился привлечь российское государство к войне против Габсбургов и их союзницы — Польши. В Париже не забывали и об интересах французских торговцев, от тех выгодах, которые они могли извлечь, обосновавшись на русском рынке. Французский дворянин Курменен в ноябре 1629 года подписал в Москве «Договор о союзе и торговле между Людовиком XIII, королем Франции, и Михаилом Федоровичем, царем Московии». Это был первый русско-французский дипломатический документ, опередивший аналогичное соглашение Петра I на восемьдесят восемь лет. Французы получили право торговли в Москве, Архангельске и Новгороде. Курменен привез в Париж твердое обещание царя вступить в войну с Польшей. Оно было выполнено в 1632 году.

Венцом дипломатического искусства кардинала, несомненно, явилась его внешняя политика на заключительном этапе общеевропейской Тридцатилетней войны. Начавшаяся в 1618 году война между католическим габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги, германские князья-католики, поддержанные Римом и Польшей) и протестантской антигабсбургской коалицией (Швеция, Дания, которые получили помощь Англии, Голландии и России) вступила в решающую фазу в 1635 году, когда в боевых действиях на стороне шведов и датчан приняла участие Франция. Французская дипломатия, умело направляемая кардиналом, выбрала благоприятный для нее момент. Война закончилась Вестфальским миром в 1648 году. Ришелье уже шесть лет не было в живых. Но цели его оказались достигнуты. Франция получила часть Эльзаса. Ее позиции в Европе окрепли. Политическая раздробленность Германии сохранилась.

Французскую дипломатию при Ришелье отличала высокая активность. Было подписано

74 международных договора и соглашения. Золотой поток денег дипломаты активно использовали при заключении союзов, в ходе переговоров. Подкупали всех «нужных людей» — от монархов до шифровальщиков. Особенно отличался на дипломатической ниве монах-капуцин отец Жозеф, «Серое преосвященство», тень своего хозяина. Это был, несомненно, талантливый организатор, умный и опытный политический интриган, руководитель широко разветвленной сети секретных агентов, в числе которых находилась и графиня Карлейль, любовница герцога Бекингема, влиятельного в Англии государственного деятеля, покинутая им. Она прообраз коварной миледи из знаменитого романа Александра Дюма «Три мушкетера»...

Подведем итоги. Дает ли рецензируемая книга цельный образ Ришелье? Несомненно. Выдающийся государственный и военный деятель, гибкий дипломат. Образованный человек с широким кругозором, способностью к анализу событий и их предвидению. Знаток человеческой души, ее достоинств и пороков. И вместе с тем — мастер интриги, обладатель властного характера, изворотливого и решительного, безжалостного в случае необходимости к ближним и дальним противникам и союзникам. Таким был кардинал, вся жизнь которого — политическая борьба с ее неизбежными печальными неудачами и радостными успехами. Он служил не монарху, а Франции. И не случайно духовный пастырь употреблял слово «родина».

Покалуж, вполне закономерно, что противоречивая натура кардинала раскрылась в его сотрудничестве и противоборстве с двумя (это очень много для одного мужчины, даже если его именуют ваше высокопреосвященство) самими влиятельными при дворе Людовика XIII женщинами: его матерью Марией Медичи и женой Анной Австрийской. Долгое время Ришелье был личным советником Медичи, одним из самых близких к ней людей. «Я — ее ставленник. Это она возвысила меня, открыла путь к власти, даровала мне аббатства и бенефиции, благодаря которым из бедности я шагнул в богатство». Откровенное признание кардинала. Оно соответствует истине. Именно королева-мать добилась пурпурной мантии для своего любимца. Увы, ничто не вечно под луною. Мария Медичи изменила свою позицию. После ряда неудачных заговоров и интриг против кардинала она порвала и с собственным сыном, покинула Францию и умерла в один год с Ришелье в Кельне, всеми покинутая и забытая.

Гений и злодейство несовместны. Но кардинал по крайней мере в данном случае не был злодеем. Скорее оборонявшейся стороной, получившей поддержку самого короля. Это и помогло ему выстоять как в неравном сражении с королевой-матерью, так и в не менее тяжелой битве с царствующей королевой.

С Анной Австрийской нас еще в детстве знакомили романы Александра Дюма. Романист, разумеется, имеет право на вымысел. Но основа его романов достоверна. Как писали современники эпохи, Ришелье, духовник королевы, испытывал к ней (Анну считали самой красивой женщиной в Европе) теплые

чувства. Автора рецензируемой книги эта тема не интересует. Он не отвергает, но и не подтверждает традиционную версию. А жал! Я вовсе не горю желанием смахнуть пыль с придворной любовной истории, тем более что хорошо известен роман королевы с герцогом Бекингемом, который мог бы печально для нее обернуться, если бы Александр Дюма вовремя не послал славного д'Артаньяна и его друзей в Лондон за бриллиантовыми подвесками, подаренными Людовиком XIII супруге. Дело в другом. Анализ отношений его высокопреосвященства с Анной Австрийской позволил бы

пролить дополнительный свет на личность Ришелье, его характер и тактику поведения.

К этому критическому замечанию добавлю еще одно. Кардинал умер богатым человеком. Его состояние исчислялось в астрономической сумме: 20 миллионов ливров. По тем временам она была эквивалентна 15 тоннам золота. Каковы были источники этих денег? Книга ответа на это не дает.

**Юрий БОРИСОВ,**  
доктор исторических наук,  
профессор.

### Ч и т а ю т е в 1 9 9 2 г о д у :

#### НАТАЛИ САРРОТ

##### Дар речи

Jch sterbe. Что это? Немецкие слова. Они значат «я умираю». Но откуда это? Почему вдруг? Сейчас узнаете, потерпите немного. Они явились издалека, они пришли (как мы говорим, «мне пришло на память») из начала века, из немецкого курортного городка. Но на самом деле из областей куда более далеких... Однако не будем спешить, отправимся сначала туда, куда ближе. То есть в начало века — в 1904 год, чтобы быть точными, — в гостиничный номер немецкого курорта, где приподнялся на постели умирающий. Он был русский. Вам знакомо его имя: Чехов, Антон Чехов. Он был прославленным писателем, но в данном случае это не важно — можете не сомневаться, он не имел намерения оставить нам на память знаменитое предсмертное изречение. Нет, только не он, это было совсем не в его духе. Его слава имеет для нас лишь то значение, что благодаря ей эти слова не пропали, как пропали бы, будь они произнесены каким-нибудь заурядным умирающим. Но этим и ограничивается ее значение. Есть другая важная деталь. Чехов, вы ведь знаете, был врачом. Он болел туберкулезом и приехал сюда, в этот курортный городок, лечиться, но на самом деле — как он признался друзьям с неизменной своей иронией по отношению к себе, с той беспощадной скромностью и смиренем, которые, как мы знаем, были ему свойственны, — чтобы «подохнуть». «Еду туда подыхать», — сказал он им. Итак, он был врачом и в последнюю свою минуту, когда у его постели стояли по одну сторону жена, по другую врач-немец, он приподнялся, сел и сказал — не по-русски, не на своем родном языке, а на языке другого, на немецком, — сказал громко и четко: «Jch sterbe». И упал на подушки мертвый.

И вот эти слова, произнесенные на этой кровати, в этом гостиничном номере три четверти века назад, вдруг являются... каким ветром их занесло?.. и опускаются здесь... маленькие угольки... черня, прожигая белую страницу...

*Перевела с французского  
Ирина КУЗНЕЦОВА.*

## КОРОТКО О КНИГАХ



**И. БОРИС ВАХТИН.** Так сложилась жизнь моя... Повести и рассказы. Л. «Советский писатель». 1990. 351 стр.

В прозе Вахтина отчетливо слышны голоса разных писателей: «Я поймал выскочивший от волнения глаз, вставил его на место и сказал: „Не понимаю вас“», — Хармс? Или: «Спят за погасшими окнами нашего дома люди в полном составе. Завтра они будут жить и бороться сообща, но каждый на свой манер; а сейчас они все равны перед сном», — Платонов? Или: «Нога моей женщины Нонны — это не нога, это подвиг», — Венедикт Ерофеев?

В этот ряд можно поставить еще и Зощенко, и Булгакова, и даже Гоголя, потому что повесть «Дубленка», помещенная в сборнике, по сути дела является своеобразной вариацией на тему гоголевской «Шинели». Словом, многих напоминает Б. Вахтин своей игрой стилями и мотивами русской (и не только русской — в сборнике по-эллинджеровски есть свои «Девять маленьких рассказов») литературы. Играет Вахтин и самим языком, оживляя в нашем сознании стертые цитаты и выражения. Только «воскрешение слова» происходит у Вахтина по-своему.

Приведенные выше цитаты взяты мной из «Трех повестей с тремя эпилогами», самой, пожалуй, значительной вещи в книге. Время действия повестей послевоенное, место — большой жилой дом, во дворе которого происходят события, «коммунальные» по форме и вселенские по сути. Поэтому и жильцы в этом доме необычны: летчик Гютчев, Ванька Каин, Молчаливый пилот. И за всеми этими людьми, которые любят, спорят, спорят, умирают, наблюдает самый необыкновенный и загадочный герой повести, от чьего лица и ведется повествование. «По профессии интеллигент», он «откровенно» смотрит на окружающий мир и думает «о всех нас с вами, вот ведь в чем дело».

Дума «о всех нас» — это суть позиции писателя. Так и хочется вспомнить: «Я чувствую за них за всех...» Но цитата в данном случае будет не совсем уместной, ибо пастернаковская формула «Я всеми ими побежден, и только в том моя победа» для Вахтина не работает. Всесильное и спасительное «мы» (светлое и одухотворенное в противовес замятинскому, темному и безысходному) не захватывает его героя полностью, не растворяет его в себе до конца. Так, герой рассказа «Анабиоз», с одной стороны, готов, «если придет такой черед, то поползу вместе со всеми по жесткой земле, и отнюдь не хуже других», а с другой — уверен, что он «сам себе Пушкин».

Есть в сборнике маленький, на полторы страницы, рассказ, который называется «Ши-

рока страна моя родная», он строится как своеобразный диалог с песней, диалог, в результате которого хрестоматийная строка приобретает совершенно иное звучание. Рассказ заканчивается словами: «Так мне освободили место, чтобы поставить ногу на земле моей страны». Страна оказывается широкой не сама по себе, не потому, что в песне так сказано, и даже не потому, что она бесконечно интересна человеку, желающему «все понять». Нет, в ней просто хватило места для героя рассказа... В нашей литературе долго не было свободного места для Б. Вахтина, и потому название одного из рассказов, «Так сложилась жизнь моя...», перекочевавшее на обложку книги, не столько ее саму характеризует, сколько напоминает нам о судьбе писателя. Судьбе внешне благополучной (не сидел, не эмигрировал), а по сути... хотел сказать — трагичной, но почему-то просится другое слово — привычной, именно привычной, ибо что же необычного в такой вот творческой биографии человека, талантливо писавшего в 60—70-е годы? Борис Вахтин, сын известной писательницы В. Пановой, активно работал как переводчик, сценарист, очеркист; и при этом упорно писал прозу, писал, понятно, в стол. Впрочем, были две публикации: одна незаметная в 1965 году в сборнике «Молодой Ленинград» и одна очень заметная в «Метрополе» (повесть «Дубленка»), после которой вопрос о публикациях вообще отпал. В 1981 году — смерть. Далее все как и положено сначала в 1986 году выходит первая разрешенная, а в 1990-м — первая полноценная книга прозы писателя. Вот так сложилась жизнь...

**И. ЗАКИР ДАКЕНОВ.** Полетим, кукушечка, в дальние края. «Волга», 1990. № 12.

**ЗАКИР ДАКЕНОВ.** Вышка. М. «Московский рабочий». 1991. 141 стр.

Стилистику прозы Закира Дакенова можно было бы сравнить со стилистикой документального фильма, имитирующей репортаж с места происшествия: камера в руке оператора дрожит, кадры отрывочны, освещение плохое, и на экране мы видим: «Прыгал вниз кусок асфальта освещенный, и носки туфель выскакивали вниз — правый, левый, правый, левый...»; или: «Крык! — пустоту проткнули руки — дверь отлетела; в пустоте пятно замаячило, голос раздался». Весь материал дан «в прямом эфире», комментарии почти нет, заставляет читателя как бы самому выстраивать общую канву событий. Почти, потому что в начале и в конце повести «Полетим, кукушеч-

ка, в дальние края» вмонтированы два куска, объясняющие нам многое...

«...Реакции на свет нет» — отрывки из медицинского заключения, обрамляющие повесть, фиксируют факт смерти главной героини, четырнадцатилетней Жанны Лепестковой. Смерти неделой, почти случайной, как и случайной, по существу, была недолгая жизнь девочки.

А строилась эта жизнь так, что ни одно событие в ней не могло по-настоящему задеть Жанну. Она с одинаковым спокойствием реагирует и на то, что ее выгоняют из школы, и на ссору с матерью, и на смерть отца. Даже проституция — единственное серьезное занятие Жанны — никак не меняет ее, никак не характеризует нравственно, а только подчеркивает установившуюся между ней и миром случайную связь.

Все попытки окружающих людей как-нибудь повлиять на нее напрасны. Жанна никого не замечает, не слышит. Самое страшное для нее — это вступать с кем-нибудь в разговор: «Нет, ну чего все так — спрашивают, спрашивают, спрашивают... Ответишь на одно, а они о другом уже — все спрашивают да спрашивают! Чего им всем надо, должна, что ли?» Голос, обращенный к ней, воспринимается как враждебный. От него необходимо защититься, нужно отсесть, заглушить его. «Где ты была? — голос цепляется... голос и стук отлетел».

Одним словом, говорить не надо, просто незачем. А раз так, то и сам язык становится ненужным и теряет смысл. Человек, не желающий слушать других, постепенно перестает понимать самого себя: «Куда идет? В Италию... Какому Виталию? Что ему?...» Но этого мало. В конце концов подводит не только язык, но и разум. Жанна уже не в состоянии следить за вихрем событий, непослушный язык ничего не объясняет, а только все запутывает: реальность, плохо отраженная в сознании, наваливается на человека и неизбежно побеждает. «Бляха, опять ключ забыла, а дома никого... Опять в окно? В окно, в окно... Если бы было все равно, люди лазили б в окно. Откуда это? Зачем?»

Герою другой повести Дакенова, «Вышка», солдату внутренних войск, тоже не удастся уследить за событиями и сориентироваться в них, хотя он в отличие от Жанны и пытается это делать. Во время службы он настойчиво приспосабливается к обстановке, не брезгуя ничем, проходит армейскую «школу жизни», и в тот момент, когда он уже, казалось бы, освоился и застрахован от ошибок, — именно тогда герой убивает. И пусть формально он имел на это право — находился на боевом посту, стрелял в уголовника, пытавшегося бежать из зоны, к тому же ночью стреляют без предупреждения... Но вот, по сути, это — перестраховка; в ответственный момент, растерявшись, герой не нашел ничего лучшего как беспомощно нажать на спусковой крючок. Из авторского предисловия к повести «Вышка» видно, что произведения Дакенова основаны на собственном жизненном опыте и личных наблюдениях. Такой опыт, несомненно, бесценен, но несомненно и другое: здесь

может таиться опасность спекуляции темой. Согласимся, что сегодня, наряду с лагерной, темы проституции и армии модны и идут нарасхват. Тем труднее за них браться, соблазн написать еще одну «Интердевочку» или еще один «Стройбат» велик. Потому отдадим должное Дакенову: он счастливо избегает этих соблазнов и, используя «опасный» материал, пишет не эпигонскую чернуху, а серьезную прозу.

Помещая своих героев в горячие точки нашей действительности, писатель как бы испытывает их возможности. Результаты, увы, удручающие. Сознание молодых людей (герои Дакенова очень молоды) поражено таким не свойственным этому возрасту недугом — болезнью Постороннего (сравним с романом Камю). Такой больной, еще почти не живший, но уже уставший от жизни, посторонний ко всему окружающему, в экстремальной ситуации теряется и, конечно, не способен противостоять злу. И не потому, что не хватает силы и мужества, а потому, что нет чувствительности к внешнему миру, нет реакции на свет.

Леонид Клейн.

\*

П. А. КРОПОТКИН. Этика. Избранные труды. М. Политиздат. 1991. 496 стр.

Хотя имя Петра Алексеевича Кропоткина (1842—1921) в известные времена не попадало под полный запрет подобно многим другим и даже, напротив, сохранялось в названиях улиц, городов, горных хребтов, его творчество в полном объеме остается неизвестным, поскольку большая часть его работ замалчивалась — их относили к числу антимарксистских и мелкобуржуазных. Кропоткина представляли прежде всего как географа-путешественника, исследователя следов ледникового периода, который из барской прихоти (князь ведь!) взял за проповедовать утопические идеи безвластия (анархии). И сейчас мы можем говорить о существовании «неизвестного Кропоткина» и о необходимости ознакомления с его обширным творческим наследием.

Преимущественно за рубежом, в различных странах мира, на двадцати с лишним языках вышло более двух тысяч изданий его работ, тематический спектр которых необычайно широк. В России основные произведения Кропоткина социальной тематики выходили в свет лишь в периоды ослабления цензуры после двух революций. Сейчас наблюдается третья волна «кропоткинщины»; подъем ее стимулируется и отмечаемым в этом году 150-летием со дня рождения великого революционера. Первой книгой, вышедшей после более чем полувекового перерыва, была «Великая французская революция» (М. «Наука». 1979), затем последовали небольшое собрание юношеских «Писем из Восточной Сибири» (Иркутск, 1983), «Записки революционера» (12-е русское издание. М. «Мысль». 1990), сборник философских работ «Хлеб и воля. Современная наука и анархия» (приложение к журналу «Вопросы философии», 1990). И вот новая

книга, озаглавленная «Этика». Примечательно, что это первое (и пока единственное) издание Кропоткина на его родине, полиграфия которого заслуживает одобрения. Впервые книга этого автора снабжена яркой обложкой, на которой репродуцирована картина В. Кандинского «Композиция», хотя и не совсем ясно, почему выбрана именно она. «Этика» — последний труд П. А. Кропоткина, частью над которым борвала его смерть в феврале 1921 года. Напечатанная издательством «Голос труда» в 1922 году, она у нас больше не выходила.

По существу, это сборник избранных трудов П. А. Кропоткина, а если быть точным — фрагментов избранных работ. Первый том «Этики», озаглавленный «Происхождение и развитие нравственности», занимает в сборнике чуть больше половины его объема, образуя первый из трех разделов. Сборник предваряет вступительная статья его составителя кандидата философских наук Ю. Гридчина «Этика человечности». В ней дана краткая, но емкая и, главное, свободная от недавно еще обязательных ярлыков (мелкобуржуазности, утопичности и т.п.) характеристика личности и творчества Кропоткина, изложена суть его социологической концепции, в которой этике отводится центральное место.

Вопросы нравственности волновали П. А. Кропоткина еще с юных лет, что видно из его переписки с братом, фрагменты которой включены в сборник. Первые же его поступки, казавшиеся многим в его окружении весьма странными, обусловлены сделанным, пока еще интуитивно, нравственным выбором. Ю. Гридчин совершенно справедливо утверждает, что окончательное решение об отказе от научной карьеры в пользу деятельности, направленной, по существу, на подготовку социальной революции, Кропоткин принял, лично познакомявшись в 1872 году с рабочим движением в Швейцарии и Бельгии. Однако далеко не случайно он принимает именно к бакунинскому крылу Интернационала, вступая в Юрскую федерацию, находившуюся в оппозиции к возглавлявшемуся Марксом Генеральному совету. Этот вопрос очень важен: почему Кропоткин стал теоретиком анархизма? А с ним связан и другой: в чем отличие кропоткинской анархистской концепции от других? Оба эти вопроса автор вступительной статьи нельзя сказать, что совсем обходит, но рассматривает их все же односторонне.

Фигура П. А. Кропоткина настолько сложна, а его творчество настолько многогранно, что избежать односторонности нелегко. Часто, например, ранний, географический период его жизни и деятельности рассматривают всего лишь как факт биографии. Между тем заявление Кропоткина «в Сибири я сделался анархистом» говорит о том, что его мировоззрение антиэтатиста сформировалось задолго до знакомства с рабочим движением на Западе. Но взгляды его складывались не только под влиянием чтения Бокля, Милля, Кэнэ и Прудона, хотя это влияние несомненно. Очень большое значение для него имело непосредственное знакомство с природой Сибири. В

своих исследованиях он нашел подтверждение идеям А. Гумбольдта о многообразии природы, которое и образует гармоничное единство. Вполне вероятно, что под влиянием философии буддизма, с которой он имел возможность непосредственно познакомиться в Забайкалье, у него утвердилось представление о том, что человек не противостоит природе как ее повелитель и преобразователь, а является всего лишь частью ее, вписываясь вместе с созданным им обществом в систему природных взаимосвязей.

Кропоткин представлял жизнь вселенной «как непрерывную, бесконечную цепь превращений энергии... И среди всех этих превращений зарождение нашей планеты, постепенное развитие ее жизни, ее конечное разложение в будущем и переход обратно в великий космос, ее поглощение вселенною суть только бесконечно малые явления — простая минута в жизни звездных миров». Гармонию вселенной он воспринимал как уравновешивающееся взаимодействие великого множества разнородных сил. «В природе нет управляющего центра...» — считал Кропоткин, полагая, что его не должно быть и в обществе, отказавшемся от монополизации власти в пирамидальных государственных структурах, в обществе, построенном на горизонтальных связях, на взаимном интересе, кооперации, взаимопомощи. В этом заключается суть антиэтатистской, анархистской концепции Кропоткина, которая каким-то образом оказалась обойденной во вступительной статье к сборнику его работ. Сам же Кропоткин ясно сказал об этом в «Записках революционера»: «Я мало-помалу пришел к заключению, что анархизм — нечто большее, чем просто способ действия или чем идеал свободного общества. Он представляет собою, кроме того, философию как природы, так и общества, которая должна быть развита совершенно другим путем, чем метафизическим или диалектическим методом, применявшимся в былые времена к наукам о человеке. Я видел, что анархизм должен быть построен теми же методами, какие применяются в естественных науках...»

Ю. Гридчин утверждает, что анархизм воспринят Кропоткиным как логический итог либеральных и этических учений, и это безусловно так. Однако отличие кропоткинских теоретических построений от взглядов, скажем, Прудона и Бакунина заключается в их естественнонаучном обосновании. Именно глубокие познания Кропоткина в области наук о Земле позволили ему создать свою, отличную от всех других концепцию общего развития, в которой взаимодействие людей, взаимопомощь и солидарность играют значительно большую роль, чем классовая борьба, рассматривавшаяся социал-дарвинистами как проявление в обществе борьбы за существование. В конце концов, кропоткинский анархизм представляет собой этическое учение, опирающееся на законы природы, и это неоднократно подчеркивается в помещенных в сборнике его текстах: «Природа может... быть названа *первым учителем этики, нравственного начала для человека*», «первоисточник нравственности лежит в общительности, свойственной всем высшим животным и тем более человеку»,

«взаимопомощь — преобладающий факт природы» и т.д.

Основное содержание первого тома «Этики» — исторический разбор учений о нравственности и этике, развивавшихся со времен Древней Греции. Автор находит соответствие своим мыслям о природном происхождении нравственности в высказываниях Платона, Аристотеля, Фр Бэкона, Спинозы, М. Гюйо, О. Конта. Важнейшие принципы «этики по Кропоткину» — неприятие насилия в какой бы то ни было форме и абсолютный приоритет личности при равенстве прав всех людей. Очень современно звучат слова Кропоткина: «Принцип равенства обнимает собою все учение моралистов. Но он содержит еще нечто большее. И это нечто есть уважение к личности. Провозглашая наш анархический нравственный принцип равенства, мы тем самым отказываемся присваивать себе право... ломать человеческую природу во имя какого

бы то ни было нравственного идеала... Мы признаем полнейшую свободу личности».

В сборник помимо первого тома «Этики» вошли: очерк «Нравственные начала анархизма», лекция «Справедливость и нравственность» (1890), фрагменты книг «Идеалы и действительность в русской литературе» (1901) и «В русских и французских тюрьмах» (1886). Эти тексты, перепечатанные из изданий начала 20-х годов, образуют второй раздел книги, являющийся своеобразным дополнением к первому, целиком заполненному текстом «Этики».

Но вот вместо третьего раздела, составленного из недостаточно корректно подобранных цитат, лучше было бы, по моему мнению, опубликовать, хотя бы частично, рукопись второго тома «Этики».

**Вячеслав Маркин.**



## РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



**МИНУВШЕЕ. Исторический альманах. Ред. В. Аллой. Вып. 11. Париж. Atheneum. 1991. 612 стр.**

В то время, когда облик большинства советских изданий, посвященных истории и культуре, еще определялся классовым подходом, альманах «Минувшее», продолжавший достойные традиции исторических сборников «Память», непредвзято и профессионально освещал новейшую русскую историю, публикуя документальные материалы и аналитические статьи. Но и в нынешнюю бесцензурную эпоху, имея множество конкурентов, альманах не утратил своего лица (обзор всех выпусков — тема специальной работы).

В открывающем сборник разделе «Воспоминания» помещены свидетельства о русской жизни рубежа XIX — XX веков (А. А. Корнилов), периода первой мировой войны и первых лет советской власти (Б. Н. Лосский, В. А. Решикова). В разделе «Из наследия отечественной философии», содержащем неопубликованные работы М. О. Гершензона и Л. М. Лопатина, особое внимание привлекает публикация В. Проскуриной и В. Аллой «К истории создания „Вех“», показывающая, как задумывалось и осуществлялось одно из самых интересных философских начинаний предреволюционной эпохи. Рубрика «Из истории литературной жизни» содержит письма Марины Цветаевой другу юности П. И. Юркевичу, воспоминания А. И. Тарасова-Родионова о последних днях Сергея Есенина, письма известного переводчика И. Б. Манделштама Б. М. Эйхенбауму. Ключевым материалом тома, на наш взгляд, является обширная публикация дневниковых записей Д. И. Хармса, осуществленная А. Кобринским и А. Устиновым. Аккумулируя исследовательский опыт нескольких поколений, публикация, несмотря на свой «сугубо предварительный характер», имеет большое значение для всех, кого история ОБЭРИУ интересует не только во внешне карнавальном, но и во внутренне концептуальном аспекте.

**ОПТИНСКИЕ СТАРЦЫ. London (Канада). «Заря». 1990. 88 стр.**

Едва ли можно сомневаться в том, что старчество имело для русской культуры не узкоконфессиональное, но мировоззренческое и во многом жизнестроительное значение. Столь же очевидно и то, что Оптина пустынь, овеянная именами Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, не просто монастырь, но один из живых символов русской культуры. Помещенные в книге жития оптинских старцев, охватываю-

щие период от основания монастыря до его закрытия в 1924 г., сочетают в себе естественную архаичность повествования с глубиной и ясностью религиозного чувства.

**СОБРАНИЕ ПИСЕМ БЛАЖЕННЫХ ПАМЯТИ ОПТИНСКОГО СТАРЦА МАКАРИЯ М. 1862. London (Канада). «Заря» (б. г.). 762 стр.**

Книга представляет свод писем, с которыми преподобный Макарий Оптинский (1788—1860) обращается к своей пастве. Безыскусная документальность писем старца Макария (среди адресатов которого был, между прочим, и И. В. Киреевский) удачно дополняет высокую торжественность его жизнеописания, данного в предыдущей книге. Несмотря на все трудности репринтного воспроизведения книги более чем столетней давности, «Собрание писем...» издано с безукоризненным полиграфическим изяществом.

**С. Г. ПУШКАРЕВ. Обзор русской истории. London (Канада). «Заря». 1990. 502 стр.**

Книга являет собой сжатое изложение русской истории от принятия христианства до Февральской революции. Придав своему очерку строгую хронологичность, автор активно вводит в текст летописные свидетельства, широко цитирует виднейших русских историков, не забывая о том, что лишь строгая фактографичность и беспристрастный учет взаимопротиворечащих мнений могут вызвать у читателя доверие к историческому повествованию.

**ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ. Собрание сочинений. Под ред. Дж. Мальмстада и Р. Хьюза. Т. 2. Статьи и рецензии. 1905—1926. Ann Arbor. «Ardis». 1990. 574 стр.**

Подготавливаемое Дж. Мальмстадом и Р. Хьюзом собрание сочинений В. Ф. Ходасевича является на сегодняшний день тем академическим ориентиром, с которым необходимо сверяться всем изучающим творчество поэта. Благодаря кропотливым поискам, произведенным составителями в периодической печати и доступных им архивохранилищах, собрание сочинений вводит в научный оборот ранее не известные тексты Ходасевича. Не составляет исключения и нынешний том, содержащий «литературные статьи, рецензии, фельетоны 1905—1926 гг.», а также стихотворные дополнения к предыдущему тому. Необходимые текстологические и историко-литературные пояснения содержатся в лаконично-информативном комментарии.

**МИХАИЛ КУЗМИН. Проза. Ред. и примеч. В. Маркова и Ф. Шольца. Тт. I—IX. 1984—1990. Berkeley Slavic Specialities.**

Задача, взятая на себя составителями этого многотомника, намного скромнее. Первые



семь томов представляют собой перепечатку прозаических сборников, составленных самим Кузминым: две заключительных книги — попытка собрать тексты, разрозненные по журналам и архивам. Столь объемное собрание прозы Кузмина — своеобразное подспорье кузминоведческим шгудиям, переживающим ныне настоящий расцвет.

**БОРИС ФИЛИПPOB.** Всплывшее в памяти. Рассказы. Очерки. Воспоминания. London. Overseas Publications Interchange Ltd. 1990. 392 стр.

Поэт, прозаик, критик и исследователь русской культуры Б. А. Филиппов (1906—1991) известен советскому читателю главным образом благодаря подготовленному им (совместно с Н. А. и Г. П. Струве) четырехтомному собранию сочинений О. Э. Мандельштама, выходящему в 1967—1981 гг. в Издательстве им. Чехова. Если отбросить исследовательские придирки и торопливые «пересмысления» значимости этих четырех томов, необходимо признать, что именно они открыли советскому читателю настоящего Мандельштама. Столь же значительную роль сыграли в заполнении зияющих пустот советской литературы осуществленные при активном участии Филиппова собрания сочинений

А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева, Н. А. Клюева и Е. И. Замятина. Аннотируемая книга — своего рода биографический итог автора, осуществленный в полифонии жанров: короткие новеллы сменяются цельным повествованием о «советском» периоде жизни Филиппова, которое, в свою очередь, плавно перетекает в диалог автора и персонажей его мемуаров... Завершается книга литературоведческим обзором «Ленинградский Петербург в русской поэзии и прозе».

**С. П. МЕЛЬГУНОВ.** Судьба императора Николая II после отречения. Париж. 1951.— Нью-Йорк. «Телекс». 1991. 424 стр.

Републикация обстоятельного труда С. П. Мельгунова продолжает ряд исследований по истории большевизма, выпускаемых издательством «Телекс». Тщательно документированное исследование Мельгунова, написанное в Париже во время фашистской оккупации, выгодно отличается от бесчисленных беллетризованных псевдосвидетельств, охотно воспроизводимых отечественными републикаторами.

**Составитель К. Ю. ПОСТОУТЕНКО.**

Редакция благодарит издательство «Заря» за помощь в подготовке раздела.

Читайте в следующем номере:

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ**

Вечерние раздумья

Заключительная глава из книги «Последний поклон».

Редакция рукописи не рецензирует.

Рукописи объемом менее 2 п. л. авторам не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

**В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов** (зам. главного редактора), **А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку, Д. А. Гранин, В. А. Костров, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов** (зам. главного редактора), **И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Технический редактор А. Гинзбург

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.09.91 г. Подписано к печати 27.11.91 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.) 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 250 000 экз. Зак. 4805. Цена 4 р. 70 к. (по подписке).

При участии издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

# RUSSIAN BOOKS Russische Bücher LIVRES RUSSES РУССКИЕ КНИГИ

ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ БОГОСЛОВ  
ИЕ ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИЯ БОГОСЛО  
ВИ НАУКА ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУР  
А ИСТОРИЯ БОГОСЛОВИЕ ФИЛОСО  
ФИЯ ПОЭЗИЯ БОГОСЛОВИЕ НАУКА  
ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ  
БОГОСЛОВИЕ ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИ  
Я БОГОСЛОВИЕ НАУКА ПОЛИТИКА  
ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ БОГОСЛОВ  
ИЕ ФИЛОСОФИЯ ПОЭЗИЯ БОГОСЛО  
ВИ НАУКА ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУР  
А ИСТОРИЯ БОГОСЛОВИЕ ФИЛОСО  
ФИЯ ПОЭЗИЯ БОГОСЛОВИЕ НАУКА  
ПОЛИТИКА ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЯ

почтой — to order — à commander:

## A. NEIMANIS

Kataloge — каталоги

## A. NEIMANIS

Издательство

Книготорговля

Агентство по охране авторских прав

A. Neimanis Buchvertrieb & Verlag

Hans-Sachs-Str. 10, 8000 München 5,

Germany Tel: 089/26 30 76, FAX 26 30 77